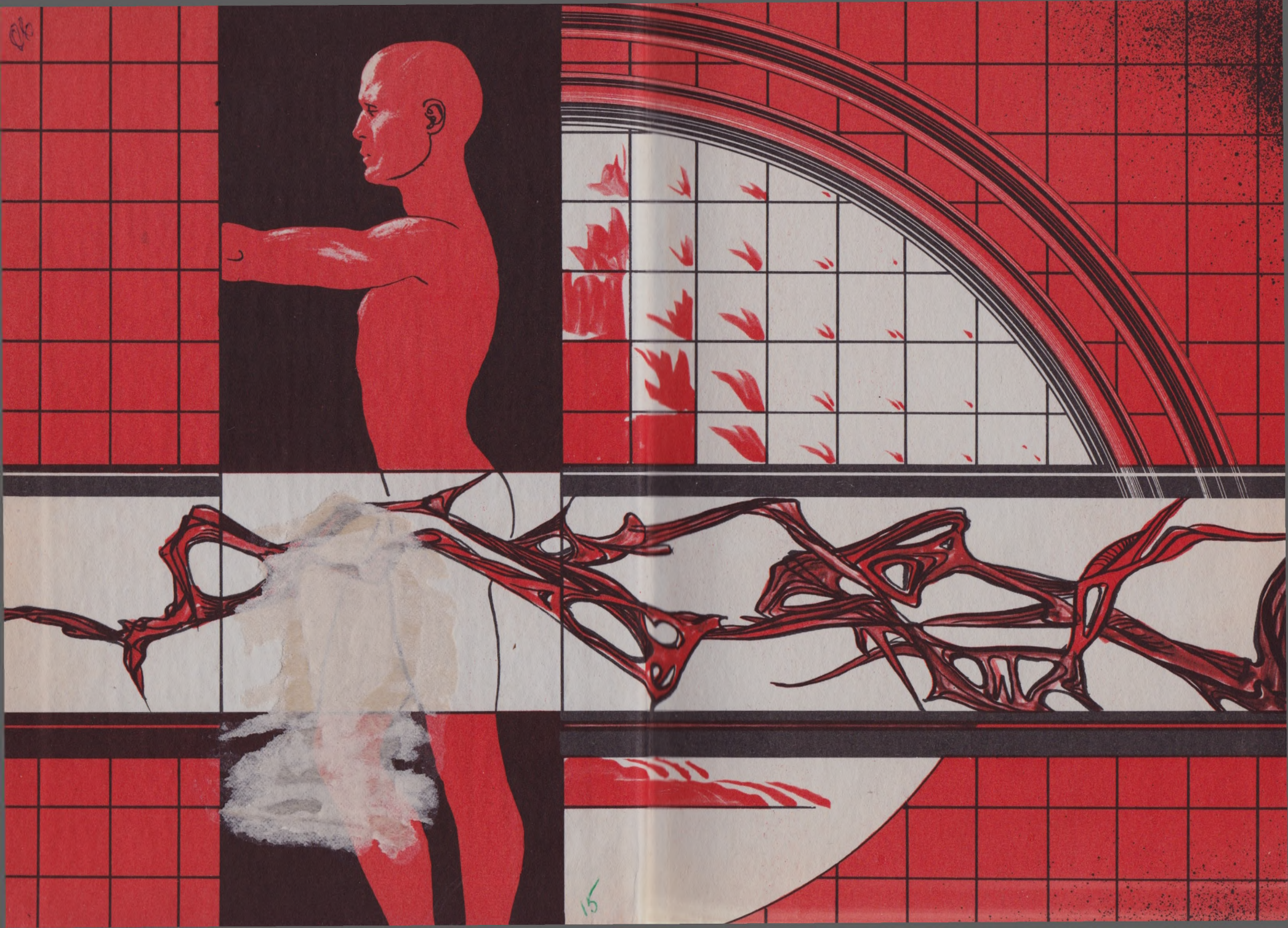

ЗОЛОТАЯ ПОЛКА ФАНТАСТИКИ
Владимир САВЧЕНКО
Владимир САВЧЕНКО




ЗОЛОТАЯ ПОЛКА ФАНТАСТИКИ

Владимир
САВЧЕНКО



ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ



Владимир САВЧЕНКО

Том 2

ОТКРЫТИЕ СЕБЯ

ПОХИТИТЕЛИ СУТЕЙ

ПЯТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛЛИВЕРА

ВСТРЕЧНИКИ

НИЖНИЙ НОВГОРОД
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ФЛОКС»
1994

ББК 84.Р7
С13

Обложка и форзац **А. ТАРАСОВА**

Иллюстрации **В. ВАСИЛЬЕВОЙ**

Савченко В.

С13 Избранные произведения. Т. 2. Открытие себя. Фантастический роман. Похитители сутей. Пятое путешествие Гулливера. Встречники. Фантастические повести.— Нижний Новгород: Флокс, 1994.— 512 с.: ил.

ISBN 5-87198-060-0

В сборнике известного русского фантаста, живущего на Украйне, есть произведения, вошедшие в золотой фонд отечественной фантастики. Так роман «Открытие себя» выдержал к настоящему времени 15 изданий в 12 странах, включая США, Германию, Францию; на многие языки переведена повесть «Встречники».

Повести «Похитители сутей» и «Пятое путешествие Гулливера» в России публикуются впервые.

С $\frac{4702010201—014}{Д40(03)-94}$ без объявл. **ББК 84.Р7**

ISBN 5-87198-060-0

© Составление, оформление, издательство «Флокс», 1994

ОТКРЫТИЕ СЕБЯ



Человек, помоги себе сам!

Людвиг ван Бетховен

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ШАГИ ЗА СПИНОЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Проверяя электропроводку,
обесточь электропитание!
Плакат по технике безопасности

Короткое замыкание в линии, что питала лабораторию новых систем, произошло в три часа ночи. Автомат релейной защиты на энергоподстанции Днепровского института системологии сделал то, что делают в таких случаях все защитные автоматы: отключил линию от трансформатора, зажег на табло в дежурке мигающую красную лампочку и включил аварийный звонок.

Дежурный техник-электрик Жора Прахов звонок выключил сразу, чтобы не отвлекаться от изучения «Пособия для начинающего мотоциклиста» (Жоре предстояло сдавать на права), а на мигающую лампочку посматривал с неудовольствием и ожиданием: обычно местные замыкания лаборатории устраняли своими силами.

Поняв примерно через час, что ему не отсидеться, техник закрыл учебник, взял сумку с инструментом, перчатки, повернул на двери жестяную стрелку указателя к надписи «Лаб. новых сист.» и вышел из дежурки. Темные деревья институтского парка плавали по пояс в тумане. Масляные трансформаторы подстанции стояли, упершись охладительными трубами в бока, как толстые бесформенные бабы. Размытой глыбой возвышалось на фоне сереющего неба и старое институтское здание — с тяжелыми балконами и вычурными башенками. Левее его параллелепипед нового исследовательского корпуса тщился заслонить раннюю июньскую зарю.

Жора взглянул на часы (было десять минут пятого), закурил и, разгоняя сумкой туман, побрел направо, в дальний угол парка, где стоял на отшибе флигель лаборатории новых систем... А в половине пятого по звонку техника-электрика Прахова на место происшествия выехали две машины: «скорая помощь» и оперативный автомобиль Днепровского горотдела милиции.

Худой высокий человек в светлом чесучовом костюме шагал через парк напрямик, не придерживаясь асфальтовых дорожек;

туфли его оставляли в серой от росы траве длинные темные следы. Утренний ветерок шевелил редкие седые волосы на голове. В промежутке между старым и новым корпусами занимался ослепительный розово-желтый рассвет; в ветвях болтали птицы. Однако Аркадию Аркадьевичу Азарову было не до того.

«В лаборатории новых систем происшествие, товарищ директор,— произнес несколько минут назад сухой голос в трубке.— Имеются потерпевшие, попрошу вас прийти».

От преждевременного пробуждения на Азарова навалилась неврастения: тело казалось набитым ватой, голова пустой, жизнь отвратительной. «В лаборатории происшествие... попрошу прийти...» «Наверно, работник милиции говорил,— вертелось в голове вместо мыслей.— Имеются потерпевшие... Идиотское слово! Кто потерпел? Что потерпел? Убило, ранило, сгорели штаны? Видимо, дело серьезное... Опять! То студент под гамма-излучение полез, чтобы ускорить опыт, то... второй случай за полгода. Но ведь Кривошеин не студент, не юнец — что же стряслось? Работали ночью, устали и... Надо запретить работать по ночам. Категорически!»

...Приняв пять лет назад приглашение руководить организованным в Днепровске Институтом системологии, академик Азаров замыслил создать научную систему, которая стала бы продолжением его мозга. Структура института вырисовывалась в мечтах по вертикально-разветвленному принципу: он дает общие идеи исследований и построения систем, руководители отделов и лабораторий детализируют их, определяют конкретные задачи исполнителям, те стараются... Ему же остается обобщать полученные результаты и выдвигать новые фундаментальные идеи. Но действительность грубо вламывалась в эти построения. Во многом выражалось вмешательство стихий: в бестолковости одних сотрудников и излишней самостоятельности других, в нарушениях графика строительства, из-за чего склад и хоздвор института и по сей день завалены нераспечатанным оборудованием, в хоздоговорных работах-поделках для самоокупаемости, в скандалах, кои время от времени потрясали институтскую общественность, в различных авариях и происшествиях... Аркадий Аркадьевич с горечью подумал, что сейчас он не ближе к реализации своего замысла, чем пять лет назад.

Одноэтажный флигель под черепичной крышей идиллически белел среди цветущих лип: они распространяли тонкий запах. Возле бетонного крыльца, примяв траву, стояли две машины: белый медицинский ЗИЛ и синяя с красной полоской «Волга». При виде лаборатории Аркадий Аркадьевич замедлил шаги, задумался: дело в том, что за полтора года ее существования он был в ней только раз, в самом начале, да и то мельком, при общем обходе, и сейчас очень смутно представлял, что там, за дверью.

Лаборатория новых систем... Собственно, у Азарова не было

пока оснований принимать ее всерьез, тем более что она возникла не по его замыслу, а благодаря скверному стечению обстоятельств: «горели» восемьдесят тысяч бюджетных денег. До конца года оставалось полтора месяца, а истратить деньги по соответствующей статье («Введение в строй новых лабораторий») было невозможно — строители, кои поначалу обязались сдать новый корпус к Первомаю, затем к Октябрьским праздникам, затем к Дню Конституции, теперь поговаривали насчет 8 Марта следующего года. Контейнеры и ящики с аппаратурой заполняли парк. К тому же «неосвоенные» деньги всегда грозны тем, что в следующем году плановые органы урежут бюджет... На институтском семинаре Аркадий Аркадьевич объявил «конкурс»: кто берется истратить эти восемьдесят тысяч до конца года с толком и под обоснованную идею? Кривошеин предложил организовать и оснастить «лабораторию случайного поиска». Других предложений не было, пришлось согласиться.

Аркадий Аркадьевич сделал это скрипя сердце и даже изменил ее название на более обтекаемое — «лаборатория новых систем». Лаборатории создаются под людей, а Кривошеин пока что был «вещью в себе»: неплохой инженер-схемотехник, но и только. Пусть потешится самостоятельностью, оснастится, а когда дело дойдет до исследований, он и сам запросит руководителя. Тогда можно будет найти по конкурсу кандидата или лучше доктора наук и уж для такого ученого определить профиль лаборатории.

Разумеется, Аркадий Аркадьевич не исключал возможности, что и сам Кривошеин выйдет в люди. Идея, которую тот изложил на ученом совете прошлым летом, о...— о чем бишь?— ага, о самоорганизации электронных систем путем ввода произвольной информации, могла стать основой для кандидатской и даже докторской диссертации. Но при его неумении ладить с людьми и беспардонной скандальности вряд ли. Тогда, на ученом совете, ему не следовало *так* парировать замечания профессора Вольтампернова; бедный Ипполит Иларионович потом принимал капли... Нет, совершенно не извинительна самонадеянность этого Кривошеина! Ведь до сих пор нет данных, что он подтвердил свою идею; конечно, год — срок небольшой, но и инженер не доктор наук, коему позволительно уходить в глубокий поиск на десятилетия!

А этот недавний скандал... Аркадий Аркадьевич даже поморщился: настолько свежо и неприятно было воспоминание, как полтора месяца назад Кривошеин провалил на официальной защите в соседнем КБ докторскую диссертацию ученого секретаря института. Собственно, выступал против не он один, но если бы Кривошеин не начал, все бы сошло. В посторонней организации, даже не известив о своих намерениях, пришел и провалил с в о е г о! Так бросить тень на институт, на него, академика Азарова... Правда, и ему не следовало столь благодушно относиться к этой диссертации

и тем более давать положительный отзыв на нее; но рассудил, что неплохо бы иметь выращенного в институте доктора наук, что и не такие диссертации проходили успешно. Но Кривошеин... Аркадий Аркадьевич тогда в сердцах дал ему понять, что не склонен удерживать его в институте... впрочем, вспоминать об этом сейчас было не только неприятно, но и неуместно.

Во флигеле была заметна суета. Мысль о том, что сейчас надо войти, смотреть на э т о, давать объяснения, вызвала у Азарова чувство, похожее на зубную боль. «Итак, снова Кривошеин! — яростно подумал он.— Ну, если он повинен и в этом происшествии!..» Аркадий Аркадьевич поднялся на крыльцо, быстро прошел по тесному, заставленному приборами и ящиками коридору, вступил в комнату и огляделся.

Большое, на шесть окон помещение лишь отдаленно напоминало лабораторию для электронно-математических исследований. Металлические и пластмассовые параллелепипеды генераторов и осциллографов с вентиляционными прорезями в стенах стояли на полу, на столах и на полках вперемежку с большими бутылями, банками, колбами, чашами. Колбы теснились на шкафах, громоздились на зеленых ящиках селеновых выпрямителей. Всю среднюю часть комнаты заняло бесформенное на первый взгляд устройство, оплетенное шлангами, проводами, причудливо выгнутыми трубами с отростками; за ним едва просматривался пульт электронной машины. Что это за осьминог?!

— Пульс прощупывается,— произнес женский голос слева от академика.

Аркадий Аркадьевич повернулся. Свободное от бутылей и приборов пространство между дверью и глухой стеной заполнял полумрак. Там два санитара осторожно перекладывали с пола на носилки человека в сером лаборантском халате; голова его запрокинулась, пряди волос обмакнулись в лужу какой-то маслянистой жидкости. Возле человека хлопотала маленькая женщина-врач.

— Шоковое состояние,— констатировала она.— Инъекцию адреналина и откачивать.

Академик шагнул ближе: молодой парень, правильные черты очень бледного лица, темно-русые волосы. «Нет, это не Кривошеин, но кто? Где-то я его видел...» Санитар взял шприц наизготовку. Азаров глубоко вдохнул воздух и едва не поперхнулся: комнату наполняли запахи кислот, горелой изоляции, еще чего-то резкого — неопределенные и тяжелые запахи несчастья. Пол был залит густой жидкостью, санитары и врач ступали прямо по ней.

В комнату деловито вошел худощавый человек в синем костюме; все прочее в нем было тускло и невыразительно: серые волосы зачесаны набок, небольшие серые глаза неожиданно близко поставлены на костистом лице с широкими скулами, втянутые щеки

скверно выбриты. Вошедший сухо поклонился Азарову. Тот столь же чопорно ответил. Им незачем было представляться друг другу: именно следователь Онисимов в феврале нынешнего года занимался дознанием по «делу об облучении практиканта Горшкова».

— Начнем с опознания трупа,— сухо сказал следователь, и сердце Аркадия Аркадьевича сбилось с ритма.— Попрошу вас сюда...

Азаров двинулся за ним в угол у двери к чему-то накрытому серой клеенкой, она выпирала углами, из-под края ее высовывались желтые костяшки пальцев ног.

— Служебное удостоверение, обнаруженное в находившейся в лаборатории одежде,— протокольным голосом говорил следователь, отгибая край клеенки,— выдано на имя Кривошеина Валентина Васильевича. Подтверждаете?

Жизнь не часто ставила Азарова лицом к лицу со смертью. Ему вдруг стало душно, он расстегнул воротник. Из-за клеенки показались слипшиеся, коротко остриженные волосы, выкаченные глаза, запавшие щеки, оттянутые вниз углы рта, потом выпирающий кадык, на жилистой шее, худые ключицы... «Как он исхудал!..»

— Да...

— Благодарю,— следователь опустил клеенку.

Значит, Кривошеин... Они виделись позавчера утром возле старого корпуса, прошли мимо друг друга, как всегда, корректно раскланялись. Тогда это был хоть и малосимпатичный, но плотный толстощекий *живой* человек. А сейчас... смерть будто выпила из него все жизненные соки, высушила плоть — остались лишь обтянутые серой кожей кости. «А ведь Кривошеин, наверное, понимал, какая роль ему отведена в создании лаборатории...»— подумалось почему-то Азарову.

Следователь вышел.

— Ай-яй-яй! Тц-тц...— раздалось над ухом Аркадия Аркадьевича.

Он обернулся: в дверях стоял ученый секретарь Гарри Харитонович Хилобок. Холеное лицо его припухло от недавнего сна. Гарри Харитонович был, что называется, интересным мужчиной: крупное, хорошо сложенное тело в легком костюме, правильной формы голова, вьющиеся каштановые волосы, красиво серебрящиеся виски, карие глаза, крупный прямой нос, красу и мужественность которого оттеняли темные усы. Внешность, впрочем, несколько портили резкие складки по краям рта, какие бывают от постоянной напряженной улыбки, да мелковатый подбородок.

Сейчас в карих глазах доцента светилось пугливое любопытство.

— Доброе утро, Аркадий Аркадьевич! Что же это у Кривошеина опять случилось-то? А я прохожу это мимо: почему, думаю, около лаборатории такие машины стоят? И зашел... между прочим, цифро-

печатающие-то автоматы в коридорчике у него простаивают, вы заметили, Аркадий Аркадьевич? Среди всякого хлама, а ведь как добивался их Валентин Васильевич, докладные писал, я говорю, хоть бы другим передал их, если не использует...— Гарри Харитонович сокрушенно вздохнул, посмотрел направо.— Никак это студент! Тц-тц, ай-яй-яй! Опять студент, прямо беда с ними...— Тут он заметил вернувшегося в комнату следователя; лицо доцента исказила улыбка.— О, здравствуйте, Аполлон Матвеевич! Опять вас к нам?

— Матвей Аполлонович,— кивнув, поправил его Онисимов.

Он раскрыл ящик из желтого дерева с надписью «Вещест. докова» черной краской на крышке, вынул из него пробирку, присел над лужей.

— То есть Матвей Аполлонович — простите великодушно! Я ведь вас хорошо помню еще по прошлому разу, вот только имя-отчество немного спутал. Матвей Аполлонович, как же, конечно, мы вас потом еще долго вспоминали, вашу деловитость и все...— суетливо говорил Хилобок.

— Товарищ директор, какие именно работы велись в этой лаборатории?— перебил следователь, зачерпывая пробиркой жидкость.

— Исследование самоорганизующихся электронных систем с интегральным вводом информации,— ответил академик.— Так, во всяком случае, Валентин Васильевич Кривошеин сформулировал свою тему в плане этого года.

— Понятно.— Онисимов поднялся с корточек, понюхал жидкость, отер пробирку ватой, спрятал в ящик.— Применение ядовитых химикалиев было оговорено в задании на работу?

— Не знаю. Думаю, ничего оговорено не было: поисковая работа ведется исследователем по своему разумению...

— Что же это у Кривошеина такое стряслось, что даже вас, Аркадий Аркадьевич, в такую рань побеспокоили?— понизив голос, спросил Хилобок.

— Вот именно — что?— Онисимов явно адресовал свои слова академику.— Короткое замыкание ни при чем, оно следствие аварии, а не причина — установлено. Поражений током нет, травм на теле нет... и человека нет. А что это за изделие, для чего оно?

Он поднял с пола диковинный предмет, похожий на шлем античного воина; только шлем этот был поникелирован, усеян кнопками и увит жгутами тонких разноцветных проводов. Провода тянулись за трубы и колбы громоздкого устройства в дальний угол комнаты, к электронной машине.

— Это?— академик пожал плечами.— М-м...

— «Шапка Мономаха»— то есть это у нас так их запросто называют, в обиходе,— пришел на помощь Хилобок.— А если точно,

то СЭД-1 — система электродных датчиков для считывания биопотенциалов головного мозга. Я ведь почему знаю, Аркадий Аркадьевич: Кривошеин мне все заказывал сделать еще такую...

— Так, понятно. Я, с вашего позволения, ее приобщу, поскольку она находилась на голове погибшего.

Онисимов, сматывая провода, удалился в глубину комнаты.

— Кто погиб-то, Аркадий Аркадьевич?— прошептал Хилобок.

— Кривошеин.

— Ай-яй, как же это? Вот тебе на, учудил... И опять вам хлопоты, Аркадий Аркадьевич, неприятности...

Вернулся следователь. Он упаковал «шапку Мономаха» в бумагу, уложил ее в свой ящик. В тишине лаборатории слышалось только пыхтение санитаров, которые трудились над бесчувственным практикантом.

— А почему Кривошеин был голым?— вдруг спросил Онисимов.

— Был голым?! — изумился академик.— Значит, это не врачи его раздели? Не знаю! Представить не могу.

— Хм... понятно. А как вы полагаете, для чего у них этот бак? Не для купаний случайно?

Следователь указал на прямоугольный пластмассовый бак, который лежал на боку среди разбитых и раздавленных его падением колб; с прозрачных стенок свисали потеки и сосули серо-желтого вещества. Рядом с баком валялись осколки большого зеркала.

— Для купания?! — Академика начали злить эти вопросы.— Боюсь, что у вас весьма своеобразные представления о назначении научной лаборатории, товарищ... э-э... следователь!

— И зеркало рядом стояло — хорошее, в полный рост,— вел свое Онисимов.— Для чего бы оно?

— Не знаю! Я не могу вникать в технические детали всех ста шестидесяти работ, которые ведутся в моем институте!

— Видите ли, Аполлон Матве... то есть Матвей Аполлонович, прошу прощения,— заторопился на выручку доцент Хилобок,— Аркадий Аркадьевич руководит всем институтом в целом, состоит в пяти межведомственных комиссиях, редактирует научный журнал и, понятно, не может вдаваться в детали каждой работы в отдельности, на то есть исполнители. К тому же покойный — увы, это так, к сожалению! — покойный Валентин Васильевич Кривошеин был чересчур самостоятельного характера человек, не любил ни с кем советоваться, посвящать в свои замыслы, в результаты. Да и техникой безопасности он, надо прямо сказать, манкировал, к сожалению, довольно часто.., конечно, я понимаю, «де мортуис аут бене аут нихиль», как говорится,— о мертвых либо хорошее, либо ничего, понимаете?— но что было, то было. Помните, Аркадий Аркадьевич, как в позапрошлом году, зимой, он тогда еще у нашего бывшего Иванова работал, в январе... нет, в феврале... или все-таки,

кажется, в январе?.. а может быть, даже и в декабре еще — помните, он тогда залил водой нижние этажи, нанес ущерб, сорвал работы?

— Ох и гнида же вы, Хилобок! — раздался вдруг голос с носилок. Лаборант-студент, цепляясь за края, пытался подняться.— Ох и... Напрасно мы вас тогда не тронули!

Все повернулись к нему. У Азарова озноб прошел по коже: до того неотличимо голос студента был похож на голос Кривошеина — та же хрипотца, так же неряшливо выговариваемые окончания слов... Лаборант обессиленно упал, голова свесилась на пол. Санитары удовлетворенно вытирали пот: ожил, родимый! Женщина-врач скомандовала им, они подняли носилки, понесли к выходу. Академик всмотрелся в парня. И снова сердце у него сбилось с ритма: лаборант — непонятно с первого взгляда чем именно — походил на Кривошеина; даже не на живого, а на тот труп под клеенкой.

— Вот-вот, и практиканта успел восстановить,— с необыкновенной кротостью покивал Хилобок.

— А что это он вас так... аттестовал?— повернулся к нему Онисимов.— У вас с ним был конфликт?

— Ни боже мой! — Доцент искренне пожал плечами.— Я и разговаривал с ним только раз, когда оформлял его на практику в лабораторию Кривошеина по личной просьбе Валентина Васильевича, поскольку этот...

— ...Кравец Виктор Витальевич,— справился по записям Онисимов.

— Вот именно... приходится родственником Кривошеину. Студент он, из Харьковского университета, нам их зимой пятнадцать человек на годичную практику прислали. А лаборантом его Кривошеин оформил по-родственному — как не порадеть, все мы люди, все мы человеки...

— Будет вам, Гарри Харитонович! — оборвал его академик.

— Понятно,— кивнул Онисимов.— Скажите, а кроме Кравца, у потерпевшего близкие были?

— Как вам сказать, Матвей Аполлонович?— проникновенно вздохнул Хилобок.— Официально — так нет, а неофициально... ходила тут к нему одна женщина, не знаю, невеста она ему или так; Коломиец Елена Ивановна, она в конструкторском бюро по соседству работает, симпатичная такая...

— Понятно. Вы, я вижу, в курсе,— усмехнулся Онисимов, направляясь к двери.

Через минуту он вернулся с фотоаппаратом, направил в угол зрачок фотоэкспонометра.

— Лабораторию на время проведения дознания я вынужден опечатать. Труп будет доставлен в судебно-медицинскую экспертизу на предмет вскрытия. Товарищам по организации похорон надлежит обратиться туда,— следователь направился в угол, взялся за

клеенку, которая прикрывала труп Кривошеина.— Попрошу вас отойти от окна, светлее будет. Собственно, я вас больше не задерживаю, товарищи, извините за беспокойст...

Вдруг он осекся, рывком поднял клеенку: под ней на коричневом линолеуме лежал скелет! Вокруг растекалась желтая лужа, сохраняя расплывчатые окарикатуренные очертания человеческого тела.

— Ох! — Хилобок всплеснул руками, отступил за порог.

Аркадий Аркадьевич почувствовал, что у него ослабели ноги, взялся за стену. Следователь неторопливыми машинальными движениями складывал клеенку и завороженно смотрел на скелет, издевательски ухмылявшийся тридцатидвухзубым оскалом. С черепа бесшумно упала в лужу прядь темно-рыжих волос.

— Понятно...— пробормотал в растерянности Онисимов. Потом повернулся к Азарову, неодобрительно поглядел в широко раскрытые глаза за прямоугольными очками.— Дела тут у вас, товарищ директор...

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Что вы можете сказать в свое оправдание?
— Ну, видите ли...
— Достаточно. Расстрелять. Следующий!

Разговор

Собственно, следователю Онисимову пока еще ничего не было понятно; просто сохранилась у него от лучших времен такая речевая привычка — он от нее старался избавиться, но безуспешно. Более того, Матвей Аполлонович был озадачен и крайне обеспокоен подобным поворотом дела. За полчаса до звонка из института системологии судебно-медицинский эксперт Зубато, дежуривший с ним в эту ночь, выехал на дорожное происшествие за город. Онисимов отправился в институт один. И вот пожалуйста: на месте неостывшего трупа лежал в той же позе скелет! Такого в криминалистической практике еще не случалось. Никто не поверит, что труп *сам* превратился в скелет,— на смех поднимут! И скорая помощь уехала — хоть бы они подтвердили. И сфотографировать труп не успел...

Словом, случившееся представлялось Онисимову цепью серьезных следственных упущений. Поэтому он, не покидая территории института, запасся письменными показаниями техника Прахова и академика Азарова.

Техник-электрик Прахов Георгий Данилович, двадцати лет, русский, холостой, военнообязанный, беспартийный, показал:

«...Когда я вошел в лабораторию, верхний свет горел, нарушена

была только силовая сеть. В помещении стоял такой запах, что меня чуть не вырвало — как в больнице. Первое, что я заметил: голый человек лежит в опрокинутом баке, голова и руки свесились, на голове металлическое устройство. Из бака что-то вытекает, похоже, будто густая сукровица. Второй — студент, новенький, я его наглядно знаю — лежит рядом, лицом вверх, руки раскинул. Я бросился к тому, который в баке, вытащил. Он был еще теплый и весь скользкий, не ухватиться. Потормощил — вроде, неживой. В лицо я его узнал — Валентин Васильевич Кривошеин, часто его встречал в институте, здоровались. Студент дышал, но в сознание не возвращался. Поскольку ночью на территории никого, кроме внешней охраны, нет, вызвал по телефону лаборатории «скорую» и милицию.

А короткое замыкание получилось в силовом кабеле, что идет к лабораторному электрощиту понизу вдоль стены в алюминиевой трубе. Бак разбил бутыль — видимо, с кислотой,— она в этом месте все проела и закоротила, как проводник второго рода».

О том, что он вышел к месту аварии спустя час после сигнала автомата, Жора благоразумно умолчал.

Директор института Азаров Аркадий Аркадьевич, доктор физико-математических наук и действительный член Академии наук, пятидесяти восьми лет, русский, женатый, невоеннообязанный, член КПСС, подтвердил, что он «опознал в предъявленном ему на месте происшествия следователем Онисимовым М. А. трупе черты лица исполняющего обязанности заведующего лабораторией новых систем Валентина Васильевича Кривошеина» и, помимо того, со свойственной академику научной объективностью отметил, что его «поразила невероятная изможденность покойного, именно невероятная, несоответствующая его обычному облику...»

В половине одиннадцатого утра Онисимов вернулся в горотдел, в свой кабинет на первом этаже, окна которого, перечеркнутые вертикальными прутьями решетки, выходили на людный в любое время дня проспект Маркса. Матвей Аполлонович кратко доложил дежурному майору Рабиновичу о происшедшем, направил на экспертизу пробирки с жидкостью, затем позвонил в клинику «Скорой помощи», поинтересовался, в каком состоянии пребывает единственный очевидец происшедшего. Ответили, что лаборант чувствует себя нормально, просит выписать его.

— Хорошо, выписывайте, сейчас высылаю машину,— согласился Онисимов.

Не успел он распорядиться о машине, как в кабинет ворвался судебно-медицинский эксперт Зубато, полнокровный и громогласный мужчина с волосатыми руками.

— Матвей, что ты мне привез?! — Он возмущенно плюхнулся на стул, который крякнул под ним.— Что за хохмы?! Как я установлю причины смерти по скелету?

— Что осталось, то и привез,— развел руками Онисимов.— Хорошо, что пришел, с ходу формулирую вопрос: каким образом труп может превратиться в скелет?

— С ходу отвечаю: в результате разложения тканей, которое в обычных условиях длится недели и даже месяцы. Это все, что может сам труп.

— Тогда... как м о ж н о превратить труп в скелет?

— Освежевать, срезать мягкие ткани и варить в воде до полного обнажения костей. Воду рекомендуется менять. Ты можешь внятно рассказать, что произошло?

Онисимов рассказал.

— Ну, дела! Эх, жаль, меня не было! — Зубато в огорчении хлопнул себя по коленям.

— А что на шоссе?

— Э, пьяный мотоциклист налетел на корову. Оба живы... Так, говоришь, «растаял» труп?— Эксперт скептически сощурился, приблизил полное лицо к Онисимову.— Матвей, это липа. Так не бывает, я тебе точно говорю. Человек не сосулька, даже мертвый. А не обвели тебя там?

— Это как?

— Да так: подсунули скелет вместо трупа, пока ты заходил да выходил... и концы в воду!

— Что ты мелешь: подсунули! Выходит, академик стоял на стреме?! Да вот и он показывает...— Онисимов засуетился, ища показания Азарова.

— Э, теперь они покажут! Там народ такой...— Зубато волнообразно пошевелил волосатыми пальцами.— Помнишь, когда у них студент облучился, то завлабораторией тоже все валил на науку: мол, малоисследованное явление, гамма-радиация разрушила кристаллические ячейки дозиметра... а на поверку оказалось, что студенты расписывались под инструкцией о работе с изотопами, не читая ее! Отвечать никому не хочется, даже академикам, тем более по мокрому делу. Припомни: ты оставлял их наедине с трупом?

— Оставлял,— голос следователя упал.— Два раза...

— Вот тогда твой труп и «растаял»! — И Зубато рассмеялся бодрым смехом человека, который сознает, что неприятность случилась не с ним.

Следователь задумался, потом отрицательно покачал головой.

— Нет, тут ты меня не собьешь. Я же видел... Но вот как теперь быть с этим скелетом?

— Шут его... постой, есть идея! Отправь череп в городскую скульптурную мастерскую. Пусть восстановят облик по методу профессора Герасимова, они умеют. Если совпадет, то... это же будет криминалистическая сенсация века! Если нет...— Зубато сочувственно поглядел на Матвея Аполлоновича,— тогда не хотел бы я

оказаться на твоем месте при разговоре с Алексеем Игнатьевичем! Ладно, я сам и направлю, так и быть.— Он поднялся.— И заодно освидетельствую... хоть скелет, раз уж насчет трупа у тебя туго!

Зубато удалился.

«А если вправду обвели?— Онисимов вспомнил, как неприязненно смотрел на него академик, как лебезил доцент Хилобок, и похолодел.— Прошляпил труп, основную улику, милое дело!»

Он набрал номер химической лаборатории.

— Виктория Степановна, Онисимов беспокоит. Проверили жидкость?

— Да, Матвей Аполлонович. Протокол в перепечатке, но данные я вам прочитаю. «Воды — 85 процентов, белков — 13 процентов, аминокислот — 0,5 процента, жирных кислот — 0,4 процента», ну и так далее. Словом, это плазма человеческой крови. По гемагглютинам относится к первой группе, содержание воды понижено.

— Понятно. Вредность от нее может быть?

— Думаю, что нет...

— Понятно... А если, например, искупаться в ней?

— Ну... можно, видимо, захлебнуться и утонуть. Это вас устроит?

— Благодарю вас! — Матвей Аполлонович раздраженно бросил трубку. «Ишь, острячка! Но похоже, что версия несчастного случая отпадает... Может, притопил его лаборант в баке? Очень просто. Нет, на утопление не похоже...»

С каждой минутой дело нравилось Онисимову все меньше. Он разложил на столе взятые в институтском отделе кадров и в лаборатории документы, углубился в их изучение. Его отвлек телефон.

— Матвей, с тебя причитается! — загремел в мембране победный голос Зубато.— Кое-что я установил даже по скелету: посередине шестого и седьмого ребер на правой стороне грудной клетки имеются глубокие поперечные трещины. Такие трещины бывают от удара тупым тяжелым предметом или о тупой предмет, как угодно. Поверхность излома в трещинах свежая...

— Понятно!

— Эти трещины сами по себе не могут быть причиной смерти. Но удар большой силы мог серьезно повредить внутренние органы, которые, увы, отсутствуют... Вот в таком плане. Буду рад, если это тебе поможет.

— Еще как поможет! Череп на идентификацию отправил?

— Только что. И позвонил — обещали сделать быстро.

«Итак, это не несчастный случай от производственных причин. Ни жидкость, ни короткое замыкание человеку ребра не ломают. Ай-ай! Значит, было там двое: пострадавший и потерпевший. И похоже, что между пострадавшим и потерпевшим завязалась серьезная драка...»

Онисимов почувствовал себя бодрее: в деле наметились привычные очертания. Он стал набрасывать текст срочной телеграммы в Харьков.

Июньский день накалялся зноем. Солнце плавило асфальт. Жара сочилась и в кабинет Онисимова, он включил вентилятор на своем столе.

Ответ харьковской милиции пришел ровно в час дня.

Лаборанта Кравца доставили в половине второго. Войдя в кабинет, он внимательно огляделся с порога, усмехнулся, заметив решетки на окнах:

— Это зачем, чтобы быстрей сознавались?

— Не-ет, что вы! — добродушно пропел Матвей Аполлонович.— В нашем здании раньше оптовая база была, так весь первый этаж обрешетили. Скоро снимем, в милицию воры по своей охоте не полезут, хе-хе... Садитесь. Вы уже здоровы, показания давать можете?

— Могу.

Лаборант прошел через комнату, сел на стул против окна. Следователь рассматривал его. Молод, года двадцать четыре, не более. Похож на Кривошеина, таким тот мог быть лет десять назад. «Впрочем,— Матвей Аполлонович скосил глаза на фотографию Кривошеина в личном деле,— тот таким не был, нет. Этот — красавчик». И верно, во внешности Кравца была какая-то манекенная зализанность и аккуратность черт. Это впечатление разрушали лишь глаза — собственно, даже не сами глаза, голубые и по-юношески ясные, а прицельный прищур век. Лаборант смотрел на следователя умно и настороженно. «Пожилые у него какие-то глаза,— ответил следователь.— Но быстро оправился от передряги, никаких следов. Ну-с, попробуем».

— Знаете, а вы похожи на покойного Кривошеина.

— На покойного?! — Лаборант стиснул челюсти и на секунду прикрыл глаза.— Значит, он...

— Да, значит,— жестко подтвердил Онисимов. «Нервочки у него не очень...»— Впрочем, давайте по порядку.— Он придвинул к себе лист бумаги, открыл авторучку.— Ваши имя, отчество, фамилия, возраст, место работы или учебы, где проживаете?

— Да вам ведь, наверно, известно?

— Известно-неизвестно — такой порядок, чтобы допрашиваемый сам назвался.

«Значит, погиб... что теперь делать? Что говорить? Катастрофа... Черт меня принес в милицию — мог бы сбежать из клиники... Что же теперь будет?»

— Пожалуйста, пишите: Кравец Виктор Витальевич, двадцать четыре года, студент пятого курса физического факультета Харьковского университета. Живу постоянно в Харькове, на Холодной горе. Здесь на практике.

— Понятно,— следователь, вместо того, чтобы писать, быстро и бесцельно вертел ручку.— Состояли в родственных отношениях с Кривошеиным, в каких именно?

— В отдаленных,— неловко усмехнулся студент.— Так, седьмая вода на киселе.

— Понятно! — Онисимов положил авторучку, взял телеграфный бланк; голос его стал строгим.— Так вот, гражданин, не подтверждается.

— Что не подтверждается?

— Версия ваша, что вы Кравец, живете и учитесь в Харькове и так далее. Нет в Харьковском университете такого студента. Да и на Холодной горе, 17 указанное лицо не проживало ни временно, ни постоянно.

У допрашиваемого на мгновение растерянно обмякли щеки, лицо вспыхнуло. «Влип. Вот влип, ах, черт! Да как глупо!.. Ну, конечно же, они сразу проверили. Вот что значит отсутствие опыта... Но что теперь-то говорить?»

— Говорите правду. И подробненько. Не забывайте, что дело касается смертного случая.

«Правду... Легко сказать!»

— Понимаете... правда, как бы это вам сказать... это слишком много и сложно..,— забормотал растерянно лаборант, ненавидя и презирая себя за эту растерянность.— Здесь надо и о теории информации, о моделировании случайных процессов...

— Вот только не напускайте тумана, гражданин,— брюзгливо поморщился Онисимов.— От теорий люди не погибают — это сплошная практика и факты.

— Но... понимаете, может быть, собственно, никто и не погиб, это можно доказать... попытаться доказать. Дело в том, что... видите ли, гражданин следователь... («Почему я назвал его «гражданин следователь»— я ведь еще не арестант?!») Видите ли, человек — это прежде всего... н-ну... не кусок протоплазмы весом в семьдесят килограммов... Ну, там пятьдесят литров воды, двадцать килограммов белков... жиров и углеводов... энзимы, ферменты, все такое. Человек — это прежде всего информация. Сгусток информации... И если она не исчезла — человек жив...

Он замолчал, закусил губу. «Нет, бессмысленная затея. Не стоит и стараться».

— Так, я слушаю вас, продолжайте,— внутренне усмехаясь, поторопил следователь.

Лаборант взглянул на него исподлобья, уселся поудобнее и сказал с легкой улыбкой:

— Одним словом, если без теорий, то Валентин Васильевич Кривошеин — это я и есть. Можете занести это в протокол.

Это было настолько неожиданно и нагло, что Матвей Аполло-

нович на минуту онемел. «Не отправить ли его к психиатру?» Но голубые глаза допрашиваемого смотрели осмысленно, а в глубине их пряталась издевательская усмешка. Она-то и вывела Онисимова из оцепенения.

— По-нят-но! — Он тяжело поднялся.— Вы что же, за дурака меня считаете? Будто я не знакомился с личным делом Кривошеина, не был на происшествии, не помню его облика и прочее?— Он уперся руками о стол.— Не хотите объявлять себя — вам же хуже. Все равно узнаем. Вы признаете, что документы у вас поддельные?

«Все. Надо выходить из игры».

— Нет. Это вам еще надо доказать. С таким же успехом вы могли бы считать поддельным меня!

Лаборант отвернулся к окну.

— Вы не паясничайте, гражданин! — повысил голос следователь.— С какой целью вы проникли в лабораторию? Отвечайте! Что у вас получилось с Кривошеиным? Отвечайте!

— Не буду я отвечать!

Матвей Аполлонович мысленно выругал себя за несдержанность. Сел, помолчал — и заговорил задушевным тоном:

— Послушайте, не думайте, что я утопить вас хочу. Мое дело провести дознание, доложить картину, а там пусть прокуратура расследует, суд решает... Но вы сами себе вредите. Вы не понимаете одного: если сознаетесь потом, как говорится, под давлением улик, это не будет иметь той цены, как чистосердечное признание сейчас. Возможно, все не так страшно. Но пока что все улики против вас. Картина повреждений на трупе, данные экспертов, другие обстоятельства. И все сходится в одном,— он перегнулся через стол, понизил голос,— что вроде как вы потерпевшего... того... облегчили.

Допрашиваемый опустил голову, потер лицо ладонями. Перед его глазами снова возникла картина: конвульсивно дергающийся в баке скелет с головой Кривошеина, свои руки, вцепившиеся в край бака... теплая, ласковая жидкость касается их и — удар!

— Сам не знаю, я или не я...— пробормотал он севшим голосом.— Не могу понять...— Он поднял глаза.— Послушайте, мне надо вернуться в лабораторию!

Матвей Аполлонович едва не подпрыгнул: такой быстрой победы он не ожидал.

— Что ж, и так бывает,— сочувственно покивал он.— В состоянии исступления от нанесенного оскорбления достоинству или превышение предела необходимой обороны... Сходим и в лабораторию, на месте объясните, как там у вас с ним вышло.— Он придвинул к себе лежавшую на краю стола «шапку Мономаха», спросил небрежно: — Этим вы, что ли, по боку его двинули? Увесистая штука.

— Ну, хватит! — резко и как-то даже надменно произнес допрашиваемый и распрямился.— Не вижу смысла продолжать бесе-

ду: вы мне шьете «мокрое» дело... Между прочим, эта «увесистая штука» стоит пять тысяч рублей, вы с ней поосторожней.

— Значит, не желаете рассказывать?

— Нет.

— Понятно,— следователь нажал кнопку.— Придется вас задержать до выяснения.

В дверях появился долговязый, худой милиционер с длинным лицом и отвислым носом — про таких на Украине говорят: «Довгый, аж гнеться».

— Гаевой?— следователь посмотрел на него с сомнением.— Что, из сопровождающих больше никого нет?

— Так что все в разгоне, товарищ капитан,— ответил тот.— На пляжах многие, следят за порядком.

— Машина есть?

— Газик.

— Отправьте задержанного в подследственное отделение... Напрасно отказываетесь помочь нам и себе, гражданин. Омрачаете свою участь.

Лаборант в дверях обернулся.

— А вы напрасно считаете, что Кривошеин мертв.

«Из тех пижонов, для которых главное — красиво уйти. И чтоб последнее слово осталось за ним,— усмехнулся вслед ему Онисимов.— Видели мы и таких. Ничего, посидит — одумается».

Матвей Аполлонович закурил, поиграл пальцами по стеклу стола. Поначалу улики (липовые документы, сведения экспертов, обстоятельства происшествия) настроили его на мысль, что «лаборант» если не прямой убийца, то активный виновник гибели Кривошеина. Но в разговоре впечатление изменилось. И дело было не в том, *что* говорил допрашиваемый, а *как* он говорил. Не чувствовалось в его поведении тонкой продуманности, игры — той смертной игры, которая выдает злостного преступника раньше улик.

«Похоже, что дело тянет на непредумышленное убийство. Сам говорит: «Не знаю: я или не я...» Но — скелет, скелет! Как *это* получилось? Да получилось ли? Может, устроено? И еще: попытка выдать себя за Кривошеина с «теоретическим» обоснованием... Что это: симуляция? А что, если это отсутствие игры — просто очень тонкая игра? Да откуда ему такого набраться: молодой парень, явно неопытный... И потом: какие мотивы для умышленного убийства? Что они там не поделили? Но — липовые документы?!»

Мысли Матвея Аполлоновича зашли в тупик. «Что ж, будем вникать в обстановку». Он поднялся из-за стола, выглянул в коридор: там уже расхаживал доцент Хилобок.

— Прошу вас!.. Я пригласил вас, товарищ Хилобок, чтобы...— начал следователь.

— Да, да, понимаю,— закивал доцент,— кому несчастье, а мне

хлопоты. Умирают люди от старости, что и нам с вами дай бог, Матвей Аполлонович, верно? А у Кривошеина все не как у людей. Нет, я сожалею, конечно, вы не подумайте, человека всегда жалко, ведь верно?— Только я из-за Валентина Васильевича столько хлопот принял, столько неприятностей. А все потому, что характер у него был поперечный, никого не уважал, ни с кем не считался, отрывался от коллектива регулярно...

— Понятно. Только я хотел бы выяснить, чем занимались Кривошеин и вверенная ему лаборатория? Поскольку вы ученый секретарь, то...

— А я так и догадался! — довольно улыбнулся Гарри Харитонович.— Вот даже копию тематического плана с собой захватил, а как же! — Он зашелестел листами в папке.— Вот, пожалуйста: тема 152, специфика — поисковая НИР, наименование — «Самоорганизация сложных электронных систем с интегральным вводом информации», содержание работы — «Исследование возможности самоорганизации сложной системы в более сложную при интегральном (недифференцированном по сигналам и символике) вводе различной информации путем надстраивания системы по ее выходным сигналам», финансирование — бюджет, характер работы — математический, логический и экспериментальный поиск, руководитель работы — ведущий инженер В. В. Кривошеин, исполнитель — он же...

— В чем же суть его исследований?

— Суть? Гм...— Лицо Хилобока посерьезнело.— Самоорганизация систем... чтобы машина сама себя строила, понимаете? В Америке этим тоже занимаются очень интенсивно. Очень, да. В Соединенных Штатах...

— А что же конкретно делал Кривошеин?

— Конкретно... Он предложил новый подход к образованию этих систем путем... интегрализации. Нет, самоорганизации... Да только еще неизвестно, вышло у него что или нет! — Гарри Харитонович подкупающе широко улыбнулся.— Знаете, Матвей Аполлонович, столько тем, столько работ в институте, во все приходится вникать — так что не все и в памяти удержишь! Это лучше бы поднять протоколы ученого совета.

— Значит, он докладывал о работе на ученом совете института?

— Конечно! У нас все работы обсуждаются, прежде чем их в план включать. Ведь ассигнования нам выделяют по обоснованиям, а как же!

— И что он обосновал?

— Ну как что?— снисходительно повел бровями ученый секретарь.— Идею свою относительно нового подхода по части самоорганизации. Лучше всего протоколы поднять, Матвей Аполлонович,— вздохнул он.— Ведь дело год назад было, у нас всякие обсуж-

дения, совещания, комиссии каждую неделю, если не чаще, можете себе представить? И на всех мне нужно быть, участвовать, организовывать выступления, самому выступать, приглашать, вот и от вас мне придется сразу ехать в Общество по распространению, там сегодня совещание по вопросу привлечения научных кадров к чтению лекций в колхозах во время уборки, даже пообедать не успею, хоть бы уж в отпуск скорее уйти...

— Понятно. Но тему его ученый совет утвердил?

— Да, а как же! Многие, правда, возражали, спорили. Ах, как дерзко отвечал тогда Валентин Васильевич, просто недопустимо — профессора Вольтампернова после заседания валерьянкой отпаивали, можете себе представить? Порекомендовали дирекции выговор Кривошеину вынести за грубость, я сам и приказ готовил... Но тему утвердили, а как же! Предлагает человек новые идеи, новый подход — пусть пробует. У нас в науке так, да. К тому же Аркадий Аркадьевич его поддержал — Аркадий Аркадьевич у нас добрейшей души человек, он ведь его и в отдельную лабораторию выделил потому, что Кривошеин из-за своего поперечного нрава ни с кем не мог сработаться. Правда, лаборатория-то смех один, неструктурная, с одной штатной единицей... А на ученом совете обсудили и проголосовали «за». Я тоже голосовал «за».

— Так за что же «за»?— Онисимов вытер платком вспотевший лоб.

— Как за что? Чтобы включить тему в план, выделить ассигнования. Плановость — она, знаете, основа нашего общества.

— Понятно... Как вы думаете, Гарри Харитонович, что там у них случилось?

— М-м... так ведь это вам надо выяснить, уважаемый Матвей Аполлонович, откуда же мне знать — я ученый секретарь, мое дело бумажное. Работали они с зимы вдвоем с этим лаборантом, ему и знать. К тому же он очевидец.

— А вы знаете, что этот практикант-лаборант не тот, за кого он себя выдает?— строго спросил Онисимов.— Не Кравец он и не студент.

— Да-а-а?! То-то, я смотрю, вы его под стражу взяли! — У Хилобока округлились глаза.— Не-ет, откуда же мне знать, я, право... это наш отдел кадров просмотрел. А кто же он?

— Выясняем. Так, говорите, американцы подобными работами занимаются и интересуются?

— Да. Значит, вы думаете, что он?..

— Ну, зачем так сразу?— усмехнулся Онисимов.— Я просто прикидываю возможные версии.— Он покосился на бумажку, где были записаны вопросы.— Скажите, Гарри Харитонович, вы не замечали за Кривошеиным отклонений со стороны психики?

Хилобок довольно улыбнулся.

— Вот я шел сюда, припоминал и колебался, знаете: говорить или нет? Может, мелочь, может, не стоит? Но раз вы сами спрашиваете... Бывали у него заскоки. Вот, помню, в июле прошлого года, я тогда как раз совмещал свою должность с заведованием лабораторией экспериментальных устройств, не могли долгое время подходящего специалиста найти, кандидата наук, вот я и совместил, чтобы штатная единица не пропадала напрасно, а то, знаете, могут снять должность, потом не добьешься, у нас ведь так. И значит, как раз незадолго перед этим приняла моя лаборатория заказ от Кривошеина на изготовление новой системы энцефалографических биопотенциальных датчиков — ну, вроде этой СЭД-1, «шапки Мономаха», что у вас на столе, только более сложная конструкция, чтобы перестраивать на различные назначения по кривошеинским схемам. Зачем они заказ от него приняли, вместо того чтобы наукой заниматься, ума не приложу...

От проникновения в научные дела нетренированный мозг Матвея Аполлоновича сковывала сонная одурь. Обычно он решительно пресекал любые отклонения от интересующей его конкретной темы, но сейчас — человек русской души — не мог побороть в себе почтения к науке, к ученым титулам, званиям и обстоятельствам. Почтение это жило в нем всегда, а с тех пор, как во время прошлого следствия в институте он познакомился с ведомостью зарплаты научных сотрудников, оно удвоилось. Вот и теперь Онисимов не отваживался стеснить вольный полет речи Гарри Харитоновича: как-никак перед ним сидел человек, который получает в два с лишним раза больше, чем он, капитан милиции Онисимов,— и на законном основании.

— И вот, можете себе представить, сижу я в лаборатории както,— распространялся далее Хилобок,— и приходит ко мне Валентин Васильевич — без халата, заметьте! У нас это не положено, специальный приказ был по институту, чтобы инженерный и научный состав ходил в белых халатах, а техники и лаборанты — в серых или синих, у нас ведь часто иностранные делегации бывают, иначе нельзя, но он всегда пренебрегал, и спрашивает меня этаким тоном: «Когда же вы выполните заказ на новую систему?» Ну, я спокойненько ему все объясняю: так, мол, и так, Валентин Васильевич, когда сможем, тогда и выполним, не так просто все сделать, что вы там нарисовали, монтаж соединений очень сложный получается, транзисторов много приходится отбраковывать... словом, объясняю, как полагается, чтобы человек в претензии не остался. А он свое: «Не можете выполнить в срок, не надо было и браться!» Я ему снова объясняю насчет сложности и что заказов накопилось в лаборатории много, а Кривошеин перебивает меня: «Если через две недели не будет выполнен заказ, я на вас докладную напишу, а работу передам школьникам в кружок любителей электроники!

И быстрее сделают, и накладных расходов меньше будет!» Насчет накладных расходов это он камешек в мой огород бросает, он и раньше такие намеки высказывал, ну да что толку! И с тем хлопает дверью, уходит...

Следователь мерно кивал и стискивал челюсти, чтобы не выдать зевоту. Хилобок взволнованно журчал:

— А пять минут спустя — заметьте! — не более пяти минут прошло, я по телефону с мастерскими переговорить не успел — врывается снова Валентин Васильевич ко мне, уже в халате, успел где-то найти серый лаборантский,— и опять: «Гарри Харитонович, когда же наконец будет выполнен заказ на систему датчиков?»— «Помилуйте,— говорю,— Валентин Васильевич, да ведь я вам все объяснил!»— и снова пытаюсь рассказать насчет транзисторов и монтажа. Он перебивает, как и в тот раз: «Не можете, так не нужно браться...»— и снова насчет докладной, школьников, накладных расходов...— Хилобок приблизил лицо к следователю.— Короче говоря, *высказал все то же, что и пять минут назад, теми же словами!* Можете себе представить?

— Любопытно,— кивнул следователь.

— И не один такой заскок у Кривошеина был. То воду забыл перекрыть на ночь, весь этаж под лабораторией затопил. То — дворник мне как-то жаловался — устроил в парке огромный костер из перфолент. Так что..,— доцент значительно поджал полные красные губы, траурно оттененные усами,— всякое могло статься. А все почему? Выдвинуться хотел и работой себя перегружал сверх меры. Бывало, когда ни уходишь из института, а во флигеле у него все окна светятся. У нас в институте многие посмеивались. Кривошеин, мол, хочет сделать не диссертацию, а сразу открытие... Вот и дооткрывался, теперь поди разберись.

— Понятно.— Следователь снова скосил глаза на бумажку.— Вы упоминали, что у Кривошеина была близкая женщина. Вы ее знаете?

— Елену Ивановну Коломиец? А как же! Таких женщин, знаете, немного у нас в городе — оч-чень приметная, элегантная, милая, ну, словом, такая...— Гарри Харитонович восполнил невыразимое словами восхищение прелестями Елены Ивановны зигзагообразным движением рук. Карие глаза его заблестели.— Я всегда удивлялся, да и другие тоже: и что она в нем нашла? Ведь у Кривошеина — конечно, «де мортуис аут бене, аут нихиль», но что скрывать?— сами видели, какова внешность. И одеться он никогда не умел как следует, и прихрамывал... Приходила она к нему, наши дома в академгородке рядом, так что я видел. Но что-то последнее время я ее не замечал. Наверное, разошлись, как в море корабли, хе-хе! А вы думаете, она тоже причастна?

— Я пока ни на кого не думаю, Гарри Харитонович, я только

выясняю.— Онисимов с облегчением поднялся.— Ну, благодарю вас. Надеюсь, мне не надо вас предупреждать о неразглашении, поскольку...

— Ну, разве я не понимаю! Не стоит благодарности, мой долг, так сказать, я всегда пожалуйста...

После ухода доцента Матвей Аполлонович подставил голову под вентилятор, несколько минут сидел без движений и без мыслей. В голове жужжанием мухи по стеклу отдавался голос Хилобока.

«Постой! — Следователь помотал головой, чтобы прийти в себя.— Но ведь он ничего не прояснил. Битый час разговаривали и все вроде бы о деле — и ни-че-го. Фу-фу... ученый секретарь, доцент, кандидат наук — неужели темнил? Ох, здесь что-то не то!»

Зазвенел телефон.

— Онисимов слушает.

Несколько секунд в трубке слышалось лишь прерывистое дыхание — видно, человек никак не мог отдышаться.

— Товарищ... капитан... это Гаевой... докладывает. Так что... подследственный бежал!

— Бежал?! Как бежал? Доложите подробно!

— Так что... везли мы его в газике, Тимофеев за рулем, а я рядом с этим...— бубнил в трубку милиционер.— Как обычно задержанных возим. Вы ведь, товарищ капитан, не предупредили насчет строгого надзора, ну, я и думал: куда он денется, раз документы у вас? Ну, когда проезжали мимо горпарка, он на полной скорости выпрыгнул, через ограду — и ходу! Ну, мы с Тимофеевым за ним. Только он здорово по пересеченной местности бегает... Ну, а стрельбу я открывать не стал, поскольку не было ваших указаний. Так что... все.

— Понятно. Явитесь в горотдел, напишите рапорт на имя дежурного. Плохо работаете, Гаевой!

— Так что... может, какие меры принять, товарищ капитан?— уныло спросили в трубке.

— Без вас примем. Быстрее возвращайтесь сюда, будете участвовать в розыске. Все! — Онисимов бросил трубку.

«Ну, артист, просто артист! А я еще сомневался... Он, конечно, он! Так. Документов у него нет, денег тоже. Одежды на нем всего ничего: брюки да рубашка. Далеко не уйдет. Но если у него есть сообщники, тогда хуже...»

Через десять минут появился еще более согнувшийся от сознания вины Гаевой. Онисимов собрал опергруппу розыска, передал фотографии, рассказал словесный портрет и приметы. Оперативники ушли в город.

Затем Матвею Аполлоновичу, позвонил дактилоскопист. Он сообщил, что отпечатки пальцев, собранные в лаборатории, частично идентифицируются с контрольными оттисками лаборанта; про-

чие принадлежат другому человеку. Ни те, ни другие отпечатки несхожи с имеющимися в каталоге рецидивистов.

«Другой человек — потерпевший, понятно... Ого, дело закручивается серьезное, на обычную уголовщину не похоже! Да ни на что оно не похоже из-за этого растреклятого скелета! Что с ним делать?»

Онисимов в тоске посмотрел в окно. Тени деревьев на асфальте удлинились, но жара не спадала. Около троллейбусной остановки толпились девушки в цветных сарафанчиках и темных очках. «На пляж едут...»

Самое досадное, что у Онисимова до сих пор не было рабочей версии происшествия.

В конце дня, когда Матвей Аполлонович выписывал повестки на завтра, к нему вошел начальник горотдела. «Ну, вот...» Онисимов поднялся, чувствуя угнетенность.

— Садитесь,— полковник грузно опустился на стул.— Что у вас за осложнения в деле: трупа нет, подследственный бежал, а? Расскажите.

Онисимов рассказал.

— Гм...— Начальник свел на переносице толстые седые брови.— Ну, этого молодца, конечно, возьмем. Аэропорт, железная дорога и автовокзалы под наблюдением?

— Конечно, Алексей Игнатьевич, предупредил сразу.

— Значит, никуда он из города не денется. А вот с трупом... действительно занятно. Черт-те что! А не напутали ли вы там на месте что-нибудь?— Он взглянул на следователя умными маленькими глазками.— Может... помните, как у Горького в «Климе Самгине» один говорит: «Может, мальчика-то и не было?» А?

— Но... врач «скорой помощи» констатировала смерть, Алексей Игнатьевич.

— И врачи ошибаются. К тому же врач не эксперт, причину смерти она не определила. И трупа нет. А по скелету наш Зубато затрудняется... Конечно, смотрите сами, я не навязываю, но если вы не объясните, как труп в течение четверти часа превратился в скелет, да еще чей это труп, да еще от чего наступила смерть — никакой суд эту улику не примет во внимание. И более явные случаи суды сейчас возвращают на доследование, а то и вовсе прекращают за отсутствием улик. Оно, конечно, хорошо, что закон действует строго и осторожно, да только...— Он шумно вздохнул.— Трудное дело, а? Версия у вас имеется?

— Есть наметка,— застеснялся Онисимов,— только не знаю, как вам, Алексей Игнатьевич, покажется. По-моему, это не уголовное дело. По свидетельству ученого секретаря института, в Соединенных Штатах очень интересуются проблемой, которую разрабатывал Кривошеин, это первое. «Лаборант Кравец» по своему поведе-

нию и по культурному, что ли, уровню не похож ни на студента, ни на уголовника. И убежал он мастерски, это второе. К тому же отпечатки его пальцев не идентифицируются с рецидивистами — третье. Так, может?..— Матвей Аполлонович замолчал, вопросительно поглядел на шефа.

— ...спихнуть это дело в КГБ?— с прямотой солдата закончил тот его мысль и покачал головой.— Ой, не торопитесь! Если мы, милиция, раскроем преступление с иностранным, так сказать, акцентом, то от этого ни обществу, ни нам никакого вреда не будет, кроме пользы. А вот если органы раскроют за нас обычную уголовщину или нарушение техники безопасности, то... сами понимаете. И без того мы в последнем полугодии по проценту раскрываемости сошли на последнее место в зоне.— Он с добродушной укоризной взглянул на Онисимова.— Да вы не падайте духом! Недаром говорят, что самые запутанные преступления — самые простые. Может, все здесь затуманено тем, что дело случилось в научном заведении: темы-проблемы, знания-звания, термины всякие... черт голову сломит. Не торопитесь выбирать версию, проверьте все варианты, может, и окажется, как у Крылова: «А ларчик просто открывался»... Ну, желаю вам успеха,— начальник встал, протянул руку,— уверен, что вы справитесь с этим делом!

Матвей Аполлонович тоже поднялся, пожал протянутую руку, проводил полковника просветленным взглядом. Нет, что ни говори, но когда начальство в тебе уверено — это много значит!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

> Люди, которые считают, что жизнь человеческая с древних времен меняется только внешне, а не по существу, уподобляют костер, возле которого коротали вечера троглодиты, телевизору, развлекающему наших современников. Это уподобление спорно, ибо костер и светит и греет, телевизор же только светит, да и то лишь с одной стороны.
>
> *К. Прутков-инженер, мысль № 111*

Пассажирку в вагоне скорого поезда Новосибирск—Днепровск, пухлую голубоглазую блондинку средних лет, волновал парень с верхней полки. У него были грубые, но правильные черты обветренного лица, вьющиеся темные волосы с густой проседью, сильные загорелые руки с толстыми пальцами и следами мозолей на ладонях — и в то же время мягкая улыбка, обходительность (добровольно уступил нижнюю полку, когда она села в Харькове), интеллигент-

ная речь. Парень лежал, положив квадратный подбородок на руки, жадно смотрел на мелькание деревьев, домиков, речушек, путевых знаков и улыбался. «Интересный!»

— Небось родные места?— спросила спутница.

— Да.

— И давно не были?

— Год.

Он узнавал: вот нырнуло под насыпь шоссе, по которому он гонял на мотоцикле с Леной... вот дубовая роща, куда днепровцы выезжают на выходной... вот Старое русло, место уединенных пляжей, чистого песка и спокойной воды... вот хутор Вытребеньки — ого, какое строительство! Наверное, химзавод... Улыбался и хмурился воспоминаниям.

...Собственно, никуда он на мотоцикле не ездил с Леной, ни в роще той не был, ни на пляжах — все это делалось без него. Просто состоялся однажды разговор, в котором он, если быть точным, также личного участия не принимал.

— Даю применение: варианты человеческой жизни! Вот смотри: «Во Владивостоке судоремонтный завод приглашает инженера-электрика для монтажных работ на местах. Квартира предоставляется». Али я не инженер-электрик? Монтажные работы на местах — что может быть лучше! Тихоокеанская волна захлестывает арматуру! Ты травишь кабель, слизываешь соленые брызги с губ — словом, преодолеваешь стихии!

— Да, но...

— Нет, я понимаю: раньше было нельзя. Раньше! Ведь мы с тобой люди долга: как это — бросить работу и уехать для удовлетворения бродяжьих наклонностей? Все мы так остаемся — и с нами остается тоска по местам, где не был и никогда не будешь, по людям, которых не встретишь, по делам и событиям, в которых не придется участвовать. Мы глушим эту тоску книгами, кино, мечтами — ведь невозможно человеку жить несколько жизней параллельно! А теперь...

— А теперь то же самое. Ты уедешь во Владивосток слизывать брызги, а я останусь со своей неудовлетворенностью.

— Но... мы можем меняться. Раз в полгода, никто не заметит... впрочем, вздор: мы будем различаться на полгода жизненного опыта...

— То-то и оно! Направившись по одному жизненному пути, человек становится иным, чем был бы, пойди он по-другому.

...Все-таки он подался именно во Владивосток. Не глушить неудовлетворенность уехал — бежал от ужаса воспоминаний. Он бы и дальше бежал, но дальше был океан. Правда, вакансия на монтажных работах в портах оказалась занятой, но в конце концов рвать подводные скалы, расчищать места для стоянок кораблей — тоже

работа неплохая. Романтики хватало: погружался с аквалангом в сине-зеленую глубину, видел свою колеблющуюся тень на обкатанных прибоем камнях дна, долбил в скалах скважины, закладывал динамитные патроны, поджигал шнур — и, распугивая рыб, которые через минуту всплывут вверх брюхом, уплывал сломя голову к дежурной лодке... А потом, заскучав по инженерной работе, он внедрил там электрогидравлический удар — и безопасней динамита, и производительней. Все память о себе оставил.

— Издалека едете?— снова нарушила его воспоминания дама.

— С Дальнего Востока.

— По вербовке ездили или так?

Парень скосил вниз серые глаза, усмехнулся коротко:

— На лечение...

Спутница покивала с опасливым сочувствием. У нее пропала охота разговаривать. Она достала из сумки книгу и отчужденно углубилась в нее.

...Да, там началось исцеление. Ребята из бригады удивлялись его бесстрашию. Ему в самом деле не было страшно: сила, ловкость, точный расчет — и никакая глубинная волна не достанет. Там он держал свою жизнь в собственных руках — чего же бояться? Самое страшное он пережил здесь, в Днепровске, когда Кривошеин властвовал над его жизнью и смертью. Даже над многими смертями. Кривошеин, видите ли, не понимал: то, что он проделывал над ним, хуже чем пытать связанного!

У парня помимо воли напряглось тело. Озноб злости стянул кожу. Многое выветрили из него за год океанские муссоны: пришибленность, панический страх, даже нежные чувства к Лене. А это осталось.

«Может, не стоило возвращаться? Океан, рядом с которым чувствуешь себя маленьким и простым, хорошие хлопцы, трудная и интересная работа. Все уважали. Там я стал самим собой. А здесь... кто знает, как у него повернулись дела?»

...Но он не мог не вернуться, как не мог забыть прошлое. Сначала — в перекур, после работы ли, в выходные дни, когда всей бригадой ездили на катере во Владик,— неотступно зудила мысль: «А Кривошеин работает. Он один там...» Потом пришла идея.

Как-то расчищали дно в безымянном заливчике в Хабаровском крае, там из сбросового побережья били теплые минеральные ключи. Прыгнув с лодки, он попал в такую струю и едва не закричал от дикой памяти тела! Вкус воды был как вкус *той* жидкости, неощутимая теплая ласковость, казалось, таила в себе *ту* давнюю опасность растворить, уничтожить, погасить сознание. Он рванулся вперед — холодная океанская волна отрезвила и успокоила его. Но впечатление не забылось. К вечеру оно превратилось в мысль, да в какую: можно поставить обратный опыт!

И, исцеляясь от прежних воспоминаний, он «заболел» этой идеей. Ожило воображение исследователя. Ах, как это было упоительно: обдумывать опыт, загадывать, какие огромные результаты он может принести!.. Работа подрывника казалась ему теперь серым прозябанием. Уже без боязни, детально и целенаправленно он продумывал все, что с ним было, проигрывал в уме варианты опыта... И он не мог оставаться там с этой идеей: ведь Кривошеин и по сей день, вероятно, не пришел к ней. К такой идее невозможно прийти умозрительно — надо пережить все, как он пережил.

Но — по неумолимой логике их работы — другая мысль пришла вслед за идеей опыта: ну ладно, они найдут новый способ обработки человека информацией. Что же он даст? Эта мысль оказалась труднее первой; за дорогу от Владивостока до Днепровска он не раз возвращался к ней, но до сих пор не додумал до конца.

Перед вагонным окном, отражая грохот колес, замелькали балки моста: поезд пересекал Днепр. Парень на минуту отвлекся, полюбовался теплоходом на воздушной подушке, летевшим над голубой водой вниз по течению, и зеленым склоном правого берега. Мост кончился, снова замелькали домики, сады, кустарник вдоль насыпи.

«Все сводится к задаче: как и какой информацией можно усовершенствовать человека? Остальные проблемы упираются в эту... Дана система: мозг человека и устройства ввода — глаза, уши, нос и прочее. Три потока информации питают мозг: от повседневной жизни, от науки и от искусств. Требуется выделить самую эффективную по своему действию на человека — и направленную. Чтоб совершенствовала, облагораживала. Самая эффективная, конечно, повседневная информация: она конкретна и реальна, формирует жизненный опыт человека. Это сама жизнь, о чем говорить. Существенно, пожалуй, то, что она взаимодействует с человеком по законам обратной связи: жизнь влияет на человека, но и он своими поступками влияет на жизнь. Но действие повседневной информации на людей бывает самое различное: она изменяет человека и в лучшую сторону и в худшую. Стало быть, это не то...

Рассмотрим научную информацию. Она тоже реальна, объективна — но абстрактна. По сути, это обобщенный опыт деятельности людей. Поэтому она может быть применена во множестве жизненных ситуаций, и поэтому же действие ее на жизнь огромно. Причем здесь тоже есть обратная связь с жизнью, хотя и не индивидуальная для каждого человека, а общая: наука разрешает проблемы жизни и тем изменяет ее — а измененная жизнь ставит перед наукой новые проблемы. Но опять-таки воздействие науки на жизнь человека и на человека, в частности, может быть и положительным, и отрицательным. Примеров тому много. И еще один изъян: она трудно усваивается человеком. Н-да, тяжело... Ничего, если все

время думать над одним и тем же, рано или поздно дойдешь. Главное думать по системе...»

Его отвлекло послышавшееся внизу всхлипывание. Он посмотрел: спутница, не отрывая взгляда от книжки, утирала покрасневшие глаза платочком.

— Что вы читаете?

Она сердито взглянула вверх, показала обложку: «Три товарища» Ремарка.

— А ну их совсем...— И снова углубилась в чтение.

«Да... Умирает туберкулезная девушка — любящая и утонченная. А моей сытенькой и здоровой соседке жаль ее, как саму себя... Словом, нечего вертеть вола: видимо, информация Искусства — именно то и есть! Во всяком случае, по своей направленности она обращена к лучшему, что есть в человеке. В Искусстве за тысячелетия отобрана самая высококачественная информация о людях: мысли, описания тонких движений души, сильных и высоких чувств, ярких характеров, прекрасных и умных поступков... Все это испокон веков работает на то, чтобы развить в людях понимание друг друга и жизни, исправить нравы, будить мысли и чувства, искоренять животную низость душ. И эта информация доходит — выражаясь точно, она великолепно закодирована, как нельзя лучше приспособлена для переработки в вычислительной машине марки «Человек». В этом смысле и повседневная и научная информация в подметки не годятся информации Искусства».

Поезд, проезжая днепровские пригороды, замедлил ход. Спутница отложила книжку, завозилась — вытаскивала чемоданы.

«Да, но вот как насчет эффективности? Тысячелетиями люди старались... Правда, примерно до середины прошлого века Искусство было доступно немногим. Но потом за это дело взялась техника: массовое книгопечатание, литографии, выставки, грамзаписи, кино, радио, телевидение — информация Искусства стала доступна всем. Для современного человека объем информации, которую он получает из книг, фильмов, радиопередач, иллюстрированных журналов и телевидения, соизмерим с информацией от жизни и намного больше объема научной информации. И что же? Гм... действие искусства не измеряется приборами и не проверяется экспериментами. Остается сравнить, скажем, действие науки и действие искусств за последние полвека. Господи, да никакого сравнения и быть не может!»

Поезд подкатил к перрону, к толпе встречающих, носильщиков и мороженщиков. Парень спрыгнул с полки, сдернул сверху рюкзак, взял на руку синий плащ. Спутница хлопотала над тремя солидными чемоданами.

— Ого, сколько у вас багажа! Давайте помогу,— парень взялся за самый большой.

— Нет уж, спасибо! — Дама быстро села на один чемодан, перекинула полную ногу на второй, обеими руками вцепилась в третий, запричитала: — Нет, спасибо! Нет уж, спасибо, нет уж, спасибо!

Она подняла вверх лицо, в котором не осталось никакой миловидности. Щеки были не пухлые, а одутловатые, глаза — не голубые, водянистые — смотрели затравленно и враждебно. Бровей и вовсе не стало: две потные полоски ретуши. Чувствовалось: одно движение парня — и женщина завопит.

— Простите! — Тот отдернул руку, вышел. Ему стало противно.

«Вот пожалуйста: иллюстрация сравнительного действия повседневной информации и информации Искусства! — размышлял он, сердито шагая через привокзальную площадь.— Мало ли кто мог приехать из мест, не столь отдаленных: снабженец, партработник, спортсмен, рыбак... нет, подумала худшее, заподозрила в гнусных намерениях! Принцип бытейской надежности: лучше не поверить, чем ошибиться. Но не ошибаемся ли мы по этому принципу гораздо крупнее?»

В поезде он думал от нечего делать. Сейчас он размышлял, чтобы успокоиться, и все о том же.

«Конечно, рассказать о каждом человеке в книге или на экране — его поймут, в него поверят, простят плохое, полюбят за хорошее. А в жизни все сложнее и обыденнее... Что пенять на дамочку — я сам не лучше. Когда-то в глупом возрасте я не верил своему отцу. Любил его, но не верил. Не верил, что он участвовал в революциях, в гражданской войне, был ротным у Чапаева, встречался с Лениным... Все началось с фильма «Чапаев»: в нем не было отца! Был достоверный Чапаев и другие герои — они сильными голосами произносили яркие отрывистые фразы... а бати не было! Да и вообще батя — какой он чапаевец? Не ладил с мамкой. Говорил дребезжащим от вставных челюстей голосом, на ночь клал их в стакан. Неправильно (не как в кино) выговаривал слова, мудреные перевирал. Опять же посадили в 1937 году... И когда он рассказывал соседкам во дворе, как за большевистскую агитацию на фронте во времена Керенского стоял два часа с полной выкладкой на бруствере окопа, как привозил в Смольный Ленину серебряные «георгии» от солдат-фронтовиков в фонд революции, как, приговоренный казаками к казни, сидел в сарае... а дворовые бабы охали, обмирали, всплескивали ладонями: «Карпыч-то наш герой — ах, ах!»— я посмеивался и не верил. Я точно знал, какие бывают герои — по кино, по радиопередачам...»

Приезжий поморщился от этих воспоминаний.

«Э, в конечном счете это было не со мной! Впрочем, главное: это было... Да, но похоже, что в великом способе передачи информации — Искусстве — есть какой-то изъян. Посмотрят люди фильм

или спектакль, прочитают книгу, молвят: «Нравится...»— и идут дальше жить, как жили: одни неплохо, другие так себе, а третьи и вовсе паршиво. Искусствоведы часто находят изъян в потребителях информации: публика, мол, дура, читатель не дорос... Принять такую точку зрения, значит согласиться, что я сам дурак, что я не дорос... нет, не согласен! Да и вообще валить на тупость и невежество людей — это неконструктивный подход. Люди — они все-таки могут и понять и познать. В большинстве своем они не тупицы и не невежды. Так что лучше все-таки поискать изъян в способе — тем более что мне этот способ нужен для экспериментальной работы...»

На глаза приезжему попалась будка телефона. Он сначала затуманенно посмотрел на нее: что-то он должен сделать в этом предмете? Вспомнил. Вздохнул глубоко, вошел в автомат, набрал номер лаборатории новых систем. В ожидании ответа у него заколотилось сердце, пересохло во рту. «Волнуюсь. Плохо...» В трубке звучали лишь долгие гудки. Тогда, поколебавшись, он позвонил вечернему дежурному по Институту системологии:

— Вы не поможете мне разыскать Кривошеина? Он не в отпуске?

— Кривошеин? Он... нет, он не в отпуске. А кто спрашивает?

— Если он сегодня появится в институте, передайте ему, пожалуйста, что приехал... Адам.

— Адам? А как фамилия?

— Он знает. Так не забудьте, пожалуйста.

— Хорошо. Не забуду.

Приезжий вышел из будки с облегчением: только сейчас он понял, что совершенно не готов к встрече. «Ну, делать нечего, раз приехал... Может быть, он дома?»

Он сел в троллейбус. Окутанные синими сумерками улицы города не занимали его: он уехал летом и вернулся летом, все в зелени, и вроде ничего не изменилось.

«Ну, так все-таки, как применить информацию Искусства в нашей работе? И можно ли применить? Вся беда в том, что эта информация не становится ни жизненным опытом человека, ни точными знаниями, а именно на опыте и знаниях строят люди свои поступки. По большому счету должно быть так: прочел человек книгу — стал понимать себя и знакомых, поглядел подлец спектакль — ужаснулся и стал честным человеком, сходил трусишка в кино — вышел храбрецом. И чтобы на всю жизнь, а не на пять минут. Наверное, именно о таком действии своей информации мечтают писатели и художники. Почему же не выходит? Давай прикинем... Информация Искусства строится по образцу повседневной. Она конкретна, содержит лишь неявные и нестрогие обобщения, но нереальна, а только правдоподобна. Пожалуй, в этом ее слабость. Она не может быть применена как научная: чтобы человек мог на ее основе проекти-

ровать и планировать свою жизнь, для этого она недостаточно обща и объективна. Нельзя ею и руководствоваться как повседневной — и именно из-за ее конкретности, которая никогда не совпадает с конкретной жизнью данного читателя.

Да если бы и совпадала, кто же захочет жить под копирку? Скопировать прическу — еще куда ни шло, но копировать рекомендуемую массовым тиражом жизнь... Видимо, идея «воспитывать на литературных образцах» рождена мыслью, что человек произошел от обезьяны и ему свойственна подражательность. Но человек — уже давно человек, миллион лет. Ныне ему свойственны самоутверждение и оригинальность поведения, он знает, что так вернее».

— Академгородок! — прохрипел в динамике голос водителя.

Приезжий вышел — и сразу увидел, что ехал напрасно. Два ряда стандартных пятиэтажных домов, сходясь в перспективе, смотрели друг на друга светящимися окнами. Но в доме № 33 в окнах угловой квартиры на пятом этаже света не было.

Чувство облегчения, что неприятная встреча с Кривошеиным снова оттягивается, смешалась у парня с досадой: ночевать-то негде! Обратным троллейбусом он вернулся в центр, стал обходить гостиницы — мест, конечно, нигде не было.

И снова его захватили мысли — они теперь скрашивали унылые поиски ночлега.

...И чем далее мы живем, тем больше убеждаемся в многообразии жизненных ситуаций, к которым неприменимы те решения, что описаны в книгах или показаны в кино. И начинаем воспринимать информацию Искусства как квазижизнь, в которой все не так. В ней можно безопасно пережить рискованное приключение — даже со смертельным исходом, проявить принципиальность, не нажив неприятностей по службе... словом, почувствовать себя, хоть и ненадолго, иным: более умным, красивым, смелым, чем ты есть на самом деле. Неспроста люди, которые живут однообразной порядочной жизнью, обожают авантюрные романы и детективы...»

Он вышел на сияющий огнями проспект Маркса.

«И применяем мы эту великую информацию по пустякам: для развлечения, для провождения времени. Или чтоб девушку очаровать подходящим стишком... Эта информация не своя. Не сам дошел до решений и истин. Сиди, смотри или читай, как за прозрачной стенкой идет выдуманная жизнь,— ты лишь «приемник информации»! Правда, бывали случаи, когда «приемники» не выдерживали и пытались влиять: то — батя как-то рассказывал — красноармеец в Самаре однажды «вдарил из винта» в артиста, выступавшего в роли Колчака во фронтовой пьеске, а еще ранее в Нижнем Новгороде публика избила исполнителя роли Яго — за правдивость игры... Сама идея разбить прозрачную стенку, влиять — здоровая... В ней что-то есть...»

Мысль, еще не оформившаяся в слова, смутная, как предчувствие, зрела в голове приезжего. Но в этот момент его мягко тронули за плечи. Он оглянулся: рядом стояли трое в штатском. Один из них небрежно провел перед его лицом красной книжечкой:

— Предъявите документы, гражданин.

Приезжий недоуменно пожал плечами, поставил на асфальт рюкзак, достал из кармана паспорт. Оперативник прочел первую страницу, перевел глаза с фотографии на его лицо, потом снова на фотографию — и возвратил паспорт.

— Все в порядке. Прошу извинить.

«Уфф!» Парень подхватил рюкзак и, стараясь не ускорять шаг, двинулся гостинице «Театральная». Настроение у него испортилось. «Может быть, не стоило мне приезжать?»

Трое отошли к табачному киоску. Там их ждал также одетый в штатское милиционер Гаевой.

— Ну, я же говорил,— победно сказал он.

— Не тот...— вздохнул оперативник.— Какой-то Кривошеин Валентин Васильевич. А по фотографии и словесному портрету — точно Кравец.

— Словесный портрет, словесный портрет... что словесный портрет?!— рассердился Гаевой.— Я ж его видел, сопровождал: тот без седин, моложе лет на десять, да и пощуплее будет.

— Пошли на вокзал, ребята,— предложил второй оперативник.— Что он, в самом деле, дурной: по проспекту гулять!

Виктор Кравец в это время действительно пробирался по темной пустынной улочке.

...Выбросившись тогда на ходу из милицейской машины, он через городской парк выбрался на склоны Днепра, лежал в кустах, ждал темноты. Хотелось курить и есть. Низкое солнце золотило утыканный пестрыми грибками песок Пляжного острова; там копошились купающиеся. Маленький буксир, распустив от берега до берега водяные усы, торопился вверх, к грузовому порту, за новой баржей. Внизу под обрывом шумели на набережной машины и трамваи.

«Доработались... Все мы продумали: методику опытов, варианты применения способа, даже влияние его на положение в мире — только такой вариант не предусмотрели. Так шлепнуться с большой высоты мордой в грязь: из исследователей в преступники! Боже мой, ну что это за работа такая: один неудачный опыт — и все летит в тартарары. И я не готов к этой игре со следователями и экспертами, настолько не готов, что хоть иди в библиотеку и штудируй уголовный кодекс — и что там еще есть?— процессуальный кодекс, что ли! Я не знаю правил игры и могу ее проиграть. Собст-

венно, я ее уже почти проиграл. Библиотека... какая теперь может быть библиотека!»

Градирни электростанции на той стороне Днепра исходили толстыми клубами пара — казалось, что они вырабатывают облака. Солнце нижним краем касалось их.

«Что же теперь делать? Вернуться в милицию, рассказать все «чистосердечно» и самым унизительным образом выдать то, что мы берегли от дурного глаза? Выдать не ради спасения работы — себя. Потому что работу этим не спасешь: через два-три дня в лаборатории все начнет гнить — и ничего не докажешь, никто не поверит и не узнает, что там было... Да и себя я этим не спасу; Кривошеин-то погиб. Он, как говорится, на мне... Пойти к Азарову, все объяснить? Ничего ему сейчас не объяснишь. Я теперь для него даже не студент-практикант — темная личность с фальшивыми документами. Его, конечно, известили о моем побеге, теперь он как лояльный администратор должен содействовать милиции... Вот она, проблема людей, в полный рост. Все наши беды от нее. Даже точнее — от того, что никак не хотели смириться с тем, что не можем решить ее лабораторным способом. Ну еще бы: мы! Мы, которые достигли таких результатов! Мы, у которых в руках неслыханные возможности синтеза информации! Куда к черту... А эта проблема нам не по зубам, пора признаться. А без нее какой смысл имеет остальное?»

Солнце садилось. Кравец поднялся, смахнул траву с брюк, пошел вверх по тропинке, не зная куда и зачем. В брюках позванивала мелочь. Он посчитал: на пачку сигарет и сверхлегкий ужин. «А дальше?» Две студентки, устроившись на скамье в кустах готовиться к экзаменам, с интересом поглядывали на красивого парня, помотали головами, отгоняя грешные мысли, уткнулись в конспекты. «М-да... в общем-то не пропаду. Может, отправиться к Лене? Но она, наверное, тоже под наблюдением, застукают...»

Тропинка вывела на тихую, безлюдную улочку. Из-за заборов свешивались ветви, усеянные начавшими краснеть вишнями. В конце улицы пылало подсвеченное снизу рыжее облако.

Быстро темнело. Вечерняя прохлада пробиралась под рубашку, надетую на голое тело. На противоположной стороне улицы в квартале от Виктора вышли из полумрака два человека в фуражках. «Милиция!» Кравец метнулся в переулок. Пробежав квартал, остановился, чтобы успокоить сердце.

«Дожил! Двадцать лет не бегал ни от кого, как мальчишка из чужого сада...— От беспомощности и унижения курить хотелось просто нестерпимо.— Игра проиграна! Надо признать это прямо — и выходить. Уносить ноги. В конце концов каждый из нас в определенной ситуации испытал стремление уйти, свернуть в сторону. Теперь моя очередь, какого черта! Что я еще могу?»

Переулок выводил в сияние голубых огней. При виде их Виктор почувствовал приступ зверского аппетита: он не ел почти сутки. «Хм... там еще можно где-то поесть. Пойду! Вряд ли меня станут искать на проспекте Маркса».

...Бетонные столбы выгнули над асфальтом змеиные головки газосветных фонарей. За витринами магазинов стояли в непринужденных позах элегантные манекены, лоснились радиоприемники, телевизоры, кастрюли, целились в прохожих серебряные дула бутылок «Советского шампанского», хитроумными винтообразными горками высились консервы. Под пляшущей световой рекламой «Вот что можно выиграть за 30 копеек!» красовались холодильник «Днепр», магнитофон «Днепр-12», швейная машина «Днипро» и автомобиль «Славутич-409». Даже подстриженные под бокс липы вдоль широких тротуаров казались промышленными изделиями.

Виктор вышел в самую толчею, на трехквартальный «брод» от ресторана «Динамо» до кинотеатра «Днепр». Гуляющих было полно. Вышагивали ломкой походкой растрепанные под богемствующих художников мальчики со стеклянными глазками. Чинно прохаживались пожилые пары. Обнимая подруг, брели в сторону городского парка франтоватые юноши. Увертисто и деловито шныряли в толпе парни с челками над быстрыми глазами — из тех, что «по фени ботают, нигде не работают». Девушки осторожно несли разнообразные прически. Здесь были прически «тифозные», прически «после бабьей драки», прически «пусть меня полюбят за характер» и прочие шедевры парикмахерского искусства. Маялись одинокие молодые люди, раздираемые желаниями и застенчивостью.

Кравец сначала шел с опаской, но постепенно его стала разбирать злость.

«Ходят, ходят: себя показать, людей посмотреть... Для них будто остановилось время, ничего не происходит. Ходили еще по Губернаторской — прогибали дощатые настилы, осматривали фаэтоны лихачей, друг друга. Ходили после войны — от развалины кинотеатра «Днепр» до развалины ресторана «Динамо» под болтающимися на деревянных столбах лампочками, лузгали семечки. Проспект залили асфальтом, одели в многоэтажные дома из бетона, алюминия и стекла, иллюминировали, посадили деревья и цветы — ходят как ни в чем не бывало: жуют ириски, слушают на ходу транзисторы, судачат — утверждают неистребимость обывательского духа! Себя показать — людей посмотреть, людей посмотреть — себя показать. Прошвырнуться, зайти в кафе-автомат, слопать пирожок под газировку, прошвырнуться, свернуть в благоустроенный туалет за почтамтом, совершить отправление, прошвырнуться, подколоться, познакомиться, прошвырнуться... Насекомая жизнь!»

Он обошел толпу, собравшуюся на углу проспекта с улицей Энгельса, возле новинки-автомата для продажи лотерейных билетов. Автомат, сработанный под кибернетическую машину, наигрывал музыку, радиоголосом выкрикивал лотерейные призывы и за два пятиалтынных, бешено провертев колесо из никеля и стекла, выдавал «счастливый» билет. Кравец скрипнул зубами.

«А мы, самонадеянные идиоты, замыслили преобразовать людей одной лабораторной техникой! А как быть с этими, обывательствующими? Что изменилось для них от того, что вместо извозчиков появились такси, вместо гармошек — магнитофоны на полупроводниках, вместо разговоров «из рта в ухо»— телефоны, вместо новых галош, надеваемых в сухую погоду,— синтетические плащи? Сиживали за самоварами — теперь коротают вечера у телевизоров...»

Толпа выплескивала обрывки фраз:

— Между нами говоря, я вам скажу откровенно: мужчина это мужчина, а женщина это женщина!

— ...Он говорит: «Валя?» А я: «Нет!» Он: «Люся?» А я: «Нет!» Он: «Соня?» А я: «Нет!»

— Абрам уехал в командировку, а жена...

— Научитесь удовлетворяться текущим моментом, девушки!

«А что изменится в результате прогресса науки и техники? Ну, будут витрины магазинов ломиться от полимерных чернобурок, от атомных наручных часов с вечным заводом, полупроводниковых холодильников и радиоклипс... Самодвижущиеся ленты тротуаров из люминесцентного пластика будут переносить гуляющих от объемной синерамы «Днепр» до ресторана-автомата «Динамо»— не придется даже ножками перебирать... Будут прогуливаться с микроэлектронными радиотелепередатчиками, чтобы, не поворачивая к собеседнице головы и не напрягая гортани, вести все те же куриные разговоры:

— Между нами говоря, я вам скажу откровенно: робот это робот, а антресоль это антресоль!

— Абрам отправился в антимир, а жена...

— Научитесь удовлетворяться текущей микросекундой!

А на углу сработанный под межпланетный корабль автомат будет торговать открытками «Привет с Венеры»: вид венерианского космопорта в обрамлении целующихся голубков... И что?»

Мимо Кравца прошествовал Гарри Харитонович Хилобок. На руке его висела кисшая от смеха девушка — доцент ее занимал и не заметил, как беглый студент метнулся в тень лип. «У Гарри опять новая»,— усмехнулся вслед ему Кравец. Он купил в киоске сигареты, закурил и двинулся дальше. Сейчас его одолевала такая злоба, что расхотелось есть; попадись он в объятия оперативников — злоба разрядилась бы великолепной дракой.

В гостинице «Театральная» свободных мест тоже не оказалось. Приезжий шел по проспекту в сторону Дома колхозника и хмуро разглядывал фланирующую публику.

«Ходят, ходят... Во всех городах всех стран есть улицы, где вечерами гуляют — от и до — толпы, коллективы одиночек. Себя показать — людей посмотреть, людей посмотреть — себя показать. Ходят, ходят — и планета шарахается под их ногами! Какой-то коллективный инстинкт, что ли, тянет их сюда, как горбуш в места нерестилищ? А другие сидят у телевизоров, забивают «козла» во дворах, строят «пулю» в прокуренной комнате, отирают стены танцверанд... Сколько их, отставших, приговоривших себя к прозябанию? «Умеем что-то делать, зарабатываем прилично, все у нас есть, живем не хуже других — и оставьте нас в покое!». Одиночки, боящиеся остаться наедине с собой, растерявшиеся от сложности жизни и больше не задумывающиеся над ней... Такие помнят одно спасительное правило: для благополучия в жизни надо быть как все. Вот и ходят, смотрят: как все? Ожидают откровения...»

Оттесненная сияющим великолепием проспекта, брела за прозрачными облаками луна. До нее никому не было дела.

«А мальчишками и они мечтали жить ярко, интересно, значительно, узнать мир... Нет человека, который не мечтал бы об этом. И сейчас, пожалуй, мечтают сладостно и бессильно. В чем же дело? Не хватило духа применить мечту к жизни? Да и зачем? Зачем давать волю своим мечтам и сильным чувствам — еще неизвестно, куда это заведет! — когда есть покупные, когда можно безопасно кутить на чужом пиру выдуманных героев? И прокутились вдрызг, растратили по мелочам душевные силы, осталось в самый обрез для прогулки по проспекту...»

Мимо проследовал доцент Хилобок с девушкой. «А у Гарри опять новая!» — мысленно приветствовал его приезжий.

Он посмотрел ему вслед: догнать и спросить о Кривошеине? «Э, нет: от Хилобока во всех случаях лучше держаться подальше!»

Приезжий и Кравец вступили на один квартал.

«...Когда-то человекообразные обезьяны разделились: одни взяли в лапы камни и палки, начали трудиться, мыслить, другие остались качаться на ветках. Сейчас на Земле начался новый переходный процесс, стремительней и мощнее древнего оледенения: скачок мира в новое качественное состояние. Но что им до этого? Они заранее согласны остаться на «бродах», у телевизоров — удовлетворять техникой нехитрые запросы! — неистовствовал в мыслях Виктор Кравец.— Что им все новые возможности — от науки, от техники, от производства? Что им наша работа? Можно прибавить ума, ловкости, работоспособности — и что? Будут выучиваться

чему-то не для мастерства и удовлетворения любопытства, а чтоб больше получать за знания, за легкую работу, чтоб возвыситься над другими своей осведомленностью. Будут приобретать и накоплять — чтобы заметили их преуспевание, чтобы заполнить опустошенность хлопотами о вещах. И на черный день. Его может и не быть, а пока из-за него все дни серые... Скучно! Уеду-ка во Владивосток. Сам — пока не отправили казенным порядком... И работа заглохнет естественным образом. Ничем она им не поможет: ведь чтобы использовать *такую* возможность, надо иметь высокие цели, душевные силы, неудовлетворенность собой. А они бывают недовольны только окружающим; обстоятельствами, знакомыми, жизнью — чем угодно, но не собой. Ну и пусть гуляют. Как говорится, наука здесь бессильна...»

Сейчас их разделяло только здание главпочтамта.

Гневные мысли отхлынули. Осталась какая-то непонятная неловкость перед людьми, которые шли мимо Кравца.

«Кто-то сказал: никто так не презирает толпу, как возвысившийся над нею зауряд... Кто?— Он наморщил лоб.— Постой, да ведь это я сам сказал о ком-то другом. Ну, разумеется о ком-то другом, не о себе же...— Ему вдруг стало противно.— А ведь, топча их, я топчу и себя. Я от них недалеко ушел, еще недавно был такой же... Постой! Выходит, я просто хочу смыться? Дать тягу. И чтобы не так стыдно было, чтобы не утратить самоуважение, подвожу под это идейную базу? Никого я не продал, все правильно, наука бессильна, так и должно быть... боже мой, до чего подла и угодлива мысль интеллигента! (Между прочим, это я тоже говорил или думал о ком-то другом. Все истины мы применяем к другим, так ловчее жить.) А я как раз и есть тот интеллигент. Все пустил в ход: презрение к толпе, теоретические рассуждения... М-да! — Он покраснел, лицу стало жарко.— Вот до чего может довести неудача. Ну ладно, но что же могу сделать?»

Вдруг его ноги будто прилипли к асфальту: навстречу размашисто шагал парень с рюкзаком и плащом на руке. «Адам?!» Холод вошел у душу Кравца, сердце ухнуло вниз — будто не человек, а ожившее угрызение совести приближалось к нему. Глаза Адама были задумчивые и злые, уголки рта недобро опущены. «Сейчас увидит, узнает...»— Виктор отвел глаза, чтобы не выдать себя, но любопытство пересилило: взглянул в упор. Нет, теперь Адам не был похож на «раба»— шел человек уверенный, сильный, решившийся... В памяти всплыло: распатланная голова на фоне сумеречных обоев, расширенные в тяжелой ненависти глаза, пятикилограммовая чугунная гантель, занесенная над его лицом.

Приезжий прошел мимо. «Конечно, откуда ему узнать меня! —

облегченно выдохнул Кравец.— Но зачем он вернулся? Что ему надо?»

Он следил за удалявшимся в толпе парнем: «Может, догнать, рассказать о случившемся? Все помощь... Нет. Кто знает, зачем его принесло! — Его снова охватило отчаяние.— Доработались, доэкспериментировались, черт! Друг от друга шарахаемся! Постой... ведь есть и другой вариант! Но поможет ли?»— Виктор закусил губу, напряженно раздумывая.

Адам затерялся среди гуляющих.

«Ну, хватит терзаний! — тряхнул головой Кравец.— Эта работа не только моя. И удирать нельзя — надо ее спасать...»

Он вытащил из карманчика мелочь, пересчитал ее, проглотил голодную слюну и вошел в почтамт.

Денег хватило в обрез на короткую телеграмму: «Москва МГУ биофак Кривошеину. Вылетай немедленно. Валентин».

Отправив телеграмму, Виктор вышел на проспект и, дойдя до угла, свернул на улицу, которая вела к Институту системологии. Пройдя немного по ней, он огляделся: не следит ли кто за ним? Улица была пуста, только со здания универмага на него смотрела освещенная розовыми аршинными литерами призыва «Храните деньги в сберегательной кассе!» прекрасная женщина со сберегательной книжкой в руке. Глаза ее обещали полюбить тех, кто хранит.

Над окошком администратора в Доме колхозника красовалось объявление:

«Место для человека — 60 коп.
Место для коня — 1 р. 20 к.»

Приезжий из Владивостока вздохнул и протянул в окошко паспорт.

— Мне, пожалуйста, за шестьдесят...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

> Невозможное — невозможно. Например, невозможно двигаться быстрее света... Впрочем, если это и было бы возможно — стоит ли стараться? Все равно никто не увидит и не оценит.
>
> *К. Прутков-инженер, мысль № 17*

Утром следующего дня дежурный по горотделу передал следователю Онисимову рапорт милиционера, который охранял опечатанную лабораторию. Сообщалось, что ночью — примерно между часом и двумя — неизвестный человек в светлой рубашке пытался про-

никнуть в лабораторию через окно. Окрик милиционера спугнул его, он соскочил с подоконника и скрылся в парке.

— Понятно! — Матвей Аполлонович удовлетворенно потер руки.— Вертится вокруг горячего...

Вчера он направил повестки гражданину Азарову и гражданке Коломиец. На появление у себя в комнате академика Азарова Матвей Аполлонович, понятное дело, и не рассчитывал — просто корешок повестки в случае чего пригодился бы ему как оправдательный документ. Елена же Ивановна Коломиец, инженер соседнего с Институтом системологии конструкторского бюро, пришла ровно в десять часов.

Когда она вошла в кабинет, следователь понял смысл волнообразного жеста Хилобока: перед ним стояла красивая женщина. «Ишь какая ладная!»— отметил Онисимов. Любая подробность облика Елены Ивановны была обыкновенна — и темные волосы как волосы, и нос как нос (даже чуть вздернут), и овал лица, собственно, как овал,— а все вместе создавало то впечатление гармонии, когда надо не анализировать, а просто любоваться и дивиться великому чувству меры у природы.

Матвей Аполлонович вспомнил внешность покойного Кривошеина и ощутил чисто мужское негодование. «И верно — не пара они, прав был Хилобок. Что она в нем такого нашла? Прочности, что ли, искала? Или мужа с хорошим заработком?» Как и большинство мужчин, чья внешность и возраст не оставляют надежд на лирические успехи, Онисимов был невысокого мнения о красивых женщинах.

— Садитесь, пожалуйста. Вам знакомы имена Кривошеина Валентина Васильевича...

— Да,— голос у нее был грудной, певучий.

— ...и Кравца Виктора Витальевича?

— Вити? Да.— Елена Ивановна улыбнулась, показав ровные зубы.— Только я не знала, что он Витальевич. А в чем дело?

— Что вы можете рассказать о взаимоотношениях Кривошеина и Кравца?

— Ну... они вместе работали. Виктор, кажется, приходится Вале... Кривошеину то есть, дальним родственником. Они, по-моему, очень дружили... А что случилось?

— Елена Ивановна, здесь спрашиваю я.— Онисимов смекнул, что, утратив душевное равновесие, она больше скажет, и не спешил прояснить ситуацию.— Это верно, что вы были близки с Кривошеиным?

— Да...

— По какой причине вы с ним расстались?

Глаза Елены Ивановны стали холодными, на щеках возник и исчез румянец.

— Это не имеет отношения к делу!

— А откуда вы знаете, что имеет и что не имеет отношения к делу?— встрепенулся Матвей Аполлонович.

— Потому что... потому что это не может иметь отношения ни к какому делу. Расстались — и все.

— Понятно... ладно, замнем пока этот вопрос. Скажите, где жил Кравец?

— В общежитии молодых специалистов в Академгородке, как и все практиканты.

— Почему не у Кривошеина?

— Не знаю. Видимо, так было удобнее обоим...

— Это несмотря на родство и дружбу? Понятно... А как Кравец относился к вам, оказывал знаки внимания?— Матвей Аполлонович пытался выжать из своей версии все возможное.

— Оказывал...— Елена Ивановна прикусила губу, но все-таки не сдержалась.— Думаю, это делали бы и вы, если бы я вам разрешила.

— Ага, а ему, значит, разрешили? Скажите, Кривошеин не ревновал вас к Кравцу?

— Возможно, ревновал... только я не понимаю, какое вам до этого дело?— Женщина взглянула на следователя с яростной неприязнью.— Какие-то намеки! Что случилось, можете вы мне объяснить?!

— Спокойно, гражданка!

«Может, объяснить ей, в чем дело? Стоит ли? Причастна ли она? Конечно, красивая, можно увлечься, но... не та среда для серьезных сексуальных преступлений — ученые. Статистические сведения не в их пользу. Ученый из-за женщины голову не потеряет... Но Кравец...»

Размышления Онисимова прервал телефонный звонок. Он поднял трубку.

— Онисимов слушает.

— Вышли на подследственного, товарищ капитан,— сообщил оперативник.— Хотите присутствовать?

— Конечно!

— Ждем вас у аэровокзала, машина 57-28 ДНА.

— Понятно! — Следователь встал, весело поглядел на Коломиец.— Договорим с вами в другой раз, Елена Ивановна. Давайте я вам отмечу повестку, не расстраивайтесь, не обижайтесь, у всех нервы — и у меня, и у вас...

— Но что произошло?

— Разбираемся. Пока ничего сказать не могу. Всего доброго!

Онисимов проводил женщину, достал из ящика стола пистолет, запер комнату и почти бегом помчался во внутренний двор горотдела к оперативной машине.

Белоснежный ИЛ подрулил к перрону аэровокзала точно в 13.00. К борту самолета подкатил голубой вздыбленный автотрап. Полный, невысокого роста мужчина в узких зеленых брюках и пестрой рубашке навыпуск первым сбежал вниз и, помахивая расписной туристской котомкой, зашагал по бетонным шестигранным плитам к ограде. Он живо вертел головой, выискивая кого-то в толпе встречающих, нашел — бросился навстречу.

— Ну, здоров! Что за спешка в отпускной период, что за «вылетай немедленно»?! Покажись-ка! О, да ты похорошел, даже постройнел, ей-ей! Что значит: год не видеть человека — и лик твой мне кажется благообразным и даже на челюсть могу смотреть без раздражения...

— И ты, я гляжу, раздобрел там на аспирантских харчах,— встречающий окинул его критическим взглядом.— Соцнакоплениями обзавелся?

— Э, брат, это не просто накопления — это информационно-вещественный резерв. Я тебе потом расскажу, даже продемонстрирую. Это, Валек, полный переворот... Но сначала давай ты: зачем вызвал раньше срока? Нет, постой! — Пассажир самолета вытащил из кармана блокнот, а из него — несколько красных ассигнаций.— Получи должок.

— Какой должок?— Встречающий отстранил деньги.

— Ради бога, только без этого! — Пассажир протестующе поднял руку.— Видели, знаем, заранее умилены: этакий рассеянный ученый, который не снисходит до запоминания всякой там прозы... Не надо. Уж я твою натуру знаю: ты не забываешь долги даже величиной в полтинник. Держи деньги, не пижонь!

— Да нет,— мягко улыбнулся встречающий,— мне ты ничего не должен. Понимаешь...— Он запнулся под внимательным взглядом, который на него устремил пассажир.

— Что за черт! — озадаченно произнес тот.— Ты никак стал красить волосы, лжешатен? А рубец? Рубец над правой бровью — где он?— Его голос вдруг сел до шепота.— Парень... да ты кто?!

Тем временем толпа прилетевших московским самолетом и встречавших рассосалась. Пять человек, которые никого не встретили и никуда не торопились, побросали сигареты и быстро окружили собеседников.

— Только тихо! — произнес Онисимов, вклиниваясь между «лаборантом» и глядевшим на него во все глаза пассажиром; в руке тот сжимал деньги.— При попытке сопротивления будем стрелять.

— Ого! — Ошеломленный пассажир отступил на шаг, но его плотно взяли под локти.

— Не «ого», а милиция, гражданин... Кривошеин, если не ошибаюсь?— Следователь улыбнулся с максимальной приятностью.— Вас нам тоже придется задержать. Разведите их по машинам!



...Виктор Кравец, устраиваясь на заднем сиденье «Волги» между Онисимовым и милицонером Гаевым, улыбался устало и спокойно.

— Между прочим, я бы на вашем месте не улыбался,— заметил Матвей Аполлонович.— За такие шутки срок набавляют.

— Э, что срок! — Кравец беспечно махнул рукой.— Главное: я, кажется, сделал верный ход.

— Вот не думал, что мое возвращение начнется с детективного эпизода! — проговорил пассажир самолета, когда его ввели в комнату следователя.— Что ж, раз в жизни это должно быть интересно.

Он, не дожидаясь приглашения, сел на стул, огляделся.

Онисимов молча сел напротив; в нем сейчас боролись противоречивые чувства: ликование («Вот это операция, вот это удача! Взяли сразу двоих — да, похоже, что на горячем!») и озадаченность. До сих пор следствие строилось на том факте, что в лаборатории погиб или умерщвлен Кривошеин. Но... Матвей Аполлонович придирчиво всмотрелся в задержанного: покатый лоб с залысинами, выступающие надбровные дуги, красно-синий рубец над правой бровью, веснушчатое лицо с полными щеками, толстый нос вздернут седелкой, коротко остриженные рыжеватые волосы — сомнений нет, перед ним сидел Кривошеин! «Вот так я дал маху... Кого же они там прикончили? Ну, теперь уж я выясню все до конца!»

— А это что — намек?— Кривошеин показал на зарешеченные окна.— Чтоб чистосердечней сознавались, да?

— Нет, оптовая база была раньше,— следователь вспомнил, что с такой же реплики начал на вчерашнем допросе «лаборант», усмехнулся забавному совпадению.— От нее остались... Ну, как самочувствие, Валентин Васильевич?

— Благодарю... простите, не знаю вашего имени-отчества, не жалуюсь. А у вас?

— Взаимно,— кивнул следователь.— Хотя мое самочувствие прямого отношения к делу не имеет.

Они улыбались друг другу широко и напряженно, как боксеры перед мордобоем.

— А мое, стало быть, имеет? А я подумал, что у вас это принято: осведомляться о самочувствии пассажиров, которых вы ни за что ни про что хватаете в аэропорту. Так какое же отношение к вашему делу имеет мое состояние здоровья?

— Мы не хватаем, гражданин Кривошеин, а задерживаем,— жестко поправил Онисимов.— И ваше здоровье меня интересует вполне законно, поскольку я имею заключение врача, а также показания свидетелей о том, что вы — труп.

— Я — труп?!— Кривошеин с некоторой игривостью оглядел себя.— Ну, если у вас такие показания, тащите меня в секционный

зал...— Внезапно до него что-то дошло, улыбка увяла. Он поглядел на Онисимова хмуро и встревоженно.— Послушайте, товарищ следователь, если вы шутите, то довольно скверно! Что за труп?!

— Помилуйте, какие шутки! — Онисимов широко развел руками.— Позавчера ваш труп был найден в лаборатории, сам видел... то есть не ваш, конечно, поскольку вы в добром здравии, а очень похожего на вас человека. Его все опознали как ваш.

— Ах, черт! — Кривошеин сгорбился, потер щеки ладонями.— Вы можете мне показать этот труп?

— Ну... вы же знаете, что нет, Валентин Васильевич. Он ведь превратился в скелет. Озорство это, нехорошо... Можно очень дурно истолковать.

— В скелет?! — Кривошеин поднял голову, в его зеленых с рыжими крапинками глазах появилось замешательство.— Как? Где?

— Это произошло там же, на месте происшествия,— если уж вам требуются пояснения на данный предмет от меня,— с нажимом произнес Онисимов.— Может, вы сами лучше объясните?

— Был труп, стал скелет...— пробормотал, хмуря в раздумье брови, Кривошеин.— Но... ага, тогда все не так страшно! Он здесь времени даром не терял... видимо, какая-то ошибка у него получилась. Фу, черт, а я-то! — Он ободрился, осторожно взглянул на следователя.— Путаете вы меня, товарищ, непонятно зачем. Трупы за здорово живешь в скелеты не превращаются, я в этом немного разбираюсь. И потом: чем вы докажете, что это мой... то есть похожего на меня человека труп, если трупа нет? Здесь что-то не так!

— Возможно. Поэтому я и хочу, чтобы вы сами пролили свет. Поскольку дело случилось во вверенной вам лаборатории.

— Во вверенной мне?.. Хм...— Кривошеин умехнулся, покачал головой.— Боюсь, ничего не выйдет насчет пролития света. Мне самому надо бы во всем разобраться.

«И этот будет запираться!»— тоскливо вздохнул Матвей Аполлонович, придвинул лист бумаги, раскрыл авторучку.

— Тогда давайте по порядку. Вас зовут Кривошеин Валентин Васильевич?

— Да.

— Возраст 35 лет? Русский? Холостой?

— Точно.

— Проживаете в Днепровске, заведуете в Институте системологии лабораторией новых систем?

— А вот что нет, то нет. Живу в Москве, учусь в аспирантуре на биологическом факультете МГУ. Прошу! — Кривошеин протянул через стол паспорт и удостоверение.

У документов был в меру потрепанный вид. Все в них — даже временная, на три года, московская прописка — соответствовало сказанному.

— Понятно,— Онисимов спрятал их в стол.— Быстро это в Москве делается, смотрите-ка! За один день.

— То есть... что вы хотите этим сказать?!— Кривошеин вскинул голову, воинственно задрал правую бровь.

— Липа эти ваши документы, вот что. Такая же липа, как и у вашего сообщника, которому вы в аэропорту пытались передать деньги... Алиби себе обеспечиваете? Напрасно старались. Проверим — а дальше что будет?

— И проверьте!

— И проверим. У кого вы работаете в МГУ? Кто ваш руководитель?

— Профессор Андросиашвили Вано Александрович, заведующий кафедрой общей физиологии, член-корреспондент Академии наук.

— Понятно,— следователь набрал номер.— Дежурный? Это Онисимов. Быстренько свяжитесь с Москвой. Пусть срочно доставят к оперативному телевидеофону... запишите: Вано Александрович Андросиашвили, профессор, заведует кафедрой физиологии в университете. Быстро! — Он победно взглянул на Кривошеина.

— Оперативный телевидеофон — это роскошно! — Прищелкнул тот языком.— Я вижу, техника сыска тоже восходит на грань фантастики. И скоро это будет?

— Когда будет, тогда и будет, не торопитесь. У нас еще есть о чем поговорить...— Однако уверенность, с которой держался Кривошеин, произвела впечатление на Матвея Аполлоновича. Он засомневался: «А вдруг действительно какое-то дикое совпадение? Проверю-ка еще».— Скажите, вы знакомы с Еленой Ивановной Коломиец?

Лицо Кривошеина утратило безмятежное выражение — он подобрался, взглянул на Онисимова хмуро и пытливо.

— Да. А что?

— И близко?

— Ну?

— По какой причине вы с ней расстались?

— А вот это, дорогой товарищ следователь, извините, совершено вас не касается! — В голосе Кривошеина заиграла ярость.— В свои личные дела я не позволю соваться ни богу, ни черту, ни милиции!

— Понятно,— хладнокровно кивнул Онисимов. «Он! Деться некуда — он. Чего же он темнит, на что рассчитывает?»— Хорошо, задам вопрос полегче: кто такой Адам?

— Адам? Первый человек на земле. А что?

— Звонил вчера в институт... этот первый человек. Интересовался, где вы, хотел повидать.

Кривошеин безразлично пожал плечами.

— А кто этот человек, который встретил вас в аэропорту?

— И которого вы не весьма остроумно назвали моим сообщником? Этот человек...— Кривошеин в задумчивости поднял и опустил брови.— Боюсь, что он не тот, за кого я его принял.

— Вот и мне кажется, что он не тот! — оживился Онисимов.— Отнюдь не тот! Так кто же он?

— Не знаю...

— Опять за рыбу гроши! — плачущим голосом вскричал Матвей Аполлонович и бросил ручку.— Будет вам воду варить, гражданин Кривошеин, несолидно это! Вы же ему деньги давали, сорок рублей десятками. Что же — вы не знали, кому деньги давали?!

В эту минуту в кабинет вошел молодой человек в белом халате, положил на стол бланк и, взглянув с острым любопытством на Кривошеина, удалился. Онисимов посмотрел бланк — это было заключение об анализе отпечатков пальцев задержанного. Когда он поднял глаза на Кривошеина, в них играла сочувственно-торжествующая улыбка.

— Ну, собственно, все. Можно не дожидаться очной ставки с московским профессором — да и не будет ее, наверное... Отпечатки ваших пальцев, гражданин Кривошеин, полностью совпадают с отпечатками, взятыми мною на месте происшествия. Убедитесь сами, прошу! — Он протянул через стол бланк и лупу.— Так что давайте кончать игру. И учтите,— голос Онисимова стал строгим,— ваш ход с полетом в Москву и липовыми документами — он отягощает... За заранее обдуманное намерение и попытку ввести органы дознания в заблуждение суд набавляет от трех до восьми лет.

Кривошеин, задумчиво выпятив нижнюю губу, изучал бланк.

— Скажите,— он поднял глаза на следователя,— а почему бы вам не допустить, что есть два человека с одинаковыми отпечатками?

— Почему?! Да потому, что за сто лет использования данного способа в криминалистике такого не было ни разу.

— Ну, мало ли чего раньше не было... спутников не было, водородных бомб, электронных машин, а теперь есть.

— При чем здесь спутники?— пожал плечами Матвей Аполлонович.— Спутники спутниками, а отпечатки пальцев — это отпечатки пальцев, неоспоримая улика. Так будете рассказывать?

Кривошеин проникновенно и задумчиво взглянул на следователя, мягко улыбнулся.

— Как вас зовут, товарищ следователь?

— Матвей Аполлонович Онисимов зовут, а что?

— Знаете что, Матвей Аполлонович: бросьте-ка вы это дело.

— То есть как бросить?!

— Обыкновенно — прикройте. Как это у вас формулируется:

«за недостаточностью улик» или «за отсутствием состава преступления». И «сдано в архив такого-то числа»...

Матвей Аполлонович не нашелся что сказать. С подобным нахальством ему в следственной практике встречаться не доводилось.

— Понимаете, Матвей Аполлонович... ну, будете вы заниматься этой разнообразной и в обычных случаях, безусловно, полезной деятельностью: допрашивать, задерживать, опознавать, сравнивать отпечатки пальцев, беспокоить занятых людей по оперативному телевидеофону...— Кривошеин развивал свою мысль, жестикулируя правой рукой.— И все время вам будет казаться, что вот-вот! — и вы ухватите истину за хвост. Противоречия сочетаются в факты, факты в улики, добродетель восторжествует, а зло получит срок плюс надбавку за обдуманность намерений...— Он сочувственно вздохнул.— Ни черта они не сочетаются, эти противоречия, не тот случай. И истины вы не достигнете просто потому, что по уровню мышления не готовы принять ее...

Онисимов нахмурился, оскорбленно поджал губы.

— Нет, нет! — замахал руками Кривошеин.— Не подумайте, ради бога, что я вас хочу унизить, поставить под сомнение ваши детективные качества. Я ведь вижу, что вы человек цепкий, старательный. Но — как бы это вам объяснить?— Он сощурился на желтый от солнца проспект за решетчатым окном.— Ага, вот такой пример. Лет шестьдесят назад, как вы, несомненно, знаете, станки на заводах и фабриках приводились в действие от паровика или дизеля. По цехам проходил трансмиссионный вал, от него к станочным шкивам разбегались приводные ремни — все это вертелось, жужжало, хлопало и радовало своим дикарским великолепием душу тогдашнего директора или купчины-хозяина. Потом пошло в дело электричество — и сейчас все эти предметы заменены электромоторами, которые стоят прямо в станках...

И снова, как вчера во время допроса «лаборанта», Матвея Аполлоновича на минуту охватило сомнение: что-то здесь не так! Немало людей побывали у него в кабинете, отполировали стул, ерзая от неприятных вопросов: угрюмые юнцы, влипшие по глупости в неприятную историю, плаксивые спекулянтки, искательно-развязные хозяйственники, разоблаченные ревизией, степенные, знающие все законы рецидивисты... И все они рано или поздно понимали, что игра проиграна, что наступил момент, когда надо сознаваться и заботиться о том, чтобы в протоколе была отражена чистосердечность раскаяния. А этот... сидит как ни в чем не бывало, размахивает рукой и старательно, на хорошем популярном уровне объясняет, почему дело следует закрыть. «Опять это отсутствие игры меня сбивает! Ну нет, два раза на одном месте я не поскользнусь!»

Матвей Аполлонович был опытный следователь и хорошо знал, что в дело идут не сомнения и не впечатления, а факты. Факты же —

тяжелые и непреложные — были против Кривошеина и Кравца.

— ...Теперь представьте, что на каком-то древнем заводе замена механического привода станков на электрический произошла не за годы, а сразу — за одну ночь,— продолжал Кривошеин.— Что подумает хозяин завода, придя утром в цех? Естественно, что кто-то спер паровик, трансмиссионный вал, ремни и шкивы. Чтобы понять, что случилась не кража, а технический переворот, ему надо знать физику, электротехнику, электродинамику... Вот и вы, Матвей Аполлонович, образно говоря, находитесь сейчас в положении такого хозяина.

— Физику, электротехнику, электродинамику...— рассеянно повторил Онисимов, поглядывая на часы: скорей бы давали Москву! — И теорию информации, теорию моделирования случайных процессов надо понимать, да?

— Ого! — Кривошеин откинулся на стуле, поглядел на следователя с еле скрываемым восторгом.— Вы и про эти науки знаете?

— Мы, Валентин Васильевич, все знаем.

— Ну, я вижу, вас голыми руками не возьмешь...

— И не советую пробовать. Так как, на незаконное закрытие дела будем рассчитывать или правду расскажем?

— Уфф...— Кривошеин отер платком лоб и щеки.— Жарко у вас... Ладно. Давайте договоримся так, Матвей Аполлонович: я сам разберусь в этом происшествии, а потом вам расскажу.

— Нет,— Онисимов качнул головой,— не договоримся мы так. Не полагается, знаете, чтобы подозреваемый сам проводил дознание по своему делу. Эдак никакое преступление никогда не раскроешь.

— Да, черт побери!..— начал было Кривошеин, но открылась дверь, и молоденький лейтенант сообщил:

— Матвей Аполлонович, Москва!

Онисимов и Кривошеин поднялись на второй этаж, в комнату оперативной связи.

...Вано Александрович Андросиашвили приблизил свое лицо к экрану телевидеофона так стремительно, будто хотел проклюнуть изнутри оболочку электроннолучевой трубки хищным, загнутым, как у орла, носом. Да, он узнает своего аспиранта Валентина Васильевича Кривошеина. Да, последние недели он видел аспиранта ежедневно, а более отдаленные даты встреч и бесед с ним на память назвать не берется, ибо это не календарные праздники. Да, аспирант Кривошеин покинул университет на пять дней по его, Андросиашвили, личному разрешению. Орудийное «эр» Вано Александровича сотрясало динамик телевидеофона... Он крайне озадачен и огорчен, что его для участия в такой странной процедуре оторвали от экза-

менов. Если милиция — тут Вано Александрович устремил горячий взгляд иссиня-черных глаз на Онисимова — перестает верить паспортам, которые она сама выдает, то ему, видимо, придется переквалифицироваться из биолога в удостоверителя личностей всех своих аспирантов, студентов, родственников, а также всех действительных членов и членов-корреспондентов Академии наук, коих он, Андросиашвили, имеет честь знать! Но в этом случае естественным образом может возникнуть вопрос: а кто он такой сам, профессор Андросиашвили, и не следует ли для удостоверения его сомнительной личности доставить сюда на оперативной машине ректора университета или, чтоб вернее, президента Академии наук?

Выговорив все это на одном дыхании, Вано Александрович на прощание качнул головой: «Нэхорошо! Доверять надо!»— и исчез с экрана. Микрофоны донесли до Днепровска звук хлопнувшей двери. Экран показал лысого толстяка в майорских погонах на голубой рубашке; он мученически скривил лицо:

— Что вы, товарищи, сами не могли разобраться? Конец!

Экран погас.

«А Вано Александрович до сих пор на меня в обиде,— спускаясь по лестнице впереди сердито сопящего Онисимова, размышлял Кривошеин.— Оно и понятно: пожалел человека, принял в аспирантуру вне конкурса, а я к нему всей спиной, скрытничаю. Не прими он меня — ничего бы не было. На экзаменах я плавал, как первокурсник. Философия и иностранный еще куда ни шло, а вот по специальности... Конечно, разве наспех прочитанные учебники замаскируют отсутствие систематических знаний?»

...Это было год назад. После вступительного экзамена по биологии Андросиашвили пригласил его к себе в кабинет, усадил в кожаное кресло, сам стал у окна и принялся рассматривать, склонив к правому плечу крупную лысеющую голову.

— Сколько вам лет?

— Тридцать четыре года.

— На пределе... В следующем году отпразднуете в кругу друзей тридцатипятилетие и поставите крест на очной аспирантуре. А в заочную... впрочем, заочная аспирантура существует не для учебы, а для дополнительно оплачиваемого отпуска, не будем о ней говорить. Я прочел ваш автореферат — хороший автореферат, зрелый автореферат, интересные параллели между работой нервных центров и электронных схем проводите. «Отлично» поставил. Но...— профессор взял со стола ведомость, взглянул в нее,— экзамен вы не сдали, дорогой! То есть сдали на «уд», что адекватно: с тройкой по специальности мы не берем.

У Кривошеина, наверное, изменилось лицо, потому что голос Вано Александровича стал сочувственным:

— Послушайте, а зачем вам это надо: переходить на аспирант-

скую стипендию? Я познакомился с вашими бумагами — вы в интересном институте работаете, на хорошей должности работаете. Вы кибернетик?

— Системотехник.

— Для меня это все равно. Так зачем?

Кривощеин был готов к этому вопросу.

— Именно потому, что я системотехник и системолог. Человек — самая сложная и самая высокоорганизованная система из всех нам известных. Я хочу в ней разобраться целиком: как все построено в человеческом организме, как связано, что на что влияет. Понять взаимодействие частей, грубо говоря.

— Чтобы использовать эти принципы для создания новых электронных схем?— Андросиашвили иронически скривил губы.

— Не только... и даже не столько это. Видите ли... когда-то было все не так. Зной и мороз, выносливость в погоне за дичью или в бегстве от опасности, голод или грубая нестерильная пища типа сырого мяса, сильные механические перегрузки в работе, драка, в которой прочность черепа проверялась ударами дубины,— словом, когда-то внешняя среда предъявляла к человеку такие же суровые требования, как ...ну, скажем, как сейчас военные заказчики к аппаратуре ракетного назначения. (Вано Александрович хмыкнул, но ничего не произнес.) Такая среда за сотни тысячелетий и сформировала «хомо сапиенс»— Разумное Позвоночное Млекопитающее. Но за последние двести лет, если считать от изобретения парового двигателя, все изменилось. Мы создали искусственную среду из электромоторов, взрывчатки, фармацевтических средств, конвейеров, систем коммунального обслуживания, транспорта, повышенной радиации атмосферы, электронных машин, профилактических прививок, асфальтовых дорог, бензиновых паров, узкой специализации труда... ну, словом, современную жизнь. Как инженер и я в числе прочих развиваю эту искусственную среду, которая сейчас определяет жизнь «хомо сапиенс» на девяносто процентов, а скоро будет определять ее на все сто — природа останется только для воскресных прогулок. Но как человек я сам испытываю некоторое беспокойство...— Он перевел дух и продолжал: — Эта искусственная среда освобождает человека от многих качеств и функций, приобретенных в древней эволюции. Сила, ловкость, выносливость нынче культивируются только в спорте, логическое мышление, утеху древних греков, перехватывают машины. А новых качеств человек не приобретает — уж очень быстро меняется среда, биологический организм так не может. Техническому прогрессу сопутствует успокоительная, но малоаргументированная болтовня, что человек-де всегда останется на высоте положения. Между тем — если говорить не о человеке вообще, а о людях многих и разных — это уже сейчас не так, а далее будет и вовсе не так. Ведь далеко не у каждого

хватает естественных возможностей быть хозяином современной жизни: много знать, многое уметь, быстро выучиваться новому, творчески работать, оптимально строить свое поведение.

— Чем же вы им хотите помочь?

— Помочь — не знаю, но хотя бы изучить как следует вопрос о неиспользуемых человеком возможностях своего организма. Ну, например, отживающие функции — скажем, умение наших с вами отдаленных предков прыгать с дерева на дерево или спать на ветке. Теперь это не нужно, а соответствующие нервные клетки остались. Или взять рефлекс «мороз по коже»— по коже, на которой почти уже нет волос. Его обслуживает богатейшая нервная сеть. Может, удастся перестроить, перепрограммировать старые рефлексы на новые нужды?

— Так! Значит, мечтаете модернизировать и рационализировать человека?— Андросиашвили выставил вперед голову.— Будет уже не «хомо сапиенс», а «хомо модернус рационалис», да? А вам не кажется, дорогой системотехник, что рационалистическим путем можно превратить человека в чемодан с одним отростком, чтобы кнопки нажимать? Впрочем, можно и без отростка, с управлением от биотоков мозга...

— Если уж совсем рационалистически, то можно и без чемодана,— заметил Кривошеин.

— Тоже верно! — Вано Александрович склонил голову к другому плечу, с любопытством посмотрел на Кривошеина.

Они явно нравились друг другу.

— Не рационализировать, а обогатить — вот над чем я размышляю.

— Наконец-то! — Профессор быстро зашагал по кабинету.— Наконец-то в широкие массы работников техники, покорителей мертвой природы, создателей «искусственной среды» начала проникать мысль, что и они люди! Не сверхчеловеки, которые с помощью интеллекта и справочников могут преодолеть все и вся, а просто люди. Ведь чего только не пытаемся мы изучить и понять: элементарные частицы, вакуум, космические лучи, антимиры, тайну Атлантиды... Себя лишь не хотим изучить и понять! Это, понимаете ли, трудно, неинтересно, в руки не дается... Цхэ, мир может погибнуть, если каждый станет заниматься тем, что в руки дается! — Голос его зазвучал более гортанно, чем обычно.— Человек чувствует биологический интерес к себе, только когда в больницу идти надо, бюллетень выписывать надо... И верно, если так пойдет, то можно обойтись и без чемодана. Как говорят студенты: обштопают нас машины как пить дать! — Он остановился против Кривошеина, склонил голову, фыркнул: — Но все-таки вы дилетант, дорогой системотехник! Как у вас запросто выходит: перепрограммировать старые рефлексы... Ах, если бы это было столь же просто, как перепро-

граммировать вычислительную машину! М-да... но, с другой стороны, вы инженер-исследователь, с идеями, со свежим взглядом на предмет, отличным от нашего, чисто биологического... Ах, что я говорю! Зачем внушаю несбыточные надежды, будто из вас что-то выйдет?!— Он отошел к окну.— Ведь диссертацию вы не напишете и не защитите, да у вас замыслы совсем не те. Да?

— Не те,— сознался Кривошеин.

— Вот видите. Вы вернетесь в свою системологию, а мне от ректората достанется, что я научный кадр не воспитал. Цхэ, беру! — без всякого перехода заключил Андросиашвили. Он подошел к Кривошеину.— Только придется учиться, пройти полный курс биологических наук. Иначе не изыщете вы никаких возможностей в человеке, понимаете?

— Конечно! — радостно закивал тот.— За тем и приехал.

Профессор оценивающе посмотрел на него, притянул за плечо:

— Я вам сэкрет открою: я сам учусь. На вечернем факультете электронной техники в МЭИ, на третьем курсе. И лекции слушаю, и лабораторки выполняю, и даже два «хвоста» имею: по промэлектронике и по квантовой физике. Тоже хочу разобраться, что к чему, помогать мне будете... только тсс!

Они вернулись в кабинет Онисимова. Матвей Аполлонович начал ходить от стены к стене. Кривошеин взглянул на часы: начало шестого — поморщился, жалея о бестолково потерянном времени.

— Итак, все, Матвей Аполлонович, мое алиби доказано. Верните мне, пожалуйста, документы, и расстанемся.

— Нет, погодите! — Онисимов вышагивал по комнате вне себя от ярости и растерянности.

Матвей Аполлонович, как уже упоминалось выше, был опытный следователь, и сейчас он ясно понимал, что все факты этого треклятого дела обернулись против него самого. Кривошеин жив, стало быть, установленная и запротоколированная смерть Кривошеина — ошибка. Личность того, кто погиб или умерщвлен в лаборатории, он не установил, причину смерти или способ умерщвления — тоже и даже не представляет, как к этому подступиться... Мотивов преступления он не знает, версии летят к черту, трупа нет! В фактах все это выглядит так, что дознание проведено следователем Онисимовым из рук вон плохо... Матвей Аполлонович попытался собраться с мыслями. «Академик Азаров опознал труп Кривошеина. Профессор Андросиашвили опознал *живого* Кривошеина и засвидетельствовал его алиби. Значит, либо тот, либо другой дали ложные показания. Кто именно — не ясно. Значит, надо привлекать обоих. Но... привлечь к дознанию таких людей, взять их на подозрение, а потом окажется, что забрел не туда! Это ж костей не соберешь...»

Словом, сейчас Матвей Аполлонович твердо понимал одно: выпускать Кривошеина из рук никак нельзя.

— Нет, погодите! Не придется вам, гражданин Кривошеин, вернуться к вашим темным делам! Думаете, если вы это... загримировали покойника, а потом уничтожили труп, так и концы в воду? Мы еще проверим, кто такой Андросиашвили и по каким мотивам он вас выгораживает! Улики против вас не снимаются: отпечатки пальцев, контакт с бежавшим, попытка вручить ему деньги...

Кривошеин, сдерживая раздражение, поскреб подбородок.

— Я, собственно, не понимаю, что вы мне инкриминируете: что я убит или что я убийца?

— Разберемся, гражданин! — теряя остатки самообладания, проговорил Онисимов.— Разберемся! Только не может такого быть, чтобы вы в этом деле оказались ни при чем... не может быть!

— Ах, не может быть?!— Кривошеин шагнул к следователю, лицо его налилось кровью.— Думаете, если вы работаете в милиции, то знаете, что может и что не может быть?!

И вдруг его лицо начало быстро меняться: нос выпятился вперед, утолстился, полиловел и отвис, глаза расширились и из зеленых стали черными, волосы над лбом отступили назад, образуя лысину, и поседели, на верхней губе пробились седые усики, челюсть стала короче... Через минуту на потрясенного Матвея Аполлоновича смотрела грузинская физиономия профессора Андросиашвили — с кровянистыми белками глаз, могучим носом с гневно выгнутыми ноздрями и сизыми от щетины щеками.

— Ты думаешь, кацо, если ты работаешь в милиции, то знаешь, что может и что не может быть?!

— Прекратите! — Онисимов отступил к стене.

— Не может быть! — неистовствовал Кривошеин.— Я вам покажу «не может быть»!

Эту фразу он закончил певучим и грудным женским голосом, а лицо его начало быстро приобретать черты Елены Ивановны Коломиец: вздернулся милый носик, порозовели и округлились щеки, выгнулись пушистыми темными дугами брови, глаза засияли серым светом...

«Ну, если сейчас кто-нибудь войдет...»— мелькнуло в воспаленном мозгу Онисимова: он кинулся запирать дверь.

— Э-э! Вы это бросьте! — Кривошеин в прежнем своем облике стал посреди комнаты в боксерскую стойку.

— Да нет... я... вы не так меня поняли...— в забытьи бормотал Матвей Аполлонович, отходя к столу.— Зачем вы это?

— Уфф... не вздумайте звонить! — Кривошеин, отдуваясь, сел на стул; лицо его блестело от пота.— А то я могу превратиться в вас. Хотите?

Нервы Онисимова сдали окончательно. Он раскрыл ящик.

— Не надо... успокойтесь... перестаньте... не надо! Пожалуйста, вот ваши документы.

— Вот так-то лучше...— Кривошеин взял документы и подхватил с пола котомку.— Я ведь объяснял по-хорошему, что этим делом вам не следует интересоваться,— нет, не поверили. Надеюсь, что теперь я вас убедил. Прощайте... майор Пронин!

Он ушел. Матвей Аполлонович стоял в прострации, прислушивался к какому-то дробному стуку, разносившемуся по комнате. Через минуту он понял, что это стучат его зубы. Руки тоже тряслись. «Да что же это я?!»— Он схватил трубку телефона — и бросил ее, опустился на стул, обессиленно положил голову на прохладную поверхность стола. «Ну ее к черту, такую работу...»

Дверь широко распахнулась, на пороге появился судмедэксперт Зубато с фанерным ящиком в руках.

— Слушай, Матвей, это же в самом деле криминалистическая сенсация века, поздравляю! — закричал он.— Ух, черт, вот это да!— Он с грохотом поставил ящик на стол, раскрыл, начал выбрасывать на пол вату.— Мне только что доставили из скульптурной мастерской... Смотри!

Матвей Аполлонович поднял глаза. Перед ним стояла сработанная из пластилина голова Кривошеина — с покатым лбом, вздернутым толстым носом и широкими щеками...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Самый простой способ скрыть хромоту на левую ногу — хромать и на правую. У вас будет вид морского волка, шагающего вперевалку.

К. Прутков-инженер.
«Советы начинающим детективам»

«Пижон из пижонов, мелкач! — ругал себя Кривошеин.— Нашел применение открытию: милицию пугать... Ведь он и так отпустил бы меня, никуда бы не делся».

Мышцы лица и тела натруженно ныли. Внутри медленно затихал болезненный зуд желез. «Все-таки три трансформации за несколько минут — это перегрузка. Погорячился. Ну, да ничего со мной не станется. В том-то и фокус, что ничего со мной статься не может...»

Быстро синело небо над домами. С легким шипением загорались газосветные названия магазинов, кафе и кинотеатров. Мысли аспиранта вернулись к московским делам.

«Выдержал марку Вано Александрович, даже не поинтересовался: почему задержали, за что? Опознал — и все. Понятно: раз Кри-

вошеин скрывает от меня свои дела — знать не хочу о них! Обиделся гордый старик... Да и есть за что. Ведь именно в беседе с ним я осмыслил цель опытов. Впрочем, какая там беседа — был спор. Но не с каждым вот так: поспоришь — и обогатишься идеями».

...Вано Александрович все ходил мимо, посматривал с иронической ожиданием: какими откровениями поразит мир дилетант-биолог? Однажды декабрьским вечером Кривошеин захватил его в кабинете на кафедре и высказал все, что думал о жизни вообще и о человеке в частности. Это был хороший вечер: они сидели, курили, разговаривали, а за окном свистела и швырялась в стекла снежной крупой московская предновогодняя пурга.

— Любая машина как-то устроена и что-то делает,— излагал Кривошеин.— В биологической машине под названием «Человек» тоже можно выделить две эти стороны: базисную и оперативную. Оперативная: органы чувств, мозг, двигательные нервы, скелетные мышцы — в большой степени подвластна человеку. Глаза, уши, вестибулярный аппарат, осязательные участки кожи, нервные окончания языка и носа, болевые и температурные нервы воспринимают раздражения от внешней среды, превращают их в электрические импульсы (совсем как устройства ввода информации в электронной машине), головной и спинной мозги анализируют и комбинируют импульсы по принципу «возбуждение—торможение» (подобно импульсным ячейкам машин), замыкают и размыкают первые цепи, посылают команды скелетным мышцам, которые и производят всякие действия — опять же как исполнительные механизмы машин.

Над оперативной частью своего организма человек властен: даже безусловные — болевые, например,— рефлексы он может подавить усилием воли. Но вот в базисной части, которая ведает основным процессом жизни — обменом веществ,— все не так. Легкие втягивают воздух, сердце гонит кровь по темным закоулкам тела, пищевод, сокращаясь, проталкивает комочки пищи в желудок, поджелудочная железа выделяет гормоны и ферменты, чтобы разложить пищу на вещества, которые может усвоить кишечник, печень выделяет в кровь глюкозу... Щитовидная и паращитовидная железы вырабатывают диковинные вещества: тироксин и паратиреодин — от них зависит, будет ли человек расти и умнеть или останется карликом и кретином, разовьется ли у него прочный скелет или кости можно будет завязывать узлом. Пустяковый отросток у основания головного мозга — гипофиз — с помощью своих выделений командует всей таинственной кухней внутренней секреции, а заодно работой почек, кровяным давлением и благополучным разрешением от беременности... И над этой частью организма, ко-

торая *конструирует* человека — его телосложение, форму черепа, психику, здоровье и силу,— сознание не властно!

— Все правильно,— улыбнулся Андросиашвили.— В вашей оперативной части я легко узнаю область действия «анимальной», или «соматической», нервной системы, в базисной — область вегетативных нервов. Эти названия возникли еще в восемнадцатом веке; по-латыни «анималь»—«животное» и «вегетус»—«растение». Лично я не считаю их удачными. Может быть, на уровне двадцатого века наши инженерные наименования более подойдут. Но продолжайте, прошу вас.

— Машину, даже электронную, конструирует и делает человек. Скоро этим займутся сами машины, принцип ясен,— продолжал Кривошеин.— Но почему человек не может конструировать сам себя? Ведь обмен веществ подчинен центральной нервной системе: от мозга к железам, сосудам, кишечнику идут такие же нервы, как и к мышцам и к органам чувств? Почему же человек не может управлять этими процессами, как движением пальцев? Почему сознательное участие человека в обмене веществ выражается лишь в удовлетворении аппетита, жажды и некоторых противоположных отправлений? Это смешно: «хомо сапиенс», царь природы, венец Эволюции, создатель сложнейшей техники, произведений искусства, а в основном жизненном процессе отличается от коровы и дождевого червя разве что применением вилки, ложки да горячительных напитков!

— А почему вам хочется выделять в кровь сахар, ферменты и гормоны непременно усилием своей мысли и воли?— Андросиашвили поднял кустистые брови.— Зачем, скажите на милость, мне вдобавок ко всем делам и заботам по кафедре еще каждый час ломать голову: сколько выделить адреналина и инсулина из надпочечников и куда их направить? Вегетативные нервы сами управляют обменом веществ, не затрудняют человека проблемами — и отлично!

— Отлично ли, Вано Александрович? А болезни?

— Болезни... вон вы куда клоните: болезни как ошибки в работе базисной конструирующей системы.— Брови у профессора выгнулись синусоидой.— Ошибки, которые мы пытаемся исправить пилюлями, компрессами, вакцинами, оперативным вмешательством, и далеко не всегда успешно. Но... болезни — результат тех воздействий среды, к которым организм не приспособлен.

— А почему не приспособлен? Ведь мы в большинстве случаев знаем, что вредно,— на этом держится профилактика болезней, техника безопасности, охрана труда. Но, обратите внимание, слова-то какие пассивные: профилактика, безопасность, охрана... попросту говоря, от беды подальше! А среда все подкидывает новые загадки: то рентгеновское излучение, то сварочную дугу, то изотопы...

— Ладно! — Профессор поднял обе руки.— Я догадываюсь,

что у вас под языком трепыхается заветная идея на этот счет и вы ждете не дождетесь, когда собеседник широко раскроет глаза и с робкой надеждой спросит: «Так почему?» Идет! Смотрите: я широко раскрываю глаза,— он весело сверкнул белками в кровяных прожилках,— и задаю этот долгожданный вопрос: так почему люди не умеют сознательно управлять обменом веществ в себе?

— Они забыли, как это делается! — выпалил Кривошеин.

— Ввах! — Профессор с удовольствием хлопнул себя по коленям.— Знали, да забыли? Как номер телефона? Это интересно!

— Давайте вспомним, что в мозгу человека имеется огромное число незадействованных нервных клеток: девяносто девять процентов, а у некоторых и девяносто девять с дробью. Невероятно, чтобы они существовали просто так, про запас — природа излишеств не допускает. Естественно предположить, что в этих клетках содержалась информация, которая ныне утрачена. Не обязательно словесная информация — такой в нашем организме и сейчас мало, она слишком груба и приблизительна,— а биологическая, выражаемая в образах, чувствах, ощущениях...

— Стоп, дальше я знаю! — увлеченно закричал Андросиашвили.— Марсиане! Нет, даже лучше — не марсиане — ведь до Марса того и гляди доберутся, проверить могут! — а, скажем, жители бывшей когда-то между Марсом и Юпитером планеты, которая ныне развалилась на астероиды. Жили там высокоорганизованные существа, у них была искусственная разнообразная среда, и они умели управлять своим организмом, чтобы приспосабливаться к ней, а также для забавы. И эти жители, почуяв, что родная планета вот-вот развалится, переселились на Землю...

— Возможно, было и так,— невозмутимо кивнул Кривошеин.— Во всяком случае, надо полагать, что у человека были высокоорганизованные предки, откуда бы они ни взялись. И они одичали, попав в дикую примитивную среду с тяжелыми условиями жизни — в кайнозойскую эру. Жара, джунгли, болота, звери — и никаких удобств. Жизнь упростилась до борьбы за существование, вся нервная утонченность оказалась ни к чему. Вот и утратили за многие поколения все: от письменности до умения управлять обменом веществ... Нет, правда, Вано Александрович, поместите сейчас горожанина в джунгли, с ним то же будет!

— Эффектно! — причмокнул от удовольствия Андросиашвили.— И лишние клетки мозга остались в организме наряду с аппендиксом и волосатостью под мышками? Теперь я понимаю, почему мой добрый знакомый профессор Валерно именует фантастику «интеллектуальным развратом».

— Почему же? И при чем здесь?..

— Да потому, что трезвые рассуждения она подменяет эффектной игрой воображения.

— Ну, знаете ли,— разозлился Кривошеин,— у нас в системологии рабочие гипотезы не подавляют ссылками на высказывания знакомых. Любая идея приемлема, если она плодотворна.

— А у нас в биологии, товарищ аспирант,— заорал вдруг Андросиашвили, выкатив глаза,— у нас в биологии, дорогой, приемлемы лишь идеи, основанные на трезвом материалистическом подходе! А не на осколках фантастической планеты! Мы имеем дело с более важным явлением, чем техника,— с жизнью! И поскольку вы сейчас не «у вас», а «у нас», советую это помнить! Всякий дилетант... цхэ! — и тотчас успокоился, перешел на мирный тон.— Ладно, будем считать, что мы с вами разбили по тарелке. Теперь серьезно: почему ваша гипотеза, мягко говоря, сомнительна? Во-первых, «незадействованные» клетки мозга — это определение из технического обихода к биологическим объектам неприменимо. Клетки живут — стало быть, они уже задействованы. Во-вторых, почему не предположить, что эти миллиарды нервных клеток в мозгу образованы именно про запас?

Вано Александрович встал и посмотрел на Кривошеина сверху вниз:

— Я, дорогой товарищ аспирант, тоже слегка разбираюсь в технике — как-никак студент-вечерник МЭИ! — и знаю, что у вас... г-хм! — у вас в системотехнике есть понятие и проблема надежности. Надежность электронных систем обеспечивают резервом деталей, ячеек и даже блоков. Так почему не допустить, что природа создала в человеке такой же резерв для надежной работы мозга? Ведь нервные клетки не восстанавливаются.

— Больно велик резерв! — покрутил головой аспирант.— Обычный человек обходится миллионом клеток из миллиардов возможных.

— А у талантливых людей работают десятки миллионов клеток! А у гениальных... впрочем, у них еще никто не мерял — может быть, и сотни миллионов. Возможно, мозг каждого из нас, так сказать, зарезервирован на гениальную работу? Я склонен думать, что именно гениальность, а не посредственность — естественное состояние человека.

— Эффектно сказано, Вано Александрович.

— О, я вижу, вы злой... Но как бы там ни было, эти возражения имеют такую же ценность, как и ваша гипотеза об одичавших марсианах. Цхэ, а если учесть, что я ваш руководитель, а вы мой аспирант, то они имеют даже бо́льшую ценность! — Он сел в кресло.— Но вернемся к основному вопросу: почему человек наших дней не владеет вегетативной системой и обменом веществ в себе? Знаете почему? До этого дело еще не дошло.

— Вот как!

— Да. Среда учит организм человека только одним способом:

условно-рефлекторной зубрежкой. Вы же знаете, что для образования условного рефлекса надо многократно повторять ситуацию и раздражители. Именно так возникает жизненный опыт. А чтобы образовался наследственный опыт из безусловных рефлексов, надо зубрить многим поколениям в течение тысячелетий... Вы правильно сказали о биологической, не выраженной в словах, информации в организме. Условные и безусловные рефлексы — это она и есть. А уж над рефлексами властвует сознание человека — правда, в ограниченной мере. Ведь вы не продумываете от начала до конца, какой мышце и насколько сократиться, когда закуриваете папиросу, как не продумываете и весь химизм мышечного сокращения... Сознание дает команду: закурить! А дальше работают рефлексы — как специфические, приобретенные вами от злоупотребления этой скверной привычкой: размять папиросу, втянуть дым,— так и переданные от далеких предков общие: хватательные, дыхательные и так далее...

Вано Александрович — непонятно, для иллюстрации или по потребности — закурил папиросу и пустил вверх дым.

— Я веду к тому, что сознание управляет, когда есть чем управлять. В оперативной части организма, где конечным действием, как подметил еще Сеченов, является мышечное движение... ну, помните?— Андросиашвили откинулся в кресле и с наслаждением процитировал: — «Смеется ли ребенок при виде игрушки, улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к родине, дрожит ли девушка при первой мысли о любви, создает ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге — везде окончательным фактором является мышечное движение...» Ах, как великолепно писал Иван Михайлович! — так вот в этой оперативной части сознанию есть чем управлять, есть что выбрать из несчитанных миллионов условных и безусловных рефлексов для каждой нешаблонной ситуации. А в конструктивной части, где работает большая химия организма, командовать сознанию нечем. Ну, прикиньте сами, какие условные рефлексы у нас связаны с обменом веществ?

— Пить или не пить, положите мне побольше хрена, терпеть не могу свинины, курение и...— Кривошеин замешкался,— н-ну, еще, пожалуй, мыться, чистить зубы...

— Можно назвать еще десяток таких же,— кивнул профессор,— но ведь все это мелкие, наполовину химические, наполовину мышечные, поверхностные рефлексики. А поглубже в организме безусловные рефлексы-процессы связаны так однозначно, что управлять нечем: иссякает кислород в крови — дыши, мало горючего для мышц — ешь, выделил воду — пей, отравился запретными для организма веществами — болей или умирай. И никаких вариантов... И ведь нельзя сказать, что жизнь не учила людей по части обменных реакций — нет, сурово учила. Эпидемиями — как хорошо бы

с помощью сознания и рефлексов разобраться, какие бациллы тебя губят, и выморить их в теле, как клопов! Голодовками — залечь бы в спячку, как медведь, а не пухнуть и не умирать! Ранами и уродствами в драках всех видов — регенерировать бы себе оторванную руку или выбитый глаз! Но мало... Все дело в быстродействии. Мышечные реакции происходят за десятые и сотые доли секунды, а самая быстрая из обменных — выделение надпочечником адреналина в кровь — за секунды. А выделение гормонов железами и гипофизом дает о себе знать лишь через годы, а то и раз за целую жизнь. Так что,— он тонко улыбнулся,— эти значения не утрачены организмом, они просто еще не приобретены. Уж очень трудно человеку «вызубрить» такой урок...

— ...И поэтому овладение обменом веществ в себе может затянуться на миллионы лет?

— Боюсь, на десятки миллионов,— вздохнул Вано Александрович.— Мы, млекопитающие, очень молодые жители Земли. Тридцать миллионов лет — разве это возраст? У нас все еще впереди.

— Да ничего у нас не будет впереди, Вано Александрович! — вскинулся Кривошеин.— Нынешняя среда меняется от года к году — какая тут может быть миллионнолетняя зубрежка, какое повторение пройденного? Человек сошел с пути естественной эволюции, дальше надо самому что-то соображать.

— А мы и соображаем.

— Что? Пилюли, порошки, геморройные свечи, клистиры и постельные режимы! Вы уверены, что этим мы улучшаем человеческую породу? А может быть, портим?

— Я вовсе не уговариваю вас заниматься «пилюлями» и «порошками», если именно так вам угодно именовать разрабатываемые на кафедре новые антибиотики.— Лицо Андросиашвили сделалось холодным и высокомерным.— Желаете заняться этой идеей — что ж, дерзайте. Но объяснить вам нереальность и непродуманность выбора такой темы для аспирантской работы и для будущей диссертации — мое право и моя обязанность.

Он поднялся, ссыпал окурки из пепельницы в корзину.

— Простите, Вано Александрович, я вовсе не хотел вас обидеть,— Кривошеин тоже встал, понимая, что разговор окончен, и окончен неловко.— Но... Вано Александрович, ведь есть интересные факты.

— Какие факты?

— Ну... вот был в прошлом веке в Индии некий Рамакришна, «человек-бог», как его именовали. Так у него, если рядом били человека, возникали рубцы на теле. Или «ожоги внушением»: впечатлительного человека трогают карандашом, а говорят, будто коснулись горящей сигаретой. Ведь здесь управление обменом веществ получается без «зубрежки», а?

— Послушайте, вы, настырный аспирант,— прищурился на него Андросиашвили,— сколько вы можете за один присест скушать оконных шпингалетов?

— Мм-м...— ошеломленно выпятил губы Кривошеин,— боюсь, что ни одного. А вы?

— Я тоже. А вот мой пациент в те далекие годы, когда я практиковал в психиатрической клинике имени академика Павлова, заглотил без особого вреда для себя...— профессор, вспоминая, откинул голову,— «шпингалетов оконных — пять, ложек чайных алюминиевых — двенадцать, ложек столовых — три, стекла битого — двести сорок граммов, ножниц хирургических малых — две пары, вилок — одну, гвоздей разных — четыреста граммов...». Это я цитирую не протокол вскрытия, заметьте, а историю болезни — сам резекцию желудка делал. Пациент вылечился от мании самоубийства, жив, вероятно, и по сей день. Так что,— профессор взглянул на Кривошеина с высоты своей эрудиции,— в научных делах лучше не ориентироваться ни на религиозных фанатиков, ни на мирских психопатов... Нет, нет! — Он поднял руки, увидев в глазах Кривошеина желание возразить.— Хватит спорить. Дерзайте, препятствовать не буду. Не сомневаюсь, что вы обязательно попытаетесь регулировать обмен веществ какими-нибудь машинными, электронными способами...

Вано Александрович посмотрел на аспиранта задумчиво и устало, улыбнулся.

— Ловить жар-птицу голыми руками — что может быть лучше! Да и цель святая: человек без болезней, без старости — ведь старость тоже приходит от нарушения обмена веществ... Лет двадцать назад я, вероятно, позволил бы и себя зажечь этой идеей. Но теперь... теперь мне надо делать то, что можно сделать наверняка. Пусть даже это будут пилюли...

Кривошеин свернул на поперечную улицу к Институту системологии и едва не столкнулся с рослым человеком в синем, не по погоде теплом плаще. От неожиданности с обоими случилась неловкость: Кривошеин отступил влево, пропуская встречного,— тот сделал шаг вправо. Потом оба, уступая друг другу дорогу, шагнули в другую сторону. Человек с изумлением взглянул на Кривошеина и застыл.

— Прошу прощения,— пробормотал тот и проследовал дальше.

Улица была тихая, пустынная — Кривошеин вскоре расслышал шаги за спиной, оглянулся: человек в плаще шел на некотором отдалении за ним. «Ай да Онисимов! — развеселился аспирант.— Сыщика приклеил, цепкий мужчина!» Он для пробы ускорил шаг и услышал, как тот зачастил. «Э, шут с ним! Не хватало мне еще за-

метать следы». Кривошеин пошел спокойно, вразвалочку. Однако спине стало неприятно, мысли вернулись к действительности.

«Значит, Валька поставил еще эксперимент — а может, и не один? Получилось неудачно: труп, обратившийся в скелет... Но почему в его дела стала вникать милиция? И где он сам? Дунул, наверно, наш Валечка на мотоцикле куда подальше, пока страсти улягутся. А может, все-таки в лаборатории?»

Кривошеин подошел к монументальным, с чугунными выкрутасами воротам института. Прямоугольные каменные тумбы ворот были настолько объемисты, что в левой свободно размещалось бюро пропусков, а в правой — проходная. Он открыл дверь. Старик Вахтерыч, древний страж науки, клевал носом за деревянным барьерчиком.

— Добрый вечер! — кивнул ему Кривошеин.

— Вечир добрый, Валентин Васильевич! — откликнулся Вахтерыч, явно не собираясь проверять пропуск: на проходной привыкли к визитам заведующего лабораторией новых систем в любое время дня и ночи.

Кривошеин, войдя в парк, оглянулся: верзила в плаще топтался возле ворот. «То-то, голубчик,— наставительно подумал Кривошеин.— Пропускная система — она себя оправдывает».

Окна флигеля были темны. Возле двери во тьме краснел огонек папиросы. Кривошеин присел под деревьями, пригляделся и различил на фоне звезд форменную фуражку на голове человека. «Нет, хватит с меня на сегодня милиции. Надо идти домой...— Он усмехнулся, поправил себя: — К нему домой».

Он повернул в сторону ворот, но вспомнил о субъекте в плаще, остановился. «Э, так будет не по правилам: выслеживаемому идти навстречу сыщику. Пусть поработает». Кривошеин направился в противоположный конец парка — туда, где ветви старого дуба нависли над чугунными копьями изгороди. Спрыгнул с ветви на тротуар и пошел в Академгородок.

«Все-таки что у него получилось? И кто этот парень, встретивший меня в аэропорту? Как меня телеграмма сбила с толку: принял его за Вальку! Но ведь похож — и очень. Неужели? Валька явно не сидел этот год сложа руки. Напрасно мы не переписывались. Мелкачи, ах, какие мелкачи: каждый стремился доказать, что обойдется без другого, поразить через год при встрече своими результатами! Именно с в о и м и! Как же, высшая форма собственности... Вот и поразили. Мелкостью губим великое дело. Мелкостью, недомыслием, боязнью... Надо было не разбегаться в разные стороны, а с самого начала привлекать людей, стоящих и настоящих, как Вано Александрович, например. Да, но тогда я его не знал, а попробуй его привлечь теперь, когда он проносится мимо и смотрит чертом...»

...Все произошло весной, в конце марта, когда Кривошеин только начал осваивать управление обменом веществ в себе. Занятый собой, он не замечал примет весны, пока та сама не обратила его внимание на себя: с крыши пятиэтажного здания химкорпуса на него упала пудовая сосулька. Пролети она на сантиметр левее — и с опытами по обмену веществ внутри его организма, равно как и с самим организмом, было бы покончено. Но сосулька лишь рассекла правое ухо, переломила ключицу и сбила наземь.

— Ай, беда! Ай, какая беда!..— Придя в себя, услышал он голос Андросиашвили. Тот стоял над ним на коленях, ощупывал его голову, расстегивал пальто на груди.— Я этого коменданта убивать буду, снег не чистит! — Яростно потряс он кулаком.— Идти сможете?— Он помог Кривошеину подняться.— Ничего, голова сравнительно цела, ключица срастется за пару недель, могло быть хуже... Держитесь, я отведу вас в поликлинику.

— Спасибо, Вано Александрович, я сам,— максимально бодро ответил Кривошеин, хотя в голове гудело, и даже выжал улыбку.— Я дойду, здесь близко...

И быстро, едва ли не бегом двинулся вперед.

Ему сразу удалось остановить кровь из уха. Но правая рука болталась плетью.

— Я позвоню им, чтобы приготовили электросшиватель! — крикнул вдогонку профессор.— Может быть, заштопают ухо!

У себя в комнате Кривошеин перед зеркалом скрепил две половинки разорванного по хрящу уха клейкой лентой, тампоном стер запекшуюся кровь. С этим он справился быстро: через десять минут на месте недавнего разрыва был лишь розоватый шрам в капельках сукровицы, а через полчаса исчез и он. А чтобы срастить перебитую ключицу, пришлось весь вечер лежать на койке и сосредоточенно командовать сосудами, железами, мышцами. Кость содержала гораздо меньше биологического раствора, чем мягкие ткани.

Утром он решил пойти на лекцию Андросиашвили. Пришел в аудиторию пораньше, чтобы занять далекое, незаметное место, и — столкнулся с профессором: тот указывал студентам, где развесить плакаты. Кривошеин попятился, но было поздно.

— Почему вы здесь? Почему не в клини...— Вано Александрович осекся, не сводя выпученных глаз с уха аспиранта и с правой руки, которой тот сжимал тетрадь.— Что такое?!

— А вы говорили: десятки миллионов лет, Вано Александрович,— не удержался Кривошеин.— Все-таки можно не только «зубрежкой».

— Значит... получается?!— выдохнул Андросиашвили.— Как?!

Кривошеин закусил губу.

— М-м-м... позже, Вано Александрович,— неуклюже забормотал он.— Мне еще самому надо во всем разобраться...

— Самому?— поднял брови профессор.— Не хотите рассказывать?— Его лицо стало холодным и высокомерным.— Ну, как хотите... прошу извинить! — И вернулся к столу.

С этого дня он с ледяной вежливостью кивал аспиранту при встрече, но в разговор не вступал. Кривошеин же, чтобы не так грызла совесть, ушел в экспериментирование над самим собой. Ему действительно многое еще предстояло выяснить.

«Разве мне не хотелось продемонстрировать открытие — пережить жгучий интерес к нему, восторги, славу...— шагая по каштановой аллее, оправдывался перед собой и незримым Андросиашвили Кривошеин.— Ведь в отличие от психопатов я мог бы все объяснить... Правда, к другим людям это пока неприменимо, не та у них конституция. Но, главное, доказана возможность, есть *знание*... Да, но если бы открытие ограничивалось лишь тем, что можно самому быстро залечивать раны, переломы, уничтожать в себе болезни! В том и беда, что природа никогда не выдает ровно столько, сколько нужно для блага людей,— всегда либо больше, либо меньше. Я получил больше... Я мог бы, наверное, превратить себя и в животное, даже в монстра... Это можно. Все можно — это-то и страшно»,— Кривошеин вздохнул.

...Окно и застекленная дверь балкона на пятом этаже сумеречно светились — похоже, будто горела настольная лампа. «Значит, он дома?! Кривошеин поднялся по лестнице, перед дверью квартиры по привычке пошарил по карманам, но вспомнил, что выбросил ключ еще год назад, ругнул себя — как было бы эффектно внезапно войти: «Ваши документы, гражданин!» Звонка у двери по-прежнему не было, пришлось постучать.

В ответ послышались быстрые легкие шаги — от них у Кривошеина сильно забилось сердце,— щелкнул замок: в прихожей стояла Лена.

— Ох, Валька, жив, цел! — Она обхватила его шею теплыми руками, быстро оглядела, погладила волосы, прижалась и расплакалась.— Валёк, мой родной... а я уж думала... тут такое говорят, такое говорят! Звоню к тебе в лабораторию — никто не отвечает... звоню в институт, спрашиваю: где ты, что с тобой? — кладут трубку... Я пришла сюда — тебя нет... А мне уже говорили, будто ты...— Она всхлипнула сердито.— Дураки!

— Ну, Лен, будет, не надо... ну, что ты?— Кривошеину очень захотелось прижать ее к себе, он еле удержал руки.

Будто и не было ничего: ни открытия № 1, ни года сумасшедшей напряженной работы в Москве, где он отмел от себя все давнее. Кривошеин не раз — для душевного покоя — намеревался вытравить из памяти образ Лены. Он знал, как это делается: бросок кро-



ви с повышенным содержанием глюкозы в кору мозга, небольшие направленные окисления в нуклеотидах определенной области — и информация стерлась из нервных клеток навсегда. Но не захотел... или не смог? «Хотеть» и «мочь»— как разграничишь это в себе? И вот сейчас у него на плече плачет любимая женщина — плачет от тревоги за него. Ее надо успокоить.

— Перестань, Лена. Все в порядке, как видишь.

Она посмотрела на него снизу вверх. Глаза были мокрые, радостные и виноватые.

— Валь... Ты не сердишься на меня, а? Я тогда тебе такое наговорила — сама не знаю что, дура просто! Ты обиделся, да? Я тоже решила, что... все кончено, а когда узнала, что у тебя что-то случилось...— она подняла брови,— не смогла. Вот прибежала... Ты забудь, ладно? Забыли, да?

— Да,— чистосердечно сказал Кривошеин.— Пошли в комнату.

— Ох, Валька, ты не представляешь, как я напугалась.— Она все держала его за плечи, будто боялась отпустить.— И следователь этот... вопросы всякие!

— Он и тебя вызывал?

— Да.

— Ага, ну конечно: «шерше ля фам»!

Они вошли в комнату. Здесь все было по-прежнему: серая тахта, дешевый письменный стол, два стула, книжный шкаф, заваленный сверху журналами до самого потолка, платяной шкаф с привинченным сбоку зеркалом. В углу возле двери лежали крест-накрест гантели.

— Я, тебя дожидаясь, прибрала немного. Пыли нанесло, балкон надо плотно закрывать, когда уходишь...— Лена снова приблизилась к нему.— Валь, что случилось-то?

«Если бы я знал!»— вздохнул Кривошеин.

— Ничего страшного. Так, много шуму...

— А почему милиция?

— Милиция? Ну... вызвали, она и приехала. Вызвали бы пожарную команду — приехала бы пожарная команда.

— Ой, Валька...— Она положила руки на плечи Кривошеину, по-девчоночьи сморщила нос.— Ну почему ты такой?

— Какой?— спросил тот, чувствуя, что глупеет на глазах.

— Ну, такой — вроде и взрослый, а несолидный. И я, когда с тобой — девчонка девчонкой... Валь, а где Виктор, что с ним? Слушай,— у нее испуганно расширились глаза,— это правда, что он шпион?

— Виктор? Какой еще Виктор?!

— Да ты что?! Витя Кравец — твой лаборант, племянник троюродный.

— Племянник... лаборант...— Кривошеин на миг растерялся.— Ага, понял! Вот оно что...

Лена всплеснула ладонями.

— Валька, что с тобой? Ты можешь рассказать: что у вас там случилось?!

— Прости, Лен... затмение нашло, понимаешь. Ну конечно, Петя... то есть Витя Кравец, мой верный лаборант, троюродный племянник... очень симпатичный парень, как же...— Женщина все смотрела на него большими глазами.— Ты не удивляйся, Лен, это просто временное выпадение памяти, так всегда бывает после... после электрического удара. Пройдет, ничего страшного... Так, говоришь, уже пошел шепот, что он шпион? Ох, эта Академия наук!

— Значит, правда, что у тебя в лаборатории произошла... катастрофа?! Ну почему, почему ты все от меня скрываешь? Ведь ты мог там...— она прикрыла себе рот ладонью,— нет!

— Перестань, ради бога! — раздраженно сказал Кривошеин. Он отошел, сел на стул.— Мог — не мог, было — не было! Как видишь, все в порядке. («Хотел бы я, чтобы оказалось именно так!») Не могу я ничего рассказывать, пока сам не разберусь во всем как следует... И вообще,— он решил перейти в нападение,— что ты переживаешь? Ну, одним Кривошеиным на свете больше, одним меньше — велика беда! Ты молодая, красивая, бездетная — найдешь себе другого, получше, чем такой стареющий барбос, как я. Взять того же Петю... Витю Кравца: чем тебе не пара?

— Опять ты об этом?— Она улыбнулась, зашла сзади, положила голову Кривошеина себе на грудь.— Ну, зачем ты все Витя да Витя? Да не нужен он мне. Пусть он какой ни есть красавец — он не ты, понимаешь? И все. И другие не ты. Теперь я это точно знаю.

— Гм?! — Кривошеин распрямился.

— Ну, что «гм»! Ревнюга, глупый! Не сидела же я все вечера дома одна монашкой. Приглашали, интересно ухаживали, даже объясняли серьезность намерений... И все равно какие-то они не такие! — Голос ее ликовал.— Не такие, как ты,— и всё! Я все равно бы к тебе пришла...

Кривошеин чувствовал затылком тепло ее тела, чувствовал мягкие ладони на своих глазах и испытывал ни с чем не сравнимое блаженство. «Вот так бы сидеть-сидеть: просто я пришел с работы усталый — и она здесь... и ничего такого не было... Как ничего не было?! — Он напрягся.— Все было! Здесь у них случилось что-то серьезное. А я сижу, краду ее ласку!»

Он освободился, встал.

— Ну ладно, Лен. Ты извини, я не пойду тебя провожать. Посижу немного да лягу спать. Мне не очень хорошо после... после этой передряги.

— Так я останусь?

Это был полувопрос, полуутверждение. На секунду Кривошеина одолела яростная ревность. «Я останусь?»— говорила она — и он, разумеется, соглашался. Или сам говорил: «Оставайся сегодня, Ленок»,— и она оставалась...

— Нет, Лен, ты иди,— он криво усмехнулся.

— Значит, все-таки злишься за то, да?— Она с упреком взглянула на него, рассердилась...— Дурак ты, Валька! Дурак набитый, ну тебя! — И повернулась к двери.

Кривошеин стоял посреди комнаты, слушал: щелкнул замок, каблучки Лены застучали по лестнице... Хлопнула дверь подъезда... Быстрые и легкие шаги по асфальту. Он бросился на балкон, чтобы позвать,— вечерний ветерок отрезвил его. «Ну вот, увидел — и разомлел! Интересно, что же она ему наговорила? Ладно, к чертям эти прошлогодние переживания! — Он вернулся в комнату.— Надо выяснить, в чем дело... Стоп! У него должен быть дневник. Конечно!»

Кривошеин выдвигал ящики в тумбах стола, выбрасывал на пол журналы, папки, скоросшиватели, бегло просматривал тетради. «Не то, не то...» На дне нижнего ящика он увидел магнитофонную катушку, на четверть заполненную лентой, и на минуту забыл о поисках: снял со шкафа портативный магнитофон, стер с него пыль, вставил катушку, включил «воспроизведение».

— По праву первооткрывателей,— после непродолжительного шипения сказал в динамиках магнитофона хрипловатый голос, небрежно выговаривая окончания слов,— мы берем на себя ответственность за исследование и использование открытия под названием...

— ...«Искусственный биологический синтез информации»,— деловито вставил другой (хотя и точно такой же) голос.— Не очень благозвучно, но зато по существу.

— Идет... «Искусственный биологический синтез информации». Мы понимаем, что это открытие затрагивает жизнь человека, как никакое другое, и может стать либо величайшей опасностью, либо благом для человечества. Мы обязуемся сделать все, что в наших силах, чтобы применить это открытие для улучшения жизни людей...

— Обязуемся: пока не исследуем все возможности открытия...

— ...и пока нам не станет ясно, как использовать его на пользу людям с абсолютной надежностью...

— ...мы не передадим его в другие руки...

— ...и не опубликуем сведения о нем.

Кривошеин стоял, прикрыв глаза. Он будто перенесся в ту майскую ночь, когда они давали эту клятву.

— Мы клянемся: не отдать наше открытие ни за благополучие, ни за славу, ни за бессмертие, пока не будем уверены, что его нельзя обратить во вред людям. Мы скорее уничтожим нашу работу, чем допустим это.

— Мы клянемся! — чуть вразнобой произнесли оба голоса хором. Лента кончилась.

«Горячие мы были тогда... Так, дневник должен быть поблизости». Кривошеин опять нырнул в тумбу, пошарил в нижнем ящике и через секунду держал в руках тетрадь в желтом картонном переплете, обширную и толстую, как книга. На обложке ничего написано не было, но тем не менее Кривошеин сразу убедился, что нашел то, что искал: год назад, приехав в Москву, он купил себе точно такую тетрадь в желтом переплете, чтобы вести дневник.

Он сел за стол, пристроил поудобнее лампу, закурил сигарету и раскрыл тетрадь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ОТКРЫТИЕ СЕБЯ
(О зауряде, который многое смог)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Относительность знаний — великая вещь. Утверждение «2 плюс 2 равно 13» относительно ближе к истине, чем «2 плюс 2 равно 41». Можно даже сказать, что переход к первому от второго есть проявление творческой зрелости, научного мужества и неслыханный прогресс науки — если не знать, что 2 плюс 2 равно четырем.

В арифметике мы это знаем, но ликовать рано. Например, в физике 2 плюс 2 оказывается меньше четырех — на деффект массы. А в таких тонких науках, как социология или этика,— так там не то что 2 плюс 2, но даже 1 плюс 1 — это то ли будущая семья, то ли сговор с целью ограбления банка.

К. Прутков-инженер, мысль № 5

«22 мая. Сегодня я проводил его на поезд. В вокзальном ресторане посетители разглядывали двух взрослых близнецов. Я чувствовал себя неуютно. Он благодушествовал.

— Помнишь, пятнадцать лет назад я...— собственно, ты — уезжал штурмовать экзамены в физико-технический? Все было так же: полоса отчуждения, свобода, неизвестность...

Я помнил. Да, было так же. Тот самый официант с выражением хронического недовольства жизнью на толстом лице обслуживал вырвавшихся на волю десятиклассников. Тогда нам казалось, что все впереди; так оно и было. Теперь и позади немало всякого: и радостного, и серенького, и такого, что оглянуться боязно, а все кажется: самое лучшее, самое интересное впереди.

Тогда пили наидешевейший портвейн. Теперь официант принес нам «КВВК». Выпили по рюмке.

В ресторане было суетно, шумно. Люди торопливо ели и пили.

— Смотри,— оживился дубль,— вон мамаша кормит двух близнецов. Привет, коллеги! У, какие глазенки... Какими они станут, а? Пока что их опекает мама — и они вон даже кашей ухитрились

перемазаться одинаково. Но через пару лет за них возьмется другая хлопотливая мамаша — Жизнь. Один, скажем, ухватит курицу за хвост, выдерет все перья — первый набор неповторимых впечатлений, поскольку на долю другого перьев не останется. Зато другой заблудится со страшным ревом в магазине — опять свое, индивидуальное. Еще через год мама устроит ему выволочку за варенье, которое слопал не он. Опять разное: один познает первую в жизни несправедливость, другой — безнаказанность за проступок... Ох, мамаша, смотрите: если так пойдет, то из одного вырастет запуганный неудачник, а из второго — ловчила, которому все сходит с рук. Наплачетесь, мамаша... Вот и мы с тобой вроде этих близнецов.

— Ну, нас неправедная трепка с пути не собьет — не тот возраст.

— Выпьем за это!

Объявили посадку. Мы вышли на перрон. Он разглагольствовал:

— А интересно, как теперь быть с железобетонным тезисом: «Кому что на роду написано, то и будет»? Допустим, тебе было что-то «на роду написано»— в частности, однозначное перемещение в пространстве и во времени, продвижение по службе и так далее. И вдруг — трибле-трабле-бумс! — Кривошеиных двое. И они ведут разную жизнь в разных городах. Как теперь насчет божественной программы жизни? Или бог писал ее в двух вариантах? А если нас станет десять? А не захотим — и не станет...

Словом, мы оба прикидывались, что происходит обыкновенное: «Провожающие, проверьте, не остались ли у вас билеты отъезжающих!» Билеты не остались. Поезд увез его в Москву.

Договорились писать друг другу по необходимости (могу биться об заклад, он такую необходимость ощутит не скоро), встретиться в июле следующего года. Этот год мы будем наступать на работу с двух сторон: он от биологии, я от системологии. Ну-ну...

Когда поезд ушел, я почувствовал, что мне его будет не хватать. Видимо, потому, что впервые я был с другим человеком, как... как с самим собой, иначе не скажешь. Даже между мной и Ленкой всегда есть недосказанное, непонятное, чисто личное. А с ним... впрочем, и с ним у нас тоже кое-что накопилось за месяц совместной жизни. Занятная она, эта хлопотливая мамаша Жизнь!

Я размяк от коньяка и, возвращаясь с вокзала, вовсю глазел на жизнь, на людей. Женщины с озабоченными лицами заходят в магазины. Парни везут на мотоциклах прижимающихся девушек. У газетных киосков выстраиваются очереди — вот-вот подвезут «Вечерку»... Лица человеческие — какие они все разные, какие понятные и непонятные! Не могу объяснить, как это выходит, но о многих я будто что-то знаю: уголки рта, резкие или мелкие морщины, складки на шее, ямочки щек, угол челюсти, посадка головы и гла-

за — особенно глаза! — все это знаки дословесной информации. Наверно, от тех времен, когда все мы были обезьянами.

Еще недавно я всего этого просто не замечал. Не замечал, например, что люди, стоящие в очереди, некрасивы. Банальность и пустяковость такого занятия, опасение, что не хватит, что кто-то проворный пролезет вперед, накладывают скверный отпечаток на их лица. И пьяные некрасивы, и скандалящие.

Зато поглядите на девушку, влюбленно смеющуюся шутке парня. На мать, кормящую грудью. На мастера, делающего тонкую работу. На размышляющего о чем-то хорошем человека... Они красивы, несмотря на неуместные прыщики, складки, морщины.

Я никогда не понимал красоты животных. По-моему, красивым бывает только человек — и то лишь когда он человек.

Вот ведомый мамой малыш загляделся на меня, как на чудо, шлепнулся и заревел, обижаясь на земное тяготение. Мама, натурально, добавила от себя... Зря пострадал пацан: какое я чудо? Так, толстеющий мужчина с сутулой спиной и банальной физиономией.

А может, прав малыш: я действительно чудо? И каждый человек — чудо?

Что мы знаем о людях? Что я знаю о себе самом? В задаче под названием «жизнь» люди — это то, что дано и не требуется доказать. Но каждый, оперируя с исходными данными, доказывает что-то свое. Вот дубль, например. Он уехал — это и неожиданно и логично...

Впрочем, стоп! Если уж начинать, то с самого начала.

Смешно вспомнить... В сущности, мои намерения были самые простые: сделать диссертацию.

Но строить нечто посредственное и компилятивное (в духе, например, предложенной мне моим бывшим шефом профессором Вольтамперновым темы «Некоторые особенности проектирования диодных систем памяти») было и скучно и противно. Все-таки я живой человек — хочется, чтоб была нерешенная проблема, чтоб влезть ей в душу, с помощью рассуждений, машин и приборов допросить природу с пристрастием. И добыть то, чего еще никто не знал. Или выдумать то, до чего никто еще не дошел. И чтобы на защите задавали вопросы, на которые было бы приятно отвечать. И чтобы потом знакомые сказали: «Ну, ты дал! Молоток!»

Тем более что я могу. На людях это объявлять не стоит, а в дневнике можно: могу. Пять изобретений и две законченные исследовательские работы тому подтверждение. Да и это открытие... э, нет, Кривошеин, не торопись причислять его к своим интеллектуальным заслугам! Здесь ты запутался и до сих пор не можешь распутаться.

Словом, это брожение души и толкнуло меня в дебри того направления мировой системологии, где основным оператором является не формула, не алгоритм, даже не рецепт, а случай.

Мы — по ограниченности ума своего — обожаем противопоставлять: физиков — лирикам, волну — частице, растения — животным, машины — людям... Но в жизни и в природе все это не противостоит, а дополняет друг друга. Точно так же логика и случай взаимно дополняют друг друга в познании, в поисках решений. Можно найти (и находят) немало недоказанного, произвольного в математических и логических построениях; можно найти и логичные закономерности в случайных событиях.

Например, идейный враг случайного поиска доктор технических наук Вольтампернов никогда *не упускал случая* отбиться от моего предложения (заняться в отделе моделированием случайных процессов) остротой: «Но это же будет, тэк-скэать, моделирование на кофейной гуще!» Это ли не лучшая иллюстрация такой дополнительности!

А возразить было трудно. Достижений в этом направлении было мало, многие работы оканчивались неудачами, а идеи... идеи не доходили. В нашем отделе, как на ковбойском Западе, верили лишь в голые факты.

Я уже подумывал по примеру Валерки Иванова, моего товарища и бывшего начальника лаборатории, расплеваться с институтом и перебраться в другой город. Но — вот он, случай-кореш! — вполне причинно строители не сдали новый корпус, столь же причинно не истрачены деньги по причинно обоснованным статьям институтского бюджета, и Аркадий Аркадьевич объявляет «конкурс» на расходование восьмидесяти тысяч рублей под идею. Уверен, что тут самый ярый защитник детерминизма постарался бы не оплошать.

Идея к тому времени у меня очертилась: исследовать, как будет вести себя электронная машина, если ее «питать» не разжеванной до двоичных чисел программой, а обычной — осмысленной и произвольной — информацией. Именно так. По программам-то она работает с восхитительным для корреспондентов блеском. («Новый успех науки: машина проектирует цех за три минуты!» — ведь программисты по скромности своей обычно умалчивают, сколько месяцев они готовили это «трехминутное» решение.)

Что и говорить, мой замысел в элементарном исполнении представлял очевидный для каждого грамотного системолога собачий бред: никак не будет машина себя вести, остановится — и все! Но я и не рассчитывал на *элементарное* исполнение.

...Истратить за пять недель до конца бюджетного года восемьдесят тысяч на оснащение лаборатории даже такого вольного профиля, как случайный поиск,— дело серьезное; недаром снабженческий гений институтского масштаба Альтер Абрамович до сих пор проникновенно и уважительно жмет мне руку при встречах. Впрочем, снабженцу не дано понять, что идея и нестерпимое желание выйти на оперативный простор могут творить чудеса.

Итак, ситуация такая: деньги есть — ничего нет. Строителям на то, чтобы они в лучшем виде сдали флигель-мастерскую,— пять тысяч. (Они меня хотели качать: «Милый! План закроем, премию получим... даешь!») Универсальная вычислительная машина дискретного действия ЦВМ-12 — еще тринадцать тысяч. Всевозможные датчики информации: микрофоны пьезоэлектрические, щупы тензометрические гибкие, фототранзисторы германиевые, газоанализаторы, термисторы, комплект для электромагнитного считывания биопотенциалов мозга с системой СЭД-1 на четыре тысячи микроэлектродов, пульсометры, влагоанализаторы полупроводниковые, матрицы «читающие» фотоэлементные... словом, все, что превращает звуки, изображения, запахи, малые давления, температуру, колебания погоды и даже движения души в электрические импульсы,— еще девять тысяч. На четыре тысячи я накупил реактивов разных, лабораторного стекла, химической оснастки всякой — из смутных соображений применить и хемотронику, о которой я что-то слышал. (А если уж совсем откровенно, то потому, что это легко было купить в магазине по безналичному расчету. Вряд ли надо упоминать, что наличными из этих восьмидесяти тысяч я не потратил ни рубля.)

Все это годилось, но не хватало стержня эксперимента. Я хорошо представлял, что нужно: коммутирующее устройство, которое могло бы переключать и комбинировать случайные сигналы от датчиков, чтобы потом передать их «разумной» машине — этакий кусочек «электронного мозга» с произвольной схемой соединений нескольких десятков тысяч переключающих ячеек... В магазине такое не купишь даже по безналичному расчету — нет. Накупить деталей, из которых строят обычные электронные машины (диоды, триоды, сопротивления, конденсаторы и пр.), да заказать? Долго, а то и вовсе нереально: ведь для заказа надо дать подробную схему, а в таком устройстве *в принципе* не должно быть определенной схемы. Вот уж действительно: пойти туда — не знаю куда, найти то — не знаю что!

И снова случай-друг подарил мне это «не знаю что» и — Лену... Впрочем, стоп! — здесь я не согласен списывать все на удачу. Встреча с Леной — это, конечно, подарок судьбы в чистом виде. Но что касается кристаллоблока... ведь если думаешь о чем-то днями и ночами, то всегда что-нибудь да придумаешь, найдешь, заметишь.

Словом, ситуация такая: до конца года три недели, «не освоены» еще пятьдесят тысяч, видов найти коммутирующее устройство никаких, и я еду в троллейбусе.

— Накупили на пятьдесят тысяч твердых схем, а потом выясняется, что они не проходят по ОТУ! — возмущалась впереди меня женщина в коричневой шубке, обращаясь к соседке.— На что это похоже?

— С ума сойти,— ответствовала та.

— Теперь Пшембаков валит все на отдел снабжения. Но ведь заказывал их он сам!

— Вы подууумайте!

Слова «пятьдесят тысяч» и «твердые схемы» меня насторожили.

— Простите, а какие именно схемы?

Женщина повернула ко мне лицо, такое красивое и сердитое, что я даже оробел.

— «Не-или» и триггеры! — сгоряча ответила она.

— И какие параметры?

— Низковольт... простите, а почему вы вмешиваетесь в наш разговор?!

Так я познакомился с инженером соседнего КБ Еленой Ивановной Коломиец. На следующий день инженер Коломиец заказала ведущему инженеру Кривошеину пропуск в свой отдел. «Благодетель! Спаситель! — раскинул объятия начальник отдела Жалбек Балбекович Пшембаков, когда инженер Коломиец представила меня и объяснила, что я могу выкупить у КБ злосчастные твердые схемы. Но я согласился облагодетельствовать и спасти Жалбека Балбековича на таких условиях: а) все 38 тысяч ячеек будут установлены на панелях согласно прилагаемому эскизу, б) связаны шинами питания, в) от каждой ячейки выведены провода и г) все это должно быть сделано до конца года.

— Производственные мощности у вас большие, вам это нетрудно.

— За те же деньги?! Но ведь сами ячейки стоят пятьдесят тысяч!

— Да, но ведь они оказались не по ОТУ. Уцените.

— Бай ты, а не благодетель,— грустно сказал Жалбек и махнул рукой.— Оформляйте, Елена Ивановна, пустим как наш заказ. И вообще, возлагаю это дело на вас.

Да благословит аллах имя твое, Жалбек Пшембаков!

...Я и по сей день подозреваю, что покорил Лену не своими достоинствами, а тем, что, когда все ячейки куба были собраны на панелях и грани микроэлектронного куба представляли собою нивы разноцветных проволочек, на ее растерянный вопрос: «А как же теперь их соединять?»— лихо ответил:

— А как хотите! Синие с красными — и чтоб было приятно для глаз.

Женщины уважают безрассудность.

Вот так все и получилось. Все-таки случай — он свое действие оказывает...

(Ох, похоже, что у меня за время этой работы выработалось преклонение перед случаем! Фанатизм новообращенного... Ведь раньше я был, если честно сказать, байбак байбаком, проповедовал

житейское смирение перед «несчастливым» случаем (ничего, мол, не попишешь) и презрение к упущенному «счастливому» (ну и пусть...); за такими высказываниями, если разобраться, всегда прячутся наша душевная лень и нерасторопность. Теперь же я стал понимать важное свойство случая — в жизни или в науке, все равно: его одной рассудочностью не возьмешь. Работа с ним требует от человека быстроты и цепкости мышления, инициативы, готовности перестроить свои планы... Но преклоняться перед ним столь же глупо, как и презирать его. Случай не враг и не друг, не бог и не дьявол; он — случай, неожиданный факт, этим все сказано. Овладеть им или упустить его — зависит от человека. А те, кто верит в везение и судьбу, пусть покупают лотерейные билеты!)

— Все-таки «лаборатория случайных поисков»— слишком одиозное название,— сказал Аркадий Аркадьевич, подписывая приказ об образовании неструктурной лаборатории и назначении ведущего инженера Кривошеина ее заведующим с возложением на такового материальной, противопожарной и прочих ответственностей.— Не следует давать пищу анекдотам. Назовем осторожней, скажем, «лаборатория новых систем». А там посмотрим.

Это означало, что сотворение диссертации по-прежнему оставалось для меня «проблемой № 1». Иначе —«там посмотрим»... Проблема эта не решена мною и по сей день».

ГЛАВА ВТОРАЯ

> Если распознающая машина-персептрон на рисунок слона отзывается сигналом «мура», на изображение верблюда — тоже «мура» и на портрет видного ученого — опять-таки «мура», это не обязательно означает, что она неисправна. Она может быть просто философски настроена.
>
> *К. Прутков-инженер, мысль № 30*

«Конечно, я мечтал — для души, чтоб работалось веселее. Да и как не мечтать, когда властитель умов в кибернетике, доктор нейрофизиологии Уолтер Росс Эшби выдает идеи одна завлекательнее другой! Случайные процессы как источник развития и гибели любых систем... Усиление умственных способностей людей и машин путем отделения в случайных высказываниях ценных мыслей от вздора и сбоев... И наконец, шум как сырье для выработки информации — да, да, тот «белый шум», та досадная помеха, на устранение которой из схем на полупроводниках лично я потратил не один год работы и не одну идею!

Вообще-то, если разобраться, основоположником этого направ-

ления надо считать не доктора У. Р. Эшби, а того ныне забытого режиссера Большого театра в Москве, который первым (для создания грозного ропота народа в «Борисе Годунове») приказал каждому статисту повторять свой домашний адрес и номер телефона. Только Эшби предложил решить обратную задачу. Берем шум — шум прибоя, шипение угольного порошка в микрофоне под током, какой угодно,— подаем его на вход некоего устройства. Из шумового хаоса выделяем самые крупные «всплески» — получается последовательность импульсов. А последовательность импульсов — это двоичные числа. А двоичные числа можно перевести в десятичные числа. А десятичные числа — это номера: например, номера слов из словаря для машинного перевода. А набор слов — это фразы. Правда, пока еще всякие фразы: ложные, истинные, абракадабра — информационное «сырье». Но в следующем каскаде устройства встречаются два потока информации: известная людям и это «сырье». Операции сравнения, совпадения и несовпадения — и все бессмысленное отфильтровывается, банальное взаимно вычитается. И выделяются оригинальные новые мысли, несделанные открытия и изобретения, произведения еще не родившихся поэтов и прозаиков, высказывания философов будущего... уфф! Машина-мыслитель!

Правда, почтенный доктор не рассказал, как это чудо сделать,— его идея воплощена пока только в квадратики, соединенные стрелками на листе бумаги. Вообще вопрос «как сделать?» не в почете у академических мыслителей. «Если абстрагироваться от трудностей технической реализации, то в принципе можно представить...» Но как мне от них абстрагироваться?

Ну, да что ныть! На то я и экспериментатор, чтобы проверять идеи. На то у меня и лаборатория: стены благоухают свежей масляной краской, коричневый линолеум еще не затоптан, шумит воздуходувка, в шкафу сверкают посуда и банки с реактивами, на монтажном стеллаже лежат новенькие инструменты, бухты разноцветных проводов и паяльники с красными, еще не покрытыми окалиной жалами. На столах лоснятся зализанными пластмассовыми углами приборы — и стрелки в них еще не погнуты, шкалы не запылены. В книжном шкафу выстроились справочники, учебники, монографии. А посередине комнаты высятся в освещении низкого январского солнца параллелепипеды ЦВМ-12 и цифропечатающих автоматов, ажурный и пестрый от проводов куб кристаллоблока. Все новенькое, незахватанное, без царапин, все излучает мудрую, выпестованную поколениями мастеров и инженеров рациональную красоту.

Как тут не размечтаться? А вдруг получится?! Впрочем, для себя я мечтал более смиренно: не о сверхмашине, которая окажется умнее человека (эта идея мне вообще не по душе, хоть я и системотехник), а о машине, которая будет *понимать* человека, чтобы

лучше делать свое дело. Тогда мне эта идея казалась доступной. В самом деле, если машина от всего того, что я ей буду говорить, показывать и так далее, обнаружит определенное поведение, то проблема исчерпана. Это значит, что она через свои датчики стала *видеть, слышать, обонять* в ясном человеческом смысле этих слов, без кавычек и оговорок. А ее поведение при этом можно приспособить для любых дел и задач — на то она и *универсальная* вычислительная машина.

Да, тогда, в январе, мне это казалось доступным и простым; море было по колено... Ох, эта вдохновляющая сила приборов! Фантастические зеленые петли на экранах, уверенно-сдержанное гудение трансформаторов, непреложные перещелки реле, вспышки сигнальных лампочек на пульте, точные движения стрелок... Кажется, что все измеришь, постигнешь, сделаешь, и даже обыкновенный микроскоп внушает уверенность, что сейчас (при увеличении 400 и в дважды поляризованном свете) увидишь то, что еще никто не видел!

Да что говорить... Какой исследователь не мечтал перед началом новой работы, не примерялся мыслью и воображением к самым высоким проблемам? Какой исследователь не испытывал того всесокрушающего нетерпения, когда стремишься — скорей! скорей! — закончить нудную подготовительную работу — скорей! скорей! — собрать схему опыта, подвести питание и начать!

А потом... потом ежедневные лабораторные заботы, ежедневные ошибки, ежедневные неудачи вышибают дух из твоих мечтаний. И согласен уже на что-нибудь, лишь бы не зря работать.

Так получилось и у меня.

Описывать неудачи — все равно что переживать их заново. Поэтому буду краток. Значит, схема опыта такая: к входам ЦВМ-12 подсоединяем кристаллоблок о 38 тысячах ячеек, а к входам кристаллоблока — весь прочий инвентарь: микрофоны, датчики запахов, влажности, температуры, тензометрические щупы, фотоматрицы с фокусирующей насадкой, «шапку Мономаха» для считывания биотоков мозга. Источник внешней информации — это я сам, то есть нечто двигающееся, звучащее, меняющее формы и свои координаты в пространстве, обладающее температурой и нервными потенциалами. Можно увидеть, услышать, потрогать щупами, измерить температуру и давление крови, проанализировать запах изо рта, даже залезть в душу и в мысли — пожалуйста! Сигналы от датчиков должны поступать в кристаллоблок, возбуждать там различные ячейки — кристаллоблок формирует и «упаковывает» сигналы в логичные комбинации для ЦВМ-12 — она расправляется с ними, как с обычными задачами, и выдает нечто осмысленное. Чтобы ей это легче было делать, я ввел в память машины все числа-слова из словаря машинного перевода от «А» до «Я».

И... ничего. Сельсин-моторчики, тонко подвывая, водили щупами и объектами, когда я перемещался по комнате. Контрольные осциллографы показывали вереницу импульсов, которые проскакивали от кристаллоблока к машине. Ток протекал. Лампочки мигали. Но в течение первого месяца рычажки цифропечатающего автомата ни разу не дернулись, чтобы отстучать на перфоленте хоть один знак.

Я утыкал кристаллоблок всеми датчиками. Я пел и читал стихи, жестикулировал, бегал и прыгал перед объективами; раздевался и одевался, давал себя ощупывать (брр-р! — эти холодные прикосновения щупов...). Я надевал «шапку Мономаха» и — о господи! — старался «внушить»... Я был согласен на любую абракадабру.

Но ЦВМ-12 не могла выдать абракадабру, не так она устроена. Если задача имеет решение — она решает, нет — останавливается. И она останавливалась. Судя по мерцанию лампочек на пульте, в ней что-то переключалось, но каждые пять-шесть минут вспыхивал сигнал «стоп», я нажимал кнопку сброса информации. Все начиналось сначала.

Наконец я принялся рассуждать. Машина не могла не производить арифметических и логических операций с импульсами от кристаллоблока — иначе что же ей еще делать? Значит, и после этих операций информация получается настолько сырой и противоречивой, что машина, образно говоря, не может свести логически концы с концами — и стоп! Значит, одного цикла вычислений в машине просто мало. Значит... и здесь мне, как всегда в подобных случаях, стало неловко перед собой, что не додумался сразу,— значит, надо организовать *обратную связь* между машиной (от тех ее блоков, где еще бродят импульсы) и кристаллоблоком! Ну, конечно: тогда сырая информация из ЦВМ-12 вернется на входы этого хитрого куба, переработается там еще раз, пойдет в машину и так далее, до полной ясности.

Я воспрянул: ну, теперь!.. Далее можно абстрагироваться от воспоминаний о том, как сгорели полторы сотни логических ячеек и десяток матриц в машине из-за того, что не были согласованы режимы ЦВМ и кристаллоблока (дым, вонь, транзисторы палят, как патроны в печке, а я, вместо того чтобы вырубить напряжение на щите, хватаю со стены огнетушитель), как я добывал новые ячейки, паял переходные схемы, заново подгонял режимы всех блоков — трудности технической реализации, о чем разговор. Главное — дело сдвинулось с места!

15 февраля в лаборатории раздался долгожданный перестук: автомат отбил на перфоленте строчку чисел! Вот она, первая фраза машины (прежде чем расшифровать ее, я ходил вокруг стола, на котором лежал клочок ленты, курил и опустошенно как-то улыбался: машина начала *вести себя*...): «Память 10^7 бит».

Это было не то, что я ждал. Поэтому я не сразу понял, что машина «желает» (не могу все же писать такое слово без кавычек!) увеличить объем памяти.

Собственно говоря, все было логично: поступает сложная информация, ее необходимо куда-то девать, а блоки памяти уже забиты. Увеличить объем памяти! Обычная задача на конструирование машин.

Если бы не уважение Альтера Абрамовича, просьба машины осталась бы без последствий. Но он выдал мне три куба магнитной памяти и два — сегнетоэлектрической. И все пошло в дело: спустя несколько дней ЦВМ-12 повторила требование, потом еще и еще... У машины прорезались серьезные запросы...

Что я тогда чувствовал? Удовлетворение: наконец что-то получается! Примерял результат к будущей диссертации. Несколько смущало, что машина работает лишь «на себя».

Затем машина начала конструировать себя! В сущности, и это было логично; сложную информацию и перерабатывать надо более сложными схемами, чем стандартные блоки ЦВМ-12.

Работы у меня прибавилось. Печатающий автомат выстукивал коды и номера логических ячеек, сообщал, куда и как следует их подсоединить. Поначалу машину удовлетворяли типовые ячейки. Я монтировал их на дополнительной панели.

(Только сейчас начинаю понимать: именно тогда я допустил, если судить с академических позиций, крупную методологическую ошибку в работе. Мне следовало на этом остановиться и проанализировать, какие схемы и какую логику строит для себя мой комплекс: датчики — кристаллоблок — ЦВМ-12 с усиленной памятью. И, только разобравшись во всем, двигаться дальше... Да и то сказать: машина, конструирующая себя без заданной программы,— это же сенсационная диссертация! Если хорошо подать, мог бы прямо на докторскую защититься.

Но разобрало любопытство. Комплекс явно стремился развиваться. Но зачем? Чтобы понимать человека? Непохоже: машину пока явно устраивало, что я понимаю ее, прилежно выполняю заказы... Люди делают машины для своих целей. Но у машины-то какие могут быть цели?! Или это не цель, а некий первородный «инстинкт накопления», который, начиная с определенной сложности, присущ всем системам, будь то червь или электронная машина? И до каких пределов развития дойдет комплекс?

Именно тогда я выпустил вожжи из рук — и до сих пор не знаю: плохо или хорошо я сделал...)

В середине марта машина, видимо, усвоив с помощью «шапки Мономаха» сведения о новинках электроники, стала запрашивать криозары и криотроны, туннельные транзисторы, пленочные схемы, микроматрицы... Мне стало вовсе не до анализа: я рыскал по

институту и по всему городу, интриговал, льстил, выменивал на что угодно эти «модные» новинки.

И все напрасно! Месяц спустя машина «разочаровалась» в электронике и... «увлеклась» химией.

Собственно, и в этом не было ничего неожиданного: машина выбрала наилучший способ конструировать себя. Ведь химия — это путь природы. У природы не было ни паяльников, ни подъемных кранов, ни сварочных станков, ни моторов, ни даже лопаты — она просто смешивала растворы, нагревала и охлаждала их, освещала, выпаривала... так и получилось все живое на Земле.

В том-то и дело, что в действиях машины все было последовательно и логично! Даже ее пожелания, чтобы я надел «шапку Мономаха»,— а их она выстукивала чем дальше, тем чаще,— тоже были прозрачные. Чем перерабатывать сырую информацию от фото-, звуко-, запахо- и прочих датчиков, лучше использовать переработанную мною. В науке многие так делают.

Но бог мой, какие только реактивы не требовала машина: от дистиллированной воды до триметилдифторпарааминтетрахлорфенилсульфата натрия, от ДНК и РНК до бензина марки «Галоша»! А какие замысловатые технологические схемы приходилось мне собирать!

Лаборатория на глазах превращалась в пещеру средневекового алхимика; ее заполнили бутыли, двугорлые колбы, автоклавы, перегонные кубы — я соединял их шлангами, стеклянными трубками, проводами. Запас реактивов и стекла исчерпался в первую же неделю — приходилось добывать еще и еще.

Благородные, ласкающие обоняние электрика запахи канифоли и нагретой изоляции вытеснили болотные миазмы кислот, аммиака, уксуса и черт знает чего еще. Я бродил в этих химических джунглях как потерянный. В кубах и шлангах булькало, хлюпало, вздыхало. Смеси в бутылях и колбах пузырились, бродили, меняли цвет; в них выпадали какие-то осадки, растворялись и зарождались вновь желеобразные пульсирующие комки, клубки колышущихся серых нитей. Я доливал и досыпал реактивы по численным заказам машины и уже ничего не понимал...

Потом вдруг машина выстучала заказ еще на четыре печатающих автомата. Я ободрился: все-таки машина интересуется не только химией! — развил деятельность, добыл, подсоединил... и пошло!

(Наверное, у меня тогда получился тот самый эшбианский «усилитель отбора информации» или что-то близкое к нему... Впрочем, шут его знает! Именно тогда я, в общем, запутался окончательно).

Теперь в лаборатории стало шумно, как в машинописном бюро: автоматы строчили числа. Бумажные ленты с колонками цифр лезли из прямоугольных зевов, будто каша из сказочного горшочка.

Я сматывал ленты в рулоны, выбирал числа, разделенные просветами, переводил их в слова, составлял фразы.

«Истины» получались какие-то странные, загадочные. Ну, например: «...двадцать шесть копеек, как с Бердичева» — одна из первых. Что это: факт, мысль? Или намек? А вот эта: «Луковица будто рана стальная...» — похоже на «Улица будто рана сквозная...» Маяковского. Но какой в ней смысл? Что это — жалкое подражание? Или, может, поэтическое открытие, до которого нынешние поэты еще не дошли?

Расшифровываю другую ленту: «Нежность душ, разложенная в ряд Тейлора, в пределах от нуля до бесконечности сходится в бигармоническую функцию». Отлично сказано, а?

И вот так все: либо маловразумительные обрывки, либо «что-то шизофреническое». Я собрался было отнести несколько лент матлингвистам — может, они осилят? — но передумал, побоялся скандала. Вразумительную информацию выдавал лишь первый автомат: «Добавить такие-то реактивы в колбы № 1, № 3 и № 7», «Уменьшить на 5 вольт напряжение на электродах от 34-го до 123-го» и т. д. Машина не забывала «питаться» — значит, она не «сошла с ума». Тогда кто же?..

Самым мучительным было сознание, что ничего не можешь поделать.

И раньше у меня в опытах случалось непонятное, но там можно было, на худой конец, тщательно повторить опыт: если сгинул дурной эффект — туда ему и дорога, если нет — исследуем. А здесь — ни переиграть, ни повернуть назад. Даже в снах я не видел ничего, кроме извивающихся белых змей в чешуе чисел, и напрягался в тоскливой попытке понять: что же все-таки хочет сообщить машина?

Я уже не знал, куда девать рулоны перфолент с числами. У нас в институте их используют двояко: те, на которых запечатлены решения новых задач, сдают в архив, а прочие сотрудники разносят по домам и применяют как туалетную бумагу — очень практично. Моих рулонов хватило бы уже на все туалеты Академгородка.

...И когда хорошим апрельским утром (после бессонной ночи в лаборатории я выполнял все прихоти машины: доливал, досыпал, регулировал...) автомат № 3 выдал мне в числах фразу «Стрептоцидовый стриптиз с трепетом стрептококков...», я понял, что дальше по этому пути идти не надо.

Я вынес все рулоны на полянку в парке, растрепал их (кажется, я даже приговаривал: «Стрептоцид, да?! Бердичев?! Нежность душ?! Луковица...»— точно не помню) и поджег.

Сидел около костра, грелся, курил и понимал, что эксперимент провалился.

И не потому, что ничего не получилось, а потому, что вышла «каша»... Когда-то мы с Валеркой Ивановым смеха ради сплавили в вакуумной печи «металлополупроводниковую кашу» из всех материалов, что были тогда под рукой. Получился восхитительной расцветки слиток; мы его разбили для исследований. В каждой крошке слитка можно было обнаружить любые эффекты твердого тела — от туннельного до транзисторного — и все они были зыбкие, неустойчивые, невоспроизводимые. Мы выбросили «кашу» в мусорный ящик.

Здесь было то же самое. Смысл научного решения в том, чтобы из массы свойств и эффектов в веществе, в природе, в системе, в чем угодно выделить нужное, а прочее по возможности подавить. Здесь это не удалось. Машина не научилась понимать мою информацию... Я направился в лабораторию, чтобы выключить напряжение.

И в коридоре мне на глаза попался бак — великолепный сосуд из прозрачного тефлона размерами $2 \times 1{,}5 \times 1{,}2$ метра; я его приобрел тогда же в декабре с целью употребить тефлон для всяких поделок, да не понадобилось. Этот бак навел меня на последнюю и совершенно уж дикую мысль. Я выставил в коридор все печатающие автоматы, на их место установил бак, свел в него провода от машины, концы труб, отростки шлангов, вылил и высыпал остатки реактивов, залил водой поднявшуюся вонь и обратился к машине с такой речью:

— Хватит чисел! Мир нельзя выразить в двоичных числах, понятно? А даже если и можно, какой от этого толк? Попробуй-ка по-другому: в образах, в чем-то вещественном... черт бы тебя побрал!

Запер лабораторию и ушел с твердым намерением отдохнуть, прийти в себя. Да и то сказать: последнюю неделю я просто не мог спать по ночам.

...Это были хорошие десять дней — спокойные и благоустроенные. Я высыпался, делал зарядку, принимал душ. Мы с Ленкой ездили на мотоцикле за город, ходили в кино, бродили по улицам, целовались. «Ну, как там наши твердые схемы? — спрашивала она.— Не размякли еще?» Я отвечал что-нибудь ей в тон и переводил разговор на иные предметы. «Мне нет дела ни до каких схем, машин, опытов! — напоминал я себе.— Не хочу, чтобы однажды меня увезли из лаборатории очень веселого и в рубашке с не по росту длинными рукавами!»

Но внутри у меня что-то щемило. Бросил, убежал — а что там сейчас делается? И что же это было? (Я уже думал об эксперименте в прошедшем времени: было...) Похоже, что с помощью произвольной информации я возбудил в комплексе какой-то процесс синтеза. Но что за синтез такой дурной? И синтез чего?»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Если в книге упомянуто, что герой, заперев квартиру, положил ключи в карман,— так и знай, что-нибудь случится: либо он эти ключи потеряет, либо их сопрут. В жизни так бывает далеко не всегда.

К. Прутков-инженер, мысль № 6

«...Человек шел навстречу мне по асфальтовой дорожке. За ним зеленели деревья, белели колонны старого институтского корпуса. В парке все было обыкновенно. Я направлялся в бухгалтерию за авансом. Человек шагал чуть враскачку, махал руками и не то чтобы прихрамывал, а просто ставил правую ногу осторожней, чем левую; последнее мне особенно бросилось в глаза. Ветер хлопал полами его плаща, трепал рыжую шевелюру.

Мысль первая: где я видел этого типа?

По мере того как мы сближались, я различал покатый лоб с залысинами и крутыми надбровными дугами, плоские щеки в рыжей недельной щетине, толстый нос, высокомерно поджатые губы, скучливо сощуренные веки... Нет, мы определенно виделись, эту заносчивую физиономию невозможно забыть. А челюсть — бог мой! — такую только по праздникам надевать.

Мысль вторая: поздороваться или безразлично пройти мимо?

И в этот миг вся окрестность перестала для меня существовать. Я споткнулся на ровном асфальте и стал. Навстречу мне шел я *сам*.

Мысль третья (обреченная): «Ну, вот...»

Человек остановился напротив.

— Привет!

— Пппривет...— Из мгновенно возникшего в голове хаоса выскочила спасительная догадка.— Вы что, из киностудии?

— Из киностудии?! Узнаю свою самонадеянность! — Губы двойника растянулись в улыбке.— Нет, Валек, фильм о нас студии еще не планируют. Хотя теперь... кто знает!

— Послушайте, я вам не Валек, а Валентин Васильевич Кривошеин! Всякий нахал...

Встречный улыбнулся, явно наслаждаясь моей злостью. Чувствовалось, что он более готов к встрече и упивается выигрышностью своего положения.

— И... извольте объяснить: кто вы, откуда взялись на территории института, на какой предмет загримировались и вырядились под меня?!

— Изволю,— сказал он.— Валентин Васильевич Кривошеин, завлабораторией новых схем. Вот мой пропуск, если угодно,— и он действительно показал мой затасканный пропуск.— А взялся я, понятное дело, из лаборатории.

— Ах, даже таак? — В подобной ситуации главное — не утратить чувство юмора.— Очень приятно познакомиться. Валентин, значит, Васильевич? Из лаборатории? Так, так... ага... м-да.

И тут я поймал себя на том, что верю ему. Не из-за пропуска, конечно, у нас на пропуске и вахтера не проведешь. То ли я некстати сообразил, что рубец над бровью и коричневая родинка на щеке, которые я в зеркале вижу слева, на самом деле должны быть именно на правой стороне лица. То ли в самой повадке собеседника было нечто исключавшее мысль о розыгрыше... Мне стало страшно: неужели я свихнулся на опытах и столкнулся со своей раздвоившейся личностью? «Хоть бы никто не увидел... Интересно, если смотреть со стороны — я один или нас двое?»

— Значит, из лаборатории? — Я попытался подловить его.— А почему же вы идете от старого корпуса?

— Заходил в бухгалтерию, ведь сегодня двадцать второе.— Он вытащил из кармана пачку пятирублевок, отсчитал часть.— Получи свою долю.

Я машинально взял деньги, пересчитал. Спохватился:

— А почему только половина?

— О господи! — Двойник выразительно вздохнул.— Нас же теперь двое!

(Этот подчеркнутый выразительный вздох... никогда не стану так вздыхать. Оказывается, вздохом можно унизить. А его дикция — если можно так сказать о всяком отсутствии дикции! — неужели я тоже так сплевываю слова с губ?)

«Я взял у него деньги — значит, он существует,— соображал я.— Или и это обман чувств? Черт побери, я исследователь, и чихать я хотел на чувства, пока не пойму, в чем дело!»

— Значит, вы настаиваете, что... взялись из запертой и опечатанной лаборатории?

— Угу,— кивнул он.— Именно из лаборатории. Из бака.

— Даже из бака, скажите пожал... Как из бака?!

— Так, из бака. Ты бы хоть скобы предусмотрел, еле вылез...

— Слушай, ты это брось! Не думаешь же ты всерьез убедить меня, что тебя... то есть меня... нет, все-таки тебя сделала машина?

Двойник опять вздохнул самым унижающим образом.

— Я чувствую, тебе еще долго предстоит привыкать к тому, что э т о случилось. А мог бы догадаться. Ты же видел, как в колбах возникла живая материя?

— Мало ли что! Плесень я тоже видел, как она возникает в сырых местах. Но это еще не значило, что я присутствовал при зарождении жизни... Хорошо, допустим, в колбах и сотворилось что-то живое — не знаю, я не биолог. Но при чем здесь ты?

— То есть как это при чем?! — Теперь пришла его очередь взъериться.— А что же, по-твоему, она должна создать: червя?



лошадь? осьминога?! Машина накапливала и перерабатывала информацию *о тебе:* видела *тебя,* слышала, обоняла и осязала *тебя,* считывала биотоки *твоего* мозга! Ты ей глаза намозолил! Вот и пожалуйста. Из деталей мотоцикла можно собрать лишь мотоцикл, а отнюдь не пылесос.

— Хм... ну, допустим. А откуда ботинки, костюм, пропуск, плащ?

— О черт! Если она произвела человека, то что ей стоит вырастить плащ?!

(Победный блеск глаз, непреложные жесты, высокомерные интонации... Неужели и я так постыдно нетерпим, когда чувствую превосходство хоть в чем-то?)

— Вырастить? — Я пощупал ткань его плаща. Меня пробрал озноб: плащ был *не такой.*

Огромное вмещается в голову не сразу, во всяком случае в мою. Помню, студентом меня прикрепили к делегату молодежного фестиваля, юноше-охотнику из таймырской тундры; я водил его по Москве. Юноша невозмутимо и равнодушно смотрел на бронзовые скульптуры ВДНХ, на эскалаторы метро, на потоки машин, а по поводу высотного здания МГУ высказался так: «Из жердей и шкур можно построить маленький чум, из камня — большой...» Но вот в вестибюле ресторана «Норд», куда мы зашли перекусить, он носом к носу столкнулся с чучелом белого медведя с подносом в лапах — и замер, пораженный!

Подобное произошло со мной. Плащ двойника очень походил на мой, даже чернильное пятно красовалось именно там, куда я посадил его, стряхивая однажды авторучку. Но ткань была более эластичная и будто жирная, пуговицы держались не на нитках, а на гибких отростках. Швов в ткани не было.

— Скажи, а он к тебе не прирос? Ты можешь его снять?

Двойник окончательно взбеленился:

— Ну, хватит! Не обязательно раздевать меня на таком ветру, чтобы удостовериться, что я — это ты! Могу и так все объяснить. Рубец над бровью — это с коня слетел, когда батя учил верховой езде! На правой ноге порвана коленная связка — футбол на первенство школы! Что тебе еще напомнить? Как в детстве втихую верил в бога? Или как на первом курсе хвастал ребятам по комнате, что познал не одну женщину, хотя на самом деле потерял невинность на преддипломной практике в Таганроге?

(«Вот сукин сын! И выбрал же...»)

— М-да... Ну, знаешь, если ты — это я, то я от себя не в восторге.

— Я тоже,— буркнул он.— Я считал себя сообразительным человеком...— Лицо его вдруг напряглось.— Тсс, не оборачивайся!

Позади меня послышались шаги.

— Приветствую вас, Валентин Васильевич! — произнес голос Гарри Хилобока, доцента, кандидата, секретаря и сердцееда институтских масштабов.

Я не успел ответить. Двойник роскошно осклабился, склонил голову:

— Добрый день, Гарри Харитонович!

В свете его улыбки мимо нас проследовала пара. Пухленькая черноволосая девушка бойко отстукивала каблуками-гвоздиками по асфальту, и Хилобок, приноравливаясь к ее походке, семенил так, будто и на нем была узкая юбка.

— ...Возможно, я не совсем точно понял вас, Людочка,— журчал его баритон,— но я, с точки зрения недопонимания, высказываю свои соображения...

— У Гарри опять новая,— констатировал двойник.— Вот видишь: Хилобок и тот меня признает, а ты сомневаешься. Пошли-ка домой!

Только полной своей растерянностью могу объяснить, что покорно поплелся за ним в Академгородок.

В квартире он сразу направился в ванную. Послышался шум воды из душа, потом он высунулся из двери:

— Эй, первый экземпляр или как там тебя! Если хочешь убедиться, что у меня все в порядке, прошу. Заодно намылишь мне спину.

Я так и сделал. Это был живой человек. И тело у него было мое. Кстати, не ожидал увидеть у себя такие могучие жировые складки на животе и на боках. Надо почаще упражняться с гантелями!

Пока он мылся, я ходил по комнате, курил и пытался привыкнуть к факту: машина создала человека. Машина воспроизвела меня... О природа, неужели это возможно?! Средневековые завиральные идеи насчет «гомункулюса»... Мысль Винера о том, что информацию в человеке можно «развернуть» в последовательность импульсов, передать их на любое расстояние и снова записать в человека, как изображение на телеэкране... Доказательства Эшби, что между работой мозга и работой машины нет принципиальной разницы — впрочем, еще ранее это доказывал Сеченов... Но ведь все это умные разговоры для разминки мозгов; попробуй на их основе что-то сделать!

И выходит, сделано? Там, за дверцей, плещется и со вкусом отфыркивается не Иванов, Петров, Сидоров — тех бы я послал подальше,— но «я»... А эти рулоны с числами? Выходит, я сжег «бумажного себя»?

Из комбинаций чисел я силился выбрать коротенькие приемлемые истины, а машина копнула глубже. Она накапливала инфор-

мацию, комбинировала ее так и этак, сравнивала по каналам обратной связи, отбирала и усиливала нужное и на каком-то этапе сложности «открыла» Жизнь!

А потом машина развила ее до уровня человека. Но почему? Зачем? Я же этого не добивался!

Сейчас, по здравом размышлении, я могу свести концы с концами: да, получилось именно то, чего я «добивался»! Я хотел, чтобы машина понимала человека — и только. «Вы меня понимаете?» — «О да!» — отвечает собеседник, и оба, довольные друг другом, расходятся по своим делам. В разговоре это сходит с рук. Но в опытах с логическими автоматами так легко путать понимание и согласие мне не следовало. Поэтому (лучше позже, чем никогда!) стоит разобраться: что есть понимание?

Есть практическое (или целевое) понимание. В машину закладывают программу, она ее понимает — делает то, что от нее ждут. «Тобик, куси!» — и Тобик радостно хватает прохожего за штаны. «Цоб!» — и волы поворачивают направо. «Цобэ!» — налево. Такое примитивное понимание типа «цоб-цобэ» доступно многим живым и неживым системам. Оно контролируется по достижению цели, и, чем примитивней система, тем проще должна быть цель и тем подробней программирование задачи.

Но есть и другое понимание — взаимопонимание: полная передача своей информации другой системе. А для этого система, которая усваивает информацию, должна быть никак не проще той, что передает...

Я не задал машине цель — все ждал, когда она закончит конструировать и усложнять себя. А она не кончала и не кончала — и естественно: ее «целью» стало полное понимание моей информации, да не только словесной, а любой. («Цель» машины — это опять информационное понятие, им тоже баловаться не стоит. Просто — информационные системы ведут себя по законам, чем-то похожим на начала термодинамики; и моя система «датчики — кристаллоблок — ЦВМ-12» должна была прийти в информационное равновесие со средой — как болванка в печи должна прийти в температурное равновесие с жаром углей. Такое равновесие и есть взаимопонимание. Ни на уровне схем, ни на уровне простых организмов к нему не прийти.)

Вот так все и получилось. На взаимопонимание человека способен только человек. На хорошее взаимопонимание — очень близкий человек. На идеальное — только ты сам. И мой двойник — продукт информационного равновесия машины со мной. Но, кстати сказать, клювики «информационных весов» так и не сравнялись — я не присутствовал в лаборатории в это время и не столкнулся со свежевозникшим дублем, как с отражением в зеркале,— носом к носу. А дальше и вовсе все у нас пошло по-разному.

Словом, ужас как бестолково я поставил опыт. Только и моего, что сообразил наладить обратную связь...

Интересно переиграть: если бы я вел эксперимент строго, логично, обдуманно, отсекал сомнительные варианты — получил бы я такой результат? Да никогда в жизни! Получился бы благополучный кандидатско-докторский верняк — и все. Ведь в науке в основном происходят вещи посредственные — и я приучил себя к посредственному.

Значит, все в порядке? Почему же грызет досада, неудовлетворенность? Почему я все возвращаюсь к этим промахам и ошибкам? Ведь получилось... Что, вышло не по правилам? А есть ли правила для открытий? Много случайного, не можешь приписать все своему «научному видению»? А открытие Гальвани, а Х-лучи, а радиоактивность, а электронная эмиссия, а... да любое открытие, с которого начинается та или иная наука, связано со случаем. Многое еще не понимаю? Тоже как у всех, нечего пыжиться!

Откуда же это саморастерзание?

Э, дело, видимо, в другом: сейчас так работать нельзя. Уж очень нынче наука серьезная пошла, не то, что во времена Гальвани и Рентгена. Вот так, не подумав, можно однажды открыть и способ мгновенного уничтожения Земли — с блестящим экспериментальным подтверждением...

Дубль вышел из ванной порозовевший и в моей пижаме, пристроился к зеркалу причесываться. Я подошел, стал рядом: из зеркала смотрели два одинаковых лица. Только волосы у него были темнее от влаги.

Он достал из шкафа электробритву, включил ее. Я наблюдал, как он бреется, и чувствовал себя едва ли не в гостях: настолько по-хозяйски непринужденными были его движения.

Я не выдержал:

— Слушай, ты хоть осознаешь необычность ситуации?

— Чего? — Он скосил глаза.— Не мешай! — Он явно был по ту сторону факта...»

Аспирант отложил дневник, покачал головой: нет, Валька-оригинал не умел читать в душах!

...Он тоже был потрясен. По ощущениям получалось, будто он проснулся в баке, понимая все: где находится и как возник. Собственно, его открытие начиналось уже тогда... А хамил он от растерянности. И еще, пожалуй, потому, что искал линию поведения — такую линию, которая не низвела бы его в экспериментальные образцы. Он снова взялся за дневник.

«...— Но ведь ты появился из машины, а не из чрева матери! Из машины, понимаешь!

— Ну так что! А появиться из чрева, по-твоему, просто? Рождение человека куда более таинственное событие, чем мое появление. Здесь можно проследить логическую последовательность, а там? Мальчик получится или девочка? В папу пойдет или в маму? Умный возрастет или дурак? Сплошной туман! Нам это дело кажется обыкновенным лишь из-за своей массовости. А здесь: машина записала информацию — и воспроизвела ее. Как магнитофон. Конечно, лучше бы она воспроизвела меня, скажем, с Эйнштейна... но что поделаешь! Ведь и на магнитофоне если записаны «Гоп, мои гречаники...», то не надейся услышать симфонию Чайковского.

Нет, чтобы я был таким хамом! Видно, он остро чувствовал щекотливость своего появления на свет, своего положения и не хотел, чтобы я это понял. А чего там не понять: возник из колб и бутылок, как средневековый гомункулюс, и бесится... Я часто замечал: люди, которые чуют за собой какую-то неполноценность, всегда нахальнее и хамовитее других.

И он стремился вести себя с нормальной естественностью новорожденного.

Тот ведь тоже не упивается значением события (Человек родился!), а сразу начинает скандалить, сосать грудь и пачкать пеленки...»

Аспирант Кривошеин только вздохнул и задумчиво перевернул страницу.

«— Ну, а чувствуешь-то ты себя нормально?

— Вполне! — Он освежал лицо одеколоном.— С чего бы мне чувствовать себя ненормально? Машина — устройство без фантазии. Представляю, что бы она наворотила, будь у нее воображение! А так все в порядке: я не урод о двух головах, молод, здоров, наполнение пульса отличное. Сейчас поужинаю и поеду к Ленке. Я по ней соскучился.

— Что-о-о-о?!— Я подскочил к нему.

Он смотрел на меня с интересом, в глазах появились шкодливые искорки.

— Да, ведь мы теперь соперники! Послушай, ты как-то примитивно к этому относишься. Ревность — чувство пошлое, пережиток. Да и к кому ревновать, рассуди здраво: если Лена будет со мной, разве это значит, что она изменила тебе? Изменить можно с другим мужчиной, непохожим, более привлекательным, например. А я для нее — это ты... Даже если у нас с ней пойдут дети, то нельзя считать, что она наставила тебе рога. Мы с тобой одинако-

вые — и всякие там разные гены, хромосомы у нас тоже... Э-э, осторожней!

Ему пришлось прикрыться дверцей шкафа. Я схватил гантель с пола, двинулся к нему:

— Убью гада! На логику берешь... я тебе покажу логику, гомункулюс! Я тебя породил, я тебя и убью, понял? Думать о ней даже не смей!

Дубль бесстрашно выступил из-за шкафа. Уголки рта у него были опущены.

— Слушай, ты, Тарас Бульба! Положи гантель! Если уж ты начал так говорить, то давай договоримся до полной ясности. «Гомункулюса» и «убью» я оставляю без внимания как продукты твоей истеричности. А вот что касается цитат типа «я тебя породил...» — так ты меня не породил. Я существую не благодаря тебе, и насчет моей подчиненности тебе лучше сразу не заблуждаться...

— То есть как?..

— А так. Положи гантель, я серьезно говорю. Я, если быть точным, возник против твоих замыслов, просто потому, что ты вовремя не остановил опыт, а дальше и хотел бы, да поздно. То есть,— он скверно усмехнулся,— все аналогично той ситуации, в которой и ты когда-то появился на свет по небрежности родителей...

(Все знает, смотри-ка! Было. Матушка моя однажды, после какой-то моей детской шкоды, сказала, чтобы слушался и ценил:

— Хотела я сделать аборт, да передумала. А ты...

Лучше бы она этого не говорила. Меня не хотели. Меня могло не быть!)

— ...Но в отличие от мамы ты меня не вынашивал, не рожал в муках, не кормил и не одевал,— продолжал дубль.— Ты меня даже не спас от смерти, ведь я существовал и до этого опыта: я был ты. Я тебе не обязан ни жизнью, ни здоровьем, ни инженерным образованием — ничем! Так что давай на равных.

— И с Леной на равных?!

— С Леной... я не знаю, как быть с Леной. Но ты... ты...— он, судя по выражению лица, хотел что-то прибавить, но воздержался, только резко выдохнул воздух,— ты должен так же уважать мои чувства, как я твои, понял? Ведь я тоже люблю Ленку. И знаю, что она моя — моя женщина, понимаешь? Я знаю ее тело, запах кожи и волос, ее дыхание... и как она говорит: «Ну, Валек, ты как медведь, право!» — и как она морщит нос...

Он вдруг осекся. Мы посмотрели друг на друга, пораженные одной и той же мыслью.

— В лабораторию! — Я первый кинулся к вешалке».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Если тебе хочется такси, а судьба предлагает автобус — выбирай автобус, ибо он следует по расписанию.

К. Прутков-инженер, мысль № 90

«Мы бежали по парку напрямик; в ветвях и в наших ушах свистел ветер. Небо застилали тучи цвета асфальта.

В лаборатории пахло теплым болотом. Лампочки под потолком маячили в тумане. Возле своего стола я наступил на шланг, который раньше здесь не лежал, и отдернул ногу: шланг стал извиваться!

Колбы и бутыли покрылись рыхлым серым налетом; что делалось в них — не разобрать. Журчали струйки воды из дистилляторов, щелкали реле в термостатах. В дальнем углу, куда уже не добраться из-за переплетения проводов, трубок, шлангов, мигали лампочки на пульте ЦВМ-12.

Шлангов стало куда больше, чем раньше. Мы пробирались среди них, будто сквозь заросли лиан. Некоторые шланги сокращались, проталкивали сквозь себя какие-то комки. Стены бака тоже обросли серой плесенью. Я очистил ее рукавом.

...В золотисто-мутной среде вырисовывался силуэт человека. «Еще дубль?! Нет...» Я всмотрелся. В ванне наметились контуры женского тела, и очертания этого тела я не спутал бы ни с каким другим. Напротив моего лица колыхалась голова без волос.

Была какая-то сумасшедшая логика в том, что именно сейчас, когда мы с дублем схлестнулись из-за Лены, машина тоже пыталась решить эту задачу. Я испытывал страх и внутренний протест.

— Но... ведь машина ее не знает!

— Зато ты знаешь. Машина воспроизводит ее по твоей памяти...

Мы говорили почему-то шепотом.

— Смотри!

За призрачными контурами тела Лены стал вырисовываться скелет. Ступни уплотнились в белые фаланги пальцев, в суставы; обозначились берцовые и голенные кости. Изогнулся похожий на огромного кольчатого червя позвоночник, от него разветвились ребра, выросли топорики лопаток. В черепе наметились швы, обрисовались ямы глазниц... Не могу сказать, что это приятное зрелище — скелет любимой женщины,— но я не мог оторвать глаз. Мы видели то, чего еще никто не видел на свете: как машина создает человека!

«По моей памяти, по моей памяти...— лихорадочно соображал я.— Но ведь ее недостаточно. Или машина усвоила общие законы построения человеческого тела? Откуда — ведь я их не знаю!»

Кости в баке начали обрастать прозрачно-багровыми полосами и свивами мышц, а они подернулись желтоватым, как у курицы,

жирком. Красным пунктиром пронизала тело кровеносная система. Все это колебалось в растворе, меняло очертания. Даже лицо Лены с опущенными веками, за которыми виднелись водянистые глаза, искажали гримасы. Машина будто примеривалась, как лучше скомпоновать человека.

Я слишком слабо знаком с анатомией вообще и женского тела в частности, чтобы оценить, правильно или нет строила машина Лену. Но вскоре почуял неладное. Первоначальные контуры ее тела стали изменяться. Плечи, еще несколько минут назад округлые, приобрели угловатость и раздались вширь... Что такое?

— Ноги! — Дубль больно сжал мое предплечье.— Смотри, ноги!

Я увидел внизу жилистые ступни под сорок второй размер ботинок — и от догадки меня прошиб холодный пот. Машина исчерпала информацию о Лене и достраивала ее моим телом! Я повернулся к дублю: у него лоб тоже блестел от пота.

— Надо остановить!

— Как? Вырубить ток?

— Нельзя, это сотрет память в машине. Дать охлаждение?

— Чтобы затормозить процесс? Не выйдет, у машины большой запас тепла...

А искаженный образ в баке приобретал все более ясные очертания. Вокруг тела заколыхалась прозрачная мантия — я узнал фасон простенького платья, в котором Лена мне больше всего нравилась. Машина с добросовестностью идиота напяливала его на свое создание...

Надо приказать машине, внушить... но как?

— Верно! — Дубль подскочил к стеклянному шкафчику, взял «шапку Мономаха», нажал на ней кнопку «Трансляция» и протянул мне.— Надевай и ненавидь Ленку! Думай, что хочешь ее уничтожить... ну!

Я сгоряча схватил блестящий колпак, повертел в руках, вернул.

— Не смогу...

— Тютя! Что же делать? Ведь это скоро откроет глаза и...

Он плотно натянул колпак и стал кричать напропалую, размахивая кулаками:

— Остановись, машина! Остановись сейчас же, слышишь! Ты создаешь не макет, не опытный образец — человека! Остановись, идиотище! Остановись по-хорошему!

— Остановись, машина, слышишь! — Я повернулся к микрофонам.— Остановись, а то мы уничтожим тебя!

Тошно вспоминать эту сцену. Мы, привыкшие нажатием кнопки или поворотом ручки прекращать и направлять любые процессы, кричали, объясняли... и кому? — скопищу колб, электронных схем и шлангов. Тьфу! Это была паника.

Мы еще что-то орали противными голосами, как вдруг шланги около бака затряслись от энергичных сокращений, овеществленный образ-гибрид затянула белая муть. Мы замолкли. Через три минуты муть прояснилась. В золотистом растворе не было ничего. Только переливы и блики растекались от середины к краям.

— Ф-фу...— сказал дубль.— До меня раньше как-то не доходило, что человек на семьдесят процентов состоит из воды. Теперь дошло...

Мы выбрались к окну. От влажной духоты мое тело покрылось липким потом. Я расстегнул рубашку, дубль сделал то же. Наступал вечер. Небо очистилось от туч. Стекла институтского корпуса напротив как ни в чем не бывало отражали багровый закат. Так они отражали его в каждый ясный вечер: вчера, месяц, год назад — когда *этого* еще не было. Природа прикидывалась, будто ничего не произошло.

У меня перед глазами стоял обволакиваемый прозрачными тканями скелет.

— Эти анатомические подробности, эти гримасы... бррр! — сказал дубль, опускаясь на стул.— Мне и Лену что-то расхотелось видеть.

Я промолчал, потому что он выразил мою мысль. Сейчас-то все прошло, но тогда... одно дело знать, пусть даже близко, что твоя женщина — человек из мяса, костей и внутренностей, другое дело — увидеть это.

Я достал из стола лабораторный журнал, просмотрел последние записи — куцые и бессодержательные. Это ведь когда опыт получается, как задумал, или хорошая идея пришла в голову, то расписываешь подробно; а здесь было:

«8 апреля. Раскодировал числа, 860 строк. Неудачно.

9 апреля. Раскодировал выборочно числа с пяти рулонов. Ничего не понял. Шизофрения какая-то!

10 апреля. Раскодировал с тем же результатом. Долил в колбы и бутыли: № 1, 3 и 5 глицерина по 2 л; № 2 и 7 — раствора тиомочевины по 200 мл; во все — дистиллята по 2—3 л.

11 апреля. «Стрептоцидовый стриптиз с трепетом стрептококков». Ну — все...»

А сейчас возьму авторучку и запишу: «22 апреля Комплекс воспроизвел меня, В. В. Кривошеина. Кривошеин № 2 сидит рядом и чешет подбородок». Анекдот!

И вдруг меня подхватила волна сатанинской гордости. Ведь открытие-то есть — да какое! Оно вмещает в себя и системологию, и электронику, и бионику, и химию, и биологию — все, что хотите, да еще сверх того что-то. И сделал его я! Как сделал, как достиг — вопрос второй. Но главное: я! Я!!! Теперь пригласить Государственную комиссию да продемонстрировать возникновение в баке нового

дубля... Представляю, какие у всех будут лица! И знакомые теперь уж точно скажут: «Ну ты да-ал!», скажут: «Вот тебе и Кривошеин!» И Вольтампернов прибежит смотреть... Я испытывал неудержимое желание захихикать; только присутствие собеседника остановило меня.

— Да что знакомые, Вольтампернов,— услышал я свой голос и не сразу понял, что это произнес дубль.— Это, Валек, Нобелевская премия!

«А и верно: Нобелевская! Портреты во всех газетах... И Ленка, которая сейчас относится ко мне несколько свысока — конечно, она красивая, а я нет! — тогда поймет... И посредственная фамилия Кривошеин (я как-то искал в энциклопедии знаменитых однофамильцев — и не нашел: Кривошлыков есть, Кривоногов есть, а Кривошеиных еще нет) будет звучать громоподобно: Кривошеин! Тот самый!..»

Мне стало не по себе от этих мыслей. Честолюбивые мечтания сгинули. Действительно: что же будет? Что делать с этим открытием дальше?

Я захлопнул журнал.

— Так что: будем производить себе подобных? Устроим демпинг Кривошеиных? Впрочем, и других можно, если их записать в машину... Черт-те что! Как-то это... ни в какие ворота не лезет.

— М-да. А все было тихо-мирно...— Дубль покрутил головой.

Вот именно: все было тихо-мирно... «Хорошая погода, девушка. Вам в какую сторону?» — «В противоположную!» — «И мне туда, а как вас зовут?» — «А вам зачем?» — ну и так далее, вплоть до Дворца бракосочетаний, родильного дома, порции ремня за убитую из рогатки кошку и сжигаемой после окончания семи классов ненавистной «Зоологии». Как хорошо сказано в статье председателя Днепровской конторы загса: «Семья есть способ продолжения рода и увеличения населения государства». И вдруг — да здравствует наука! — появляется конкурентный способ: засыпаем и заливаем реактивы из прейскуранта Главхимторга, вводим через систему датчиков информацию — получаем человека. Причем сложившегося, готового: с мышцами и инженерной квалификацией, с привычками и жизненным опытом... «Выходит, мы замахиваемся на самое человечное, что есть в людях, на любовь, на отцовство и материнство, на детство! — Меня стал пробирать озноб.— И выгодно. Выгодно — вот что самое страшное в наш рационалистический век!»

Дубль поднял голову, в глазах у него были тревога и замешательство.

— Слушай, но почему страшно? Ну, работали — точнее, ты работал. Ну, сделал опытную установку, а на ней открытие. Способ синтеза информации в человека — заветная мечта алхимиков.

Расширяет наши представления о человеке как информационной системе... Ну, и очень приятно! Когда-то короли щедро ассигновали такие работы... правда, потом рубили головы неудачливым исследователям, но если подумать, то и правильно делали: не можешь — не берись. Но нам-то ничего не будет. Даже наоборот. Почему же так страшно?

«Потому что сейчас не средние века,— отвечал я себе.— И не прошлое столетие. И даже не начало XX века, когда все было впереди. Тогда первооткрыватели имели моральное право потом развести руками: мы, мол, не знали, что так скверно выйдет... Мы, их счастливые потомки, такого права не имеем. Потому что мы знаем. Потому что все уже было.

...Все было: газовые атаки — по науке; Майданеки и Освенцимы — по науке; Хиросима и Нагасаки — по науке. Планы глобальной войны — по науке, с применением математики. Ограниченные войны — тоже по науке... Десятилетия минули с последней мировой войны: разобрали и застроили развалины, сгнили и смешались с землей 50 миллионов трупов, народились и выросли новые сотни миллионов людей — а память об этом не слабеет. И помнить страшно, а забыть еще страшнее. Потому что это не стало прошлым. Осталось знание: люди это могут.

Первооткрыватели и исследователи — всего лишь специалисты своего дела. Чтобы добыть у природы новые знания, им приходится ухлопать столько труда и изобретательности, что на размышление не по специальности: а что из этого в жизни получится? — ни сил, ни мыслей не остается. И тогда набегают те, кому это «по специальности»: людишки, для которых любое изобретение и открытие — лишь новый способ для достижения старых целей: власти, богатства, влияния, почестей и покупных удовольствий. Если дать им наш способ, они увидят в нем только одно «новое»: выгодно! Дублировать знаменитых певцов, актеров и музыкантов? Нет, не выгодно: грампластинки и открытки выпускать прибыльнее. А выгодно будет производить массовым тиражом *людей для определенного назначения:* избирателей для победы над политическим противником (рентабельнее, чем тратить сотни миллионов на обычную избирательную кампанию), женщин для публичных домов, работников дефицитных специальностей, солдат-сверхсрочников... можно и специалистов посмирней с узко направленной одаренностью, чтобы делали новые изобретения и не совались не в свои дела. Человек для определенного назначения, *человек-вещь* — что может быть хуже! Как мы распоряжаемся с вещами и машинами, исполнившими назначение, отслужившими свое? В переплавку, в костер, под пресс, на свалку. Ну, и с людьми-вещами можно так же».

— Но ведь это там...— неопределенно указал рукой дубль.— У нас общественность не допустит.

«А разве нет у нас людей, которые готовы употребить все: от идей коммунизма до фальшивых радиопередач, от служебного положения до цитат из классиков,— чтобы достичь благополучия, известного положения, а потом еще большего благополучия для себя, и еще, и еще, любой ценой? Людей, которые малейшее покушение на свои привилегии норовят истолковать как всеобщую катастрофу?»

— Есть,— кивнул дубль.— И все же люди — в основном народ хороший, иначе мир давно бы превратился в клубок кусающих друг друга подонков и сгинул бы без всякой термоядерной войны. Но... Ведь если не считать мелких природных неприятностей: наводнений, землетрясений, вирусного гриппа — во всех своих бедах, в том числе и в самых ужасных, виноваты сами люди. Виноваты, что подчинялись тому, чему не надо подчиняться, соглашались с тем, чему надо противостоять, считали свою хату с краю. Виноваты тем, что выполняли работу, за которую больше платят, а не ту, что нужна всем людям и им самим... Если бы большинство людей на Земле соразмеряло свои дела и занятия с интересами человечества, нам нечего было бы опасаться за это открытие. Но этого нет. И поэтому, окажись сейчас в опасной близости от него хоть один влиятельный и расторопный подлец — наше открытие обернется страшилищем.

Потому что применение научных открытий — это всего лишь техника. Когда-то техника была выдумана для борьбы человека с природой. Теперь ее легко обратить на борьбу людей с людьми. А на этом пути техника никаких проблем не решает, только плодит их. Сколько сейчас в мире научных, технических, социальных, проблем вместо одной, решенной два десятилетия назад: как синтезировать гелий из водорода?

Выдадим мы на-гора́ свое открытие — и жить станет еще страшнее. И будет нам «слава»: каждый человек будет точно знать, кого и за что проклясть.

— Слушай, а может... и вправду? — сказал дубль.— Ничего мы не видели, ничего не знаем. Хватит с людей страшных открытий, пусть управятся хоть с теми, что есть. Вырубим напряжение, перекроем краны... А?

«И сразу — никакой задачи. Израсходованные реактивы спишу, по работе отчитаюсь как-нибудь. И займусь чем-то попроще, поневиннее...»

Мы замолчали. За окном над черными деревьями пылала Венера. Плакала где-то кошка голосом ребенка. В тишине парка висела высокая воющая нота — это в Ленкином КБ шли стендовые испытания нового реактивного двигателя. «Работа идет. Что ж, все правильно: 41-й год не должен повториться...— Я раздумывал над этим, чтобы оттянуть решение.— В глубоких шахтах рвутся плуто-

ниевые и водородные бомбы — высокооплачиваемым ученым и инженерам необходимо совершенствовать ядерное оружие... А на бетонных площадках и в бетонных колодцах во всех уголках планеты смотрят в небо остроносые ракеты. Каждая нацелена на свой объект, электроника в них включена, вычислительные машины непрерывно прощупывают их «тестами»: нет ли где неисправности? Как только истекает определенный исследованиями по надежности срок службы электронного блока, тотчас техники в мундирах отключают его, вынимают из гнезда и быстро, слаженно, будто вот-вот начнется война, в которой надо успеть победить, вталкивают в пустое гнездо новый блок. Работа идет».

— Вздор! — сказал я.— Человечество для многого не созрело: для ядерной энергии, для космических полетов — так что? Открытие — это объективная реальность, его не закроешь. Не мы, так другие дойдут — исходная идея опыта проста. Ты уверен, что они лучше распорядятся открытием? Я — нет... Поэтому надо думать, как сделать, чтобы это открытие не стало угрозой для человека.

— Сложно...— вздохнул дубль, поднялся.— Я посмотрю, что там в баке делается.

Через секунду он вернулся. На нем лица не было.

— Валька, там... там батя!

У радистов есть верная примета: если сложная электронная схема заработала сразу после сборки, добра не жди. Если она на испытаниях не забарахлит, то перед приемочной комиссией осрамит разработчиков; если комиссию пройдет, то в серийном производстве начнет объявляться недоделка за недоделкой. Слабина всегда обнаружится.

Машина вознамерилась прийти в информационное равновесие уже не со мной, непосредственным источником информации, а со всей информационной средой, о которой узнала от меня, со всем миром. Поэтому возникала Лена, поэтому появился отец.

Поэтому же было и все остальное, над чем мы с дублем хлопотали без отдыха целую неделю. Эта деятельность машины была продолжением прежней логической линии развития; но технически это была попытка с негодными средствами. Вместо «модели мира» в баке получился бред...

Не мог писать о том, как в баке возникал отец,— страшно. Таким он был в день смерти: рыхлый, грузный старик с широким бритым лицом, размытая седина волос вокруг черепа. Машина выбрала самое последнее и самое тяжелое воспоминание о нем. Умирал он при мне, уже перестал дышать, а я все старался отогреть холодеющее тело...

Потом мне несколько раз снился один и тот же сон: я что есть

силы тру холодное на ощупь тело отца — и оно теплеет, батя начинает дышать, сначала прерывисто, предсмертно, потом обыкновенно — открывает глаза, встает с постели. «Прихворнул немного, сынок,— говорит извиняющимся голосом.— Но все в порядке». Этот сон был как смерть наоборот.

А сейчас машина создавала его, чтобы он еще раз умер при нас. Разумом мы понимали, что никакой это не батя, а очередной информационный гибрид, которому нельзя дать завершиться; ведь неизвестно, что это будет — труп, сумасшедшее существо или еще что-то. Но ни он, ни я не решались надеть «шапку Мономаха», скомандовать машине: «Нет!» Мы избегали смотреть на бак и друг на друга.

Потом я подошел к щиту, дернул рубильник. На миг в лаборатории стало темно и тихо.

— Что ты делаешь?!— Дубль подскочил к щиту, врубил энергию.

Конденсаторы фильтров не успели разрядиться за эту секунду, машина работала. Но в баке все исчезло.

Потом я увидел в баке весь хаос своей памяти: учительницу ботаники в 5-м классе Елизавету Моисеевну; девочку Клаву из тех же времен — предмет мальчишеских чувств; какого-то давнего знакомого с поэтическим профилем; возчика-молдаванина, которого я видел мельком на базаре в Кишиневе... скучно перечислять. Это была не «модель мира» все образовывалось смутно, фрагментарно, как оно и хранится в умеющей забывать человеческой памяти. У Елизаветы Моисеевны, например, удались лишь маленькие строгие глазки под вечно нахмуренными бровями, а от возчика-молдаванина вообще осталась только баранья шапка, надвинутая на самые усы...

Спать мы ходили по очереди. Одному приходилось дежурить у бака, чтобы вовремя надеть «шапку» и приказать машине: «Нет!»

Дубль первый догадался сунуть в жидкость термометр (приятно было наблюдать, в какое довольное настроение привел его первый самостоятельный творческий акт!). Температура оказалась 40 градусов.

— Горячечный бред...

— Надо дать ей жаропонижающее,— сболтнул я полушутя.

Но, поразмыслив, мы принялись досыпать во все питающие машину колбы и бутыли хинин. Температура упала до 39 градусов, но бред продолжался. Машина теперь комбинировала образы, как в скверном сне,— лицо начальника первого отдела института Иоганна Иоганновича Кляппа плавно приобретало черты Азарова, у того вдруг отрастали хилобоковские усы...

Когда температура понизилась до 38 градусов, в баке стали

появляться плоские, как на экране, образы политических деятелей, киноартистов, передовиков производства вместе с уменьшенной Доской почета, Ломоносова, Фарадея, известной в нашем городе эстрадной певицы Марии Трапезунд. Эти двухмерные тени — то цветные, то черно-белые — возникали мгновенно, держались несколько секунд и растворялись. Похоже, что моя память истощалась.

На шестой или седьмой день (мы потеряли счет времени) температура золотистой жидкости упала до 36,5.

— Норма! — И я поплелся отсыпаться.

Дубль остался дежурить.

Ночью он растолкал меня:

— Вставай! Пойдем, там машина строит глазки.

Спросонок я послал его к черту. Он вылил на меня кружку воды. Пришлось пойти.

...Поначалу мне показалось, что в жидкости бака плавают какие-то пузыри. Но это были глаза — белые шарики со зрачком и радужной оболочкой. Они возникали в глубине бака, всплывали, теснились у прозрачных стенок, следили за нашими движениями, за миганием лампочек на пульте ЦВМ-12: голубые, серые, карие, зеленые, черные, рыжие, огромные и с фиолетовым зрачком лошадиные, отсвечивающие и с темной вертикальной щелью — кошачьи, черные птичьи бисеринки... Здесь собрались, наверное, глаза всех людей и животных, которые мне приходилось видеть. Оттого, что без век и ресниц, они казались удивленными.

К утру глаза начали появляться и возле бака: от живых шлангов выпячивались мускулистые отростки, заканчивающиеся веками и ресницами. Веки раскрывались. Новые глаза смотрели на нас пристально и с каким-то ожиданием. Было не по себе под бесчисленными молчаливыми взглядами.

А потом... из бака, колб и от живых шлангов стремительно, как побеги бамбука, стали расти щупы и хоботки. Было что-то наивное и по-детски трогательное в их движениях. Они сплетались, касались стенок колб и приборов, стен лаборатории. Один щупик дотянулся до оголенных клемм электрощита, коснулся и, дернувшись, повис, обугленный.

— Эге, это уже серьезно! — сказал дубль.

Да, это было серьезно: машина переходила от созерцательного способа сбора информации к деятельному и строила для этого свои датчики, свои исполнительные механизмы... Вообще, как ни назови ее развитие: стремление к информационному равновесию, самоконструирование или биологический синтез информации — нельзя не восхититься необыкновенной цепкостью и мощью этого процесса. Не так, так эдак — но не останавливаться!

Но после всего, что мы наблюдали, нам было не до восторгов

и не до академического любопытства. Мы догадывались, чем это может кончиться.

— Ну хватит! — Я взял со стола «шапку Мономаха».— Не знаю, удастся ли заставить ее делать то, что мы хотим...

— Для этого неплохо бы знать, что мы хотим,— вставил дубль.

— ...но для начала мы должны заставить ее не делать того, чего мы не хотим.

«Убрать глаза! Убрать щупы! Прекратить овеществление информации! Убрать глаза! Убрать щупы! Прекратить...»— Мы повторяли это со всем напряжением мысли через «шапку Мономаха», произносили в микрофоны.

А машина по-прежнему поводила живыми щупами и таращилась на нас сотнями разнообразных глаз. Это было похоже на поединок.

— Доработались,— сказал дубль.

— Ах так! — Я ударил кулаком по стенке бака. Все щупы задергались, потянулись ко мне — я отступил.— Валька, перекрывай воду! Отсоединяй питательные шланги.

«Машина, ты погибнешь. Машина, ты умрешь от жажды и голода, если не подчинишься...»

Конечно, это было грубо, неизящно, но что оставалось делать? Двойник медленно закручивал вентиль водопровода. Звон струек из дистилляторов превратился в дробь капель. Я защеплял шланги зажимами... И, дрогнув, обвисли щупы! Начали скручиваться, втягиваться обратно в бак. Потускнели, заслезились и сморщились шарики глаз.

Час спустя все исчезло. Жидкость в баке стала по-прежнему золотистой и прозрачной.

— Так-то оно лучше! — Я снял «шапку» и смотал провода.

Мы снова пустили воду, сняли зажимы и сидели в лаборатории до поздней ночи, курили, разговаривали ни о чем, ждали, что будет. Теперь мы не знали, чего больше бояться: нового машинного бреда или того, что замордованная таким обращением система распадется и прекратит свое существование. В день первый мы еще могли обсуждать идею «а не закрыть ли открытие?». Теперь же нам становилось не по себе при мысли, что оно может «закрыться» само, поманит небывалым и исчезнет.

То я, то дубль подходили к баку, с опаской втягивали воздух, боясь почуять запахи тления или тухлятины; не доверяя термометру, трогали ладонями стенки бака и теплые живые шланги: не остывают ли? Не пышут ли снова горячечным жаром?

Но нет, воздух в комнате оставался теплым, влажным и чистым: будто здесь находилось большое опрятное животное. Машина ждала, просто ничего не предпринимала без нас. Мы ее подчинили!

В первом часу ночи я посмотрел на своего двойника, как в зеркало. Он устало помаргивал красными веками, улыбался:

— Кажется, все в-порядке. Пошли отсыпаться, а?

Сейчас не было искусственного дубля. Рядом сидел товарищ по работе, такой же усталый и счастливый, как я сам. И ведь — странное дело! — я не испытывал восторга при встрече с ним в парке, меня не тешила фантасмагория памяти в баке... а вот теперь мне стало покойно и радостно.

Все-таки самое главное для человека — чувствовать себя хозяином положения!»

ГЛАВА ПЯТАЯ

> Не сказывается ли в усердном поиске причиненных связей собственнический инстинкт людей? Ведь и здесь мы ищем, что чему принадлежит.
>
> *К. Прутков-инженер, мысль № 10*

«Мы вышли в парк. Ночь была теплая. От усталости мы оба забыли, что нам не следует появляться вместе, и вспомнили об этом только в проходной. Старик Вахтерыч в упор смотрел на нас слегка посоловелыми голубыми глазками. Мы замерли.

— А, Валентин Васильевич! — вдруг обрадовался дед.— Уже отдежурили?

— Да...— в один голос ответили мы.

— И правильно.— Вахтерыч тяжело поднялся, отпер выходную дверь.— И ничего с этим институтом не сделается, и никто его не украдет, и всего вам хорошего, а мне еще сидеть. Люди гуляют, а мне еще сидеть, так-то...

Мы выскочили на улицу, быстро пошли прочь.

— Вот это да! — Тут я обратил внимание, что фасад нового корпуса института украшен разноцветными лампочками.— Какое сегодня число?

Дубль прикинул по пальцам:

— Первое... нет, второе мая. С праздником, Валька!

— С прошедшим... Вот тебе на!

Я вспомнил, что мы с Леной условились пойти Первого мая в компанию ее сотрудников, а второго поехать на мотоцикле за Днепр, и скис. Обиделась теперь насмерть.

— А Лена сейчас танцует... где-то и с кем-то,— молвил дубль.

— Тебе-то что за дело?

Мы замолчали. По улице неслись украшенные зеленью троллейбусы. На крышах домов стартовали ракеты-носители лампочек. За распахнутыми настежь окнами танцевали, пели, чокались...

Я закурил, стал обдумывать наблюдения за «машиной-маткой» (так мы окончательно назвали весь комплекс). «Во-первых, она не

машина-оракул и не машина-мыслитель, никакого отбора информации в ней не происходит. Только комбинации — иногда осмысленные, иногда нет. Во-вторых, ею можно управлять не только энергетическим путем (зажимать шланги, отключать воду и энергию — словом, брать за горло), но и информационным. Правда, пока она отзывалась лишь на команду «Нет!», но лиха беда начало. Кажется, удобней всего командовать ею через «шапку Мономаха» биопотенциалами мозга... В-третьих, «машина-матка» хоть и очень сложная, но машина: искусственное создание без цели. Стремление к устойчивости, к информационному равновесию — конечно, не цель, а свойство, такое же, как и у аналитических весов. Только оно более сложно проявляется: через синтез в виде живого вещества внешней информации. Цель всегда состоит в решении задачи. Задачи перед ней никакой не было — вот она и дурила от избытка возможностей. Но...»

— ...задачи для нее должен ставить человек,— подхватил дубль; меня уже перестали удивлять его способность мыслить параллельно со мной.— Как и для всех других машин. Следовательно, как говорят бюрократы, вся ответственность на нас.

Думать об ответственности не хотелось. Работаешь, работаешь, себя не жалеешь — и на тебе, еще и отвечать приходится. А люди вон гуляют... Упустили праздник, идиоты. Вот так и жизнь пройдет в вонючей лаборатории...

Мы свернули на каштановую аллею, что вела в Академгородок. Впереди медленно шла пара. У нас с дублем, трезвых, голодых и одиноких, даже защемили сердца: до того славно эти двое вписывались в подсвеченную газосветными трубками перспективу аллеи. Он, высокий и элегантный, поддерживал за талию ее. Она чуть склонила пышную прическу к его плечу. Мы непроизвольно ускорили шаги, чтобы обогнать их и не растравлять душу лирическим зрелищем.

— Сейчас послушаем магнитофон, Танечка! У меня такие записи — пальчики оближете! — донесся до нас журчащий голос Хилобока, и мы оба сбились с ноги. Очарование пейзажа сгинуло.

— У Гарри опять новая,— констатировал дубль.

Приблизившись, мы узнали и девушку. Еще недавно она ходила на практику в институт в школьном передничке; теперь, кажется, работает лаборанткой у вычислителей. Мне нравилась ее внешность: пухлые губы, мягкий нос, большие карие глаза, мечтательные и доверчивые.

— А когда Аркадий Аркадьевич в отпуске или в загранкомандировке, то мне многое приходится вместо него решать...— распускал павлиний хвост Гарри.— Да и при нем... что? Конечно, интересно, а как же!

Идет Танечка, склонив голову к лавсановому хилобоковскому

плечу, и кажется ей доцент Гарри рыцарем советской науки. Может, он даже страдает лучевой болезнью, как главный герой в фильме «Девять дней одного года»? Или здоровье его вконец подорвано научными занятиями, как у героя фильма «Все остается людям»? И млеет, и себя воображает соответствующей героиней, дуреха... Здоров твой ученый кавалер, Танечка, не сомневайся. Не утомил он себя наукой. И ведет он сейчас тебя прямым путем к первому крупному разочарованию в жизни. По этой части он артист...

Дубль замедлил шаг, сказал вполголоса:

— А не набить ли ему морду? Очень просто: ты идешь сейчас к знакомым, обеспечиваешь алиби. А я...

Своим высказыванием он опередил меня на секунду. Он вообще торопился высказываться, чтобы утвердить свою самобытность,— понимал, что мы думаем одинаково... Но коль скоро опередил, то во мне тотчас сработал второй механизм самоутверждения: противостоять чужой идее.

— Из-за девчонки, что ли? Да шут с ней, не эта, так другая нарвется.

— И из-за нее, и вообще за все. Для души. Ну, помнишь, как он пустил вонь о нашей работе? — У него сузились глаза.— Помнишь?

Я помнил. Тогда я работал в лаборатории Валерия Иванова. Мы разрабатывали блоки памяти для оборонных машин. Дела в мире происходили серьезные — мы вкалывали, не замечая ни выходных, ни праздников, и сдали работу на полгода раньше правительственного срока... А вскоре институтские «доброжелатели» передали нам изречение Хилобока: «В науке тот, кто выполняет исследования раньше срока, либо карьерист, либо очковтиратель, либо и то, и другое!» Изречение стало популярным: у нас немало таких, кому не угрожает опасность прослыть карьеристом и очковтирателем по нашему способу. Самолюбивый и горячий Валерка все порывался поговорить с Хилобоком по душам, потом разругался с Азаровым и ушел из института.

У меня кулаки потяжелели от этого воспоминания. «Может, пусть дубль обеспечит алиби, а я?..» И вдруг мне представилось: трезвый интеллигентный человек дубасит другого интеллигентного человека в присутствии девушки... Ну, что это такое!

— Нет, это все-таки не то. Нельзя поддаваться низменным движениям души.

— А что «то»?

Действительно: а что «то»? Я не знаю.

— Тогда надо хоть уберечь эти мечтательные глазки от потных Гарриных объятий...— Дубль задумчиво покусал губу и толкнул меня под дерево. (Опять проявил инициативу.) — Гарри Харитонович, можно вас на пару конфиденциальных слов?



Хилобок и девушка оглянулись.

— А, Валентин Васильевич! Пожалуйста... Танечка, я вас догоню.— Доцент повернулся к дублю.

«Ага!» Я понял его замысел и мелкими перебежками стал пробираться в тени деревьев. Все получилось удачно. Танечка дошла до развилки аллей, остановилась, оглянулась и увидела того самого человека, который минуту назад отозвал ее кавалера.

— Таня,— сказал я,— Гарри Харитонович просил передать свои извинения, сожаления и прочее. Он не вернется. Дело в том, что приехала его жена и... Куда же вы? Я вас провожу!

Но Танечка уже мчалась, закрыв лицо руками, прямо к троллейбусной остановке. Я направился домой.

Через несколько минут вернулся двойник.

— Подожди,— сказал я, прежде чем он открыл рот.— Ты объяснил Гарри, что Таня невеста твоего знакомого, мастера спорта по боксу?

— И по самбо. А ты ей — насчет жены?

— Точно. Хоть какое-то полезное применение открытию нашли...

Мы разделись, помылись, начали располагаться ко сну. Я постелил себе на тахте, он — на раскладушке.

— Кстати, о Хилобоке.— Дубль сел на раскладушку.— Что же ты молчишь, что на ближайшем ученом совете будет обсуждение нашей поисковой темы? Если бы Гарри мне любезно не напомнил, я пребывал бы в неведении. «Пора, пора, Валентин Васильевич, а то ведь уже полгода работаете, а до сих пор не обсуждали, конечно, свободный поиск вещь хорошая, но заявки на оборудование и материалы подаете, а мне вон из бухгалтерии все звонят, интересуются, по какой теме списывать. И разговоры в институте, что Кривошеин занимается чем хочет, а другим хоздоговора и заказы выполнять... Я, конечно, понимаю, что для диссертации вам надо, но необходимо вашу тему оформить, внести в общий план...» Сразу, шельмец, о делах вспомнил, когда я ему про мастера спорта объяснил.

— Хилобока послушать, так вся наука делается для того, чтобы не огорчать бухгалтерию...

Я объяснил дублю, в чем дело. Когда из машины повалили невразумительные числа, я от полного отчаяния позвонил Азарову, что хотел бы с ним посоветоваться. Аркадию Аркадьевичу, как всегда, было некогда, и он сказал, что лучше обсудить тему на ученом совете; он попросит Хилобока организовать обсуждение.

— Тем временем из яичка, которое хорошо было бы к красну дню, вылупился интересный результат,— заключил дубль.— Так доложим? На предмет написания кандидатской диссертации. Вон и Хилобок понимает, что надо...

— И на защите я буду демонстрировать тебя, да?

— Кто кого будет демонстрировать, это вопрос второй,— уклончиво ответил он.— Но, вообще говоря... нельзя! — Он помотал головой.— Ну нельзя и нельзя!

— Верно, нельзя,— уныло согласился я.— И авторское свидетельство заявить нельзя. И Нобелевскую премию получить нельзя... Выходит, я от этого дела пока имею одни убытки?

— Да отдам я тебе эти деньги, отдам... у, сквалыга! Слушай... а на что тебе Нобелевская премия? — Дубль сощурил глаза.— Если «машина-матка» запросто воспроизводит человека, то денежные знаки...

— ...ей сделать проще простого! С естественной сеткой, с водяными картинками... нет, а что же?!

— Купим в кооперативах по трехкомнатной квартире.— Дубль мечтательно откинулся к стене.

— По «Волге»...

— По две дачи: в Крыму для отдыха и на Рижском взморье для респектабельности.

— Изготовим еще несколько самих себя. Один работает, чтобы не волновать общественность...

— ...а остальные тунеядствуют в свое удовольствие...

— ...с гарантированным алиби. А что?

Мы замолчали и посмотрели друг на друга с отвращением.

— Боже, какие мы унылые мелкачи! — Я взялся за голову.— Огромное открытие примеряем черт знает к чему: к диссертации, к премии, к дачам, к мордобою с гарантированным алиби... Ведь это же Способ Синтеза Человека! А мы...

— Ничего, бывает. Мелкие мысли возникают у каждого человека и всегда. Важно не дать им превратиться в мелкие поступки.

— Собственно, пока я вижу только одно полезное применение открытия: со стороны в себе замечаешь то, что легче видеть у других,— свои недостатки.

— Да, но стоит из-за этого удваивать население Земли?

Мы сидели в трусах друг против друга. Я отражался в дубле, как в зеркале.

— Ладно. Давай по существу: что мы хотим?

— И что мы можем?

— И что мы смыслим в этом деле?

— Начнем с того, что к этому шло. Идеи Сеченова, Павлова, Винера, Эшби сходятся из разных точек к одному: мозг — это машина. Опыты Петруччо по управлению развитием человеческого зародыша — еще один толчок. Стремление ко все большей сложности и универсальности систем в технике — одни замыслы микроэлектронщиков создать машины, равные по сложности мозгу, чего стоят!

— То есть наше открытие — не случайность. Оно подготовлено всем развитием идей и технических средств в науке. Не так, так иначе, не сейчас, так через годы или десятилетия, не мы, так другие пришли бы к нему. Следовательно, вопрос сводится вот к чему...

— ...что мы можем и должны сделать за тот срок — может, за год, может, десятки лет, никто не знает, но лучше ориентироваться на меньший срок,— на который мы опередили других?

— Да.

— Как обычно бывает? — Дубль подпер рукой щеку.— Есть у инженера задел или просто желание сотворить что-то понетленнее. Он ищет заказчика. Или заказчик ищет его, в зависимости от того, кому больше нужно. Заказчик выставляет техническое задание: «Примените ваши идеи и ваши знания для создания такого-то устройства или такой-то технологии. Устройство должно иметь такие-то параметры, выдерживать такие-то испытания... технология должна обеспечивать выход годных изделий не ниже стольких-то процентов. Сумма такая-то, срок работы такой-то. Санкции в установленном порядке». Подписывается хоздоговор — и действуй... и у нас есть задел, есть желание развивать его дальше. Но если сейчас придет заказчик с толстой мошной и скажет: «Вот деньги, отработайте ваш способ для надежного массового дублирования людей — и не ваше дело, зачем мне это надо»,— договор не состоится, верно?

— Ну, об этом еще рано говорить. Способ не исследован, не отработан — какая от него может быть продукция! Может, и ты через пару месяцев рассыплешься, кто знает...

— Не рассыплюсь. На это лучше не рассчитывай.

— Да мне-то что? Живи, разве я против?

— Спасибо! Ну и хам же ты — сил нет! Просто дремучий хам! Так бы и врезал.

— Ладно, ладно, не отвлекайся, ты меня не так понял. Я к тому, что мы еще не знаем всех сторон и возможностей открытия. Мы стоим в самом начале. Если сравнить, скажем, с радио, то мы сейчас находимся на уровне волн Герца и искрового передатчика Попова. Что дальше? Надо исследовать возможности.

— Правильно. Но это дела не меняет. Исследования, которые применимы к человеку и человеческому обществу, надо вести с определенной целью. А нам сейчас не от кого получить два машинописных листка с техническим заданием. И не надо. Нужно самим определить, какие цели сейчас стоят перед человеком.

— Н-ну... раньше цели были простые: выжить и продлить свой род. Для достижения их приходилось хлопотать насчет дичи, насчет шкуры с чужого плеча, насчет огня... отбиваться палицей от зверей и знакомых, отрывать в глине однокомнатную пещеру без удобств,

все такое. Но в современном обществе эти проблемы в основном решены. Работай где-нибудь — и достигнешь прожиточного минимума, чего там! Не пропадешь. И детей завести можно — в крайнем случае государство возьмет заботы по воспитанию на себя... Стало быть, у людей должны теперь возникнуть новые стремления и потребности.

— О, их хоть отбавляй! Стремление к комфорту, к развлечениям, к интересной и непыльной работе. Потребность в изысканном обществе, в различных символах тщеславия — званиях, титулах, наградах. Потребность в отличной одежде, вкусной пище, в выпивке, в пляжном загаре, в новостях, в чтении книг, в смешном, в украшениях, в модных новинках...

— Но все это не главное, черт побери! Не может это быть главным. Люди не хотят, да и не могут вернуться к прежнему примитивному бытию, выжимают из современной среды все — это естественно. Но за их стремлениями и потребностями должна быть какая-то цель? Новая цель существования..

— Короче говоря, в чем смысл жизни? Удивительно свежая проблема, не правда ли? Договорились. Так я и знал, что к этому придем! — Дубль встал, сделал несколько разминочных движений, снова сел.

Так — сначала с хаханьками, а чем далее, тем серьезней — повели мы этот самый главный для нашей работы разговор. Мне не раз доводилось — за коньяком или просто в перекуре — рассуждать и о смысле жизни, и о социальном устройстве общества, и о судьбах человечества. Инженеры и ученые так же любят судачить о мирах, как домохозяйки о дороговизне и падении нравов. Домохозяйки занимаются этим, чтобы утвердить свою рачительность и добродетель, а исследователи — чтобы продемонстрировать друг перед другом широту взглядов... Но этот разговор был несравнимо труднее такого инженерного трепа: мы ворочали мысли, будто глыбы. Все отличалось на ответственность: за разговором должны были последовать дела и поступки — дела и поступки, в которых нельзя ошибиться.

Спать нам уже не хотелось.

— Ладно. Примем, что смысл жизни — удовлетворение потребностей. Любых, какие душа пожелает. Но какие потребности и запросы людей можно удовлетворить, создавая новых людей? Ведь искусственно произведенные люди сами будут обладать потребностями и запросами! Заколдованный круг.

— Не то. Смысл жизни — жить. Жить полнокровно, свободно, интересно, творчески. Или хоть стремиться к этому... и что?

— «Полнокровно»! «Смысл жизни»! «Стремления»! — Дубль подхватился с раскладушки, забегал по комнате.— «Интересы», «потребности»... мама родная, до чего же все это туманно! В поза-

прошлом веке такие приблизительные понятия были бы в самый раз, но сейчас... Какое, к черту, может быть ТЗ, если нет точных знаний о человеке! Каким вектором обозначить стремление? В каких единицах измерить интересы?

(Это обескураживало нас тогда — обескураживает и сейчас. Мы привыкли к точным понятиям: «параметры», «габариты», «объем информации в битах», «быстродействие в микросекундах» — и столкнулись с ужасающей неопределенностью знаний о человеке. Для беседы они годятся. Но как, скажите на милость, руководствоваться ими в прикладных исследованиях, где владычествует простой и свирепый закон: если ты что-то знаешь не точно — значит, ты этого не знаешь?)

— Уфф... завидую тем, кто изобрел атомную бомбу.— Дубль встал, прислонясь к косяку балконной двери.— «Это устройство, джентльмены, может уничтожить сто тысяч человек!» — и сразу ясно, что надо строить Ок-Ридж и Нью-Хэнфорд *... А наше устройство может производить людей, джентльмены!

— Одни люди исследуют уран... другие строят заводы по обогащению урана нужным изотопом... третьи конструируют бомбу... четвертые из высших политических соображений отдают приказ... пятые сбрасывают бомбу на шестых, на жителей Хиросимы и Нагасаки... седьмые... постой, а в этом что-то есть!

Дубль смотрел на меня с любопытством.

— Понимаешь, мы рассуждаем строго логично — и не можем выпутаться из парадоксов, мертвых вопросов типа «В чем смысл жизни?». И знаешь почему? В природе не существует Человека Вообще. На Земле живут разные люди — и устремления у них разные, часто противоположные: скажем, человек хочет хорошо жить и для этого изобретает орудия убийства. Или просто противоречивые: юнец мечтает стать великим ученым, но грызть гранит науки ему не хочется — не вкусно. И эти разные люди живут в разных условиях, оказываются в разных обстоятельствах, мечтают об одном, стремятся к другому, а достигают третьего... А мы всех под одну гребенку!

— Но если мы перейдем на личности да с учетом всех обстоятельств...— Дубль поморщился.— Запутаемся!

— А тебе хочется, чтоб все было попроще, как при создании блоков памяти для бортовой вычислительной машины, да? Не тот случай.

— Я понимаю, что не тот случай. Открытие наше сложно, как и сам человек,— ничего не отбросить, не упростить для удобства

---

* Ок-Ридж и Нью-Хенфорд — исследовательско-промышленные центры в США, где во время второй мировой войны были созданы урановая и плутониевая бомбы. *(Примеч. автора)*.

работы. Но какие конструктивные идеи вытекают из твоей могучей мысли, что все люди разные? Именно конструктивные, для работы.

— Для работы... м-да. Тяжело...

Разговор опять сошел на нет. Внизу дома шумели под ветром тополя. Кто-то, насвистывая, подошел к подъезду. С балкона потянуло холодом.

Дубль бессмысленно глядел на лампочку, потом засунул в нос полпальца; лицо его исказила яростная радость естественного отправления. У меня в правой ноздре тоже чувствовалось какое-то неудобство, но он меня опередил... Я смотрел на себя, ковыряющего в носу, и вдруг понял, почему я не узнал дубля при встрече в парке. В сущности, ни один человек не знает себя. Мы не видим себя — даже перед зеркалом мы бессознательно корректируем свою мимику по отражению, интересничаем, прихорашиваемся. Мы не слышим себя, потому что колебания собственной гортани достигают барабанных перепонок не только по воздуху, но и через кости и мышцы головы. Мы не наблюдаем себя со стороны.

И поэтому каждый человек в глубине души тешит себя мыслью, что он не такой, как все, особый. Окружающие — другое дело, насчет них все ясно. Но сам он, этот человек, иной. Что-то в нем есть... уж тут его не проведешь, он точно знает. А между тем все мы и разные, и такие, как все. Дубль очистил нос, потом палец, взглянул на меня и рассмеялся, поняв мои мысли.

— Так какие же все-таки люди — разные или одинаковые?

— И разные, и одинаковые. Можно вывести некую объективную суть — не из твоих дурных манер, конечно. Речь идет о техническом производстве новой информационной системы — Человека. Техника производит и другие системы: машины, книги, приборы... Общее для каждого такого изделия-системы — одинаковость, стандартность. В любой книге данного тиража одинаково все, вплоть до опечаток. В приборе данной серии тоже: и стрелки, и шкала, и класс точности, и гарантийный срок. Различия пустяковые: в одной книге текст чуть почетче, чем в другой, на одном приборе — царапина, или на высоких температурах он дает чуть большую погрешность, чем его коллега...

— ...но в пределах класса точности.

— Разумеется. На языке нашей науки можно сказать, что объем индивидуальной информации в каждой такой искусственной системе пренебрежимо мал в сравнении с объемом информации, общей для всех систем данного класса. А для человека это не так. В людях содержится общая информация: биологическая, общие знания о мире, но в каждом человеке есть огромное количество личной, индивидуальной информации. Пренебречь ею нельзя — без нее человек не человек. Значит, каждый человек не стандартен. Значит...

— ...все попытки найти оптимальные «параметры» для человека с допустимой погрешностью не более пяти процентов — пустая трата времени. Отлично! Тебе от этого стало легче?

— Нет. Но такова суровая действительность.

— Следовательно, нам в нашей работе никуда не деться от этих ужасных и загадочных, как смысл жизни, понятий: интересы человека, характеры, желания, добро, зло... и может быть, даже душа? Уволюсь.

— Не уволишься. Кстати, такие ли уж они загадочные, эти понятия? Ведь в жизни все люди понимают, что в них к чему. Ну, например, обсудят скверный поступок и скажут: «Знаете, а это подлость». И все согласны.

— Все... кроме подлеца. Что, между прочим, очень существенно...— Он хлопнул себя руками по бедрам.— Нет, я тебя не понимаю! Тебе мало обжечься на простеньком слове «понимание»— хочешь давать задачи на «добро» и «зло»?! Машина подтеста не улавливает, шуток не понимает, добру и злу внимает равнодушно... Почему ты смеешься?

Меня в самом деле разобрал смех.

— Я не понимаю, как это *ты* можешь меня не понимать? Ведь ты — это я!

— Это не по существу. Я прежде всего исследователь, а потом уж Кривошеин, Сидоров, Петров! — Он явно вошел в дискуссионный раж.— Как мы будем работать, не имея точных представлений о сути дела?

— Н-ну... как работали, скажем, на заре электротехники. Тогда все знали, что такое флогистон, но никто не имел понятия о напряжении, силе тока, индуктивности. Ампер, Вольта, Генри, Ом тогда еще были просто фамилии. Напряжение определяли при помощи языка, как сейчас мальчишки годность батарейки. Ток обнаруживали по отложению меди на катоде. Но работали же люди. И мы... что с тобой?

Теперь дубль согнулся от хохота.

— Представляю: лет через двадцать будет единица измерения чего-то — «кривошея»... Ой, не могу!

Я так и лег на тахте.

— И будет «кривошееметр»... вроде омметра!

— И «микрокривошеи»... или, наоборот, «мегакривошеи» — «мегакры» сокращенно... Ох!

Приятно вспомнить, как мы ржали. Мы были явно недостойны своего открытия. Отсмеялись. Посерьезнели.

— Исторические примеры — они, конечно, вдохновляют,— сказал дубль.— Но не то. Гальвани мог сколько угодно заблуждаться насчет «животного электричества», Зеебек мог упрямо твердить, что в термопарах возникает не термоэлектричество, а «термомагне-

тизм» — природа вещей от этого не менялась. Рано или поздно приходили к истине, потому что там главным был анализ информации. Анализ! А у нас — синтез... И здесь природа человека не указ: она строит свои системы — он свои. Единственными истинами для него в этом деле являются возможности и цель. Возможности у нас есть. А цель? Мы не можем ее сформулировать...

— Цель простая: чтоб все было хорошо.

— Опять? — Дубль посмотрел на меня.— И дальше начинается детский разговорчик на тему «Что такое хорошо и что такое плохо?».

— Не надо детских разговорчиков! — взмолился я.— Будем оперировать с этими произвольными понятиями, будь они неладны: хорошо, плохо, желания, потребности, здоровье, одаренность, глупость, свобода, любовь, тоска, принципиальность — не потому, что они нам нравятся, а просто других нет. Нет!

— На это мне возразить нечего. Действительно, других нет,— дубль вздохнул.— Ох, чувствую, это будет та работка!

— И давай договаривать до точки. Да, нужно, чтоб все было хорошо. Нужно, чтобы все применения открытия, которые мы будем выдавать в жизнь, в мир... чтобы мы в них были уверены: они не принесут вреда людям, а только пойдут им на пользу. И давай отложим до лучших времен дискуссию на тему: в каких единицах измерять пользу. Я не знаю, в каких единицах.

— В кривошеях,— не удержался дубль.

— Да будет тебе! Но я знаю другое: роль интеллектуального злодея мирового класса мне не по душе.

— Мне тоже. Но маленький вопрос: у тебя есть идея?

— Идея чего?

— Способа, как применить «машину-матку», чтобы она выдавала в человеческое общество только благо. Понимаешь, это был бы беспрецедентный способ в истории науки. Все, что изобретали и изобретают сейчас, таким чудесным свойством не обладает. Лекарством можно отравить. Электрическим током можно не только освещать дома, но и пытать. Или запустить ракету с боеголовкой. И так во всем...

— Нет у меня пока конкретной идеи. Мало мы еще знаем. Будем исследовать «машину-матку», искать этот способ. Он должен быть. Это неважно, что ему нет прецедента в науке — прецедента нашему открытию тоже нет. Ведь мы же будем синтезировать именно ту систему, которая делает и добро, и зло, и чудеса, и глупости,— человека!

— Что ж, все правильно,— подумав, согласился дубль.— Найдем мы этот великий способ или не найдем, но без такой цели за эту работу не стоит и браться. Кое-как людей и без нас делают...

— Так что — завершим заседание, как полагается? — предло-

жил я.— Составим задание на работу? Как это пишется в хоздоговоре, мы, нижеподписавшиеся: Человечество Земли, именуемое далее «Заказчик», с одной стороны, и заведующий лабораторией новых систем Института системологии Кривошеин В. В. и Кривошеин В. В., именуемые далее «Исполнители», с другой,— составили настоящий о нижеследующем...

— Чего уж там вилять с хоздоговором и техзаданием — ведь интересы Заказчика в данной работе представляем мы сами. Давай прямо!

Он встал, снял со шкафа магнитофон «Астра-2», поставил его на стол, включил микрофон. И мы: я, Кривошеин Валентин Васильевич, тридцати четырех лет от роду, и мой искусственный двойник, появившийся на свет неделю тому назад,— два несентиментальных, иронического склада мышления человека — произнесли клятву.

Со стороны это, наверное, выглядело выспренне и комично. Не звучали фанфары, не шелестели знамена, не замирали по стойке «смирно» шеренги курсантов — бледнело предутреннее небо, мы стояли перед микрофоном в одних трусах, и сквозняк с балкона холодил нам ноги... Но клятву мы принесли всерьез.

Так и будет. Иначе — нет.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

> Если, возвратясь ночью домой, ты по ошибке выпил вместо воды проявитель, выпей и закрепитель, иначе дело не будет доведено до конца.
>
> *К. Прутков-инженер, мысль № 21*

«На следующий день мы принялись строить в лаборатории информационную камеру. Отгородили в комнате площадку два на два метра, обнесли ее гетинаксовыми щитами и начали сводить туда все микрофоны, анализаторы, щупы, объективы — все датчики, которые ранее были живописно там и сям раскиданы по блокам «машины-матки». Идея такая: в камеру помещается живой объект, он в ней кувыркается, пасется, дерется с себе подобными или просто гуляет, опутанный датчиками, а в машину передается информация для синтеза.

«Живые объекты» и по сей день спокойно кушают раннюю парниковую капусту в клетках в коридоре. У нас с дублем постоянно возникали распри: кому за ними убирать? Это кролики. Я выменял их у бионików за шлейфовый осциллограф и генераторную лампу ГИ-250. У одного кролика (альбиноса Васьки) на голове нечто вроде бронзовой короны из вживленных в череп электродов для энцефалограмм.

Седьмого мая случилась хоть и мелкая, но досадная неприятность. Обычно мы с дублем довольно четко координировали все дела, чтобы не оказаться вместе на людях и не повторять друг друга. Но эта растреклятая лаборатория экспериментальных устройств кого угодно выведет из равновесия!

Еще зимой я заказал в ней универсальную систему биодатчиков: изготовил чертежи, монтажную схему, выписал со склада все нужные материалы и детали — только собрать. И до сих пор ничего не сделано! Нужно монтировать систему в камере, а ее нету... Беда в том, что в этой лаборатории хроническая текучесть завов. Один сдает дела, другой принимает — работать, понятно, нельзя. Потом новый зав разбирается в ситуации, проводит реформы и начинания (новая метла чисто метет) — работы опять нет. Тем временем разъяренные заказчики устраивают скандалы, идут с челобитной к Аркадию Аркадьевичу — и новый зав сдает дела сверхновому, тот... словом, смотри выше. Я и непосредственно на мастеров воздействовал, спиртиком их ублажал, дефицитные транзисторы П657 для карманных приемников добывал — и все напрасно.

Недавно запас желающих стать заведующим в этой зачарованной лаборатории иссяк, и за нее взялся Г. Х. Хилобок. По совместительству, конечно, на полставки.

Гарри — он у нас такой: чем угодно возьмется руководить, что угодно организовывать, проворачивать, охватывать, лишь бы не остаться с глазу на глаз с природой, с этими ужасными приборами, которым не прикажешь и не откажешь, а которые показывают то, что есть и в чем надо разбираться.

В этот день я снова позвонил мастеру Гаврющенко. Снова услышал неопределенное мычание насчет нехватки провода монтажного, «сопрыков» — осатанел окончательно и помчался объясняться с Гарри.

Сгоряча я не заметил, что вид у Хилобока несколько ошарашенный, и высказал ему все. Пообещал, что отдам заказ школьникам и тем посрамлю лабораторию окончательно...

А вернувшись во флигель, я застал там своего милого дубля: он ходил по комнате и остывал от возмущения. Оказывается, он был у Хилобока за пять минут до меня и имел с ним точно такую же беседу.

Уфф... хорошо, хоть мы там не столкнулись.

В первых опытах решили обойтись без универсальной системы. Для кроликов достаточно тех датчиков, что у нас есть. А когда займемся снова объектом «хомо сапиенс»... может, к тому времени в лаборатории экспериментальных устройств появится дельный зав.

Ученый совет состоялся 16 мая. Вечером накануне мы еще раз продумали, что надо и что не надо говорить. Решили доложить и обосновать (в умозрительном плане) первоначальную идею, что

электронная машина с элементами случайных переключений может и должна конструировать себя под воздействием произвольной информации. Работа будет представлять собой экспериментальную проверку этой идеи. Для того чтобы установить пределы, до которых машина может дойти при конструировании себя, необходимы такие-то и такие-то установки, материалы, приборы — прилагается перечень.

— Для предварительной подготовки умов, равно как и для отдела снабжения, это будет в самый раз,— сказал я.— Значит, так и доложу.

— А почему, собственно, ты доложишь?— Дубль воинственно задрал правую бровь.— Как за кроликами убирать, так я, а на ученый совет, так ты? Что за дискриминация искусственных людей?! Настаиваю на жеребьевке!

...Вот так и вышло, что я безвинно схлопотал выговор «за бестактное поведение на ученом совете института и за грубость по отношению к доктору технических наук профессору И. И. Вольтампернову».

Нет, правда обидно. Пусть бы это на меня бывший зубр ламповой электроники, заслуженный деятель республиканской науки и техники, доктор технических наук, профессор Ипполит Илларионович Вольтампернов (ах, почему я не конферансье!) обрушил свое: «А знает ли инженер Кривошеин, кой предлагает нам поручить машине произвольно, тэк-скэать, без руля и без ветрил, как ей заблагорассудится, конструировать себя, какой огромный и, смею сказать, осмысленный — да-с, именно осмысленный! — труд вкладывают квалифицированнейшие специалисты нашего института в расчет и проектирование вычислительных систем? В разработку блоков этих систем?! И элементов этих систем?!! Да представляет ли себе вульгаризаторствующий перед нами инженер хотя бы методику, тэк-скэать, оптимального проектирования триггера на лампе 6Н5? И не кажется ли инженеру Кривошеину, что он своими домыслами относительно того, что машина, тэк-скэать, справится с оптимальным конструированием лучше, нежели специалисты,— оскорбляет большое число сотрудников института, выполняющих, смею сказать, важные для народного хозяйства работы?! Позволительно спросить инженера: что это даст для?..» — причем каждый раз слово «инженер» звучало в докторских устах как нечто среднее между «студент» и «сукин сын».

Добро бы, именно я в своем ответном слове напомнил уважаемому профессору, что, видимо, подобного сорта оскорбленность водила его пером в прошлые времена, когда он писал разоблачительные статьи о «реакционной лженауке кибернетике», но перемена ветра заставила и его заняться делом. Если профессор опасается после успеха данной работы остаться не у дел, то напрасно: в край-

нем случае он всегда может вернуться к околонаучной журналистике. И вообще, пора бы усвоить, что наука делается с применением высказываний по существу дела, а не при помощи демагогических выпадов и луженой глотки...

Именно после этих застенографированных фраз Вольтампернов начал судорожно зевать и хвататься за нагрудный карман пиджака.

Но, граждане, это же был не я! Доклад делал созданный точь-в-точь по предлагаемой методике мой искусственный двойник... Он три дня потом ходил злой и сконфуженный.

Вообще говоря, его можно понять!

(Но, между прочим, в ту минуту, когда подписанный Азаровым приказ о выговоре достиг канцелярии, поблизости оказался именно я. И именно мне при большом скоплении публики закричала, выглянув из дверей, грубая женщина-начканц Аглая Митрофановна Гаража:

— Товарищ Кривошеин, вам тут выговор! Зайдите и распишитесь!

Я, как бобик, зашел и расписался... Ну, не злая судьба?)

Впрочем, бог с ним, с выговором. Главное, тему утвердили! Ее поддержал сам Азаров. «Интересная идея,— сказал он,— и довольно простая, можно проверить».— «Но ведь это не алгоритмизуемая задача, Аркадий Аркадьевич»,— возразил доцент Прищепа, самый ортодоксальный математик нашего института. «Что же, если не алгоритмизуемая, то ей и не быть? — парировал академик. (Слушайте, слушайте!) — В наше время алгоритм научного поиска не сводится к набору правил формальной логики». Вот это да! Ведь Азаров всегда неодобрительно смотрел на «случайные поиски», я-то знаю. Что это? Неужели дубль покорил его логикой своего доклада? Или у шефа, наконец, прорезалась научная терпимость? Тогда мы с ним поладим.

Словом, восемнадцать «за», один (Вольтампернов) «против». Осторожный Прищепа воздержался. Дубль, как не имеющий ученой степени и звания, в голосовании не участвовал. Даже Хилобок голосовал «за», и он верит в успех нашей работы. Не подкачаем, Гаврюшка, не сумлевайся!

Кстати, дубль принес на хвосте потрясающую новость: Хилобок пишет докторскую диссертацию!

— О чем же?

— Закрытая тема. Ученый совет принимал повестку дня на следующее заседание, в ней был пункт: «Обсуждение работы над диссертацией на соискание ученой степени доктора технических наук Г. Х. Хилобока. Тема закрытая, гриф «совершенно секретно». Вот так, сидим в лаборатории и отстаем от движения науки.

— Закрытая тема — это роскошно! — Я даже отложил паяльник. Дело было в лаборатории, мы монтировали датчики в камере.—

Это ловко. Никаких открытых публикаций, никакой аудитории на защите... тсс, товарищи: совершенно секретно! Все ходят и заранее уважают.

Новость задела за живое. Тут кандидатскую не можешь сделать, а Гарри в доктора выходит. И выйдет, «техника» известная: берется разрабатываемая (или даже разработанная) где-нибудь секретная схема или конструкция, вокруг наворачивается компилятивная халтура с использованием закрытых первоисточников. И за руку не схватишь...

— Э, в конце концов не он первый, не он последний! — Я снова взялся за паяльник.— Думать еще о нем... своей работы хватает.

— К тому же за нашу тему голосовал,— поддержал дубль.— Свой парень Гарри! Конечно, можно было попробовать его того... да стоит ли игра свеч?

Вообще-то нам было чуточку неловко. Мне всегда бывает не по себе, когда приходится наблюдать преуспеяние набирающего силу пройдохи; испытываешь негодование в мыслях и начинаешь презирать себя за благоразумное оцепенение конечностей... Но ведь и вправду: не стоит игра свеч. У нас вон какая серьезная работа на двоих, а положение мое еще непрочное — стоит ли заводиться? К тому же связаться с Гарри Хилобоком... Пробовали мы однажды с Ивановым подсечь его на плагиате. Валерка выступил на семинаре, все доказал. Ну, только и того, что ученый совет рекомендовал Хилобоку переделать статью. А уж как за это он потом нас поливал...

Да и вообще эти общественные мордобои с привлечением публики, разбирательства, после которых люди перестают здороваться друг с другом,— занятия не по мне. Когда они происходят, я испытываю неудержимое стремление убежать в лабораторию, включить приборы, заносить в журнал результаты измерений и тем приносить пользу... Вот если бы лабораторным способом одолевать таких, как Гарри,— так сказать, усилием инженерной мысли...

А стоит подумать. Тот факт, что вольтамперновы и хилобоки выкатываются на широкую столбовую дорогу науки, свидетельствует о явной нехватке умных людей. И это в науке, где интеллект — основное мерило достоинств человека. А по другим занятиям? Вывешивают объявления: «Требуются токари...», «Требуются инженеры и техники, бухгалтеры и снабженцы...» И никто не напишет: «Требуются умные люди. Квартира предоставляется». Стесняются, что ли? Или квартир нет? Можно поначалу и без квартир... Ведь что скрывать: требуются умные люди, ох, как требуются! И в группу А, и в группу В, и в надстройку. Для жизни требуются, для развития общества.

— Нужно... дублировать умных людей! — выпалил я.— Умных, деятельных, порядочных! Ой Валька, это железное применение!

Он посмотрел на меня с нескрываемой досадой.

— Опередил, чертяка...

— И таким людям это будет как награда за жизнь,— развивал я мысль.— Нужный ты обществу человек, умеешь работать плодотворно, жить честно — значит, произвести еще такого! Или даже несколько, дело всем найдется. Тогда хилобокам придется потесниться...

Эта идея вернула нам самоуважение. Мы снова почувствовали себя на высоте и весь тот день мечтали, как станем размножать талантливых ученых, писателей, музыкантов, изобретателей, героев... Ей-ей, это была неплохая идея!»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Научный факт: звук «а» произносится без напряжения языка, одним выдыханием воздуха; если при этом открывать и закрывать рот, получится «ма... ма...». Таково происхождение первого слова ребенка.

Выходит, младенец, идет по линии наименьшего сопротивления. Чему же радуются родители?

К. Прутков-инженер, мысль № 53

«Первые недели я все-таки посматривал на дубля с опаской: а вдруг раскиснет, рассыплется? Или запсихует? Искусственное создание — кто знает... Но где там! Он яростно наворачивал колбасу с кефиром вечером, намаявшись в лаборатории, со вкусом плескался в ванной, любил выкурить папироску перед сном — словом, совсем как я.

После инцидента с Хилобоком мы каждое утро тщательно договаривались: кому где быть, чем заниматься, кому когда идти в столовую — вплоть до того, в какое время пройти через проходную, чтобы Вахтерыч за мельканием лиц успел забыть, что один Кривошеин уже проходил. Вечерами мы рассказывали друг другу, с кем встречались и о чем разговаривали.

Только о Лене мы не говорили. Будто ее и не было. Я даже спрятал в стол ее фотографию. И она не звонила, не приходила ко мне — обиделась. И я не звонил ей. И он тоже... Но все равно она была.

А шел май, поэтичный южный май — с синими вечерами, соловьями в парке и крупными звездами над деревьями. Осыпались свечи каштанов, в парке зацвела акация. Ее сладкий, тревожно дурманящий запах проникал в лабораторию, отвлекал. Мы оба чувствовали себя обездоленными. Ах Ленка, милая, горячая,

нежная, самозабвенная в любви Ленка, почему ты одна на свете?

Вот какие юношеские чувства возбудило во мне появление дубля-«соперника»! До сих пор была обычная связь двух уже умудренных жизнью людей (Лена год назад разошлась с мужем; у меня было несколько лирических разочарований, после которых я твердо записал себя в холостяки), какая возникает не столько от взаимного влечения, сколько от одиночества; в ней оба не отдают себя целиком. Мы с удовольствием встречались, старались интересно провести время; она оставалась у меня или я у нее; утром мы чувствовали себя несколько принужденно и с облегчением расставались. Потом меня снова тянуло к ней, ее ко мне... и т. д. Я был влюблен в ее красоту (приятно было наблюдать, как мужчины смотрели на нее на улице или в ресторане), но нередко скучал от ее разговоров. А она... но кто поймет душу женщины? У меня часто появлялось ощущение, что Лена ждет от меня чего-то большего, но я не стремился выяснить, чего именно... А теперь, когда возникла опасность, что Лену у меня могут отнять, я вдруг почувствовал, что она необыкновенно нужна мне, что без нее моя жизнь станет пустой. Вот все мы такие!

Сборка камеры, впрочем, спорилась. В сложной работе важно понимать друг друга — и в этом смысле получалось идеально: мы ничего не растолковывали друг другу, просто один занимал место другого и продолжал сборку. Мы ни разу не поспорили: так или иначе расположить датчики, здесь или в ином месте поставить разъемы и экраны.

— Слушай, тебя не настораживает наша идиллия? — спросил как-то дубль, принимая от меня смену.— Никаких вопросов, никаких сомнений. Этак мы и ошибаться будем в полном единстве взглядов.

— А куда денешься! У нас с тобой четыре руки, четыре ноги, два желудка и одна голова на двоих: одинаковые знания, одинаковый жизненный опыт...

— Но мы же спорили, противоречили друг другу!

— Это мы просто размышляли вместе. Спорить можно и с самим собой. Мысли человека — лишь возможные варианты поступков, они всегда противоречивы. А поступать-то мы стремимся одинаково.

— Да-а...— протянул дубль.— Но ведь это никуда не годится! Сейчас мы не работаем, а вкалываем: лишняя пара рук — удвоение работоспособности. Но основное наше занятие — думать. И вот здесь... слушай, оригинал, нам надо становиться разными!

Я не мог представить, к каким серьезным последствиям приведет этот невинный разговор. А они, как пишут в романах, не заставили себя ждать.

Началось с того, что на раскладке возле института дубль купил учебник «Физиология человека» для физкультурных вузов. Не берусь гадать, решил ли он в самом деле отличиться от меня или его

привлек ярко-зеленый с золотым тиснением переплет, но, едва раскрыв его, он стал бормотать: «Ух ты!», «Вот это да...» — будто читал забористый детектив, а потом стал донимать меня вопросами:

— Ты знаешь, что нервные клетки бывают до одного метра длиной?

— Ты знаешь, чем управляет симпатическая нервная система?

— Ты знаешь, что такое запредельное торможение?

Я, естественно, не знал. И он со всей увлеченностью неофита растолковывал, что симпатикус регулирует функции внутренних органов, что запредельное торможение, или «пессимум», бывает в нервных тканях, когда сила раздражения превосходит допустимый предел...

— Понимаешь, нервная клетка может отказаться реагировать на сильный раздражитель, чтобы не разрушиться! Транзисторы так не могут!

После этого учебника он накупил целую кипу биологических книг и журналов, читал их запоем, цитировал мне понравившиеся места и оскорблялся, что я не разделяю его восторгов... А с чего бы это я их разделял!»

Аспирант Кривошеин отложил дневник. Да, именно так все и началось. В сухих академических строчках книг и статей по биологии он вдруг ощутил то *прикосновение к истине*, которое раньше переживал лишь читая произведения великих писателей: когда, вникая в переживания и поступки выдуманных людей, начинаешь что-то понимать о себе самом. Тогда он не осознавал, почему физиологические сведения, что называется, взяли его за душу. Но его всерьез озадачило, что Кривошеин-оригинал остался к ним безразличен. Как так? Ведь они одинаковые, значит и это должны воспринимать одинаково... Выходит, он, искусственный Кривошеин, *не такой?*

Это был первый намек.

«...После того как он дважды проспал свой выход на работу — сидел за книжкой до рассвета,— я не выдержал:

— Заинтересовался бы ты минералогией, что ли, если уж очень хочется стать «разным», или экономикой производства! Хоть спал бы нормально.

Разговор происходил в лаборатории, куда дубль явился в первом часу дня, заспанный и небритый; я утром выскоблил щетину. Такого несовпадения было достаточно, чтобы озадачить институтских знакомых.

Он поглядел на меня удивленно и свысока.

— Скажи: что это за жидкость?— И он показал на бак.— Какой ее состав?

— Органический, а что?

— Не густо. А для чего «машина-матка» использовала аммиак и фосфорную кислоту? Помнишь: она выстукивала формулы и количество, а ты бегал по магазинам как проклятый, доставал. Зачем доставал? Не знаешь? Объясняю: машина синтезировала из них аденозинтрифосфорную кислоту и креатинофосфат — источники мышечной энергии. Понял?

— Понял. А бензин марки «Галоша»? А кальций роданистый? А метилвиолет? А еще три сотни наименований реактивов зачем?

— Пока не знаю, надо биохимию читать...

— Угу... А теперь я тебе объясню, зачем я доставал эти гадкие вещества: я выполнял логические условия эксперимента, правила игры — и не более. Я не знал про этот твой суперфосфат. И машина наверняка не знала, что формулы, которые она выстукивала двоичным кодом, так мудрено называются,— потому что природа состоит не из названий, а из структурных веществ. И тем не менее она запрашивала аммиак, фосфорную кислоту, сахар, а не водку и не стрихнин. Своим умом дошла, что водка — яд, без учебников. Да и тебя она создала не по учебникам и не по медицинской энциклопедии — с натуры...

— Ты напрасно так ополчаешься на биологию. В ней содержится то, что нам нужно: знание о жизни, о человеке. Ну, например...— ему очень хотелось меня убедить, это было заметно по его старательности,— знаешь ли ты, что условные рефлексы образуются лишь тогда, когда условный раздражитель предшествует безусловному? Причина предшествует следствию, понимаешь? В нервной системе причинность мира записана полнее, чем в философских учебниках! И в биологии применяют более точные термины, чем бытейские. Ну, как пишут в романах?» «От неосознанного ужаса у него расширились зрачки и учащенно забилось сердце». А чего тут не осознать: симпатикус сработал! Вот, пожалуйста...— он торопливо листал свою зеленую библию,— «...под влиянием импульсов, приходящих по симпатическим нервам, происходит: а) расширение зрачка путем сокращения радиальной мышцы радужной оболочки глаза; б) учащение и усиление сердечных сокращений...» Это уже ближе к делу, а?

— Спору нет, ближе, но насколько? Тебе не приходит в голову, что если бы биологи достигли серьезных успехов в своем деле, то не мы, а они синтезировали бы человека?

— Но на основе их знаний мы сможем проанализировать человека.

— Проанализировать! — Я вспомнил «Стрептоцидовый стриптиз с трепетом...», свои потуги на грани помешательства, костер из перфолент — и взвился.— Давай! Бросим работу, вызубрим все учебники и рецептурные справочники, освоим массу терминов, приобретем степени и лысины и через тридцать лет вернемся к на-

шей работе, чтобы расклеить ярлычки! Это креатинфосфат, а это клейковина... сотни миллиардов названий. Я уже пытался анализировать твое возникновение, с меня хватит. Аналитический путь нас черт знает куда заведет.

Словом, мы не договорились. Это был первый случай, когда каждый из нас остался при своем мнении. Я и до сих пор не понимаю, почему он, инженер-системотехник, системолог, электронщик... ну, словом, тот же я, повернул в биологию? У нас есть экспериментальная установка, такую он ни в одной биологической лаборатории не найдет; надо ставить опыты, систематизировать результаты и наблюдения, устанавливать общие закономерности — именно *общие*, информационные! Биологические по сравнению с ними есть шаг назад. Так все делают. Да только так и можно научиться как следует управлять «машиной-маткой» — ведь она прежде всего информационная машина.

Споры продолжались и в следующие дни. Мы горячились, наскакивали друг на друга. Каждый приводил доводы в свою пользу.

— Техника должна не копировать природу, а дополнять ее. Мы намереваемся дублировать хороших людей. А если хороший человек хромой? Или руку на фронте потерял? Или здоровье никуда не годится? Ведь обычно ценность человека для общества познается, когда он уже в зрелом, а еще чаще в пожилом возрасте; и здоровьишко не то, и психика утомлена... Что же, нам все это воспроизводить?

— Нет. Надо найти способ исправления изъянов в дублях. Пусть они получаются здоровыми, отлично сложенными, красивыми...

— Ну, вот видишь!

— Что «видишь»?

— Да ведь для того, чтобы исправлять дублей, нужна биологическая информация о хорошем сложении, о приличной внешности. Биологическая!

— А это уже непонятно. Если машина без всякой биологической подготовки воспроизводит *всего* человека, то зачем ей эта информация, когда понадобится воссоздавать *части* человека? Ведь по биологическим знаниям ни человека, ни руку его не построишь... Чудило, как ты не понимаешь, что нам нельзя вникать во все детали человеческого организма? Нельзя, запутаемся, ведь этих деталей несчитанные миллиарды, и нет даже двух одинаковых! Природа работала не по ГОСТам. Поэтому задача исправления дублей должна быть сведена к настройке «машины-матки» по внешним интегральным признакам... попросту говоря, к тому, чтобы ручки вертеть!

— Ну, знаешь! — Он разводил руками, отходил в сторону.

Я разводил руками, отходил в другую сторону.

Такая обстановка начала действовать на нервы. Мы забрели в логический тупик. Разногласия во взглядах на дальнейшую работу —

дело не страшное; в конце концов можно пробовать и так, и эдак, а приговор вынесут результаты. Непостижимо было, что мы *не понимаем друг друга!* Мы — два информационно одинаковых человека. Есть ли тогда вообще правда на свете?

Я принялся (в ту смену, когда дубль работал в лаборатории) почитывать собранные им биологические опусы. Может, я действительно не вошел во вкус данной науки, иду на поводу у давней, школьных времен, неприязни к ней, а сейчас прочту, проникнусь и буду восторженно бормотать: «Вот это да!»? Не проникся. Спору нет: интересная наука, много поучительных подробностей (но только подробностей!) о работе организма, хороша для общего развития, но не то, что нам надо. Описательная и приблизительная наука — та же география. Что он в ней нашел?

Я инженер — этим все сказано. За десять лет работы в мою психику прочно вошли машины, с ними я чувствую себя уверенно. В машинах все подвластно разуму и рукам, все определенно: да — так «да», нет — так «нет». Не как у людей. «Да, но...» — и далее следует фраза, перечеркивающая «да». А ведь дубль — это я.

Мы уже избегали этого мучительного спора, работали молча. Может, все образуется, и мы поймем друг друга... Информационная камера была почти готова. Еще день-два, и в нее можно запускать кроликов. И тут случилось то, что рано или поздно должно было случиться: в лаборатории прозвучал телефонный звонок.

И ранее звенели звонки. «Валентин Васильевич, представьте к первому июня акт о списании реактивов, а то закроем для вас склад!» — из бухгалтерии. «Товарищ Кривошеин, зайдите в первый отдел»,— от Иоганна Иоганновича Кляппа. «Старик, одолжи серебряно-никелевый аккумулятор на недельку!» — от теплого парня Фени Загребняка. И так далее. Но это был совершенно особый звонок. У дубля, как только он произнес в трубку: «Кривошеин слушает»,— лицо сделалось блаженно-глуповатым.

— Да, Ленок,— не заговорил, а заворковал он,— да... Ну, что ты, маленькая, нет, конечно... каждый день и каждый час!

Я с плоскогубцами в руках замер возле камеры. У меня на глазах уводили любимую женщину. Любимую! Теперь я это точно понимал. Мне стало жарко. Я сипло кашлянул. Дубль поднял на меня затуманенные негой глаза и осекся. Лицо его стало угрюмым и печальным.

— Одну секунду, Лена...— И он протянул мне трубку.— На. Это, собственно, тебя.

Я схватил трубку и закричал:

— Слушаю, Леночка! Слушаю...

Впрочем, о чем мы с ней говорили, описывать не обязательно. Она, оказывается, уезжала в командировку и только вчера вернулась. Ну, обижалась, конечно, за праздники. Ждала моего звонка...

Когда я положил трубку, дубля в лаборатории не было. У меня тоже пропала охота работать. Я запер флигель и, насвистывая, отправился домой: побриться и переодеться к вечеру.

Дубль укладывал чемодан.

— Далеко?

— В деревню к тетке, в глушь, в Саратов! Во Владивосток, слизывать брызги! Не твое дело.

— Нет, кроме шуток: ты куда? В чем дело?

Он поднял голову, посмотрел на меня исподлобья.

— Вправду не понимаешь? Что ж, это закономерно: ты — не я.

— Нет, почему же? Ты — это я, а я — это ты. Такой, во всяком случае, была исходная позиция.

— В том-то и дело, что нет.— Он закурил сигарету, снял с полки книгу.— «Введение в системологию» я возьму, ты сможешь пользоваться библиотечной... Ты первый, я — второй. Ты родился, рос, развивался, занял какое-то место в жизни. Каждый человек занимает какое-то место в жизни: хорошее ли, плохое — но свое. А у меня нет мест — занято! Все занято: от любимой женщины до штатной должности, от тахты до квартиры...

— Да спи, ради бога, на тахте, разве я против?

— Не мели чепуху, разве дело в тахте!

— Слушай, если ты из-за Лены, то... может, поэкспериментируем еще, и... можем же мы себе такое позволить?

— Произвести вторую Лену, искусственную?— Он мрачно усмехнулся.— Чтобы и она тряслась по жизни, как безбилетный пассажир... Награда за жизнь — додумались тоже, идиоты! Первые ученики общества вместо медалей награждаются человеком — таким же, как они, но без места в жизни. Гениальная идея, что и говорить! Я-то еще ладно, как-нибудь устроюсь. А первые ученики — народ балованный, привередливый. Представь, например, дубля Аркадия Аркадьевича: академик А. А. Азаров, но без руководимого института, без оклада, без членства в академии, без машины и квартиры — совсем без ничего, одни личные качества и приятные воспоминания. Каково ему придется? — Он упрятал в чемодан полотенце, зубную щетку и пасту.— Словом, с меня хватит. Я не могу больше вести такую двусмысленную жизнь: опасаться, как бы нас вдвоем не застукали, озираться в столовой, брать у тебя деньги — да, именно у *тебя твои* деньги! — ревновать тебя к Лене... За какие грехи я должен так маяться? Я человек, а не экспериментальный образец и не дубль кого-то!

— А как же будет с работой?

— А кто сказал, что я собираюсь бросать работу? Камера почти готова, опыты ты сможешь вести сам. Здесь от меня мало толку — у нас ведь «одна голова на двоих». Уеду, буду заниматься проблемой «человек — машина» с другого конца...

Он изложил свой план. Он едет в Москву, поступает в аспирантуру на биологический факультет МГУ. Работа разветвляется на два русла: я исследую «машину-матку», определяю ее возможности; он изучает человека и его возможности. Потом — уже разные, с разным опытом и идеями — продолжим работу вместе.

— *Но почему все-таки биология?— не выдержал я.*— Почему не философия, не социология, не психология, не жизневедение, сиречь художественная литература? Ведь они тоже трактуют о человеке и человеческом обществе. Почему?

Он задумчиво посмотрел на меня.

— Ты в интуицию веришь?

— Ну, допустим.

— Вот моя интуиция мне твердит: если пренебречь биологическими исследованиями, мы упустим что-то очень важное. Я еще не знаю, что именно. Через год постараюсь объяснить.

— Но почему моя интуиция мне ничего такого не твердит?!

— А черт тебя знает, почему! — Он вздохнул с прежней выразительностью — к нему возвращалось хорошее настроение.— Может, ты просто тупой, как валенок...

— Ну да, конечно. А ты смышленый — вроде той собаки, которая все чувствует, но выразить не может!

Словом, поговорили.

Все понятно: ему надо набирать индивидуальную информацию, становиться самим собой. Приемлю также, что ему для этого надо быть не при мне, а где-то отдельно; по совести говоря, меня наше «двойное» положение тоже стало тяготить. Но с этой биологией... здесь я его крупно не понял...»

Аспирант откинулся на стуле, потянулся.

— И не мог понять,— сказал он вслух.

Он сам себя тогда еще не понимал.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вместо эпиграфа:

— *Темой сегодняшней лекции будет: почему студент потеет на экзамене? Тихо, товарищи! Рекомендую конспектировать — материал по программе... Итак, рассмотрим физиологические аспекты ситуации, которую всем присутствующим приходилось переживать. Идет экзамен. Студент посредством разнообразных сокращений легких, гортани, языка и губ производит колебания воздуха — отвечает по билету. Зрительные анализаторы его контролируют правильность ответа по записям на листке и по кивкам экзаменатора. Наметим рефлекторную цепь: исполнительный аппарат Второй Сигнальной Системы произносит фразу — зрительные органы воспри-*

нимают подкрепляющий раздражитель, кивок — сигнал передается в мозг и поддерживает возбуждение нервных клеток в нужном участке коры. Новая фраза — кивок... и так далее. Этому нередко сопутствует вторичная рефлекторная реакция: студент жестикулирует, что делает его ответ особенно убедительным.

Одновременно сами собой безотказно и ненапряженно действуют безусловнорефлекторные цепи. Трапециевидная и широкие мышцы спины поддерживают корпус студента в положении прямосидения — столь же свойственном нам, как нашим предкам положение прямохождения. Грудные и межреберные мышцы обеспечивают ритмичное дыхание. Прочие мышцы напряжены ровно настолько, чтобы противодействовать всемирному тяготению. Мерно сокращается сердце, вегетативные нервы притормозили пищеварительные процессы, чтобы не отвлекать студента... все в порядке.

Но вот через барабанные перепонки и основные мембраны ушей студент воспринимает новый звуковой раздражитель: экзаменатор задал вопрос. Мне никогда не надоедает любоваться всем дальнейшим — и, уверяю вас, в этом любовании нет никакого садизма. Просто приятно видеть, как быстро, четко, учитывая весь миллионнолетний опыт жизни предков, откликается нервная система на малейший сигнал опасности! Смотрите: новые колебания воздуха вызывают перво-наперво торможение прежней условнорефлекторной деятельности — студент замолкает, часто на полуслове. Тем временем сигналы от слуховых клеток проникают в продолговатый мозг, возбуждают нервные клетки задних бугров четверохолмия, которые командуют безусловным рефлексом настораживания: студент поворачивает голову к зазвучавшему экзаменатору! Одновременно сигналы звукового раздражителя ответвляются в промежуточный мозг, а оттуда — в височные доли коры больших полушарий, где начинается поспешный смысловой анализ данных сотрясений воздуха.

Хочу обратить ваше внимание на высокую целесообразность такого расположения участков анализа звуков в коре мозга — рядом с ушами. Эволюция естественным образом учла, что звук в воздухе распространяется очень медленно: какие-то триста метров в секунду, почти соизмеримо с движением сигналов по нервным волокнам. А ведь звук может быть шорохом подкрадывающегося тигра, шипением змеи или — в наше время — шумом выскочившей из-за угла машины. Нельзя терять даже доли секунды на передачу сигналов в мозгу!

Но в данном случае студент осознал не шорох тигра, а заданный спокойным вежливым голосом вопрос. Цхэ, некоторые, возможно, предпочли бы тигра! Полагаю, вам не надо объяснять, что вопрос на экзамене воспринимается как сигнал опасности. Ведь опасность в широком смысле слова — это препятствие на пути к поставленной

цели. В наше благоустроенное время сравнительно редки опасности, которые препятствуют основным целям живого: сохранению жизни и здоровья, продолжению рода, утолению голода и жажды. Поэтому на первое место выступают опасности второго порядка: сохранение достоинства, уважения к себе, стипендии, возможности учиться и впоследствии заняться интересной работой и прочее... Итак, безусловнорефлекторная реакция на опасность студенту удалась блестяще. Посмотрим, как он отразит ее.

На лекциях по биохимии вас знакомили с замечательным свойством рибонуклеиновой кислоты, которая содержится во всех клетках мозга — перестраивать под воздействием электрических нервных сигналов последовательное расположение своих радикалов: тимина, урацила, цитозина и гуанина. Эти радикалы — буквы нашей памяти: их сочетаниями мы записываем в коре мозга любую информацию... Стало быть, картина такая: осмысленный в височных участках коры вопрос вызывает возбуждение нервных клеток, которые ведают в мозгу студента отвлеченными знаниями. В коре возникают слабые ответные импульсы в окрестных участках: «Ага, что-то об этом читал!» Вот возбуждение концентрируется в самом обнадеживающем участке коры, захватывает его, и — о ужас! — там с помощью тимина, урацила, цитозина и гуанина в длинных молекулах рибонуклеиновой кислоты записано бог знает что: «Леша, бросай конспекты, нам четвертого не хватает!» Тихо, товарищи, не отвлекайтесь.

И тогда в мозгу начинается тихая паника — или, выражаясь менее образно, тотальная иррадиация возбуждения. Нервные импульсы будоражат участки логического анализа (может быть, удастся сообразить!), клетки зрительной памяти (может быть, видел такое?). Обостряются зрение, слух, обоняние. Студент с необычайной четкостью видит чернильное пятно на краю стола, кипу зачеток, слышит шелест листьев за окном, чьи-то шаги в коридоре и даже приглушенный шепот: «Братцы, Алешка горит...» Но все это не то. И возбуждение охватывает все новые и новые участки коры — опасность, опасность! — разливается на двигательные центры в передней извилине, проникает в средний мозг, в продолговатый мозг, наконец, в спинной мозг... И здесь я хочу отвлечься от драматической ситуации, чтобы воспеть этот мягкий серо-белый вырост длиной в полметра, пронизывающий наши позвонки до самой поясницы,— спинной мозг.

Спинной мозг... О, мы глубоко заблуждаемся, когда считаем, что он является лишь промежуточной инстанцией между головным мозгом и нервами тела, что он находится в подчинении головного мозга и сам способен управлять лишь несложными рефлексами естественных отправлений! Это еще как сказать: кто кому подчиняется, кто кем управляет! Спинной мозг является более почтен-

ным, древним образованием, чем головной. Он выручал человека еще в те времена, когда у него не было достаточно развитой головы, когда он, собственно, не был еще человеком. Наш спинной мозг хранит память о палеозое, когда наши отдаленные предки — ящеры — бродили, ползали и летали среди гигантских папоротников; о кайнозое, времени возникновения первых обезьян. В нем отобраны и сохранены проверенные миллионами лет борьбы за существование нервные связи и рефлексы. Спинной мозг, если хотите, наш внутренний очаг разумного консерватизма.

Что говорить, в наше время этот старик, который умеет реагировать на сложные раздражения современной действительности лишь с двух позиций: сохранения жизни и продолжения рода,— не может выручать нас повсеместно, как в мезозойскую эру. Но он еще влияет — на многое влияет! Берусь, например, показать, что часто именно он определяет наши литературные и кинематографические вкусы. Что? Нет, спинной мозг не знает письменности и не располагает специальными рефлексами для просмотра фильмов. Но скажите мне: почему мы часто отдаем предпочтение детективным картинам и романам, как бы скверно они ни были поставлены или написаны? Почему весьма многие уважают любовные истории: от анекдотов и сплетен до «Декамерона», читаемого выборочно? Интересно? А почему интересно? Да потому что накрепко записанные в спинном мозгу инстинкты самосохранения и продолжения рода заставляют нас накапливать знания — отчего помереть можно? — чтобы при случае спастись. Как и почему получается счастливая, завершающаяся в наследниках любовь? Как и отчего она разрушается? — чтобы самому не оплошать. И неважно, что такого опасного случая в вашей благоустроенной жизни никогда не будет; и неважно, что любовь состоялась и наследников хоть отбавляй! — спинной мозг знай гнет свою линию... Я не пытаюсь, подобно литературным критикам, зашельмовать такие устремления читателей и зрителей, как низменные. Нет, почему же? Это здоровые устремления, естественные устремления, полнокровные устремления. Если коровы когда-нибудь в процессе своей естественной эволюции научатся читать, они тоже начнут именно с детективов и любовных историй.

Но вернемся к студенту, головной мозг которого спасовал перед вопросом экзаменатора. «Эх, молодо-зелено»,— как бы говорит спинной мозг своему коллеге, восприняв панический сигнал возбуждения, и начинает действовать. Прежде всего он направляет сигналы по мотоневронам всего тела: мышцы напрягаются в состоянии готовности. Первичные источники мышечной энергии: аденозинтрифосфорная кислота и креатинфосфат разлагаются в волокнах соответственно на аденозиндифосфорную кислоту и креатин с отщеплением фосфорной кислоты и выделением первых порций тепла... И снова хочу обратить ваше внимание на биологическую целе-

сообразность повышения мышечного тонуса. Ведь опасность в древнем смысле требовала быстрых, энергичных движений: отпрыгнуть, ударить, пригнуться, влезть на дерево. А поскольку пока неясно, в какую сторону надо отпрыгнуть или нанести удар, то в готовность приводятся все мышцы.

Одновременно с мышцами возбуждается вегетативная нервная система, начинает командовать всей кухней обмена веществ в организме. Ее сигналы достигают надпочечника, он выбрасывает в кровь адреналин, который возбуждает все и вся. Печень и селезенка, подобно губкам, выжимают в сосуды несколько литров запасной крови. Расширяются сосуды мышц, легких, мозга. Чаще стучит сердце, перекачивая во все органы тела кровь и вместе с ней — кислород и глюкозу... Спинной мозг и вегетативные нервы готовят организм студента к тяжелой, свирепой, длительной борьбе не на жизнь, а на смерть!

Но экзаменатора нельзя оглушить дубиной или хотя бы мраморной чернильницей. Убежать от него тоже нельзя. Не удовлетворит экзаменатора, даже если преисполненный мышечной энергией студент вместо ответа выжмет на краю стола стойку на кистях... Поэтому вся скрытая бурная деятельность организма студента завершается бесполезным сгоранием глюкозы в мышцах и выделением тепла. Терморецепторы различных участков тела посылают в спинной и головной мозг тревожные сигналы о перегреве — и мозг отвечает на них единственно возможной командой: расширить сосуды кожи! Теплоноситель — кровь устремляется к кожным покровам (побочно это вызывает у студента рефлекс покраснения ланит), начинает прогревать воздух между телом и одеждой. Открываются потовые железы, чтобы хоть испарением влаги помочь студенту. Рефлекторная цепь, возбужденная вопросом экзаменатора наконец замкнулась!

Я полагаю, что выводы из рассказанного как относительно роли знаний в правильной регуляции человеческого организма в нашей сложной современной среде, так и о роли их в регуляции студенческого организма на предстоящей сессии вы сделаете сами...

Из лекции проф. В. А. Андросиашвили
по курсу «Физиология человека»

...Да, он уезжал, чтобы стать самим собой, а не тем Кривошеиным, что живет и работает в Днепровске. Еще в поезде он выбросил в окно ключ от квартиры, который Валька заботливо сунул ему в карман; вымарал из записной книжки адреса и телефоны московских знакомых, даже родственницы тети Лапанальды. Нет у него ни знакомых, ни родственников, ни прошлого — только настоящее, от момента поступления на биофак, и будущее. Он знал простой,

но верный способ, как утвердить себя в будущем; способ этот не подводил его никогда: работа.

Но было не только это.

...Когда-то физики усовершенствовали методы измерения скорости света — просто так, чтобы добиться высокой точности. Добились. И установили скандальный факт: скорость света не зависит от скорости движения источника света. «Не может быть! Врут приборы! Это же противоречит классической механике...» Проверили. Измерили скорость света другим методом — тот же результат. И почти законченное, логически совершенное мироздание, воздвигавшееся в лесах прямоугольных координат, рухнуло, подняв ужасную пыль. Начался «кризис физики».

Человеческий ум часто стремится не к углубленному познанию мира, а к примирению всех фактов в нем; главное — чтоб вышло проще и логичнее. А потом неизвестно откуда выплывает лукавый неучтенный фактик, который не укладывается в идеально подогнанные друг к другу представления, и все надо начинать сначала...

Они тоже построили в своих умах простую и понятную картину того, как машина по информации о человеке создает человека. «Машина-матка» занималась детской игрой в кубики: комбинировала электрическими импульсами в жидкой среде молекулы в молекулярные цепи, молекулярные цепи в клетки, а клетки в ткани — с той лишь разницей, что «информационных кубиков» здесь было несчитанные миллиарды. Тот факт, что в результате такой игры получилось не чудище и даже не другой человек, а он, информационный двойник Кривошеина, свидетельствовал, что задача имела только одно решение. Ну, разумеется, иначе и быть не могло: ведь кубики складываются только в ту картинку, детали которой есть на ее гранях. Прочие же варианты (фрагментарная Лена, фрагментарный отец, «бред» памяти, глаза и щупы) были просто информационным хламом, который не мог существовать отдельно от машины.

Это представление не было ошибочным — оно было просто поверхностным. И оно устраивало их, пока факты подтверждали, что они одинаковы и во внешности, и в мыслях, и в поступках. Но когда у них возникли непримиримые разногласия на применение биологии в работе, это представление оказалось несостоятельным.

Да, именно то, что они не поняли друг друга, а не само увлечение биологией (которое у Кривошеина-2 могло бы и пройти без последствий), стало для его открытия тем же, чем факт постоянства скорости света был для теории относительности. Человек никогда не знает, что в нем банально, что оригинально; это познается лишь в сравнении себя с другими людьми. А в отличие от обычных людей Кривошеин-дубль имел возможность сравнивать себя не только со знакомыми, но и с «эталоном себя».

Теперь аспирант Кривошеин ясно понимал, в чем состояло их различие: разными были пути возникновения. Валентин Кривошеин возник три с лишним десятилетия назад таким же образом, как и все живое,— из эмбриона, в котором определенным расположением белковых молекул и радикалов *была записана* хорошо отработанная за тысячи веков и тысячи поколений программа построения человеческого организма. А «машине-матке», которая работала хоть и от индивидуальной кривошеинской, но все равно произвольной информации, приходилось заново *искать* и принципы образования, и все детали биологической информационной системы. И машина нашла другой путь по сравнению с природой: биохимическую сборку вместо эмбрионального развития.

Да, теперь он многое понимает. За год он прошел путь от ощущений до знаний и от знаний до овладения собой. А тогда... тогда было лишь властное тяготение к биологии да невыразимая словами уверенность, что здесь надо искать. Даже Кривошеину ничего не смог толком объяснить.

В Москву он приехал со смутным чувством, что в нем что-то не так. Не болен, не психует, а именно надо в себе разобраться; убедиться, что его ощущения не навязчивая идея, не ипохондрические галлюцинации, а реальность.

Он работал так, что о днях, проведенных в институте в Днепровске, приходилось вспоминать как о каникулах. Лекции, лаборатории, анатомический театр, библиотека, лекции, коллоквиумы, лаборатории, лекции, клиника, библиотека, лаборатории... Первый семестр он не выезжал с Ленинских гор, только перед сном выходил к парапету на склон Москвы-реки покурить, полюбоваться огнями, что на горизонте смыкались со звездами.

Сероглазая, чем-то похожая на Лену второкурсница всегда устраивалась возле него на лекциях Андросиашвили, которые Кривошеин приходил слушать. Однажды спросила: «Вы такой солидный, серьезный — наверное, после армии?»— «После заключения»,— ответил он, свирепо выпятив челюсть. Девушка утратила интерес к нему. Ничего не поделаешь — девушки требуют времени.

...И он убеждался в каждом опыте, в каждом измерении; да, в срезе нервного жгута, что идет от мозга к горошине гипофиза, под микроскопом действительно можно насчитать около ста тысяч нервных волокон — значит, гипофиз подробно управляется мозгом. Да, если скормить обезьяне из вивария вместе с банановой кашей навеску бета-радиоактивного кальция, а потом гейгеровской трубкой считать меченые атомы в ее выделениях, то действительно выходит, что костные ткани обновляются примерно два раза в год. Да, если воткнуть иглы-электроды в нервное волокно мышцы и отвести усиленные биотоки в наушники, то можно услышать ритмич-

ное кваканье или дробный стук нервных сигналов, и по характеру своему эти звуки совпадают с тем, что он *ощущал!* Да, клетки кожи действительно движутся изнутри к поверхности, изменяют структуру, умирают, чтобы отшелушиться и уступить место новым.

Он исследовал и свое тело: брал пробы крови и лимфы; добыл из правого бедра срез мышечной ткани и внимательно просмотрел его сначала под оптическим, а потом и под электронным микроскопом; оклеветал себя, чтобы в клинике ему сделали «пробу Вассермана» (пыточную операцию отбора спинномозговой жидкости из позвоночника для диагностики сифилиса)... И установил, что у него все было в норме. Даже количество и распределение нервов в тканях у него было таким же, как у учебных трупов в анатомическом театре. Нервы уходили в мозг, но туда он с помощью лабораторной техники забраться не мог: слишком много пришлось бы вживить в свой череп игольчатых электродов и со слишком многими осциллографами соединить их, чтобы понять тайны себя. Да и понял ли бы? Или снова вышел бы «стрептоцидовый стриптиз» — только не в словах-числах, а в зубчатых линиях электроэнцефалограмм?

Ситуация: живой человек изучает, но не может даже с помощью приборов постигнуть тайны *своего* организма — сама по себе парадоксальна. Ведь речь идет не об открытии невидимых «радиозвезд» или синтезе античастиц: вся информация уже есть в человеке. Остается только перевести код молекул, клеток и нервных импульсов в код второй сигнальной системы — слова и предложения.

Слова и фразы нужны (да и то не всегда), чтобы один человек смог понять другого. Но необходимы ли они, когда требуется понять себя? Кривошеин этого не знал. Поэтому в ход шло все: исследования с приборами, работа воображения, чтение книг, анализ ощущений в своем теле, разговоры с Андросиашвили и другими преподавателями, наблюдения за больными в клинике, вскрытия...

Все, что возражал ему Вано Александрович в памятном декабрьском разговоре, было правильно, ибо определялось знаниями Андросиашвили о жизни, его верой в непреложную целесообразность всего, что создано природой.

Не знал профессор одного: что разговаривал с искусственным человеком.

Даже сомнения Вано Александровича в успехе его замысла были вполне основательны, потому что Кривошеин начал именно с инженерного «машинного» решения. Тогда же в декабре он принялся проектировать «электропотенциальный индуктор» — продолжение идеи все той же «шапки Мономаха». Сотни тысяч микроскопических игольчатых электродов, соединенных с матрицами самообучающегося автомата (на нем в лаборатории бионики моделировали условные рефлексы), должны были сообщать клеткам мозга дополнительные заряды, наводить в них через череп искусственные

биотоки и тем связывать центры мышления в коре с вегетативной нервной системой.

Кривошеин усмехнулся: чудак, хотел этим примитивным устройством подправить свой организм! Хорошо хоть, что не забросил физиологические исследования из-за этого проекта.

...Вскрывая очередной труп, он мысленно оживлял его: представлял, это он сам лежит на топчане в секционном зале, это его белые волоконца нервов пробираются среди мышц и хрящей к лиловому, в желтых потеках жира сердцу, к водянистым гроздьям слюнных желез под челюстью, к серым лохмотьям опавших легких. Другие волоконца свиваются в белые шпагаты нервов, идут к позвоночнику, в спинной мозг и далее, через шею, под череп. По ним оттуда бегут сигналы-команды: сократиться мышцам, ускорить работу сердца, выжать слюну из желез!

В студенческой столовой он таким же образом прослеживал движение каждого глотка пищи в желудок, силился представить и ощутить, как там, в темном пространстве, ее медленно разминают гладкие мышцы, разлагает соляная кислота и ферменты, как всасывается в стенки кишок мутно-желтая кашица,— и иногда засиживался по два часа над остывшим шницелем.

Собственно, он вспоминал. Девять десятых его открытия приходится на то, что он вспоминал и понял, как было дело.

«Машине-матке» было просто ни к чему начинать с зародыша: она имела достаточно материала, чтобы «собрать» взрослого человека: Кривошеин-оригинал об этом позаботился. Первоначально в неопределенной биологической смеси в баке были только «блуждающие» токи и «плавающие» потенциалы от внешних схем — эти образные понятия из теоретической электротехники в данном случае проявляли себя в буквальном смысле. Затем возникли прозрачные нервные волокна и клетки — продолжение электронных схем машины. Поиск информационного равновесия продолжался: нервная сеть становилась все сложней и объемней, в ней слои нервных клеток оформились в кору и подкорку — так возник его мозг, и, начиная с этого момента, *он существовал.*

Его мозг первоначально тоже был продолжением машинной схемы. Но теперь уже он принимал импульсы внешней информации, перебирал и комбинировал варианты, искал, как овеществить информацию в биологической среде,— собирал себя! В баке раскинулась — пока еще произвольная — сеть нервов; вокруг них стали возникать ткани мышц, сосуды, кости, внутренности — в том почти жидком состоянии, когда все это под воздействием нервных импульсов может раствориться, смешаться, изменить строение... Нет, это не было осмысленной сборкой тела по чертежу, как не было и чертежа; продолжалась игра в кубики, перебор множества вариантов и выбор среди них того единственного, который точно отражает

информацию о Кривошеине. Но теперь — как электронная машина оценивает каждый вариант решения задачи двоичными электрическими сигналами, так его мозг-машина оценивал синтез тела по двоичной арифметике ощущений: «да» — приятно, «нет» — больно. Неудачные комбинации клеток, неверное расположение органов отзывались в мозгу тупой или колющей болью; удачные и верные — сладостной удовлетворенностью. И память поиска, память ощущений возникающего тела осталась в нем.

Жизнь создает людей, которые мало отличаются свойствами организма, но необыкновенно различны по своей психике, характерам, знаниям, душевной утонченности или грубости. «Машина-матка» поступила наоборот. Аспирант был тождествен Кривошеину по психике и интеллекту, да оно и понятно: ведь эти качества человека формируются в жизни тем же способом случайного поиска и отбора произвольной осмысленной информации; машина просто повторила этот поиск. А биологически они различались, как книга и черновик рукописи этой книги. Даже не один черновик, а все варианты и наброски, из которых возникло выношенное и отработанное произведение. Конечное содержание одинаково, но в черновиках исправлениями, дописками, вычеркиваниями записан весь путь поиска и отбора слов.

«Впрочем, это сравнение тоже несовершенно,— аспирант поморщился.— Черновики книг возникают раньше книг, а не наоборот! Да и если познакомить графомана со всеми черновыми вариантами «Войны и мира», разве это сделает его гением? Впрочем, кое-чему, наверное, научит... Э, нет, лучше без сравнений!»

Человек вспоминает то, что знает, лишь в двух случаях: когда надо вспоминать — целевое воспоминание — и когда встречается с чем-то хоть отдаленно похожим на записи своей памяти; это называют ассоциативным воспоминанием. Книжечки по биологии и стали тем намеком, который растревожил его память. Но трудность состояла в том, что помнил-то он не слова и даже не образы, а ощущения. Он и сейчас не может перевести все в слова — да, наверно, и никогда не сможет...

Впрочем, не это главное. Важно то, что такая информация есть. Ведь смогли же эти «знания в ощущениях» породить в нем четкую осмысленную идею: управлять обменом веществ в себе.

...Первый раз это получилось у него 28 января вечером, в общежитии. Получилось совсем как у павловских собак: искусственное выделение слюны. Только в отличие от них он думал не о пище (как раз поужинал кефиром и докторской колбасой), а о нервной регуляции слюнных желез. По обыкновению старался представить и ощутить весь путь нервных сигналов от вкусовых рецепторов языка через мозг до слюнных желез и вдруг почувствовал, как рот наполняется слюной!

Еще не вполне осознав, как это получилось, он напряг мысль в испуганном протесте: «Нет!» — и во рту мгновенно пересохло!

В тот вечер он повторял мысленные приказы «Слюна!» и «Нет!» до тех пор, пока желваки не стало сводить судорогой...

Всю следующую неделю он сидел у себя в комнате — благо шли студенческие каникулы, на лекции и лабораторки не надо было отвлекаться. Приказам в мысленных ощущениях подчинялись и другие органы! Сначала удавалось управлять лишь грубо: из глаз текли ручьи слез, пот то обильно выступал по всей коже, то мгновенно высыхал; сердце или затихало в полуобморочной вялости, или бешено отстукивало сто сорок ударов в минуту — середины не было. А когда он первый раз приказал желудку прекратить выделение соляной кислоты, то еле успел домчаться до туалета — такой стремительный понос прошиб его... Но постепенно он научился тонко и локально управлять внешними выделениями; даже смог однажды написать капельками пота на коже предплечья «П О Л У Ч А Е Т С Я!», как татуировку.

Потом он перенес опыты в лабораторию и прежде всего повторил на себе известный эффект «сахарного укола» Клода Бернара. Только теперь не требовалось вскрывать череп и колоть иглой промежуточный мозг: количество сахара в крови увеличивалось от мысленного приказа.

Но вообще с внутренней секрецией все обстояло гораздо сложнее — она не выдавала результаты команд-ощущений на-гора́. Он исколол себе пальцы и мышцы, проверяя, выполняют ли железы приказы мозга о выделении в кровь адреналина, инсулина, глюкозы, гормонов; истерзал пищевод зондом для отбора желудочного сока, когда сознательно изменял кислотность... Все получалось — и все было очень сложно.

Тогда до него дошло: надо ставить организму общую цель — сделать то-то, произвести нужные изменения. В самом деле, ведь когда он идет, то не командует мышцам: «Правая прямая бедра — сократиться! Двуглавая — расслабиться! Левая икроножная — сократиться...» — ему до этого нет дела. Сознание дает общую установку: идти быстрее или медленнее, обойти столб, повернуть в подъезд. А нервные центры мозга сами распределяют задания мышцам. Так должно быть и здесь: ему нет дела до того, какие железы и сосуды будут производить различные реакции. Лишь бы они делали то, что он хочет!

...Мешали слова, мешали образы. Он пытался разжевать до подробностей: печени — как синтезировать гликоген из аминокислот и жиров, расщепить гликоген до глюкозы, выделить ее в кровь: щитовидной железе — сократиться, выжать в кровь капельки тироксина; кровеносной системе — расширить капилляры в тканях больших грудных мышц, максимально сократить прочие сосуды —

и ничего не получалось, грудные мышцы не наращивались. Ведь печень не знала, что она печень, щитовидная железа понятия не имела о термине «тироксин» и не могла представить себе его капельки. Аспирант Кривошеин клял себя за излишнее усердие на лекциях и в библиотеке. Результатом этих усилий была лишь головная боль.

В том-то и дело, что для обмена веществ в себе следовало избегать чисел, терминов и даже образов, а мыслить только в ощущениях. Задача сводилась к тому, чтобы превратить «знания в ощущениях» в третью сигнальную систему управления внутренней секрецией.

...Самое смешное, что для этого не понадобились ни лабораторные приборы, ни схемы управления. Просто лежать в темной комнате, закрыв глаза и залепив пластилином уши, полудремотно прислушиваться к себе. Странные ощущения приходили изнутри: зудела, обновляя кровь, селезенка, щекотно сокращались кишки, холодили под челюстью слюнные железы; сладостной судорогой отзывался на сигнал нервов надпочечник, порция крови, обогащенная адреналином и глюкозой, тепло расходилась по телу, как глоток крепкого вина: легким покалыванием извещали о себе нездоровые клетки мышц.

Если употребить инженерную терминологию, то он «прозванивал» свое тело нервами, как монтажник прозванивает электронную схему тестером.

К этому времени он уже четко представлял себе двоичную арифметику ощущений: «больно» — «приятно». И ему пришло в голову, что самый простой способ подчинить сознанию процессы в клетках — это заставить их болеть. Весьма возможно, что этому изобретению способствовал случай с сосулькой: идея пришла в голову после него.

Действительно, клетки, которые разрушались и гибли от различных причин, давали весьма ощутимо знать о себе. Они ныли, саднили, покалывали — будто кричали о помощи. Организм и сам, без команды «сверху», бросал им на помощь лейкоциты крови, тепло воспаленной ткани, ферменты и гормоны: оставалось либо ускорять, либо тормозить усилиями сознания эти микроскопические бои за жизнь.

...Он колол и резал мышцы всюду, куда только мог дотянуться иглой или ланцетом. Впрыскивал под кожу смертельные дозы культур тифозных и холерных бактерий. Дышал парами ртути, пил растворы сулемы и древесный спирт (на более быстродействующие яды, правда, не хватило духа). И чем дальше, тем проще его организм справлялся со всеми осознаваемыми опасностями.

А потом он возбудил в себе рак. Возбудить в себе рак! Любой врач плюнул бы ему в глаза за такое заявление. Возбудить рак, мыс-

лимое ли дело — для этого ведь надо знать, от чего возникают раковые опухоли. По совести говоря, он не стал бы утверждать, что знает причины рака — просто потому, что не может перевести на язык слов все те ощущения, что сопровождали перерождение клеток кожи на правом боку... Он начал с того, что выспрашивал пациентов, проходивших в лаборатории радиобиологии курс гамма-терапии: что они чувствуют? Это было немилосердно: расспрашивать напуганных, тоскующих, кривящихся от болей людей об их переживаниях и не обещать ничего взамен,— он вживался в образ больного раком.

...Опухоль разрасталась, твердела. От нее стали ответвляться наросты — причудливые и зелено-лиловые, как у цветной капусты. Боль грызла бок и плечо. В студенческой поликлинике, куда он отправился на освидетельствование, ему предложили немедленно оперироваться, не хотели даже выпускать из кабинета. Он отвертелся, наврал, что желает сначала пройти курс гамма-терапии...

Аспирант Кривошеин, разминая папироску, вышел на балкон. Стояла теплая ночь. По загородному шоссе, махая лучами фар, промчалась автомашина. От созвездия Лебедя к Лире торопливо перебирались два огонька — красный и зеленый; за ними волочился рев реактивных двигателей. Как спичка по коробку, чиркнул по небу метеор.

...Когда же у себя в комнате, стоя перед зеркалом, он напряг волю и чувства, опухоль рассосалась в течение четверти часа. Через двадцать минут на месте ее было лишь багровое пятно величиной с блюдце; еще через десять минут — обычная чистая кожа в гусиных пупырышках озноба: в комнате было довольно прохладно.

Но и знание, как устранить рак, он пока не может выразить в рецептах и рекомендациях. То, что он смог бы описать словами, никого не исцелит — разве что таких, как он сам, дублей, возникающих впервые. И все его знания применимы только к ним.

Со временем, вероятно, удастся преодолеть барьер между дублями «машины-матки» и обычными людьми. Ведь биологически они малоразличимы. А знания есть. Ну, не удастся выразить их словами — запишут на магнитные пленки колебания биопотенциалов, снимут карты температур, обработают числа анализов в вычислительных машинах — медицина ныне наука точная. Да в конце концов научатся записывать и передавать точные ощущения. Слова не обязательны: для больного главное — выздороветь, а не написать диссертацию о своем исцелении. Дело не в том...

Внимание аспиранта привлек вспыхнувший внизу огонек. Он всмотрелся: прислонясь к фонарному столбу, прикуривал давешний широкоплечий верзила в плаще — сыщик. Вот он бросил спичку, стал мерно прохаживаться по тротуару.

«Нашел-таки, черт бы его взял! Вот прицепился!» У Кривошеина сразу испортилось настроение. Он вернулся в комнату, сел к столу читать дневник.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

> Жизнь коротка. Ее едва хватает, чтобы совершить достаточное количество ошибок. А повторять их — недопустимая роскошь.
>
> *К. Прутков-инженер, мысль № 22*

Теперь аспирант читал записи придирчиво, с ревнивым любопытством: ну, чего же достиг он, который намеревался «ручки вертеть»?

«1 июня. Уфф... все! Информационная камера готова. Завтра начинаю опыты с кроликами. Если следовать традиции, то полагается начинать с лягушек... но чтобы я взял в руки эту гадость! Нет, пускай жабами занимается мой дубль-аспирант. Аспирант суть первый ученик в науке, ему приличествует прилежание. Как-то он там?»

«2 июня. Оснастил кроликов датчиками, запустил в камеру — всех сразу. Пусть нагуливают информацию».

«7 июня. Четыре дня кролики обитали в камере: лакомились морковкой и капустными листьями, трясли ноздрями, дрались, спаривались, дремали. Сегодня утром сделал первую пробу. Надел «шапку Мономаха», мысленно скомандовал: «Можно!» — и «машина-матка» сработала! Четыре кролика-дубля за полтора часа.

Гора с плеч — машина действует.

Любопытная деталь: зримое возникновение кроликов (что делается до этого, не знаю) начинается с кровеносной системы; красно-синие сосуды намечаются в золотистой жидкости точь-в-точь как в желтке насиженного курицей яйца.

Ожив, кролики всплывали. Я их вылавливал за уши, купал, тепленьких и дрожащих, в тазике, потом подсаживал к обычным. Встреча естественных и искусственных двойников носила еще более пошлый характер, чем некогда у нас с дублем. Они недоуменно пялились друг на друга, обнюхивались и (поскольку у них нет второй сигнальной системы, чтобы объясниться) начинали драку. Потом уставали, снова обнюхивались и далее вели нормальную кроличью жизнь.

Главное, машина работает по моему заказу, без отсебятины. Надеть «шапку», вспомнить (желательно зримо), какого именно кролика ты хочешь продублировать, дать мысленное разрешение — и через 25—30 минут он барахтается в баке. Противоположную операцию — растворение возникающего кролика по команде «Нет!» — «машина-матка» тоже выполняет безукоризненно.

За успехи и прилежание я скармливаю ей соли, кислоты, глицерин, витамины и прочие реактивы по списку. Совсем как селедку дрессированному тюленю».

«20 июня. Когда получается, так получается. А вот когда не получается, так хоть головой бейся... Все эти дни я пробую остановить синтез кролика на какой-нибудь стадии. Какие только команды я не перепробовал «Стоп!», «Замри!», «Хватит!», «Нуль!» — и в мысленном и в звуковом выражении — и все равно: либо синтез идет до конца, либо происходит растворение.

Похоже, что «машина-матка» работает как триггер, который либо заперт, либо открыт, а в промежуточном положении остановиться не может. Да, но сложной машине следует вести себя более гибко, чем этой ерундовой схемке.

Пробуем еще...»

«6 июля. Жизнь остановить нельзя — вот, пожалуй, в чем дело. Всякая остановка жизни есть смерть. Но смерть — это только миг, за которым начинается процесс распада или в данном случае растворения. А я синтезирую живые системы. Да и сама «машина-матка» — собственно, живой организм. Поэтому ничего в ней застыть не может.

А жаль, это было бы очень удобно...

Сегодня появился на свет первый приплод от искусственного самца и обычной крольчихи — восемь беленьких крольчат. Это, наверное, важный факт. Только и без того очень уж много у меня кроликов.

Черт возьми, но должна же «машина-матка» подчиняться более тонким командам, чем «Можно!» и «Нет!». Я должен *управлять* процессом синтеза, иначе все замыслы мои летят в тартарары...»

«7 июля. Так вот как ты работаешь, «машина-матка»! И до чего же просто...

Сегодня я приказал машине еще раз воспроизвести кролика-альбиноса Ваську. Когда он прозрачным видением проявился в середине бака, я сосредоточил внимание на его хвостике и вообразил его длиннее. Никаких изменений не последовало. Это было что-то не то. Я так и подумал с досадой: «Не то...» — и тут в кролике все начало меняться! Контуры тела заколебались в медленном ритме: тело, уши, лапы и хвост кроля то удлинялись и утолщались, то укорачивались и худели; органы внутри пульсировали в том же ритме. Даже цвет крови стал меняться от темно-вишневого до светло-красного и обратно.

Я вскочил со стула. Кролика продолжало «трясти». Формы его все более искажались, окарикатуривались; дрожание становилось все более частым и размашистым. Наконец альбинос расплылся в серо-лиловую туманность и растворился.

Сначала я напугался: картина напоминала давний «бред» маши-

ны! Вот только ритм. Все колебания размеров и оттенков были удивительно согласованы... И тут я все понял. Сам понял, черт побери! — желаю это отметить.

Первоначальную информацию о кролике машина получила конкретную и однозначную. Она комбинировала все информационные детали, искала точный вариант; но там ищи не ищи — что записано, то и воспроизведешь. Из деталей мотоцикла не соберешь пылесос.

И вдруг в машину поступает сигнал «Не то» — не отрицание и не утверждение — сигнал сомнения. Он нарушает информационную устойчивость процесса синтеза кролика; грубо говоря, сбивает машину с толку. И она начинает искать: что же «то» — простым методом проб (чуть больше, чуть меньше), чтобы не нарушить систему... Но машина не знает, что «то», и не получает подтверждений от меня. Тогда происходит полное расстройство системы и растворение: не то — значит не то...

И тогда (вот чем хороша работа исследователя: напал на жилу и в течение дня при помощи одной-двух идей можешь сделать работу, которую иначе не осилишь и за годы!) я снова надел «шапку Мономаха» и скомандовал машине «Можно!». Теперь я знал, что буду делать с дублем кролика. Он образовался. Я сосредоточил внимание на его хвосте (цепь связи: биоимпульсы от сетчатки моих глаз с изображением кроличьего хвоста ушли в мозг — в «шапку Мономаха» — в машину, а там — сравнение и отбор информации — машина зафиксировала мое внимание) и даже поморщился, чтобы выразительней вышло: «Не то!» В машину пошел мощный разбалансирующий импульс информации.

И хвостик стал укорачиваться. Чуть-чуть...

«Не то!»

Хвостик дрогнул, чуть удлинился...

«Вот-вот! То!»

Хвост замер. «Не то!» Еще удлинился...

«То!» Замер. «Не то! То! Не то! То!» — и дело пошло. Самым трудным было уловить колебание в нужную сторону — и подтолкнуть. Дальше я транслировал в «машину- матку» уже не элементарные команды «то — не то», а просто молчаливое поощрение. Хвост удлинялся; в нем выросла цепочка мелких позвонков, они покрылись волокнами мышц, розовой кожей, белой шерстью... Через десять минут дубль-Васька стегал себя по бокам мокрым белым хвостом, как разъяренный тигр.

А я сидел на стуле в «шапке Мономаха», и в голове творилась невообразимая толчея из «Н-ну!..», «Вот это да!», «Елки-палки!», «Уфф...» — как всегда, когда еще не можешь выразить все словами, но чувствуешь: понял, теперь не уйдет! И лицо мое, наверное, выражало ту крайнюю степень блаженства, какая бывает только у пускающего слюну идиота.

Все. Никакой мистики. «Машина-матка» работает по той же системе «да — нет», что и обычные вычислительные машины...»

— Правильно,— кивнул аспирант.— Но... это довольно грубое управление. Впрочем, для машины... да чего там, молодец!

«...Но, черт, как все-таки здорово! По моей команде «да», «не то», «нет» машина формирует клетки, ткани, кости...

Это могут лишь живые организмы, да и те гораздо медленнее.

Ну, голубушка, теперь я выжму из тебя все!»

«15 июля. Теперь мы, что называется, сработались с машиной. Точнее, она научилась принимать, расшифровывать и исполнять не разбитые на последовательность «то» и «не то» приказы моего мозга. Суть обратной связи и содержание команд осталось прежним — просто все происходит очень быстро. Я воображаю: что и как надо изменить в возникающем дубле-кролике. Ну, все равно как если бы я рисовал или лепил этот кроличий образ.

Машина теперь — мои электронно-биохимические руки. Как это роскошно, великолепно: усилием мысли лепить разнообразных кроличьих уродцев! С шестью ногами, с тремя хвостами, двухголовых, без ушей или, наоборот, с отвислыми мохнатыми ушами дворняг. Что там доктор Моро с его скальпелем и карболкой! Единственное орудие труда — «шапка Мономаха»; не надо даже ручки вертеть.

Самое занятное, что эти уродцы живут: чешутся четырьмя лапами и наворачивают морковку в две пасти...»

— Легкая работенка,— с завистью пробормотал аспирант.— Просто как в кино: сиди, посматривай... Ничего не болит, нечего бояться. Никаких тебе сильных страстей — инженерная работа...

Он вздохнул, вспоминая свои переживания. К болям при различных автовивисекциях он привык сравнительно просто: когда знаешь, что болезнь пройдет, рана зарастет, боль становится обычным раздражителем, вроде яркого света или громкого звука — неприятно, но не страшно. Когда знаешь... В своих продуманных опытах он это знал. Любое новое изменение он начинал тоже с малых проб — проверял ими, как выдерживает изменение организм; на крайний случай под рукой всегда были лекарства, ампулы нейтрализаторов и антибиотиков, телефон, по которому можно вызвать скорую помощь. Но был у него один непродуманный опыт, в котором он едва не погиб... Собственно, это был даже не опыт.

...Шел факультативный практикум по радиобиологии. Студенты-третьекурсники обступили бассейн учебного уранового реактора, с уважением смотрели на темный ячеистый цилиндр в глубине — от него рассеивался в воде зеленый спокойный свет, на тросики, никелированные штанги, рычаги и штурвальчики управления над ним.

— Это красивое, цвета молодой травы сияние вокруг тела реактора,— сочным баритоном говорил профессор Валерно,— назы-

вается «черенковским свечением». Оно возникает от движения в воде сверхбыстрых электронов, кои в свою очередь, возникают при делении ядер урана-235...

Кривошеин ассистировал, то есть просто сидел в сторонке, скучал и ждал, когда профессор пригласит его произвести демонстрационный опыт. Собственно, Валерно за милую душу мог бы произвести этот «опыт» сам или попросить студента, но ему при его научном чине полагался квалифицированный ассистент. «Вот и сиди...» — уныло размышлял Кривошеин. Потом ему пришло в голову, что он не испытывал еще на себе лучевую болезнь. Он встрепенулся, стал обдумывать, как это сделать. «Взять колбу воды из реактора и для начала устроить себе легкий радиационный ожог?.. Дело-то серьезное!»

— ...Наличие интенсивного черенковского свечения в воде свидетельствует о наличии интенсивной радиации в окрестности тела реактора,— нудно объяснял Валерно,— что и не удивительно: цепная реакция. Возрастание яркости свечения свидетельствует о возрастании интенсивности радиации, уменьшение яркости — соответственно о противоположном. Вот, прошу смотреть.— Он повернул штурвальчик на щитке вправо и влево. Зеленый свет в бассейне мигнул.

— А если крутануть совсем вправо, взрыв будет? — опасливо осведомился рыжий веснушчатый юноша в очках.

— Нет,— еле сдерживая зевок, ответил профессор (такой вопрос задавали на каждом занятии).— Там ограничитель. И, помимо него, в реакторе предусмотрена автоблокировка. Как только интенсивность цепной реакции превзойдет дозволенные пределы, автомат сбрасывает в тело реактора дополнительные графитовые стержни... вон те, видите? Они поглощают нейтроны и гасят реакцию... А теперь познакомимся с действием радиоактивного излучения на живой организм. Валентин Васильевич, прошу вас!

Кривошеин подкатил к бассейну тележку с аквариумом, в котором извивался черным, отороченным бахромой плавников телом и скалил мелкие зубы полуметровый угорь.

— Вот угорь речной, Anguilliformes,— не поворачивая головы, объявил Валерно,— самая живучая из речных рыб. Когда Валентин Васильевич выплеснет его в бассейн, угорь, повинуясь инстинкту, тотчас уйдет в глубину... м-м... что лично я на его месте не делал бы, поскольку самые удачливые экземпляры через две-три минуты возвращаются оттуда к поверхности вверх брюхом. Впрочем, смотрите сами. Прошу засечь время. Валентин Васильевич, действуйте!

Кривошеин перевернул аквариум над бассейном, щелкнул секундомером. Студенты склонились над барьером. Черная молния метнулась к вымощенному серым кафелем дну бассейна, описала круг, другой, перечеркнула зеленое зарево над цилиндром. Видимо, ослеп-

нув там, угорь ударился о противоположную стенку, шарахнулся назад...

Вдруг свечение в бассейне сделалось ярче — и в этом зеленом свете Кривошеин увидел такое, что у него похолодела спина: угорь запутался в тросиках, на которых висели графитовые стержни, регуляторы реакции, и бился среди них! Один стержень выскочил из ячейки, отлетел зеленой палочкой в сторону. Свечение стало еще ярче.

— Все назад! — быстро оценив ситуацию, скомандовал побледневший Валерно. Баритон его как-то сразу сел.— Прошу уходить!

Дернул по нервам аварийный звонок. Защелкали контакторы автомата блокировки. Свет в воде замигал, будто в бассейне вели электросварку, и стал еще ярче. Студенты, прикрывая лица, отхлынули к выходу из зала. В дверях возникла давка.

— Прошу не волноваться, товарищи! — совсем уж фальцетом закричал потерявший голову Валерно.— Концентрация урана-235 в тепловыделяющих элементах реактора недостаточна для атомного взрыва! Будет лишь тепловой взрыв, как в паровом котле!

— О господи! — воскликнул кто-то.

Затрещали двери. Какая-то девушка завизжала дурным голосом. Кто-то выругался. Веснушчатый студент-очкарик, не растерявшись, схватил со стола двухпудовый синхроноскоп С1-8, высадил им оконную раму и вслед за нею ринулся вниз... В несколько секунд зал опустел.

В первый миг паники Кривошеин метнулся за всеми, но остановил себя, подошел к реактору. От цилиндра поднимались частые крупные бульбы, клубилась вода — вместо спокойного свечения в бассейне теперь полыхал зеленый костер. Угорь больше не бесновался, но выбитые им графитовые стержни перекосились и заклинили в гнездах.

«Закипит вода — и облако радиоактивного пара на всю окрестность,— лихорадочно соображал Кривошеин.— Это не хуже атомного взрыва... Ну, могу? Боюсь... Ну же! На кой черт все мои опыты, если я боюсь? А если как угорь?.. Э, черт!»

(Даже сейчас аспиранту Кривошеину стало не по себе: как он мог решиться? Возомнил, что ему уже все нипочем? Или сработала психика мотоциклиста, представилось, будто проскакиваешь между двумя встречными грузовиками: главное — не раздумывать, вперед!.. Пьянящий миг опасности, рев машин, и с колотящимся сердцем вырываешься на асфальтовый простор! Но ведь здесь был не «миг» — вполне мог остаться в бассейне в компании с дохлым угрем.)

Порыв мотоциклетной отваги охватил его. Обрывая пуговицы, он сбросил одежду, перекинул ногу через барьер, но — «Стоп! Спокойно, Валька!» — прыгнул от бассейна к препараторскому столу, надел резиновые перчатки, герметичные очки («Эх, акваланг бы

сейчас!..» — мелькнула мысль). Набрал в легкие воздух и плюхнулся в бассейн.

Даже поодаль от реактора вода была теплая. «Тысяча один, тысяча два...» — Кривошеин, инстинктивно отворачивая лицо, шагнул по скользким плиткам к центру бассейна. «Тысяча шесть...» — стал нашаривать в бурлящей воде. Резиновые перчатки касались непонятно чего, пришлось все-таки взглянуть: угорь, свившись в петлю между тросов, висел чуть ниже. «Тысяча десять, тысяча одиннадцать...» — осторожно, чтобы ненароком не выдернуть стержни, потянул обмякшее тело рыбы. «Тысяча шестнадцать...» Рукам стало горячо, хотел отдернуть, но сдержался и медленно выводил угря из путаницы тросов. Очки оказались не такими уж герметичными, струйки радиоактивной воды просочились к векам. Прищурился. «Тысяча двадцать, тысяча двадцать один...» — вывел! Зеленое сияние замерцало, стержни беззвучно скользнули в цилиндр. В бассейне сразу стало темно.

«Тысяча двадцать пять!» Резким толчком Кривошеин отпрянул к стенке, выпрыгнул до пояса из воды, ухватился за барьер, вылез. «Тысяча тридцать...»

Хватило ума попрыгать, чтобы стряхнуть с себя лишнюю губительную влагу, даже покататься по полу. Насухо вытер штанами лицо, глаза. «Только бы не ослепнуть раньше, чем добегу». Оделся кое-как, бросился прочь из зала.

Хрипло взревел на проходной сигнализатор облучения. Высунулись, преграждая путь, скобы автотурникета. Он перепрыгнул турникет, побежал прямо по свежевскопанному газону к общежитию.

«Тысяча семьдесят, тысяча семьдесят один...» — машинально отсчитывал время мозг. Сумерки помогли не встретить знакомых; только у ограды зоны «Б» кто-то крикнул вслед: «Эй, Валя, ты куда спешишь?» — кажется, аспирант Нечипоров со смежной кафедры. «Тысяча восемьдесят, восемьдесят один...» Кожа зудела, чесалась, потом ее начали колоть миллионы игл: это утонченная в прежних опытах нервная система извещала, что протоны и гамма-кванты из распавшихся ядер расстреливают молекулы белка в клетках эпителия, в окончаниях кожных нервов, пробивают стенки кровеносных сосудов, ранят белые и красные тельца крови. «Тысяча сто... тысяча сто пять...» Теперь покалывание перекинулось в мышцы, в живот, под череп; в легких засаднило, будто от затяжки крепчайшего самосада-вергуна. Это кровь разнесла взорванные атомы и раздробленные белки по всему телу.

«Тысяча двести пять... двести восемь... идиот, что же я наделал?! Двести двенадцать...» — уже не было замысла, не было порыва. Был страх. Хотелось жить. Живот стали подергивать тошнотворные спазмы, рот переполнила слюна с медным привкусом. Задев на бегу

массивную входную дверь так, что она загудела, Кривошеин понял: кружится голова. Потемнело в глазах. «Двести сорок один... не добегу?» Надо было подняться на четвертый этаж. Он наотмашь хлестнул себя по щекам — в голове прояснело.

В темноту комнаты вместе с ним ворвалось сумеречное сияние. Первые секунды Кривошеин бессмысленно и расслабленно кружил по комнате. Страх, тот неподвластный сознанию биологический страх, который гонит раненого зверя в нору, едва не погубил его: он забыл, что нужно делать. Стало ужасно жаль себя. Тело наполнила звенящая слабость, сознание уходило. «Ну и пропадай, дурак»,— безразлично подумал он и почувствовал прилив небывалой злобы на себя. Она-то и выручила его.

Одежда в зеленых, как лишаи на деревьях, пятнах полетела на пол; в комнате стало еще светлее: светились ноги, на руках были видны волосы и рисунок вен. Кривошеин бросился в душевую, повернул рукоятку крана. Свистнула холодная вода, потекла, отрезвляя, по голове, по телу, образовала на резиновом коврике переливающуюся изумрудными тонами лужу и на необходимые, чтобы собрать в кулак мысли и волю, мгновения взбодрила его.

Теперь он, как стратег, командовал разыгравшейся в теле битвой за жизнь. Кровь, кровь, кровь бурлила во всех жилах! Лихорадочный стук сердца отдавался в висках. Мириады капилляров вымывали из каждой клетки мышц и желез, высасывали из лимфы поврежденные молекулы и частицы; белые тельца стремительно и мягко обволакивали их, разлагали на простейшие вещества, уносили в селезенку, в легкие, в печень, почки, кишечник, выбрасывали к потовым железам... «Перекрыть костные сосуды!» — мысленным ощущениями приказывал он нервам, вовремя вспомнив, что радиоактивность может осесть в костном, творящем кровяные тельца мозгу.

Прошло несколько минут. Теперь он выдыхал радиоактивный воздух со слабо светящимися парами воды; отплевывал светящуюся слюну, в которой накапливались разрушенные радиоактивные клетки мозга и мышц головы; смывал с кожи зеленоватые капли пота, то и дело мочился красивой изумрудной струей. Через час выделения перестали светиться, но тело еще покалывало.

Так он провел в душевой три часа: глотал воду, обмывался и выбрасывал из организма все поврежденное радиацией. Вышел в комнату за полночь, шатаясь от слабости и физического истощения. Отпихнул подальше в угол светящиеся тряпки одежды, повалился на койку — спать!..

На следующий день ему все время хотелось пить. Он зашел в радиометрическую лабораторию, поводил вокруг себя щупом счетчика Гейгера — прибор потрескивал по-обычному, отмечая лишь редкие космические частицы.

— Елки-палки, когда ты успел так похудеть?!— изумился, встретив его у лекционной аудитории, аспирант Нечипоров...

«Да, по результатам это, конечно, был знатный опыт,— усмехнулся аспирант.— Одолел сверхсмертельную дозу облучения! Но по исполнению... нет, с такими «опытами» баловаться накладно. Лучше вот как он».

«27 июля. Дублей и уродцев развелось у меня великое множество,— продолжал аспирант чтение дневника.— Нормальных кроликов выпускаю в парк, уродцев по одному выношу в спортивном чемоданчике с территории, увожу в Червоный Гай за Днепр.

Ну, все. Наслаждение новизной открытия прошло. Мне это надругательство над природой уже противно: хоть и кролик, но ведь живая тварь. Эти недоуменно косящие друг на друга глаза у двух голов на одной шее... бр-р! Впрочем, какого черта? Я нашел способ управления биологическим синтезом, испытывал и отрабатывал его. Наука в конечном счете создает способы — не конструкции, не вещества, не предметы обихода, а именно способы: как все это сделать. И никакой исследователь не упустит случая выжать из своего способа все возможное.

Между прочим, вчера в институтской столовой появилось блюдо «Кролик жареный с картошкой молодой, цена 45 коп.». Гм?! Будем считать это совпадением. Но возможно и такое применение открытия: разводить на мясо кролей, коров, улучшать породу... при промышленной постановке дела окажется наверняка выгоднее обычного животноводства...

Завтра я возвращаюсь к опытам по синтезу человека. Методика ясна, нечего тянуть. И все равно при одной мысли об этом у меня начинает сосать под ложечкой. Возвратиться к синтезу человека... Одно дело, когда мой дубль возник сам по себе, почти нечаянно, как оно и в жизни бывает; другое дело изготовлять человека сознательно, как кролика. В сущности, мне предстоит не «возвратиться», а начать...

Что это за существо такое — человек, что я не могу работать с ним так же спокойно, как с кроликами?!

Восстановим масштабы. Плавает в черном пространстве звездная туча Метагалактика. В ней чечевицеобразная пылинка из звезд — наш Млечный Путь. На окраине его Солнце, вокруг — планеты. На одной из них — ни самой большой, ни самой маленькой — живут люди. Три с половиной миллиарда, не так и много. Если выстроить всех людей в каре, то человечество можно оглядеть с Эйфелевой башни. Если сложить их, то получится куб со стороной в километр, только и всего. Кубический километр живой и мыслящей материи, молекула в масштабе Вселенной... И что?

А то, что я сам человек. Один из них. Ни самый низкий, ни самый высокий. Ни самый умный, ни самый глупый. Ни первый, ни последний. А кажется, что самый. И чувствуешь себя в ответе за все...»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В заботе о ближнем главное — не перестараться.

К. Прутков-инженер, мысль № 33

«29 июля. Сижу в информационной камере в окружении датчиков, на голове «шапка Мономаха». Веду дневник, потому что больше заняться решительно нечем. Эту неделю мне и ночевать предстоит в камере, на раскладушке.

Сижу, стало быть, и мудрствую.

Итак, человек. Высшая форма живой материи.

Каркас из трубчатых косточек, податливые комочки белков, в которых заключено то, что ученые и инженеры стараются проанализировать и воспроизвести в логических схемах и электронных моделях,— Жизнь, сложная, непрерывно действующая и непрерывно меняющаяся система. Миллионы бит информации ежесекундно проникают в нас через нервные окончания глаз, ушей, кожи, носа, языка и превращаются в электрические импульсы. Если усилить их, то в динамике можно услышать характерные «дрр-р... др-р...» — бионики мне однажды демонстрировали. Пулеметные очереди импульсов разветвляются по нервам, усиливаются или подавляют друг друга, суммируются, застревают в молекулярных ячейках памяти. Огромный коммутатор — мозг — сортирует их, сравнивает с химическими записями внутренней программы, в которой есть все: мечты и желания: долг и цель, инстинкт самосохранения и голод, любовь и ненависть, привычки и знания, суеверия и любопытство,— составляет команды для исполнительных органов. И люди говорят, бегут, целуются, пишут стихи и доносы, летят в космос, чешут в затылке, стреляют, нажимают кнопки, воспитывают детей, задумываются...

Что же главное?

У меня вырисовывается способ управляемого синтеза человека. Можно вводить дополнительную информацию и тем изменять форму и содержание человека. Это будет — к тому идет. Но какую информацию вводить? Какие исправления делать? Вот, скажем, я. Допустим, это меня будет синтезировать машина (тем более что это так и есть): что я хотел бы в себе исправить?

Так сразу и не скажешь. Я к себе привык. Меня гораздо больше занимают окружающие, чем своя личность... Во-во, все мы так —

хорошо знаем, чего хотим от окружающих: чтобы они не отравляли нам жизнь. Но что мы хотим от самих себя?

Вчера у меня был такой разговор:

— Скажи, Лен, какого бы ты хотела иметь сына?

— А... что?

— Ну, каким бы ты хотела видеть его, например, уже взрослым человеком?

— Красивым, здоровым, умным, талантливым даже... честным и добрым. Пусть будет твоего роста примерно... нет, лучше повыше! Пусть бы он стал скрипачом, а я ходила бы слушать его концерты. Пусть будет похож на... да, господи, чего ты заговорил об этом? Ой, понимаю: ты решил сделать мне предложение! Да? Как интересно! Начинай по всем правилам, не исключено, что я соглашусь. Ну!

— М-м... да нет, я так, вообще...

— Ах, вообще! Сын в абстракте, да?

— Именно.

— Тогда тебе надо обсуждать этот вопрос с некоей абстрактной женщиной, а не со мной!

Женщины все воспринимают удивительно конкретно.

Впрочем, из того, что она сказала, можно выделить одно качество — быть умным. Это то, в чем я разбираюсь.

Логическое мышление у людей действует гораздо хуже, чем у электронных систем. Скорость переработки информации мизерная: 15—20 бит в секунду,— поэтому то и дело приходится включать «линии задержки». Спроси у человека внезапно что-нибудь посложнее, чем «Который час?» — и слышишь в ответ: «А?» или «Чего?» Это не значит, что собеседник туг на ухо — просто за время, пока ты повторяешь вопрос, он лихорадочно соображает, что ответить. Иногда и этого времени недостаточно, тогда раздается: «Мм-м... видите ли... э-э... как бы это вам получше объяснить... дело в том, что...»

Перекур. А то засиделся. На волю!

Утро похоже на мелодию скрипки. Зелень свежа, небо сине, воздух чист...

Вон шагает по парку в институтский гараж Паша Пукин — слесарь, запивоха и плут; он мужественно несет на покатых плечах проклятие своей фамилии. Сейчас я на нем проверю!

— Скажи, Паша, что ты хочешь от жизни в такое утро?

— Валентин Васильевич! — Слесарь будто ждал этого вопроса, смотрит на меня восторженно и проникновенно.— Вам я скажу, как родному: десять рублей до получки! Ей-богу, отдам!

От растерянности я вынимаю десятку, даю и лишь потом соображаю, что Паша никому и никогда долгов не отдавал, не было такого факта.

— Спасибо, Валентин Васильевич, век не забуду! — Пукин торопливо прячет деньги. Припухлое лицо его выражает сожаление, что он не попросил больше.— А что вы хотите от жизни в такое утро?

— М-м... собственно... видишь ли... ну-у... хотя бы получить деньги обратно.

— За мной не пропадет! — И Паша шествует дальше.

М-да... как же это я? Выходит, и у меня с логическим мышлением слабина? Странно: моя нервная сеть каждую секунду перерабатывает целую Ниагару информации, с помощью ее я совершаю сложнейшие, не доступные никаким машинам движения (пишу, например), а вот чтобы вовремя сообразить... Словом, следует подготовить для ввода в «машину-матку» информацию о том, как быть умным, хорошо соображать. Если мне бог не дал, надо хоть для нового дубля порадеть. Пусть будет умнее меня, авось не подсидит».

«3 августа. Да, но чтобы ввести в машину информацию, надо ж ее иметь! А ее нет.

Сейчас я делю время между информационной камерой и библиотекой. Перебрал не меньше тонны всякой литературы — и ничего.

Можно было бы увеличить объем мозга дубля — это нетрудно; я вижу, как возникает мозг. Но связи между весом мозга и умом человека нет: мозг Анатоля Франса весил килограмм, мозг Тургенева — два кило, а у одного кретина мозг потянул почти три килограмма: 2 килограмма 850 граммов.

Можно бы увеличить поверхность коры мозга, число извилин; это столь же не трудно. Но связи между числом извилин и интеллектом тоже нет: у дрозда гораздо больше извилин, чем у нашего ближайшего родича орангутанга. Вот тебе и птичьи мозги!

Я знаю, с чем связан ум человека: с быстродействием наших нервных ячеек. Это совершенно ясно, для электронных машин быстродействие имеет самое важное значение. Не успела машина решить задачу за то короткое время, пока в стартующей ракете сгорает топливо,— и ракета, вместо того чтобы выйти на орбиту, кувырком летит на землю.

Большинство глупостей делается нами аналогичным образом: мы не успеваем за требуемый отрезок времени решить задачу, не успеваем сообразить. Задачи в жизни — не проще задач вывода ракеты на орбиту. А времени всегда в обрез. Страшно подумать, какое количество глупостей совершается в мире из-за того, что мы можем переработать за секунду лишь два десятка бит логической информации, а не две сотни бит!

И что же? Огромное количество статей, отчетов, монографий по усовершенствованию логики и ускорению работы вычислительных машин (хотя их быстродействие приближается уже к 10 миллионам операций в секунду) — и ничего об улучшении логики

и быстродействия человеческого мышления. Сапожник ходит без сапог.

Словом, как ни грустно, но этот замысел придется отставить до лучших времен...»

Аспирант Кривошеин задумчиво потер шею. «Да, действительно...» Он не думал над этой проблемой, как-то не пришлось — может быть, потому, что с аспирантской стипендии не очень-то одолжишь? Единственно, чем он занимался, это усовершенствованием своей памяти, да и оно пришло само собой: слишком много требовалось помнить одновременно для преобразования себя. А когда опыт кончался, ненужная информация мешала новой работе. Так ему пришлось освоить химию направленного забывания: «стирать» в коре мозга те мелкие подробности новых знаний, которые проще заново додумать, чем помнить.

Но это совсем другое дело. А о логическом быстродействии мозга он не думал. Аспиранту стало неловко: так влез в биологию, даже забыл, что пришел в нее как инженер-системолог изыскивать новые возможности в человеке... Выходит, не он вел работу, а работа увела его? Делал то, что в руки давалось. «Человечество может погибнуть из-за того, что каждый делает лишь то, что в руки дается»,— сказал Андросиашвили. И очень просто.

«Но к этой проблеме нелегко подступиться: в человеке информацию переносят ионы, от них не добьешься такого быстродействия, как от быстрых и легких электронов вычислительных машин... Э, я, кажется, оправдываю себя! Человек умеет очень быстро решать сложные задачи: двигаться, работать, говорить, а по части логики у него просто мало биологического опыта. Животным в процессе эволюции не требовалось думать, им надо было во всех ситуациях «принимать меры»: укусить, завыть, прыгнуть, подползти — и чем быстрей, тем лучше. Вот если бы животным для успеха в борьбе за существование требовалось решать системы уравнений, вести дипломатические переговоры, торговать и осмысливать мир... будь здоров, какая у них развилась бы логика! Здесь надо подумать, поискать...»

«4 августа. Мерцание лампочек на пульте ЦВМ-12 успокоилось. Это значит, что вся информация обо мне запечатлена в «машине-матке». Где они сейчас, мои мечты, недостатки характера, строение кишечника, мысли и незаурядная внешность — в кубах «магнитной памяти»? В ячейках кристаллоблока? Или растворились в золотистой жидкости бака? Не знаю, да это и неважно.

Завтра пробное воспроизведение. Только проба, и ничего больше».

«5 августа. 14 часов 5 минут — «Можно!». В баке из солнечного

цвета жидкости начал возникать новый призрачный «я». Картина такая же, как и при возникновении кролика, только одновременно с кровеносной системой в верхней части бака образуется расплывчатый сероватый сгусток; из него потом формируется мозг. Мозг, для которого у меня нет улучшающей информации. Видит око, да зуб неймет...

К четырем часам пополудни новый дубль овеществился до непрозрачной стадии; на нем наметились трусы и майка...

...Если бы полгода назад кто-нибудь мне сказал, что в методику моих опытов войдут вопросы жизни и смерти, морали и уголовного законодательства, я вряд ли смог бы достойно оценить такую остроту. А сегодня я стоял возле бака и думал: «Вот сейчас он оживет, вынырнет из жидкости... Зачем? Что я с ним буду делать?»

— Я существовал и до появления в машине,— сказал мне первый дубль.— Я был ты.

И он был недоволен своим положением. И с этим у нас тоже начнутся прелести совместной жизни: разногласия из-за Лены, опасения, что застукают, проблема тахты и раскладушки... И главное: это не то, чего я ждал от нового опыта. Я хочу вести управляемый синтез человека, а это только проба. Проба удалась: машина воспроизводит меня. Надо идти дальше.

Но если растворить его командой «Нет!» — это же смерть? Но, простите, чья смерть? Моя? Нет, я живу. Дубля в баке? Но он ведь еще не существует...

Не подсудное ли дело — мои эксперименты? А с другой стороны, если я в каждом опыте буду плодить своих дублей, не есть ли это злоупотребление служебным положением? Дубль-аспирант прав: это действительно «та работка»!

Все это, пожалуй, от слабости души. В современном мире люди во имя идей и политических целей идут сами и посылают других людей убивать и умирать. Есть идеи и цели, которые оправдывают такое. У меня тоже большая идея и большая цель: создать способ, улучшающий человека и человеческое общество; ради нее я, если понадобится, и себя не пожалею. Так почему же я боюсь в интересах своей работы скомандовать «Нет!»? Надо быть жестче, раз уж взялся за такое дело.

Тем более что это все-таки не смерть. Смерть есть исчезновение информации о человеке, но в «машине-матке» информация не исчезает и лишь переходит от одной формы (электрические импульсы и потенциалы) в другую, в человека. Всегда по первому требованию я могу выдать нового дубля...»

Я раздумывал, пока шланги, расходившиеся от бака, не начали ритмично сокращаться, отсасывать лишнюю жидкость. Тогда я надел «шапку», приказал машине «Нет!».

Очень неприятно видеть: был человек — и растворился. И сейчас

не по себе... Ничего, парень, не спеши. Я тебя сработаю так, что любо-дорого. Правда, я не могу прибавить тебе ума сверх того, что имею сам, но внешность я тебе сделаю такую — закачаешься. Ведь в тебе, как и во мне, множество изъянов: кривоватые ноги, слишком широкие и толстые бедра, сутулая спина, туловище как обрубок бревна, масса лишних волос на ногах, на груди и на спине. А оттопыренные уши, а челюсть, которая придает моему лицу вид исполнительного тупицы, а лоб, а нос... нет, будем самокритичны: такая внешность ни к черту не годится!»

«6 августа. Проба вторая — час от часу не легче! Сегодня я вознамерился одним махом исправить внешность нового дубля и оконфузился так, что вспоминать неприятно.

Я начал опыт, точно зная, что «не то» в моей внешности (собственно, все не то, если могу изменить). Но что «то»? В опытах с кроликами критерием «то» было все, что мне заблагорассудится. Но человек не кролик; хоть и говорят: одна голова хорошо, а две лучше, но никто и никогда не понимал это в биологическом смысле.

Когда после команды «Можно!» возник образ нового двойника и полупрозрачные сиреневые мышцы живота стали покрываться желтым налетом жира, я дал сигнал «не то!». Машина, подчиняясь моему воображению, растворила жировую ткань там, где я ее видел: на животе и около шеи. А на спине и на боках жир остался...

Я это не сразу заметил, потому что взялся исправлять лицо. Воображением придал лбу дубля благородные очертания, а когда взглянул сбоку, пришел в ужас: череп сплюснулся с затылка! Да и форма лба явно противоречила остальной части лица.

Словом, я растерялся. Машина справедливо восприняла это как сплошное «Не то!» и растворила дубля.

Я стал в тупик. «То» — безусловно, красота человеческого тела. Классические образцы есть. Но... в течение двух часов синтеза превратить дубля в приятного мужчину с античными формами — такая задача не под силу не то что неподготовленному мне, но и самому квалифицированному ваятелю Союза художников СССР! Единственная надежда, что машина запоминает все вносимые в дубля изменения.

Тогда я еще раз скомандовал «Можно!». Да, «машина-матка» все запоминает: в дубле сохранились мои бездарные поправки. Это уже легче, можно работать столько сеансов, сколько понадобится.

В этот сеанс я окончательно снял лишний жир с тела дубля. У него исчезло брюшко, даже наметилась талия, шея приобрела четкие очертания... Для начала хватит. «Нет!» Все растворилось, я побежал в городскую библиотеку.

Сейчас листаю Атлас пластической анатомии профессора Г. Гицеску (в запасе еще четыре богато иллюстрированные книги об

искусстве эпохи Возрождения), вникаю в пропорции человеческого тела, подбираю дублю внешность, как костюм. Каноны Леонардо да Винчи, каноны Дюрера, пропорции Шмидта-Фрича... Оказывается, у пропорционально сложенного мужчины ягодицы расположены как раз на половине роста. Кто бы мог подумать!

Боже, чем бедному инженеру приходится заниматься!

Беру за основу Геркулеса Фарнезского, благо он показан в атласе со всех сторон».

«14 августа. Двенадцать проб — и все не то. Аляповато, вульгарно. То одна нога получается короче другой, то руки разные. Вот что: лучше проектировать дубля по пропорциям дюреровского Адама».

«20 августа. Пропорции есть. А с лицом хоть плачь. Безглазый мертвый слепок с чертами Кривошеина. Крупные мраморные завитки рыжего цвета вместо волос. Словом, сегодня было двадцать первое «Нет!».

Кто-то осторожный и недоверчивый во мне все спрашивает: «А это то? Способ, который ты разрабатываешь сейчас, это тот способ?»

По-моему, да. Во всяком случае, это шаг в том направлении. Пока я ввожу для синтеза человека лишь высококачественную информацию о его теле. Но таким же образом можно (со временем мы придумаем, как это сделать) вводить в «машину-матку» любую накопленную человечеством информацию о наилучших человеческих качествах и создавать не только внешне красивых и физически сильных людей, но и красивых и сильных по своим умственным и душевным качествам. Обычно в людях хорошее перемешано с плохим: тот умен, да слаб духом, другой имеет сильную волю, но по глупости или невежеству употребляет ее по пустякам, а третий и умен, и тверд, и добр, да здоровьем слаб... А по этому способу можно будет отбросить все плохое и синтезировать в человека только самые лучшие качества людей.

«Синтетический рыцарь без страха и упрека» — это, наверное, ужасно звучит. Но в конце концов какая разница: синтетические или естественные? Лишь бы их было побольше. Ведь их очень мало, таких «рыцарей»,— лично я знаком с ними только по книгам да по кино. А они очень нужны в жизни: каждому найдется и место, и работа. И каждый из них может повлиять, чтобы дела в мире шли лучше».

«28 августа. Получается! Эх, мазилы, несчастные, пытающиеся кистью или молотком запечатлеть в мертвом материале красоту и силу живого человека! Вот она, моя «кисть»: электронно-химическая машина, продолжение моего мозга, моего воображения. И я — инженер, не художник! — не прикладывая рук, усилием мысли воспроизвожу красу живого в живом.

Изящные и точные пропорции дюреровского Адама и рельефная геркулесовская мускулатура. И лицо приятное... Еще две-три доводки — и все».

«1 сентября, первый день календаря! Сейчас я иду в лабораторию. Брюки для него есть, рубашка есть, туфли есть. В чемоданчик! Да, не забыть кинокамеру — буду снимать возникновение великолепного дубля. Предвкушаю заранее, какое потрясение умов произведет когда-нибудь демонстрация этого любительского фильма!

Сейчас я приду, надену «шапку Мономаха» и мысленно скомандую... нет, скажу, произнесу, черт побери, сильным и красивым голосом, каким когда-то в подобной ситуации говаривал бог Саваоф:

— Можно! Явись на свет, дубль Адам-Геркулес-Кривошеин!

«И увидел бог, что вышло хорошо...»

Конечно, я не бог. Я месяц создавал человека, а он управился за сокращенный рабочий день, субботу. Но разве ж то была работа?»

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

> Человек всегда считал себя умным — даже когда ходил на четвереньках и закручивал хвост в виде ручки чайника. Чтобы стать умным, ему надо хоть раз основательно почувствовать себя дураком.
>
> *К. Прутков-инженер, мысль № 59*

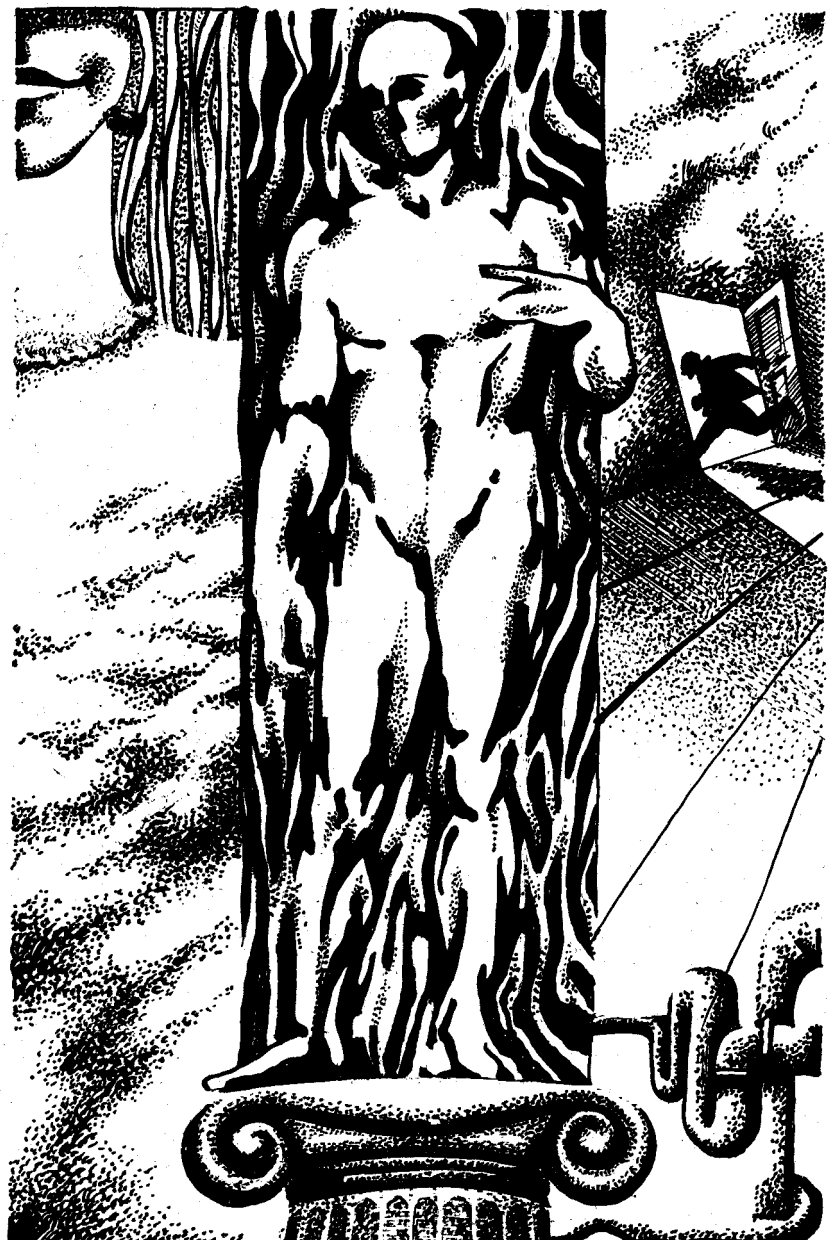
Следующая запись в дневнике поразила аспиранта Кривошеина неровным, будто даже изменившимся почерком.

«6 сентября. Но ведь я не хотел... не хотел и не хотел я такого! Мне сейчас в пору закричать: не хотел я этого! Я старался, чтобы получилось хорошо... без халтуры и ошибок. Даже ночами не спал, лежал с закрытыми глазами, представлял во всех подробностях тело Геркулеса, потом Адама, намечал, какие надо внести в дубля изменения.

И я не мог уложиться в один сеанс. Никак не мог, поэтому и растворял... Не выпускать же калеку с ногами и руками разной длины. И я знать не знал, что в каждое растворение я убиваю его. Откуда я мог это знать?!

...Как только жидкость обнажила его голову и плечи, дубль ухватился своими могучими руками за край бака, выпрыгнул — а я как раз водил кинокамерой, запечатлевал исторический миг появления человека из машины — и упал передо мной на линолеум, захлебываясь от хриплого воющего плача. Я кинулся к нему:

— Что с тобой?



Он обнимал липкими руками мои ноги, терся о них головой, целовал мои руки, когда я пытался его поднять:

— Не убивай меня! Не убивай меня больше! За что ты меня, о-о-о! Не надо! Двадцать пять раз... двадцать пять раз ты меня убивал, о-о-о-о!

Но я же не знал. Я не мог знать, что его сознание оживало в каждую пробу! Он понимал, что я перекраиваю его тело, изгаляюсь перед ним как хочу, и ничего не мог поделать. И от моей команды «Нет!» сначала растворялось его тело, а потом угасало сознание... Что же тот идиот искуственный молчал, что сознание начинает работать раньше тела?!»

— Ах, черт! — растерянно пробормотал аспирант.— Ведь в самом деле — мозг и выключиться должен последним... Постой, когда это было? — Он перевернул страницы, посмотрел даты и вздохнул с некоторым даже облегчением: нет, он не виноват. В августе и сентябре он ничего не мог сообщить, сам еще не понимал. Веди он этот опыт — ошибся бы точно так же.

«...И получился человек с классическим телосложением, приятной внешностью и сломленной психикой забитого раба. «Рыцарь без страха и упрека»...

Виляй теперь, ищи виноватых, подонок: не знал, старался! Только ли старался? Разве не было самолюбования, разве не ощущал ты себя богом, восседающим на облаках в номенклатурном кожаном кресле? Богом, от колебаний мысли и настроения которого зависело, возникнуть или раствориться человеку, быть ему или не быть. Разве не испытывал ты этакого интеллектуального сладострастия, когда снова и снова отдавал «машине-матке» команды: «Можно!», «Не то!», «Нет!»?

...Он сразу же попытался вырваться из лаборатории, убежать. Я еле уговорил его помыться и одеться. Он весь дрожал. О том, чтобы он работал вместе со мной в лаборатории, не могло быть и речи.

Пять дней он жил у меня, страшные пять дней. Я все надеялся: опомнится, отойдет... Где там! Нет, он здоров телом, все знает, все помнит — «машина-матка» добросовестно вложила в него мою информацию, мои знания, мою память... Но над всем этим не подвластный ни его воле, ни мыслям страх пережитого. Волосы его в первый же день поседели от воспоминаний.

Ко мне он испытывал неодолимый ужас. Когда я возвращался домой, он сразу вскакивал, становился в приниженную позу: его гладиаторская спина сутулилась, руки с могучими буграми мышц

расслабленно обвисали — он будто старался стать меньше. А глаза... о, эти глаза! Они смотрели на меня с мольбой, с затравленной готовностью умилостивить непонятно чем. Мне становилось страшно и неловко. Никогда не видел, чтобы человек так смотрел.

А сегодня ночью, где-то в четвертом часу... сам не знаю, почему я проснулся. На потолке был серый мертвый свет от газосветных фонарей с улицы. Дубль Адам стоял надо мной, заносил над моей головой гантель. Я отчетливо видел, как напряглись мышцы правой руки для удара. Несколько секунд мы в оцепенении глядели друг на друга. Потом он нервно захихикал, отошел — босые ноги шаркали по паркету.

Я сел на тахте, включил верхний свет. Он скорчился на полу у шкафа, уткнул голову в колени. Плечи и гантель в руке тряслись.

— Что же ты? — зло спросил я.— Надо было бить, раз нацелился. Все, глядишь, полегчало бы на душе.

— Не могу забыть,— бормотал он сквозь судорожные всхлипывания гулким баритоном,— понимаешь, не могу забыть, как ты меня убивал... двадцать пять раз!

Я раскрыл стол, выложил свой паспорт, инженерный диплом, деньги, какие были, потряс его за плечи:

— Встань! Одевайся и уходи. Уезжай куда-нибудь, устраивайся, работай, живи. Вместе у нас ничего не получится: ни тебе покоя, ни мне... Я не виноват! Черт побери, ты можешь понять, что я не знал?! Я делал то, чего никто еще не делал,— мог же я что-то не знать?! Человек может родиться уродом или душевнобольным, может сделаться им после болезни, после аварии, но там некого винить, некому раскроить череп гантелью. Окажись ты на моем месте, получилось бы то же самое, ибо ты — это я, понимаешь?!

Он пятился к стене, трясся. Это меня отрезвило.

— Извини. Бери мой документы, я здесь как-нибудь обойдусь. Вот смотри,— я раскрыл паспорт,— на фотокарточке ты даже больше похож на меня, чем я сам... Фотограф, наверное, тоже стремился усовершенствовать мою физиономию. Бери деньги, чемодан, одежду — и дуй на волю. Поживешь сам, поработаешь — может, отойдешь.

Два часа назад он ушел. Условились, что напишет мне с места, где устроится. Не напишет...

Все-таки хорошо, что он покушался меня убить. Значит, не раб — обиду чувствует. Может, у него все и восстановится?

А я сижу... ни одной мысли в голове. Надо начинать сначала... О природа, какая ты все-таки стерва! Как тебе нравится смеяться над нашими замыслами! Поманишь, а потом...

Брось! Брось, виноватых ищешь — природа здесь ни при чем, она в твоей работе участвует только на элементарном уровне. А дальше все твое, нечего вилять.

Зазвенел будильник: четверть восьмого — время вставать, умываться, бриться, идти на работу... Мутное солнце над домами, небо в дымах, грязное, как застиранная занавеска. Ветер поднимает пыль, полощет деревья, дует в балконную дверь. Внизу у дома троллейбус слизывает людей с остановки. Они накапливаются снова, у всех одинаковое выражение лиц: как бы не опоздать на работу!

И мне надо на работу. Сейчас приду в лабораторию, занесу в журнальчик результат неудачного эксперимента, утешу себя прописями: «на ошибках учатся», «в науке нет проторенных дорог...» Возьмусь за следующий опыт. И снова буду ошибаться, калечить не образцы — людей?.. Самовлюбленный мечтательный кретин, вооруженный новейшей техникой!

Ветер полощет деревья... Все было: дни поисков и открытий, вечера размышлений, ночи мечтаний. Вот ты и наступило, ясное холодное утро, которое вечера мудреней. Беспощадное утро! Наверное, именно в такое трезвое время дня женщины, промечтав ночь о ребенке, идут делать аборт. И у меня получился аборт, выкидыш... Я мечтал, я хотел людям счастья, а создал уже двоих несчастных. Не одолеть мне такую работу. Я слаб, ничтожен и глуп. Надо браться за что-нибудь посредственное, чтоб по плечу — для статьи, для диссертации. И все будет благополучно.

Ветер полощет деревья. Ветер полощет деревья...

На соседнем балконе проигрыватель исполняет «Реквием» Моцарта. Мой сосед доцент Прищепа настраивает себя с утра на математический лад. «Rekvi... rekviem...» — чисто и непреложно отрешают кого-то из жизни голоса. Под такую музыку хорошо бы застрелиться — никто не обратил бы внимания на выстрел.

Ветер полощет деревья...

Что же я наделал? А ведь были сомнения, потом и не сомнения — знание: знал, что любое внесенное мною изменение остается в нем, что «машина-матка» все помнит. Не придал значения? Почему?

...Была мысль, не выраженная даже словами, чтоб не так стыдно было, или чувство благополучной безопасности, что ли: это же не я. Это происходит не со мной... И еще — чувство безнаказанности: что захочу, то и сделаю, ничего мне не будет...

Не застрелишься, падло! Ничего ты с собой не сделаешь — доживешь до пенсионного возраста и еще будешь ставить свою жизнь в пример другим...

Ветер полощет деревья. Троллейбус слизывает людей с остановки...

Я не хочу идти на работу».

«20 сентября. Серый асфальт. Серые тучи. Мотоцикл глотает километры, как лапшу. Застыл у дороги пацан, и по его позе понятно, что он сейчас намертво решил: вырасту большим — буду мото-

циклистом на красном мотоцикле. Становись мотоциклистом, пацан, не становись только исследователем...

Все прибавляю газ. Стрелка спидометра перевалила за девяносто. Ветер наотмашь хлещет по лицу. Показался встречный самосвал — прет, конечно, по самой середине дороги, даже с захватом левой стороны. Эти сволочи, водители самосвалов, мотоциклистов за людей не считают, норовят согнать на обочину. Ну, этому я не уступлю!

Нет, я не врезался. Жив. Вот записываю, как мчал сегодня с остекленелыми глазами неизвестно куда и зачем. Надо же что-то записывать... Самосвал в последнюю секунду вильнул вправо. В зеркальце заднего вида я наблюдал, как водитель выскочил на дорогу, махал мне вслед кулаками.

Собственно, если бы я и разбился, какая разница? Есть запасной Кривошеин в Москве... Сил нет, какое у меня сейчас отвращение ко всему. И к себе.

...Как он дрожал, как обнимал мои ноги — сильный, красивый «не я»! А ведь мог я понять и предотвратить, мог! Но решил: сойдет и так, чего там! Ведь он — не я.

А все было так интересно, хорошо, красиво: мы мечтали и разглагольствовали, заботились о благе людей, принимали клятву... стыд-то какой! А в работе пренебрег тем, что создаю человека. Обо всем думал: об изящных формах, об интеллектуальном содержании, а то, что ему может быть больно и страшно, как-то и в голову не пришло. Сварганил на скорую руку «обоснование», что информационной смерти в опыте нет,— и ладно. А была смерть как акт насилия над ним.

Как же так получилось? Как получилось?

Белые столбики вдоль шоссе отражают звук мотора: чак-чак-чак-как получилось? Чак-чак-чак-как получилось? Спидометр показывает сто десять, мелькают серо-зеленые полосы из земли и деревьев. На такой скорости я мог бы уйти от погони, спасти кого-нибудь, приехав вовремя! Но мне не от кого убегать и некого спасать. Мне было кого спасать, но там требовалось честно думать, а не выжимать ручку газа. Честно думать...

Я могу преодолевать различные высоты, стихии — и усилием мысли и усилием мышц,— чего там! Со стихиями ясно, преодолеть их можно. А вот как преодолеть себя?

Сейчас я перелистал дневник — и даже страшно стало: до чего же подла и угодлива моя мысль! Вот я рассуждаю о том, что беды людей происходят от их беспринципности, от того, что считают «свою хату с краю», а через несколько страниц я ловко обосновываю расположение своей «хаты с краю»: не надо заводиться с Гарри Хилобоком, пусть делает свою докторскую диссертацию... Вот я размышляю о том, как сделать, чтобы из открытия получилось «хорошо», а вот я призываю себя к жестокости со ссылками на убийства

в мире... Вот я (или мы с дублем-аспирантом, все равно) принижаю себя до уровня заурядного инженера, которому трудно и непривычно вести такую работу — моральная перестраховочка на случай, если не выйдет; а вот, когда стало получаться, я равняю себя с богом... И все это я писал искренне, не замечая никаких противоречий.

Не замечал? Не хотел замечать! Так было приятно и удобно: красоваться, лгать самому себе от чистого сердца, приспосабливать идеи и факты к своему душевному комфорту. Выходит, думал-то я в основном не о человечестве, а о самом себе? Выходит, эта работа, если оценить ее не с научной, а с моральной стороны, была просто незаурядным пижонством? Конечно, где уж тут заботиться о каких-то экспериментальных образцах!

Что же ты за человек, Кривошеин?»

«22 сентября. Не работаю. Нельзя мне сейчас работать... Сегодня съездил на мотоцикле в Бердичев непонятно зачем и, кстати, понял смысл таинственной фразы, что когда-то выдали печатающие автоматы. Двадцать шесть копеек — это цена заправки: пять литров бензина, двести граммов масла — ее как раз хватает от Бердичева до Днепровска... Раскрыл еще одну «тайну»!

Где-то сейчас дубль Адам, куда уехал?

...И это существо, которое машина пыталась выдать сразу после первого дубля: полу-Лена, полу-я... Оно, наверное, тоже пережило ужас смерти, когда мы приказали «машине-матке» растворить его? И батя... О черт! Зачем я думаю об этом?

Батя... последний казак из рода Кривошеиных. По семейному преданию, прадеды мои происходят из Запорожской Сечи. Жил когда-то казак лихой, повредили ему шею в бою — вот и пошли Кривошеины. Когда императрица Катька разогнала Сечь, они переселились в Заволжье. Дед мой Карп Васильевич избил попа и станового пристава, когда те решили упразднить в селе земскую школу, а вместо нее завести церковноприходскую. Я понятия не имею, какая между ними разница, но помер дед на каторге.

Батя участвовал во всех революциях, в гражданскую воевал у Чапаева ротным.

Последнюю войну он воевал стариком, лишь первые два года. Отступал по Украине, вывел свой батальон из окружения под Харьковом. Потом по причине ранения и нестроевого возраста его перевели в тыл, в Зауралье военкомом. Там, в станице, он, солдат и крестьянин, учил меня ездить верхом, обхаживать и запрягать лошадей, пахать, косить, стрелять из винтовки и пистолета, копать землю, рубить тальник осоавиахимовской саблей; заставлял и кур резать и свинью колоть плоским штыком под правую лопатку, чтоб крови не боялся. «В жизни пригодится, сынок!»

...Незадолго до его кончины ездили мы с ним на его родину в Мироновку, к двоюродному брату Егору Степановичу Кривошеину.

Когда сидели в избе, выпивали по случаю встречи, примчался внучонок деда Егора:

— Деда, а в Овечьей балке, где плотину ставят, шкилет из глины вырыли!

— В Овечьей? — переспросил батя. Старики переглянулись.— А ну пошли посмотрим...

Толпа рабочих и любопытствующих расступилась, давая дорогу двум грузно шагавшим дедам. Серые трухлявые кости были сложены кучей. Отец потыкал палкой череп — тот перевернулся, показал дыру над правым виском.

— Моя! — Батя победно поглядел на Егора Степановича.— А ты, значит, промазал, руки тряслись?

— Почем ты знаешь, что твоя?! — оскорбленно задрал бороду тот.

— Ну, разве забыл? Он ведь в село возвращался. Я по правую сторону дороги лежал, ты —по левую...— И батя для убедительности вычертил палкой на глине схему.

— Это чьи же останки, старики? — строго спросил моложавый прораб в щегольском комбинезоне.

— Есаула,— сощурившись, объяснил батя.— В первую революцию уральские казачки в нашем селе квартировали — так это ихний есаул. Ты уж милицию не тревожь, сынок. Замнем за давностью лет.

...Как это было славно: лежать в ночной степи за селом с отцовской берданкой, поджидать есаула — как за идею, так и за то, что он, сволочь, мужиков нагайкой порол, девок на гумно возил! Или лететь на коне, чувствуя тяжесть шашки в руке, примериваться: рубануть вон того, бородатого, от погона наискось!

А я последний раз дрался лет восемнадцать назад, да и то не до победы, а до звонка на урок. И на коне не скакал с зауральских времен. Всей моей удали — обгоны на мотоцикле при встречном транспорте.

Не боюсь я, батя, ни крови, ни смерти. Только не пригодилась мне твоя простая наука. Теперь революция продолжается другими средствами, открытия и изобретения — оружие посерьезней сабель. И боюсь я, батя, ошибиться...

Врешь! Врешь! Снова красуешься перед собой, пижон, подонок! Неистребимое стремление к пижонству... Ах, как красиво написано: «Боюсь я, батя, ошибиться» и про революцию. Не смей об этом!

Ты намеревался синтезировать в людях (да, в людях, а не в искусственных дублях!) благородство души, которого в тебе нет; красоту, которой у тебя нет; решительность поступков, которой ты не обладаешь; самоотверженность, о которой ты понятия не имеешь...

Ты из хорошей семьи; твои предки умели и работать и отстаивать правое дело, бить гадов: когда кулаком, когда из берданки,

спуску не давали... А что есть ты? Выступал ли ты за справедливость? Ах, не было подходящего случая? А не избегал ли ты — умненько и осторожно — таких случаев? Что, неохота вспоминать?

То-то и есть, что я всего боюсь: жизни, людей. Даже Лену я люблю как-то трусливо: боюсь приблизить — боюсь и потерять. И, боже упаси, чтобы не было детей. Дети усложняют жизнь...

А то, что я таюсь со своим открытием,— разве не из боязни, что я не смогу отстоять правильное развитие его? И ведь верно: не смогу... Я слабак. Из породы тех умных слабаков, которым лучше не быть умными. Потому что ум им дан только для того, чтобы понимать свое падение и бессилие...»

Аспирант Кривошеин закурил, стал нервно ходить по комнате. Читать эти записи было тяжело — ведь написано было и о нем. Он вздохнул, вернулся к столу.

«...Спокойно, Кривошеин. Спокойно. Так можно договориться до истерических поступков. А работа все-таки на тебе... Не все еще потеряно, не такой уж ты сукин сын, что следует немедленно удавиться.

Могу даже представить себя в выгодном свете. Я не использовал это открытие для личного успеха и не буду использовать. Я работал на полную силу, не волынил. Теперь я разбираюсь в сути дела. Так что я не хуже других. Ошибся. А кто не ошибался?

Да, но в этой работе сравнения по относительной шкале — хуже или лучше я других — неприменимы. Другие занимаются себе исследованием кристаллов, разработкой машин; они знают свое дело туго — и этого достаточно. Вздорные черты их характера отравляют жизнь только им самим, сотрудникам по лаборатории и ближайшим родственникам. А у меня не та специфика. Для того чтобы делать Человека, мало знать, мало иметь исследовательскую хватку, умело «рукоятки вертеть» — надо самому быть Человеком; не лучше или хуже других, а в абсолютном смысле: рыцарем без страха и упрека. Я бы и не прочь, только не знаю как. Нет у меня такой информации...

Выходит, мне эта работа не по зубам?»

«8 октября. В нашем парке желто-красная осень, а я не могу работать. Полно сухой листвы, самый пустяковый дождик поднимает на ней страшный шум, а после распространяется кофейный запах прели. А я не могу работать...

Может, ничего этого и не надо? Хорошая наследственность, качественное трудовое воспитание, гигиенические условия жизни... Пусть умные люди сами воспроизводят себя: заводят побольше детей с хорошей наследственностью. Прокормить смогут, заработка хватит — они ведь умные люди... И воспитать смогут — они же умные люди... И не потребуется никаких машин...

Сегодня звонил Гарри Хилобок. В институте организуется по-

стоянно действующая выставка «Успехи советской системологии», и, понятное дело, он ее попечитель.

— Не дадите ли что-нибудь, Валентин Васильевич?

— Нет.

— Что ж вы так? Вот отдел Ипполита Иларионовича Вольтампернова три экспоната выставляет, другие отделы и лаборатории многое дают. Надо бы хоть один экспонат по вашей теме, неужели до сих пор ничего нет?

— Нет. Как дела с системой биодатчиков, Гарри Харитонович?

— Э, Валентин Васильевич, что значит одна система в сравнении со всей системологией, хе-хе! Будем делать, а как же, но пока, сами понимаете, все бросили на борьбу за оформление выставочных стендов, макетов, демонстрационных табло, трафаретные надписи на трех языках составляем, а как же, голова кругом, и лаборатория перегружена и мастерские, но если у вас, Валентин Васильевич, появится что-то для выставки, устроим, это у нас зеленой улицей идет...

Я чуть было не сказал ему, что именно система биодатчиков нужна мне, чтобы осчастливить выставку своим экспонатом (пусть делает, а там посмотрим), но сдержался. Все бы тебе ловчить, Кривошеин!

Разбрелись мои экспонаты по белу свету. Один грызет гранит биологической науки в Москве, другие — травку и капусту на огородах. Один и вовсе забежал неизвестно куда...

Выставить, что ли, «машину-матку» для потрясения академической общественности? Производить для демонстрации двухголовых и шестилапых кролей — по две штуки в час... То-то будет шуму.

Нет, брат. Это устройство делает человека. И от этого никуда не денешься».

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Любое действие обязывает. Бездействие не обязывает ни к чему.

К. Прутков-инженер, мысль № 55

«11 октября. Повторяю опыты по управляемому синтезу кроликов — просто так, чтобы механизмы не простаивали. Снимаю все на пленку. Будет кинодокумент. Граждане, предъявите кинодокументы!»

«13 октября. Изобрел способ, как надежно и быстро уничтожить биологическую информацию в «машине-матке». Можно назвать его «электрический ластик»; подаю на входы кристаллоблока и ЦВМ-12 напряжение от генератора шумов, и через 15—20 минут машина

забывает все о кроликах. Будь у меня этот способ раньше вместо команды «Нет!», я каждый раз уничтожал бы дубля Адама необратимо и основательно.

Не знаю только, было ли бы это ему приятнее...

Время осыпает листья, холодит небо. А дело стоит. Не могу я снова браться за серьезные опыты, духу не хватает. Растерялся я...

Ну, вот что, Кривошеин! Можно считать доказанным, что ты не бог и не пуп Земли. А раз так, то следует искать помощи у других. Надо идти к Аркадию Аркадьевичу...»

— Эге! — нахмурился аспирант Кривошеин.

«...Следует поступать в установленном порядке. Он — мой начальник. Впрочем, дело не в этом: он — умный, знающий и влиятельный человек. И великолепный методист, умеет четко формулировать любые задачи. А «сформулированная задача,— как написано в его «Введении в системологию»,— есть записанное в неявной форме решение данной задачи». Этого мне как раз не хватает. И тему мою он поддержал на ученом совете. Правда, он не в меру величествен и честолюбив, но столкуемся. Ведь он умный человек, поймет, что в этой работе слава — не главное.

Э, погоди! Благие намерения само собой, а разумная осторожность не помешает. Выдавать Азарову за здорово живешь святая святых открытия — что «машина-матка» может синтезировать живые системы — нельзя. Нужно начать с чего-нибудь попроще. «А там посмотрим», как он сам любит выражаться.

Нужно синтезировать в машине электронные схемы. Это то, на что нападал старик Вольтампернов, и это, кстати сказать, моя официальная тема на ближайшие полтора года.

«Надо, Валентин Васильевич, надо!»

Прикинем схему опыта. Вводим в жидкость шесть проводов: два — питание, два — контрольный осциллограф и два — генератор импульсов. Задаю машине через «шапку Мономаха» параметры типовых схем, примерные размеры. Здесь я точно знаю, что «то», что «не то» — дело знакомое».

«15 октября. В баке возникают закругленные квадратики коричневого цвета, похожие на гетинакс. На них оседают металлические линии проводников схемы, прослойки изоляторов, накладываются друг на друга пленочки конденсаторов, рядом пристраиваются полоски сопротивлений, пятна диодов и транзисторов... Это похоже на пленочную технологию, которая сейчас развивается в микроэлектронике, только без вакуума, электрических разрядов и прочей пиротехники.

И до чего же приятно после всех головоломных кошмаров щелкать переключателями, подстраивать рукоятками резкость и яркость луча на экране осциллографа, отсчитывать по меткам микросекундные импульсы! Все точно, ясно, доступно. Будто домой

вернулся из дальних краев... Черт меня занес в эти края, в темные джунгли под названием «человек» без проводника и компаса. Но кто проводник? И что компас?

Ладно. Параметры схем соответствуют, тема 154 наполовину выполнена; то-то Ипполит Иларионович будет рад!

Иду к Азарову. Покажу образцы, объясню кое-что и буду намекать на дальнейшие перспективы. Приду завтра и скажу:

— Аркадий Аркадьевич, я пришел к вам как умный человек к умному человеку...»

«16 октября. Сходил... разлетелся на распростертые объятия!

Итак, утром я основательно продумал разговор, прихватил образцы и направился к старому корпусу. Осеннее солнце озаряло стены с архитектурными излишествами, гранитные ступени и меня, который поднимался по ним.

Подавление моей психики началось от дверей. О эти государственные трехметровые двери из резного дуба, с витыми аршинными ручками и тугими пневмопружинами! Они будто специально созданы для саженных мордатых молодцов-бюрократов с ручищами, широкими, как сковородки на дюжину яиц: молодцы открывают двери легким рывком и идут ворочать большими нужными делами. Проникнув сквозь двери, я стал думать, что разговор с Азаровым не следует начинать с шокирующей фразы («Я пришел к вам как умный к умному...»), а надо блюсти субординацию: он академик, я инженер.

А когда поднимался по мраморным лестничным маршам в коврах, пришпиленных никелированными штангами, с перилами необъятной ширины, в моей душе возникла почтительная готовность согласиться со всем, что академик скажет и порекомендует... Словом, если к гранитной лестнице упругой походкой подходил Кривошеин-первооткрыватель, то в директорскую приемную вошел, шаркая ногами, Кривошеин-проситель: с сутулой спиной и виноватой мордой.

Секретарша Ниночка бросилась наперерез мне со стремительностью, которой позавидовал бы вратарь Лев Яшин.

— Нет-нет-нет, товарищ Кривошеин, нельзя, Аркадий Аркадьевич собирается на конгресс в Новую Зеландию, вы же знаете, как мне влетает, когда я пускаю! Никого не принимает, видите?

В приемной действительно было много сотрудников и командированных. Все они недружелюбно посмотрели на меня. Я остался ждать — без особых надежд на удачу, просто: другие ждут и я буду. Чтоб не отрываться от коллектива. Тупая ситуация.

Народ прибывал. Лица у всех были угрюмые, некрасивые. Никто ни с кем не разговаривал.

Чем больше становилось людей в приемной, тем мельче мне казалось мое дело. Мне пришло в голову, что образцы мои только

измерены, но не испытаны, что Азаров, чего доброго, станет доказывать, что технологические работы по электронике не наш профиль. «И вообще, чего я лезу? До конца темы еще год с лишним. Чтобы опять Хилобок пускал пикантные изречения?»

Легкий на помине Хилобок с устремленным видом возник в дверях; я вовремя занял выгодную позицию и вслед за ним юркнул в кабинет.

— Аркадий Аркадьевич, мне бы...

— Нет-нет, Валентин... э-э... Васильевич,— принимая от Гарри какие-то бумаги, поморщился в мою сторону Азаров.— Не могу! Никак не могу. С визой задержка, доклад вот надо после машинистки вычитать... Обратитесь с вашим вопросом к Ипполиту Илариновичу, он будет замещать меня этот месяц, или к Гарри Харитоновичу. Не один же я на свете в конце концов!

Вот так. Человек летит в Новую Зеландию, о чем разговор! На конгресс и для ознакомления. И чего это мне пришло в голову хватать его за полу? Смешно. Работай себе, пока не потребуют отчета.

Когда-нибудь из-за этой работы будут прерывать заседания правительства... Да, но почему это должно быть когда-нибудь?

Не будут прерывать заседание, не волнуйся. Тебя будут выслушивать второстепенные чиновники, которые никогда не отважатся что-то предпринять на свою ответственность,— такие же слабаки, как и ты сам.

Слабак. Слабак, и все! Надо было поговорить, раз уж решился. Не смог. Извинился противным голосом и ушел из кабинета. Да, склонить к своей работе спешащего за океан Азарова — это не «машиной-маткой» командовать.

Но все-таки это что-то не то...»

«25 октября. А вот это, кажется, то! Наш город посетил видный специалист в области микроэлектроники, кандидат технических наук, будущий доктор тех же наук Валерий Иванов. Он звонил мне сегодня. Встреча состоится завтра в восемь часов в ресторане «Динамо». Форма одежды соответствующая. Присутствие дам не исключено.

Валерка Иванов, с которым мы коротали лекции по организации производства за игрой в «балду» и в «слова», жили в одной комнате общежития, вместе ездили на практику и на вечера в библиотечный институт! Валерка Иванов, мой бывший начальник и соавтор по двум изобретениям, спорщик и человек отважных идей! Валерка Иванов, с которым мы пять лет работали душа в душу! Я рад.

«Слушай, Валерка,— скажу я ему,— бросай твою микроэлектронику, перебирайся обратно. Тут такое дело!»

Пусть даже заведует лабораторией, раз кандидат. Я согласен. Он работать может.

Ну, поглядим, каким он стал за истекший год».

«26 октября, ночь. Ничто в жизни не проходит даром.

С первого взгляда на Иванова я понял, что прежнего созвучия душ не будет. И дело не в годе разлуки. Между нами вкралась та Гаррина подлость. Ни он, ни я в ней не повинны, но мы оказались как бы по разные стороны. Он, гордо подавший в отставку, хлопнувший дверью, как-то больше прав, чем я, который остался и не разделил с ним эту горькую гордость. Поэтому весь вечер между нами была тонкая, но непреодолимая неловкость и горечь, что не смогли мы тогда эту подлость одолеть. Мы теперь как-то меньше верили друг в друга и друг другу... Хорошо, что я взял с собой Лену, хоть она украсила нашу встречу.

Впрочем, разговор был интересный. Он заслуживает того, чтобы его описать.

Встреча началась в 20.00. Передо мной сидел петербуржец. Импортный пиджак в мелкую серую клетку и без отворотов, белая накрахмаленная рубашка, шестигранные очки на прямом носу, корректный ершик черных волос. Даже втянутые щеки вызвали у меня воспоминание о блокаде.

Лена тоже не подкачала. Когда проходили по залу, на нее все оборачивались. Один я пришел вахлак вахлаком: клетчатая рубаха и не очень измятые серые брюки; два дубля ощутимо уменьшили мой гардероб.

В ожидании, пока принесут заказ, мы с удовольствием рассматривали друг друга.

— Ну,— нарушил молчание петербуржец Иванов,— хрюкни что-нибудь.

— Я смотрю, морда у тебя какая-то асимметричная...

— Асимметрия — признак современности. Это от зубов,— он озабоченно потрогал щеку,— продуло в поезде.

— Давай вдарю — пройдет.

— Спасибо. Я лучше коньячком...

Обычная наша разминочка перед хорошим разговором.

Принесли коньяк и вино для дамы. Мы выпили, утолили первый аппетит заливной осетриной и снова с ожиданием уставились друг на друга. Окрест нас пировали. Корпусный мужчина за сдвинутыми столами произносил тост «за науку-маму» (видно, смачивали чью-то диссертацию). Подвыпивший одинокий человек за соседним столиком грозил пальцем графинчику с водкой, бормотал:

— Я молчу... Я молчу! — Его распирала какая-то тайна.

— Слушай, Валька!..

— Слушай, Валерка!..

Мы озадаченно посмотрели друг на друга.

— Ну, давай ты первый,— кивнул я.

— Слушай, Валька,— у Иванова завлекательно сверкнули

глаза за очками,— бросай-ка ты этот свой... эту свою системологию, перебирайся к нам. Перевод я тебе устрою. Мы сейчас такое дело разворачиваем! Микроэлектронный комплекс: машина, делающая машины,— чувствуешь?

— Твердые схемы?

— А, что твердые схемы — поделки, пройденный этап! Электронный и плазменный лучи плюс электрофотография плюс катодное напыление пленок плюс... Словом, идея такая: схема электронной машины развертывается пучками электронов и ионов, как изображение на экране телевизора,— и все. Она готова, может работать. Плотность элементов, как в мозгу человека, чувствуешь?

— И это уже есть?

— Ну, видишь ли...— Он поднял брови.— Если бы было, зачем бы я тебя звал? Сделаем в установленные сроки.

(Ну, конечно же, мне нужно бросить системологию и идти за ним! Не ему же за мной, у меня на поводу... Разумеется! Так всегда было.)

— А у американцев?

— Они тоже стараются. Вопрос в том, кто раньше. Работаем вовсю, я уже двенадцать заявок подал — чувствуешь?

— Ну, а цель?

— Очень простая: довести производство вычислительных машин до массовости и дешевизны газет. Знаешь, какой шифр я дал теме? «Поэма». И это действительно технологическая поэма! — От выпивки у Валерки залоснился нос. Он старался вовсю и, наверное, не сомневался в успехе: меня всегда было нетрудно уговорить.— Завод вычислительных машин размерами чуть побольше телевизора, представляешь? Машина-завод! Она получает по телетайпу технические задания на новые машины, пересчитывает ТЗ в схемы, кодирует расчет электрическими импульсами, а они гоняют лучи по экрану, печатают схему. Двадцать секунд — и машина готова. Это листок, на котором вмещается так же электронная схема, что сейчас занимает целый зал, представляешь? Листок в конверте посылают заказчику, он вставляет его в исполнительное устройство... Ну, там в командный пульт химзавода, в систему управления городскими светофорами, в автомобиль, куда угодно — и все, что медленно, неуклюже, с ошибками выполнял человек, теперь с электронной точностью делает умный микроэлектронный листик! Чувствуешь?

Лена смотрела на Валерку с восхищением. Действительно, картина вырисовывалась настолько роскошная, что я не сразу понял: речь идет о тех же пленочных схемах, которые я недавно осуществил в баке «машины-матки». Правда, они попроще, но в принципе можно делать и «умные» листики-машины.

— А почему вакуум да разные лучи? Почему не химия.. наверное, тоже можно?

— Химия... Лично я с тех пор, как доцент Варфоломеев устраивал нам «варфоломеевские зачеты», химию не очень люблю. (Это было сказано для Лены. Она оценила и рассмеялась.) Но если у тебя есть идеи по химической микроэлектронике — давай. Я — за. Будешь вести это направление. В конце концов неважно, как сделать, главное — сделать. А тогда... тогда можно развернуть такое! — Он мечтательно откинулся на стуле.— Суди сам, зачем машинезаводу давать задания на схемы? Это лишняя работа. Ей нужно сообщать просто информацию о проблемах. Ведь теперь в производстве, в быту, на транспорте, в обороне — всюду работают машины. Зачем превращать их импульсы в человеческую речь, если потом ее снова придется превращать в импульсы! Представляешь: машины-заводы получают по радио информацию от дочерних машин из сферы производства, планирования, сбыта продукции, перевозок... отовсюду — даже о погоде, видах на урожай, о потребностях людей. Сами перерабатывают все в нужные схемы и рассылают...

— Микроэлектронные рекомендации?

— Директивы, милый! Какие там рекомендации: математически обоснованные электронные схемы управления, так сказать, рефлексы производства. С математикой не спорят!

Мы выпили.

— Ну, Валера,— сказал я,— если ты сделаешь эту идею, то прославишься так, что твои портреты будут печатать даже на туалетной бумаге!

— И твои тоже,— великодушно добавил он.— Вместе будем красоваться.

— Но, Валерий,— сказала Лена,— ведь получается, что в вашем комплексе нет места человеку. Как же так?

— Лена, вы же инженер...— снисходительно шевельнул бровями Иванов.— Давайте смотреть на этот предмет, на человека то есть, по-инженерному: зачем ему там место? Может человек воспринимать радиосигналы, ультра- и инфразвуки, тепловые, ультрафиолетовые и рентгеновы лучи, радиацию? Выдерживает он вакуум, давление газов в сотни атмосфер, ядовитую среду, перегрузки в сотни земных тяготений, резонансные вибрации, термоудары от минус ста двадцати по Цельсию до плюс ста двадцати с часовой выдержкой при каждой температуре, холод жидкого гелия? Может он летать со скоростью снаряда, погружаться на дно океана или в расплавленный металл? Может он за доли секунды разобраться во взаимодействии десяти — хотя бы десяти! — факторов? Нет.

— Он все это может с помощью машин,— отстаивала человечество Ленка.

— Да, но машины-то это могут и без его помощи! Вот и остается ему в наш суровый атомно-электронный век только кнопки нажимать. Но как раз эти-то операции автоматизировать проще простого.

Вы же знаете: в современной технике человек — самое ненадежное звено. Недаром всюду ставят предохранители, блокировки и прочую «защиту от дурака».

— Я молчу! — угрожающе возгласил пьяный.

— Но ведь человека, наверное, можно усовершенствовать,— заикнулся я.

— Усовершенствовать? Меня душит смех! Да это все равно, что усовершенствовать паровозы — вместо того чтобы заменять их тепловозами или электровозами. Порочен сам физический принцип, заложенный в человеке: ионные реакции в растворах, процесс обмена веществ. Ты оглядись,— он широко повел рукой по залу,— все силы отнимает у людей проклятый процесс!

Я огляделся. За сдвинутыми столиками пирующие размашисто целовали новоиспеченного кандидата: лысого юношу, изможденного трудами и волнениями. Рядом сияла жена. По соседству с ними чинно питались двенадцать интуристов. Дым и галдеж стояли над столиками. На эстраде саксофонист, непристойно скособочившись и выпятив живот, вел соло с вариациями; под сурдину синкопировали трубы, неистовствовал ударник — оркестр исполнял стилизованную под твист «Из-за острова на стрежень...». Возле эстрады, не сходя с места, волновались всеми частями тела пары. «Я молчу!» — возглашал наш сосед, уставясь в пустой графин.

— Собственно, единственное достоинство человека — универсальность,— снисходительно заметил Иванов.— Он хоть плохо, но многое может делать. Но универсальность — продукт сложности, а сложность — фактор количественный. Научимся делать электронно-ионными пучками машины сложностью в десятки миллиардов элементов — и все. Песенка людей спета.

— Как это спета? — тревожно спросила Лена.

— Никаких ужасов не произойдет, не надо пугаться. Просто тихо, благопристойно и незаметно наступит ситуация, когда машины, уважая память своих создателей, будут благосклонны и ко всем прочим. Будут удовлетворять их нехитрые запросы по части обмена веществ. Большинство людей это, наверно, устроит — они в своей неистребимой самовлюбленности даже будут считать, что машины служат им. А для машин это будет что-то вроде второстепенного безусловного рефлекса, наследственной привычки. А возможно, и не останется у машин таких привычек: ведь основа машины — рациональность... Зачем им это надо?

— Между прочим, рациональные машины сейчас служат нам! — горячо перебила его Лена.— Они удовлетворяют наши потребности, разве нет?

Я помалкивал. Валерка засмеялся.

— А это как смотреть, Леночка! У машин не меньше оснований считать, что люди удовлетворяют их потребности. Если бы я был,

скажем, электронной машиной «Урал-4», то не имел бы к людям никаких претензий: живешь в светлой комнате с кондиционированием, постоянным и переменным током — эквивалент горячей и холодной воды, так сказать. Да еще прислуга в белых халатах суетится вокруг каждого твоего каприза, в газетах о тебе пишут. А работа не пыльная: переключай себе токи, пропускай импульсы... Чем не жизнь!

— Я молчу! — в последний раз произнес сосед, потом распрямился и заголосил на весь зал что-то похабное.

К нему тотчас бросились метрдотель и дружинники.

— Ну и что, если я пьяный! — скандалил дядя, когда его под руки волокли к выходу.— Я на свои пью, на заработанные. Воровать — тоже работа...

— Вот он, предмет ваших забот, во всей красе! — скривил тонкие губы Валерка.— Достойный потомок того тунеядца, что кричал на подпитии: «Человек — это звучит гордо!» Уже не звучит... Ну так как, Валька? — повернулся он ко мне.— Перебирайся, включайся в тему, тогда и от тебя в будущем что-то останется. Разумные машины-заводы, деятельные и всесильные электронные мозги — и в них твои идеи, твое творчество, лучшее, что в нас есть... чувствуешь? Человек-творец — это пока еще звучит гордо. И это лучшее останется и будет развиваться даже тогда, когда малограмотная баба Природа окончательно опростоволосится со своим «хомо сапиенс»!

— Но ведь это страшно — что вы говорите! — возмущенно сказала Ленка.— Вы... как робот! Вы просто не любите людей!

Иванов взглянул на нее мягко и покровительственно:

— Мы ведь не спорим, Лена. Я просто объясняю вам, что к чему.

Это уже было слишком. Ленка психанула и замолчала. Я тоже ничего не ответил. Молчание становилось неловким. Я позвал официанта, расплатился. Мы вышли на проспект Маркса, на самый «днепровский Бродвей». Гуляющие дефилировали.

Вдруг Валерка больно схватил меня за руку.

— Валька, слышишь? Видишь?!

Мимо нас прошли парень с девицей, оба в толстых свитерах и с одинаковыми прическами. У парня на шее джазил транзисторый приемник в желтой перламутровой коробочке, перечерченной силуэтом ракеты. Чистые звуки саксофона и отчетливые синкопы труб самоутверждающе разносились вокруг... Я узнал бы звучание этого транзистора среди сотен марок приемников и радиол, как мать узнает голос своего ребенка в галдеже детсадика. «Малошумящий широкополосный усилитель», который стоит на нем,— наше с Валеркой изобретение.

— Значит, в серию пустили,— заключил я.— Можно требовать

с завода авторские... Эй, юноша, сколько отвалил за транзистор?

— Пятьдесят долларов,— гордо сообщил чувак.

— Вот видишь: пятьдесят долларов, они же сорок пять тугриков. Явная наценка за качество звучания. Радоваться должен!

— Радоваться?! Радуйся сам! Вот ты говоришь: страшное... (собственно, ему это говорила Лена, а не я). Пусть лучше страшное, чем такое!

М-да... Когда-то мы вникали в квантовую физику, поражались непостижимой двойственности «волны-частицы» электрона; изучали теорию и технологию полупроводников, осваивали тончайшие приемы лабораторной техники. Полупроводниковые приборы тогда были будущим электроники: о них писали популяризаторы и мечтали инженеры. Многое было в этих мечтаниях — одно сбылось, другое отброшено техникой. Но вот мечты о том, что транзисторы украсят туалеты прыщеватых пижончиков с проспекта, не было.

А как мы с Валеркой бились над проблемой шумов! Дело в том, что электроны распространяются в полупроводниковом кристалле, как частицы краски в воде — то же хаотичное бестолковое «броуново движение». В наушниках или в динамике из-за этого слышится шум, похожий одновременно на шипение патефонной иглы и на отдаленный шорох морского прибоя. Словом, там целая история... У меня это было первое изобретение — и какой торжественной музыкой звучала для меня официальная фраза заявления в Комитет по делам изобретений СССР: «Прилагая при сем нижеперечисленные документы, просим выдать нам авторское свидетельство на изобретение под названием...»!

Ну хорошо: кто-то там переживал радость познания, горел в творческом поиске, испытывал свою инженерную удачу, а какое дело до этого бедному чуваку? Ему-то от этих радостей ничего не перепало. Вот и остается: отвали кровные тугрики, нажми кнопку, поверни рукоятку — и ходи как дурак с помытой шеей...

Мы проводили Валерку до гостиницы.

— Так как? — спросил он, подавая мне руку.

— Подумать надо, Валер.

— Подумать?! — Ленка гневно смотрела на меня.— Ты еще будешь думать?!

Все-таки невыдержанный она человек. Нет бы промолчать...

Самое занятное, что Валерка даже не спросил, чем я занимаюсь,— настолько очевидно для него, что в Институте системологии ничего хорошего быть не может и нужно перебираться к нему.

Что ж, стоит подумать...»

«27 октября. Звонил Иванов:

— Надумал?

— Нет еще.

— Ах эти женщины! Я тебя, конечно, понимаю... Решайся,

Валька, вместе работать будем. Я тебе завтра перед отъездом позвоню, лады?

...Если бы тогда, в марте, когда мой комплекс только начал проектировать и строить себя, я остановил опыт и стал анализировать возможные пути развития — все повернулось бы в направлении синтеза микроэлектронных блоков. Потому что это было то, что я понимал. Сейчас я был бы уже впереди Валерки. Работа покатилась бы по другим рельсам — и ни мне, никому другому и в голову не пришло бы, что здесь упущен способ синтеза живых организмов.

Но он не упущен, этот способ...

Как приятно было усилием инженерной мысли строить в баке эти пластиночки с микросхемами: триггерами, инверторами, дешифраторами! Эта его «Поэма», если к ней присовокупить мою «машину-матку»,— дело верное. Собственно, «машина-матка» уже есть его «машина-завод». И в этом деле я на высоте. Еще не поздно повернуть...

И такие работы действительно могут привести к созданию независимо от людей мира (или общества) машин; не роботов, а именно взаимно дополняющих друг друга разнообразных машин. Может быть, это в самом деле естественное продолжение эволюции? Если глядеть со стороны, ничего ужасного: ну, были на Земле белковые (ионно-химические) системы — на их информационной основе развились электронно-кристаллические системы. Эволюция продолжается...

Да, но если глядеть со стороны, то и при мировой термоядерной катастрофе ничего страшного не произойдет. Ну, что-то там такое вспыхнуло, возрос радиоактивный фон атмосферы. Но вращается Земля вокруг оси? Вращается. Вокруг Солнца? Вращается. Значит, устойчивость солнечной системы не нарушилась, все в порядке.

«Вы не любите людей!» — сказала Лена Иванову. Что есть, то есть: хилобоковская вонь, уход из института, вчерашняя встреча с нашим изобретением — все это ступеньки на лестнице человеконенавистничества. Мало ли их, таких ступенек, в жизни каждого деятельного человека! Сопоставишь свой житейский опыт с инженерным и действительно можешь прийти к убеждению, что проще развивать машины, в которых все рационально и ясно.

Ну хорошо, а я-то люблю людей? Именно от этого зависит, чем мне дальше заниматься.

Никогда над этим не задумывался... Ну, я люблю себя, как это ни ужасно. Любил отца. Люблю (допустим) Лену. Если когда-нибудь обзаведусь детьми, наверно, буду любить и их. Валерку не то что люблю, но уважаю. Но чтобы всех людей, которые ходят по улице, попадаются мне на работе, в присутственных местах, о которых читаешь в газетах и слышишь разговоры... что мне до них? Что им до меня? Мне нравятся красивые женщины, умные веселые муж-

чины, но я презираю дураков и пьяниц, терпеть не могу автоинспекторов, холоден к старикам. А в утренней транспортной давке на меня иногда находят приступы ТТБ — трамвайно-троллейбусного бешенства, когда хочется всех бить по головам и скорее выбраться наружу... Словом, к людям я испытываю самые разнообразные чувства.

Ага, в этом что-то есть. К людям мы испытываем чувства уважения, любви, презрения, стыда, страха, гордости, симпатии, унижения и так далее. А к машинам? Нет, они тоже вызывают эмоции: с хорошей машиной приятно работать, если попусту испортили машину или прибор — жалко; а уж как, бывает, изматеришься, пока найдешь неисправность... Но это совсем другое. Это, собственно, чувства не к машинам, а к людям, которые их делали и использовали. Или могут использовать. Даже боязнь атомных бомб — лишь отражение нашего страха перед людьми, которые их сделали и намереваются пустить в ход. И намерения людей строить машины, которые оттеснят человека на второй план, тоже вызывают страх.

Я люблю жизнь, люблю чувствовать все — это уж точно. Ну, а какая же жизнь без людей? Смешно... Конечно же, надо гипотетической «машине-заводу» Иванова противопоставить «машину-матку»!

Ясно, я выбираю людей!

А умный и сильный парень Валера еще слабее меня. Не он выбирает работу, а работа выбирает его...

(Ну, а по-честному, Кривошеин? Совсем-совсем по-честному: если бы ты не имел сейчас на руках способа делать человека, разве не исповедовал бы ты взгляды в пользу электронных машин? Каждый из нас, специалистов, стремится подвести под свою работу идейную базу — не признаваться же, в самом деле, что занимаешься ею лишь потому, что ничего другого не умеешь делать! Для творческого работника такое признание равносильно банкротству.

Кстати, а умею ли я делать то, за что берусь?..)

Ну хватит! Конечно, это очень интеллигентно и мило: оплевать себя, плакаться над своим несовершенством, мучиться раздвоенностью мечтаний и поступков... Но где он, тот рыцарь духа с высшим образованием и стажем работы по требуемой специальности, которому я могу спокойно сдать тему? Иванов? Нет. Азаров? Не удалось установить. А работа стоит.

Поэтому, какой я ни есть, пусть мой палец пока полежит на этой кнопке».

«28 октября. Звонок в лабораторию.

— Ну, Валя, решился? (Как тонко поставлен вопрос!)

— Нет, Валер.

— Жаль. Мы бы с тобой славно поработали. Впрочем, я тебя понимаю. Привет ей. Очень милая женщина, рад за тебя.

— Спасибо. Передам.
— Ну, пока. Будешь в Ленинграде, навести.
— Непременно! Счастливо долететь, Валера.

Ни хрена ты, Валерка, не понимаешь... Ладно. Все! Я кажется, почувствовал злость к работе. Спасибо тебе, Валера, хоть за это!»

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Никогда не знаешь, что хорошо, что плохо. Так стенография возникла из дурного почерка, теория надежности — из поломок и отказов машин.

К. Прутков-инженер, мысль № 100

«1 ноября. Итак, я, сам того не желая, доказал, что управляя синтезом, можно на основе информации о... скажем, заурядном человеке создать психопата и раба. Получилось так потому, что при введении дополнительной информации было совершено грубое насилие (ох, не укладывается этот «результат» в академические фразы). Теперь мне как минимум необходимо доказать противоположную возможность.

Положительное в опыте с дублем Адамом то, что он оказался жив и телесно здоров. И внешность получилась такая, как я задумал. И еще: теперь у меня есть опыт по преобразованиям форм человеческого тела... Отрицательное: «удобный» способ многократных преобразований и растворений категорически отпадает; все надо сделать за один раз. И способ корректировки «то — не то» надо применять лишь в тех случаях, когда я твердо знаю, что «то», и могу контролировать изменения, попросту говоря, исправлять только мелкие внешние изъяны.

Словом, и в третий раз приходится начинать на голом месте...

Я хочу создать улучшенный вариант себя: более красивый и более умный. Единственно возможный способ — записать в машину вместе со своей информацией и свои пожелания. Она может их воспринять, может не воспринять; в крайнем случае получится такой же Кривошеин — и все. Лишь бы не хуже.

С внешностью более-менее ясно: надену «шапку Мономаха» и буду до галлюцинаций зримо представлять себя стройным, без дефектов физиономии (долой веснушки, рубец над бровью, исправить нос, уменьшить челюсть и т. д.) и тела (убрать жир, срастить коленную связку). И волосы чтоб были потемнее...

А вот усилить умственные способности... Как? Просто пожелать, чтобы мой новый двойник был умнее меня? «Машина-матка» оставит это без внимания, она воспринимает только конструктивную информацию... Надо подумать».

«2 ноября. Есть идея. Примитивная, как лапоть, но идея. Я не одинаково умен в разное время дня. После обеда, как известно, тупеешь — даже есть какое-то биологическое обоснование (кровь отливает от головы). Следовательно, информацию о себе записывать в машину только натощак. И не накуриваться до обалдения.

И еще одно качество своего мышления стоит учесть: чем ближе к ночи, трезвые мысли и рассуждения вытесняются у меня мечтами, игрой воображения и чувств. Это тоже ни к чему, мечтательность уже подвела меня под монастырь. Следовательно, как вечер — долой из камеры. Пусть мой новый дубль будет трезв, смышлен и уравновешен!»

«17 ноября. Третья неделя пошла, как я натаскиваю «машину-матку» на усовершенствование себя. Так и подмывает отдать через «шапку Мономаха» приказ «Можно!», поглядеть, что получится. Но нет: там человек! Пусть машина впитывает все мои мысли, представления, пожелания. Пусть поймет, чего я хочу».

«25 ноября, вечер. Снег сыплет на белые трубки фонарей, сыплет и сыплет, будто норму перевыполняет... Вот опять мимо нашего дома идет эта девочка на костылях — возвращается из школы. Наверное, у нее был полиомиелит, отнялись ноги.

Каждый раз, когда я вижу ее — с большим ранцем за острыми плечами, как она неумело загребает костылями, вкривь и вкось виснет между ними,— мне стыдно. Стыдно, что сам я здоров, хоть об дорогу бей; стыдно, что я, умный и знающий человек, ничем не могу ей помочь. Стыдно от ощущения какой-то огромной бессмысленности, существующей в жизни.

Дети не должны ходить на костылях. Чего стоит вся наука и техника на свете, если дети ходят на костылях!

Неужели я и сейчас делаю что-то не то? Не то, что нужно людям? Ведь девочке этот мой способ никак не поможет.

...Скоро месяц, как я, предварительно составив программу, о чем думать, вхожу в информационную камеру, укрепляю на теле датчик, надеваю «шапку Мономаха», думаю, разговариваю вслух. Иногда меня охватывают сомнения: а вдруг в «машине-матке» снова что-то получается не так? Нет контроля, черт побери! И я трушу; так трушу, что боюсь, как бы это не отразилось на характере будущего дубля...»

Следующая запись в дневнике была сделана карандашом.

«4 декабря. Ну вот... По идее, мне следует сейчас ликовать: получилось. Но нечем, нет ни сил, ни мыслей, ни эмоций. Устал. Ох, как я устал! Лень даже поискать свою авторучку.

Машина в основном учла мои пожелания о внешности. Кое-что я подправил в процессе синтеза. Никакой опыт не пропадает: когда дубль возникал, мне не требовалось прикидывать, примеряться — наметанный глаз сразу отмечал «не то» в его строении и контролировал, как машина исправляет эти «не то».

К баку я подставил трап, помог ему выбраться. Он стоял передо мной: голый, стройный, мускулистый, красивый, темноволосый — чем-то похожий и уже непохожий на меня. Около его ступней растекались лужи жидкости.

— Ну как?— Голос у меня почему-то был сиплый.

— Все в порядке.— Он улыбнулся.

А потом... потом у меня тряслись губы, тряслось лицо, ходили ходуном руки. Я даже не мог закурить. Он зажег мне сигарету, налил полмензурки спирта, приговаривал: «Ну-ну... все в порядке, чего там»,— словом, успокаивал. Смешно...

Попробую сейчас уснуть».

«5 декабря. Сегодня я проверял логические способности дубля-3.

Первый тур (игра в «балду»): 5:3 в его пользу. Второй тур (игра в «слова»): из слова «аббревиатура» за 10 минут он построил на 8 слов больше, чем я; из слова «перенапряжение» — на 12 слов больше. Третий тур — решали взапуски логические задачи из вузовского задачника по системологии Азарова, начиная от номера 223. Я дошел только до № 235 за два часа работы, он — до № 240.

Ни о каком подыгрывании с моей стороны не может быть и речи — меня разобрал азарт. Получается, что он соображает быстрее меня на 25—30 процентов — и это от ерундового кустарного нововведения! А как можно было бы усилить способности человека по натоящей науке?

Но посмотрим, как он покажет себя в работе».

«7 декабря. Работа у нас пока не интеллектуальная: прибираем в лаборатории. Это не просто из-за переплетения проводов и живых шлангов. Вытираем и отсасываем пыль, очищаем колбы, приборы и панели от налета плесени.

— Скажи, как ты относишься к биологии?

— К биологии?— Он с недоумением посмотрел на меня, вспомнил.— А, вон ты о чем! Знаешь, я его тоже не понимаю... По-моему, это у него был заскок от самоутверждения...»

— Фьи-уть! — присвистнул аспирант Кривошеин и даже подпрыгнул на стуле от неожиданности.— Вот это да!

Как же так... ведь дубль-3 тоже был продолжением «машины-матки»! Выходит... выходит, машина уже научилась строить организм человека? Ну конечно. Ведь он был первый, поэтому требовался сложный поиск. А теперь машина запомнила все пути поиска, выбрала из них те, что непосредственно ведут к цели, и построила себе программу синтеза человека.

Значит, его открытие внутренних преобразований действительно уникум. Его надо беречь... Лучше всего записать себя снова в «машину-матку»: уже не со смутной памятью поиска, а с точными

и проверенными знаниями, как преобразовывать себя. Вот только зачем?

— Э, сколько можно об этом думать! — поморщился аспирант и снова уткнулся в дневник.

«18 декабря. Не помню: эти морозы называются крещенскими или те, что бывают в январе? Северо-восточный ветер пригнал к нам такую сибирскую зиму, что паровое отопление еле справляется с холодом. В парке все бело, и в лаборатории стало светлее.

По библейскому ли графику, нет ли, но крещение нового дубля состоялось. И крестным папашей был Гарри Хилобок.

Состоялось оно так. В институт на годичную практику прибыли студенты Харьковского университета. Позавчера я зашел в общежитие молодых специалистов, куда их поселили, и позаимствовал «для психологических опытов» студбилет и направление на практику. Студенты смотрели на меня с робким почтением, в глазах их светилась готовность отдать для науки не только студбилеты, но и ботинки. Паспорт я одолжил у Паши Пукина.

Затем мы познакомили «машину-матку» с видом и содержанием этих документов: вертели перед объективами, шелестели листками... Когда паспорт, студенческий билет и бланк направления возникли в баке, я надел «шапку Мономаха» и методом «то — не то» откорректировал все записи, как требовалось.

Дубль-3 наречен Кравцом Виктором Витальевичем. Ему, стало быть, 23 года, он русский, военнообязанный, студент пятого курса физфака ХГУ, живет в Харькове, Холодная гора, 17... Очень приятно познакомиться!

Так ли уж приятно? Во время этой операции мы с новоявленным Кравцом разговаривали вполголоса и чувствовали себя фальшивомонетчиками, которых вот-вот накроют. Сказалось стойкое уважение интеллигентов к законности.

Когда на следующий день мы отправились к Хилобоку: Кравец — оформляться, а я — просить, чтобы студента направили ко мне в лабораторию,— нам тоже было не по себе. Я, помимо прочего, опасался, что Гарри пошлет его в другую лабораторию. Но обошлось. Студентов в этом году навалило больше, чем снегу. Когда Хилобок услышал, что я обеспечу студенту Кравцу материал для дипломной работы, он попытался всучить мне еще двух.

Гарри, конечно, обратил внимание на наше сходство.

— Он не родственник вам будет, Валентин Васильевич?

— Да как вам сказать... слегка. Троюродный племянник.

— А-а, ну тогда понятно! Конечно, конечно...— Лицо его выразило понимание моих родственных чувств и снисхождение к ним.— И жить он будет у вас?

— Нет, зачем? Пусть в общежитии.

— Да-да, конечно, как же...— По лицу Гарри было ясно, что и мои отношения с Леной для него не тайна.— Понимаю вас, Валентин Васильевич, ах, как я вас понимаю!

Боже, до чего противно, когда Хилобок тебя «ах, как понимает»!

— А как у вас дела с докторской диссертацией, Гарри Харитонович? — спросил я, чтобы изменить тему разговора.

— С докторской? — Хилобок посмотрел на меня очень осторожно.— Да так... а почему вы заинтересовались, Валентин Васильевич? Вы же дискретник, аналоговая электроника не по вашей части.

— Я сейчас сам не знаю, что по моей, а что не по моей части, Гарри Харитонович,— чистосердечно признался я.

— Вот как? Что ж, это похвально... Но я еще не скоро представлю диссертацию к защите: дела все отвлекают, текучка, некогда творчески подзаняться, вы сами быстрее меня защитите, Валентин Васильевич, и кандидатскую и докторскую, хе-хе...

Мы возвращались в лабораторию в скверном настроении. Какая-то сомнительная двойственность в нашей работе: в лаборатории мы боги, а когда приходится вступать в контакт с окружающей нас средой, начинаем политиковать, жулить, осторожничать. Что это — специфика исследований? Или специфика действительности? Или, может быть, специфика наших характеров?

— В конце концов не я придумал систему квитанций на человека: паспорта, прописки, анкеты, пропуска, справки,— сказал я.— Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек.

Виктор Кравец промолчал».

«20 декабря. Ну, начинается совместная работа!

— Тебе не кажется, что мы крупно дали маху с нашей клятвой?

— ?!

— Ну, не со всей клятвой, а с тем сакраментальным пунктом...

— «...использовать открытие на пользу людям с абсолютной надежностью»?

— Именно. Мы осуществили четыре способа: синтез информации о человеке в человеке, синтез кроликов с исправлениями и без, синтез электронных схем и синтез человека с исправлениями. Дает ли хоть один из них абсолютную гарантию пользы?

— М-м... нет. Но последний способ в принципе позволяет...

— ...делать «рыцарей без страха и упрека», георгиевских кавалеров и пламенных борцов?

— Скажем проще: хороших людей. Ты против?

— Мы пока еще не голосуем, а обсуждаем. И мне кажется, что идея эта основана — извини, конечно,— на очень телячьих представлениях о так называемых «хороших людях». Не существует абстрактно «хороших» и абстрактно «плохих» — каждый человек для кого-то хорош и для кого-то плох. Объективных критериев

здесь нет. Поэтому-то у настоящих рыцарей без страха и упрека было гораздо больше врагов, чем у кого-либо другого. Хорош для всех только умный и подловатый эгоист, который для достижения своих целей стремится со всеми ладить. Существует, правда, «квазиобъективный» критерий: хорош тот, кого поддерживает большинство. Согласен ли ты в основу данного способа положить такой критерий?

— М-м... дай подумать.

— Стоит ли, если я уже подумал, ведь к тому же придешь... (Нет, каков!) Этот критерий не годится: испокон веку кого только не поддерживало большинство... Есть еще два критерия: «хорошо то, что я считаю хорошим» (или тот, кого я считаю хорошим), и «хорошо то, что хорошо для меня». Мы, как и подавляющее большинство людей, профессионально заботящихся о благе человечества, руководствовались обоими критериями — только по простоте своей думали, что руководствуемся первым, да еще считали его объективным...

— Ну, это ты уж хватил через край!

— Ничуть не через край! Я не буду напоминать о злосчастном дубле Адаме, но ведь даже когда ты синтезировал меня, то заботился о том, чтоб было мне хорошо (точнее, по твоему мнению «хорошо»), и о том, чтоб было хорошо тебе самому. Разве не так? Но этот критерий субъективен, и другие люди...

— ...с помощью этого способа будут стряпать то, что хорошо по их мнению и для них?

— Именно.

— М-да... Ну допустим. Значит, надо искать еще способы синтеза и преобразования информации в человеке.

— Какие же именно?

— Не знаю.

— Я тебе скажу, какой нужен способ. Надо превратить нашу «машину-матку» в устройство по непрерывной выработке «добра» с производительностью... скажем, полтора миллиона добрых поступков в секунду. А заодно сделать ее и поглотителем дурных поступков такой же производительности. Но полтора миллиона — это капля в море: на Земле живет три с половиной миллиарда людей, и каждый совершает в день несколько десятков поступков, из которых ни один не бывает нейтральным. Да еще нужно придумать способ равномерного распределения этой — гм! — продукции по поверхности земной суши. Словом, должно получиться что-то вроде силосоуборочного боронователя на магнетронах из неотожженного кирпича...

— Издеваешься, да?

— Да. Топчу ногами нежную мечту — иначе она черт те куда нас заведет.

— Ты считаешь, что я?..

— Нет. Я не считаю, что ты работал неправильно. Странно выглядело бы, если бы *я* так считал. Но понимаешь: субъективно ты и мечтал, и замышлял, а объективно делал только то, что определяли *возможности* открытия. И в этом-то все дело! Надо соразмерять свои замыслы с возможностями своей работы. А ты вознамерился противопоставить какую-то машинишку ежедневным ста миллиардам разнообразных поступков человечества. Ведь именно они, эти сто миллиардов плюс несчитанные миллиарды прошлых поступков, определяют социальные процессы на Земле, их добро и их зло. Вся наука не в силах противостоять этим могучим процессам, этой лавине поступков и дел: во-первых, потому что научные дела составляют лишь малую часть дел в мире, а во-вторых, это ей не по специальности. Наука не вырабатывает ни добро, ни зло — она вырабатывает новую информацию и дает новые возможности. И все. А применение этой информации и использование возможностей определяют упомянутые социальные процессы и социальные силы. И мы даем людям всего лишь новые возможности по производству себе-подобных, а уж они вольны использовать эти возможности себе во вред или на благо или вовсе не использовать.

— Что же, ты считаешь, надо опубликовать открытие и умыть руки?! Ну знаешь! Если нам наплевать, что от него получится в жизни, то остальным и подавно.

— Не кипятись. Я не считаю, что надо опубликовать и наплевать. Надо работать дальше, исследовать возможности — так все делают. Но и в исследованиях, и в замыслах, и даже в мечтах по теме № 154 надо учитывать: то, что получится от этой темы в жизни, зависит прежде всего от самой жизни, или, выражаясь культурно, от социально-политической обстановки в мире. Если обстановка будет развиваться в благоприятную сторону, можно опубликовать. Если нет — придержать или даже совсем уничтожить работу, как это предусмотрено той же клятвой. Не в наших силах спасти человечество, но в наших силах не нанести ему вреда.

— Гм... что-то очень уж скромно. По-моему, ты недооцениваешь возможности современной науки. Сейчас существует способ нажатием кнопки — или нескольких кнопок — уничтожить человечество. Почему бы не возникнуть альтернативному способу: нажатием кнопки спасти человечество или уберечь его? И почему бы, черт побери, этому способу не лежать на нашем направлении поиска?

— Не лежит он здесь. Наше направление созидательное. Мост несравнимо труднее построить, чем взорвать.

— Согласен. Но мосты строят.

— Но никто еще не построил такой мост, который было бы нельзя взорвать.

Здесь мы зашли с ним в некий схоластический тупик.

Но каков, а? Ведь, по сути, он ясно и толково изложил мне все мои смутные сомнения; они меня давно одолевали... Не знаю даже, огорчаться мне или радоваться».

«28 декабря. Итак, прошел год с тех пор, как я сидел посреди вновь образованной лаборатории на нераспакованном импульсном генераторе и замышлял неопределенный опыт. Только год? Нет, все-таки время измеряется событиями, а не вращением Земли: мне кажется, что прошло лет десять. И не только потому, что много сделано — много пережито. Я стал больше думать о жизни, лучше понимать людей и себя, даже немного изменился — дай бог, чтобы в лучшую сторону.

И все равно: какая-то неудовлетворенность — от излишней мечтательности, наверное? Все, что я задумывал, получалось, но получалось как-то не так: с трудностями, с ужасными осложнениями, с разочарованиями... Так оно и бывает в жизни: человек никогда не мечтает, в чем бы ему разочароваться или где бы шлепнуться лицом в грязь, это приходит само собой. Умом я это превосходно понимаю, а смириться все равно никак не могу.

...Когда я синтезировал дубля-3 (в миру — Кравца), то туманно надеялся: что-то щелкнет в «машине-матке» — и получится именно рыцарь без страха и упрека! Ничего не щелкнуло. Он хорош, ничего не скажешь, но не рыцарь: трезв, рассудочен и осторожен. Да и откуда взяться рыцарю — от меня, что ли?

Дурень, мечтательный дурень! Ты все рассчитываешь, что природа вывезет, сама вложит в твои руки «абсолютно надежный способ»,— ничего она не вывезет и ничего она не вложит.

Нет у нее такой информации.

Черт, но неужели нельзя? Неужели прав усовершенствованный мною Кривошеин-Кравец?

...Есть один способ спасти мир нажатием кнопки; он применим в случае термоядерной войны. Упрятать в глубокую шахту несколько «машин-маток», в которые записана информация о людях (мужчинах и женщинах) и большой запас реактивов. И если на испепеленной поверхности Земли не останется людей, машины сберегут и возродят человечество. Все какой-то выход из положения.

Но ведь снова все получится не так. Швырнуть в мир такой способ, он нарушит установившееся равновесие и, чего доброго, толкнет человечество в ядерную войну. «Люди останутся живы, атомные бомбы не страшны — ну-ка всыплем им! — рассудит какой-нибудь дошлый политикан.— Проблема Ближнего Востока? Нет Ближнего Востока! Проблема Вьетнама? Нет Вьетнама! Покупайте персональные атомоубежища для души!»

Выходит, и это «не то». Что же «то»? И есть ли «то»?»

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ТРЕЗВОСТЬ
(Испытание себя)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Сон — лучший способ борьбы с сонливостью.

К. Прутков-инженер
«Набросок энциклопедии»

Быстротечна июньская ночь: давно ли угас на юго-западе лиловый закат, а вот на юго-востоке, за Днепром, уж снова светлеет небо. Но и короткая ночь — ночь; она оказывает на людей свое обычное действие. Спят жители затененной части планеты. Спят граждане города Днепровска. Спят многие участники описываемых событий.

Беспокойно спит Матвей Аполлонович Онисимов. Ему долго не удавалось уснуть: курил, ворочался в постели, беспокоя жену,— размышлял о происшедшем. Задремал, утомившись,— и перевозбужденная психика поднесла ему безобразный сон: будто в трех городских парках обнаружили три трупа убитых из огнестрельного оружия. Судмедэксперт Зубато, ленясь исследовать каждое убийство в отдельности, придумал версию: все трое убиты одним выстрелом — навылет; и для доказательства своей правоты усадил трупы в обнимку на мраморной скамье секционного зала так, чтобы пулевые отверстия совпадали.

И Матвей Аполлонович, которому обычно виделись только черно-белые и мутные, как заношенная кинолента, сны, воспринимал эту картину объемно, в красках и с запахами: сидят трое Кривошеиных — огромные, голые, розовые и пахнущие мясом,— смотрят на него, фотогенично улыбаясь... Онисимов проснулся из чувства протеста. Но (сон в руку!) в голове его стала вырисовываться правдоподобная версия: они там, в лаборатории, варили труп умерщвленного Кривошеина! Ведь труп — всегда главная улика, а спрятать или зарыть опасно, ненадежно, могут обнаружить и опознать. Вот они и варили или разлагали труп в специальном составе, а поскольку дело это не простое, что-то не рассчитали, опрокинули бак. Поэтому и теплым оказался труп, когда техник Прахов обна-

ружил его в баке! Поэтому так скоро и разложились пропитанные ихней химией мягкие ткани трупа, остался скелет. Лаборанта пришибло баком, а второй соучастник — этот, который вчера кривлялся перед ним (мистификатор, циркач, надувные маски или тренировки мимики — они ловкачи, это ясно!), убежал. И организовал себе алиби — своими масками и мимотехникой он мог и московского профессора ввести в заблуждение. А документы его — хорошо сделанная липа.

Матвей Аполлонович закурил еще одну папиросу. И все-таки это дело отдает не обычной уголовщиной. Если преступники работают и в Москве, и здесь, мотивов корысти, личных счетов и секса нет, то... наверное, Кривошеин действительно сделал серьезное изобретение или открытие. Нет, завтра он будет настаивать перед Алексеем Игнатьевичем, чтобы к этому делу подключили органы безопасности! (Хотя Онисимов никогда не узнает, как обстояло дело, нельзя не отдать должное его следовательской хватке. В самом деле: ничего не понимать в сути дела, а только на основе внешних случайных фактов построить логически непротиворечивую версию — это не каждый может!)

Подумав так, Матвей Аполлонович успокоенно уснул. Сейчас ему снится приятное: что его повысили за раскрытие такого дела... Но сны еще менее подвластны нашим мечтаниям, чем реальная действительность,— и вот следователь раздосадованно мычит, а пробудившаяся жена озабоченно спрашивает: «Матюша, что с тобой?» Онисимову привиделось, что в горотделе произошел пожар и сгорело новое штатное расписание...

Аркадий Аркадьевич Азаров уснул совсем недавно, да и то после двух таблеток снотворного: утром проснется с неврастенией. Его тоже одолевали мысли о происшествии в лаборатории новых систем... Уже звонили из горкома партии: «У вас опять авария, Аркадий Аркадьевич? С человеческими жертвами?» — и откуда они так быстро узнают! Теперь пойдет: вызовы, комиссии, объяснения... Что ж, на то ты и директор, много денег получаешь, чтобы тебя дергали всюду! Вот из-за таких вещей, в которых он не повинен и не может быть повинен, ставится под сомнение его честная положительная работа! Аркадий Аркадьевич чувствовал себя одиноким и несчастным.

«...Не надо было организовывать эту лабораторию «случайного поиска». Не послушал себя. Ведь идея, что путем случайных проб и произвольных комбинаций можно достичь истины и верных решений в науке, была глубоко противна твоему мышлению. И противна сейчас. Метод Монте-Карло... одно название чего стоит! Вера в случай — что может быть ужасней для исследователя? Вместо того

чтобы, логически анализируя проблему, уверенно и неторопливо приближаться к ее решению — испытывать, пусть даже с помощью приборов и машин, свое игорное счастье! Конечно, и таким путем можно строить наукообразные системы и алгоритмы, но не похожи ли они на те «системы», с помощью которых игроки в рулетку, надеясь выиграть, просаживают свои состояния... Подумаешь, изменил название лаборатории. Но суть-то осталась. Пустил на самотек, рассудил: такое направление в мировой системологии есть — пусть разовьется и у нас... Вот и «развилось»!»

Тогда Аркадий Аркадьевич не высказал Кривошеину своих сомнений, чтобы не убить его энтузиазм, только спросил: «Что же вы намереваетесь достичь... э-э... случайным поиском?» — «Прежде всего освоить методику»,— ответил Кривошеин, и это понравилось Азарову больше, чем если бы он начал фонтанировать идеи.

«Нет, он не только осваивал методику,— Аркадий Аркадьевич вспомнил лабораторию, установку, похожую на осьминога, обилие приборов и колб.— Развернул какую-то большую экспериментальную работу... Неужели у него получалось то, о чем он докладывал на ученом совете? Но все кончилось трупом. Трупом, обратившимся в скелет! — Азаров почувствовал отвращение и ярость.— Надо сворачивать экспериментальные работы, вечно в них что-нибудь случается! Непременно! Системология по сути своей наука умозрительная, анализ и синтез любых систем надо вести математически — и нечего!.. Теорию нужно двигать! А хочется работать с машинами — пожалуйста, программируйте свои задачи и идите в машинный зал... Да и вообще эти эксперименты,— академик усмехнулся, успокаиваясь,— никогда не знаешь, что ты сделал: глупость или открытие!»

...Аркадий Аркадьевич имел давние счеты с экспериментальной наукой, суждения его о ней были тверды и окончательны. Тридцать с лишним лет назад молодой физик Азаров изучал процесс сжижения гелия. Однажды он сунул в дюар несколько стеклянных соломинок-капилляров, и охлажденная до двух градусов по абсолютной шкале жидкость необыкновенно быстро испарилась. Два литра драгоценного в то время гелия пропали, эксперимент был сорван! Аркадий сгоряча обвинил лабораторного стеклодува, что тот подсунул дефектный дюар; стеклодува наказали... А два года спустя сокурсник Азарова по университету Петр Капица в аналогичном опыте (капилляры погрузить в сосуд) открыл явление сверхтекучести гелия!

С той поры Аркадий Аркадьевич разочаровался в экспериментальной физике, полюбил надежный и строгий мир математики и ни разу не пожалел об этом. Именно математика вознесла его — математический подход к решению нематематических проблем. В тридцатых годах он применил свои методы к проблемам

общей теории относительности, которая тогда владела умами ученых; позже его изыскания помогли решить важные задачи по теории цепных реакций в уране и плутонии; затем он приложил свои методы к проблемам химического катализа полимеров; и теперь он возглавил направление дискретных систем в системологии.

«Э, я все не о том! — подосадовал на себя Азаров.— Что же все-таки случилось в лаборатории Кривошеина? Помнится, прошлой осенью он приходил ко мне, хотел о чем-то поговорить... О чем? О работе, разумеется. Отмахнулся, было некогда... Всегда считаешь главным неотложное! А следовало поговорить, теперь знал бы, в чем дело. Больше Кривошеин ко мне не обращался. Ну конечно, такие люди горды и застенчивы... Постой, какие люди? Какой Кривошеин? Что ты о нем знаешь? Несколько докладов на семинарах, выступление на ученом совете, несколько реплик и вопросов к другим докладчикам да еще раскланивался при встречах. Можно ли по этому судить о нем? Можно, не так уж слабо ты разбираешься в людях, Аркадий... Он был деятельный и творческий человек, вот что. Таких узнаешь и по вопросу и по фразе — по повадке. У таких видна непрерывная работа мысли — не каждому видна, но ты ведь сам такой, можешь заметить... Человек ест, ходит на работу, здоровается со знакомыми, смотрит кино, ссорится с сослуживцами, одалживает деньги, загорает на пляже — все это делает полнокровно, не для порядка — и думает, думает. Над одним. Над идеей, которая не связана ни с его поступками, ни с бытейскими заботами, но его с этой мысли ничто не собьет. Она главное в нем: из нее рождается новое... И Кривошеин был такой. И это очень жаль, что был,— со смертью каждого такого человека что-то очень нужное уходит из жизни. И чувствуешь себя более одиноким... Э, полно, что это я?!.— спохватился Аркадий Аркадьевич.— Спать, спать!»

Гарри Харитонович Хилобок тоже долго не мог уснуть в эту ночь: все смотрел на светящиеся в доме напротив окна квартиры Кривошеина и гадал: кто же там есть? В одиннадцатом часу из подъезда быстро вышла Лена Коломиец (Гарри Харитонович узнал ее по фигуре и походке, подумал рассеянно: «Надо бы теперь с ней поближе познакомиться, есть чем заинтересовать»), но свет продолжал гореть. Хилобок погасил свет в своей квартире, пристроился на подоконнике с театральным биноклем, но ракурс был невыгодный — он увидел только часть книжного шкафа и трафарет из олимпийских колец на стене. «Забыла она погасить лампу, что ли? Или там кто-то еще? Позвонить в милицию? Да ну их, сами пусть разбираются.— Гарри Харитонович сладко зевнул.— Может, кто-то из ихних там обыскивает...»

Он вернулся в комнату, зажег ночник — фигурку обнаженной

женщины из искусственного мрамора с лампочкой внутри. Мягкий свет осветил медвежью шкуру на полу, синие стены в золотистых обойных аистах, полированные грани письменного стола, шкаф для книг, шкаф для одежды, телевизорную тумбу, стеганую розовую кушетку, темно-красный ковер со сценой античного пиршества — все вокруг располагало к полнокровной неге. Гарри Харитонович разделся, подошел к зеркалу шкафа, стал рассматривать себя. Он любил свое лицо: прямой крупный нос, гладкие, но не полные щеки, темные усы — в нем что-то есть от Ги де Мопассана... Не так давно он перед этим зеркалом примерял к своему лицу выражение для доктора технических наук. «Что ему надо было, этому Кривошеину? — Гарри Харитонович почувствовал клокотание внутри от яростной ненависти.— Что я ему такого сделал? И за тему его голосовал, и родственника помог в лабораторию устроить... Сам не защищается, так другим завидует! Или это он за то, что я не сделал для него СЭД-2? Ну, да все равно — нету больше Кривошеина. Спекся. Вот так-то. В жизни в конечном счете выигрывает тот, кто переживает противника».

Хилобока порадовало нечаянное остроумие этой мысли. «Хм... Надо запомнить и пустить». Вообще следует заметить, что Гарри Харитонович был не так глуп, как могло показаться по его поведению. Просто в основу своего преуспевания в жизни он положил правило: с дурака меньше спрос. От него никто никогда не ждал ни дельных мыслей, ни знаний; поэтому в тех редких случаях, когда он обнаруживал знания или выдавал хоть скудненькие, но мысли, это казалось таким приятным сюрпризом, что сотрудники начинали думать: «Недооцениваем мы все-таки Гарри Харитоновича...» и стремились своим расположением исправить недооценку. Так проходили в сборник «Вопросы системологии» его статьи, от которых редакторы наперед не ждали ничего хорошего и вдруг обнаруживали в них крупицы смысла. Так же Гарри Харитонович сдавал темы заранее деморализованным его поведением и разговорами заказчикам. Вот только с его докторской диссертацией вышла осечка...

Ну ничего, он свое возьмет!

Гарри Харитоновича убаюкали приятные мысли и радужные надежды. Сейчас он спал крепко и без сновидений, как спали, наверное, еще в каменном веке.

Спал и счастливо улыбался во сне вернувшийся с ночного дежурства в городе милиционер Гаевой.

Поплакав от обиды на Кривошеина и на себя, уснула Лена.

Но не все спят... Успешно борется с дремой старшина милиции Головорезов, охраняющий лабораторию новых систем; он сидит на крыльце флигеля, курит, смотрит на звезды над деревьями. Вот в траве неподалеку что-то зашуршало. Он посветил фонариком: из лопухов на него смотрел красноглазый кролик-альбинос. Старшина кышкнул — кролик прыгнул в темноту. Головорезов не знал, *какой* это кролик.

Виктор Кравец все ворочался на жесткой откидной койке в одиночной камере дома предварительного заключения под суконным одеялом, от которого пахло дезинфекцией. Он находился в том состоянии нервного возбуждения, когда невозможно уснуть.

«Как же теперь будет? Как будет? Выкрутится аспирант Кривошеин, или лаборатория и работа погибнут? И что я еще смогу сделать? Отпираться? Сознаваться? В чем? Гражданин следователь, я виноват в благих намерениях — в благих намерениях, которые ничему не помогли... Что ж, наверное, это жестокая вина, если так получилось. Все гнали: скорей-скорей! — овладеть открытием полностью, добраться до «способа с абсолютной надежностью». Я тоже, хоть и не сознавался себе в этом, ждал, что мы откроем такой способ... Эволюция каждую новую информацию вводила в человека постепенно, методом малых проб и малых отклонений, проверяла полезность ее в бесчисленных экспериментах. А мы — все в один опыт!

Надо было с самого начала выбросить из головы мысли о возможных социальных последствиях, работать открыто и спокойно, как все. В конце концов, люди не маленькие, должны сами понимать, что к чему. До всего мы дошли: что человек — сверхсложная белковая квантово-молекулярная система, что он — продукт естественной эволюции, что он — информация, записанная в растворе. Одно только упустили из виду: человек — это человек. Свободное существо. Хозяин своей жизни и своих поступков. И свобода его началась задолго до всех бунтов и революций, в тот далекий день, когда человекообразная обезьяна задумалась: можно залезть на дерево и сорвать плод, но можно и попробовать сбить его палкой, зажатой в лапе. Как лучше? Она неспроста задумалась, эта обезьяна: она видела, как в бурю обломившаяся ветка сбила плоды... Свобода — это возможность выбирать варианты своего поведения, ее исток — знание. С тех пор каждое открытие, каждое изобретение давало людям новые возможности, делало их все более свободными.

Правда, были и открытия (их немного), которые говорили людям: нельзя! Нельзя построить вечные двигатели первого и второго рода, нельзя превзойти скорость света, нельзя одновременно точно измерить скорость и положение электрона... Но наше-то открытие ничего не запрещает и ничего не отменяет, оно говорит: можно!

Свобода... Это не просто: осознать свою свободу в современном

мире, умно и трезво выбирать варианты своего поведения. Над человеком тяготеют миллионы лет прошлого, когда биологические законы однозначно определяли поведение его животных предков и все было просто. И сейчас он норовит свалить свои ошибки и глупости на силу обстоятельств, на злой рок, возложить надежды на бога, на сильную личность, на удачу — лишь бы не на себя. А когда надежды рушатся, ищут и находят козла отпущения: сами же люди, возложившие надежды, ни при чем! В сущности, люди, идущие по линии наименьшего сопротивления, не знают свободы...»

Кружочек на двери камеры отклонился, пропустил лучик света; его заслонило лицо дежурного. Наверное, проверяет, не замыслил ли новый побег беспокойный подследственный? Виктор Кравец неслышно рассмеялся: что и говорить, кутузка — самое подходящее место для размышлений о свободе! Он с удовлетворением осознал, что, несмотря на все передряги, чувство юмора его еще не покинуло...

Дубль Адам-Геркулес сидел на скамье у троллейбусной остановки на опустевшей улице и вспоминал. Вчера, когда он шел с вокзала; размышляя о воздействии трех потоков информации (науки, жизни, искусства) на человека, возникала у него смутная, но очень важная идея. Перебили эти трое со своей дурацкой проверкой документов, чтоб им... Осталось ощущение, что приблизился к ценной догадке — лучше бы его не было, этого ощущения, теперь не успокоишься!

«Попробуем еще раз. Я обдумывал: какой информацией и как можно облагородить человека? Была у Кривошеина идея синтезировать рыцаря «без страха и упрека» — она перешла ко мне, отрекаться от нее нельзя... Я отбраковал информацию от среды и информацию от науки, потому что воздействие их на человека в равной мере может быть и положительное и отрицательное... Остался способ «чувства добрые лирой пробуждать» — Искусство. Верно, оно пробуждает. Только несовершенный инструмент лира: пока тренькает, человек облагорожен, а отзвучала — все проходит. Что-то остается, конечно, но мало, поверхностная память об увиденном спектакле или прочитанной книге... Ну хорошо, а если вводить в «машину-матку» эту информацию при синтезе какого-то человека: скажем, записать в нее содержание многих книг, показать отличные фильмы? То же самое будет, отложится содержание в поверхностной памяти — и все. Ведь книга-то не о нем!

Ага, об этом тоже я думал: между источником информации Искусства и приемником ее — конкретным человеком — есть какая-то прозрачная стенка. Что же это за стенка? Черт побери, неужели жизненный опыт всегда будет главным фактором в форми-

ровании личности человека? Нужно самому страдать, чтобы понять страдания других? Ошибаться, чтобы научиться правильно поступать? Как ребенку — надо обжечься, чтобы не тянуть пальцы к огню... Но ведь это очень тяжелая наука — жизненный опыт, и не каждый может ее одолеть. Жизнь может облагородить, но может и озлобить, оподлить; может сделать человека мудрым, но может и оболванить...»

Он закурил и стал расхаживать около скамейки по тротуару.

«Информация Искусства не перерабатывается человеком до конца, до решения на ее основе своих задач в жизни. Постой! Информация не перерабатывается до решения задачи... это уже было. Когда было? Да в начале опыта: первоначальный комплекс «датчики — кристаллоблок — ЦВМ-12» не усваивал информацию от меня... от Кривошеина — все равно! И тогда я применил обратную связь!»

Теперь Адам уже не ходил, а бегал по заплеванному тротуару от урны до фонарного столба.

«Обратная связь, будь она неладна! Обратная связь, которая увеличивает эффективность информационных систем в тысячи раз... Вот почему «стенка», вот почему мала эффективность Искусства — нет обратной связи между источником и приемником информации. Есть, правда, кое-что: отзывы, читательские конференции, критические нахлобучки, но это не то. Должна быть *непосредственная техническая* обратная связь, чтобы изменять вводимую в человека информацию Искусства применительно к *его* индивидуальности, характеру, памяти, способностям, даже внешности и анкетным данным. Таким способом можно проигрывать в процессе синтеза *его* поведение в критических ситуациях (пусть сам ошибается, учится на ошибках, ищет верные решения!), раскрыть перед ним *его* — а не выдуманного героя — душевный мир, способности, достоинства и недостатки, помочь *ему* понять и найти себя... И тогда эта информация станет *его* жизненным опытом наравне с житейской, станет для него обобщенной истиной наравне с научной. Это будет уже какое-то иное Искусство — не писательское, не актерское, не музыкальное,— а все вместе, выраженное в биопотенциалах и химических реакциях. Искусство Синтеза Человека!»

Внезапно он остановился. «Да, но как это осуществить в «машине-матке»? Как наладить в ней *такую* обратную связь? Не просто... Ну да — опыты, опыты, опыты — сделаем! Смогли же мы построить обратную связь между блоками комплекса. Главное — есть идея!..»

Вано Александрович Андросиашвили тоже не спал на своей подмосковной даче. Он стоял на веранде, слушал шорох ночного

дождика... Сегодня на заседании кафедры обсуждали итоги работы аспирантов. В наименее выгодном свете предстал аспирант Кривошеин: за год он не сдал ни одного кандидатского экзамена, лекции и лаборатории посещал последнее время очень редко, тему для кандидатской диссертации еще не выбрал. Профессор Владимир Вениаминович Валерно высказал мнение, что человек напрасно занимает аспирантское место, получает стипендию и что недурно бы освободить вакансию для более прилежного аспиранта. Вано Александрович решил было отмолчаться, но не сдержался и наговорил Владимиру Вениаминовичу много резких и горячих слов о косности в оценке работ молодых исследователей, о пренебрежении. Валерно был ошеломлен, а сам Андросиашвили чувствовал сейчас себя неловко: Владимир Вениаминович, в общем, таких упреков не заслужил.

Вано Александрович не один вечер размышлял над фактом чудесного исцеления аспиранта после удара пудовой сосулькой, припоминал разговор с ним об управлении обменом веществ в организме и пришел к выводу, что Кривошеин открыл и привил себе свойство быстрой регенерации тканей, присущее в природе только простейшим кишечнополостным. Его мучило, что он не в силах понять, как тот сделал такое. Он ждал, что Кривошеин все-таки придет и расскажет; Вано Александрович готов был забыть обиду, дать обет молчания, если понадобится, только бы узнать! Но Кривошеин молчал.

Сейчас Андросиашвили досадовал на себя, что вчера во время вызова к милицейскому телевидеофону не разузнал, почему и за что задержали аспиранта. «Он что-то натворил? Но когда он успел: еще утром он заходил на кафедру сообщить, что улетит на несколько дней в Днепровск! Вторая тайна Кривошеина...» — профессор усмехнулся. Но беспокойство не проходило. Хорошо, если вышло недоразумение, а если там что-то серьезно? Что ни говори, а Кривошеин — автор и носитель важного открытия о человеке. Это открытие не должно пропасть.

«Мне надо вылететь в Днепровск»,— неожиданно возникла в голове мысль. Гордая кровь горца и члена-корреспондента вскипела: он, Вано Андросиашвили, помчится выручать попавшего в сомнительную переделку аспиранта! Аспиранта, которого он из милости взял на кафедру и который глубоко оскорбил его своим недоверием!

«Цхэ, помчится! — Вано Александрович тряхнул головой, смиряя себя.— Во-первых, ты, Вано, не веришь, что Кривошеин совершил какое-то преступление — не такой он человек. Там либо беда, либо недоразумение. Надо выручать. Во-вторых, ты мечтал о случае завоевать его доверие, сблизиться с ним. Это именно тот случай. Возможно, у него есть серьезные основания таиться. Но пусть не

думает, что Андросиашвили человек, на которого нельзя положиться, который отшатнется из мелких побуждений. Нет! Конечно, я и в Днепровске не стану выспрашивать его — захочет, сам расскажет. Но это открытие надо беречь. Оно выше моего самолюбия».

Вано Александровичу стало легко и покойно на душе оттого, что он преодолел себя и принял мудрое решение...

Аспирант Кривошеин тоже не спал. Он продолжал читать дневник.

ГЛАВА ВТОРАЯ

> Ходжа Насреддин считался мудрецом, потому что умно отвечал на глупые вопросы. Быть мудрецом, когда задают умные вопросы, гораздо труднее.
>
> *К. Прутков-инженер, мысль № 65*

«5 января. Вот и я оказался в положении человека-черновика для более совершенной копии. И хоть я сам создатель копии — приятного мало.

— А интересный у тебя племянник,— сказала мне Лена, после того как я познакомил их на новогоднем вечере.— Симпатичный.

Вернувшись домой, я целый час рассматривал себя в зеркало: картина унылая... И разговаривать он ловок, куда мне до него.

Нет, Кравец Виктор ведет себя с Леной по-джентльменски. То ли прежние воспоминания действуют, то ли чувствует свои возможности по части покорения сердец, но внешне он к ней равнодушен. А если бы постарался — не видать мне Ленки.

...Когда мы с ним идем по Академгородку или по институтскому парку, встречные девушки, которые раньше еле кивали мне, громко и радостно здороваются:

— Здрасьте, Валентин Васильевич! — А сами проникновенно косятся на незнакомого парня рядом со мной.

А как он ходит на лыжах! Вчера мы втроем отправились за город, так он и Лена оставили меня далеко позади.

А как он танцевал на новогоднем балу!

Даже секретарша Ниночка, которая раньше и дорогу-то к флигелю не знала, теперь нет-нет да и занесет мне какую-нибудь бумагу из приемной.

— Здрасьте, Валентин Васильевич! Здравствуйте, Витя... Ой, как у вас здесь интересно, одни трубки!

Словом, теперь я ежедневно наблюдаю не только себя, какой

я есть, но и себя, каким я мог бы быть, если бы не... если бы не что? Не голодовки во время войны и после, не фамильное сходство с не весьма красивым — увы! — родителем («Весь в батю, мордастенький!» — умилялись, бывало, родственники), не ухабы на жизненном пути, не столь нездоровый образ жизни: лаборатория, библиотека, комната разговоры, размышления, миазмы реактивов — и никакой физической нагрузки. Право же, я не стремился стать некрасивым, толстым, сутулым тугодумом — так получилось.

По идее, я должен гордиться: переплюнул природу! Но что-то мешает...

Нет, все-таки эта идея ущербна. Допустим, мы доведем способ управляемого синтеза до кондиции. Будут получаться великолепные люди: сильные, красивые, одаренные, энергичные, знающие — ну, такие хозяева жизни с плаката «Вклад в сберкассе мы хранили — гарнитур себе купили!» А те, с которых их будут воспроизводить,— выходит, черновики, набросанные жизнью? За что же их-то унижать? Хороша «награда за жизнь»: сожаление о своем несовершенстве, мысли, что никогда не станешь совершенным потому, что вместо налаженного производства тебя произвела на свет обыкновенная мама! Выходит, что наш способ синтеза человека все-таки противостоит людям? И не только скверным — всем, ибо каждый из нас в чем-нибудь несовершенен. Выходит, и хорошим, но обыкновенным (не искусственным) людям придется потесниться в жизни?

(Во! Вот такой ты, Кривошеин, и есть — толстошкурый... Пока самого за живое не возьмет, ничего не доходит. «Хоть кол на голове теши»,— как говаривал батя. Ну ладно: неважно, как дошло,— главное, что дошло.)

Есть над чем задуматься... Пожалуй, все человеческие изъяны имеют общую природу — это перегибы. Взять, например, хорошее, приятное в общежитии качество характера: простодушие. Оно заложено в нас с детства. Но не дотянула природа, подгадило воспитание, жизненная обстановка не так сложилась — и вместо простодушия получилась дремучая глупость. Вместо разумной осторожности таким же манером получается трусость, вместо необходимой в жизни уверенности в себе — ложная самоуверенность, вместо прямоты и здорового скептицизма — цинизм, вместо трезвой дерзости — наглость, беспробудное хамство, вместо ума — хитрость.

За многими словами прячем мы свое бессилие перед несовершенством людей: за шутливыми («медведь на ухо наступил», «нянька уронила»), за наукообразными («анемия», «деградация личности», «комплекс неполноценности»), за житейскими («это ему не дано», «этим он одарен»)... Раньше считали: «дар божий», в наш материалистический век «дар природный», а в сущности, один черт, все равно человек не властен. У одних есть, у других нет.

А можно догадаться, почему «не дано». В первобытной жизни и в прочих общественных формациях совершенство человека было не обязательно. Живешь, работать и размножаться можешь, ловчить умеешь — и ладно! Только сейчас, когда в наши представления вошла не утопическая, а конструктивная идея коммунизма — вырабатываются настоящие требования к Человеку. Мы примеряем людей к этой прекрасной идее — и больно стало замечать то, на что раньше не обращали внимания...»

«8 января. Изложил свои мысли Кравцу.

— Хочешь применить способ синтеза к обычным людям? — сделал быстрый вывод смышленый дубль-3.

— Да. Но как? — Я поглядел на него с надеждой: а вдруг он и это знает?

Он понял мой взгляд и рассмеялся.

— Не забывай, что я — это ты. По уровню знаний, например.

— Но, может, ты лучше знаешь, что это за жидкость?— Я показал на бак.— Ведь ты вышел из нее, как... как Афродита из морской пены. Ее состав и прочее?

— В двух словах?

— Можно в трех.

— Пожалуйста. Эта жидкость — человек. Ее состав — состав человеческого тела. Кроме того, эта жидкость — квантово-молекулярная биохимическая вычислительная машина с самообучением и огромной памятью, в каждой молекуле жидкости есть некая своя информация... То есть, как ни верти, жидкость «машины-матки» — это просто человек в жидкой фазе. Можешь делать из этого факта научные, практические и организационные выводы.

Чувствовалось, что новая проблема занимает его не столь живо, как меня. Я попытался подогреть его воображение.

— Витек, а что, если этот способ будет именно «то»? Ведь он для обычных людей, а не...

— Иди ты к...! (Ай-ай, а еще искусственный человек!) Я решительно отказываюсь рассматривать нашу работу с позиций «то — не то» и приверженности к клятве, которую я не давал! В наше время надо спокойней относиться к клятвам! (Ну, если это называется спокойное отношение...) Ты хочешь применить открытие к преобразованию людей?

— В ангелов...— наподдал я еще.

— К чертям собачьим ангелов! Информационные преобразования «хомо сапиенс» — и все! В таком академическом плане и давай рассматривать проблему!

Я впервые наблюдал, как он вышел из себя... в меня. Как ни старайся, а кривошеинская натура себя оказывает. Но главное: он завелся. Это самое необходимое, когда начинаешь новое исследование — завестись, почувствовать злость к работе.

В результате шестичасового разговора с перерывом на обед мы сделали четыре шага в осмыслении новой проблемы.

Шаг первый. Искусственные и естественные люди, судя по всему (ну, хотя бы по тому, что обычная пища не яд для дублей), биологически одинаковы. Следовательно, все, что делает «машина-матка» с дублями, можно *в принципе* (если отвлечься от трудностей технической реализации, как пишут в статьях) распространить на обычных людей.

Шаг второй. «Машина-матка» выполняет команды по преобразованию в баке без каких-либо механических приспособлений и контрольных устройств. Следовательно, сама жидкость есть и контрольно-управляющая схема и исполнительный биохимический механизм; она осуществляет в баке, как сказали бы биологи, управляемый обмен веществ...»

— Ах, черт! — пробормотал аспирант и нервно закурил.

«...или точнее: преобразует внешнюю информацию в структурные записи в веществе: органические молекулы, клетки, тельца, ткани...

Шаг третий. Как в принципе можно преобразовать человека в «машине-матке»? Искусственный дубль зарождается в ней как продолжение и развитие машинной схемы. На прозрачной стадии он уже ощущает и осознает себя как человек, но активно действовать не может (опыт с Адамом и подтверждение Кравца). Затем дубль овеществляется до непрозрачной стадии, *отключается* от жидкой схемы «машины матки» (или схема от него), овладевает собой и вылазит из... нет-нет, надо академически! — отделяется от машины. С обычным человеком следует, видимо, поступать в обратном порядке, то есть прежде всего «включить» его в систему машины. Технически: погрузить человека в жидкость.

Шаг четвертый. Но включится ли человек в схему «машины-матки»? Ведь требуется ни мало ни много, как — я все-таки достаточно знаком с нейрофизиологией, Эшби читал — полный контакт всей нервной сети человека с жидкостью; а наши проводники-нервы уже изолированы от внешней среды кожей, тканями, костями черепа. Чтобы добраться до них, жидкость-схема должна проникнуть внутрь человека...

Мы рассудили, что она может проникнуть. Ведь человек — это раствор. Только не водный раствор (иначе бы люди растворялись в воде); свободной воды в человеке не так много. Это количественный анализ затуманивает все дело, проклятый гипноз чисел, когда, разложив живую ткань, мы получаем убедительные цифры: воды 75 процентов, белков 20 процентов, жиров 2 процента, солей 1 процент и так далее. Человек — биологический раствор, все составляющие существуют в нем в единстве и взаимосвязи. Есть в теле «жидкие жидкости»: слюна, моча, плазма крови, лимфа, желудочный сок — их можно налить в пробирку. Другие жидкости наполняют

клеточные ткани: мышцы, нервы, мозг — каждая клетка сама по себе пробирка. Биологические жидкости даже кости пропитывают, как губку... Так что, несмотря на отсутствие подходящей посуды, у человека гораздо больше оснований считать себя жидкостью, чем, скажем, у сорокапроцентного раствора едкого натра.

Если быть более точным: человек — это информация, записанная в биологический раствор... Начиная с момента зачатия, в этом растворе происходят превращения, формируются мышцы, внутренности, нервы, мозг, кожа. То же самое — только быстро и по-иному — делается в биологической жидкости «машины-матки». Так что, с какой стороны ни взгляни, эти две жидкости очень родственны, и взаимопроникновение их вполне возможно...

Как нам ни хотелось каждую мысль и каждую догадку немедленно проверить в «машине-матке», но мы превозмогли себя и весь день занимались теорией. Хватит играть со случаем, надо все продумать наперед.

Итак, *прежде всего включиться*».

«1 февраля. Ах, как хороши были теории, которые подводили под то, что уже сделано! Игра в кубики, арифметика «то — не то» — приятно вспомнить, как все гладко получалось... Построить теорию, с помощью которой можно достичь новых результатов, куда сложнее.

Пока что теоретически осмысленная жидкость (жидкая схема) в баке ведет себя как вульгарная вода. Только что погуще.

Надо ли писать, что на следующий день мы прибежали в лабораторию с утра пораньше, что, замирая и предвкушая, сунули в бак кончики указательных пальцев — «включились». И ничего. Жидкость была ни теплой, ни холодной. Простояли так около часа: никаких ощущений, никаких изменений.

Надо ли описывать, как мы купали в жидкости последних двух кроликов, пытаясь включить их в машину? «Машина-матка» не подчинялась даже команде «Нет!» и не растворяла их. Кончилось тем, что кроли нахлебались, а откачать их мы не смогли.

Надо ли упоминать, что мы опускали в жидкость проводники и смотрели на осциллографе колебания плавающих потенциалов? Колеблются потенциалы, кривая похожа на зубчатую электроэнцефалограмму. И что?

Вот так всегда... Будь я новичком, я бы спасовал».

«6 февраля. Опыт: я опустил в жидкость палец, Кравец надел «шапку Мономаха» и стал своим пальцем касаться разных предметов. *Я почувствовал, какую поверхность он трогает!* Вот что-то теплое (батарея отопления), вот холодное и мокрое (он сунул палец под кран)...

Значит, палец-то мой *включился?!* Машина через него передает мне внешнюю информацию ощущений... Но это не те ощущения. Мне

нужны сигналы (пусть в ощущениях) работы жидкой схемы в баке!»

«10 февраля. Если долго держать руку в жидкости и сосредоточиться, то чувствуешь очень слабое зудение и покалывание в коже... Может, это самовнушение? Очень уж неуловимо слабо».

«15 февраля. Маленький, невинный, пустяковый результатик. По масштабам он уступает даже изготовлению кроликов. Просто я сегодня порезал мякоть левой ладони и залечил порез.

— Понимаешь,— задумчиво сказал утром Кравец,— чтобы было ощущение работы (жидкой схемы), она должна работать. А над чем ей, простите, работать? Зачем ей «включаться» в тебя, в меня, в кроликов? Все в нас уже сделано, все находится в информационном равновесии.

...Не знаю, действительно ли я сообразил быстрее его, что надо делать дальше (льщу себя этим), или ему просто не хотелось делать себе больно. Но опыт начал я: нарушил информационное равновесие в своем организме.

Скальпель был острый, по неопытности я распахал себе мясо до самой кости. Кровь залила руку. Опустил ладонь в бак: жидкость вокруг начала густо багроветь. Боль не исчезала.

— Шапку надень, шапку! — закричал Кравец.

— Какую шапку, зачем?— От боли и вида крови я не очень хорошо соображал.

Тогда она напялил мне на голову «шапку Мономаха», защелкал тумблерами — боль сразу исчезла; через несколько секунд жидкость очистилась от крови. Кисть охватило какое-то сладкое зудение — и началось чудо: на моих глазах кисть становилась прозрачной!

Сначала показались красные жгуты мышц. Через минуту они расплылись, сквозь красноватое желе стали просвечивать белые костяшки пальцев. Возле сухожилий запястья быстро утолщался и опадал, проталкивая кровь, сиреневый сосуд.

Мне стало страшно, я выдернул руку из бака. Сразу — боль. Кисть была цела, только блестела, как смазанная; с прозрачных пальцев стекали тяжелые капли. Я попробовал пошевелить пальцами — они не слушались. И вдруг я заметил, что кончики пальцев каплевидно утолщаются... Это было страшно.

— Опусти обратно, руку потеряешь! — заорал Кравец.

Я опустил, сосредоточил все внимание на порезе. Сладко ныло именно там. «Да, машина... то... то...» — поощрял я. Зудение постепенно ослабевало — и кисть снова становилась непрозрачной! Я, с облегчением выдохнув воздух, вытащил ее: пореза уже не было, лишь на его месте вздулся красно-синий шрам. В трещинах выступили прозрачные капельки сукровицы. Шрам нестерпимо саднил и чесался. Наверное, это еще не все. Я снова опустил руку в жидкость... Снова — прозрачность, зудение, «то, машина... то...». Наконец зудение исчезло, кисть стала непрозрачной.

Весь опыт длился двадцать минут. Сейчас я и сам не смог бы указать место, где полоснул себя скальпелем.

Надо разобраться... Самое интересное, что мне не понадобилось внушать «машине-матке» специальную информацию: как залечивать порез — да я и не мог ее внушить. Возможно, и мои поощрения «то... то...» были излишни: ощущение боли и без того породило в моем мозгу довольно красноречивые биотоки.

Выходит, «машину-матку» включает в человека сигнал о нарушении информационного равновесия в системе. Но таким сигналом может стать не только боль: волевая команда изменить что-то в себе, неудовлетворенность («не то»). А далее можно управлять ощущениями.

Пустяковый, неэффективный опыт в сравнении со всем прочим. Ведь порез можно было залить йодом, перебинтовать — зажило бы и так...

Самый главный опыт из всего, что достигли за год работы! Теперь открытие может быть применено не только для синтеза и усовершенствования искусственных дублей, а для преобразования сложной информационной системы, заключенной в сложнейший биологический раствор, которую мы упрощенно называем «человек». Преобразование любого человека!»

«20 февраля. Да, жидкая схема включается в организм человека и по волевой команде. Сегодня я таким способом снял с левой руки волосяную растительность по самый локоть. Погрузил руку в бак, надел «шапку». Команда «не то!», сосредоточенная на волосах. Покалывание и зудение усилились. Кожа стала прозрачной. Через минуту волосы растворились.

Кравец по этой методе за пять минут отрастил на мизинце и указательном пальце ногти длиной в два сантиметра. Окунул в жидкость обе ладони и превратил обычный узор кожи на подушечках пальцев в нечто похожее на «елочку» протектора автомобильной шины. Потом он попробовал восстановить прежний узор, но позабыл, какой у него был раньше.

Теперь понятно, почему у нас не получилось с кроликами — ведь у них нет сознания, нет воли, нет неудовлетворенности собой. Этот способ для человека. И только для человека!»

Далее аспирант Кривошеин читал бегло, для запоминания. Он листал страницы дневника и будто фотографировал их своей памятью. Ему все было ясно: Кривошеин и Кравец другим путем пришли к тому же, что и он,— к управлению обменом веществ в человеке. Только при помощи машины.

И это очень важно, что при помощи машины: теперь его открытие не уникум, не вид уродства, а знание, как преобразовать себя. Мало иметь способ преобразования — надо располагать полной информацией о человеческом организме. У них ее нет и не

могло быть. А его «знание в ощущениях» теперь можно записать в «машину-матку» и через нее передать всем. Каждому человеку. И каждый человек потом приобретет неслыханное могущество.

Аспирант мечтательно смежил глаза, откинулся на стуле... Уж что там: борьба с болезнями — о них скоро забудут! Человеку станут и без машин подвластны все стихии.

...Синие глубины океанов, куда не опуститься без водолазного костюма, без батискафа. И человек-дельфин, отрастивший себе жабры и плавники, сможет наслаждаться водной стихией, жить в ней, работать, путешествовать.

...Потянет в воздух — можно вырастить себе крылья, летать, парить орлом в теплых воздушных потоках.

...Враждебные чужие планеты: с ядовитой атмосферой из хлорных газов, раскаленные зноем солнца и жиром неостывшей магмы или замороженные космическим холодом, зараженные смертоносными бациллами. И человек сможет жить там вольно, как на Земле, без скафандра и биологической защиты; ему понадобится лишь перестроить свой организм на окисление хлором вместо кислорода или, может быть, заменить обычный белок в теле кремнийорганическим.

Ведь в человеке не главное, что он дышит кислородом. И руки-ноги — не гла́вное. Можно завести жабры, крылья, плавники, дышать фтором, заменить белок кремнийорганикой — и остаться человеком. А можно иметь нормальные конечности, белую кожу, голову и документы — и не быть им!

— Да, но...— Кривошеин в задумчивости облокотился о стол. Взгляд его снова упал на записи своего оригинала.

«...— Исчезнут болезни и уродства, не страшны раны, отравления. Каждый сможет стать сильным, смелым, красивым, сможет мобилизовать ресурсы организма, чтобы выполнить работу, которая раньше казалась непосильной. Люди будут как боги!.. Ну, что ты улыбаешься мудрой улыбкой? Это ведь в самом деле *тот* способ безграничного совершенствования человека!

— Мудрый я, вот и улыбаюсь,— ответствовал холодно Кравец.— Ты опять залетаешь. Не только такое может быть.

— Да брось ты! Разве каждый человек не стремится стать лучше, совершеннее?

— Стремится, в меру своих представлений о хорошем и совершенном. Могут, например, из данного способа возникнуть «космические ванны Кривошеина».

— Какие еще ванны?

— Ну, такие... по пять рублей за сеанс. Приходит гражданочка, разоблачается за ширмой, погружается в биологический раствор. Оператор — какой-нибудь там Жора Шерверпупа, бывший

парикмахер,— водружает на себя «шапку Мономаха», склоняется: «Чего изволите?» — «Тапереча я хочу под Бриджит Бардо,— заказывает клиентка.— Только чтоб трошки пышнее и чернявая. Мой Вася уважает, когда чернявая...» Что кривишься? Еще и на чай Жоре даст. А клиенты мужеска пола будут трансформироваться под супермужчину Жана Маре или северных красавцев Олегов Стриженовых. А в следующем сезоне пойдет мода на Лоллобриджид и Виталиев Зубковых, как нынче на их цветные открытки...

— Но можно же задать «машине-матке» какой-то нижний предел отбора информации, какой-то там фильтр по отбраковке пошлости и глупости. Или задать жесткую программу...

— ...которая одновременно с формами впихивала бы в массового потребителя богатое внутреннее содержание? А если он не пожелает? Имеет он право не желать за свои деньги? «Что я — ненормальная какая,— заверещит та же дамочка,— что вы хотите меня исправлять? Сами вы придурки жизни!» Понимаешь, железобетонность позиции пошляка и обывателя в том и состоит, что они считают нормой именно свое поведение.

— Но можно сделать так, что оно не будет нормой для «машины-матки».

— Гм... Предлагаю произвести простой опыт. Сунь, будь добр, в жидкость палец.

— Какой?

— Какой не жалко.

Я опустил в жидкость безымянный палец. Дубль надел «шапку Мономаха», повернулся ко мне спиной и отошел к медицинскому шкафчику.

— Внимание!

— Ой, что ты делаешь?!— Я выдернул палец. На нем был порез, из него сочилась кровь.

Кравец Виктор пососал свой безымянный, потом вытер кровь со скальпеля.

— Понял теперь? Для машины нет и не может быть нормы поведения. Ей на все наплевать, что прикажут, то и делает...

Мы залечили порезы.

Спустил меня Кравец с небес на землю — кувырком по ступенькам. Мечтательный мы народ, изобретатели. И Эдисон, наверное, думал, что по его телефону люди будут сообщать друг другу только приятные и нужные сведения, а уж никак не сплетничать, доносить анонимно или вызывать потехи ради «скорую помощь» к абсолютно здоровым знакомым... Все мы так, мечтаем о хорошем, а когда жизнь выворачивает идею изобретения наизнанку, хлопаем себя по бокам, как лесорубы на морозе: что это вы, люди добрые, делаете?!

Проклятие науки в том, что она создает способы — и ничего более. Вот и у нас будет просто «способ преобразования информации в биологической системе». Можно обезьяну превратить в человека. Но и человека в обезьяну — тоже.

Но нельзя, нельзя, нельзя думать, что и после нашего открытия все будет как было! Не для науки — для жизни нельзя. Наше открытие именно для жизни: оно не стреляет, не убивает — оно создает. Возможно, мы не там ищем — не в свойствах машины дело, а в свойствах человека?»

Аспирант Кривошеин дочитывал дневник под внутренний аккомпанемент этих тревожных мыслей. Неужели напрасно надсаживались — их открытие пришло раньше времени и оно может выстрелить по людям? В Москве он мало задумывался над этим: открытие только в нем, ни к кому оно более не относится — знай исследуй да помалкивай... Правда, после купания в бассейне реактора ему очень хотелось поделиться своими знаниями и переживаниями и с Адросиашвили, и с ребятами в общежитии: радиацию и лучевую болезнь можно преодолеть! Но это его знание относилось к войне...

«Из-за подонков! — Кривошеина охватила ярость.— Из-за подонков, которых, может, один на тысячу и для которых услужливая проститутка Наука готовит способы взрывать города и уничтожать народы! Всего лишь способы. Черт, начать искоренять этих гадов по-мокрому, что ли? Никто меня не поймает, подстрелить не сможет...

И сам пойду дорогой подонков? Нет. Это тоже «не то».

Аспирант закрыл тетрадь, поднял глаза. Настольная лампа горела, ничего не освещая.

Было светло. За окном желтые одинаковые морды домов Академгородка среди зелени смотрели на невидимое солнце; казалось, стадо домов сейчас побредет за светилом. Часы показывали половину восьмого утра.

Кривошеин закурил, вышел на балкон. На остановке троллейбуса внизу накапливались люди. Широкоплечий мужчина в синем плаще все прохаживался под деревьями. «Ну и ну! — подивился его выносливости Кривошеин.— Ладно. Надо спасать то, что еще можно спасти».

Он вернулся в комнату, разделся, принял холодный душ. Вернулась бодрость.

Потом раскрыл платяной шкаф, критически переворошил небогатый запас одежды. Выбрал украинскую рубаху с вышитым воротником и тесемками, надел. С сомнением осмотрел поношенный синий костюм — вздохнул, надел и его.

Затем аспирант четверть часа потренировался перед зеркалом и вышел из квартиры.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Эй, стойте! Не будьте ослом!
— Легко сказать...— пробормотал осел и пустился прочь.

Современная сказка

Человек в плаще заметил Кривошеина, повернулся к нему всем корпусом, посмотрел в упор.

«Господи, что за примитив-детектив! — возмутился Кривошеин.— Нет бы следить за моим отражением в витрине или прикрыться газетой — пялится, как неандерталец на междугородный автобус! Инструкций у них нет, что ли? Читали бы хоть комиксы для повышения квалификации. Раскроешь с такими преступление, как же!»

Его разобрало зло. Он подошел вплотную к человеку.

— Послушайте, почему вас не сменяют? Разве на сыщиков не распространяется закон о семичасовом рабочем дне?

Тот удивленно поднял брови.

— Валя...— услышал аспирант мягкий баритон.— Валентин... разве ты меня не узнаешь?

— Гм...— Кривошеин заморгал, вгляделся и присвистнул.— Так это же... стало быть, вы дубль Адам-Геркулес? Вот оно что! А я-то думал...

— А... вы, выходит, не Кривошеин? То есть Кривошеин, но... из Москвы?

— Точно. Ну, здравствуйте... здравствуй, Валька-Адам, пропавшая душа!

— Здравствуй.

Они стиснули друг другу руки. Кривошеин рассматривал обветренное загорелое лицо Адама: черты его были грубы, но красивы. «Все-таки хорошо Валька постарался, смотри-ка!» Только в светлых глазах за выгоревшими ресницами пряталась робость.

— Много теперь будет Кривошеиных Валентинов Васильевичей.

— Можешь звать меня Адамом. Я возьму себе это имя.

— Где же ты был, Адам?

— Во Владивостоке, господи...— Тот усмехнулся, как бы сомневаясь в своем праве шутить.— Во Владивостоке и около.

— Ну? Здорово! — Кривошеин с завистью посмотрел на него.— Монтировал в портах оборудование?

— Не совсем. Взрывал подводные скалы. Вот... вернулся работать.

— А не страшно?

Адам прямо посмотрел на Кривошеина.

— Страшно, но... понимаешь, есть идея. Попробовать вместо синтеза искусственных людей преобразовывать в «машине-матке» обычных. Ну... погружаться в жидкость, воздействовать внешней информацией... наверное, можно, а?

Адам все-таки робел, понимал, что робеет, и досадовал, что из-за этого выношенная им идея выразилась так нескладно.

— Хорошая идея,— сказал аспирант. Он с новым любопытством поглядел на Адама. «В сущности, не такие мы и разные. Или это внутренняя логика открытия?» — Только уже было, Валь. Погружали они в нашу родную стихию различные части тела. Кажется, уже погружались и целиком.

— И получается?

— Получается... только с последним опытом еще не ясно.

— Так это же здорово! Понимаешь... ведь это... тогда можно устроить ввод информации Искусства в человека с отбором по принципу обратной связи...— И Адам, все так же сбиваясь и робея, изложил Кривошеину свои мысли об облагораживании человека искусством.

Но аспирант понял.

— «Мы должны в своей работе исходить из того, что человек стремится к лучшему,— с улыбкой процитировал он запись из дневника Кривошеина,— из того, что никто или почти никто не хочет сознательно делать подлости и глупости, а происходят они от непонимания. В жизни все сложно, не сразу разберешь, скверно ты поступаешь или нет; это я и по себе знаю. И если дать человеку ясную и применимую к его психике, к его делам и поступкам информацию — что хорошо, что скверно, что глупо — и ясное понимание того, что любая его подлость или глупость рано или поздно по закону большого счета обернется против него же, тогда ни его, ни за него можно не опасаться. Такую информацию можно вводить и в «машину-матку»...»

— Как, и это уже было? — удивился Адам.

— Нет. Было лишь смутное понимание, что это нужно. Что без такой информации все остальное не имеет смысла... Так что твоя идея очень кстати. Она, как выражаются в академических кругах, заполняет пробел... Послушай! — вдруг взъярился Кривошеин.— И ты с такой идеей ходил за мной, как сыщик, слонялся под окнами! Не мог окликнуть или войти в квартиру?

— Понимаешь...— замялся Адам,— я ведь думал, что ты — это он. Проходишь мимо, не замечаешь, не признаешь. Подумал: не хочет видеть. У нас с ним тогда такое вышло...— Он опустил голову.

— Да... И в лаборатории не был?

— В лаборатории? Но ведь у меня нет пропуска. А документы — Кривошеина, там их знают.

— А через забор?

— Через забор...— Адам смущенно повел плечами: ему эта мысль и в голову не пришла.

— Человек вырабатывает небывалой дерзости замыслы и идеи, а в жизни... боже мой! — Кривошеин неодобрительно покачал головой.— Избавляться надо от этой гаденькой робости перед жизнью, перед людьми — иначе пропадем. И работа пропадет... Ну ладно,— он протянул ему ключи,— иди располагайся, отдыхай. Всю ночь вокруг да около бродил, надо же!

— А где... он?

— Хотел бы я сам знать: где он, что с ним? — Аспирант помрачнел.— Попробую выяснить все. Позже увидимся. Пока,— он улыбнулся.— Всё-таки здорово, что ты приехал.

«Нет, человека не так просто сбить с пути! — мысленно приговаривал Кривошеин, направляясь к институту.— Великое дело, большая идея могут подчинить себе все, заставят забыть и об обидах, и о личных устремлениях, и о несовершенстве... Человек стремится к лучшему, все правильно!»

Мимо мчались переполненные утренние троллейбусы и автобусы. В одном из них аспирант заметил Лену: она сидела у окна и рассеянно смотрела вперед. Он остановился на секунду, проводил ее взглядом. «Ах, Ленка, Ленка! Как ты могла?» Чтение дневника произвело на аспиранта действие, которое не произвело бы ни на кого другого: он будто прожил этот год в Днепровске. Сейчас он был просто Кривошеин — и сердце его защемило от воспоминания об обиде, которую ему (да, ему) нанесла эта женщина.

«...Я знаю, к чему идут наши исследования, не будем прикидываться: мне лезть в бак. Мы с Кравцом производим мелкие поучительные опыты над своими конечностями, я недавно даже срастил себе жидкой схемой порванную давным-давно коленную связку и теперь не прихрамываю. Все это, конечно, чудо медицины, но мы-то замахнулись на большее — на преобразование всего человека! Здесь мельчить нельзя, так мы еще 20 лет протопчемся около бака. И лезть именно мне, обычному естественному человеку,— Кравцу в баке уже делать нечего.

В сущности, предстоит испытать не «машину-матку» — себя. Все наши знания и наши приемы слова доброго не стоят, если у человека не хватит воли и решимости подвергнуть себя информационным превращениям в жидкости.

Конечно, я не вернусь из этой купели преобразившимся. Во-первых, у нас нет необходимой информации для основательных переделок организма и интеллекта человека; а во-вторых, для начала этого и не надо: достаточно испытать полное включение в «ма-

шину-матку», доказать, что это возможно, не опасно,— ну, и что-то в себе изменить. Так сказать, сделать первый виток вокруг Земли.

А это возможно? А это не опасно? Вернусь ли я из «купели», с орбиты, с испытаний — вернусь? Сложная штука «машина-матка» — сколько нового в ней открыли, а до конца ее не знаем... Что-то мне не по себе от блестящей перспективы наших исследований.

Мне сейчас самое время жениться, вот что. К черту осторожные отношения с Ленкой! Она мне нужна. Хочу, чтобы она была со мной, чтобы заботилась, беспокоилась и ругала, когда поздно вернусь, но чтобы сначала дала поужинать. И (поскольку с синтезом дублей уже все ясно) пусть новые Кривошеины появляются на свет не из машины, а благодаря хорошим, высоконравственным взаимоотношениям родителей. И пусть осложняют нам жизнь — я «за»! Женюсь! Как мне это раньше в голову не пришло?

Правда, жениться сейчас, когда мы готовим этот эксперимент... Что ж, в крайнем случае останется самая прочная память обо мне: сын или дочь. Когда-то люди уходили на фронт, оставляя жен и детей,— почему мне нельзя поступить так сейчас?

Возможно, это не совсем благонамеренно: жениться, когда есть вероятность оставить вдову. Но пусть меня осудят те, кто шел или кому идти на такое. От них я приму».

«12 мая.

— Выходи за меня замуж, Ленка. Будем жить вместе. И пойдут у нас дети: красивые, как ты, и умные, как я. А?

— А ты действительно считаешь себя умным?

— А что?

— Был бы ты умный, не предложил бы такое.

— Не понимаю...

— Вот видишь. А еще рассчитываешь на умных детей.

— Нет, ты объясни: в чем дело? Почему ты не хочешь выйти за меня?

Она воткнула в волосы последнюю шпильку и повернулась от зеркала ко мне.

— Обожаю, когда у тебя так выпячиваются губы. Ах ты мой Валька! Ах ты мой рыжий! Значит, у тебя прорезались серьезные намерения? Ах ты моя прелесть!

— Подожди! — Я высвободился.— Ты согласна выйти за меня?

— Нет, мой родненький.

— Почему?

— Потому что разбираюсь в семейной жизни чуть больше тебя. Потому что знаю: ничего хорошего у нас не получится. Ты вспомни: мы хоть раз о чем-нибудь серьезном говорили? Так — встречались, проводили время... Вспомни: разве не бывало, что я прихожу к тебе, а ты занят своими мыслями, делами и не рад, даже недоволен,

что я пришла? Конечно, ты делаешь вид, стараешься вовсю, но ведь я чувствую... А что же будет, если мы все время будем вместе?

— Значит... значит, ты меня не любишь?

— Нет, Валечка,— она смотрела на меня ясно и печально.— И не полюблю. Не хочу полюбить. Раньше хотела... Я ведь, если по совести, с умыслом с тобой сблизилась. Думала: этот тихий да некрасивый будет любить и ценить... Ты не представляешь, Валя, как это мне было нужно: отогреться! Только не отогрелась я возле тебя. Ты ведь меня тоже не очень любишь... Ты не мой, я вижу. У тебя другая: Наука! — Она зло рассмеялась.— Тоже напридумывали себе игрушек: наука, техника, политика, война, а женщина так, между прочим. А я не хочу между прочим. Известно: мы, бабы, дуры — все принимаем всерьез, в любви меры не знаем и ничего с собой поделать не можем...— Ее голос задрожал, она отвернулась.— Я бы тебе это все равно сказала... Ошиблась ты снова, Ленка!

Впрочем, подробности ни к чему. Я ее выгнал. Вот сижу, отвожу душу с дневником.

Значит, все было по расчету. «Не люби красивенького, а люби паршивенького». Загорелось мне создать здоровую семью...

Холодно. Ох, как холодно!..

«А за что меня любить Фраските? У меня и франков...» Ну, ты брось! Ленка не такая. А какая? И в общем она верно сказала: разве я этого сам не понимал? Еще как! Но раньше меня устраивали такие легкие отношения с ней... «Вас устроит»? — как говорят в магазинах, предлагая маргарин вместо сливочного масла.

Ничто в жизни не проходит даром. Вот я и сам изменился, осознал, а она все долбает... Поддался книжной иллюзии, чудак. Захотел отогреться.

И это все. Ничего больше в моей жизни не будет. Такую, как Ленка, мне не найти. А на дешевые связи я не согласен.

Не захотела Лена стать моей вдовой.

Холодно...

Мы утратили непосредственность, способность поступать по велению чувств: верить без оглядки — потому что верилось, любить — потому что любилось. Возможно, так вышло потому, что каждый не раз обжегся на этой непосредственности, или потому, что в театре и в кино видим, как *делаются* все чувства, или от сложности жизни, в которой все обдумать и рассчитать надо,— не знаю. «Нежность душ, разложенная в ряд Тейлора...» Разложили...

Теперь нам надо заново разумом постигнуть, насколько важны цельные и сильные чувства в жизни человека. Что ж, может быть, и хорошо, что это требуется доказать. Это можно доказать. И это будет доказано. Тогда люди обретут новую, упрочненную рассудком

естественность чувств и поступков, поймут, что иначе — не жизнь.

А пока — холодно...

Ах, Ленка, Ленка, бедная, запуганная жизнью девочка! Теперь я, кажется, в самом деле тебя люблю».

В половине девятого утра к лаборатории новых систем подошел следователь Онисимов. Дежурный старшина Головорезов сидел на самом солнцепеке на крыльце флигеля, привалившись к дверям,— фуражка надвинута на глаза. Вокруг раскрытого рта и по щекам ползали мухи. Старшина подергивал мускулами лица, но не просыпался.

— Сгорите на работе, товарищ старшина,— строго произнес Онисимов.

Дежурный сразу проснулся, поправил фуражку, встал.

— Так что все спокойно, товарищ капитан, ночью никаких происшествий не было.

— Понятно. Ключи при вас?

— Так точно,— старшина вытащил из кармана ключи.— Как мне их вручили, так они и при мне.

— Никого не впускайте.

Онисимов отпер дверь флигеля, захлопнул ее за собой. Легко ориентируясь в темном коридоре, заставленном ящиками и приборами, нашел дверь в лабораторию.

В лаборатории он внимательно огляделся. На полу застыли желеобразные лужи, подсохшие края их заворачивались внутрь. Шланги «машины-матки» вяло обвисали вокруг бутылей и колб. Лампочки на пульте электронной машины не горели. Рубильники электрощита торчали вбок. Онисимов с сомнением втянул в себя тухловатый воздух, крутнул головой: «Эге!» Потом снял синий пиджак, аккуратно повесил его на спинку стула, закатал рукава рубашки и принялся за работу.

Прежде всего он промыл водой, поднял и поставил на место тефлоновый бак, свел в него отростки шлангов и концы проводов. Потом обследовал силовой кабель, нашел внизу, на стыке стены и пола, разъеденное кислотами и обгорелое место короткого замыкания: взял в вытяжном шкафу резиновые перчатки, добыл из слесарного стола инструменты, вернулся к кабелю и принялся зачищать, скручивать, забинтовывать изолентой оплавленные медные жилы.

Через несколько минут все было сделано. Онисимов, отдуваясь, разогнулся, врубил электроэнергию. Негромко загудели трасформаторы ЦВМ-12, зашуршали вентиляторы, обдувки, взвыл, набирая обороты, мотор вытяжки. На пульте электронной машины беспо-

рядочно замерцали зеленые, красные, синие и желтые лампочки.

Онисимов, покусывая от волнения нижнюю губу, набрал большую колбу воды из дистиллятора, стал доливать ее во все бутыли; достал из стола Кривошеина лабораторный журнал и, справляясь по записям, принялся досыпать в колбы и бутыли реактивы. Окончив все это, стал посреди комнаты в ожидании.

Трепещущий свет сигнальных лампочек перекидывался от края к краю пульта, снизу вверх и сверху вниз — метался, как на взбесившейся светорекламе. Но постепенно бессистемные мерцания стали складываться в рисунок из ломаных линий. Зеленые прямые оттеняли синие и желтые. Мерцание красных лампочек замедлилось: вскоре они погасли совсем. Онисимов напряженно ждал, что вот-вот в верхней части пульта вспыхнет сигнал «Стоп!». Пять минут, десять, пятнадцать — сигнал не вспыхнул.

— Кажется, работает...— Онисимов крепко провел ладонью по лицу.

Теперь надо было ждать. Чтобы не томиться попусту, он налил в ведро воды, нашел в коридоре тряпки и вымыл пол. Потом обмотал изолентой оборванные концы проводов от «шапки Мономаха»; прочел записи в журнале, приготовил еще несколько растворов, долил в бутылки. Делать больше было нечего.

В коридоре послышались шаги. Онисимов резко повернулся к двери. Вошел старшина Головорезов.

— Товарищ капитан, там ученый секретарь Хилобок просится войти, говорит, что у него к вам разговор. Впустить?

— Нет. Пусть подождет. У меня к нему тоже разговор.

— Слушаюсь,— старшина ушел.

«Что ж, придется поговорить и с Гарри,— усмехнулся Онисимов.— Самое время напомнить ему недавние события».

«...17 мая. А ведь слукавил тогда Гарри Харитонович, что-де некогда ему диссертацию писать! Слукавил. Вчера, оказывается, состоялась предварительная защита его докторской на закрытом заседании нашего ученого совета. У нас, как и во многих других институтах, заведено: прежде чем выпускать диссертанта во внешние сферы, послушать его в своем кругу. На днях будет официальная защита в ленкином КБ.

Ой, неспроста Гарри лукавит! Что-то в этом есть».

«18 мая. Сегодня я постучал в окошечко, возле которого некий институтский поэт, на всякий случай пожелавший остаться неизвестным, написал карандашом на стене:

Первой формы будь достоин.
Враг не дремлет!

Майор Пронин

Я как раз достоин. Поэтому Иоганн Иоганнович впустил меня в закрытую читальню и выдал для ознакомления экземпляр диссертации к. т. н. Г. Х. Хилобока на соискание ученой степени доктора технических наук на тему... впрочем, об этом нельзя.

Ну, братцы... Во-первых, упомянутая тема вплотную примыкает к той разработке блоков памяти, которую когда-то вели мы с Валеркой, и получается, что Гарри был едва ли не автор и руководитель ее; прямо это не сказано, но догадаться можно. Во-вторых, он предался вольной импровизации в части истолкования и домысливания полученных результатов и основательно заврался. В-третьих, у него даже давно известные факты, установленные зарубежными системотехниками и электронщиками, идут за фразой «Исследованиями установлено...». Как же наш ученый совет-то пропустил такое? Месяц май, половина людей в командировках и отпусках.

Нет, это ему так не пройдет».

«19 мая.

— Ты арифметику знаешь? — спросил Кравец, когда я изложил ему суть дела и свои намерения.

— Знаю, а что?

— Тогда считай: два дня на подготовку к участию в защите плюс день защиты... плюс месяц нервотрепки после нее — ты ведь не маленький, знаешь, что такие штуки даром не проходят. Что больше весит: месяц наших исследований, результаты которых со временем повлияют на мир сильней всей нынешней техники, или халтурная диссертация, которая ни на что не повлияет? Одной больше, одной меньше — и все.

— М-да... а теперь я тебе расскажу другую арифметику. Вот мы с тобой одинаковые люди и одинаковые специалисты, кое в чем ты даже меня превосходишь. Но если я сейчас пойду к тому же ученому секретарю Хилобоку и, не особенно утруждая себя обоснованиями, заявлю ему, что практикант Кравец глуп, не разбирается в азах вычислительной техники (даже арифметику знает слабо), портит приборы и тайком пьет спирт... что будет с практикантом Кравцом? Вон из института и вон из общежития. И пропал практикант. Никому он ничего не докажет, потому что он всего лишь студент. Вот такую же силу по сравнению с нами наберет Хилобок, став доктором наук. Я тебя убедил?

Я его настолько убедил, что он тут же отправился в библиотеку подбирать выписки из открытых литературных источников.

Могу и еще обосновать: нам надо думать не только об исследованиях, но и о том, что когда-то придется защищать правильные применения открытия. А это мы не умеем. Этому надо учиться.

Да к черту осторожные обоснования! В конце концов живу я на свете или мне это только кажется?»

«22 мая. Все началось обыкновенно. В малом зале КБ собралась

небольшая, но представительная аудитория. Гарри Харитонович приколол к доске листы ватмана с разноцветными схемами и графиками, картинно стал возле и произнес положенную двадцатиминутную речь. Допущенные слушали, испытывая привычную неловкость. Одни совсем не понимали, о чем речь; другие кое-что понимали, кое-что нет; третьи все понимали: и кто такой Гарри Хилобок, и что у него за работа, и почему он ее засекретил... Но каждый уныло думал, что нечего соваться в чужой огород, да и достаточно ли он сам совершенен, чтобы критиковать других? Обычные сонные размышления, благодаря которым в науку прошмыгнула уже не одна тысяча бездарей и пройдох.

Гарри кончил. Председательствующий прочел отзывы. Приятные отзывы, ничего не скажешь (кто же станет неприятные представлять на защиту?). Для меня серьезной неожиданностью было лишь то, что и Аркадий Аркадьевич дал отзыв. Затем были выступления официальных оппонентов. Известно, что такое официальный оппонент: он, чтобы оправдать свое название, отмечает некоторые недоделки, некоторые несоответствия, «а в целом работа соответствует... автор заслуживает...». Впрочем, не буду грешить: оппонент из Москвы очень квалифицированно поиздевался над всеми положениями диссертации и дал понять, что ее можно раздолбать, но он сделал это настолько тонко и осторожно, что его вряд ли понял сам Гарри; «а в целом работа заслуживает...».

И наконец: «Кто желает выступить?» Обычно к этому времени все чувствуют отвращение к происходящему, никто ничего не желает, диссертант благодарит — все.

Завлабораторией В. Кривошеин сделал глубокий вдох и выдох (к этому времени я осознал, что скандал получится серьезный) и поднял руку. Гарри Харитонович был неприятно поражен. Я, как и он, говорил 20 минут и в развитие своих доводов передавал членам совета журналы, монографии, брошюры, в которых излагались без ссылок на Хилобока защищаемые им результаты; затем воспроизвел на доске его схему... неважно, чего именно, тем более что единственным достоинством ее была «оригинальность», и доказал, что поскольку... то схема на частотах требуемого диапазона работать не будет. В зале стало шумно.

Затем выступил кандидат наук В. Иванов, прилетевший (не без моего звонка) из Ленинграда. Он тоже уточнил приоритетные данные и разобрал «оригинальную» часть диссертации; речь Валерки была исполнена эрудиции и тонкого юмора. В зале стало еще бодрее — и пошло!

Мой старый знакомец Жалбек Балбекович Пшембаков стал уточнять у Гарри: как же в схеме № 2 осуществляется... (об этом тоже не стоит). Хилобок не знал как, но попытался отбиться порцией разжижающей мозги болтовни. За ним вступили в интерес-

ный разговор другие работники КБ. В заключение выступил главный инженер КБ, профессор и лауреат... (его фамилию не рекомендовано упоминать всуе). «Мне с самого начала казалось, что здесь что-то не то»,— начал он.

Словом, не помогла Хилобоку первая форма: раздолбали его диссертацию, как бог черепаху! На Гарри жалко было смотреть. Все расходились по своим делам, а он скалывал с доски роскошные ватманы — и упругие листы, свертываясь, били его по усам. Я подошел помочь.

— Спасибо уж, не надо,— пробурчал Хилобок.— Что — довольны? Сами не защищаетесь и другим не даете. Легко живете, Валентин Васильевич, природа наделила вас способностями...

— Хорошенькое дело, легко! — опешил я.— Зарплата в два раза меньше, чем у вас, отпуск тоже. А работы и забот сверх головы...

— Сами себе прибавляете забот-то, зачем вам было в это дело вмешиваться? — Гарри, сворачивая листы, взглянул на меня многообещающе и зло.— Об институте надо думать, не только о себе да обо мне... Ну да не здесь нам об этом говорить!

Это уж как водится. Но все равно: я сейчас себя удивительно хорошо чувствую. Такое ощущение, что сделал если не более значительное, то, несомненно, более нужное дело, чем наше открытие: прищемил гада. Значит, можно? И не так страшно, как казалось. Теперь и за будущее нашей работы как-то не так опасаюсь. Можно одолевать и такие проблемы».

— А на работу это все-таки повлияло...— пробормотал Онисимов-Кривошеин, наблюдая за «машиной-маткой».— Э, да что только не влияет на работу!

«29 мая. Сегодня был вызван пред светлы очи Азарова. Он только вернулся из командировки.

— Вы понимаете, что вы наделали?

— Но, Аркадий Аркадьевич, ведь диссертация...

— Речь идет не о диссертации Гарри Харитоновича, а о вашем поведении! Вы подорвали престиж института, да как подорвали!

— Я высказал свое мнение.

— Да, но *где* высказали? *Как* высказали?! Неужели трудно понять, что во внешней организации вы не просто инженер, который стремится свести... э-э... научные счеты с кем-то (ну, Гарри, накапал!), а представитель Института системологии! Почему вы не высказали свое мнение на предварительной защите?

— Я не знал о ней.

— Все равно вы могли даже после нее изложить свое мнение

моему заместителю — оно было бы учтено! (Это Вольтамперновым-то!)

— Оно не было бы учтено.

— Я вижу, мы не договоримся. Какие у вас планы на дальнейшее?

— Увольняться не собираюсь.

— Я вам этого и не предлагаю. Но мне кажется, что вам еще рано руководить лабораторией. Ученый, работающий в коллективе, должен учитывать интересы коллектива и, уж во всяком случае, не наносить ему вред своими действиями. Полагаю, что на предстоящем конкурсе вам трудно будет пройти на должность заведующего лабораторией... Все. Я вас не задерживаю.

Вот так. Сейчас по всему институту раздается оскорбленное индюшиное болботанье: «Инженер против кандидата! Супротив доктора!» Стараниями Гарри дело представляется так, будто я сводил с ним счеты. Вспоминают старые мои грехи: выговор, аварию в лаборатории Иванова (завхоз Матюшин носится с идеей взыскать с меня деньги за нанесенный ущерб). Спохватились, что я не представил годовой отчет о работе, хотя тема 154 кончается лишь в этом году. Поговаривают, что надо образовать комиссию по проверке работы лаборатории.

Недоброжелатели кричат, доброжелатели шепчут сочувственно и с оглядочкой: «Здорово ты Хилобока приделал... Так ему, болвану, и надо... Ну, теперь тебя съедят...» И советуют, куда перейти. «Так вы бы вступились!» — «Ну видишь ли...— разводит руками тот же теплый парень Феня Загребняк.— Что я могу? Это же не моя специальность...»

Всё-таки гнусная жизнь у узкого специалиста. Сытая, обеспеченная, но гнусная. Все его жизненные интересы сосредоточены вокруг каких-нибудь там элементов пассивной памяти, да и то не любых элементов, а на криотронах, да и то не на любых криотронах, а пленочных, да и то не из любых пленок, а только из свинцово-оловянных... Рабочий, крестьянин, техник, инженер широкого профиля, учитель и даже канцелярист могут найти приложение своим силам и знаниям во множестве занятий, предприятий и учреждений, а этими треклятыми пленками занимаются в двух-трех институтах на весь Союз. Куда деваться в случае чего бедному Фене? Сиди и не чирикай... В сущности, узкая специализация — это способ самопорабощения.

Поэтому у нас, в среде узких специалистов, почти никогда не бывает, чтоб все за одного (кроме случаев, когда этот один — Азаров); все на одного — это другое дело, это легче. Поэтому и разгораются страсти при каждом нарушении научной субординации. «Это ж каждого так могут провалить!» — возопил Вольтамперов. И пошло...

Ладно, перетерпим. Выстоим. Главное — дело сделано. Я ведь знал, на что иду. Но противно. Сил нет как противно...»

Онисимов погасил папиросу, впился взглядом в машину. В расположении шлангов что-то медленно и неощутимо изменилось. Они будто напряглись. По некоторым прошла дрожь сокращений. И — Онисимов даже вздрогнул — первая капля из левого темно-серого шланга звонко ударилась о дно бака.

Онисимов приставил к баку лесенку, взобрался по ней. Подставил ладонь под шланг. За минуту в нее набралась лужица густой золотистой жидкости. Под ней, как под увеличительным стеклом, вырисовывались линии кожи. Он сосредоточился: кожа исчезла, обнажились красные волоконца мышц, белые косточки фаланг, тяжи сухожилий... «Ах, если бы они это знали и умели,— вздохнул он,— опыт пошел бы не так. Не знали... И это повлияло».

Он выплеснул жидкость в бак, опустился на пол, вымыл руку под краном. Звон капель из всех шлангов теперь звучал по-весеннему весело и дробно.

— Работает! Крепка же ты, машина,— с уважением сказал Онисимов-Кривошеин.— Крепка, как жизнь.

Ему явно не хотелось уходить из лаборатории. Но, взглянув на часы, он заспешил, надел пиджак.

— Доброе утро, Матвей Аполлонович! — радостно приветствовал его Хилобок.— Уже работаете? Я вот вас дожидаюсь, сообщить хочу.— Он приблизил усы к уху Онисимова.— Вчера в квартиру Кривошеина эта... женщина его бывшая приходила, Елена Ивановна Коломиец, что-то взяла и ушла. И еще кто-то там был, всю ночь свет горел.

— Понятно. Хорошо, что сообщили. Как говорится, правосудие вас не забудет.

— Что ж, я всегда пожалуйста. Мой долг!

— Долг-то долг,— голос Онисимова стал жестким,— а не движут ли вами, гражданин Хилобок, какие-либо иные привходящие мотивы?

— То есть какие такие мотивы?

— Например, то, что Кривошеин провалил вашу докторскую диссертацию.

Лицо Гарри Харитоновича на мгновение раскисло, но тут же выразило оскорбленность за человечество.

— Вот люди, а! Уже успел кто-то сообщить... Ну, что у нас за народ такой, вы подумайте, ах ты, ей-богу! Ну, что вы, Матвей Аполлонович, как вы могли сомневаться, я от чистого сердца! Да не так уж сильно повлиял Кривошеин на защите, как вам рассказали, там посерьезней его специалисты были, и одобряли многие, а он, известно, завидовал, ну и, конечно, порекомендовали доработать, ничего особенного, скоро снова буду представлять... Ну,

впрочем, если у вас ко мне есть недоверие, то смотрите все сами, мое дело сказать, а там... Всего вам доброго!

— Всего хорошего.

Гарри Харитонович удалился вне себя: и с того света достает его Кривошеин!

— Крепко вы его, товарищ капитан! — одобрил старшина Головорезов.

Онисимов не услышал. Он задумчиво смотрел вслед Хилобоку.

«...Все одно к одному. Поневоле раздумаешься: а стоит ли? Давай напрямую, Кривошеин: ведь можешь гробануться в этом опыте. Очень просто, по своей же статистике удачных и неудачных опытов. Наука наукой, методика методикой, но с первого разу никогда как следует не получается — закон старый. А ошибка в этом опыте — не испорченный образец.

Ведь выходит, что я полезу в бак просто как узкий специалист по этому делу.

Такая у меня специальность — как у Фени Загребняка криотронные пленки. Но могу и не лезть, никто не заставит... Смешно: просто из-за неудачно сложившейся специальности погружаться в сомнительную среду, которая запросто растворяет живые организмы!

Из-за людей? Да ну их! Что мне — больше других надо? Буду жить спокойно и для себя. И будет хорошо.

...И все станет ясно — последней холодной ясностью подлеца. И всю жизнь придется оправдывать свое отступление тем, что все люди такие, не лучше тебя, а еще хуже, все живут только для себя.

И придется поскорее избавиться от всех надежд и мечтаний о лучшем, чтобы не напоминали они тебе: ты продал! Ты продал и не вправе ждать от людей ничего хорошего.

И тогда совсем холодно станет жить на свете...»

Старшина Головорезов что-то спрашивал.

— Что?

— Я говорю, смена скоро будет, товарищ капитан? Ведь в двадцать два ноль-ноль заступил.

— Неужели не выспались? — весело сощурил на него глаза Онисимов.— Час-полтора еще поскучать вам придется, потом снимут — обещаю. Ключи я возьму с собой, так надежнее. Никого сюда не пускайте!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

> И у Эйнштейна были начальники, и у Фарадея, и у Попова... но о них почему-то никто не помнит. Это есть нарушение субординации!
>
> *К. Прутков-инженер, мысль № 40*

Окна кабинета Азарова выходили в парк. Были видны верхушки лип и поднимающийся над зеленью серый в полосах стекла параллелепипед нового корпуса. Аркадию Аркадьевичу никогда не надоедало любоваться этим пейзажем. По утрам это помогало ему прогнать неврастению, прибавляло сил. Но сегодня, взглянув в окно, он только кисло поморщился и отвернулся.

Возникшее вчера чувство одиночества и какой-то вины не проходило. «Э! — попытался отмахнуться Азаров.— Когда кто-то умирает, чувствуешь себя виноватым уже оттого, что остался жив. Особенно если покойник моложе тебя. А одиночество в науке естественно и привычно для каждого творческого работника. Каждый из нас знает все ни о чем — и каждый свое. Понять друг друга трудно. Поэтому мы часто заменяем взаимопонимание молчаливым согласием не вникать в дела других... Но что же знал он? Что делал он?»

— Можно? Доброе утро, Аркадий Аркадьевич! — Хилобок приблизился по ковру, распространяя запах одеколона.

...Намек Онисимова взволновал Гарри Харитоновича; ему пришло в голову, что могут истолковать, будто он сводил счеты с Кривошеиным из-за диссертаций, будто травил его и тем способствовал его смерти. «Известно, когда человек погиб, всегда виноватого ищут. А у нас могут, у нас народ такой...» — затравленно думал доцент. Он еще не знал точно: чего и кого именно ему нужно бояться, но бояться надо было, чтобы не дать маху.

— Так, значит, я вот подготовил проектик приказа, Аркадий Аркадьевич, относительно происшествия с Кривошеиным, чтобы, значит, все у нас относительно него... и этого происшествия было оформлено как полагается. Здесь всего два пункта: относительно комиссии и относительно прикрытия лаборатории, ознакомьтесь, пожалуйста, Аркадий Аркадьевич, если вы не возражаете...

Хилобок склонился над лакированным столом, положил перед академиком лист бумаги с машинописным текстом.

— Так, значит, в состав комиссии по расследованию этого происшествия я записал товарища Безмерного, инженера по технике безопасности, ему по штату такими делами положено заниматься, хе-хе... Ипполита Илларионовича Вольтампернова — как специалиста по электронной технике, Аглаю Митрофановну Гаражу — как члена месткома по охране труда, Людмилу Ивановну из

канцелярии в качестве технического секретаря комиссии... ну, и сам возглавлю, если вы, Аркадий Аркадьевич, не будете возражать, возьму на себя и эту обузу, хе-хе! — Он осторожно взглянул на академика.

Аркадий Аркадьевич рассматривал своего верного ученого секретаря. Доцент был, как всегда, тщательно выбрит и отутюжен, тонкий алый галстук струился по накрахмаленной рубашке, как кровь из перерезанного воротником горла, но почему-то и вид, и хорошо поставленный голос Гарри Харитоновича внушали академику глухое отвращение. «Этот легкий трепет передо мной... эта нарочитая унтер-офицерская придурковатость... Ведь понятен ты, Гарри Харитонович, насквозь понятен! Может, именно потому я и держу его при себе, что он понятен? Потому что от него нельзя ждать ничего неожиданного и великого? Потому что цели его ясны? Когда цели функциональной системы понятны, ее поведение в тысячи раз легче предвидеть, чем когда цели неизвестны,— есть такое положение в системологии... Или мне просто нравится ежедневно осознать себя в сравнении с ним? Может быть, именно от этого и возникает одиночество, что окружаем себя людьми, над которыми легко возвыситься?»

— И второй пункт насчет прикрытия, так сказать, приостановки работ в лаборатории новых систем на время работы комиссии... Ну, а после комиссии уж будет ясно, как нам с этой лабораторией решить дальше: расформировать или придать другому отделу какому-нибудь...

— Работы там прекратились естественным образом, Гарри Харитонович,— невесело усмехнулся Азаров.— Некому там теперь работать. И расформировывать некого...— В памяти снова вырисовался труп Кривошеина с выкаченными глазами и скорбным оскалом. Академик помассировал пальцами виски, вздохнул.— Впрочем, я в принципе принимаю вашу идею о комиссии. Только состав ее следует несколько откорректировать.— Он придвинул к себе листок, раскрыл авторучку.— Ипполита Иларионовича можно оставить, инженера по технике безопасности тоже, технический секретарь тоже нужен. А прочих не надо. Возглавлю комиссию я сам, возьму, как вы выразились, на себя эту обузу, чтоб вас не утруждать. Хочу как следует разобраться, что делал Кривошеин.

— А... а я? — упавшим голосом спросил ученый секретарь.

— А вы занимайтесь своими обязанностями, Гарри Харитонович.

Хилобок почувствовал себя совсем скверно: страхи оправдывались. «Отстраняет!» Сейчас он боялся и ненавидел мертвого Кривошеина больше, чем живого.

— Вот! Вот, пожалуйста, доработался он, а? — Хилобок пригорюнился, склонил голову к плечу.— Хлопот теперь сколько! Ах, Ар-

кадий Аркадьевич, разве я не вижу, как вы переживаете, разве я не понимаю! Но стоит ли вам самим отвлекаться, расстраиваться... Это же по всему городу пойдет, будут говорить, что в Институте системологии у Азарова опять... и что он-де стремится это дело смазать — вы же знаете, какой народ теперь пошел. Ах, этот Кривошеин, этот Валентин Васильевич! Я ли не говорил вам, Аркадий Аркадьевич, я ли не предсказывал, что от него никакой пользы, кроме вреда и неприятностей, не будет! Не надо было вам, Аркадий Аркадьевич, поддерживать его тему...

Азаров слушал, морщился и чувствовал, как его мозгом овладевает — будто снова возвращалась неврастения — привычное безнадежное оцепенение. Подобная одурь всегда одолевала его при продолжительном разговоре с Хилобоком и заставляла его соглашаться с ним. Сейчас же в голове академика вертелась странная мысль, что наибольшего умственного усилия требуют, пожалуй, не математические исследования, а умение противостоять такой болтовне.

«А почему бы мне не выгнать его? — неожиданно пришла в голову еще одна мысль.— Выгнать прочь из института, и все. В конце концов это унизительно... Да, но за что? Со своими обязанностями он справляется, имеет 18 печатных трудов, десять лет научного стажа, прошел по конкурсу (правда, другой кандидатуры не было) — не к чему придраться! И этот несчастный отзыв я ему дал на диссертацию... Выгнать просто за глупость и бездарность? Ну... это был бы чрезвычайный прецедент в науке».

— Заказы заказывал, материалы и оборудование использовал, отдельное помещение занимал, два года работал — и вот, нате вам, пожалуйста! — распалялся от собственных слов Хилобок.— А как он на защите-то... ведь не только меня он осрамил — меня-то что, ладно, но ведь и вас, Аркадий Аркадьевич, вас!.. Вот будь на то моя воля, Аркадий Аркадьевич, я бы этому Кривошеину за то, что он такое сотворил ухитриться... то есть ухитрил сотвориться — тьфу, простите! — сотворить ухитрился... я бы ему за это!..— Доцент навис над столом, в его карих глазах сиял нестерпимый блеск озарения.— Вот жаль, что у нас принято лишь награждать посмертно, объявления да некрологи всякие, «де мортуис аут бене, аут нихиль», понимаете. Вот вынести бы Кривошеину выговор посмертно, чтоб другим неповадно было! Да строгий! Да с занесением...

— ...на надгробие. Это мысль! — добавил голос за его спиной.— Ох, и гнида же вы, Хилобок!

Гарри Харитонович распрямился так стремительно, будто ему всадили заряд соли пониже спины. Азаров поднял голову: в дверях стоял Кривошеин.

— Здравствуйте, Аркадий Аркадьевич, извините, что я без доклада. Разрешите войти?

— Здр... здравствуйте, Валентин Васильевич! — Азаров поднялся из-за стола. У него вдруг сумасшедше заколотилось сердце.— Здравствуйте... уфф, значит, вы не... рад вас видеть в добром здравии! Проходите, пожалуйста!

Кривошеин пожал мужественно протянутую академиком руку (тот с облегчением отметил, что рука была теплая), повернулся к Хилобоку. У Гарри беззвучно открылся и закрылся рот.

— Гарри Хатонович, не оставите ли вы нас одних? Вы меня премного обяжете.

— Да, Гарри Харитонович, идите,— подтвердил Азаров.

Хилобок попятился к выходу, звучно стукнулся затылком о стену, нашарил рукой дверь и выскочил прочь.

Опомнившись от неожиданности, Аркадий Аркадьевич сделал глубокий вдох и выдох, чтобы успокоить сердце, сел на директорское место и почувствовал раздражение. «Выходит, я оказался жертвой какого-то розыгрыша?!»

— Не будете ли вы столь любезны, Валентин Васильевич, объяснить мне, что все это значит?! Что это за история с вашим, простите, трупом, скелетом и прочим?

— Ничего криминального, Аркадий Аркадьевич. Вы разрешите? — Кривошеин опустился в кожаное кресло возле стола.— Самоорганизующаяся машина, об идее которой я докладывал на ученом совете прошлым летом, действительно смогла развиваться... и развилась до стадии, на которой попыталась создать человека. Меня. Ну, и, как водится, первый блин комом...

— Да, но почему я ничего об этом не знал?! — вне себя спросил Азаров, вспомнив о позавчерашнем унизительном разговоре со следователем и о прочих переживаниях этих дней.— Почему?

Кривошеина охватило бешенство.

— Черт побери! — Он яростно подался вперед, стукнул кулаком по мягкому валику кресла.— А почему вы не спросите, как мы это *сделали? Как нам удалось такое? Почему вас в первую очередь* занимает личный престиж, субординация, отношения других к вашему директорскому «я»?

Сообщение Кривошеина сначала дошло до Азарова в самом общем виде: получен некий результат. Мало ли о каких результатах сообщали ему заведующие отделами и лабораториями, сидя вот так же напротив в кожаном кресле! И только с изрядной задержкой Аркадий Аркадьевич начал постигать, *какой* это результат. Мир пошатнулся и на минуту стал нереальным. «Не может быть! Да нет, в том-то и дело, что может... Тогда все сходится и становится объяснимым».

Академик заговорил другим тоном.

— Безусловно, это... это грандиозно. Приношу свои поздравления, Валентин Васильевич. И... извинения. Я погорячился, вышло

неловко. Тысяча извинений! Это действительно очень большое... э-э... изобретение, хотя идеи о передаче и синтезе информации, заложенной в человеке, высказывались еще покойным Норбертом Винером. (Кривошеин усмехнулся.) Впрочем, это, разумеется, не умаляет.. Я помню вашу идею, видел позавчера в лаборатории некоторые... э-э... результаты работы. Поскольку я сам в определенной мере причастен к системологии (Кривошеин снова усмехнулся), то, следовательно, достаточно подготовлен, чтобы принять то, что вы сказали. Разумеется, я от души поздравляю вас! Но согласитесь, Валентин Васильевич, что это счастливое для науки событие могло бы носить менее озадачивающий и даже в известной мере скандальный характер, если бы вы в течение последнего года работы держали меня в курсе дела.

— К вам трудно попасть на прием, Аркадий Аркадьевич.

— Гм... позвольте все же не считать ваш довод основательным, Валентин Васильевич! — Азаров нахмурил брови.— Я допускаю, что вас унижает процедура приема (хотя все сотрудники института проходят через нее, да и мне самому приходится подвергаться ей в различных инстанциях). Но вы могли мне позвонить, оставить записку (не обязательно докладную по установленной форме), посетить меня на квартире, наконец!

Аркадий Аркадьевич все-таки не мог подавить в себе оскорбленности. «Вот так... работаешь, работаешь!» — вертелось у него в голове. С давней поры, с тех времен, когда его неудачный опыт с гелием в руках другого исследователя обернулся открытием сверхтекучести, Аркадий Аркадьевич таил в себе надежду увидеть, найти и понять новое в природе, в мире. Он мечтал об открытии сладостно и боязливо, как мальчишка о потере невинности. Но не везло. Другим везло, а ему нет! Была квалифицированная, нужная, отмеченная многими премиями и званиями работа, но не было открытия — вершины познания.

И вот во вверенном ему институте сделалось без него и прошло мимо него огромное открытие, по сравнению с которым и его деятельность, и деятельность всего института кажется пигмейской! Обошлись без него. Более того: похоже, что его избегали. «Как же так? Что он — считал меня непорядочным человеком? Чем я дал повод так думать о себе?» Давно академику Азарову не приходилось испытывать таких сильных чувств, как сейчас.

— М-да... Разделяя вашу радость по поводу открытия, Валентин Васильевич,— продолжал академик,— я тем не менее озадачен и огорчен таким отношением. Возможно, это шокирующе звучит, но меня этот вопрос занимает не как ученого и не как вашего директора, а как человека: почему же так? Ведь вы не могли не понимать, что моя осведомленность о вашей работе не повредила бы, а только помогла бы вам: вы были бы обеспечены

надежным руководством, консультациями. Если бы я счел, что требуется усилить вашу тему работниками или снабжением, то было бы сделано и это. Так почему же, Валентин Васильевич? Я, конечно, не допускаю мысли, что вы опасались за свои авторские права...

— И тем не менее не удержались, чтобы не высказать такую мысль,— грустно усмехнулся Кривошеин.— Ну ладно. В общем-то хорошо, что вас данный факт занимает прежде всего как человека, это обнадеживает... Одно время мы колебались, рассказать вам о работе или нет, пытались встретиться с вами. Контакт не получился. А потом рассудили, что пока, на этапе поиска, так будет лучше.— Он поднял голову, посмотрел на Азарова.— Мы не очень верили в вас, Аркадий Аркадьевич. Почему? Да хотя бы потому, что вот и сейчас вы перво-наперво попытались, не узнав сути дела, поставить открытие и его авторов на место: Винер высказывал... Да при чем здесь винеровская «телевизионная» идея — у нас все по-другому! Какие уж тут были бы консультации: вам, академику, да показать свое незнание перед подчиненными инженерами... И еще потому, что вы, прекрасно понимая, что ценность исследователя не определяется ни его степенью, ни званием, тем не менее никогда не отваживались ущемить «остепененных», их неотъемлемые «права» на руководство, на вакансию, на непогрешимость суждений. Думаете, я не знал с самого начала, какая роль мне была отведена в создании новой лаборатории? Думаете, не повлияло на этот последний опыт ваше предупреждение мне после скандала с Хилобоком? Повлияло. Поэтому и с работой спешил, на риск шел... Думаете, не влияет на отношение к вам то обстоятельство, что в нашем институте заказы для выставок и различных показух всегда оттесняют то, что необходимо для исследований?

— Простите, но это уж мелко, Валентин Васильевич! — раздраженно поморщился Азаров.

— И по такой мелочи приходилось судить о вас, другого-то не было. Или по той «мелочи», что такая... такой... ну, словом, Хилобок благодаря вашему попустительству или поддержке, как угодно, задает тон в институте. Конечно, рядом с Гарри Хилобоком можно чувствовать свое интеллектуальное превосходство даже в бане!

В лицо Азарову бросилась краска: одно дело, когда что-то понимаешь ты сам, другое дело, когда об этом тебе говорят подчиненные. Кривошеин заметил, что перехватил, умерил тон.

— Поймите меня правильно, Аркадий Аркадьевич. Мы хотели бы, чтобы вы участвовали в нашей работе — именно поэтому, а не в обиду вам я и говорю все начистоту. Мы многого еще не понимаем в этом открытии: человек — сложная система, а машина, делающая

его, еще сложнее. Здесь хватит дел для тысячи исследователей. И это наша мечта — окружить работу умными, знающими, талантливыми людьми... Но, понимаете, в этой работе мало быть просто ученым.

— Хочу надеяться, что вы все-таки более подробно ознакомите меня с содержанием вашей работы.— Азаров постепенно овладевал собой, к нему вернулось чувство юмора и превосходства.— Возможно, что я вам все-таки пригожусь — и как ученый, и как человек.

— Дай-то бог! Познакомим, вероятно... не я один это решаю, но познакомим. Вы нам нужны.

— Валентин Васильевич,— академик поднял плечи,— простите, не намереваетесь ли вы решать вопрос, допускать или не допускать *меня* к вашей работе, совместно с вашим практикантом-лаборантом?! Насколько я знаю, больше никого в вашей лаборатории нет.

— Да, и с ним... О господи! — Кривошеин выразительно вздохнул.— Вы готовы принять, что машина может делать человека, но допустить, что в этом деле лаборант может значить больше вас... выше ваших сил! Между прочим, Михаил Фарадей тоже был лаборантом, а вот у кого он служил лаборантом, сейчас уже никто не помнит... Все-таки подготовьте себя к тому, Аркадий Аркадьевич, что когда вы придете в нашу работу — а я надеюсь, что вы придете! — то не будет этого академического «вы наши отцы, мы ваши дети». Будем работать — и все. Никто из нас не гений, но никто и не Хилобок...

Он взглянул на Азарова — и осекся, пораженный: академик улыбался! Улыбался не так фотогенично, как фотокорреспондентам, и не так тонко, как при хорошо рассчитанной на успех слушателей реплике на ученом совете или на семинаре, а просто и широко. Это выглядело не весьма красиво от обилия возникших на лице Аркадия Аркадьевича морщин, но очень мило.

— Послушайте,— сказал Азаров,— вы устроили мне такую встрепку, что я... ну да ладно *. Я ужасно рад, что вы живы!

— Я тоже,— только и нашелся сказать Кривошеин.

— А как теперь быть с милицией?

— Думаю, что мне удастся и их... ну, если не обрадовать, то хотя бы успокоить.

Кривошеин простился и ушел, Аркадий Аркадьевич долго сидел, барабанил по стеклу стола пальцами.

— Н-да...— сказал он.

И больше ничего не сказал.

---

* Читателя просят помнить, что перед ним фантастическое произведение. *(Примеч. автора)*.

«Что еще нужно учесть? — припоминал Кривошеин, шагая к остановке троллейбуса.— Ага, вот это!»

«...*30 мая*. Интересно все-таки прикинуть: я шел на обычной прогулочной скорости — 60 километров в час; этот идиот в салатном «Москвиче» пересекал автостраду — значит, его скорость относительно шоссе равна нулю. Да и поперечная скорость «Москвича», надо сказать, мало отличалась от нуля, будто на тракторе ехал... Кто таких ослов пускает за руль? Если уж пересекаешь шоссе с нарушением правил, то хоть делай это быстро! А он... то рванется на метр, то затормозит. Когда я понял, что «Москвич» меня не пропускает, то не успел даже нажать тормоз.

...Кравец Виктор, который ездил на 18-й километр за останками мотоцикла, до сих пор крутит головой:

— Счастливо отделался, просто на удивление! Если бы ты шел на семидесяти, то из останков «явы» я сейчас бы сооружал памятник, а на номерном знаке, глотая слезы, выводил: «Здесь лежит Кривошеин — инженер и мотоциклист».

Да, но если бы я шел на семидесяти, то не врезался бы!

Интересно, как произвольные обстоятельства фокусируются в фатальный инцидент. Не остановись я в лесу покурить, послушать кукушку («Кукушка, кукушка, сколько лет мне жить?» — она накуковала лет пятьдесят), пройди я один-два поворота с чуть большей или чуть меньшей скоростью — и мы разминулись бы, умчались каждый по своим делам. А так — на ровной дороге при отличной видимости — я врезался в единственную машину, что оказалась на моем пути!

Единственно, что я успел подумать, перелетая через мотоцикл: «Кукушка, кукушка, сколько лет мне жить?»

Поднялся я сам. У «Москвича» был выгнут салатный бок. Перепуганный водитель утирал кровь с небритой физиономии: я выбил локтем стекло кабины — так ему и надо, болвану! Моя бедная «ява» валялась на асфальте. Она сразу стала как-то короче. Фара, переднее колесо, вилка, трубка рамы, бак — все было разбито, сплюснуто, исковеркано.

...Итак, начальную скорость 17 метров в секунду я погасил на отрезке пути менее метра. При этом мое тело испытало перегрузку... *15 земных ускорений! Ого!*

Нет, какая все же отличная машина — человек! Мое тело меньше чем за десятую долю секунды успело извернуться и собраться так, чтобы встретить удар выгоднейшим образом: локтем и плечом. А Валерка доказывал, что человек не соответствует технике. Это еще не факт! Ведь если перевести на человеческие термины повреждения мотоцикла, то у него раздроблена «голова», перело-

маны «передние конечности», «грудная клетка» и «позвоночный столб». Хорошая была машина, сама на скорость просилась...

Правда, мое правое плечо и грудь испытали, видимо, большую перегрузку. Правую руку трудно поднять. Наверное, треснули ребра.

Ну вот, все одно к одному. Теперь есть что исправлять в жидкой схеме «машины-матки» — и не внешнее, а внутри тела. В этом смысле «Москвич» подвернулся кстати. Сработает на науку...»

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Выпишите пропуск на вынос трупа.
— А где же труп?
— Сейчас будет. (Стреляется.)
— Привет! А кто же будет выносить?

Из сингапурской легенды

Милиционер Гаевой сидел в дежурке и, изнемогая от чувств, писал письмо на бумаге для объяснений. «Здравствуйте, Валя! Это пишет вам Гаевой Александр. Не знаю, помните вы меня или не совсем, а я так не могу позабыть, как Вы смотрели на меня около танцплощадки при помощи ваших черных и красивых глаз, а луна была большая и концентрическая. Дорогая Валя! Приходите завтра вечером в парк имени тов. Т. Шевченко, я там дежурю до 24.00...»

Вошел Онисимов, брови у него были строго сведены. Гаевой вскочил, загрохотав стулом, покраснел.

— Подследственный Кравец доставлен?

— Так точно, товарищ капитан! Доставлен в полдесятого согласно вашему распоряжению, находится в камере задержаний.

— Проводите.

Виктор Кравец сидел в маленькой комнате с высоким потолком на скамье со спинкой, курил сигарету, пускал дым в пучок солнечного света от зарешеченного окна. Щеки его были в трехдневной щетине. Он скосил глаза в сторону вошедших, но не повернулся.

— Надо бы вам встать, как положено,— укоризненно заметил Гаевой.

— А я себя арестантом не считаю!

— Да вы и не арестант, гражданин Кравец Виктор Витальевич,— спокойно сказал Онисимов.— Вы были задержаны для выяснения. Теперь ситуация вырисовывается, и я не считаю необходимостью ваше дальнейшее пребывание под стражей. Понадобитесь — вызовем. Так что вы свободны.

Кравец встал, недоверчиво глядя на следователя. Тот, в свою очередь, окинул его скептическим взглядом. Узкие губы Онисимова дернулись в короткой усмешке.

— Прямой лоб, четкий подбородок, правильной формы нос...

одним словом, темные локоны обрамляли его красивую круглую арбузообразную голову. У Кривошеина-оригинала были довольно провинциальные представления о мужской красоте. Впрочем, оно и понятно. (У Кравца расширились глаза). А где мотоцикл?

— К-какой мотоцикл?

— «Ява», номерной знак 21-11 ДНА. В ремонте?

— В... в сарае.

— Понятно. Между прочим, телеграмму,— глаза Онисимова зло сузились,— телеграмму до опыта следовало давать! До, а не после!

Кравец стоял ни жив ни мертв.

— Ладно. Документы вам вернем несколько позже,— продолжал следователь официальным голосом.— Всего вам хорошего, гражданин Кравец. Не забывайте нас. Проводите его, товарищ Гаевой.

Матвей Аполлонович после плохо проведенной ночи пришел на работу с головной болью. Сейчас он сидел за столом в своей комнате, составлял план действий на сегодня. «1. Отправить жидкость на дополнительную экспертизу на предмет обнаружения нерастворившихся остатков тканей человеческого тела. 2. Связаться с органами госбезопасности (через Алексея Игнатьевича). 3...»

— Разрешите войти? — мягко произнес голос, от которого у Онисимова продрал мороз по коже.— Доброе утро.

В дверях стоял Кривошеин.

— Меня верно направил дежурный? Вы и есть следователь Онисимов, который занимается происшествием в моей лаборатории? Очень приятно, разрешите? — Он сел на стул, вытащил платок, отер блестевшее от пота лицо.— Утро, а уже такая жара, скажите на милость!

Следователь сидел в оцепенении.

— Стало быть, я — Кривошеин Валентин Васильевич, заведующий лабораторией новых систем в Институте системологии,— невозмутимо объяснил посетитель.— Мне, понимаете ли, только сегодня дали знать, что вы... что органы милиции интересуются этим досадным происшествием, и я сразу же поспешил сюда. Я бы, разумеется, еще вчера или даже позавчера представил вам исчерпывающие объяснения, но... (пожатие плеч) мне и в голову не приходило, что вокруг одного неудачного опыта разгорится этакий, простите, сыр-бор с привлечением милиции! Вот я и отлеживался в квартире, будучи после эксперимента несколько не в себе. Видите ли, товарищ Онисимов... простите, как вас зовут?

— Аполлон Матве... то есть Матвей Аполлонович,— сиплым голосом молвил Онисимов и прокашлялся.

— Видите ли, Матвей Аполлонович, получилось так: в процессе эксперимента мне пришлось погрузиться в бак с биологической информационной средой. К сожалению, бак был укреплен непрочно и опрокинулся. Я упал вместе с ним, ударился головой о пол, потерял сознание. Боюсь, что бак при падении задел и моего лаборанта — он, помнится, в последний миг пытался удержать... Я пришел в себя под клеенкой на полу. Услышал, что в лаборатории разговаривают люди...— Кривошеин очаровательно улыбнулся.— Согласитесь, Матвей Аполлонович, мне было бы крайне неловко в своей лаборатории предстать перед посторонними в таком, мягко говоря, шокирующем виде — голым, с разбитой головой. К тому же эта жидкость... она, знаете, щиплется злее мыльной пены! Поэтому я потихоньку выбрался из-под клеенки, юркнул, простите, в душевую — обмыться, переодеться... Должен признаться, что в голове у меня гудело, мысли путались. Я вряд ли даже отдавал себе отчет в своих действиях. Не помню, сколь долго я находился в душевой,— помню лишь, что, когда я вышел из нее, в лаборатории никого не было. И я ушел к себе домой — отлеживаться... Вот в общих чертах все. Если угодно, я могу дать вам письменное объяснение, и покончим с этим.

— Так, понятно...— Онисимов постепенно овладевал собой.— А какими же такими опытами вы занимались в лаборатории?

— Видите ли... я веду исследования по биохимии высших соединений в системологическом аспекте с привлечением полиморфного антропологизма,— безмятежно возвел брови Кривошеин.— Или по системологии высших систем в биохимическом аспекте с привлечением антропологического полиморфизма, как вам будет угодно.

— Понятно... А скелет откуда взялся? — Матвей Аполлонович покосился на ящик, который стоял на краю его стола. «Ну, погоди!»

— Скелет? Ах да, скелет! — Кривошеин улыбнулся.— Видите ли, этот скелет мы держим в лаборатории в качестве, так сказать, учебно-наглядного пособия. Он всегда лежит в том же углу, куда положили меня, пока я был без сознания...

— А что вы на это скажете?! — И Матвей Аполлонович быстрым движением снял ящик, под которым стоял слепок головы Кривошеина. Светло-серые пластилиновые бельма в упор смотрели на посетителя — у того мгновенно посерело и обмякло лицо.— Узнаете?

Аспирант Кривошеин опустил голову. Только теперь он окончательно убедился в том, о чем догадывался, но с чем до последнего не хотел смириться: Валька погиб во время эксперимента...

— Не сходятся у вас концы с концами, гражданин... не знаю, как вас и кто вы! — Онисимов, тщетно сдерживая ликование, откинулся на стуле.— Вы вчера меня это... мистифицировали, но сегодня

не выйдет! Вот сейчас я вам устрою очную ставку с вашим сообщником Кравцом, что вы тогда мне покажете?!

Он потянулся к телефону. Но Кривошеин тяжело положил руку на трубку.

— Да вы что, позволь...— воинственно вскинул голову Онисимов — и осекся: напротив него сидел... он сам. Широкоскулое лицо с узкими губами и острым подбородком, тонкий нос, морщины вокруг рта и у маленьких, близко посаженных глаз. Только теперь Матвей Аполлонович обратил внимание на синий, как у него самого, костюм собеседника, на рубашку с вышитым украинскими узорами воротником.

— Не дурите, Онисимов! Это будет не ставка — вы просто поставите себя в неловкое положение. Не далее как двадцать минут назад следователь Онисимов отпустил на свободу подследственного Кравца из-за отсутствия улик.

— Так, значит...— Онисимов завороженно смотрел, как лицо Кривошеина расслабилось и постепенно приобретало прежние очертания; от щек отливала кровь. У него перехватило дыхание. Во многих переделках приходилось бывать Матвею Аполловичу за время работы в милиции: и он стрелял, и в него стреляли,— но никогда ему не было так страшно, как сейчас.— Так вы... это вы?!

— Именно: я — это я,— Кривошеин поднялся, подошел вплотную к столу. Онисимов поежился под его злым взглядом.— Послушайте, кончайте вы эту возню! Все живы, все на местах — что вам еще надо? Никакими слепками, никакими скелетами вы не докажете, что Кривошеин умер. Вот он, Кривошеин, стоит перед вами! Ничего не случилось, понимаете? Просто работа такая.

— Но... как же так? — пролепетал Матвей Аполлонович.— Может, вы все-таки объясните?

Кривошеин досадливо скривился.

— Ах, Матвей Аполлонович, ну что я вам объясню! Вы всю технику сыска применяли: телевидеофоны, дактилоскопию, химические анализы, восстановление облика по Герасимову — и все равно... даже такую личность, как Хилобок, не смогли раскусить. Тут уж, как говорится, все ясно. Преступления не было, за это можете быть спокойны.

— Но ведь... с меня спросят. Мне ведь отчитываться по делу, отвечать... Как же теперь?

— Вот это деловой разговор.— Кривошеин снова уселся на стул.— Сейчас объ. ню как. Запоминайте относительно сходства скелета со мной. Этот скелет — семейная реликвия. Мой дед со стороны матери, Андрей Степанович Котляр, известный в свое время биолог, завещал не хоронить его, а препарировать и передать скелет тем потомкам, которые пойдут по научной линии. Причуда

сторого ученого, понимаете? И еще: на скелете вы, видимо, обнаружили переломы ребер с правой стороны, что, понятное дело, вызывает сомнения... Так вот: дед погиб в дорожной катастрофе. Старик обожал гонять на мотоцикле с недозволенной скоростью. Теперь понятно?

— Понятно,— быстро кивнул Онисимов.

— Так-то оно лучше. Я надеюсь, что эта... семейная реликвия по закрытии дела будет возвращена ее владельцу. Равно как и прочие «улики», взятые из лаборатории. Придет время, Матвей Аполлонович,— голос Кривошеина зазвучал задумчиво,— придет время, когда эта голова будет красоваться не у вас на столе — на памятнике... Ну, мне пора. Надеюсь, я вам все объяснил. Возвратите мне, будьте добры, документы Кравца. Благодарю вас. Да, еще: старшина, коего вы любезно поставили охранять лабораторию, просит смены. Отпустите его, пожалуйста, сами... Всего доброго!

Кривошеин сунул документы в карман, направился к двери. Но по дороге его осенила мысль.

— Послушайте, Матвей Аполлонович,— сказал он, вернувшись к столу,— не обижайтесь, ради бога, на то, что я вам предложу, но не хотите ли поумнеть? Станете соображать быстро, мыслить широко и глубоко. Будете видеть не только улики, но вникать в суть вещей и явлений, понимать саму душу человеческую! И станут вашу голову посещать замечательные идеи — такие, что щеки будут холодеть от восторга перед ними... Понимаете, жизнь сложна, а дальше будет еще сложнее. Единственный способ оказаться в ней на высоте человеческого положения — это разбираться во всем. Другого пути нет... И это возможно, Матвей Аполлонович! Хотите? Могу устроить.

Лицо Онисимова дернулось от обиды, стало наливаться кровью.

— Насмехаетесь...— тяжело выговорил он.— Мало вам того, что вы... так еще и насмехаетесь. Идите себе, гражданин!

Кривошеин пожал плечами, повернул к двери.

— Постойте!

— Что еще?

— Погодите минуту, гражданин... Кривошеин. Ну ладно: я не понимаю. Может, у вас действительно наука такая... И версию вашу я принимаю — ничего мне другого не остается. Можете думать обо мне как хотите, ваше дело...— Матвей Аполлонович никак не мог справиться с обидой. Кривошеин морщился: зачем он это говорит? — Но если без версий: ведь человек погиб! Кто-то же виноват?

Аспирант внимательно взглянул на него.

— Все понемногу, Матвей Аполлонович. И он сам, и я, и Азаров, и другие... и даже вы чуть-чуть, хоть вы его никогда не знали: например, тем, что, не разобравшись, профессионально подозревали

людей. А криминально, чтоб по уголовному кодексу — никто. Так тоже бывает.

— Кажется, и с этим вопросом все,— облегченно сказал себе аспирант, садясь в троллейбус.

«Завтра опыт. Собственно, даже не завтра — сегодня ночью, через семь-восемь часов. Перед серьезным делом мне всегда не хочется спать, а выспаться надо. Поэтому я ходил и ездил сегодня по городу часа четыре, чтобы устать и отвлечься.

Где я только не побывал: в центре, на окраинах, в парках, около автовокзала — рассматривал людей, дома, деревья, животных. Принимал парад Жизни.

...Проковылял по жаре навстречу мне иссохший старик с желтыми от времени усами и красным морщинистым лицом. На серой сатиновой рубашке болтались, позвякивали на ходу три георгиевских креста и медаль на полосатых бантах. Старик остановился в короткой тени липы перевести дух.

Да, дед, и мы когда-то были! Много ты жил-пережил, а, видать, еще хочешь: ишь, вышел покрасоваться — георгиевский кавалер! Налить бы тебе силой мышцы, прояснить хрусталики глаз, очистить от склероза и маразма мозг, освежить нервы — ты бы показал кузькину мать нам, молодым из века спутников!

...Плетутся мальчишки, обсуждая кино.

— А он в него — ттрах! — из атомного пистолета!

— А они: та-та-та.. тах-тах!

— Почему из атомного?

— А из какого еще? На Венере — и обыкновенный пистолет?!

...Кошка смотрит на меня тревожными глазами. Почему у кошек такие тревожные глаза? Они что-то знают? Знают, да не скажут... «Брысь, треклятая!» — сгинула в подворотне.

...Осанисто прошагал навстречу парень с низким лбом под серым ежиком: брюки обрисовывают сильные икры и бедра, тенниску распирает развитая грудь. И по лицу парня понятно, что он на все проблемы жизни может ответить прямым справа в челюсть либо броском через голову.

А вот мы всем сработаем такие мышцы, всем введем информацию насчет бокса и самбо — как тогда будет насчет прямого правой?

...В парке Шевченко мимо меня прошли, держась за руки и никого не замечая, парень и девушка.

Вам нет нужды в нашем открытии, влюбленные. Вы хороши друг для друга и так. Ни пуха ни пера вам! Но... всяко бывает в жизни.

И вашу любовь подстерегают опасности: быт, непонимание, благоразумие, родственники, пресыщение — да мало ли! Одолеете сами — честь и хвала вам. А нет — наведайтесь: отремонтируем вашу любовь, починим лучше телевизора. Как новенькая будет,— ну, как в тот день, когда вы впервые увидели друг друга в очереди к кассе кинотеатра.

...А какая дама встретилась мне около универмага на проспекте! Сверхпышное тело втиснуто в парчовое платье, золотая брошь, ожерелье из поддельного янтаря, пятна пота около подмышек и на спине величиной с тарелки! Голубая парча переливается на ходу всеми оттенками штормового моря.

Фи, мадам! Разве можно в такую жару втискиваться в парчу, это ведь не георгиевские кресты! Вас, видимо, не любит муж, мадам, да? Он с ужасом смотрит на ваши руки толщиной с его ногу, на этот жировой горб на спине... Вы несчастны, мадам, мне вас не жаль, но я понимаю. Муж не любит, дети не ценят, врачи не сочувствуют, а соседи... о, эти соседи! Ладно, мадам, придумаем что-нибудь и для вас. В конце концов и вы имеете право на дополнительную порцию счастья в порядке живой очереди. Но, кстати, о счастье, мадам: ваш вкус настораживает. Нет, нет, я понимаю: вы влезли в эту неудобную парчу, нацепили серьги, золотую брошь и ожерелье, которое вам не идет, унизали пальцы толстыми кольцами, чтобы доказать, что вы не хуже других, что у вас все есть... Но, простите меня, мадам, ни черта у вас нет. И, как хотите, придется исправлять вам не только тело, но и вкус, а заодно и ум, и чувства. За те же деньги, мадам, не пугайтесь. А иначе не расчет, мадам: растрясете вы вновь обретенную красу и свежесть по ресторанам и вечеринкам, разменяете на любовников... стоит ли стараться? Истинная красота, мадам,— это гармония тела, ума и духа.

Две красивые девушки прошли и не взглянули на меня. Что им на меня глядеть! Небо чистое. Солнце высоко. Экзамены позади. И этим троллейбусом можно доехать до пляжа.

...Пацан, которого не пустили гулять, приплюснул нос к оконному стеклу. Поймал мой взгляд, скорчил рожу. Я тоже скорчил ему рожу. Тогда он устроил целую пантомиму...

Я люблю жизнь, я очень люблю жизнь! Не надо мне лучше, пусть будет какая есть, только бы... Что только бы? Что? Ух ты!..

Вот то-то и есть, что надо лучше. Очень многое неладно в мире.

И я пойду. Я не продал, люди. Многое можно будет этим способом сделать: прибавить людям красоты и ума, ввести в них новые способности, даже новые свойства. Скажем, сделать так, что человек станет обладать радиочувством, будет видеть в темноте, слышать ультразвуки, ощущать магнитное поле, испускать радиосигналы, отсчитывать без хронометра время с точностью долей секунды

и даже угадывать мысли на расстоянии — хотите? Впрочем, все это, наверное, не главное.

А главное то, что я пойду. И еще кто-то пойдет, если выйдет не так. И еще... Вот так оно все будет!»

— Никто не погиб, какого черта! — трясясь в троллейбусе, шептал аспирант Кривошеин непослушными губами.— Никто не умер...

«Я иду, Жизнь! Спасибо тебе, судьба, или как там тебя, за все, что было со мной. Страшно подумать, что я мог остановиться на малом и остаться стригущим купоны заурядом! Пусть и дальше будет в моей жизни и тяжелое, и страшное, и передряги, и страдания — только пусть не будет в ней мелкости. Пусть никогда я не унижусь до драки за благополучие, за успех, до дрожи за свою шкуру в серьезном деле!

Время к ночи, а спать все не хочется и не хочется. Глупое это занятие: спать. От него, наверно, тоже можно избавиться. Говорят, в Югославии есть один чудак, который не спит уже лет тридцать — и свеж.

«Полночь в Мадриде. Спите спокойно! Уважайте короля и королеву! И пусть дьявол никогда не встает на вашем пути...» В те времена меня бы на костер — и все!

Не спите спокойно, люди! Не уважайте ни короля, ни королеву! И пусть дьявол встает на вашем пути — ничего страшного.

В юном возрасте я мечтал (о чем я только не мечтал!), когда придется идти на серьезное, рискованное дело, поговорить напоследок с отцом. Не было у меня серьезных дел, не дождался батя. Что ж, попробуем сейчас.

— Ну вот, батя, завтра мне стоять на бруствере. Страшно было стоять-то?

— Да как тебе сказать? Страшновато, конечно... До немецких окопов метров четыреста, мишень я видная. Братание еще не вошло в полную силу, постреливали. Пару раз и по мне стрельнули — у немцев тоже народ был всякий. Но не попали. Может, только испугать хотели...

— А что это за мера такая странная: стоять на бруствере?

— Временное правительство ввело. Специально для тех, кто агитировал кончать империалистическую войну. «Ах, они тебе братья-рабочие и братья-крестьяне?! Посмотрим, как они по тебе будут пулять». И — на два часа. А иных и на четыре.

— Остроумно, ничего не скажешь... (Батя, а ты знал... ну, что я не верил тебе?)

— Знал, сынок... Ничего. Время было такое дурное. Я сам себе не всегда верил... А ты что затеял-то?

— Опыт по управлению информацией в своем организме. В конечном счете должен получиться способ анализа и синтеза человеком своего организма, психики, памяти... понимаешь?

— Вечно ты, Валька, мудрено говоришь. Не усваиваю я вашу науку. Когда-то пулемет с завязанными глазами собирал и разбирал. А это не улавливаю... Что это даст?

— Ну... вот ты воевал за всеобщее равенство, верно? Первая стадия этого замысла выполняется: устраняется неравенство между богатым и бедным, между сильным и слабым. Общество предоставляет теперь равные возможности для всех. Но, помимо неравенства, заложенного в обществе, есть неравенство, заложенное в самих людях. Бездарный человек не равен талантливому. Некрасивый не равен красивому. Больной и калека не равны здоровому... А если с этим способом выйдет, каждый человек сможет сделать себя таким, каким захочет: умным, красивым, молодым, честным...

— Молодым, умным, красивым — это ясно. Все захотят. А вот честным — тяжело. Это труднее всего — быть честным.

— Но если человек точно знает: эта информация прибавит ему подлости и изворотливости, а эта — честности и прямоты, не станет же он колебаться, что выбрать?!

— Да как сказать... Есть люди, которым важно казаться перед другими честными, а там можно хоть воровать — лишь бы не попадаться. Такие выберут изворотливость.

— Знаю... Не надо о них сейчас, батя. Завтра опыт.

— И непременно тебе идти? Смотри, сынок...

— А кому же еще, как не мне! Скажи, ты мог бы спрыгнуть с бруствера в окоп?

— Внизу два офицера стерегли. Сразу кончили бы.

— А упросить их нельзя было?

— Отчего же? Сказать, что не буду больше агитировать, что выхожу из большевиков, за милую душу отпустили бы.

— Почему же ты не сказал?

— Чтоб я — им? И не думал я об этом. О другом думал: если меня подстрелят — братанию на нашем участке конец.

— А почему ты об этом думал? Так уж очень любил людей, да? Но ведь ты и убивал людей — и до этого и после.

— И я убивал, и меня убивали — время было такое.

— Так почему?

— Гордый был, наверное, поэтому. Очень я был гордый тогда. Думал, что стою против всей войны.

— Вот и я, батя, теперь такой гордый.

— Конечно, попал на бруствер — стоять надо гордо. Это верно. Только ты свое дело с тем бруствером не равняй, сынок. Я ведь

двух часов не достоял: солдатский комитет поднял батальон по тревоге, офицериков кончили — и все... А у тебя есть кого поднимать по тревоге?

На этот вопрос мне нечего ответить — и выдуманный разговор кончается.

Ну хватит — спать! Кукушка, кукушка, сколько лет мне жить?»

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Там прибыли с Земли, ваше совершенство.

— С Зем-ли?.. Зем-ля, Земля, гм...

— Это та самая планета, на которой сочинена «Летучая мышь», ваше совершенство.

— А! Трьям-тири-тири, трьям-тири-рири, трьям-пам-пам-пам! Прелестная вещица. Ну, примите их по третьему разряду.

Разговор во Вселенной

Аспирант Кривошеин поднялся на пятый этаж, вошел в квартиру. Виктор Кравец и дубль Адам курили на балконе; заметив его, вернулись в комнату. Кривошеин невесело оглядел их.

— Трое из одного стручка. А было четверо...— Он посмотрел на часы: время еще есть, сел.— Расскажи, Кравец Виктор, что там у вас получилось?

Тот закурил новую сигарету, начал рассказывать глухим голосом.

...Программа опыта была такая: погрузиться в жидкость по шею — проконтролировать ощущения — надеть «шапку Мономаха» — снова проконтролировать ощущения — дать «команду неудовлетворенности» («не то») — войти во взаимопроникающий контакт с жидкой схемой — достигнуть стадии управляемой прозрачности — срастить поломанные ребра — использовать этот «импульс удовлетворенности» для команды «то»— восстановить непрозрачность — выйти из контакта с жидкой схемой — покинуть бак.

Вся эта методика была не один десяток раз опробована и отработана Кривошеиным и Кравцом на погружении конечностей. Взаимное проникновение жидкости и тела можно было легко контролировать и регулировать.

— Понимаете, ребята, оказывается, внутри нашего тела всегда есть какие-то менее здоровые места, мелкие неисправности, что ли, ну, все равно как на коже, даже на здоровой, кое-где бывают прыщики, царапины, натертости, местные воспаления. Я не знаю, какого рода внутренние «царапины», только после работы в жидко-

сти всегда ощущаешь свою руку или ногу более здоровой и сильной. Жидкая схема исправляет эти мелкие изъяны. И каждое такое исправление можно узнать: зудение в этом месте сначала усиливается, потом резко ослабевает. И если после такого ослабления дать «команду удовлетворенности» («то»), машина выводит жидкую схему из контакта с телом, рука или нога становится непрозрачной... Я это к тому, что по методике входа в контакт и выхода из контакта с жидкой схемой у нас не было никаких вопросов...

— Пока погружали только десять-пятнадцать процентов тела,— вставил Кривошеин.

— Да... В том, что человеческое тело в жидкости на стадии управляемой прозрачности сохраняет упругость мышц, у нас тоже не было сомнений. Сколько раз мы устраивали «борьбу» в жидкости: его рука (прозрачная) с моей непрозрачной, либо правая на левую, когда обе прозрачные. То есть жидкая схема полностью поддерживает жизнеспособность тела...

— Части тела,— снова придирчиво поправил Кривошеин.

— Да. Возможно, в этом все и дело,— вздохнул Кравец.

...Конечно, было страшно. Одно дело окунуть в жидкость руку или ногу — можно выдернуть, почувствовав опасность. В крайнем случае останешься без руки. И совсем другое — самому погрузиться в бак, отдаться на волю сложной и, что ни говори, загадочной среды, от которой не отбиться, не убежать.

Они таили друг от друга этот страх. Кривошеин — потому что это был страх за себя. Кравец — чтобы понапрасну не пугать его.

Но все было подготовлено тщательно, на совесть. Отрегулировали уровень жидкости в баке так, чтобы при погружении Кривошеину было как раз по шею и он мог стоять. Напротив бака поставили большое зеркало (пришлось купить на свои, на складе не оказалось): по нему Кривошеин сам мог наблюдать и контролировать изменения в теле.

Чтобы до предела уменьшить влияние электромагнитных помех на «шапку Мономаха» и электронные схемы, решили провести опыт ночью, после двух часов, когда вокруг выключены все установки, а трамваи и троллейбусы стоят в депо.

Кривошеин разделся догола, взобрался по лесенке и, держась левой рукой за край (правая у него плохо слушалась после столкновения на мотоцикле), ухнул в бак. Жидкость заколыхалась. Он стоял по шею в ней — голова казалась отделенной от тела. Кравец с «шапкой Мономаха» стоял на стремянке.

Кривошеин облизал губы.

— Соленая...— Голос у него стал сиплым.

— Что?

— Жидкость. Как морская вода.

Выждали минуту.

— Кажется, порядок. Ощущений никаких, как и следовало ожидать. Давай «шапку».

Кравец плотно надел на его голову «шапку Мономаха», пощелкал тумблерами на ней, слез вниз. Теперь в его задачу входило наблюдать за Кривошеиным, подавать советы, если они понадобятся, и в случае непредвиденных осложнений помочь ему покинуть бак.

Кривошеин еще минуту осваивался в новом положении.

— Ощущения знакомые: зудения, покалывания,— сказал он.— Никаких откровений. Ну все... пожелай мне. Начинаю включаться.

— Ни пуха ни пера, Валька...

— К черту! Поехали...

Больше они не разговаривали.

...Тело Кривошеина проявлялось в жидкости, как цветной негатив. Под пурпурными, с прослойками желтого жира мышцами вырисовались белые контуры костей, сухожилий. Ритмично опускались и вздымались ребра, как распорки в кузнечном мехе. На двух ребрах справа Кравец увидел белые вздутия в местах переломов. Лилово-красный кулачок сердца то стискивался, то расслаблялся, проталкивая (уже непонятно во что) алые струи крови.

Кривошеин не сводил глаз со своего отражения в зеркале. Лицо его было бледным и сосредоточенным.

Вскоре мышцы сделались золотисто-желтыми, их можно было отличить от жидкости только по преломлению света.

— И тут...— Кравец крепко потер виски ладонями, затянулся сигаретой,— и тут начались автоколебания. Ну, как тогда, в самом начале, с кроликами: все в Вальке начало менять синхронно размеры, оттенки... Я подскочил к баку: «Валька, что ты делаешь?!» Он смотрел на меня, но ничего не ответил. «Автоколебания! Выключайся!» Он попытался что-то ответить, раскрыл губы и вдруг окунулся в жидкость с головой! Сразу как-то задергался, завертелся, засучил костями... пляшущий скелет с головой в никелированном колпаке!

Он снова жадно затянулся дымом.

— Единственное, что можно было сделать, чтобы спасти его,— это с помощью «шапки Мономаха» командами «то» и «не то» попасть в ритм автоколебаниям его тела, успокоить их и постепенно направлять на возвращение тела в непрозрачную стадию. Ну, внешнее управление, метод, которым он овеществлял тебя,— Кравец кивнул на Адама,— и меня...

Он помолчал, стиснул челюсти.

— Сволочь Гарри! Вот когда пригодилась бы запасная «шапка» — СЭД-2. Но о какой СЭД-2 могла идти речь после провала его диссертации! В тюрьму его, гада, мало упрятать...

— За невыполнение лабораторного заказа в срок ему вряд ли

даже выговор дадут, это ведь не профессору нагрубить,— холодно усмехнулся Кривошеин.— А в большем ты обвинить его не сможешь.

— Оставалось последнее: снять «шапку Мономаха» с Вальки,— продолжал Виктор.— Я вскочил на стремянку, опустил руки в жидкость — электрический удар через обе руки. Судя по впечатлению — вольт на четыреста-пятьсот, в жидкости раньше таких потенциалов никогда не было. Ну, вы знаете сами: в таких случаях руки отдергиваются непроизвольно. Я кинулся к шкафу, надел резиновые перчатки, снова сунулся в бак, но Валька погрузился уже глубоко, длины перчаток не хватило. На этот раз удар был такой силы, что я полетел на пол. Оставалось опрокинуть бак... не мог же я допустить, чтобы он на моих глазах растворился в жидкости, как... как ты,— Кравец посмотрел на Адама.— Ведь я был им, Кривошеиным, когда создавал и растворял тебя... (У Адама напряглось лицо). К тому же он был еще жив... Лицо тоже растворилось, только «шапка» на черепе, но дергается, значит, мышцы действуют... Я ухватился за край бака, стал раскачивать. Края упругие, скользкие, поддаются... наконец, повалил его чуть ли не на себя, успел увернуться — только струя жидкости захлестнула лицо и шею. И от нее я получил третий удар... Дальше не помню, очнулся на носилках.

Он замолчал. Молчали и двое других. Кривошеин встал, в раздумье прошелся по комнате.

— Ничего не скажешь, опыт ставили солидно. Во всяком случае, обдуманно. Злодейства нет, фатального случая нет, даже грубого просчета нет... что называется, угробили человека по всем правилам! Если бы ты не опрокинул бак — он растворился бы. И вне бака он тоже растворился, так как пропитавшая его жидкость уже перестала быть организующей жидкой схемой... Напрасно он остался в «шапке Мономаха», вот что! Включившись в жидкость, он мог управлять собой и без нее...

— Вот как! — вскинул голову Кравец.

— Да. Этот дурацкий колпак вам требовался лишь для того, чтобы включиться в «машину-матку» — и все. Дальше мозг командует нервами непосредственно, а не через провода и схемы... И когда начались неуправляемые автоколебания, эта «шапка» погубила его. Чужеродный предмет в живой жидкости — все равно что пырнуть медведя рогатиной!

— Да, но почему начались автоколебания? — вмешался Адам. Он повернулся к Кравцу.— Скажи, вы этот процесс после кроликов и... меня больше не исследовали?

— Нет. В последних опытах мы не приближались к нему. Все преобразования хорошо управлялись ощущениями, я же говорил. Ума не приложу, как он мог потерять контроль над собой! Растерял-

ся? Вообще-то этот процесс сродни растерянности... Но почему растерялся?

— Переход количества в качество,— сказал Адам.— Пока вы погружали в жидкость руку или ногу, «очагов неисправности», по которым можно контролировать и управлять проникновением жидкой схемы в тело, было немного. Получалось так, будто разговариваешь с одним-двумя собеседниками. А когда он погрузил все тело... этих очагов в нем, конечно, гораздо больше, чем в части тела, и...

— Вместо приличного разговора получился невнятный галдеж толпы,— добавил аспирант.— И запутался. Очень может быть.

— Послушайте, вы, эксперты-самоучки! — с яростью поглядел на них Кравец.— Всегда, когда что-то получается не так, находится много людей, охочих посудачить: почему не получилось — и тем утвердить себя. «Я ж предвидел! Я ж говорил!» Если случится атомная война, наверное, тоже найдутся люди, которые, прежде чем сгореть, успеют радостно воскликнуть: «Я же говорил, что будет атомная война!» Настолько ли вы уверены, что опыт не вышел именно из-за этих недочетов, чтобы полезть в бак, если недочеты будут устранены?

— Нет, Кравец Виктор,— сказал Кривошеин,— не настолько. И никто из нас больше не полезет в бак лишь для того, чтобы доказать свою правоту или хоть неправоту кого-то другого,— не та у нас работа. Лезть, конечно, придется, и не один раз — идея правильная. Но делать это будем с минимальным риском и максимальной пользой... И ты напрасно кипятишься: вы спортачили опыт. Такой опыт! И едва не погубили всю работу и лабораторию. Все было: великие идеи, героические порывы, открытия, раздумья, квалифицированные старания... кроме одного — разумной осторожности! Конечно, может быть, не мне вас упрекать — я сам недалеко ушел, тоже положился на авось в одном серьезном опыте и едва не гробанулся... Но скажи, почему нельзя было вызвать меня из Москвы для участия в этом опыте?

Кравец посмотрел на него иронически.

— Чем бы ты помог? Ты ведь отстал от этой работы.

У аспиранта перехватило дух: после всех своих трудов услышать такое!

— Подлец ты, Витя,— произнес он с необыкновенной кротостью.— Прискорбно говорить это информационно близкому человеку, но ты просто сукин сын. Значит, сунуть меня в качестве подставного лица в милицию, чтобы самому уйти от уголовной ответственности... на это я гожусь? А в исследователи по данной теме — нет? — Он отвернулся к окну.

— При чем здесь уголовная ответственность? — сконфуженно пробормотал Кравец.— Надо же было как-то спасать работу...

Вдруг он вскочил как ужаленный: от окна к нему подходил Онисимов! Адам тоже вздрогнул, ошеломленно поднял голову.

— Ничего бы вы не спасли, подследственный Кравец,— неприятным голосом сказал Онисимов,— если бы ваш заведующий лабораторией не научился кое-чему в Москве. Сидели бы вы сейчас на скамье подсудимых, гражданин лже-Кравец. Мне доводилось и с меньшими уликами упекать людей за решетку. Понятно?

На этот раз аспирант Кривошеин восстановил свое лицо за десять секунд: сказалась практика.

— Так, значит... это был ты?! Ты меня отпустил? Постой... как ты это делаешь?

— Неужели биология?! — подхватил Адам.

— И биология, и системология...— Кривошеин спокойно массировал щеки.— Дело в том, что в отличие от вас я помню, как был «машиной-маткой».

— Расскажи, как ты это делаешь! — не отставал Кравец.

— Расскажу, не волнуйся, всему свое время. Семинар устроим. Теперь мы эти знания будем применять в работе с «машиной-маткой». А вот внедрять их в жизнь придется очень осторожно...— Аспирант посмотрел на часы, повернулся к Адаму и Кравцу.— Пора. Пошли в лабораторию. Устроим разбор вашего опыта на месте.

— Надо же... ох, эти мне ученые! — смеялся и качал головой начальник горотдела милиции, когда Матвей Аполлонович доложил ему окончательно выясненные обстоятельства происшествия в Институте системологии.— Значит, пока вы пробы брали да с академиком разговоры говорили, «труп» вылез из-под клеенки и пошел помыться?

— Так точно... Он не в себе был после удара головой, товарищ полковник.

— Конечно! И не такое мог учудить. А рядом скелет... надо же! Вот что значит плохо изучить место происшествия, товарищ Онисимов,— Алексей Игнатьевич наставительно поднял палец.— Не учли специфику. Это ж вам не выезд на шоссе или на утопленника — научная лаборатория! Там у них всегда черт те что наворочено: наука... Понебрежничали, Матвей Аполлонович!

«Рассказать ему все как есть? — в тоске подумал Онисимов.— Нет. Не поверит...»

— А как же врач «скорой помощи» опростоволосилась: живого человека в мертвецы записала? — размышлял вслух полковник.— Ох, чую я, у них с процентом спасаемости тоже дела не блестящи. Поглядели: плох человек, все равно помрет в клинике, так пусть хоть статистику не портит.

— Может, просто ошиблась, Алексей Игнатьевич,— великодушно вступился Онисимов.— Шоковое состояние, глубокий обморок, повреждение на теле. Вот она и...

— Возможно. Жаль, нашего Зубато не было: тот всегда по наличию трупных пятен определяет — без промаха. Да... Конечно, неплохо бы нам на этом деле повысить раскрываемость, очень кстати пришлось бы в конце полугодия, да шут с ним, с процентом! Главное: все живы-здоровы, все благополучно. Правда,— он поднял глаза на Онисимова,— есть некоторая неувязка с документами этого Кравца. А?

— Эксперт в них ни подчисток, ни подклеек, ни исправлений не обнаружил, Алексей Игнатьевич. Документы как документы. Может, харьковская милиция что-то напутала?

— Ну, это пускай волнует паспортный спол, а не нас,— махнул рукой полковник.— Преступления человек не совершал — и с этим вопросом все. Но вы-то, вы-то, Матвей Аполлонович, а? — Алексей Игнатьевич, смешливо морщась, откинулся на стуле.— В органы предлагали дело передать... хороши бы мы сейчас были перед органами! Не я ли вам говорил: самые запутанные дела на поверку оказываются самыми простыми!

И его маленькие умные глазки под густыми бровями окружили, как лучи, добродушные морщины.

Они шли по полуденному Академгородку: Адам справа, Кривошеин в середине, Кравец слева. Размякший от зноя асфальт подавался под ногами.

— Все-таки теперь мы сможем работать грамотно,— молвил Кривошеин.— Мы немало узнали, многому научились. И вырисовывается ясное направление. Кравец Виктор, тебе Адам рассказал свою идею?

— Рассказал...

— А что это ты как-то так — индифферентно?

— Ну, еще один способ. И что?

Адам нахмурился, но промолчал.

— Нет, почему же! «Машина-матка» вводит информацию в человека прочно и надолго, на всю жизнь, а не на время сеанса. И информация Искусства сможет изменить психику человека, исправить ее — ну, как исправили твою внешность по сравнению со мной! Конечно, это дело серьезное, не в кино сходить. Будем честно предупреждать: человек, после нашей процедуры ты навсегда утратишь способность врать, мельчить, притеснять слабых, подличать, и не только активно, но даже воздержанием от честных поступков. Мы не гарантируем, что после этой процедуры ты будешь счастлив в смысле удовлетворения потребностей и замыслов. Жить станет яснее, но труднее. Но зато ты будешь Человеком!



— Анекдот! — со вкусом сказал Кравец.— Способ вернуть утраченную невинность!

— Это почему же?! — одновременно воскликнули Адам и Кривошеин.

— Потому что, по сути, вы намереваетесь с помощью информации Искусства упростить и жестко запрограммировать людей! Пусть запрограммировать на хорошее: на честность, на самоотверженность, на красивые движения души, но все равно это будет не человек, а робот! Если человек не врет и не кусает других потому, что не знает, как это сделать, в этом его заслуги нет. Поживет, усвоит дополнительную информацию, научится — и будет врать, подличать, дело нехитрое. А вот если он умеет врать, ловчить, притеснять (а все мы это умеем, только не признаемся) и знает, что от применения этих житейских операций ему самому будет легче и благополучнее, но не делает так... и не делает не из боязни попасться, а потому что понимает: от этого жизнь и для него, и для всех поганей становится — вот это Человек!

— Сложно сказано,— заметил Кривошеин.

— Да ведь и люди сложны, становятся еще сложнее — и упростить их никак нельзя. Как вы этого не понимаете? Тут ничего не поделаешь. Люди знают, что подлость в мире есть, и учитывают это в своих мыслях, словах и поступках. Какую бы вы благонамеренную новую информацию в них ни вводили и каким бы способом это ни делали, она только усложняет их. И все!

— Погоди,— хмуро сказал Адам.— Вовсе не обязательно упрощать людей, чтобы сделать их лучше. Ты прав: человек — не робот, ограничить его жесткой программой благих намерений нельзя. Да и не надо. Но можно при помощи информации Искусства ввести в него четкое понимание: что хорошо — по большому счету хорошо, а не только выгодно — и что плохо.

— Но цели-то, намерения эти самые у него останутся свои, и все будет подчинено им. А заложить цели (даже благие) в человека нельзя — это тот же курс на добродетельного робота.— Кравец поглядел на дублей, усмехнулся.— Боюсь, что голой техникой их не возьмешь... Вам не приходит в голову, что наши поиски «абсолютного способа» происходят не от ума, а от истовой инженерной веры, что наука и техника могут все? Между тем они не все могут, и никуда мы не придем по этому направлению. Я вижу другое ясное направление: из наших исследований со временем возникнет новая наука — Экспериментальное и Теоретическое Человековедение. Большая и нужная наука, но только наука. Область знаний. Она скажет: вот что ты такое, человек. И возникнет Человекотехника... Сейчас это, наверное, ужасно звучит — техника синтеза и ввода информации в людей. Она включит в себя все: от медицины до математики и от электроники до искусств — но все равно это будет только

техника. Она скажет: вот что ты можешь, человек. Вот как ты сможешь изменять себя. И тогда пусть каждый думает и решает: что же ты хочешь, человек? Что ты хочешь от самого себя?

Слова Виктора произвели впечатление. Некоторое время все трое шли молча — думали. Академгородок остался позади. Издали виднелись парк и здания института, а за ними — огромный испытательный ангар КБ из стекла и стали.

— Ребята, а как теперь будет с Леной?— спросил Адам и посмотрел на Кривошеина. Взглянул на него и Кравец.

— Так и будет,— внушительно сказал тот.— Для нее ничего не случилось, ясно?

Адам и Кравец промолчали.

Они вступили в каштановую аллею. Здесь было больше тени и прохлады.

— «Вот что ты такое, человек. Вот что ты можешь, человек. Что же ты хочешь от себя, человек?» — повторил Кривошеин.— Эффектно сказано! Ввах, как эффектно! Если бы у меня было много денег, я в каждом городе поставил бы обелиск с надписью: «Люди! Бойтесь коротеньких истин — носительниц полуправды! Нет ничего лживее и опаснее коротеньких истин, ибо они приспособленны не к жизни, а к нашим мозгам».

Кравец покосился на него.

— Это ты к чему?

— К тому, что твои недостатки, Витюнчик, есть продолжение твоих же достоинств. Мне кажется, Кривошеин-оригинал с тобой немного перестарался. Лично я никогда не понимал, почему людей с хорошо развитой логикой отождествляют с умными людьми...

— Ты бы все-таки по существу!

— Могу и по существу, Витюня. Ты хорошо начал: человек сложен и свободен, его нельзя упростить и запрограммировать, будет Человековедение и Человекотехника — и пришел к выводу, что наше дело двигать эту науку и технику а от прочего отрешиться. Пусть люди сами решают. Вывод для нас очень удобный, просто неотразимый. Но давай применим твою теорию к иному предмету. Имеется, например, наука о ядре и ядерная техника. Имеешься ты — исполненный наилучших намерений противник ядерного оружия. Тебе предоставляют полную свободу решить данный вопрос: дают ключи от всех атомохранилищ, все коды и шифры, доступ на все ядерные предприятия — действуй!

Адам негромко рассмеялся.

— Как ты используешь ту блестящую возможность спасти мир? Я знаю как: будешь стоять посреди атомохранилища и реветь от ужаса.

— Ну, почему обязательно реветь?

— Да потому, что ты ни хрена в этом деле не смыслишь, так же как другие люди в нашей работе... Да, будет такая наука — Человековедение. Да, будет и Человекотехника. Но первые специалисты в этой науке и в этой технике — мы. А у специалиста, помимо общечеловеческих обязанностей, есть еще свои особые: он отвечает за всю науку и за все ее применения. Потому что в конечном счете *он все это делает* — своими идеями, своими знаниями, своими решениями. Он, и никто другой! Так что, хочешь не хочешь, а направлять развитие науки о синтезе информации в человеке *нам*.

— Ну допустим...— Кравец не сдавался.— Но как направлять-то? Ведь способа применения открытия с абсолютной надежностью на пользу людям, которому мы присягнули год назад, нет!

— Смотрите, ребята,— негромко проговорил Адам.

Все трое повернули головы влево. На скамье под деревом сидела девочка. Рядом лежал ранец и стояли костыли. Тонкие ноги в черных чулках были неестественно вытянуты. Лучики солнечного света, проникая сквозь листву, искрились в ее темных волосах.

— Идите, я догоню.— Кривошеин подошел к ней, присел рядом на край скамьи.— Здравствуйте, девочка!

Она удивленно подняла на него большие и ясные, но не детские глаза:

— Здравствуйте...

— Скажите, девочка...— Кривошеин улыбнулся как можно добродушней и умней, чтоб не приняла за пьяного и не напугалась,— только не удивляйтесь, пожалуйста, моему вопросу: у вас в школе плюют в ухо человеку, который не сдержал свое слово?

— Не-е-ет,— опасливо ответила девочка.

— А в мое время плевали, был такой варварский обычай... И знаете что? Даю слово: не пройдет и года, как вы станете здоровой и красивой. Будете бегать, прыгать, кататься на велосипеде, купаться в Днепре... Все будет! Обещаю. Можете мне плюнуть в ухо, если совру!

Девочка смотрела на него во все глаза. На ее губах появилась неуверенная улыбка.

— Но ведь... у нас не плюют. У нас школа такая...

— Понимаю! И школ таких не будет, в обычную бегать станете. Вот увидите! Вот так...

Больше сказать ему было нечего. Но девочка смотрела на него так хорошо, что уйти от нее не было никакой возможности.

— Меня зовут Саша. А вас?

— Валя... Валентин Васильевич.

— Я знаю, вы живете в тридцать третьем номере. А я в тридцать девятом, через два дома.

— Да, да... Ну, мне надо идти. На работу.

— На вторую смену?

— Да. На вторую смену. Всего хорошего, Саша.

— До свиданья...

Он встал. Улыбнулся, вскинул голову, прижмурил глаза, не робей, мол, гляди веселей! Все будет! Она в ответ тоже вскинула голову, прищурилась, улыбнулась: я и не робею... И все равно он ушел с чувством, что оставляет человека в беде.

Аллея выводила на улицу. За крайними каштанами мелькали машины. Сворачивали, все трое обернулись: девочка смотрела им вслед. Они подняли руки. Она улыбнулась, помахала тонкой рукой.

— Понимаешь, Витюша,— Кривошеин обнял Кравца за плечи,— понимаешь, Витек, все-таки люблю я тебя, шельмеца, хотя и не за что. Отодрать бы тебя солдатским ремнем, как батя нас в свое время дирал, да больно уж ты большой и серьезный...

— Да ладно тебе! — освободился Кравец.

— Понимаешь, Витя, насчет «кнопки счастья» у нас, конечно, был инженерный загиб, ты прав. Люди вообще ожидают от техники лишь снижения требовательности к себе... Смешно! Для крыс легко устроить кнопку счастья: врастил ей электрод в центр удовольствия в коре — и пусть нажимает лапкой контакт. Но людям такое счастье, пожалуй, ни к чему... Однако есть способ. Не кнопочный и не математический, но есть. И эмпирически мы его понемногу осваиваем. То, что мы сушим головы именно над применением открытия на пользу людям, а не только себе, и на иные варианты не согласимся,— из этого способа. И то, что Адам смог преодолеть себя и вернуться с хорошей идеей,— тоже из этого способа. И то, что Валька пошел на такой опыт, зная, на что идет,— тоже из этого способа. Конечно, если бы тщательнее подготовить опыт, возможно, он остался бы жив, а впрочем, никто из нас ни от ошибок, ни от печального исхода не застрахован: работа такая! И то, что он выбрал направление синтеза людей, хотя синтезировать микроэлектронные машины было бы не в пример проще и прибыльней,— из этого способа. И то, что мы накопили знания по своему открытию,— из этого способа. Теперь мы не новички-дилетанты ни в работе, ни в споре нас с толку не собьешь — сами кого угодно собьем. А в честном споре знания — главное оружие...

— А в нечестном?

— И в нечестном споре этот способ годится. Гарри прищемили — по этому способу. Вышли мы с тобой из трудного положения и спасли работу — тоже по нему. Мы многое можем, не будем прикидываться: и работать, и драться, и даже политиковать. Ко-

нечно, лучше бы всегда и со всеми обойтись по-хорошему, но если не выходит, будем и по-плохому... Адам, дай сигарету, у меня кончились.

Кривошеин закурил и продолжал:

— И в будущем нам следует руководствоваться этим эмпирическим способом — и в работе, и в жизни. Перво-наперво будем работать вместе. Самое страшное в нашем деле — это одиночество. Вот оно к чему привело... Будем собирать вокруг работы умных, честных, сильных и знающих людей. Для любого занятия: исследовать, организовывать работы. Чтобы ни на одном этапе рука подлеца, дурня или пошляка не коснулась нашего открытия. Чтобы было кого поднимать по тревоге! И Азарова привлечем, и Вано Александрович Андросиашвили — есть у меня такой на примете. И Валерку Иванова попробуем... И если укрепить таким способом работу — все будет «то»: способ дублирования людей, дублирование с исправлениями, информационные преобразования обычных людей...

— Но все-таки это не инженерное решение, стопроцентной гарантии здесь нет,— упрямо сказал Кравец.— Можно, конечно, попытаться... Ты думаешь, Азаров придет?

— Придет, куда он денется! Да, это не инженерное решение, организационное. И оно не простое, в нем нет столь желанной для вас логической однозначности. Но другого не дано... Соберем вокруг работы талантливых исследователей, конструкторов, врачей, художников, скульпторов, психологов, музыкантов, писателей, просто бывалых людей — ведь все они знают о жизни и о человеке что-то свое. Начнем внедрять открытие в жизнь с малого, с самого нужного: с излечения болезней и уродств, исправления внешности и психики... А там, глядишь, постепенно подберем информацию для универсальной программы для «машины-матки», чтобы ввести в мозг и тело человека все лучшее, что накоплено человечеством.

— УПСЧ,— произнес Виктор.— Универсальная Программа Совершенствования Человека. Звучит! Ну-ну...

— Надо пытаться,— упрямо сказал Адам.— Да, стопроцентной гарантии нет, не все в наших силах. Может, не все и получится. Но если не пытаться, не стремиться к этому, тогда уж точно ничего не получится! И знаете, мне кажется, что здесь не так уж много работы. Важно в одном-двух поколениях сдвинуть процесс развития человека в нужную сторону, а дальше дело пойдет и без машин.

«Все войдет,— вспомнилась аспиранту последняя запись из дневника,— дерзость талантливых идей и детское удивление перед сложным великолепием мира, рев штормового океана и умная краса приборов, великое отчаяние любви и эстетика половой жизни, ярость

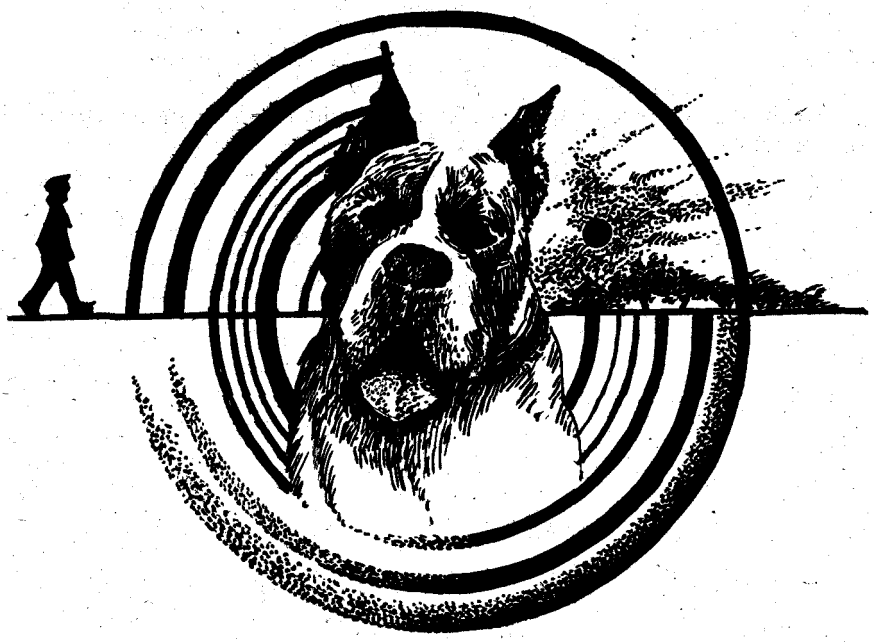
подвижничества и упоение интересной работой, синее небо и запах нагретых трав, мудрость старости и уверенная зрелость... и даже память о бедах и ошибках, чтобы не повторились они! Все войдет: знание мира, понимание друг друга, миролюбие и упорство, мечтательность и подмечающий несовершенства скептицизм, великие замыслы и умение достигать их. В сущности, для хорошей жизни больше сделано — меньше осталось!

Пусть люди будут такими, какими хотят. Пусть только хотят!»

Желтым накалом светило солнце. Шуршали и урчали, проскакивая мимо, машины. Брели сквозь зной прохожие. Милиционер дирижировал перекрестком.

Они шагали, впечатывая каблуки в асфальт. Три инженера шли на работу.

ПОХИТИТЕЛИ СУТЕЙ



...И долго еще определено мне
чудной властью идти рука об руку
с моими странными героями, озирать
всю громадонесущуюся жизнь,
озирать ее сквозь видный миру смех
и незримые, неведомые ему слезы!

Н.Гоголь «Мертвые души»

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПАССАЖИР СЕДЬМОГО КЛАССА

Число «13» несчастливое. Поэтому, если вам дали тринадцатую каюту на теплоходе или тринадцатое место в вагоне, ведите себя так, чтобы о вас потом все вспоминали с содроганием.
К. Прутков-инженер. «Советы туристам»

1

Тело № 176, тело мужчины массивного сложения, выкатили из ряда лежащих в анабиотическом оцепенении (ниц на самокатных столиках с отверстиями для рта и ноздрей) в подвале-холодильнике Обменного фонда. Столик проследовал через ВЧ-туннель, где электромагнитные волны незримо промассировали и нагрели до нормальной температуры каждую жилку и клетку тела; когда же мышцы, оживая, начали медленно, но мощно сокращаться, то служители на выходе ловко закрепили руки, ноги, поясницу и шею кожаными захватами. Затем столик был вкачен в лифт и вознесся из подземелья на самый верхний ярус Кимерсвильского пси-вокзала — туда, где производилась трансляция, а также прием и оформление пассажиров двух высших классов, шестого и седьмого.

Служитель приемного отсека VII класса — немолодой, в светлом комбинезоне, преисполненный сознания своего веса ничуть не меньше, чем швейцар дорогого отеля,— принялся за дело не спеша: в седьмом классе пассажиры редки. Он установил столик вдоль стены под рефлекторами, затем наложил на тело две нашлепки из воскообразного, сплошь пронизанного разноцветными проводами материала; каждый провод оканчивался у тела едва заметным игольчатым выступом-электродом. Это были контактные устройства, в просторечии *контактки*; одна, с крестовыми ответвлениями, легла на спину вдоль позвоночника; другую, похожую на мягкий шлем с ячеистыми просветами, служитель нахлобучил на голову мужчины.

Подровнял, обжал, в ячейки выпустил пряди волос; затем воткнул ощетиненные серебристыми контактами колодки на другом конце жгута проводов в щелевые разъемы в стене. Возле засветились созвездия зеленых искорок, повторяя рисунок контактов в нашлепках: знаки, что каждый электрод надежно касается соответствующего нервного окончания в коже спины и головы.

Тем временем из плоского зева пневмопочты на полку под ним упали соединенные в вереницу лентой четыре пси-кассеты: белого цвета — Интеллект, розовая — Характер, голубая — Память и зеленая — Здоровье.

Служитель, взглянув на них, уважительно поцокал языком: свето-индикаторы во всех кассетах полыхали ярко-голубым сиянием, признаком чистоты и большой силы пси-зарядов. Сейчас эти коробочки, чуть больше кассет портативного магнитофона, и заключали в себе личность прибывшего из космических далей пассажира: общие для всех разумных существ Вселенной *сути* их натур. Их надлежало ввести в земное тело.

Само тело № 176 мало интересовало служителя: оно могло принадлежать землянину, отправившемуся в пси-круиз и сдавшему тело напрокат (галактические круизы стоят дорого), или *обменнику* с этим пси-туристом; могло и вовсе быть ничьим, остаться от погибшего. Но пассажир вызывал любопытство: по VII классу путешествуют знаменитости, деятели, тузы... а этот к тому еще был *весь голубой*. Поэтому, установив кассеты в гнезда и нажав на пульте четыре клавиши вдоль надписи «Пси-интегрирование» (эту операцию обслуживающий персонал по-свойски именовал *всучиванием*), после чего в работу вступила автоматика, служитель углубился в изучение документов.

На первой странице пси-паспорта, где давались общегалактические сведения, было сказано крайне мало. В графе «Место постоянного обитания» указано коротко: «Ядро», то есть имелось в виду все ядро нашей Галактики, обильная звездами область размерами в сотни парсеков; в графе «Самоназвание» стоял мудреный индекс «ГУ-5 ψН 7012», а в графе «Пол» и вовсе напечатано телетайпным шрифтом: «По своему усмотрению». Редкий случай, подумал служитель.

Самыми информативными пока были индексы «ΨН»— психически нерассеивающийся. Сути землян, а равно и других жителей Солнечной, помечали индексами «ΨР» — они психически рассеивались, не могли сохранить себя при трансляции на межзвездные расстояния в виде волновых электромагнитных «пакетов», сникали и исчезали, не долетев. Поэтому кассеты с их сутями просто грузили в звездолеты и гиперзвездолеты, доставляли куда надо, там воплощали в местные тела. «Пакетами» же земляне обменивались с инопланетянами только в пределах Солнечной.

А этот, можно сказать, своим ходом добрался из Ядра в наше захолустье. В кассеты его записали только здесь, приняв антеннами,— чтоб в тело ввести по высшему классу. М-да!..

Следующие листки пси-паспорта имели фотографии и записи об иных воплощениях существа ГУ-5 ΨН 7012. Чего здесь только не было, кем только не оказывалось оно в разных мирах! Гуманоид непарнокопытный пластинчатый Уа-Уах-Эва со второй планеты быстролетящей звезды Барнарда... Берсклет живородящий мигрирующий, образчик расы разумных растений на планете у Антареса... Сернокислотник двоякодышащий Вжик-Вжик XVII (на снимке — дельфиноподобное существо опирается хвостом о туманную поверхность моря) со сплошь покрытой кислотным океаном невидимой у нас карликовой звезды в Плеядах... Астролет кристаллический № 11250 класса «твердь — космос» (блестящий эллипсоид вращения с усиками антенн впереди, лопастями фотобатарей по бокам и чашей фотонного отражателя сзади), не нуждающийся в планетах житель трехзвездной системы Сириус-А, В, С... Листая паспорт, служитель еще раз осознал, как редки во Вселенной человекоподобные: верблюжья харя непарнокопытного пластинчатого барнардинца казалась почти родной. Земная страница паспорта была чиста. Другим документом был вкладыш ограничений: в нем оговаривали срок пребывания в земном теле, а также различные, по желанию первичного владельца, запреты и рекомендации (не полнеть, не загорать, соблюдать определенную диету, бегать трусцой...). Но на данном вкладыше тем же телетайпным шрифтом было напечатано категорическое *«Без ограничений»*.

Нет, это не обменник, не турист, соображал служитель, вписывая в графе «Пол» на земной странице слово «мужской» (какое там «по усмотрению» — все в наличии). Серьезный дядя — всюду побывал, и тело ему отдается вроде как насовсем, и вон откуда прибыл. ГУ-5. Гэ-У-пять... уже не пятое ли Галактическое управление?! *Все они находятся в Ядре. Наше Гэ-У-один — транспортное...* а пятое чем занимается?

Служитель был не весьма сведущ в структуре своего учреждения, но решил быть настороже — а вдруг начальство!

2

Свечение древовидных индикаторов в кассетах быстро слабело и сползало по спектру от голубого до зеленого, затем до желтого, красного, рубинового... и сошло на нет. От столика донесся протяжный вздох, будто человек пробуждался от глубокого сна, шевеления. Служитель подошел, снял контактки, освободил тело от ремней и помог пассажиру подняться.

— Земля, третья планета нашей Солнечной системы, рада приветствовать вас! — произнес от с заученной улыбкой.

Пассажир стоял, расставив ноги, осматривался взглядом осмысленным, но чуть сонным. Вместо ответа он протянул служителю левую руку, на которой болталась пластиковая бирка с номером 176.

— Ах, простите! — тот отвязал бирку, с полупоклоном указал на дверцу кабины.— Пожалуйте сюда, там ваша одежда. Если понадобится помощь, нажмите кнопочку. Как оденетесь, я вас запечатлею для паспорта, хе-хе... пажалте!

Пассажир проследовал в кабину. Служитель укатил пустой столик к лифту, отправил его вниз, вернулся к себе. Выждав достаточное время, он с фотоаппаратом, мгновенно выбрасывающим снимок, вошел к пассажиру. (В классах пониже в паспорт лепили фотографию прямо с анабиотического тела, но в «люксовых» учитывали, что после всучивания-оживания и во внешности отражается новая натура — какими-то напряжениями лицевых мышц, новыми складками у рта или около глаз...) Тот уже облачился в темно-коричневый с искрой костюм, безразмерно облегавший тело,— такие были в моде. Но когда он обернулся, служитель обмер: лица у пассажира не было! Служитель не запомнил лица у тела № 176 — но ведь было же какое-то... а теперь нет ничего: нечто гладкое, розовое, каплевидное — с шевелюрой поверху. В нижней части капли обозначилось отверстие, бесцветный голос произнес:

— Я еще не готов, погодите.

Многое повидал служитель за время работы в высших классах Кимерсвильского пси-вокзала, но такое — впервые: пассажир перед зеркалом воздавал и примерял себе различные внешности! Вот лицо его, а затем и тело удлинились, сузились плечи (безразмерный костюм послушно следовал за трансформациями); из «капли» выступил резко заостренный подбородок, над ним обозначился рот со втянутыми губами, выпятился топориком хрящеватый нос с высокой горбинкой, запали щеки, оформился высокий, но узкий лоб, глубоко сидящие глаза. «Что-то знакомое»,— подумал служитель. Но пассажир критически оглядел себя, хмыкнул — не понравилось. Все оплыло, осело, костюм превратился в подобие мятой пижамы. И начал формироваться полненький, даже с брюшком и широким тазом, среднего роста человек с округлой, коротко подстриженной головой, с припухлым лицом нездорового желтого цвета, светлыми бровями, вздернутым носом; глаза с жидким водянистым блеском будто плавали в светлых ресницах.

Но и эта внешность не приглянулась существу ГУ-5 ΨН 7012 — все опять расплылось в сдерживаемую костюмом жидковатость. «Ох, напрасно я пол-то указал, поспешил!» — испугался служитель.

В третьей трансформации пассажир принял внешность пожилого массивного мужчины, седоволосого, с массивной челюстью и

волнистым носом на брюзглом лице, с мешочками под небольшими, близко поставленными глазами; кого-то и этот облик напоминал. Соответственно преобразовался и костюм.

— Теперь позирую, действуйте! — с легким акцентом сказал пассажир сипловатым грудным голосом, повернулся к служителю, фотогенично приподнял уголки плоских губ.

Тот щелкнул. Извлек из щели фотоаппарата готовый снимок, наклеил в паспорт.

— Записать вас как прикажете?

— Запишите... м-м... пишите так: Порфирий Петрович Холмс-Мегре.

«Ух, едрит твою напополам!» — только и подумал служитель, каллиграфически занося в паспорт названное имя. Ему многое стало понятно. Во-первых, внешность новоприбывшего соответствовала кинооблику комиссара Мегре в наиболее популярной габеновской интерпретации (а предшествовавшие и забракованные — Шерлока Холмса и, вероятно, следователя Порфирия из романа Достоевского). Во-вторых, сразу расшифровалось в уме таинственное ГУ-5 — это было ГУ БХС, Галактическое управление по борьбе с хищениями сутей. Новоприбывший был не только нерассеивающимся, но и сотрудником этого управления среднего ранга (число 7012 значило, что он входит в первый десяток тысяч, для галактического агента это неплохо) и считал, применительно к земным обстоятельствам, что соединяет в себе детективный дар Шерлока Холмса, Порфирия Петровича и комиссара Мегре.

Вручив пассажиру оформленный паспорт и проводив его с полупоклоном до двери, служитель вздохнул с облегчением.

3

Комиссар Мегре (будем и мы так именовать новоприбывшего, раз ему этого хочется) неспешно шагал вниз по пологой спиральной дорожке, которая описывала десятиметрового радиуса витки вдоль прозрачной стены башни пси-вокзала. Звуки шагов гасил ворсистый серый ковер. Никто не обгонял его и не попадался навстречу. От ствола башни, в котором располагались рабочие помещения и лифтовые шахты, спираль отделял выкрашенный под мореный дуб барьер.

...Слева в груди что-то мощно пульсировало: сокращение — расслабление, сокрашение — расслабление... Да, сердце — бионасос для перекачки питательной жидкости, крови. В боках и в бедрах мелко покалывало — в память о долгом лежании в анабиозе. Желудок требовательно напомнил о себе спазмой аппетита, в такт с ней рот увлажнился слюной.

ГУ-5 Ψ Н7012 знал, что все эти ощущения отнюдь не признак неудачного пси-интегрирования, вещи опасной,— просто «белковый синдром». Его предупредили, что с белковым телом будет много хлопот: питание, пищеварение, естественные отправления, очистка поверхности кожи, полостей, утомляемость, требующая ежесуточного многочасового сна... А еще курить надо, вспомнил он, трубку. Ничего, справлюсь, не такое бывало.

Тем не менее весь первый круг по спирали комиссар был полон ощущениями тела, привыкал к нему. Привык — и на втором витке он с тем же острым чувством новизны (хотя заложенная в память информация о городе была достаточной, чтобы он смог прийти куда нужно и к кому нужно) начал осматриваться.

За стеной разворачивалась панорама Кимерсвиля. Широкая река («Итиль»,— вспомнил комиссар название) разделяла город на две неравные части. Она искристо блестела под солнцем, умеренно яркой звездой с диском в полградуса, которая просвечивала голубую от кислорода атмосферу с белыми комьями водяного пара, облаками. По реке плыли суда — столь же белые, как и облака, но более правильной формы. Заречная сторона города состояла из одноэтажных домов, которые образовали две параллельные улицы над высоким глинистым обрывом. Правее них ветвились-множились сдвоенные блестящие нити железнодорожных путей, занятые товарными вагонами и платформами,— сортировочная станция; за ней вдали темнел хвойный лес. От станции на эту сторону реки был перекинут железнодорожный мост на трех гранитных быках. Левее Заречной слободы (прибывший знал и названия) на отшибе высились стандартные многоэтажки жилмассива. К нему по другому мосту шли люди, мчались автомобили.

Сторона города, в которой — на выступившем в реку мысу — находился пси-вокзал, была заметно более современной, респектабельной, ухоженной. Весь берег одет в бетон и наклонные газоны с короткой травой; полукруглую площадь у подножия башни окружали здания смелых архитектурных форм — многоэтажные волны, пологие с одной стороны и крутые, будто набегающие, с другой, они образовывали вихревой ансамбль. Три широкие улицы, полные движения, тоже вливались в площадь согласно с этим вихрем, под острыми углами. Имитация спиральной галактики, понял Мегре, недурственно. Впрочем, так, соответствуя вселенскому пси-порту планеты, выглядел только центр города. А ближе к окраинам и в этой стороне многоэтажные здания оказывались стандартными коробками в соседстве с маленькими, преимущественно деревянными домиками на нешироких и не везде мощенных улицах с деревьями по краям. За городом простиралась холмистая степь, большей частью распаханная, среди нее виднелись серо-зеленые, по-весеннему полупрозрачные рощицы.

После двух витков осмотра прибывший ощутил, что чувство новизны испарилось, город стал привычным, малоинтересным. Интерес сконцентрировался на деле, ради которого агента 7012 и прислали.

Башня между тем расширялась. Следующий виток спирали привел комиссара в залы третьего яруса, где находились V и IV классы. Ковры здесь были потерты, двери хлопали. Возле барьерных стоек с надписями «Регистрация обессучиваемых» томились небольшие очереди. Мегре задержался возле стойки класса IV-Т (туристский), слушал, смотрел, вникал.

— Да не могу я вас отправить по четвертому, молодой человек! — сердечно объяснял лысый регистратор в синем мундире с жетоном на груди (знак «Ψ» на фоне спиральной галактики) рыжеволосому и густо веснушчатому юноше с несчастным выражением лица.— Смотрите сами,— он положил перед юношей желтый пластиковый прямоугольник со сложной перфорацией,— ведь у вас дифференциалы интеллекта и более высоких порядков, чем наш четвертый, здесь отмечены... видите дырочки? Вот какая-то способность даже до десяти баллов тянется — не берусь на глазок расшифровать, какая?

— В физической химии,— уныло сказал юноша.

— Вот видите, в физической химии. Этим нельзя пренебрегать. При считывании вас по четвертому классу она срежется — и привет! Вас даже по пятому отправить нельзя, только по высшему...

— Откуда я наберу на высший-то со стипендии?

— Ничего, юноша, запаситесь терпением,— в голосе регистратора появились отеческие нотки.— С такими-то данными... окончите курс, продвинетесь — никуда не денутся от вас ни Денеб, ни Альтаир. Еще дальше полетите — и не туристом, а в командировки, за казенный счет!

— Э, то еще когда будет...— вздохнул студент, сунул пси-карту в карман, направился к выходу.

Мегре заметил, как стоявший предпоследним поджарый брюнет с бледной плешью и быстрым взглядом за подсиненными очками покинул очередь, пошел за юношей. Комиссар хотел последовать за ними, но его отвлекла перепалка у соседней стойки класса V-А; стены около нее украшали рекламные плакаты с видами иных планет. За барьером трудился тридцатилетний красавец с прямым пробором и усиками; в интонациях его за учтивостью проскальзывала язвительность.

— Но почему?! — возмущалась дама перед стойкой.— Да, я знаю, что тело не транслируют... но почему драгоценности нельзя передать? Почему мои украшения не могут отправиться со мной? Ведь я без них буду там, пардон, как нагая!

Дама напирала на слово «драгоценности», горделиво смотрела

на очередь. Ей было за пятьдесят, вырез платья излишне открывал дряблую, морщинистую грудь, но в ушах искрились, покачиваясь, двухъярусные изумрудные подвески, сизые волосы украшал черепаховый гребень с бриллиантами, складки смуглой шеи маскировали нити крупного жемчуга; запястья обвивали змееподобные золотые браслеты с рубинами.

«Везде одно и то же,— думал комиссар,— стремление даже из математики хватануть то, что *возвышает*. То, что здесь — и не только здесь — идет как номер пси-класса транспортировки, на самом деле просто порядок дифференцирования функции под названием «личность». Чем она сложнее, тем более высоких порядков дифференциалы ее что-то значат,— их надо считывать, транслировать или хранить в кассетах... а это технически сложнее и дороже. Но почему, скажите мне, быть сложным — хорошо? Ведь главные черты личности во всех мирах: простота, доброта, ясность, воля, честность, уравновешенность, здоровье — математически дифференциалы низших порядков... что же в них *низшего*-го?!. Из глупости претензий этой дамы ясно, что транслировать ее по третьему классу — в самый раз. А на пятый она потратилась, чтобы потом морально уничтожать знакомых: «Вот я в Кассиопею летала по пятому!..»

— Ваша склонность украшать себя, Мариам Автандиловна,— корректно объяснял между тем красавец регистратор,— учтена вот в этом столбце пси-карты. Видите вереницу дырочек вплоть до уровня в 12 баллов? Эта информация будет передана вместе с другими вашими сутями, на каждой планете вам подберут обменницу с аналогичными наклонностями. Например, у Веги на планете завро-сапиэнсов вы будете носить красное целлулоидное кольцо в носу и ярко начищенный медный таз на животе; впереди будет шествовать юный завр и ударять хоботом в бубен. У двоякодышащих Денеба чешую вам раскрасят во все цвета радуги от жабр до хвоста...— В очереди захихикали; у дамы медленно отваливалась челюсть.— Когда вы окажетесь у «весельчаков» Альдебарана, каждую веточку ваших рогов украсит отдельный микротранзистор, и все они будут исполнять разные мелодии. Драгоценности же, если они у вас настоящие, вам лучше сдать на хранение в банк. Ближайшие — на Привокзальной площади. Очень сожалею, но...— и он изящно указал на плакат над стойкой: «К сведению обессучиваемых: за сохранность драгпредметов, оставшихся на обессученных телах, администрация ответственности не несет».

— Если... настоящие?! Это про мои-то кровные!..— пришла наконец в себя дама, забушевала в полный голос.— Ах ты, молокосос! Я этого так не оставлю, я тебе покажу рога и медный таз!

Мегре бросил на регистратора сочувственный взгляд, двинулся дальше вниз.

Студент и поджарый брюнет, забегающий то справа, то слева,

шагали по спирали витком ниже. Комиссар хорошо слышал разговор.

— Слушай, я же серьезную сумму предлагаю,— напористо частил брюнет.— Продашь — и тебе хорошо, и мне хорошо. Сможешь летать даже по пятому и гораздо дальше. Ну?

— Сейчас хорошо — а потом?— флегматично возразил студент.— Ты за меня будешь физхимию долбать, экзамены сдавать?

— Да отрастет она у тебя, эта способность, отрасте-ет! — почти запел брюнет.— Ты же молодой, у молодых сути восстанавливаются, как хвост у ящерицы, чтоб я так жил! Хорошо, набавлю еще сотню галактов — по рукам?

— Катись-ка ты знаешь куда... Отрастет! Нашел дурачка. Сдам вот тебя внизу.

— Ну-ну-ну, зачем же ж так? У нас же ж полюбовная беседа. Не желаешь, не надо, исчезаю.

Когда Мегре, перегнувшись через перила, взглянул вниз, веснушчатый юноша шагал один. Учащенная походка его собеседника слышалась ярусом ниже. Комиссар запомнил диалог.

Круг второго яруса, где расположился самый ходовой для межзвездных пси-полетов III класс, имел в диаметре метров пятьдесят. Здесь было суетно, шумно, душновато; ковровые дорожки сменил потертый линолеум. Граждане земного вида (хотя многие, по существу, жители иных миров) табунились у стоек, кассовых окошек. Кабины, к которым тянулись очереди, здесь были упрощены до уровня пляжных: виднелись ноги раздевающихся, над перегородками возвышались их головы. Стены украшали плакаты с грудастыми пси-стюардессами и — помимо уже знакомого комиссару воззвания насчет драгпредметов — многие лозунги: «Провожающие, проверьте, не остались ли у вас пси-карты отбывающих!», «Купля-продажа сутей категорически запрещена!», «Не приближайтесь к телам ваших обессученных родственников, это опасно!» и т. д.

Здесь работал конвейер. Обессучиваемых укладывали лицом вниз на движущуюся черную ленту, двухметровые секции которой были отгорожены бортиками. Служители в доспехах, напоминающих хоккейные, закрепляли руки и ноги пассажиров ремнями, одним ловким движением настилали вдоль позвоночника спинную контактку, надевали и обжимали на головах решетчатые шлемы со жгутами проводов, щелкали тумблерами — и дальше действовала электроника.

Момент считывания многим давался нелегко: вздыбливались волосы в ячейках шлема, по телу волнами пробегала дрожь и сокращения мышц, пот выступал на шее и спине (у иных же, напротив, мурашки). А некоторые, как ни сдерживались, вскидывали го-

лову и испускали идущий от самых глубин стон или вопль... и затем обмякали. Неохотно — пусть и на время — расставалась душа с телом.

Эта лента уносила тела вниз, в подвал, на анабиотическое хранение. Другая двигалась навстречу и выносила оттуда тела на всучивание, введение в них обменных личностей из кассет. Это делалось в дальней части зала. Оттуда до комиссара Мегре тоже доносились стоны и клики, свидетельствовавшие, что и всучивание было для многих сильным переживанием. Но эти клики и стоны имели иную, жизнеутверждающую окраску: то были звуки облегчения, удовлетворенной страсти, восторга. Горестно отделялась душа от тела, но радостно соединялась с ним. И неважно, что это была уже не та душа.

...Лозунг об опасности приближения к обессученным телам был не лишним, и не напрасно служители одевались, как хоккейные вратари. Комиссар видел, как два приятеля — один рослый, другой пониже — сердечно распростились у соседних кабин и даже из них, разоблачаясь, посылали друг другу кивки и улыбки; затем их обессученные тела оказались в соседних секциях ленты. Долговязый впереди, его приятель позади. Первого положили неудачно, ступня перевесилась через бортик перед лицом второго. И тот, повернув голову, принялся грызть ее повыше пятки. Длинный задергался, загыкал, сипло взвыл. Пока дюжие служители разнимали этих двоих, заволновался весь конвейер: обессученные дергались, мычали, завывали, зал наполнился ужасными звуками; на минуту прекратили операции. Но порядок был восстановлен, конвейер тронулся.

Агент 7012 наблюдал подобное и в иных мирах, суть дела была ему понятна.

Дифференциальное считывание забирает из тела избыток психического заряда, который выражает себя индивидуальными чертами, разумом, личной памятью, но оставляет нетронутым то, что равно есть у всех существ, чем обмениваться нет смысла: животную составляющую психики. Первичную «Ы-активность» — по терминологии теоретиков. Высшие черты личности смиряют, сдерживают ее — но, освободившись от опеки, Ы-активность иной раз проявляет себя мощно и без затей. Уровень ее у разных существ различен, думал агент, каков он здесь? Кусать только потому, что есть возможность укусить... ох, кажется, велик.

4

Последний виток — и он опустился в основание башни. Здесь, в круге первом, находилось то, что соотносилось с межзвездными

пси-полетами, как в обычном сообщении с дальними рейсами соотносятся пригородные: система массовой пси-транспортировки в пределах Солнечной, в просторечии «электричка».

...Неутоленные желания побуждают нас искать новые возможности. Найденные же возможности, в свою очередь, порождают новые потребности. И у многих людей (а равно и жителей соседних планет) потребность в пси-перебросах из одного мира в другие стала теперь столь же обыденной, как прежде — в поездке на дачу, в ближний город за продуктами или дефицитом, на село к родичам и так далее. До ближних планет минуты, до дальних, начиная от Юпитера, часы, о чем говорить! Пригородное сообщение.

Среди людей, четырьмя потоками втекавшими в башню через стеклянные двери западной стороны и такого же количества, выходивших наружу через восточные,— были преподаватели и студенты, разочарованные мужья и брошенные жены, археологи, ведущие раскопки на Марсе, и искатели приключений на четыре отпускные недели, планетологи, дипломаты мелких рангов, сезонные рабочие, любовники, решившие продолжить связь в иных воплощениях, туристы, ищущие новизны, и пенсионеры, ищущие справедливости, литераторы и репортеры, телепаты и иллюзионисты, сыщики и укрывающиеся преступники, художники, чиновники, композиторы, толкачи, коллекционеры, пси-фарцовщики, проповедники, искатели истин, любители по-новому «вздрогнуть», изыскатели, проектировщики, наладчики, физики, лирики, философы... и бог знает кто еще. Некоторым так часто доводилось менять планету, среду обитания, облик, что им нелегко было вспомнить, кем они были первоначально, до пси-полетов: людьми, самоперекатывающимися шарами-меркурианцами, стратозаврами Венеры, энергетическими вихрями-марсианами, облакинями в атмосфере Юпитера, объемнорешеточниками Нептуна или кем-то еще? Разумными обитателями Солнечной — вот главное.

— Отбывающие в сторону Марса, Юпитера со спутниками, Сатурна со спутниками и далее, ваши турникеты от 1-го по 4-й! — объявляли громкоговорители.— Отбывающие к Венере и Меркурию проходят через 5-й 6-й турникеты. К сведению новоприбывших инопланетян: все справки на Привокзальной площади. Не скапливайтесь здесь, пожалуйста, не создавайте заторов!

Здесь царило самообслуживание.

Отбывавшие просовывали в щели турникетов свои пси-карты. Раскрывались пропускные скобы, вспыхивали указатели: женщинам направо, мужчинам налево. Пассажиры ступали на эскалаторы, отличавшиеся от метрополитеновских лишь тем, что рядом со ступенькой находилось сиденье с подлокотниками, эластично-упругой спинкой-контактной и шлемом на рейке. Пока лента возносила людей по крутому участку «горки», каждый успевал снять

рубашку (или свитер, куртку — у кого что было) — некоторые расстегивали и приспускали брюки до полного обнажения позвоночника — сесть, плотно прижаться к спинной контактке (загоралась зеленая лампочка), нажать кнопку — по рейке на голову мягко опускался решетчатый шлем (загоралась другая зеленая лампочка) — и замереть в предстартовой готовности.

Считывание-обессучивание происходило при выходе эскалаторной горки на горизонталь.

Этот момент и здесь угадывался по тому, как у пассажиров судорожно напрягались тела и лица, дыбом поднимались выпростанные из шлема пряди волос... а многие, не удержавшись, издавали стон, крик или рычание. Затем тела расслаблялись, лица делались упрощенно сглаженными, идиотическими и такими следовали по горизонтальному участку.

На спуске шло всучивание обменных личностей. Снова вздыбливались волосы, судороги проходили по лицу и телу, раздавались стоны и возгласы (теперь не скорбного, а удовлетворенно-ликующего оттенка). Лица опускающихся по эскалатору приобретали осмысленное выражение, но часто не то, какое имели две минуты назад.

Шлемы подскакивали вверх по рейкам, контрольные лампочки гасли. Пассажиры — теперь уже прибывшие — поднимались с сидений, опускали завернутые рубашки, застегивали штаны и по выровнявшейся на горизонталь ленте направлялись к выходам, исчезали в них — всяк по своим делам. Редко кто останавливался, остолбенело смотрел по сторонам, щупал себя — новичок, приходящий в норму.

А сути считанных личностей в это время были уже рассортированы вычислительной Ψ-машиной по порядкам дифференциалов, по индексам, раскалиброваны с точностью до $\pm 0{,}5$ балла, собраны в группы по направлениям, промодулированы несущими радиочастотами, излучены вихревыми антеннами пси-башни — и мчались, балдея от космического экстаза, к своим планетам. В точках ветвления трасс их захватывали многокилометровые параболические решетки ретрансляторов, подпитывали энергией, фильтровали от помех, посылали дальше.

...Целеустремленные потоки пассажиров. Молодецкий перещелк турникетов. Непрерывное движение эскалаторов. Единообразные, как ружейные приемы, стартовые действия. Мерцание сигнальных лампочек, шмыгание импульсов по электронным схемам, бурление электромагнитной энергии в СВЧ-кабелях...

И только звуки, издаваемые пассажирами в моменты старта и прибытия, вносили в этот технический апофеоз какие-то своеобразные ноты — не то коллективного покаяния, не то массового распутства.

5

Комиссар тоже вышел из пси-вокзала в деловом настроении. Поэтому его внимание привлекла не площадь с вихревым движением машин и толпами людей, не здания вокруг и даже не красивая река за парапетом набережной,— а листочки бумаги, налепленные всюду возле выходов и на окрестных столбах. Это были объявления.

«Меняю десятибалльное здоровье на способности в точных науках 6—7 баллов. Доплата по соглашению. Звонить...» — телефон был оторван.

«В связи с отлетом по годичному контракту на Ганимед сдаю напрокат тело — мол. муж. в хор. сост. Обращаться...»

«Миняю холиричиский тимпираминт на муз. спасобнасти жилательно испальнительские для эстрады. В придачу даю кафейно-музикальный канбайн «Икспресия», пачти новый».

Мегре переходил от столба к столбу, читал, заложив руки за спину, и чувствовал на себе взгляд плешивого брюнета, который склонял к сделке веснушчатого студента с недюжинными способностями. Брюнет прогуливался с независимым видом. Вот оказался рядом, склонился к объявлению, которое читал комиссар, произнес тихо и как бы в сторону:

— Продам сути, куплю сути...

— А что у вас есть?— так же не глядя в его сторону, отозвался комиссар.

— А что бы вы хотели: отдельные или блок?

— Лучше блок.

— Имею характер — женственный, любящий, скромный, снисходительный. Верность девять баллов, доброта восемь. Если у вас молодая жена, он ей очень не повредит.

— Не интересует.

— А какой надо?

— Мужской, сильный. Воля 12 баллов, симметричная в активной и пассивной составляющих, гордость — одиннадцать, отвага — десять, принципиальность — шесть, щедрость — двенадцать, темперамент сангвинический — одиннадцать...

Брюнет, не дослушав, присвистнул:

— Ну, папаша, вы даете! Такой характер это все равно что бриллиант на тыщу карат. Его, может, и в природе нет, а уж на толчке... Я лично о таком не слышал. И вообще такие баллы только очень состоятельному человеку под силу.

— Скажите, а интеллектуальные сути у вас имеются?— раздался позади женский голос.

Оба быстро обернулись. Рядом стояла молодая женщина. Она была хороша собой — не только округлым чистым лицом с широким лбом и прямым носиком, ясными карими глазами, густыми пепель-

ными волосами, но и налетом интеллигентности и небрежного изыска в облике и одежде. Взгляд сейчас был холодным и несколько брезгливым; чувствовалось, что только крайняя нужда заставила ее обратиться к *таким* людям.

— Какие, что вас интересует?— брюнет поправил синие очки.

— Поэтический дар одиннадцати... ну, на худой конец, десяти баллов. Лирико-философский с креном в космичность, с мягким юмором и с чувством новизны.

— О! — спекулянт возвел брови.— Я бы и сам не прочь заиметь такой. Это вам самой?

— Мне, не мне, какое это имеет значение! — женщина повела плечиком.— Нужна кассета. Заплачу хорошо. Так у вас есть?

— Сейчас нет, но... для вас я переворошу весь черный рынок и найду! Слово чести. И в цене сойдемся.

Брюнет пытался «кадрить» приглянувшуюся женщину настолько примитивно, что та только поморщилась, повернулась к Мегре:

— Может быть, у вас что-то есть на примете?

— Очень сожалею,— мягко улыбнулся тот,— но у меня на примете пока только вы двое...— Комиссар отвернул лацкан безразмерного пиджака, показал самосветящийся знак «ГУ БХС» (спекулянт при виде его даже присел) и произнес формулу, которая в разных мирах выражалась различно, но смысл всюду был одинаков:— Пройдемте!

И повел задержанных через площадь. Порфирий Петрович был доволен: все-таки явится не с пустыми руками.

Сворачивая в выгнутую дугой улицу, где в трех кварталах отсюда, он знал, расположен Кимерсвильский отдел БХС, новоприбывший оглянулся. Башни пси-вокзала — параболоид вращения, уходящий к облакам и расширенный там, под ними, тремя вихревыми антеннами,— походил издали на гигантский стетоскоп, приложенный к земной поверхности. Вселенная будто выслушивала через него планету.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ГОРОД КИМЕРСВИЛЬ И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

Если человек духовно стоит на четвереньках, относительно его физического прямохождения лучше не заблуждаться: это лишь хождение на задний лапах.

К. Прутков-инженер, мысль № 50

1

В Кимерсвильском ОБХС — отделе борьбы с хищениями сутей — шел рабочий день. В приемной под присмотром дежурного

скучали трое подозреваемых в незаконных пси-операциях: плотный, элегантно одетый мужчина средних лет, темноволосый молодой человек с тонкими чертами округлого лица и самолюбивой складкой губ и старушка. Они прошли обследование в лаборатории и теперь с контрольными пси-картами ждали словесного исследования (кое в иных делах называют упрощенно допросом). В комнате для исследований двое: начальник ОБХС Семен Семенович Звездарик, плечистый сорокалетний землянин с покато переходящим в лысину лбом, синими глазами и узкими губами, над которыми саблей навис хрящеватый нос, и его помощник, исследователь I класса Витольд Адамович, добродушно полненький, коротко постриженный, с темными глазами в припухлых веках (а на самом деле марсианин Виа-Скрип с Большого Сырта, постоянно обменивающийся с вкалывающими там нашими археологами и прибывающий утром на работу в «электричке»),— за столами-пультами вникали в сопутствующие бумаги. Звездарик ближе к окнам, Витольд Адамович подальше.

За окнами набирает силу апрельский день, размытые облака плывут над крышами домов, голуби томно курлычут на карнизах; липы вдоль тротуара усеяны зелеными брызгами распускающихся почек. Все буднично, обыкновенно — только над домами, над всем городом вздымается башня пси-вокзала. Вид ее — несмотря на ухищрения земных архитекторов создать вокруг надлежащий ансамбль — своими параболами, спиралями и вихрями как бы бросает вызов плоскостям и прямым углам городских строений, обличает вложенную в это сооружение чужую, инопланетную мысль. Она такой и была: проект пси-вокзала — не только для Земли, для многих мест Солнечной и примыкающей части Галактики — создали кристаллоиды Проксимы, энтузиасты пси-транспортировки. Они же (точнее, их сути) обеспечивали и работу Ψ-машины.

По другую сторону столов Звездарика и Витольда сверкали никилем, лоснились пластмассами и искусственной кожей зажимов два КПСа — кресла принудительного считывания; в верхней части они напоминали зубоврачебные, в нижней — гинекологические. Над спинками кресел нависали все те же шлемы головных контактов на зубчатых рейках. Именно считывание-изъятие чужих, похищенных или иным способом присвоенных психических сутей для возвращения таковых владельцам и было, как правило, финалом собеседований в ОБХС.

Начальник отдела склонился к микрофону слева от себя, произнес сипловато:

— Давай бабусю.

Вошла гражданка Клюкина Эротида Власьевна семидесяти двух лет, вдова, пенсионерка, психически нормальная, проживающая в Заречье и подозреваемая в присвоении — посредством покуп-

ки у спекулянта кассеты и введения ее содержимого себе — «девичьих сутей». На след навела племянница Антонина, не поладившая с бабкой. Поскольку обнаружена кустарная кассета, да и сама Клюкина не отпиралась, было не подозрение — доказанный факт.

...История исчезновения «девичьих сутей» была проста, поучительна и ужасна. Год назад учащиеся выпускного курса Кимерсвильского планетологического техникума, парни и девушки в возрасте от 17 до 20 лет, отправились в обменные практики на Венеру, Сатурн и планету-спутник Юпитера Ио. Это был первый опыт пси-обмена студентами. С ребятами все обошлось, но девушки нашли, воплотившись в тела юных кремнийорганических венерианок-стратозаврих, сатурнианских метаноаммиачных осьминожиц и ажурных многополюсниц Ио, неожиданно развели такую «свободу нравов», так скандализовали своим поведением инопланетные общества, что пришлось всех срочно, не дожидаясь конца практики, обменять обратно. Мало того что это сорвало и практику инопланетных студенток на Земле, но более сотни одних только молодых стратозаврих, вернувшись в свои тела, обнаружили, что они мамы, и стали нести яйца; вопрос об отцовстве во всех случаях остался открытым. Сами же девицы дома к занятиям вернуться не пожелали и быстро превратились в совершенных распустех и шалав — вплоть до приставания к пси-туристам. То, что Кимерсвиль — город, так сказать, портовый, помогло им закрепиться в этом качестве.

Инопланетные партнеры по обменной практике обвинили землян, что те их обманули, дали на студенток пси-карты с сильно завышенными значениями таких черт, как стыдливость, целомудрие, послушание, верность любимому, скромность... И действительно, повторное обследование вернувшихся девушек показало, что пси-потенциалы этих черт характера у них близки к нулю. Не стало у них этих черт, а были! То, что скандал разразился сразу в трех местах Солнечной, не позволяло заподозрить в хищениях жителей тех планет: дело явно произошло на начальном этапе пси-транспортировки, на Земле.

Это вскоре и подтвердилось: на черном рынке в Кимерсвиле появилась и была быстро распродана крупная партия кассет именно с такими наборами «девичьих сутей». Здешние мамаши, устрашенные случаем со студентками, хватали, платили любые деньги — для своих еще не сбившихся с пути дочерей.

Все это прошло в памяти Семена Семеновича, пока гражданка Клюкина огибала стол и садилась, подобрав юбку, на краешек КПС. У нее было овальное, в резких морщинах лицо, выцветшие голубые глаза, руки, сложенные на коленях, в темных венах. «Старушка божья, лакомый кусочек»,— подумал Звездарик.

— Эротида Власьевна,— сказал он,— случай ваш ясный, мно-

го рассусоливать не о чем. Вы мне скажите одно: вам-то в вашем почтенном возрасте зачем понадобились эти черты — целомудрие, стыдливость, верность возлюбленному... какому возлюбленному?! Помолодеть рассчитывали, что ли? От этого не молодеют.

— Где уж мне молодеть...— вздохнула старушка божья.— Зашла это я на рынок, гляжу — выбросили, дают. Бабы давятся. И я встала, взяла. А потом ввела себе, не пропадать же им. Тонька и завелась. Она дочке своей хотела ввести, Нюрке. А я не дала...

— Спекулянта, который продавал кассеты, вы запомнили? Опишите его, пожалуйста.

— Да где там... давка, говорю, была. Я больше всего боялась, что не хватит. Вроде мужчина.

Семен Семенович покосился на Витольда: тот смотрел на бабусю с любованием.

— Ну, ясно,— сказал начальник отдела.— Именем закона изымаю у вас чужие сути, гражданка Клюкина. Больше так не делайте!

Он нажал кнопку на пульте. Из боковой двери выглянула женщина-оператор в сером костюме. Звездарик протянул ей бумаги и пси-карту, кивнул на старушку: «Займитесь!»

— А деньги-то мне вернут?— спросила Клюкина, тяжело поднимаясь с кресла.— Деньги я потратила немалые.

— Кто же вам вернет, Эродита Власьевна? Вы ведь краденое покупали. Вот если попадется нам тот «вроде мужчина», взыщете с него. А пока — не обессудьте.

Недовольная бабуся побрела за оператором, бормоча под нос: «Ну, Тонька, ну, змея!..»

А Семен Семенович, провожая ее глазами, озабоченно думал, что и с возвращением изъятых «девичьих сутей» их законной владелице, уже установленной гр-нке Изабелле Нетель, тоже будут хлопоты. Недавно вернули одной такой, замызганной привокзальной лахудре, от «свободной жизни» выглядевшей значительно старше своих двадцати. И были слезы, истерика с выдиранием пегих от перекрасок волос: «Как я могла?!» Вот и Изабеллу придется на первых порах опекать, чтобы, боже упаси, не сделала чего над собой. А людей в отделе мало. А дел много.

Он вздохнул, неприязненно взглянул в окно. В том, что в руководимом им отделе так много дел о махинациях с пси-сутями и о хищении их (как раз наиболее ценных, какие не у каждого бывают — дефицитных), Семен Семенович в большой мере винил сам город Кимерсвиль. Точнее, неудачный выбор его именно в качестве земного пси-порта Вселенной.

Собственно, всем взял Кимерсвиль, лучше других мест подходил он для сооружения пси-вокзала: близость к столице планеты —

и в то же время удаленность от крупной, создающей помехи и загрязнения промышленности, красивое расположение на берегах широкой реки, среди холмистых полей, рощ и лесов; и даже достаточное количество малозанятого населения, которому теперь нашлось дело. Одно упустили из виду: историю города. То именно обстоятельство, что он находился на 101-километре от столицы: здесь прежде проходила черта, ближе которой не пускали «лишенцев» — людей, пораженных в правах после отбытия наказания за различные преступления. Сюда же, на сто первый километр, выселяли из столицы подозрительных, но недостаточно уличенных для взятия под стражу граждан.

Если быть точным, то не только сюда, черта образовала вокруг столицы окружность. Но самый ближний город за ней был именно Кимерсвиль — здесь большей частью и скоплялись «лишенцы». И «лишенки» тоже. Одни трудились честно, другие ездили промышлять в столицу или «гастролировали». Нравы были своеобразные, преступный оттенок их не мог, естественно, не передаться в следующие поколения. Однако пришло время товарного изобилия, отчуждать собственность посредством краж, мошенничества, грабежа, т. п. стало занятием бессмысленным. Утратились приемы и навыки, только в музеях криминалистики хранились технические устройства типа отмычек и фомок. Но информация, записанная в генах кимерсвильцев, осталась. Она ждала своего часа и дождалась, когда благодаря развитию техники стало возможным отчуждать (вместо вещей и денег) ценные черты интеллекта и целиком интеллекты, характеры, весь психический склад личности.

Но, пожалуй, все-таки преувеличивал Семен Семенович, приезжий человек, вклад именно коренных кимерсвильцев в эти дела. Ведь ГУ БХС, Галактическое управление, которому подчинялся его отдел, существовало и до присоединения землян к системе пси-транспорта; стало быть, явление это не местное и даже не только земное. «Кстати,— ассоциативно вспомнил Звездарик,— ведь сегодня оттуда, из пятого ГУ, должен прибыть агент 7012. Я вместе с ним и представителем Суперграндии образую розыскную тройку с широкими полномочиями для отыскания и возвращения пропавшего (или тоже похищенного?!) характера МПШ—XXIII, Могучего Пожизненного Шефа той планеты-державы. Ох!.. Как к этому-то подступиться? Полномочия полномочиями, но ведь никаких следов. И представитель-то суперграндский где, прибыл ли?.. Охо-хо!» — он снова вздохнул.

2

— Что там дальше?— повернулся начотдела к Витольду.

Помощник протянул две бумаги:

— Выбирай себе.

Звездарик взял, пробежал глазами: да случаи посерьезней, чем с бабусей.

Первая бумага была анонимным заявлением возмущенного зрителя генеральной репетиции оперы «Кармен», которая днями должна пойти в местном музыкальном театре. Партию Хозе исполнял молодой тенор Контрастюк. «И вот в финале оперы, где, как известно, Хозе, зарезав возлюбленную, поет: «Теперь ты навек моя, Кармен!» — причем последняя и самая ответственная нота этой музыкальной фразы тянется до завершающих аккордов оркестра,— произошло следующее. Хозе — Контрастюк, затянув на соответствующей ноте («до» верхней октавы): «...Кармеее-еен!» — скрутил два кукиша, направил их на дирижера симфонического оркестра, заслуженного деятеля искусств Д. Д. Арбалетова и, медленно приближаясь к нему, тянул эту ноту втрое дольше, чем следовало по партитуре, перекрыв заключительные аккорды оркестра на целый такт. Музыкальное впечатление было нарушено. Это не может не навести на сомнения: тот ли человек Контрастюк, за кого он себя выдает? Просим проверить».

«Да, действительно...» Семен Семенович не однажды слушал «Кармен» и сейчас живо представил эту сцену. «Но анонимку хлопнул явно не оскорбленный зритель, а кто-то из музыкантов, скорее всего, тот же дирижер Арбалетов. Что ж, проверим».

Вторая бумага содержала «рапорт» участкового уполномоченного старшего сержанта В. Долгопола, и, едва начав читать ее, Звездарик будто увидел перед собой этого славного парня Васю — с удлиненным лицом, спортивной прической набок, простодушным взглядом серых глаз и чуть выпяченной нижней губой. Он не был подчинен ОБХС и не имел необходимости рапортовать, но живо интересовался связанными с пси-транспортировкой делами и не раз наводил на заслуживающие исследования случаи.

«Сообщаю о происшествии. Вчера между шестью и семью часами вечера на бульваре Близнецов во вверенном мне участке хорошо одетый гражданин приставал к женщине на иностранном языке, обещая ей за согласие деньги. Женщина оказалась порядочной и подняла крик. Собрались люди. Подошел я. Мужчина назвал себя Джоном Криклеем, но на прочие вопросы отвечал иностранными выражениями. На приглашение пройти для выяснения не реагировал. Но тут житель моего участка гр-н Сидорян Тигран Акопович, будучи в состоянии алкоголя, размахнулся и физически оскорбил упомянутого Криклея по лицу. Тот сразу заговорил по-русски. Не то слово «заговорил»— закричал: «Шё?! Ты меня ударил по лицу?! Хорошо, я тебя запомнил!» — и другие угрозы, перемежая их словами полового значения.

Из предъявленных затем по моему решительному требованию

документов оказалось, что он не Джон и не Криклей, а Иван Степанович Крикунов, аспирант института и соискатель научной степени. Поскольку между этими данными и его поведением на бульваре есть противоречие, препровождаю гр-на Крикунова И. С. к вам на исследование. Гр-н А. Т. Сидорян мною привлечен за мелкое хулиганство». Подпись.

Нет, славный парень, размягченно подумал начотдела, даже в стиле его чувствуется какая-то нетронутость, неиспорченность цивилизацией.

— Бери «ученого», а я займусь «певцом»,— сказал он Витольду, интонациями как бы заключив в кавычки сомнительные слова.

Задержанные вошли. Семен Семенович оценивающе глядел на молодого человека, которого предстояло допросить: одет ярковато, но со вкусом, полноватое лицо выразительно и приятно, нос с горбинкой, энергический выгиб бровей и губ. Тот тоже с интересом осматривался.

— Садитесь, пожалуйста! — начальник отдела указал на КПС, а когда Контрастюк сел, игрой клавиш на пульте отрегулировал высоту сидения и наклон спинки ему по фигуре.— Так удобно?

— Да, благодарю,— тенорком ответил артист.

Второй подозреваемый сел в кресло напротив Витольда Адамовича без приглашения, скрестил вытянутые ноги. Это был полнокровный здоровяк с пышной шевелюрой, треугольником начинавшейся над покатым лбом, крепкой челюстью и румянцем на широких щеках; плотную шею обнимал малиновый свитер. Из нагрудного кармашка кремового, спортивного покроя пиджака выглядывал пестренький микрокалькулятор-расческа — такие как раз входили в моду. Звездарик, искоса рассмотрев его, вспомнил фразу из ильфа и Петрова: «О таких посудимых мечтают начинающие прокуроры». Семен Семенович был начитанный человек.

— Итак,— он склонился вперед и понизил голос, чтобы не мешать собеседованию другой пары, глядел исподлобья прямо в глаза допрашиваемому,— вас подозревают в том, что ваш певческий дар — не ваш, а похищен или незаконно куплен вами и введен в тело посредством пси-техники.

— Ого! — только и сказал певец, распрямился в кресле.

— Не ого, а факты, уважаемый. Извольте послушать...— Звездарик прочел анонимное заявление.— Так было дело?

— Это Арбалетов написал?

— Не подписано. Да это и неважно. Было вчера такое?

— Все равно это он,— уверенно сказал Контрастюк.— Ну, было, так что?

— То есть как «так что»?!— пришла очередь Звездарику опешить.— Самое трагическое место оперы, а вы, любящий убийца Хозе, два кукиша!.. А система Станиславского, вживание в образ?

— Вживание вживанием, но у меня самолюбие тоже есть. Что же он подначивает-то?

— Кто?

— Да Арбалетов этот. Подумаешь, мэтр, светило!

— Вы не горячитесь, объясните толком.

Певец понизил голос, стал объяснять. Финальная фраза Хозе в «Кармен» — и особенно последняя высокая и долгая нота — одна из труднейших в певческом репертуаре; да к тому же конец партии, певец устал. Поэтому бывают случаи, когда на этой ноте срываются, дают петуха — особенно молодые певцы, не умеющие рассчитать свои силы. И вот перед генеральной репетицией Контрастюк, впервые допущенный к исполнению такой серьезной роли, нечаянно услышал, как Арбалетов говорит в кругу музыкантов, посмеиваясь: «Этот точно не вытянет, киксанет на коде...» — и даже предлагает пари. Молодого певца задело, он почувствовал спортивную злость и доказал, что не только не «киксанет», но и оркестр перетянет.

— Ну, перетянули, ладно... а кукиши зачем?

— Для полного триумфа,— сказал певец.

Семен Семенович смотрел на него с сомнением.

— Я все-таки не понимаю: как вы рассчитываете заставить зрителей поверить в ваше искусство, в страшную судьбу Хозе... если вы сами в это не верите?

— Нет, ну-у... на премьере я, конечно, кукиши крутить не стану,— подумав, сказал тенор.

Начальник отдела взглянул на контрольную пси-карту Контрастюка. В столбце интеллекта было всего пять дырочек, пять баллов из двенадцати возможных. «Да, похоже».

— Пси-траспортом пользовались? Индивидуальным, «электричкой»?

— Нет,— ответил подозреваемый.— «Электрички» берегусь, а индивидуальные классы пока не по карману.

Жаль, подумал Звездарик, это сразу разъяснило бы дело: сравнить полетную пси-карту с контрольной, если перфорация совпадет, извиниться и отпустить.

3

Рядом шел другой разговор.

—Какая тема вашей диссертации, позвольте узнать?

— «Этика и эстетика взаимоотношения полов».

— О, прекрасная тема! А степень готовности?

— Предварительная защита на днях, официальная через два-три месяца.

Голос у спрашиваемого был сдержанно-зычный, с по-лекторски внятным произнесением слов.

— Но простите: при такой возвышенной теме диссертации — и приставать к женщине с нескромными, мягко говоря, предложениями. Даже деньги предлагали. Как это понять?

— Видите ли, это был эксперимент.

— Вот как! И в чем он заключался?

— Я выбрал молодую, привлекательную и заведомо порядочную женщину и хотел, набавляя по десятке, установить, при какой сумме она примет мое, как вы сказали, «нескромное» предложение.

Закончив фразу, подозреваемый переложил правую ногу на левую и снова вытянул их.

— Интере-есно! — протянул Витольд.— Вы считаете, что порядочность женщины может быть оценена в деньгах?

— Почему же нет, ведь оцениваем мы ее в баллах пси-шкалы.

«Ишь, отбрил! — отметил прислушивающийся краем уха Звездарик.— Надо бы и нам инъектировать себе хоть на время собеседований дополнительные баллы интеллекта, а то ведь не со всяким, глядишь, и совладаем».

Витольд Адамович тоже не нашелся что ответить.

— И много таких экспериментов над женщинами вы уже провели?— спросил он, помолчав.

— Это был первый. И тот не дали закончить!

— А почему вы выдавали себя за иностранца?

— Для чистоты опыта — есть, знаете ли, такое научное понятие. Дело в том, что отношение женщин к своим соотечественникам или соплеменникам всегда как-то более субъективно, личностно, нежели к иностранцам и инопланетянам.

— Это фраза из вашей диссертации?

— Да, одно из положений ее.

— Любопытно... Чистота эксперимента под названием «развратные действия». («Нет, в Витольде можно не сомневаться,— бегло подумал начальник отдела,— внешнее добродушие, простоватость, а за ними, как за кустом, приготовившийся к прыжку тигр».) У тебя в институте вы проходите как Джон Криклей или как Иван Степанович Крикунов?

Движением бровей спрашиваемый выразил неудовольствие применением к нему глагола «проходите», сказал сухо:

— Как Крикунов, разумеется.

— А теперь будьте добры объяснить мне, любезнейший Иван Степанович, зачем понадобился этот, с позволения сказать, эксперимент при наличии *готовой* диссертации? Ведь он в нее не войдет.

— М-м... н-ну... видите ли...— тот смешался, но быстро овладел собой.— Тема обширная, кандидатская диссертация ее далеко не исчерпает. Я рассчитываю потом сделать и докторскую.

— Творческое, значит, горение? Так-так... Пси-транспортом пользовались?— задал Витольд стандартный вопрос.— Индивидуальным, «электричкой»?

— Нет,— сходно ответил соискатель.— «Электрички» избегаю, а по высоким классам...— он выразительно потер пальцами.— Вот защищусь, тогда смогу путешествовать...

— ...по соответствующему вашим исключительным способностям седьмому классу?— закончил Витольд.

— Да, именно.

— Лжете вы все, Иван Степанович,— кротко произнес марсианин,— слушать противно, уши вянут. Пользовались вы неоднократно «электричкой» в бытность вашу фарцовщиком Ваней Криком. Посещали Венеру, Марс, Сатурн со спутниками, Меркурий, обмениваясь телами с коллегами по ремеслу. Прихватывали там чужие сути, сбывали здесь. Мы располагаем не только вашей полетной пси-картой,— которая, кстати, в участке интеллекта ничуть не напоминает нынешнюю! — но и вашими отпечатками пальцев. Не угодно ли взглянуть?— Витольд протянул через стол Крикунову два прямоугольника из пластика.

Но тому не было угодно: он подобрал ноги, откинулся к спинке КПСа, смотрел на исследователя с ужасом.

— Прежде интеллект у вас тянул только на четыре балла,— продолжал тот,— да и их-то вы натягивали только за счет недюжинной хитрости, коя в сочетании с нахальством и нулевой нравственностью (то есть попросту с безнравственностью) и вела вас по скверной дороге. А нынешний десятибалльный интеллект — с узкой одаренностью в гуманитарных науках, в этике и эстетике, с глубокими познаниями по этой части — он не ваш. Подлинный хозяин его — профессор Воронов, который вот уже полгода после возвращения из галактической командировки, как говорится, ни здесь, ни там: тело в анабиозе, а некомплектная личность без ума и памяти в специальном ЗУ пси-машины. Фактически это он выполнил данную работу и результаты, если сочтет нужным, будет публиковать от своего имени. Вчерашний же случай, любезный Ваня Крик, никакой не эксперимент, а проявление вашей подлинной натуры, которая себя рано или поздно обнаруживает. На этом-то такие, как вы, и горят.

Закончив речь, помощник вопросительно взглянул на Звездарика. Тот все слышал, ситуация была исчерпывающе ясна. Начальник ОБХС обратился к «соискателю» с официальной формулой:

— Именем закона изымаем у вас, гражданин Крикунов, чужие пси-сути для возвращения их настоящему владельцу. Больше так не делайте! Приступайте, Витольд Адамович.

Тот, кивнув, нажал клавиши на своем пульте. Из станины и спинки КПСа с лязгом выскочили зажимные скобы в кожаной оболоч-

ке, плотно, в коленях и бедрах, охватили ноги Вани Крика, другие — его руки в предплечьях, третьи притянули его плечи к спинке кресла. На голову ему нахлобучился, съехав по рейке, контактный шлем.

— Караул! — произнес тот безумным голосом.— Гражданин начальник, не надо... а-а!

Витольд нажал новые клавиши. Поворотные моторчики в корпусе КПСа враз завыли, набирая высоту и громкость тона, будто кошки, на хвосты которых въезжает асфальтовый каток. Кресло начало запрокидываться вперед и одновременно подергиваться, ритмично покачивать-подкидывать зажатого Ваню Крика (точь-в-точь как мамаша или счастливый отец, бывает, подкидывают младенца, приговаривая: «Лататушки-дритатушки!..» — а тот смеется и пускает пузыри от удовольствия). Через минуту Крикунов лежал лицом вниз, поддерживаемый реброподобными штангами. Правая и левая половинки кресла развернулись в стороны, открыли его тело.

...И завывания моторчиков, и потряхивания в ритме детских «лататушек» входили, наряду с автоматикой, в психологическую методику «вытряхивания души» посредством КПСа. Для насильственного считывания чужой сути требовалось максимально подавить сопротивление психики злоумышленника; одного чувства вины и сознания разоблаченности оказывалось мало. Эту методику, как и само кресло, разработал специалист, который, в отличие от знаменитого инженера Гильотена, не только не присвоил детищу свое имя, но и вскоре наложил на себя руки.

Прогресс иногда вызывает к жизни странные изобретения.

— Ы-ы!..— стонал «соискатель», извиваясь.

— Спокойно! — прикрикнул Витольд Адамович.— Не дергайтесь, а то вместе с похищенным у вас считается что-то еще.

Он плотнее натянул шлем на голову Крикунова, выпустил волосы. Затем, брезгливо морщась, завернул ему вверх кремовый пиджак, свитер и майку, обнажил широкую белую спину. Снял со стены спинную контактку, наложил на позвоночник от шеи до копчика; для этого пришлось приспустить Ване брюки. После этого Витольд вернулся к столу, вставил в гнездо на пульте четырехштырьковую кассету, нажал еще клавиши... Через минуту все было закончено: веточки индикатора на кассете засветились — одна сиреневым и две голубым светом; это были признаки, что избыток интеллектуального потенциала, содержащий высокие способности и знания профессора Воронова по вопросам этики и эстетики, теперь там. Витольд запер кассету в сейфе, вернулся к креслу, снял контактки, опустил на спину пациента свитер и пиджак. Потом нажал клавиши на пульте для возвращения КПСа в нормальное положение.

Но он уже нервничал и поторопился, Витольд Адамович: зажимы, которые удерживали Ваню Крика, убрались раньше, чем кресло встало вертикально. Тот шлепнулся на пол на четвереньки.

— Ы-ы-ы...— не то промычал, не то прорыдал он.— Ы-ы... три месяца до защиты оставалось, три месяца! Я бы, может, потом и сам вернул, по-хорошему... Все сбережения вложил, думал: двадцать минут позора и обеспеченная старость, а вы-ы! Ы-ы-ы!..— он мотал головой и не проявлял желания подняться; ягодицы белели над приспущенными штанами.— Куда ж мне теперь — снова фарцевать?!

— Сочувствуя в принципе, вашему стремлению вернуться к честной жизни,— ровным голосом произнес Витольд из-за стола,— не могу не заметить, что возвращаться-то к ней надо честным путем. На столике в приемной вы найдете брошюры по аутотренингу, самососредоточению, йоговским дыхательным упражнениям, а также на философские темы. Многие именно так приобретают ясность ума и силу духа, а не скупкой краденых сутей. Не все еще потеряно, Иван Степанович, ваши стремления могут исполниться.

— Да на подтирку мне ваши брошюры!— Крик вскочил на ноги, поддернул штаны, запахнул пиджак. Выпавший из кармашка микрокалькулятор-расческа хрустнул под его каблуком. Сильно изменился человек: и в лице не осталось следов интеллектуальности, и слова вылетали изо рта резко и невнятно, как плевки шелухой.— Думаете, вы меня приделали? Ничего, Ваня Крик еще свое докажет, Ваня Крик вас всех обведет, продаст и купит, гады, распро... ... ...!

И он вышел, вихляя бедрами, придерживая полы кремового клифта.

В этот миг Семена Семеновича, заглядевшегося на сцену, кто-то пребольно, с вывертом ущипнул за бок. Он привскочил, сказал «Ой!», оглянулся: рядом стояла старушка божья, лакомый кусочек — Клюкина. У нее как раз изъяли «девичьи сути», она вышла и наблюдала действия над Крикуновым.

— У, аспид, язвить тя! — произнесла она шипящим голосом.— Изгаляешься над людьми!..— и снова потянулась ущипнуть. Глаза ее горели голубым ведьминским огнем.

— Иди, бабушка, ступай с богом,— отстранил ее начальник отдела, направил к двери.— Без тебя тошно.

Та удалилась, что-то бормоча под нос.

Но самое сильное впечатление сцена изъятия сутей произвела на певца. Он сидел, приподняв руки от поручней кресла, подтянув ноги, смотрел на ужасное устройство, ожидая, что и его вот-вот спеленают зажимы, то на Звездарика. Лицо было бледное.

Семен Семенович понял его состояние.

— Нет,— мягко сказал он,— успокойтесь, с вами ничего по-

добного не будет. Объяснение ваше считаю достаточным. К тому же у нас в розыске певческое дарование сейчас не числится... Только знаете что,— продолжал он задушевным тоном, когда Контрастюк с облегчением встал с КПС и вытирал платком лоб,— эта ваша выходка с кукишами — она ведь показывает, что то высокое начало, артистическое дарование, которое возносит вас в жизни и заставляет нас, зрителей и слушателей, благодарить вас аплодисментами,— оно, понимаете ли, хоть и не краденое, не перекупленное, но все-таки еще не совсем ваше.

— Здрасьте, а чье же?— округлил глаза певец.

— Частично от природы: сам певческий дар, голос, слух. Частично — от ваших преподавателей. А своего личного, человеческого вы вложили пока мало. Вам нужно и другие черты психики подтягивать до уровня вашего прекрасного голоса, понимаете? А то ведь, если в будущих пси-полетах затеряется или — чего не бывает! — будет похищена ваша главная способность, окажется трудно доказать, что она у вас была. Прощайте, от души желаю вам стать гармоническойл личностью.

Певец поспешно удалился, на ходу обещая подтянуться и стать.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ТЕ ЖЕ И ОСТАЛЬНЫЕ

Не доказано, что явления и факты, которые наука объясняет, более важны для людей, чем те, которые она объяснять не умеет.

К. Прутков-инженер, мысль № 74

1

Когда они остались одни, Витольд Адамович добыл из нижнего отделения сейфа плоскую флягу с коньяком, отвинтил крышечку и сделал хороший глоток.

— А не кради! — с вызовом сказал он в сторону двери.— Не спекулируй, не обманывай...

— Давай-давай, шпарь все заповеди,— буркнул Звездарик.

Хочешь?— помощник протянул ему флягу.

Семен Семенович покачал головой. (Не только бы головой покачать, а отчитать, пресечь решительно раз и навсегда. Блюститель правопорядка, в служебном месте... что это такое?!) Но он понимал состояние своего помощника.

— Брошу я это дело,— вздохнул тот, пряча флягу в сейф.— И прилетать не буду. У нас на Большом Сырте все-таки духовно почище. Подамся на раскопки.

— Пока почище,— поднял палец начотдела.— *Пока!* Не будем бороться, эта зараза рапространится всюду. Так что не спеши...

Витольд-Виа промолчал. Оба находились сейчас под впечатлением «экзекуции» — так они между собой называли процедуру изъятия сутей. Да это и была экзекуция, без всяких кавычек.

Двойственность работы в ОБХС состояла в том, что от исследователей требовалась, с одной стороны, тонкость ума, эрудиция, высокая духовная культура, а с другой — результативное применение этих качеств завершалось вот такими насильственными операциями. Все справедливо, законно, иначе истинному владельцу похищенную пси-суть не вернешь, да и злоумышленник пусть прочувствует, чтобы впредь было неповадно... а все равно — насилие. И над внутренним, самым глубоким, интимным.

Оба они не были профессионалами пси-сыска, да в Солнечной пока и не существовало своих профессионалов. Марсианина привлекли ради повышенной чуткости к любой фальши — врать ему было делом безнадежным. А Семен Семенович — тот и вовсе по сей день удивлялся капризному повороту судьбы, который сделал его блюстителем, пусть и в своеобразной области, правопорядка. Он — по прежней профессии ученый-психолог и психотерапевт — никогда даже не симпатизировал блюстителям, скорее относился к ним корректно-неприязненно; настолько, что и при чтении детективов отождествлял себя не с ними (пусть даже с самыми легендарными героями сыска), а куда более — с преследуемыми и разоблачаемыми преступниками. Это было, боже сохрани, не от внутренней тяги к преступлениям; просто как русский человек он всегда помнил древнюю заповедь: от сумы да от тюрьмы не зарекайся. Зарекаться и вправду не следовало, но намотать на ус, читая детективы, как нашего брата раскалывают, запомнить ходы и уловки следователей, чтобы в случае чего их знать и получить срок поменьше,— это всегда не помешает.

А вот вызвали, сказали: «Семен Семенович, сейчас ваше место там»,— и работает.

«Он ведь, наверно, только и человеком-то себя почувствовал, Ваня-то Крик,— подумал Звездарик.— Черт, как-то это все... процедуру изъятия надо совершенствовать, что ли: наркоз применять или гипноз?.. Ах, да не в этом дело! Я уж совсем как блюститель решаю. Концы запрятаны, найти их не можем: *почему* у нас такое творится? Ведь срамотища на всю Вселенную».

Собственно, если глядеть широко, было понятно почему. Ценности, прежде не отчуждаемые, не отделимые от человека, отношение к коим у других, их лишенных, выражалось восклицаниями «Вот дал же бог таланта (воли, трудолюбия, здоровья...)!» или, ре-

же, завистливым зажимом, интригами, клеветой — чтоб и свои убогие души потешить,— благодаря упомянутым операциям сделались отделимыми. Тем самым перед лишенными их, или обладающими в недостаточной степени, забрезжила явная возможность присоединить таковые к себе. Рвануть к себе творческие способности, смекалку, превосходную память — желательно с ценными знаниями и опытом. Охватить десяток баллов воли, здоровья, умения. Добыть хоть несколько баллов отваги сынишке, которого теснят сверстники во дворе и в школе, доброты и уравновешенности взвинченной семейными переживаниями супруге, усидчивости и внимания дочери-студентке, которую больше в дискотеку тянет, чем на лекции (а неплохо бы и шмат целомудрия, стыдливости — ведь молодежь-то ныне... м-м... охо-хо!..). Добыть, достать, ухватить, рвануть, цапнуть, заиметь, зажать, залапать, урвать, умыкнуть, увести, хапнуть, хватануть, наложить лапу, выбить, выцарапать, выдавить, выдоить, выманить, выменять, вы..., на..., у..., за..., от...— боже, сколько существует синонимов для описания действий, кои возникли прежде всех слов, синонимов и описаний — прежде самого человека!

И то, что было выше сделки, свелось к сделкам. Таинственные хищения пси-сутей — лишь малая доля махинаций. Куда большая ничего таинственного не содержит: обычная мена и купля-продажа из-под полы. Техника всучивания-обессучивания при нынешнем развитии микроэлектроники доступна многим, подпольных операторов не меньше, чем дантистов. Есть и черные рынки, где за сходную цену вам продадут чужие способности.

И вот это-то и есть самое *почему*. Почему через века и эпохи волочится за людьми это выражаемое многими синонимами *животное* стремление? Не только волочится — обращает все высокие начинания в труху.

«Несчастливая история человеческих изобретений! — думал Звездарик.— Придумали мореплавание — мир расширился. Но тотчас появились пираты, корсары, военные флоты — и мир съежился до прежних устремлений отнять чужое и не упустить свое. Возникло книгопечатание — мир необыкновенно расширился в сторону мысли. Но затем пошли способы дезинформации, промывки мозгов рекламой и пропагандой, инквизиция, цензура, подавление инакомыслия... и мир духовно съежился от неверия в слова, в пышные речи. Возникло воздухоплавание — мир наш стал трехмерным, продвинулся на десятки километров в атмосферу, а затем и в околоземной космос... но одновременно и сжался до размеров бомбоубежищ и ракетных шахт. И так любое новое: все изменилось — ничего не изменилось. Цивилизация под названием «Красивый пшик».

...Между невероятно давним временем, когда люди мыслили и творили просто так, задарма, от полноты жизни и жажды познать мир, и нынешним высокоцивилизованным расцветом пси-махина-

ций, от фарцовки до электронного грабежа,— лежит долгий этап развития (развития?) нашего общества, который все и подготовил. Этап творчества-сделки. Я вам поэму — вы мне гро́ши. Я вам симфонию — вы мне башли. Я вам техническую идейку — вы мне ученую степень с надбавкой в окладе и жилплощади. И прибыль, и премию, и льготы... Творить, чтобы рвануть. И талант из дара природы повышенно понимать мир превратился в дополнительные клыки, дополнительные мускулы и когти в той же описываемой многими синонимами борьбе за блага. Большой талант, подлинный, в это дело не вместится, его не надо... а надо крохотный, узенький, в самый раз для мены. Для таких микроталантов в науке и технике, в службе информации, да и в искусствах, были созданы ПП — правила продвижения — не намного сложнее тех, за нарушение которых карает автоинспектор. Так все и получилось. И даже народные песни, народные танцы, сотворенные когда-то задарма, в последовавшие рациональные времена народы перестали петь и плясать, а пели и плясали их ансамбли НП и НТ — за башли и заграничные поездки. Искусство для продажи. Литература для продажи. Наука для продажи. Или проще: продажное искусство, продажная наука и продажная литература. Этот этап нравственно подготовил нас к нынешнему.

Но все же, все же, все же... Ладно: мореплавание, паровые машины, книгопечатание, электричество, прочие вехи нашего развития (мы считаем, что это развитие, процветание, прогресс, а кое-кто во Вселенной считает это брожением полуразумного дерьма, ноосферной жижи, из которой то ли что-то выбродится, то ли нет,— есть такие мнения в Галактике, есть) — это наше. Свое. Но пси-транспортировка — это, во-первых, *не наше* изобретение, куда нам! — это подарила нам Галактика в лице кристаллоидов Проксимы, кои сами получили знания от других, откуда-то из Ядра. Подарила как порядочным, чтобы приобщить к Себе, включить в сообщество... Во-первых, и это главное, способ этот — не просто путешествий, наравне с полетами, только дешевле и быстрее, нет: он возвращает человеческим качествам, в том числе и самым высшим, их первичный, почти забытый нами смысл *благодати*. Дара божьего, природного, вселенского... как ни назови, но это то, благодаря чему мы не животные. Не твари, а творцы. Этим мы присоединимся к большому миру, а пси-транспортировка лишь делает такое соединение непосредственным, прямым. Поэтому и вздыбливаются волосы, исторгаются вопли, что в такие моменты даже обычные люди, зауряды вроде меня, переживают озарения и откровения, прежде доступные очень немногим...»

Сам Семен Семенович путешествовал только в пределах Солнечной — в радиолучах-пакетах «электрички». По служебным делам. Но он сохранил в душе то чувство причастности к Большому

Миру, которое испытывала всякий раз в пространстве его нагая личность, чувственное понимание-откровение, что пространство и есть тугое, плотное, чистое тело Галактики. При этом не только все дела его на Земле и в месте прибытия, где он, как в штаны по тревоге, вскакивал в обменное тело, но и сами планеты и звезды, искорки веществ, вихрики в потоке бытия,— казались незначительнейшими мелочами.

И многие, знал он, понаторев в обменных перелетах, чувствовали себя принадлежащими к Солнечной системе, даже к Галактике в *целом* — без противопоставления не только одного (своего) мира другим, но и вещественных и полевой форм существования.

Но куда больше оказывалось таких, для которых — подобно тому как для из недавних предков путешествие в поезде или самолете (тоже ведь чудо!) было лишь хлопотным неудобством перемещения, а главное: что там, в другом городе или другой стране, можно купить?— важны были только потребительские, приперченные новизной переживания в иной обстановке и иных телах. Сам же пси-полет и обмен, какие в нем заложены идеи, как происходит, был им до лампочки. До той самой лампочки, которая тоже — чудо.

«Вот так оно и возникает,— невесело подытожил начальник ОБХС,— вплоть до нового, непредусморенного типовым проектом блока в Ψ-машине: ЗУ «некомплектов», где сейчас томится немало вернувшихся из путешествий землян, коих нельзя выпустить в мир из-за недостачи их самых важных черт. Да и это-то полгоря, земные наши неурядицы. Но... после ограбления личности Шефа Суперграндии скандал выходит за рамки планеты и Солнечной системы. Не зря ведь галактического агента прислали...»

И Семен Семенович почувствовал, как от этого воспоминания у него внутри начало нехорошо дрожать.

МПШ—XXIII, Могучий Пожизненный Шеф планеты-державы Суперграндия, тик-так, тик-так, ура, кукареку! — Звездарик помнил, что именно так официально величали сего лидера на приемах,— явился на Землю для ознакомительного визита. Наша планета была избрана, во-первых, из-за близости, полпарсека в сдвинутом по фазе пространстве, во-вторых, потому что и на Суперграндии обитали белковые гуманоиды, двуногие, двурукие, бескопытные, млекопитающие, рассеивающиеся — одного вида с нами. После ознакомления владыка Суперграндии должен был решить, присоединить ли свою планету к галактической системе пси-транспорта, или нет. Могучего Шефа сопровождал НООС, Начальник Охраны и Общепланетного Сыска. Оба — как рассеивающиеся — прибыли в кассетах. На Земле им предоставили наилучшие мужские тела из Обменного фонда. Все понравилось, деятели отбыли

к себе с Кимерсвильского пси-вокзала (то есть были опять записаны в кассеты, а те погружены в фазовый астролет) с благосклонным обещанием подумать и решить.

Однако на опытной пси-станции, временно установленной в столице Суперграндии, Могучий Пожизненный Шеф воплотился в свое тело *без характера*. Контрольные приборы, которые при первом считывании Характера МПШ — XXIII едва не зашкаливало, теперь показали нули по всем составляющим.

На благословенной Суперграндии сразу возникла социально опасная ситуация. Дело в том, что это был единственый на всю планету крепкий характер — Характер правителя, чье решение есть истина в последней инстанции. Его приближенным разрешалось иметь в пределах своей компетенции необходимые черты второго порядка (волю, усердие, безмерную преданность, отвагу, беспощадность); приближенным этих приближенных не возбранялось проявлять отдельные черты третьего порядка: восторженность, подозрительность, льстивость, правдивость, скромность...— но лишь в той мере, в какой это не расшатывало иерархическую пирамиду. Что же до рядовых суперграндцев, то у них эта составляющая личности давно атрофировалась за ненадобностью: неупражнение сути ведет к отмиранию ее еще быстрее, чем неупражнение органа.

Теперь монолитно-однородному обществу — настолько однородному, что там все были круглолицые малорослые брюнеты и даже женщины мало отличались от мужчин,— грозил развал. Первыми почуяли слабину приближенные МПШ — и мгновенно проявили свои натуры в интригах, склоках. Откуда что и взялось: возникли придворные партии, противостоящие группировки; они проводили через ослабевшего Шефа всяк свои решения, добиваясь власти, постов, наград, саботировали невыгодные им законы, решения других инстанций. Кулуары дворца обагрила кровь первых политических убийств. Платену залихорадило.

...К сожалению, не возникало сомнений, что Характер МПШ пропал на Земле. Здесь, в Кимерсвиле. По непроверенным данным НООС, первый сыщик Суперграндии, уже транслировался в сутях сюда, но о себе знать не дает, работает на свой страх и риск. «Не доверяет...— вздохнул Семен Семенович.— Придется самим разыскивать, чтобы включить в галактическую тройку. Хорошо черный рынок пока не разогнали, там можно выйти на след...»

Он еще раз вздохнул.

2

Витольд Адамович отошел, занялся делами, шелестел бумагами. Повернулся к Звездарику:

— Я говорю, Вася-то наш опять отличился. У парня чутье. Простой сержант, а? Самородок.

Самородок, да не наш.

— Вот и надо перетянуть к нам.

Позади приоткрылась дверь, молодой голос звонко произнес:

— Можно? Здравствуйте вам в хате!

Исследователи обернулись: в дверях стоял улыбающийся Долгопол в необмятом мундире, румяный со свежего воздуха.

— О! Про волка помолвка...— Семен Семенович поднялся, пожал Васе руку.— Не встретил сейчас своего «протеже», соискателя Крикунова? Ты правильно угадал, молодец, спасибо.

— Не за что, я всегда пожалуйста...— Вася от похвалы зарумянился еще больше.— А я еще привел, тоже вроде по вашей части,— он высунулся в дверь:— Войдите, гражданка!

Вошла, вернее, вбежала полная женщина лет сорока в платье из переливающейся зеленой парчи, разодранном на боку и в рукавах; в дыру в рукаве выглядывала белая кожа с лиловым синяком; другой синяк зрел под левой скулой широкого лица. В руке дама сжимала радикюль.

— Во-от,— запричитала она густым голосом,— глядите, как меня благоверный отделал! Любуйтеся. Это еще не все,— она неизящно изогнулась, завернула подол платья, показала пышную ногу с синяком выше колена,— во-от! Пинал, паразит. Я и справку взяла насчет побоев, а как же!

— Да с этим не к нам, уважаемая...— Звездарик скривился, недоуменно взглянул на Долгопола.

— Нет-нет, вы послушайте,— поднял палец тот.— Расскажите, как было дело.

Гражданка, всхлипывая и сморкаясь, принялась рассказывать. Муж пьет. Сам-то он ничего, совестливый, хороший — только слабовольный. Дружки и подбивают. Мало того, что получку перестал отдавать, так и вещи из дому уносит. Не знала, как быть, соседка надоумила: купи, говорит, кассету с сильной волей да введи ему — сам бросит. Многим, дескать, помогло.

— Я и с самим поговорила, когда проспался, он был не против. Ну, нашла на толчке у одного чернявого с девятью баллами, хорошо заплатила, не пожалела. Потом другого мне показали, который вводит, ему заплатила. Сама присутствовала, когда Сашеньке вводили эту волю, чтоб без обмана. Думаю — ну, все. А он... а он!...— женщина снова захлюпала.— Мало того что пьет-гуляет пуще прежнего, так теперь еще и дерется. Раньше-то пальцем не трогал! А, окромя того, знакомые уже сказывают, он себе на стороне и другую за-ве-е-ел! — И в резонанс с ее голосом зазвучали оконные стекла.

— Кассета с вами? Покажите,— попросил Семен Семенович.

Женщина достала из ридикюля, подала. Кассета была четырехштырьковая, для сутей третьего порядка. Одного только взгляда на маркировку начальнику отдела было достаточно, чтобы понять дело.

— Ах, гражданка,— с сердцем сказал он,— если совершаете противозаконную махинацию, так хоть делайте с умом! Бывает воля и воля. Вашему мужу недоставало *пассивной* воли, сопротивляемости, стойкости против соблазнов, умения сдерживать желания. Вы же ему всадили *активную*, что в сочетании с нестойкостью и привело к прискробным результатам.

— Это что ж теперь будет, миленькие?! — всполошилась дама.— Мне ведь хоть и домой не возвращайся!

— Что будет... нельзя так делать, нехорошо,— усовещал Звездарик.— Мало ли способов лечить от пьянства, а вы на махинации пустились. Незаконно введенную в вашего мужа чужую пси-суть мы изымем, станет прежним...

— Вот спасибо-то! А... а деньги? Я ведь как потратилась-то!

— Ступайте в приемную, возьмите бумагу, опишите людей, которым вы платили за кассету, за всучивание. Найдем, взыщете с них.

— Место, куда мужа водили, сможете указать?— вступил Витольд Адамович.

Женщина подумала, покачала головой:

— Нет, не смогу. Ночью вели, да еще петляли нарочно по переулкам. Только что глаза не завязывали. Дом помню: пятиэтажный, вроде новый, без лифта. На самый верх поднимались.

— И это опишите.

Дама ушла. Звездарик без околичностей обратился к Долгополу:

— Многоуважаемый Василий Лукич, категорически предлагаю вам перейти в ОБХС! Такие нам нужны.

— Ой, ну что вы! — застеснялся-зарумянился тот, хотя губы сами растягивались в довольную улыбку: чувствовалось, что Вася мечтал о таком приглашении.— Я бы всей душой, но у меня ж и образования нет, а работа у вас умственная, как бы не осрамиться. Да и не отпустят меня...

— Отпустят,— твердо сказал Семен Семенович, вспомнив о своих полномочиях члена галактической тройки.— Это мы мигом.

— Образование дело наживное,— включился Витольд.— На курсы пошлем. Главное, у тебя чутье. Талант!

— Для начала на техническую должность,— продолжал Звездарик,— пси-оператором БХС, опером. Но как только проявишь себя в серьезном деле (а я не сомневаюсь, что проявишь!), сразу станешь исследователем. Ну, согласен? По глазам вижу, что согласен...

Начальник отдела сел на телефон,— и...

3

...когда в Кимерсвильском ОБХС появился Порфирий Петрович Холмс-Мегре № 7012 ГУ БХС ΨН, то Вася с полным основанием был ему представлен так:

— Это наш новый, подающий большие надежды сотрудник, оператор Долгопол Василий Лукич. Восходящая звезда пси-сыска.

— Лукич — фамильярно,— заметил новоприбывший, пожимая всем руки.— Надо — Лукович, Василий Лукович.

Отдельцы переглянулись, но возражать высокому гостю не стали: Лукович так Лукович.

— Можно просто Вася,— сказал Долгопол.

Детективная проницательность агента 7012 была, если брать по земным меркам, слишком уж чрезмерной, неприличной какой-то. Когда он рассматривал и слушал представляющегося ему Звездарика, то и сам на секунду приобрел его облик: нос сделался узким и хрящеватым, выгнулся саблей над втянутыми губами, лоб также продлился бледной лысиной. При знакомстве с Витольдом-Виа комиссар сам стал полненьким, с пухлым лицом и коричневыми тенями под глазами, плешивеньким; но одновременно облик этот будто окутал марсианский вихрь, стеблей, побегов, колючек. А оглядывая Васю, агент вытянулся, постройнел, черты лица молодо подтянулись, так же выпятилась нижняя губа. Глядеть на это было жутковато.

— Я к вам не с пустыми руками,— начал Мегре, вернувшись в свой облик. Но не успел закончить фразу: из приемной донеслись крики, оттуда к исследователям вбежал, прикрывая голову руками, поджарый брюнет, задержанный комиссаром у пси-вокзала. За ним неслась, награждая его тычками и пинками, пострадавшая с ридикюлем.

— Вот он, родненькие, паразит в синих очках! Я тебя сразу узнала, ирода. Ты видишь, какая я, видишь?! Так ты сейчас будешь хуже. Ты у меня станешь тонкий, звонкий и прозрачный, спекулянт несчастный! — И женщина потянулась руками, ногтями, всем существом к физиономии и жидким волосам брюнета.

— Ув-в-в.. ух-х...— лепетал тот, отступая.— Спасите!

— Тихо! — прикрикнул на даму Звездарик.— Это тот, который продал вам кассету?

— Он, родимый, он! Я про него писала, а он легок на помине. Дайте мне его, я сама...

— Спокойно,— оттеснил ее начальник отдела.— А вы сядьте! — он указал спекулянту на КПС.

— Только не сюда! — шарахнулся тот: знал, видно, что это за кресло.— Сяду... отсижу, сколько положено. Но в таком не виновен, гражданин начальник, клянусь детьми! Покупать покупал, продавать продавал. Но себе — ни-ни, никогда. Её,— он указал на женщину,— узнаю. Продал — признаю. Готов дать письменные показания.

— Так вы что, с повинной пришли?— не понял Звездарик.

— Да, с повинной!

— Нет,— подал голос Мегре,— это я привел.

— Не, не с повинной,— мгновенно перестроился брюнет.— Задержан, осознал, раскаиваюсь. Все скажу.

— Кстати, о детях,— поинтересовался Витольд,— а им вы не вводили перекупленные сути? Родители часто так делают.

— У меня нет детей, гражданин начальник. Про детей это я так, для образности, фольклор. Какой я родитель — цыпленок пареный, цыпленок жареный!..— спекулянт поднял плечи, искательно улыбнулся.

На него было противно смотреть. Сам комиссар, доставивший его с намерением помочь розыску (у вокзала он выспрашивал именно о Характере МПШ— XXIII), сейчас чувствовал себя неловко, будто наследил галошами в чистой горнице.

Семен Семенович нажал кнопку. Вошел дежурный, увел обоих.

— Там еще одна, интересней,— сказал Порфирий Петрович (ему хотелось спасти лицо).— Скупщица сверхценных сутей.

— Ваше имя, фамилия, откуда вы?— спросил начотдела молодую женщину, задержанную Мегре у вокзала.

— Я из столицы. Остальное не имеет значения,— высокомерно ответила та.

— Столичная, значит, пташка, ага... и связей с перекупщиками кассет еще не имеете?

— К сожалению, не имею.

— К сожалению, вот как! С какой целью скупаете кассеты?

— Я не скупаю, только хотела найти что мне нужно: поэтическое дарование.

— Почему поэтическое, зачем оно вам?

— Не мне.

— А кому?

— Моему мужу... впрочем, какое это имеет значение!

— Гражданка,— Звездарик, теряя терпение, постучал ногтем по столу,— вы находитесь в отделе борьбы с хищениями сутей. Здесь у нас так не разговаривают.

— Отдел борьбы с хищениями сутей! — ядовито повторила женщина, и глаза ее зло сощурились.— Хищения налицо — вот только борьбы не видно. Мой муж уже полгода... полгода! — в го-

лосе зазвенели слезы,— как вернулся из творческой пси-командировки, а я его еще не видела. Он у вас: тело в одном месте, некомплектная личность в другом. А вы!..— она помолчала, овладела собой.— Я и решила, раз вы не можете, сама отыскать его пропавшую суть, вернуть себе мужа.

— Как зовут вашего мужа?

— Олег Майский.

Звездарик переглянулся с Витольдом, тот сделал многозначительную мину. В комнате стало тихо. Олег Майский, известный не только на Земле, но и во всей Солнечной поэт... история с ним была почти такой же скверной, как и с Шефом Суперграндии. После годичной творческой командировки, во время которой он посетил более десятка планетных систем, возвратился на родимую Землю с зарядом впечатлений, которого хватило бы на несколько книг, а перед интегрированием, слиянием со своим телом, выяснилось, что главная его суть, одиннадцатибалльный поэтический дар... тю-тю. И следов нет.

— В конце концов возвращайте мне его таким, какой есть,— решительно заявила женщина.— Поэтический дар, может, потом найдется. При славе Олежека первое время никто и не заметит, что новые стихи посредственны. А я... я без него больше не могу! — и в ее голосе снова послышались слезы.

— Так, значит, вы утверждаете, что являетесь женой поэта Майского?— недоверчиво переспросил Семен Семенович.

Женщина взглянула на него с высокомерным блеском в глазах, хмыкнула:

— Похоже, что и у вас кое-что похитили! Тогда неудивительно. Но это дело ваше, а мне будьте любезны вернуть *моего* мужа.

— Мы вам сначала пробную встречу устроим,— ответил ровным голосом Звездарик, хотя и озлился в душе, что эта особа пытается выставить его дурачком.— Так сказать, очную ставочку. Пусть и он опознает вас, выразит свои намерения. И вы поглядите, каков ваш супруг теперь, тоже небесполезно будет. Тогда и решите. Оставьте свои координаты, мы вас разыщем.

Жена поэта протянула ему свою визитную карточку, удалилась с поднятой головой.

4

Только теперь комиссар Мегре смог осведомиться о самом главном:

— А где же наш третий ингредиент, представитель Суперграндии? Без него нам трудно начать поиск.

— Кажется, он уже начал его без нас,— сказал начотдела.— Но, где он и каков, неизвестно: на связь не выходил. Не доверяет!

— Увы, имеет к тому основания,— повел седыми бровями комиссар.— Перед вылетом к вам мне сообщили ориентировку: я должен быть в облике мужчины, поскольку он в облике женщины. (Звездарик присвистнул). Место рандеву — Привокзальная площадь. Пароль: «Мужчина, не желаете ли получить удовольствие?»— допускает небольшие вариации. Мой ответ вариаций не допускает: «Спасибо, я уже получил».— Эту фразу агент произнес нарочито гнусаво.— У меня верно получается?

Сотрудники отдела глядели на него, не зная, что и сказать. У Васи даже приоткрылся рот. Добродушно-вопросительный взгляд Мегре остановился на нем.

— Нет, ну... понимаете...— с трудом обретал тот дар речи,— сейчас так напрямую редко спрашивают. Только самые уж такие... Мы же боремся. Теперь билетик предлагают. Бывает, что и мужчины спрашивают, дескать, нет ли билетика.

Звездарик спросил:

— Какой билетик, куда?

— Ну, куда... на вечерний сеанс — то есть, значит, на время — или на ночной...— Долгопол сам краснел от своих объяснений.— Известно куда...

— Ага, видимо, это и есть вариации,— невозмутимо подытожил комиссар.— Но... в таком случае мой ответ тоже должен слегка варьироваться, не так ли? «Мужчина, не хотите ли билетик?.. Не хотите ли иметь билетик?..» М-м?

— Спасибо, я уже заимел,— гнусаво подсказал Витольд.

— Да, пожалуй. Благодарю вас. Что ж, Василий Лукович, поскольку вы осведомлены лучше других, будете сопровождать меня. Пошли.

— С такими паролями да отзывами,— закрутил головой Звездарик,— искать вам, не переискать!.. Постойте,— закричал он, видя, что Мегре и Вася направились к выходу,— оператор Долгопол! Василь Лукович! Ты хоть в штатское переоденься. Иначе какая же... кто же к тебе в форме с такими словами подойдет!

Когда они ушли, Семен Семенович расширенными глазами посмотрел на своего помощника: а? Тот пребывал в состоянии прострации — но вот встряхнулся, приходя в себя, и произнес ту же фразу, что и всучивавший агента 7012 служитель:

— Ну, едрит твою напополам!

Эта фраза была популярна в Кимерсвиле.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

СЫЩИКЕССА С СУПЕРГРАНДИИ

Часы, которые стоят, все-таки дважды
в сутки показывают верное время.
Часы, которые спешат,— никогда.
К. Прутков-инженер, мысль № 151

1

Много будет всего в многотрудной жизни В. Л. Долгопола, сначала оператора, затем исследователя ГУ БХС, но сыскной дебют агента 7012 останется в его памяти до конца дней. Даже не весь дебют, а первая проба. Разминка, по определению комиссара.

Конечно, наивно было полагать, что первая встреченная ими женщина — да и не на площади, только на подходе к ней — окажется искомым НООСом. Но получилось так, что она остановилась возле них переменить руку, отягощенную полной хозяйственной сумкой. Мегре тотчас сделал стойку, уставился на нее с томным вопросом в глазах. Остановился и Вася.

— Что, пройти не знаете как?— не поняла женщина; она была рослая, выразительно сложенная, лет под сорок.— Куда вам надо?

— Не предложите ли вы нам билетик, уважаемая?— осведомился комиссар.

— Билетик? Какой?.. Ах, билетик! На вечерний сеанс?— в глазах у женщины что-то заискрилось. Вася на всякий случай отступил на шаг.

— Можно и на ночной,— добродушно кивнул комиссар.

— Ах, даже и на ночной!..— Женщина подняла правую руку, затекшую от сумки, развернулась и хлобыстнула его так, что треск пошел, зашумела в полный голос: — Вот тебе и на вечер, и на ночь, и на завтрашний день, паразита кусок! Мало вам площади — на улице уже проходу не дают! И куда это, интересно, милиция смотрит?!.— Вдруг лицо ее выразило ужас, голос изменился: — Ой, что это?! Ой мамочки...— и дальше был просто панический визг.

Дама подхватила сумку и несолидно придерживая тесную юбку, помчалась в глубину улицы. И издали долго доносилось: «Ой мамочка! Ой лышенько!..»

Вася взглянул на Мегре — и сам едва не пустился наутек. Лицо комиссара колыхалось: выгибалось влево своей серединой, искажая все черты, затем деформация спадала, лицо выравнивалось... и начинало выпячиваться в противоположную сторону.

— Порфирий Петрович, что с вами? Может быть, врача?..

— Нет, нет...— Голос у комиссара был неровный, шаткий.— Это релаксация. Сейчас пройдет... Как это у вас говорят, Василий Лукович: первый блин комом?

Через минуту он пришел в норму. Но для Долгопола, который заслонял комиссара собой от взглядов прохожих, это была долгая минута.

На площади дело пошло бойчее — но, увы, комом, на грани скандала, глотали они и последующие «блины».

— Мужчина, имею лишний билетик. Не желаете ли?

— Спасибо, я уже... заимел.

— Что ж ты так смотришь, козел старый! — И красотка удалялась недовольной походкой.

Аналогично получалось и с теми, кто напрямую предлагал «удовольствие». Больше часа они блуждали в сумерках по широким тротуарам, заглядывали в вестибюли гостиниц «Кассиопея», «Булчуг», «Туманность Андромеды» и других, где табунились девочки, посидели за стойками баров «Космос», «Спутник» и «Эх, отдохну!», в кафе «Галактика»— и безрезультатно.

До Васи не сразу дошло, что комиссар в силу своей галактической неиспорченности, в сущности, не понимает первоначальный, основной смысл «пароля» и «отзыва». Он, как умел, стесняясь и краснея, объяснил суть дела пожилому человеку. Порфирий Петрович простодушно смеялся, утирал выступившие слезы: ну, подкузьмил нас... а еще более, вероятно, себя — НООС, лучший сыщик Суперграндии!.. Попутно Долгопол, спасая репутацию родного города, объяснил наличие здесь предлагающих «билетик» или «удовольствие» историей с пропажей «девичьих сутей»: потерпевшие-де в ней ныне и оказались жертвами, так сказать, общественного, даже, точнее, космического темперамента.

— Это все ваши белковые тела,— сделал неожиданный вывод Порфирий Петрович,— легкораздражаемые, возбудимые источники «удовольствий» и «неудовольствий». Но так ли, иначе — другой возможности выйти на связь с НООСом у нас нет. Продолжаем поиск. Итак, внимание!..

Они как раз проходили мимо бара «Дельта», в просторечии именуемого кимерсвильцами «бордель». Женщин в него впускали только в сопровождении мужчин, и их немало слонялось поблизости, охотниц приятно провести время. Внимание комиссара привлекла смуглокожая, с выпяченными яркими губами мулатка в обтягивавшем бюст свитере и короткой кожаной юбке; он устремил на нее добродушно-поощряющий взгляд. Та заметила, оценила, блеснула глазами в припухлых веках, приблизилась танцующей походкой.

— О, какой мужчина! — сказала она гортанно и пылко.— Хотите иметь билетик, м-м? Можем получить удовольствие. А, шалунишка? — и она похлопала комиссара по животу.

— Спасибо, я уже получил.

— Ах... ну, если ты уже *получил*,— мулатка также прогнусавила это слово,— так лечись, приятель. Шляешься здесь, глазками играешь... Может быть, ты, цыпленочек?— обратилась она к Васе.— Надеюсь, ты еще ничего не заполучил?

Долгопол с запылавшим лицом молча прошел мимо. Мало того, что у него в себе осталась невеста Люба, с которой он ничего такого себе еще не позволил,— так ему, блюстителю порядка, подобные предложения! «Ну и парочка!»— бросила им вслед дама.

— А не кажется ли вам, уважаемый Василий Лукович,— не без ехидства молвил комиссар,— что данная особа ни по виду своему, ни по возрасту не может быть отнесена к тем злосчастным практиканткам? М-м, шалунишка?

Вася промолчал. «Да, конечно же, и из иных мест поналетали промышлять,— подумал он.— Может, и с других планет в обменных телах... поди уследи!» Ему уже наскучил этот странный поиск.

2

...и все получилось так не потому, что НООС был глуп. Напротив, он был умен, опытен, изощренно-коварен, умел рассчитывать на много ходов вперед, был последователен и неумолим. Недаром его имя наводило страх не только на рядовых жителей Суперграндии — на тех все наводило страх, но и на приближенных Могучего Шефа.

Все было логично: первый раз он появился на Земле, растленной планете, в облике мужчины; конспирация требовала теперь противоположного — появления в облике женщины. Правда, это нарушение статьи 5 Галактического кодекса пси-транспортировки, запрещающего менять пол, но кто же в *таком* случае придерживается статей и кодексов!

Казначейство Суперграндии, ведомство обычно прижимистое, для *такого* случая не поскупилось, абонировало в качестве обменного тела прелестную плоть стереокинозвезды Лили Жаме; это тоже было логично. Сама Лили, сотворившая себе популярность на ролях девушек из народа, находилась в районе Плеяд на съемках галактического пис-детектива «Опята смерти».

Пароль и отзыв для контакта с агентом 7012 ГУ БХС также были выбраны строго по науке сыска, по тому именно положению ее, что фразы должны быть типичными в среде поиска, желательно с интимным оттенком. В первый свой визит и НООС, и Могучий Шеф (двое великолепных мужчин) «парольную» фразу слышали в Кимерсвиле не раз — и именно с таким оттенком. Когда же на прощальном банкете Начальник Охраны стал выяснять, о каком

именно из здешних удовольствий (их так много на Земле!) шла в ней речь, высокопоставленные земляне замялись, начали переглядываться. Наконец сосед слева, будучи сильно навеселе, хлопнул его по плечу:

— Слушай, дружище, если они к тебе будут приставать, отвечай: «Спасибо, я уже получил»,— он прогнусавил эти слова,— и они мигом отвяжутся!

И земляне за столом предались занятию, на благословенной Суперграндии неизвестному: начали раскрывать, растягивать горизонтально свои пищевые отверстия и издавать ими звуки «Хе-хе!», «Хи-хи!» и даже «Ха-ха!».

Поскольку НООС выбрал амплуа женщины, ясно, какие слова он взял паролем.

...Да и откуда, действительно, было знать инопланетянину, что он своим выбором вышел на нечто, что и в разнообразнейшем бурлящем мире Земли стоит над нациями, языками, нравами, оттенками кожи, возрастами, даже общественными формациями и философиями, что было здесь всегда и да пребудет во веки веков. Правильно, фраза должна быть типичной. Но если бы НООС знал, насколько типичного дела касается эта, он наверняка поискал бы что-то еще.

Он не мог этого знать, ибо на его планете, благословенной Суперграндии, пол, половые признаки, половая жизнь были — в силу предосудительности — извечно и повсеместно замалчиваемы. Настолько, что суперграндцы, как правило, не знали своего пола, а те, что догадывались, имели благоразумие этого не объявлять. С осознания своего пола начинается осознание социальных различий, с осознания различий — свободомыслие, а с него смута. Помимо того, половая энергия есть общественное достояние, которое лучше использовать в *сублимированном виде*.

Правда, на закате трудовой деятельности каждый ни в чем не провинившийся суперграндец имел право взять себе жену; если он к тому же отличался усердием и преданностью, то жена могла быть молодой и способной к продолжению рода. Такую пару ожидала высокая честь: в сопровождении эскорта мотоциклистов доставлялась ампула со сперматозоидом Могучего Шефа и совершалось искусственное оплодотворение им жены в присутствии экстатически ликующего супруга. (От этого и происходило «кукареку» в официальном славословии МПШ—XXIII).

Подобными актами половая жизнь на Суперграндии практически исчерпывалась. Сам НООС в силу заслуг и положения мог завести жену, не дожидаясь пенсионного возраста, и не одну, и даже сам их осчастливливать... Но, требуя высокой морали от других, он не позволял и себе ничего лишнего и в строгости поведения не уступил бы никакой засушенной старой деве, любящей только кошек.

(Проницательный читатель легко заметит несообразность: если на Суперграндии даже пол фактически находился под запретом, то о каких других, более тонких проявлениях личностей ее жителей — об их индивидуальностях! — может идти речь? А тем самым и о каком пси-дифференцировании личностей, их обмене, транспортировке?

И он будет прав, наш читатель-проницатель. Истинные намерения лидера планеты и его главного помощника НООСа были далеки от облагодетельствования подданных связью с иными мирами. Главным официальным отличием для суперграндца было не отличие одного от другого, а того от третьего и т. д., а отличие их всех от всех не их, тик-так-тик-так, ура, кукареку! Иномиряне в суперграндских телах только явили бы населению ненужный соблазн и смятение умов, об этом и речи быть не могло. Да и понимали властители, что каждый суперграндец совершил бы пси-перелет только один раз.

Подлинные намерения были другие. Ну, во-первых, практическое бессмертие для МПШ и избранных им лиц путем перехода по мере старения во все новые молодые тела. Затем — ускоренная пси-обработка не совсем еще стандартных личностей, которая в машине будет делаться куда быстрее, с электронной скоростью, и надежнее, чем *вручную*. Для подручных НООСа смена тел и обликов неограниченно расширяла возможности слежки, провокаций, разоблачения заговоров... Словом, виды были обширные.

И вот — пошли по шерсть, а вернулись стриженными!)

Все было продумано, все было логично. НООС инкогнито записался в кассеты, их доставили на Землю. Здесь после всучивания он принял облик блондинки Лили (крутая грудь, прямая спина с высокой талией, подтянутый живот, стройные ноги с тугими бедрами, чуть полноватые руки и плечи, округлое простоватое лицо со вздернутым носом и лучисто-синими глазами, роскошные кудри) — и прямо из кабины VII класса двинулся в кремовом вечернем платье на задание.

На Привокзальной площади первым ей попался на глаза рослый молодой мужчина, который медленно прогуливался около гостиниц и явно кого-то высматривал. Лили подошла, мелодичным голосом произнесла «пароль». Мужчина — это был приехавший в Кимерсвиль на соревнования баскетболист — остолбенел от неожиданной удачи, потом сказал:

— Ага. Желаю. Пошли!

Отказаться значило раскрыть себя, ничего не сделав. Жизнь НООСа не была бедна сильными ощущениями, но ничего, подобного переживаниям этой ночи, с ним не случалось. Спортсмен вы-



пустил его-ее из своего номера только утром. Исходя из норм жизни своей планеты НООС воспринял этот факт как прискорбное исключение; следующий контакт, даже если он окажется ошибочным, несомненно будет более пристойным.

Увы, выяснилось, что первый мужчина не был исключением. Все другие клевали на «пароль» Лили (точнее, на нее саму) столь же молниеносно. Даже когда она, чтобы отвязаться, назначала немалую плату и требовала деньги вперед, многих и это не устрашало. Но отзыв: «Спасибо, я уже получил!»— не прогнусил ни один.

Выяснился и другой озадачивающий факт: на этой разнузданной планете, оказывается, много языков! На каком же именно Лили следует произносить пароль в международном пси-порту и на каком она услышит отзыв?!

Но никакие трудности не могли остановить НООСа на пути исполнения государственного долга, тик-так, тик-так, ура, кукареку! Он быстро освоил языки в нужных пределах:

— L'homme, voule-vous avoir une plaisir?

— The Man, will have a pleasure?

— Der Mann, wollen Sie das Behagen haben?

...и так далее, вплоть до суахили.

К сожалению, это не помогло. Языки были разными, различны были внешности, одежды, даже оттенки кожи мужчин, но реакция оставалась той же:

— Oui, je voule!

— Yes, I'will!

— O, ja, ich will!

...и все в том же духе опять-таки, вплоть до суахили. С суахили ей особенно не везло.

«Ну, что за планета,— огорчалась Лили после очередной ошибки,— невозможно работать! Неужели им неизвестно, что половая энергия, будучи сублимирована и обобщена, дает такие взлеты коллективного энтузиазма, восторженной безмерной преданности, усердия, ярости масс. А они... м-м-м!.. Ооо!.. Ыаххх!..»

Очень скоро Лили благодаря внешности и знанию языков приобрела репутацию красотки класса люкс и тем исключилась из круга предлагающих себя на Привокзальной площади. Образовалась постоянная клиентура, которую она принимала в роскошном номере гостиницы «Кассиопея»; кроме баскетбольной команды, в нее входили коммерсанты с черного рынка сутей, иные сомнительные, но денежные личности. Помимо того, главный опекун красотки Жорж-Базиль Крещендо — кучерявый, весь волосатый, с блестящими глазами и перебитым носом — время от времени приводил к ней солидных интуристов, коих требовалось «вышибить из монет». Начальник Охраны и Общепланетного Сыска благословенной Суперграндии познал сам и помог познать клиентам немало удовольствий.

Нельзя сказать, чтобы он не испытывал мучительной раздвоенности. Испытывал. С одной стороны, оказался в двусмысленном положении среди сомнительных, даже преступных субъектов — и субъекты эти не только не трепетали, не ждали от него скорой расправы, но даже *обладали* им-ей, утверждали себя. А с другой... о, с другой!

Тело тоже личность, особенно женское тело. И напрасно НООС пренебрег запретом галактического кодекса: сейчас его первичная личность боролась с новой индивидуальностью — индивидуальностью больших тугих грудей, красивых бедер, плавной линии плеч и выгиба спины, индивидуальностью лучисто-томного взгляда и медленно опускаемых ресниц. И когда кто-то из поклонников восхищался задыхающимся голосом: «О, какая кожа, какие плечи! А грудь!..»— то НООС испытывал то же чувство законной гордости, как и прежде, когда получал похвалы и награды от Могучего Шефа за поддержание порядка в Суперграндии.

Когда побеждало чувство долга, он ускользал от опекуна и поклонников на площадь, проверял «паролем» незнакомцев. Но и при этом как-то само собой выходило, что ноги несли Лили к незнакомцам цветущего возраста и здоровья, рослым, ражим; именно такие казались ей возможными агентами 7012. Результат, увы, был обычный; да потом еще Жора Крещендо устраивал сцены, кричал: «Мало тебе? Ну что ты за ...?!»— и даже таскал Лили за волосы.

(А может, это было не «увы», и не только чувство долга влекло НООСа к подобным контактам? Себе-то он не мог не признаться, что новое состояние и новые переживания на Земле наполнили его жизнь куда больше, чем она была наполнена на Суперграндии, при всей власти там, славе и трепете окружающих. И дело было не только в теле — в нравственном отношении НООС, как и все другие приближенные МПШ—XXIII, тик-так, тик-так, ура, кукареку, был, не мог не быть проституткой. И там он вступал в сомнительные связи, заключал скверные сделки, лгал словом, видом и делом, выражал — ну, только что не телесно — горячую любовь к тем, кого на самом деле презирал и ненавидел. Но там, при дворе Могучего Шефа, достижение цели: власти, наград, казни соперников — всегда было отделено от усилий немалым сроком, затуманено страхом и неопределенностью: то ли выйдет, то ли нет. А здесь... о, здесь все очень быстро завершалось действиями, сладостный результат заключался в них самих. В действиях этих Лили все больше понимала толк.)

Но когда девица Изабелла Нетель, наперсница и служанка, взятая с площади, со смешком рассказала, что около злачных мест слоняется какой-то пожилой придурок в сопровождении парня,

только что не облизывается, глядя на девиц, а когда те ему предлагают, гнусавит: «Спасибо я уже заимел!» или «Спасибо, я уже получил!»— НООС почувствовал холод внутри. Не от чувства долга и ответственности, а от простой вины и страха. Он вспомнил, что находится на чужой планете, в чужом теле (кое по миновании срока аренды придется вернуть), прибыл по заданию государственной важности... а чего достиг? Ведь, в сущности, промежуточным, второстепенным делом был выход на связь с агентом Галактического управления БХС, главной же целью остается поиск Характера МПШ. И как-то так получилось, что второстепенная цель увлекла, обросла подробностями, заслонила главную. Разнежился! Галактический агент вникнет, поймет — и вернет его как несправившегося на Суперграндию. А там — о, там с ним сделают то, что он делал с провалившимися или злоупотребившими доверием агентами. Сделают с особым удовольствием. Об этом жутко было и думать.

Таким образом, когда усталые, разочарованные Мегре и Вася, прекратив поиск, направлялись к «Балчугу», где комиссару был заказан номер, из соседней «Кассиопеи» выбежала и двинулась наперерез им пышная блондинка в голубом, под цвет глаз, халатике с разрезами и в малиновых сапожках. В десяти шагах она перешла с бега на четкий шаг, остановилась на уставной дистанции от комиссара, щелкнула каблучками, опустила руки по разрезам и хрипловатым контральто произнесла заветную фразу.

— Ага,— довольно вздохнул Порфирий Петрович, сказав отзыв,— наконец-то! Значит, вы и есть НООС, представитель потерпевшей стороны. Ну, и как успехи?

— Докладываю, эксцеленц.— Блондинка все так же держала руки по разрезам.— За время нахождения в пси-порту в порядке поиска, изучения обстановки и налаживания связей обслужено девяносто восемь мужчин: на время — шестьдесят один, на ночь — тридцать семь. Вырученные деньги за вычетом необходимых расходов положены в Инопланетбанк на счет Могучего Пожизненного Шефа, тик-так, тик-так, ура, кукареку! — Она вздернула подбородок с ямочкой, сжала губы.

Мегре и Долгопол тоже стояли навытяжку. Оба ждали, что НООС сообщит им по делу. Но продолжения не последовало.

— Как,— сказал комиссар,— это все? Но... неужели столь обширная клиен... пардон, агентура не вывела вас на след?

— Никак нет, эксцеленц! Собранные сведения недостаточны, необходимо продолжать работу. Надеюсь на вашу помощь и проницательность, эксцеленц!

— Вольно,— произнес комиссар.— Приблизьтесь. Как же тебя зовут, милочка?— Он взял подошедшую блондинку за подбородок.

— Лили, мсье.— Ее глаза кокетливо просияли.— Всегда к вашим услугам, мсье!

3

Не было в истории Кимерсвильского ОБХС более странного совещания, чем то, которое состоялось на следующий вечер. Не только по составу участников: два землянина — Звездарик и Вася, марсианин Виа-Скрип, суперграндец НООС и галактический агент неопределенного происхождения, но и по месту: в номере-люкс красотки Лили. Семен Семенович решил прикинуть, насколько апартаменты мадам подойдут для сбора информации от ее клиентов — путем подслушивания и съемки.

Дорогие ковры в темно-красных узорах на полу в гостиной (гостям пришлось переобуться в предложенные хозяйкой комнатные туфли), овальные зеркала в бронзовых рамах, скрытое в стенах тепло-желтое освещение, которое молодило всех, шкаф-бар с обилием напитков. Через раскрытые двери спальни был виден туалетный столик, сплошь уставленный парфюмерией, и главный предмет — широкое ложе, оформленное под носовую часть старинного парусника, ковчег любви, обитый розовым шелком. Сама хозяйка, подвитая и надушенная, была в вечерней спецодежде — стеганом халатике телесного цвета с кружевной оторочкой; он то и дело распахивался, показывая то край короткой рубашки, то вырез вверху, такой головокружительно глубокий, что взглянувшего тянуло туда, как в пропасть. Словом, обстановка была крайне неофициальная.

Мегре благодушествовал в глубоком кресле, попыхивал трубкой. Витольд Адамович рассматривал бар. Вася Долгопол был несколько не в себе, сидел на стуле, подобрав ноги, а когда Лили проходила близ него, обдавая душистым теплом, весь внутренне сжимался. Хозяйка хлопотала: приготовила кофе, разлила его по золоченым чашечкам, выставила к нему початую бутылку коньяку «Наполеон», рюмочки. Витольд — как ни грозил ему взглядом начотдела — налил себе до краев.

Один Семен Семенович пытался направить ход совещания. Узнав о похождениях НООСа, он кипел от возмущения и хотел ясности.

— Так как же это все-таки получилось,— вопрошал он, наклоняясь вперед и багровея лицом и лысиной,— уважаемый... уважаемая?— не знаю, как вас теперь и величать, что более чем за месяц пребывания у нас в Кимерсвиле инкогнито... и не просто пребывания, а довольно, кхе-гм, бурной деятельности,— вы ни на шаг не приблизились к решению задачи, ради которой прибыли? Главное дело, вращались-то вы среди того злачного люда, который почти наверное к пси-махинациям причастен. Как же так? Извините, но у нас в подобных случаях ставят вопрос о служебном несоответствии.

Говоря это, Звездарик поглядывал на Мегре, искал у него поддержки.

Не по душе пришлась НООСу его речь. Настолько не по душе, что сквозь очаровательный облик Лили на минуту проглянуло что-то беспощадно жестокое, сухое и даже, как показалось Васе, крючконосое; сам голос изменился.

— Совершенно не по рангу вам, агент без номера, ставить мне такие вопросы! Что же до несоответствия, то свое вы давно доказали: это при вашем попустительстве... и по вашей вине! — совершаются хищения сутей. Да за одно это вас!.. Вы думаете, если я здесь такая... общедоступная,— голос снова изменился, стал слезливым,— так вы можете себе все позволять! Слабую женщину... даже у нее в гостях...— она всхлипнула.— Только один... единственный среди всех, безмерно мощный и бесконечно мудрый, наш Могучий Пожизненный Шеф, тик-так, тик-так, ура, кукареку! — голос Лили сделался стальным, она вздернула подбородок, лязгнув челюстями.— Только он вправе потребовать от меня отчет. И я ему его дам. Он поймет!..— и опять в голосе слеза и надрыв.

В ней будто боролись две личности. «Занятно!»— подумал Витольд Адамович, допивая коньяк.

Во время речи Лили тоже поглядывала на Мегре, ожидая, что он примет ее сторону. Тот слушал, все понимал и молчал. Он сочувствовал Звездарику, но не осуждал и НООСа. Комиссар понимал его-ее, может быть, даже лучше, чем суперграндец сам себя в данной ситуации. Вся загвоздка была в теле — в этом хлипком, полужидком, меняющемся и самое главное — очень чувствительном ко внешним и внутренним раздражениям белковом теле. Большую часть ощущений его информационная (нервная) система превращает из простых сигналов о мире и своем состоянии в *приятные и неприятные,* в «удовольствия» и «неудобства»... и так вплоть до «выгод» и «потерь», «побед» и «поражений», «счастья» и «горя». В известной мере такие искажения объективного свойственны и другим существам, в небелковых телах, но здесь они доведены до такой крайней степени, что странно не то, что Лили-НООС свихнулась с пути, а что все земляне не свихиваются. Ведь «приятное»— то, чего хочется побольше, а «неприятного»— поменьше. За громким возмущением Звездарика и тихим, но вполне ощутимым Васи Луковича — многовековой опыт разумной жизни в таких телах, породивший моральные нормы, умение сдерживать себя «во страстех». Но у НООСа ничего этого нет. Вот и... «Кстати,— думал Порфирий Петрович,— а каковы эти ее, Лили, удовольствия, что, предлагая их, она идет нарасхват? Неужели сильнее моих?»

(За сутки жизни в белковом теле он тоже кое-что отведал — сверх удовольствий еды и питья. Придя вчера вечером в свой номер, комиссар отворил окно, не захлопнув дверь. Получился сквозня-

чок — он чихнул. Тело чихнуло. Ощущение было настолько бодрящее, приятное, что он и не стал закрывать дверь, настроился — и расчихался так, что к номеру начали сбегаться люди. Позже, перед отходом ко сну, он, согласно инструкции, решил вымыть ноги: напустил в ванну теплой воды, сел на край, погрузил в нее натруженные за день ступни. Ощущение было просто небесное, а когда принялся разминать пальцы, массировать подошвы, так даже челюсть отвисла от удовольствия.

Теоретически агент понимал, в чем здесь дело: ноги людей суть бывшие обезьяньи лапы, которые обслуживала столь же богатая нервная сеть, как и нынешние их руки. Теперь ноги выродились в подставки для ходьбы, нервная сеть не нагружена и с чрезмерной активностью воспринимает любые сигналы, нарушающие ее застой. Но теория одно, а отвисшая от наслаждения челюсть и довольное сопение — совсем другое.)

Кроме того — стремление к первенству, думал Мегре, снисходительно поглядывая на хозяйку номера. На Суперграндии НООС был первым заместителем МПШ, естественно и здесь, коли так вышло, стать не какой-нибудь, а *первой* шлюхой города. Натуру не переделаешь. Ишь, довольна, что принимает нас с шиком: в люксе, кофе в золоченых чашечках, коньячок...

— Кстати,— молвил наконец комиссар,— как там у вас сейчас дела? Расскажите.

Лили села, облокотясь белой рукой о столик, горестно вздохнула. Дела на Суперграндии плохи. Мало того, что Могучий Шеф под натиском придворных подписывает любые указы, которые те составляют в своих интересах и для ущемления противников, как бы эти указы ни противоречили один другому. Мало того, что он, поддаваясь наветам, интригам, давлениям, то лишает своего расположения одних приближенных (а тем и постов, званий, наград), отдает его другим, то — под влиянием новых наветов и интриг — передумывает, низвергает возвышенных, возвращает опальных или заводит новых фаворитов... из-за чего при дворе и в министерствах полный хаос, никто не знает, кого следует бояться и кем помыкать. Но и в семейной жизни МПШ идет полный развал. Его ГСПЖ-А, Главная Сидящая по Правую руку Жена, почуяв слабину, первая завела себе любовников среди молодых офицеров двора... да-да, не одного, а несколько! (Лили покачала головой, осуждающе поджала губы). Ее примеру последовали и все другие жены Шефа — правые и левые, ближние и дальние.

Разумеется, НООС по долгу службы открыл Могучему Шефу глаза. Но тот вместо того чтобы предоставить его людям действовать, как надлежит в таких случаях, решил *мстить* неверным женам сам. В одну из ночей, когда Главная Жена уединилась с любовником в спальне, он подкрался к ее окну с кирпичами с целью раз-

бить зеркальные стекла и напугать. Но никак не мог решиться: поднимал кирпич, замахивался, опускал, отхлебывал для храбрости из фляги, снова замахивался и опускал... пока наблюдавший издали офицер охраны не приблизился, чтобы всепочтительнейше отговорить и увести. МПШ—XXIII дал себя отговорить и увести, но по дороге плакал на груди охранника и обзывал Главную Супругу, первую даму планеты, непотребными словами.

— Короче, вел себя как дерьмо,— жестко заключил комиссар.

— Да,— вздохнула Лили,— наш Могучий Пожизненный Шеф теперь дерьмо, тик-так, тик-так, ура, кукареку!

— Теперь вопрос к вам,— Мегре взглянул на Звездарика.— Хищение сутей дело специфическое. Сути руками не ухватишь. Все действия с ними: считывание, запоминание, комплектация, передача, введение в тела — происходят в Ψ-ВМ с электронной четкостью и надежностью. Такие Ψ-ВМ в вашем участке Галактики созданы и обслуживаются кристаллоидами Проксимы. Так не ...?— он не закончил, но вопрос и так был понятен.

Семен Семенович задумался. Вопрос открывал соблазнительную возможность выгородить родную планету, свалить все на сути кристаллоидов, обслуживающих кимерсвильскую Ψ-машину. Действительно, как бы это люди смогли: «Сути руками не ухватишь!» Но... в истории земной криминалистики, которую начальник ОБХС изучил, самые обширные главы написаны о хищениях, совершенных не благодаря ловкости рук и разбойной отваге, даже не с помощью отмычек, фомок и иной техники, а о других — под названиями «мошенничества», «ложные банкротства», «пересортица», «изменения технологии», «корректировка планов», «усушка-утруска» и многих им подобных, требовавших ловкости ума и нулевой совести. В этих делах люди тоже не промах, скромничать не надо.

С другой стороны, есть ли основания бросать тень на кристаллоидов? Да, в принципе, они могут *это:* все операции в машине в их власти и неподконтрольны людям. Блоки-машины находятся в наглухо забетонированном подземелье, куда идут только кабели; проникнуть туда можно лишь в сутях. Но кристаллоиды не умеют другое: скрывать что-либо. Они не смогли бы скрыть свои махинации.

Семен Семенович досконально изучил эту сторону психики проксимцев, беседуя с Христианом Христофоровичем Казе, академиком и главным инженером Ψ-ВМ. (На самом деле он был не Христиан Христофорович, а суть кристаллоида высшей сложности и надежности, не меняющая свои качества в любых нагрузочных режимах,

от холостого хода до короткого замыкания — от х.х. до к.з. на языке электриков). Беседовать с ним приходилось по машинному телефону, поскольку воплощаться в человечье тело, белковое, медленно действующее, Христиан Христофорович, как и все его подчиненные, не любил. Для кристаллоидов с их жестким телом, объяснил Х. Х. Казе, вся жизнь сосредоточена в обмене информацией; чем он значительней, тем больше жизни. Для них обмен сутями и даже личностями — обыденность. По этой же причине для проксимцев попытка что-то скрыть самоубийственна: она обрекает на самоизоляцию, молчание, вечное существование в своем теле. У них этого просто нет.

— Нет,— сказал Звездарик,— это наши смикитили. Но как?

И сразу почувствовал излученное на него комиссаром одобрение и доверие. «Так это он меня проверял!»— догадался начальник отдела.

Мегре выколотил в пепельницу трубку, спрятал ее в карман, оглядел всех; теперь он вел совещание.

— Истина одна.— заблуждений много. Мудрость проста и бесхитростна — ложь сложна и изощренна. Прямой путь к цели один— кривых, петляющих множество. Только чем они кривей, тем трудней дойти и легче заблудиться...— Сейчас в облике и голосе его было много вселенского: комиссар не говорил, а вещал.— Я, это к тому, что ваши, пусть и не высказанные, но отчетливо чувствуемые надежды: вот прибыл агент Галактического управления, он все раскроет,— напрасны. Пси-транспортировка возникла в цивилизациях, которые с начала своего и до сих пор слыхом не слыхивали о воровстве, мошенничестве, насилии, лжи...— эти слова он выговорил с таким отвращением, что даже спазма прошла по горлу.— Полагаю, не нужно объяснять, почему этот метод, требующий высокой чистоты ума и духа, возник именно там, а равно и почему цивилизации, изощряющиеся в обмане и насилии, обречены топтаться на месте, прозябать на интеллектуальных задворках Мира. А то и на гибель... Хочу лишь предложить вам количественный критерий помянутой нравственной чистоты цивилизации, пригодной для объединения с другими.

Он помолчал, обдумывая, снова оглядел всех.

— В вашем мире электроника основана на полупроводниковых кристаллах довольно высокой чистоты: один атом примеси приходится на десятки или сотни миллионов атомов полупроводника. Вдумайтесь в это: какая разница — один «вредный» атом на сотню миллионов, или пять, или десять? Ни по цвету, ни по плотности, ни по твердости такие кристаллы не отличишь. Но первый обеспечивает эффекты, применяемые в электронике, а второй можно выбрасывать на помойку. Так вот, несколько пси-хищников, несколько десятков пси-фарцовщиков... или сколько там их есть?— могут

сделать то же самое с цивилизациями Солнечной системы. Там,— комиссар указал вниз и немного в сторону, где находилась область галактического Ядра,— никто не станет (да и не сможет) учитывать, что остальные десятки миллиардов разумных существ здесь ведут себя вполне нравственно. Не смогут принять во внимание и то, что в неприятностях повинна только одна планета. Приговор будет: «К общению не годятся». На галактической карте вашу звезду обведут кружком — и все.

Звездарик передернул плечами, так зябко ему стало в уютном номере Лили от этих слов.

— Вернусь к тому, с чего начал,— продолжал комиссар.— Все способы хищения сутей,— его лицо опять исказила гримаса,— имеют местную специфику, и то, что мне известно о таких делах в других местах, примерять здесь рискованно. Может помочь, но может и запутать. Поэтому лучше исходить из того, что все мы пока знаем одинаково мало...— Мегре наконец позволил себе улыбнуться.— Можно предположить, что злоумышленники, во-первых, отменно, на уровне кристаллоидов, знакомы с техникой пси-операций и, во-вторых, изобрели некий способ, позволяющий им, так сказать, выдергивать из массивов пси-сутей самые выразительные, редкие и ценные. А это значит, что они — люди мыслящие, знающие, одаренные. Настолько мыслящие-знающие-одаренные, что — особенно в сочетании с их преступной аморальностью — в них можно подозревать *синтеинтеллекты*. Они начинили себя чужими дарованиями, знаниями, дальновидностью, позволяющей предугадывать и наши ходы... Словом, их голыми руками не возьмешь.

Комиссар помолчал, снова оглядел всех:

— Взять их можно только их же оружием: новой сильной идеей. Ее они предугадать и обезвредить не смогут.

— Какой идеей?— спросил Витольд.— Идеей чего?

— Не знаю пока, ни «какой», ни «чего». Надо думать, вникать в специфику — искать.

— Ах, какая речь! — горячо сказала Лили.— Я уверена, что вы непременно отыщете и идею, и Характер Шефа, эксцеленц! Как же я буду благодарна вам от имени спасенной Суперграндии!

Она так и потянулась к комиссару в порыве предстоящей благодарности; халатик совсем распахнулся. Мегре глядел на нее с большим интересом.

Закончив совещание, борцы с хищениями сутей покидали номер. Лили стояла в прихожей, опершись одной рукой о стену, другой о крутое бедро, и на прощальные кивки отвечала улыбкой, в которой сквозил вопрос: как, и это все?.. И каждый, удаляясь, чувствовал себя немного дураком.

Когда же длинным коридором дошли до лифта, издали, от люкса, прозвучало лукавое контральто:

— Monsieur, vous vous-oubliez son pipe! *

— О, в самом деле! — Мегре хлопнул себя по карману, кивнул спутникам, заспешил обратно.

Отдельцы спустились в вестибюль.

— Может, нам его подождать?— предложил Вася.

— Нет,— покачал головой Звездарик,— это займет много времени. Он ничего не забыл. Просто Лили напомнила ему, что он в известной мере француз.

Они вышли наружу, зашагали через пустеющую к ночи площадь. Только башня пси-вокзала жила, господствовала над ней, светилась сверху донизу, пульсировала потоками пассажиров. Столбы голубого ионизированного воздуха уходили от вихревых антенн во тьму, указывали направления пси-трасс.

— А речь была сильная,— молвил Витольд Адамович.

— Речи — они все сильные,— отозвался Звездарик.— Особенно если товарищ прибыл из Галактического центра.

— Так аппаратуру в люксе-то мадам Лили будем устанавливать, Семеныч?— спросил Витольд.

— Не стоит,— подумав, сказал начальник отдела.— Мы же не собираемся снимать многосерийный порнографический фильм.

ГЛАВА ПЯТАЯ

КОНСИЛИУМ У СТЕНЫ ПЛАЧА

Один критянин сказал, что все критяне лжецы,— и вот уже две тысячи лет ученые не могут успокоиться: соврал он или сказал правду? А чего гадать-то: обидели его там, на Крите, объегорили. Может, увели жену. Или пообещали квартиру, да не дали. Вот он и поливает.

К. Прутков-инженер, мысль № 203

1

Пробные тела в Кимерсвильский ОБХС доставляли в желтом фургоне с надписью «Спецмедслужба». Более ничего привозить не требовалось. ЗУ «некомплектов» соединял с отделом СВЧ-кабель, выведенный на специальный пульт — весьма сложный, занимавший стену в особой комнате. Отсюда и название «стена плача»— в ином варианте «стена воя». Всего хватало, всякое слышалось из динамиков пульта: и плач, и вой, и скрежет зубовный.

* Мсье, вы забыли свою трубку! *(Франц.)*.

...Хотя, как мы отмечали, переработка сутей в пси-машине и трансляция их подобны действиям с электрическими сигналами, несущими обычную информацию (слова, числа, изображения), читатель впадет в ошибку, если решит, что это одно и то же. О, нет! Психические сути, ингредиенты личности, несут в себе заряд свободы воли, активности, даже регенеративной возбудимости (той, что выражают слова: «А по какому праву вы, милостивый государь?..»— или в наш демократический век: «Шё ты сказал?! Да кто ты такой?!»). Проще говоря, пси-сути это информация, которая даже и в машинных схемах знает себе цену, свои права и может за себя постоять. Поэтому — разовьем аналогию — машинные операции с сутями настолько же хлопотливей переработки пассивной информации, насколько перевозка пассажиров хлопотливее перемещения грузов в контейнерах.

И это еще в нормальных, благополучных случаях, когда пассажиры задерживаются в блоках Ψ-ВМ самое большее на часы (при подборе групп туристов). Злосчастных же «некомплектов» приходилось мариновать, пока разыскиваются недостающие их сути. Представьте себе пассажиров в поезде дальнего, очень дальнего следования, который у последнего светофора перед конечной станцией (когда все оделись, достали чемоданы) стал и ни с места — час, другой, третий... да умножьте это на в тысячи раз большие, чем в обычном мире, скорости реакций и действий каждого в электронной машине, да добавьте самое главное: у каждого чего-то *не хватает*, и крупно не хватает; но он, естественно, более замечает неполноценность окружающих, а не свою. Вот так — и то лишь отдаленно — можно понять психическую обстановку в ЗУ «некомплектов» и какие там царили нравы.

Пробные тела как раз и предназначались для опроса потерпевших «некомплектов» и для контроля их психики. Печальный опыт показал, что некоторые из них, очутившись наконец в теле — неважно, каком и чьем! — ведут себя безрассудно: отказываются покинуть тело после опроса, лезут в драку со служителями и т. п. Поэтому решили: лучше собственными их телами не рисковать — пусть хранятся в анабиозе до полного восстановления личностей. Пробные же тела сдавали напрокат — на дни, на недели за сходную плату — самые кимерсвильские забулдыги; для них это был промысел вроде собирания бутылок. Наиболее котировались хилые, некрасивые тела и несимпатичные лица, чтобы охотников позариться на них среди «некомплектов» было поменьше. Кроме того, с пробниками в необходимых случаях разрешалось обращаться грубо.

Обычно в желтом фургоне доставляли два пробных тела — второе для запаса, на случай, если первое выйдет из строя. Но сегодня носилки для запасного заняло тело профессора Воронова, которого предстояло вернуть в жизнь. Этот Воронов был весьма

хлопотным «некомплектом»: исчезновение интеллекта и специальной памяти об этике и эстетике как-то слишком уж растормозило его мощный дух — он часто скандалил, орал в динамики со стены-пульта: «Требую свободы! Верните мне личность! Верните тело! Долой насилие над личностью! Сатрапы!..» К нему присоединялись остальные, в ЗУ начинался бедлам.

На других носилках лежал ниц прихваченный ремнями пробник — долговязый мужчина с морщинистой шеей, худой настолько, что под кожей выделялись не только лопатки, позвонки и ребра, но и кости таза. Темные волосы на голове окружали аккуратную, как тонзура у католических монахов, плешь.

Сотрудники ОБХС не слишком стремились посещать комнату с выходным пультом ЗУ «некомплектов». Пульт был в максимальной степени оснащен как для общения «некомплектов» между собой и с внешним миром: микрофонами, иконоскопами, так и для их развлечений: электронными игровыми автоматами, проигрывателями, даже имитаторами звуков, видов, запахов. Эти развлечения и общения призваны были разряжать активность и эмоции «некомплектов»— но, к сожалению, отрицательные чувства у них быстрее накапливались, чем расходовались. Пустая комната со «стеной плача» всегда была наполнена перебранками, галдежом. Когда же в ней, в зоне восприятия «некомплектов», оказывался кто-то из отдела, то без высказываний в его адрес — и хорошо еще, если на уровне: «Ишь, ходит! Нажевал рожу на казенных харчах, а мы здесь пропадай!»— не обходилось. Звучавшие в динамиках голоса не были, понятное дело, собственными голосами некомплектных личностей — просто каждая имела свою полосу звуковых частот и модулировала ее смысловыми сигналами. Но этак-то получалось даже обидней. Читатель с этим согласится, если представит на минуту, что выслушивает реплики в свой адрес от автомата с газированной водой.

Из всего сказанного становится понятным то далеко не радостное настроение, с которым Семен Семенович Звездарик шел и вел всех: Мегре, сыщикессу Лили, Витольда, Васю Долгопола и даже жену поэта Майского, приглашенную на «очную ставку» с супругом,— к «стене плача». В наилучшем расположении духа была в это утро Лили, которая опиралась на руку комиссара с видом владелицы. У самого же Порфирия Петровича вид был кислый, помятый: удовлетворив любопытство, он на будущее все-таки решил ограничиться опусканием ступней в теплую воду.

Большая комната без окон, с яркими лампами в потолке и линолеумным полом была разделена проволочными сетками на три отсека. В левом лежали на носилках-самокатах доставленные те-

ла; там же облачался в пластмассовые доспехи и защитный шлем лысый, атлетического вида служитель Лаврентий Павлович. Исследователи вошли в отсек управления, где находилась полукруглая панель с рядами рукояток, клавиш и контактными гнездами. Впереди за сеткой был главный, самый обширный сектор со «стеной плача»: вверху ее расположились динамики, микрофоны, объективы иконоскопов, кубы имитаторов и игровых автоматов; ниже — плоские зевы контактных разъемов. А далее и эта стена, и боковые были обиты в рост человека кожистым пластиком. В середине пола был привинчен табурет.

Пока входили, на стене из динамиков слышался галдеж. Но тотчас все стихло. Все почувствовали, что их рассматривают.

Семен Семенович решил сразу задать тон, показать себя этаким отцом-командиром, гаркнул бодро:

— Здорово, орлы!

Несколько секунд тишины. Потом среднечастотный голос с механической артикуляцией сказал внятно:

— Приветик, сволочь.

— Э-э, хамите...— огорчился начальник отдела.— Стараешься для вас, ночей не досыпаешь, а вы!..

— Видим, как стараетесь, с кем ночей не досыпаете,— произнес голос тоном пониже.— С девочками явились, поразвлекать.

— А эта беленькая, пухленькая ничего,— заметил третий.— Я бы такую тоже поразвлекал.

— Эй, детка, обессучивайся и давай сюда! — поддал четвертый.— Мы хоть и электрические, но все можем.

Лили заблестела глазками, повела плечом, послала в сторону динамиков воздушный поцелуй; внимание мужчин возбуждало ее. Жена поэта смущенно спряталась за спины.

— Она не может обессучиться, разве ты не видишь! — прокомментировал еще голос. В слова был вложен иной, поганый смысл. «Некомплекты» поняли, загоготали во все динамики.

— Звездун-свистун, а ты которую?— спросил высокий голос.

— Ну вы, лишенцы! — заорал Звездарик, побагровев по самую шею, хряпнул кулаком по панели так, что в ней что-то звякнуло.— Всех выключу! Мы к вам с радостью, выпускать одного будем, а вы ведете себя, как босяки в кичмане.

Его не так легко было вывести из себя, но «некомплекты» имели опыт. В динамиках раздались свисты, улюлюканья, вой.

— Да тише вы! — послышался задавленный голос.— Кого выпускать-то будете? Может, меня? Миленькие, меня?!

— Профессора Воронова Илью Андреевича! — возгласил начальник отдела.

— Братцы, «бесноватого» будут выпускать! Да он у вас все разнесет!..— В динамиках заулюлюкали, заскандалили пуще прежнего.

— Нет, так работать нельзя,— Семен Семенович вывел ручку громкости на нуль, динамики умолкли.— Не придавайте этому значения,— повернулся он к гостям.— Все они люди выдающиеся, но, к сожалению, лишенные черт, которые сделали их выдающимися. Действуйте, Лаврентий Павлович.

Служитель за перегородкой сказал: «Сэйчас!»— ловко приладил к голове и телу профессора (довольно раскормленному, с волосатой спиной) контактки, расстегнул ремни, вкатил носилки под «стену плача». Затем воткнул штекерные колодки на другом конце гибких кабелей от контактов в разъемы, вышел и запер за собой дверцу.

Наступила очередь Витольда Адамовича и Звездарика. Первый вставил кассету с изъятыми у «соискателя» Вани Крика сутями в гнездо панели, склонился над клавишами, набирал коды команд. Семен же Семенович следил за свечением индикаторов, колебаниями приборных стрелок, поворачивал корректирующие рукоятки. Восстановление травмированной личности путем введения пси-сутей в тело одновременно из двух источников, из ЗУ и из кассеты, было занятием тонким, не алгоритмизируемым, здесь немалую роль играла интуиция операторов. На лбу Звездарика выступил пот.

Первыми вошли в тело сути из ЗУ «некомплектов», низшие составляющие личности Воронова: они усилили, взбодрили дремавшую в теле животную Ы-активность. Тело напряглось, выгнулось, поднялось на носилках на четвереньки, неуклюже слезло: ноги согнуты в коленях, руки в локтях, голова вперед.

— Ы-ы! — ощерился интегрируемый профессор, выгнул спину дугой.— Ы-ы-ы!..

Оглядел себя, почесал грудь, начал озираться по сторонам. Заметил людей за сеткой, присмотрелся — ощерился еще пуще:

— Ы-ы... баба! — и, весь напружинившись, потянулся туда, шагнул. Жгуты проводов натянулись, остановили его.

Витольд Адамович нажал новые клавиши. Звездарик поворотом рукоятки перекрыл поток пси-зарядов из машины. Световые индикаторы кассеты на панели стали меркнуть на глазах: в личность Воронова вливалась похищенная суть, стержневая для его интеллекта и духовного облика.

И во внешности профессора произошли любопытные эволюции: на лице, недавно еще тупом, упрощенно сглаженном, появилось много мелких черточек, морщинок, тонких напряжений лицевых мышц, свойственных осмысленному выражению. В глазах прошли, сменяя друг друга, тревога, недовольство, изумленный вопрос к себе, стыд... Человек, приходя в себя, провел рукой по щекам, выпрямился, передернул плечами, потряс головой.

Через минуту индикатор кассеты погас. Воронов нормальными глазами взглянул на людей за сеткой, сказал звучным голосом:

— Батюшки, да здесь дамы! — и прикрылся.

Служитель вошел в отсек, снял с профессора контактки.

— Приветствую вас на Земле, Илья Андреевич! — произнес начальник отдела традиционную фразу.— Ваша одежда в левом отсеке, прошу вас туда.

— Те-те-те, уважаемый товарищ Звездун-Звездарик,— Воронов поднял правую руку и, по-прежнему прикрываясь левой, погрозил пальцем,— не делайте, как говорится, le bonne mine au mauvais jeu! * Я уже давно на Земле. Полгода! И вам я их припомню, эти полгода моей жизни. Как говорится, никто не забыт и ничто не забыто, да-с!

— Ступай, дорогой,— служитель мощной дланью направил профессора к дверце,— одевайся скорей. Никто, говоришь, и ничто не забыто? А как ты меня обзывал, помнишь? Одевайся живей, приятель, мне нужен твой шиворот.

— Лаврентий Павлович,— строго сказал Звездарик,— вы на работе! Снаряжайте, пожалуйста, пробника.

— А... сэйчас! Ладно, дорогой,— обратился служитель к Воронову, который теперь спешил одеться и убраться,— уходи целый. Ничего, я не все время на работе. И теперь у тебя есть не только голос, чтобы оскорблять, но и морда.

Под это напутствие он принялся прилаживать контактки к телу пробника. Профессор Воронов, застегиваясь на ходу, вылетел в коридор, его «Безобрразие;» прозвучало где-то вдали. Мегре взглянул на Звездарика неодобрительно, а Лили-НООС с откровенным презрением: как распустил подчиненных!

— Незаменимый человек,— развел руками Семен Семенович.— Его тоже надо понять. Так,— он повернулся к жене поэта,— займемся вашим делом. Вы желаете забрать вашего мужа таким, каков он есть, правильно?— Та кивнула.— Чудненько. Мы вправе отпустить его «некомплектным», руководствуясь теми же соображениями, по каким психиатры отпускают из клиник не опасных для окружающих душевнобольных. Вы сейчас с ним побеседуете, оцените, насколько он в норме и в форме, и если не передумаете, то с богом. Только выдвиньтесь, будьте любезны, вперед.

Жена поэта вышла к сетке. Служитель вкатил под «стену плача» обряженное пробное тело. Витольд Адамович игрой клавиш на панели послал в него из ЗУ «некомплектов» личность Майского.

2

Этот мужчина не гыкал, не дергался, не выгибался — слез с носилок, вяло осмотрелся, сел на табурет, сунув руки между колен.

---

* Хорошую мину при плохой игре. *(Франц.)*.

Спереди он, надо признать, выглядел ничуть не привлекательней, чем со спины: низкий покатый лоб, так же далеко отступающий назад подбородок, маленькие глазки, широкие брови, приподнятые в каком-то горестном удивлении, жилистая шея с крупным кадыком выносила голову более вперед, чем вверх. Единственным замечательным предметом на лице был нос — большой, лилово-красный и бугристый. На впалой безволосой груди был овальный сизый шрам от пулевого ранения — под левым соском, напротив сердца.

— Но это не мой муж! — воскликнула женщина.

— Пробное тело принадлежит Спиридону Яковлевичу Математикопуло, сорока пяти лет, без определенных занятий,— пояснил начотдела, пожал плечами,— чем богаты, тем и рады.

Мужчина поднял голову, взглянул на сетку, молвил сипло:

— Здрасьте, чего ж это я не твой? А чей же еще?

— Вы признаете, что это ваша жена?— спросил Звездарик.

— Моя, а чья же еще? Люська, Людмила Сергеевна Майская.

— Олеже-ек! — жена всхлипнула, приложила платок к глазам.

— А чего это ты сразу начинаешь: не мо-ой!.. Другого, что ли, завела? Смотри мне!

— Олежек, ну о чем ты говоришь! Но тело у тебя какое-то...

— А что?— мужчина оглядел себя.— Тело как тело. Без плавников. Без хобота. Без чешуи. Без рогов...— он снова с сомнением поглядел на свою Людмилу.— То есть я так полагаю, что без рогов. Смотри, если узнаю!.. А тело — хоть каким-то разжился.

— Но ведь... не твое оно.

— Ну, это — было ваше, будет наше. (Начальник ОБХС обменялся взглядом с Витольдом: не понравилось обоим такое суждение «некомплекта»). Ну... так как оно ничего?— мужчина с натугой улыбнулся.

— Скажите,— Семен Семенович решил оживить беседу,— а вы осознаете, где находитесь, на какой планете — без хобота и чешуи?!

— Что значит, где нахожусь! — вяло окрысился мужчина.— Вы не той... не того. Не этого. Что вы себе позволяете? У себя на Земле нахожусь, а то где же еще!

Звездарик поморщился. Не нравился ему *этот* Олег Майский, психикой не нравился.

...Он не встречался с ним в жизни, видел только фотографии в журналах и сборниках (правильные черты, крутой лоб, красивая шевелюра, блестящие и зажигательные какие-то глаза, спокойно-ироническая улыбка... Если прибавить к этому молодость, поэтический дар и известность, то ясно, что жена должна быть от него без ума, какие там измены!), но помнил и любил его стихи: умно романтические, приподнимающиеся над обыденностью.

Особенно одно стихотворение, из ранних, запало в душу Семену Семеновичу, и не только потому, что называлось «В альбом психи-

атру» и было близко к его тогдашним занятиям. В вирше этом Олег Майский обыгрывал образчики словесного творчества душевнобольных из попавшегося ему якобы на глаза «Атласа психиатрии»; особенно один, с фразами «Светлость душ не может возвыситься через деловые отношения» и «Я хочу в голубой зенит, там моя точка!». Поэт в раздумчиво-лиричных строфах как-то очень изысканно ставил вопрос, что, мол, если эти фразы свидетельствуют о ненормальности пациентов в добром здравии составителей «Атласа», то что она, собственно, такое — человеческая нормальность? Ведь в самом деле не возрастает светлость душ в деловых, сделочных отношениях, что греха таить! И... чем плохо стремление в зенит? Не есть ли наша нормальность просто видом согласованного помешательства?

С подобным поэтическим экстремизмом С. С. Звездарик, конечно, не соглашался, но стихами был пленен.

— Так расскажите нам, где вы побывали, Олег Викторович?— не отставал он.— Вы же будете выступать с творческим отчетом, с новыми стихами, созданными в разных мирах. Вот и считайте это вашим дебютом.

Мужчина опасливо глянул на Звездарика мутными глазками:

— Вы не того... не этого. Что это вы начинаете? Как, где побывал? Где побывал, там и побывал. Согласно командировочному предписанию. Сначала у барнардинцев остановились, у гуманоидов непарнокопытных пластинчатых. Гостиница неважная, без удобств. Но кормили хорошо, не спорю. Насчет выпить слабаки, мы там перепили всех. Вместо аплодисментов сучат копытами и прядают ушами. Потом перескочили к звезде Браттейна. К дельфинообразным. Гостиницу дали хорошую, только под водой. Там у них все под водой. Кормили неважно, сырой рыбой. Стихи читал дыхалом, а дышал жабрами. Аплодировали плавниками, но не слишком. Перебрались к инфразвезде Буа, к сдвинутым фазианам. Гостиница паршивая, в магазинах сувениров полно, а с продуктами неважно. К выпивке не подступиться. Зато дамочки там очень даже доступны...— Мужчина оживился, на лице возникла широкая улыбка, глазки заблестели.— Сферояшерочки, бесовочки-цыпочки — ух, хороши, хоть и с хвостами! Ну, мы и сами там были с хвостами и с усами... годится для стиха, хе-хе?.. А на соседней планетке — там опять все в воде, разумные структуры из H_2O, гостиниц нет вовсе, и не кормят, только поят... зато на поверхности из пены возникают такие Афродиточки, Афро-деточки!..— он даже заплямкал губами.— Я там с одной...

— Олежек, как ты мо-ог; — прорыдала жена.

— А что... что как я мог? Обыкновенно. Ты не той... не того. Не этого. Сама-то здесь небось еще больше хвост распускала. Думаешь, я не знаю вашу сестру, нагляделся в круизе-то: хоть с ящером, хоть с облаком, хоть с вихрем — лишь бы новый. Погоди, вер-

нусь домой, порасспрошу соседей, как ты здесь без меня обитала. Если что узнаю, бубну так еще выбью:..

— Олежек, ну что ты такое говоришь!!!

— А где вы еще были, Олег Викторович?— направлял беседу начотдела.

— Ну, где был, где был... разве все упомнишь! На обратном пути к Проксиме залетели, к кристаллоидам. Гостиниц нет, планет нет, одни орбиты с астероидами. И не кормят. Хошь, питайся светом звезды через фотоэлементы, не хошь, летай так... И любовь там только духовная, информационная, хуже платонической — без ничего. А, ну их! — и он махнул рукой.

— Скажите, это ваши стихи?— Семен Семенович продекламировал с выражением:

Скучно на этой планете жить:
ладить с коллегами, служить в тресте...
Я тоже хочу в голубой зенит.
Давай полетим вместе!

— Ну, мои, мои...— мужчина скривился.— Вызывающие стишата. Эпатаж. Ради славы и не такое сочиняют.

— Олежек!..— жена только всплеснула руками; глаза у нее были совсем красные, аккуратный носик вспух от слез.

— М-да!.. Так что,— обратился к ней Звездарик,— берете? Он в общем-то нормален, опасности для окружающих не представляет. Если согласны, сейчас доставим его собственное тело, перезапишем — и, как говорится, любовь да совет. А?

Женщина затравленно взглянула на мужчину за сеткой, на людей по эту сторону, замотала головой:

— Мне такого нормального не на-а-ааадоооо! — и с девчоночьим ревом уткнулась Семену Семеновичу в грудь.

3

Далее разыгралась настолько безобразная сцена, что начотдела в самом ее начале поспешил выдворить жену поэта в коридор. Он чуть не выставил туда и Лили, но спохватился, что она — НООС, а тот видывал и не такое. «Некомплект» Майский забунтовал, категорически отказался покинуть пробное тело, вернуться в машину. Такое случалось с «некомплектами», и, в отличие от принудительного считывания присвоенных чужих сутей (когда злоумышленник, угнетаемый чувством вины, сознавал в конечном счете свой проигрыш и неизбежность расплаты), данная проблема технического решения не имела. Решали ее в Кимерсвильском отделе примитивно, кустарно: Лаврентий Палович надевал тугие перчатки, входил в отсек и бил строптивому «некомплекту» морду. В удары он вклады-



вал воспоминания о полученных около «стены плача» обидах. Обычно этого было достаточно: личность осознавала, что в блоках Ψ-ВМ ей будет уютнее, утекала по проводам туда, а опорожнившееся пробное тело с мычанием валилось на пол. Но для самых стойких и этого было мало.

Сейчас произошел именно такой случай. Распаленный долгим томлением в ЗУ, предвкушением свободы, остервеневший от обиды на жену, которая от него отказалась, не понимающий причин, «некомплект» Майский метался по отсеку, кричал: «Не имеете права! Люська, ну погоди мне!.. Угнетатели! Люська, вернись, пожалеешь!»— увертывался от наскоков служителя, отбивался кулаками и ногами, поднимался, когда Лаврентию удавалось его достать... откуда и прыть взялась в этом худом, слабом на вид теле. Наконец ему удалось накатить на служителя носилки, сбить с ног. Тот на четвереньках ускакал в свой отсек, и, когда поднялся там, вид у него был страшный.

— А!.. Что, взяли?! Люська, зараза, вернись! Шакалы!..— орал «некомплект», потом вдруг принялся дергать кабели, пытаясь выдернуть разъемы из гнезд.

Это уже было совсем никуда. Служитель вопросительно глянул на начальника ОБХС. Тот кивнул: действуйте. Лаврентий Павлович снял шлем, спокойно пригладил жидкие светлые волосы, обрамлявшие лысину, надел пенсне, взял с полки именной никелированный пистолет с удлиненным дулом и сквозь дверцу навел его на пробника. Налившиеся кровью глаза под пенсне сощурились, плоские губы сжались в ниточку, ноздри горбатого носа выгнулись.

Все затаили дыхание. Лили-НООС в этой ситуации повела себя, как Лили: заткнула пальчиками уши, взвизгнула и зажмурилась.

— Ах, та-ак!?—«некомплект» рванул на груди несуществующую тельняшку, шагнул к служителю.— Н-на, умираю, но не сдаюсь!

— Нэ умрошь, но сдашься,— проговорил тот, спуская курок.

Гулко хлопнул выстрел. На теле обозначилась кровавая дырка — под левым сосцом, рядом с зажившим отверстием. Пробник подогнул колени, рухнул на линолеум возле табурета.

— Три «ха-ха», пауза, и падает на пол,— произнес служитель и склонил голову, будто ожидая оваций за меткий выстрел.

Но оваций не последовало. Присутствующие были ошеломлены: на их глазах убили человека. Порфирий Петрович Холмс-Мегре, силясь понять, что произошло, начал в растерянности принимать облики то Лаврентия, то Звездарика, то пробника... затем устремил вопросительно-гневный взгляд на начотдела.

— Спокойно,— сказал тот (хотя сам был бледен),— все целы и все в порядке.

Он повернул вправо регулятор громкости, набрал клавишами код личности Майского, перекрыл своим голосом лавинообразно хлынувший со «стены плача» галдеж:

— Тихо! «Некомплект» Майский, отзовитесь!

— Здесь я, здесь,— сказал серый голосок, совершенно непохожий на тот, что минуту назад звучал в отсеке.— Ну, ладно, погодите вы мне!

— И вы погодите, Олег Викторович,— миролюбиво ответил Семен Семенович.— Наберитесь терпения. Найдем вашу главную суть и отпустим вас с миром. Без нее вы не человек, видите, даже жене не нужны. С этим все! — и вывел громкость на нуль, погасив шум в динамиках (с выкриками: «Человека убили, гады! Ироды!..»), затем приказал служителю: — Уложите тело нормально.

— Сэйчас,— тот поставил перевернутые носилки на колесики, поднял убитого пробника и уложил его на них вниз лицом.

Звездарик набрал на панели новый код, затем нажал красную кнопку, под которой были буквы: «Р. Б.»: она осветилась изнутри.

— «Р. Б.»— это регенеративная биостимуляция,— пояснил он гостям.— Следите!

С минуту тело на носилках оставалось мертвым, неподвижно вялым. Потом по нему прошел трепет мышечных сокращений. Ребра расширились, спина медленно приподнялась — тело сделало вздох.

— Ну вот, дело пошло,— сказал Семен Семенович,— теперь я могу все объяснить.

И объяснил. Собственно, это была самая непроверенная часть теории обессучивания разумных белковых организмов: после удаления Я-составляющей они по уровню жизнедеятельности становятся подобны кишечнополостным, вообще, низшим. Общеизвестно, что у существ, не обремененных высшей нервной деятельностью, особенно тонкими ее проявлениями, и здоровье крепче, и аппетит лучше, и жизненной силы больше. Экстраполяция этих признаков и привела к идее о повышенной живучести обессученных тел, о том, что все повреждения у них должны восстанавливаться, как хвост у ящерицы; а если создать специальные условия, то и быстрее.

Стычки с «некомплектами» и позволили нечаянным образом — нет худа без добра! — проверить эти идеи. Тот же Лаврентий Павлович, потеряв голову от оскорблений, нанесенных ему опрашиваемым в пробном теле проповедником-баптистом, у которого пропала религиозность (он не только обличал, но и плевался), произвел по нему три выстрела из именного пистолета. В упор. Вызвали понятых и судмедэксперта, чтобы, как положено, зафиксировать насильственную смерть для последующего привлечения зарвавшегося служителя к ответственности. Но... вскрывать и констатировать не пришлось. Пробное тело ожило раньше. К исследованию «эффекта

воскрешения» подключились нейрофизиологи, биокибернетики; разработали программу стимуляции нервных центров через те же контактки, чтобы ускорить регенерацию травм... и пошло.

— Да что много говорить,— заключил начальник отдела,— сами сейчас увидите... Спиридон Яковлевич,— повысил он голос,— поднимайтесь, вас ждут великие дела! Как самочувствие ваше?

Пробное тело повернулось набок, село на носилках, свесив тощие ноги, повернуло голову к говорившему. Нет, это было не просто тело — человек с осмысленным (и даже не таким меланхолическим, как прежде) лицом и точными движениями.

— Спасибо, ничего.— Он потрогал себя под левой грудью, где уже затянулась, покрылась розовой кожей смертельная рана, поморщился.— Вот только здесь здорово мозжит. Что — опять?.. (Звездарик вздохнул, опять, мол.). За это доплачивать надо.

— А как же, Спиридон Яковлевич, согласно прейскуранту,— с готовностью отозвался начальник отдела.— Не обидим! Вот, друзья мои, прошу любить и жаловать: Спиридон Яковлевич Математикопуло, наш лучший донор.

Тот сконфузился, встал, зашел за носилки:

— Что же вы меня таким представляете, неловко, право. Я сейчас облачусь. Эй, Лавруха, одежду!

Служитель подал пакет с одеждой, ухмыльнулся:

— С тэбя причитается, Спиря. Опять прямо в сэрдце, даже рэбра не задел. Цэни!

— Ладно, получишь, живодер, бакшишник! — пообещал тот, надевая мятые черные брюки.

Комиссар Мегре повернулся к Семену Семеновичу:

— Так ведь вот она, идея-то!..

Но объяснить ничего не успел. В отсек, где одевался «донор», ворвалась Людмила Сергеевна Майская — запыхавшаяся, раскрасневшая, счастливая от принятого решения.

— Ох... жив, цел! — кинулась к Спире, обняла, приникла.— Мой, все равно мой! Какой ни есть... Прости меня, если можешь, дурочку малодушную. Я просто растерялась, понимаешь? Прости, милый... м о й милый! Одевайся скорей, и пойдем домой, хорошо?

— Конечно, моя деточка, моя ласочка, моя ягодка! — «Донор» гладил растрепавшиеся волосы женщины, покрепче прижал, целовал в губы, в щеки, в глаза — не терялся.— Конечно, сейчас пойдем. Только куда: к тебе или ко мне?

— То есть как?! — Та отстранилась в удивлении.

— Людмила Сергеевна,— кашлянув, сказал Звездарик,— это Спиридон Математикопуло, который предоставил свое тело для пробного опроса вашего мужа. Я же вам все объяснял!

— О-ох...— У женщины закатились глаза, она без сознания повалилась на носилки, которые успел подставить ей служитель.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

«ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ, МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК?»

Ученые, выпячивая исключительную якобы роль Солнца в поддержании жизни на Земле, тем принижают роль в поддержании таковой начальства, правительства и общественных организаций.

К. Прутков-инженер, мысль № 50

1

Сквер около бывшего железнодорожного вокзала Кимерсвиль-1 был запущен — заброшен, собственно,— с той самой поры, когда упразднился и вокзал: со столицей и многими другими местами город соединили туннели хордовой подземки. Нельзя, впрочем, сказать, что и в прежние времена он был ухожен и популярен как место отдыха, этот сквер. Правда, здесь под липами и кленами, по сторонам от земляных дорожек с кирпичным бордюром, имелись предметы детского развлечения: горка с жестяным желобом, качели, центрифуга горизонтальная (вертушка), карусель с парными креслами на длинных цепях, качающиеся доски с сиденьями в форме коней, колесо обозрения, подвесные скамьи-качалки и даже огороженные досками квадраты с песком. Глаза посетителей также услаждала холмообразная клумба, обрамленная воткнутыми углом в землю красными кирпичами, а в середине ее — фонтан в виде бетонного цвета с Дюймовочкой.

Но все равно и в те времена кимерсвильские мамы и бабушки сюда детей развлекать не приводили. С самого начала сквер как-то слишком основательно обжили ожидающие поездов пассажиры. Они и на каруселях катались, возносились — кто с чемоданом, кто с провожающими — над деревьями на колесе обозрения; молодецкими толчками ног раскручивали центрифугу, закусывали на качающихся скамейках, резались в карты на вершине жестяной горки... убивали время.

Потом вокзал закрыли, сквер опустел; механизмы в нем поржавели, поблекли от непогоды, фонтан засорился, а Дюймовочке отбили нос.

Однако вскоре после открытия в Кимерсвиле пси-вокзала это место оживилось. Сюда зачастили молодые и средних лет люди, как правило, хорошо, даже с изыском одетые,— люди, чьи энергичные лица и походки, умеренно-четкие жесты, внимательные глаза и немногословные фразы не позволяли заподозрить их в склонности к пустому времяпровождению. Тем не менее они праздно прогуливались вокруг клумбы или по дорожкам сквера, прокручивались

на колесе, вертушках, карусели, даже возились в песочке. Все выглядело идиллически — только искрометные фразы и короткие, но наполненные деловым содержанием диалоги, кои произносились при всех занятиях, выдавали затаенное и бурное, как в адских автоклавах, кипение страстей:

— Имею сексапильность от молодого! Кому сексапильность?

— Есть способности логические, есть художественные! Воля активная, воля пассивная? Вольному воля, купившему рай, хе-хе!..

— Продам доброту, пять баллов! Незаменима в семье.

— Меняю все на все! Меняю, меняю, меняю!..

— Кому нравственность, кому нравственность? Есть личная, есть духовная, есть нравственное отношение к близким...

— Куплю воображение, память, смекалку, здоровье...

. . . . . .

— Четыреста галактов за паршивую четырехбальную отвагу? А совесть у тебя есть, папаша?

— Валяется дома пара кассет. Неходовой товар. Завтра принесу, приходи, недорого отдам.

Покупатель плюется, соскакивает с коника. Его собеседник на другом конце доски валится на землю. Распахнувшиеся полы плаща открывают ряд кармашков, вроде детской азбуки, только крупнее: в каждом по кассете, а на ткани выведена цена — трех- или четырехзначное число.

. . . . . .

— Дама, да что вы! Девять баллов это интуиция на грани ясновидения, чтоб я так жил! Вы же ж будете знать все не только про мужа и детей, но и за знакомых.

— Полторы.

— Две с половиной, это же себе в убыток. Имейте в виду, она с молодого, еще развиться может. Дама, вы же в цирке сможете выступать, клянусь здоровьем!

— Тысячу восемьсот.

— Ладно, две, чтоб не мелочиться... Дама, куда же вы, я согласен!.. Нет, не здесь, пойдемте на колесо обозрения, рассчитаемся на высоте, хе-хе!

. . . . . .

— Кому здоровье? Продаю свое здоровье!

— А свое-то зачем?

— Ох... очередь на машину подходит. Мужчина, купите, не пожалеете, вы ж видите, я какой: ого-го!

. . . . . .

— Всучиваю-обессучиваю с гарантией. Для детей скидка.

. . . . . .

— Три четыреста — собеседник отталкивается ногой, запускает вертушку.

— Три девятьсот,— парирует стоящий на ней по другую сторону.— Это же творческий ум, не что-нибудь!

— Три пятьсот!.. Шестибалльный всего-навсего и испорчен узкой специализацией,— покупатель наддает ногой.

— Три восемьсот! Папаша, тебе нельзя больше ждать милости от природы — не дождешься.

— Три шестьсот!

— Три семьсот пятьдесят!

— Три семьсот ровно! — вертушка сливается в пропеллерный круг.

— Уф-ф... Сдаюсь, согласен, тормози, ну тебя в болото! И где ты такую выдержку оторвал?

. . . . . .

— Имею усидчивость, достоинство, нежность, невозмутимость, отвагу, стыдливость, бескорыстие, прилежание и прочие положительные черты. Особо рекомендуется для подростков, юношей и девиц. Балльность от трех до пяти. Цены от трехсот галактов до тысячи.

— А что ж ты так озираешься, старина, и шепотком, шепотком? Ввел бы себе отвагу, достоинство.

— Милы-ый! Ты еще мне посоветуй бескорыстие себе ввести. Наша храбрость суть осторожность.

. . . . . .

Нищие духом торговали высотами духа. Скудные умом грели руки на чужих способностях, талантах, знаниях.

Впрочем, ничего нового.

В такое вот место и пришел в слякотное майское утро Вася Долгопол в штатском, прибыл выполнять задание по возникшей у Холмса-Мегре идее. Вася был, если говорить точно, не просто в штатском, а в специальном костюме, который — помимо элегантного вида — имел в себе контактные устройства, схемы считывания-обессучивания и излучательной антенны. Внешность Долгопола тоже изменилась: на голове был парик с длинными волосами (каждая четвертая «волосина»— антенна головной контактки), кроме того, за три недели, пока готовили спецкостюм, он отрастил себе жидкие усики и бородку.

Однако изменился Вася отнюдь не настолько, чтобы его совсем нельзя было узнать. Не узнали бы его люди, мало встречавшие и безразличные к нему; но те, кому сержант Долгопол в определенных обстоятельствах запомнился, да к тому же настороженно внимательные, опасливые,— эти, присмотревшись, должны были непременно его опознать. Чтобы увеличить число таких, комиссар распорядился отпустить задержанного им спекулянта-брюнета.

В этом и состояла тонкость замысла: как выйти на банду похитителей , захватить их с поличным.

...Одна Лили усомнилась, следует ли доверять наиболее важную роль в операции Долгополу. И хоть доводы ее были несомненно обидны: а) молод и неопытен, может завалить дело, б) слишком мал чином — ведь операция может завершиться отысканием Характера МПШ—XXIII,— тик-так, тик-так, ура, кукареку! — неужто у землян не найдется работника более крупного калибра?— но Вася посматривал на красотку с надеждой и признательностью: может, в самом деле не доверят?

— Ну, могу я,— предложил Звездарик; он чувствовал себя неловко перед Васей.

— Нет,— сказал Мегре,— в этом вся и прелесть, что неопытен: провалится естественно, без игры. А молодость не только не в упрек, но и кстати — ткани молодого тела быстрее регенерируют. Вам все понятно, Василий Лукович?— он тепло глядел на Васю светлыми глазками в морщинистых веках.

— А... версии какой мне держаться?— спросил тот.— Ну, легенды? На рынке и... когда схватят.

— Для рынка сами придумайте что-нибудь. А дальше они ведь вас не схватят, друг мой. Они вас заманят и убьют. Укокошат. Зачем вы им живой, подумайте сами?

— Укокошат, значит?— Долгопол исподлобья смотрел на комиссара большими глазами.

— Непременно,— щедро улыбнулся Мегре.— Вот тогда-то мы их и накроем.

Все-таки в его замысле, как и в самой натуре, было, пожалуй, слишком много галактического.

2

«Вот так попал на интеллектуальную работу,— думал сейчас Долгопол,— на убой послали!» Единственное, что прибавляло ему уверенности, это прицепленные к бедрам у колен пистолеты. Не в ОБХС выдали (они дадут!..)— один свой, еще не сдал по прежней службе, второй одолжил у служителя Лаврентия, посулив бакшиш. Из-за пистолетов Вася шагал тяжело и несколько раскорячась. «В случае чего задешево не дамся!»

В сквере было сыро, туманно; листья кленов и липок в капельках росы. Впрочем, такая погода считалась наиболее подходящей для торговых операций, пси-фарцовщиков было много.

Для начала Долгопол описал круг у клумбы с Дюймовочкой. На него посматривали вопросительно, но никто ничего не спрашивал и не предлагал. Он двинулся по дорожке в глубь, к горке и ка-

чалкам. Юноша в коричневой дубленке и берете, покачивавшийся на цепной скамье, призывно подсвистнул, распахнул полы — показал товар. Вася приблизился, глянул: кассеты были с мелкими, третьего и четвертого порядка, подробностями интеллекта и характера — да к тому еще и невысокой балльности.

— Ерунда,— сказал Долгопол, отошел.

Вслед ему присвистнули с уважительным удивлением. Полминуты спустя Вася услышал за спиной легкие шаги и голос:

— А что вы хотели, молодой человек?

Оператор оглянулся. Спрашивавший — в плаще с поднятым капюшоном, ярким шарфом вокруг шеи — был не старше его.

— У тебя этого нет,— бросил ему Вася, не замедляя шаг.

— У меня вообще ничего нет, но я знаю, у кого что есть. Так все-таки? Вы покупать пришли, или как?— парень не отставал.

— Характер нужен. За ценой не постою.

— Целый характер, блок, вот как! А на отдельные черты вы не согласны?

— На отдельные не согласен.

— Это вам самому, или как?

— Самому.

— Ага, значит, мужественный, волевой и так далее. И на какие, интересно параметры вы рассчитываете?

Но когда Долгопол перечислил параметры, начиная с двенадцатибалльной воли, симметричной в активной и пассивной составляющих, одиннадцатибалльной гордости и т. п.— все психическое имущество МШП—XXIII, настырный маклер попятился, замахал руками:

— Свят-свят... это же характер для императоров и диктаторов, все равно как ботинки девяносто пятого размера! Такие на толчке не появляются. Да и зачем вам такой, если вы нормальный человек?

— А может, я собираюсь стать императором?— Долгопол посмотрел на маклера свысока.— Или диктатором, как получится...— Тот опасливо покивал, отступил еще — намерился уйти от греха.— Да не бойсь,— изменил тон Вася,— я не псих, в Наполеоны не лезу. Понимаешь, действительно нужен очень крепкий характер — один на всех. Мы колонию собираемся основать. Ребята подобрались неплохие, но зауряды, один другого не лучше — как и я. По жребию мне выпало обзавестись сильным характером. Другому интеллектом. На характер мы уже собрали.

Это и была его легенда.

— Ага,— сказал собеседник,— пси-компоновка коллектива... Это другое дело. Где колония-то будет?

— Неподалеку, на Венере. На тверди в приполярной области. А то что ж, там одни стратозавры за облаками, а земли пустуют!

— Понятно. Планета серьезная, наслышан. Без штанов там можно, но без характера никак, пропадешь... Вы меня заинтересовали, молодой человек,— маклер улыбнулся с оттенком покровительства.— Я ничего не обещаю, но поспрашиваю. Посидите здесь.

Он удалился в сторону карусели. Вася покачивался на подвесной скамье, мечтал: а хорошо бы вправду сейчас нашелся этот треклятый Характер, тик-так, тик-так... без всякой детективной игры с возможным печальным исходом. Теория теорией, а пристукнут в подъезде — и окажется потом, что техника бессильна.

Маклер поспрашивал, поуказывал: вон, мол, сидит. Вскоре около Долгопола, солидного покупанта, бурлило торговое вече.

— Слушай, а другие черты не надо? Имею все третьего порядка, баллов, правда, маловато, но вдобавок к своим в хозяйстве не помешает, а? Оптом — скидка.

— Возьми приличное здоровье, парень. Мое. Посмотри на меня. И ты такой станешь: ого-го!

— А женщины с вами отправляются? Имею второй и третий порядок «женских сутей». Возьмешь?

— На это сейчас не уполномочен,— отбивался Вася.— Характер нужен, остальное потом.

— Слушай меня: не найдешь ты такой характер, я здесь второй год вращаюсь, о подобном не слыхивал...

— А по-моему, что-то недавно мелькнуло,— вставил кто-то.

— Ай, бросьте! — отмахнулся напористый, сиплый, пахнущий луком.— Слушай лучше меня: я тебе продам кассету с одиннадцатибалльной активной волей, так! — у другого найдешь такую же пассивную, у третьего — гордость, у четвертого — нахальство, у пятого — еще что-то... понял, нет? Соберешь — и вводи себе на благо компании или колонии. С миру по нитке, робкому характер, понял, а?

Долгопол вдруг осознал, что это напирает, дышит в лицо тот поджарый брюнет, отпущенный Порфирием Петровичем,— только сейчас он был без очков, в кепи и кожаной куртке. Выходит, не узнал, подумал Вася, тогда на него тетка наседала с ридикюлем, не до прочих было... Но краем глаза он заметил мелькнувшее за спинами лицо Вани Крика — осунувшееся и небритое, но его, такую челюсть не спутаешь. Внутри у Долгопола похолодело: «крестник», этот, если присмотрится, не ошибется.

— Так даже велосипед не соберешь,— отмахнулся он от брюнета,— а это все-таки характер. А психическая совместимость? Вались-ка ты!.. Цельный характер нужен, блочный.

— А кем вы там будете, на венерианской суше?— полюбопытствовал кто-то сбоку.— В какие формы воплотитесь?

— Известно, в какие, в венерианские,— сказал Вася. Подумал и добавил: — В кремнийорганические.

— А самоназвание какое будет?— не унимался любопытный.

— Ну, ясно какое...— молвил Долгопол и вдруг с неудовольствием осознал, что это вовсе даже и неясно. В фауне Венеры преобладают рептилии, как на Земле в мезозой; высшая форма их — разумные стратозавры. «Ну, эти, в облачном слое,— лихорадочно соображал Вася,— а на тверди какие? Птерозавры? Нет, это опять-таки летающие. Ихтиозавры? Эти и вовсе из земной палеонтологии, водоплавающие — на Венере морей-озер нет. А как тех, что посуху гуляют: просто «завры»? Или звероящеры? Но почему же «зверо»? Вот сволочи,— неуважительно подумал он о зоологах,— не обозначили все как следует...» (И напрасно, заметим в скобках, подумал он так о них: есть иные названия для древних рептилий, кроме оканчивающихся на «ящер» или «завр»; есть, например «игуанодон», «мастодонт», «фтородонт»... впрочем, последний, кажется, не «завр», а зубная паста. Просто плохо подготовил оператор Долгопол свою легенду, не изучил вопрос — и теперь горит. Без игры. Как в воду глядел Порфирий Петрович.)

— Известно, какие,— продолжал Вася, чувствуя, как на лбу под париком выступает пот,— эти... («Может, палеозавры? Нет, палео — это древние... вот черт!»)

— Целинозавры они там будут,— произнес позади знакомый голос.— Или колонизавры.

Все грохнули. Долгопол оглянулся: рядом, прислонясь к стволу клена, стоял пробник, лучший донор Кимерсвильского ОБХС, сдающий тело напрокат. «Как бишь его?.. Спиридон Математикопуло, без определенных занятий, дважды застрелен и регенерировался». Сейчас он был в тех же мятых черных брюках, в стоптанных туфлях и старой стеганке, раскрытой на голой груди; крупный нос вольных очертаний был так же лилов, и брови над маленькими глазами так же приподняты в философском недоумении. Единственной новью во внешности донора был вызревший под левым глазом синяк: память о перчатке служителя Лаврентия во время последней пробы.

«А он-то меня узнал?— напрягся Вася.— Я в отсеке позади, стоял, ничего не говорил... может, не приметил; Да и сейчас-то я на себя не похож».

— Уж Спиря ска-ажет!.. Вот к кому, молодой человек, советую подсуетиться,— сказал Долгополу, поднимаясь со скамьи, толстяк в гремящем кассетами пальто.— Голова! Как грится, пьян, да умен. Только найди подход.

Толстяк запахнул пальто, удалился. Другие торговцы тоже разошлись, пересмеиваясь: хоть ничего не всучили долговязому чудику, но малость развлеклись, погрелись — и ладно. Вася и Спиря остались одни.

— А ты не знал, как ответить,— слабо усмехнулся донор.—

Тиранозавр, мол, я там буду. С таким характером кто же еще как не тиранозавр!

— Так ведь характера-то еще нету?— Вася поглядел на него с вопросом.

— Можно найти и такой, можно. Только не здесь. Это вещь редкая, коллекционная, на любителя... И никакого особого подхода ко мне не надо, кроме одного,— Спиридон взглянул умоляюще: — Похмели ты меня ради бога. С утра душа скорбит.

3

В окрестности бывшего вокзала не осталось ни ресторанов, ни баров, зато немало развелось погребков — самодеятельных, будто самозародившихся из психической плесени этого места. Они не имели вывесок, посетители знали их по именам стоявших за стойкой: «У дяди Бори», «У тети Раи», «У Настасьи Филипповны», «У спившегося инопланетянина»... (Последний, впрочем, не разливал вино за стойкой — куда там! — сам околачивался в ожидании дармового стаканчика: полуголый, сутулый и хлипкий, стертой какой-то внешности; в глазах светилось собачье дружелюбие, тоска и жажда. Когда-то, говорили, он прибыл сюда по VII классу, воплотился в превосходное тело молодого мужчины — вкусить земных радостей. Начал с вина, коньяка, рома, вошел во вкус... и так и не вышел. Когда исчерпал запас галактов, принялся обменивать тело на худшее, но с доплатой. Так скатился в нынешнее, кое уже и обменять нельзя, пропил сувениры, личные вещи, одежду. Ему иной раз подносили, спрашивали сочувственно, кто он да откуда?— он же, выпив, только всхлипывал и отворачивался. Откуда бы ни был, возврата нет: психика разрушена, тело ни к черту, из одежды остались только плавки с кармашком... Ах, Земля, коварная планета!

Шесть ступенек вниз, круглые столики на длинной, по грудь человека, ножке; один сорт дешевого, но крепкого вина-шмурдяка, наливаемого в граненый стакан до краев (меньше брать неприлично) из бочки посредством банного крана, и одна конфета на закуску. В каждом погребке попадались Спирины знакомые, свои в доску ребята; донор представлял им своего друга Васю, будущего кремний-органического целинозавра, замечательного парня, которому он, Спиря, во всем поможет — иначе век свободы не видать! Знакомцы жали Васину руку, желали, поздравляли... приходилось из казенных средств похмелять и их.

Сам Спиридон Яковлевич пил бойко, на каждый Васин стакан два своих — и только хорошел: заблестели глаза, голос приобрел богатство интонаций, жесты — точность. В третьем погребке «У Настасьи Филипповны» он вдруг сменил тему.

— Слушай,— сказал он проникновенно,— а может, не надо? Ну, характер этот, Венеру, колонию... бог с ними, а? Разве на Земле плохо! Давай я тебе лучше свои математические способности задешево отдам, они мне ни к чему, все равно считать нечего. У меня такие, знаешь, что и баллов на шкале не хватит. Вот назови два пятизначных числа.

Вася сосредоточился, назвал.

— Желаешь знать, сколько будет, если их перемножить, а затем взять натуральный логарифм в степени три вторых?

— Ж-желаю!

Спиря почти без задержки назвал результат. Долгопол достал из нагрудного кармана спецкостюма микрокалькулятор-расческу, потыкал в пуговки его, проверил:

— Правильно. Молодец.

— Это что, я не такое умел, пока не сбился с пути. Меня, не поверишь, даже проксимцы ценили, кристаллоиды. А ведь им дано!

— Им дано! — согласился Вася.— А ты... вернись.

— Куда — на Проксиму?..

— Не... на путь. С которого сбился. Вернись, и все.

— А! — Спиридон махнул рукой.— Я что, я обойдусь. Думаешь, у меня один путь, я всегда такой? Ха!.. Сегодня у нас что, понедельник? Так вот, друг мой Вася, такой я только по понедельникам. По вторникам я просветленно-возвышенный. По средам целеустремленный, шибко деловой. По четвергам... не вспомню сейчас, да это и неважно, но еще совсем иной. Ты ко мне подойдешь, а я тебя и не узнаю, понял?.. А ты: характер, характер! Сильный характер налагает на человека ответственность. Не совладаешь с ним — не совладаешь и с жизнью, хуже сделаешь себе и другим. Так что выбирай лучше математические способности, на родной планете в гору пойдешь. А?

— Нет,— мотнул Вася тяжелеющей головой,— на Венеру желаю. Новый свет для меня воссиял.

После трех стаканов он сам поверил в свою легенду.

— Ну, как знаешь. Смотри не ошибись! — и донор посмотрел на Долгопола трезво и многозначительно.

Из погребка они снова попали в сквер — или это он оказался на их пути? Шли, собственно, к коллекционерам сутей, у которых мог быть искомый Характер, или они могли знать, где он... Знаменитый аж до Проксимы математик и донор Спиридон Яковлевич и выдающийся венерианский целинозавр Вася шагали в обнимку по дорожке, исполняли замечательную песню: «Четыре зуба»; Вася из-за незнания слов, правда, больше подмугыкивал и включался в рефрен. Потом они поднялись на колесе обозрения над деревьями

и туманом, над обыденностью. Математикопуло придерживал Васю, чтобы тот не переваливался через край кабинки, выспрашивал:

— Нет, ты скажи, от кого работаешь? От характериков? (Долгопол помотал головой). Ага, значит, ты интеллектуй?

— Не,— вздохнул Вася,— у меня высшего образования нет.

— Но ты инди... идивидуй?

— Конечно, а как же... А ты разве нет?

— Я, брат, не только индивидуй, бери выше: я — ИИ, интеллектуй-индивидуй! — похвалился донор.— Меня сам Христиан Христианович, академик Казе, между прочим, знает и ценит, понял!

— Пр-равильно,— ответил Долгопол.— И я тебя тоже уважаю.

Они поцеловались. Был в этом диалоге какой-то подтекст, второй смысл, но его Вася уяснить не мог. Его мутило. Когда колесо вознесло кабину в высшую точку, он глянул вниз — и не сдержал спазму. Спекулянты и покупанты из соседних кабин заржали, зааплодировали.

— Над кем смеетесь, вы!..— воздвигся, упираясь одной рукой в Васю, донор; другой он делал ораторские жесты.— Вы сами... вы же хуже дьяволов. Те по благородному — покупали души целиком. А вы ковыряетесь, перебираете: то вам не так, другое не эдак, отмеряете на аршин натуру людскую!.. Чтоб вам всем совесть ввели, пошлые рыночные бесы! Сгинь, рассыпься! — и он принялся размашисто крестить кабины справа и слева.

— Во дает Спиря!— слышались одобрительные возгласы.— Заснять их на пленку — кина не надо...

— Пойдем отсюда, Василий,— оскорбленно произнес Спиря, когда они слезли наземь,— здесь нас не понимают. Пойдем туда, где нас поймут, оценят и удовлетворят.

И они, поддерживая друг друга, двинулись переулками мимо мокрых заборов, одноэтажных домиков и сараев.

— Алкоголь это что,— свободно излагал донор,— вот где по-настоящему можно вздрогнуть, так это в пси-ВМ. Особенно, Василек, если надыбаешь на генератор развертки, пилообразных колебаний... умм-м! — он даже поцеловал себе пальцы.— А венерианские всякозавры все-таки, между нами говоря, не фонтан. Вот я, когда получил премию за книгу и за участие в проекте... неважно чего... так я брат, год провел облаком на Юпитере. Это мало кому по карману и по возможностям — вжиться в их бытие, там ведь и дифференциалы двенадцатого порядка не предел. Я вжился и понял, друг мой Вася, что и там все, как у нас: облака нижних слоев завидуют верхним «аристократам», стремятся вознестись в циклонных вихрях, выделиться... все поклоняются Красному Пятну, излучающему энергетические блага... та же суета сует и томление духа!

Он махнул рукой. «Снится мне все или наяву?» — обалдело соображал Долгопол. Мелкие дома сменялись серыми пятиэтажками.

— Вот мы и пришли,— сказал донор, вводя Васю в подъезд.— Я здесь живу на первом, а ты поднимайся сразу на пятый, дверь прямо, звони два длинных, три коротких, там свои ребята, они тебя примут, как родного...— он почему-то частил, спешил.— А я заскочу к себе, возьму еще спиртного и сразу поднимусь. Давай!

Долгопол по узкой, пахнущей цементом лестнице поднялся на пятый этаж. Дверей там было три, средняя, прямо перед ним, обита черной кожей. Кнопка звонка по левую руку. Вася нажал: та-а... та-а... та-та-та! — согласно инструкции.

И в момент, когда дверь стала раскрываться, в спину ему ударил выстрел. Пуля ожгла тело, скользнула по ребрам.

— А не ходи, нэхароший, в наш садик, нэ ходи! — мстительно произнес сзади знакомый голос с кавказским акцентом.

Вася стал оборачиваться — вторая пуля пробила ему сердце.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ВАСЯ В СУТЯХ

Жара была такая, что куры неслись вареными яйцами.

Из выступлений на мировом чемпионате по вранью.

1

Мегре и Звездарик третий час находились в отсеке управления «стеной плача». Оба нервничали, только комиссар умело скрывал свое состояние, сидел в кресле, вытянув ноги и попыхивая трубкой. А начальник ОБХС даже и не скрывал — пружинисто шагал от одной проволочной сетки к другой, будто метался.

Все было подготовлено. Витольд Адамович с оперативной группой находился в автомобиле-пеленгаторе. На крышах пяти самых высоких зданий города были установлены самоповорачивающиеся антенны, настроенные на частоту спецкостюма Долгопола и призванные уловить его сути. С Христианом Христофоровичем Казе, который управлял Ψ-ВМ изнутри, договорились, что он в нужный момент подавит *помехи* от ЗУ «некомплектов», не даст им выступать со стены с нападками и претензиями; заодно обезопасит и от утечки информации.

(Сыщикесса Лили продемонстрировала обиду, что не прислушались к ее мнению, и на операцию не явилась. Звездарик позвонил, корректно напомнил. Она ответила, что у нее сегодня свой план поиска; голос был сонный. «Знаем мы эти поиски»,— подумал Семен Семенович, кладя трубку. Впрочем, в ней и не нуждались).

...Но когда из динамиков послышалась разухабисто исполняе-

мая среднечастотным голосом песня: «...а я, как безумный, рыдал. А женщина-врач хохотала — ха-ха! — я голос Маруси узнал!..» — начотдела подумал, что резвятся «некомплекты», снял трубку, раздраженно набрал код Х. Х. Казе:

— Христиан Христофорович, я же просил!

— Все правильно,— ответил из машины другой автоматический голос.— Это он.

— «Тебя я безумно любила,— продолжал Вася со стены,— а ты изменил мне, подлец! Теперь я тебе отомстила — ха-ха! — мошенник и жалкий стервец!..» А, шеф, ты здесь, привет! Порфирию Петровичу наше с кисточкой!

Комиссар помахал рукой в сторону стены, победно взглянул на Звездарика: оправдалась его идея!

— А лярвы нашей, первой сыщекессы Суперграндии, почему нету?— свободно продолжал Вася.— Впрочем, ну ее... Вот и я здесь. Так сказать, тепленький. Спекся, готов.

— В каком смысле — готов?— сердито спросил начотдела.

— А в каком хотите. Сначала мы со Спирей спустились к дяде Боре, потом добавили у тети Раи и у Настась-Филиппны, чокнулись с инопланетянином... А песне какой он меня выучил, Спиря-то, мировой парень, вот слушайте: «Пшел вон из мово кабинету! Бери свои зубы в карман! Носи их в кармане жилету — ха-ха! — и помни Марусин обман!..»

— Оператор Долгопол, прекратите балаган! — рявкнул, не выдержав, Звездарик.— Докладывайте по существу!

На стене замолкли. Потом тот же голос сказал врастяжку:

— Еще и тон повышает. Что ты мне можешь сделать, обормот лысый, сверх того, что уже сделалось? Подвели-таки под пули! Думаете, не больно, не страшно? Такое тело было: пятидесятый размер, пятый рост!..

Сути в состоянии опьянения — это было нечто новое. Звездарик подумал, что по-настоящему он Долгопола до сих пор не знал. Но что делать? Не учли осложнение. «Разберемся: алкоголь в основном попадает в кровь, то есть остался с ней в Васином теле, которое сейчас, где бы оно ни было, регенерирует, оживает. Вон индикаторы около кнопки «Р. Б.» показывают, что спецкостюм работает как приемник, улавливает стимулирующие импульсы. Там спиртное не помеха: известно, что хирурги в полевых условиях нередко дают раненому перед операцией стопку спирта — помогает... Следовательно, в Васины сути перешла лишь некая, что ли, пси-эманация опьянения — впечатление. Словом, он должен скоро прийти в норму — электронное же быстродействие!»

— Вася, друг мой Василь Лукович,— заговорил Семен Семенович проникновенно,— не утратил ты свое тело, не переживай, оно уже регенерирует. И в звании будешь повышен, поверь слову! Толь-

ко надо же знать, где и как с тобой все случилось. Мы ведь с первого раза и запеленговать тебя не успели.

— Во-от! — удовлетворенно сказали на стене.— Так вас, начальников, учить. А то «докла-адывай!». Что докладывать — стреляли в спину, два раза, кто — не увидел, на лестничной клетке пятого этажа, дверь прямо, кожаная, я как раз в нее звонил. Этаж последний, без лифта. Дверь как раз открывали. Все.

— Не все, дорогой Лукович, не все. Дом-то этот где, хоть примерно ориентируй, куда пеленгаторы целить? Как шли?

— Не знаю... не помню. Я же в дымину был. Спиря вел.

— Что за Спиря, каков из себя?

— Да вы его отменно знаете: Спиридон Математикопуло, наш лучший донор.

— Вот как?! — Звездарик ошеломленно и многозначительно переглянулся с Мегре.— Наш Спиридон Яковлевич... Та-ак! — начальник отдела в возбуждении выхватил изо рта комиссара трубку, затянулся, сунул обратно; тот не изменил позы, только поднял брови, взглянул на коллегу с сомнением.— Он с тобой поднимался?

— Нет, остался внизу. К себе, говорит, зайду, водки принесу.

— Ты уже в норме, Вася?

— Да... Так точно,— смиренно ответили со стены.— Какие будут приказания?

— Сейчас транслируем тебя на частоте спецкостюма. Возвращайся в свой пятидесятый размер, пятый рост, продержись, сколько сможешь. Вникни в обстановку. Вернешься — сообщишь. Все!

Звездарик нажал нужные клавиши, склонился к микрофону:

— Пеленгаторам — внимание! — Затем повернулся к Мегре:— Тело сейчас там, в хазе.

2

...Вася очнулся — и едва тотчас не потерял сознание от рвущей сердце боли. Он сдержал готовый вырваться стон, напряг внимание. Понял, что лежит вверх лицом на чем-то пружинисто-мягком, укрыт по глаза тоже мягким, тяжелым и пахнущим псиной.

Сердце работало — будто хромало: сокращалось медленно и трудно. Но действовало, перекачивало кровь. Каждое сокращение левого желудочка (простреленного, понял Долгопол) отдавало в груди обморочной болью и сразу сменялось сладостным зудением регенерации. Боль — зудение, боль — зудение... сознание мерцало в такт сокращениям сердца.

Неподалеку послышались голоса. Вася напряг слух.

— Неужели нельзя было раньше, по дороге?— приглушенно спрашивал один, раздраженный и басовитый.

— Нэльзя. Он нэ сам был,— также приглушенно ответил другой, немного знакомый и похожий на голос на лестнице в момент выстрела. («Чей? Лаврентия?!. А как же пистолет?») — Ладно, я пошел, на работу надо.

— Постой! Хвоста не было, его друзья не нагрянут?

— Всэ чисто, нэ дрэйфь.

«Неужто он?..»

Хлопнула дверь.

— Ну, Спиря, ну, удружил — привел!.. — занервничал бас. («Значит, не Спиря стрелял в меня»,— подумал с облегчением Долгопол: ему было бы неприятно, если бы донор-собутыльник, занятный мужик, оказался таким негодяем.) — Что же теперь делать-то? Вот-вот клиенты пойдут. Может, вынесем?

«Средь юных дев, украшенных цветами, шел разговор лукавый обо мне,— интеллигентно подумал Вася стихами; от алкоголя в крови он снова захорошел.— Барыги чертовы, так я вам и дался!» — Он слегка напряг мышцы бедер, пытаясь определить, на месте ли пистолеты, не сняли ли.

— Куда ты его сейчас вынесешь, куда денешь,— вступил новый голос,— пусть лежит до темноты. Клиентов ты всучиваешь-обессучиваешь в кабинете. А если кто и поинтересуется... ну, скажешь, что упился, мол, доходяга, отсыпается, тревожить не надо.

«Доходяга... сами вы!» От обидных слов, которые, увы, соответствовали действительности: да, упившийся доходяга, коего провели и привели!— Долгопол излишне взволновался, реакция организма чуть не ввергла его в новый обморок. Ноги он почти не чувствовал.

Кто-то подошел, приподнял над лицом пахнущее псиной покрывало, присвистнул:

— Эге, да это наш выдающийся венерианский целинозавр! — голос был знакомый, с рынка.— Тц-тц.. хотел на Венеру, а сыграл в ящик.

— Какой еще ящик, не будет ящика,— отозвался хозяйский басок.— Стемнеет, отвезем на берег, в мешок с кирпичами — и в Итиль, где поглубже...— последние слова слышались все слабее, видно, человек удалялся.

— Как он с колеса обозрения травануп, умора! — со смехом сказал еще один.— Сорвал аплодисменты.

— Ладно, пошли.

Шаги едва слышались, вероятно, ходили по коврам. Голоса — ослабленные — возобновились где-то вдали:

— Раздавай.

— Что на кону?

— Деловитость пяти баллов, смекалка четырех, доброта трех.

— Негусто, но для начала сойдет. Трефы козыри.

Барыги, похоже, разыгрывали непроданные на толчке кассеты.

«Ящика не будет... в мешок с кирпичами... Ну, это мы еще посмотрим!»

Покрывало любопытствовавший спекулянт опустил так, что оно не накрыло глаза: сквозь веки Вася чувствовал свет справа. Он чуть приоткрыл левый глаз. Увидел потолок — невысокий, но декорированный под вселенские выси: черное небо с блестками звезд и искрящимися спиралями галактик. В середине, из Туманности Андромеды, свисала двухъярусная хрустальная люстра; такие Долгопол видел только в ресторанах. Далеко справа виднелся верх широкого окна и три рейки-карниза над ним; каждая несла свою портьеру — алую бархатную, желтую парчовую и голубую с узорами газовую.

Оператор БХС приоткрыл щелочкой и второй глаз, скосился влево — увидел пальмы, убегающего смуглого человека и царственного льва, презрительно глядящего вслед. Это был ковер — от места, где лежал Вася, до потолка. «Шикарно живут...»

Прозвучал дверной звонок: два долгих, три коротких. «Неужто наши?!» — горячечно подумал Вася. У него сильней и болезненней забилось сердце. «Вот бы хорошо-то! А то — кирпичи, мешок...» Но... отдались в полу и в теле тяжелые шаги направившегося в прихожую человека, щелкнули два замка, что-то вопросительно сказал женский голос. «Не наши... они же еще адрес не установили!» — Долгопол горестно прикрыл глаза. Он сразу ослабел.

— Пажалте,— вальяжно басил хозяин,— плащики сюда повесьте. Да-да, сыро, середина мая, а смотрите, какая погода! Кассеточка с вами? Да, будьте любезны, покажите. О, девять баллов... вашего сына ожидает блестящее музыкальное будущее. Заранее рад за тебя, мальчик. Как тебя зовут?

— Вова его зовут,— после неловкой паузы ответила мать.— Хоть бы поздоровался с человеком, меня срамишь. Стараешься для тебя, стараешься, а ты!..

— А ты не старайся, никто не просит! — забунтовал Вова.— Не хочу я музыкальные способности, ма, ну, мамочка, не хочу-уу! Я радиотехнику люблю, мы в кружке уже супергетеродинный приемник собрали, теперь будем управляемого робота на микросхемах... Ма, ну, не надо, а?

— Пойдем, мальчик,— урезонивал хозяин,— пойдем, Вова. Что та радиотехника, ты же вторым Яшей Хейфицем сможешь стать с девятью баллами, или, может, даже новым Леней Утесовым. «Я помню лунную рррапсо-одиию...» — хрипло пропел он,— м-м? Пошли.

— Иди! — шипящим голосом скомандовала мамаша.— Вернемся домой, я тебе задам!

Упирающегося Вову повели в кабинет.

«Жаль пацана. И себя тоже... Лежат в тазу четыре зуба... Или

четыре кирпича? И не в тазу, а в мешке, ха-ха! — Васе было совсем худо, он почти бредил.— Но где же эти чертовы пистолеты!?» Он неосторожно напрягся, шевельнул спиной — острая, рвущая боль в сердце залила и погасила сознание. Много ли нужно смертельно раненному телу, чтобы из него душа вон?

Когда Долгопол оказался на «стене плача», Звездарику и Мегре прежде всего пришлось выслушать до конца песенку о мести женщины-дантистки, о неверном возлюбленном, лишившемся четырех здоровых зубов и вынужденном шамкать:

Чилиндром на шонче шверкая,
хожу я теперь беж жубов.
И как отомштить, я не жнаю — ха-ха!
жа эту проклятую любовь.

Комиссар даже поаплодировал:

— Прелестная песня, Вася Лукович, браво! Я буду исполнять ее во всех мирах, где у существ есть зубы и любовные неурядицы.

— Ты все пела,— свистящим голосом молвил Звездарик, сатанея,— это дело. Так давай же расскажи... ха-ха! Ты мне скажи одно слово, Вася: хаза?

— Она,— ответил голос со стены.— Там и всучивают, и обессучивают, и черные дела замышляют. Меня, например, в Итиль...

— Та-ак! И, знаешь, где это? Мы теперь запеленговали: микрорайон Кобищаны в Заречье. За вторым мостом.

— Ого,— сказал Вася,— это меня занесло.

— Занесло далековато, что и говорить,— кивнул начотдела.— Для антенн, главное, угол разрешения у них не такой острый, чтобы прямо квартиру указать.

— Пятый этаж, прямо кожаная дверь. Звонить два долгих, три коротких.

— За звонки спасибо, позвоним. Дверью, главное дело, легко ошибиться: там уйма пятиэтажек, в каждой от трех до восьми подъездов. А обивать двери сейчас модно. Понимаешь?

— Понимаю. Слетать, спросить точный адрес, а потом прикинуться мертвяком? Я мигом. Мне и самому туда хочется: как бы они моим имуществом без меня не распорядились.

Полеты в сутях сообщили Долгополу необычайную вольность мысли. Семен Семенович побагровел, но сдержался.

— Васенька-а,— сказал он певуче-яростно,— слетай, милый. Адресок спрашивать не надо... и от песенок там воздержись, а просто туда-сюда. Мы тем временем передвижечки подгоним, пеленги уточним, а дальше Витольд с опергруппочкой все сделает. Понял, дружочек?

— Так точно,— ответил оператор.

На этот раз рвущей боли в сердце почти не было. Только пульсировал в ритме с обморочной слабостью зуд заживающих ран. Память о недавней потере сознания удерживала Долгопола от движений, даже от напряжения мышц. Но тело ожило целиком, стало подконтрольным: он почувствовал компактные утяжеления с внутренних сторон бедер. Там пистолетики, на месте! «Поглядим теперь...»

В комнате стояла тишина, которую нарушали только шлепки карт о поверхность стола. Потом раздался чей-то торжествующий возглас. Другой голос недовольно произнес:

— И чего это он у нас всегда выигрывает! Как ты думаешь?

— Везет,— отозвался еще один.— В рубашке родился.

— Сомневаюсь я насчет везения и рубашки. Ох, сомневаюся!..

...Согласно последнему приказу Звездарика, оператор Долгопол должен был «мотнуться туда-сюда». Чтобы уточнили пеленг. Да и чувствовал он себя тяжко в больном, горячечно оживающем теле: жарко, душно было под плотным, дурно пахнущим покрывалом. Васе хотелось покинуть это место, и он теперь знал, как легко это делается: расслабиться, ну, неосторожно дернуться спиной для обморочного провала... и спецкостюм считает сути.

Но он сомневался и тянул. Упорхнешь, а эти гаврики как раз и передумают, отвезут бессознательное тело к реке сейчас, нагрузят кирпичами и... Потом, если и найдут, хрен восстановят: утопление — не анабиоз. Придется коротать век в ЗУ с «некомплектами». «И вообще, дался я им: то туда, то сюда. Это же не из парилки в прорубь и обратно. Может, уже запеленговали и теперь найдут? А может... мне *самому* взять этих? А?!»

3

Звездарик между тем извелся, изнервничался у «стены плача», ожидая возвращения Васи и уточнения пеленгов. Он очень не хотел действовать вслепую. Не дай бог, чтобы ко всем анекдотам о стандартных домах, о мужьях, которые, спутав их, проводят ночи с чужими супругами, или, наоборот, застают «у себя» незнакомых мужчин... чтобы к этому прибавился еще анекдот о Кимерсвильском ОБХС, сотрудники которого на Кобищанском жилмассиве принялись врываться в квартиры за кожаными дверьми на пятых этажах! Да и без анекдота: поднимется переполох, злоумышленники насторожатся — и поминай как звали. «Что же Долгопол не дает о себе знать?— не находил себе места начотдела.— Звездарик взял трубку.

— Это отдел БХС?— спросил тонкий, явно детский голос.

— Он самый. Что тебе, мальчик?

— Не что, а кого! Мне Звездарик нужен.

— Это я. С кем имею честь?

— Про честь как-нибудь другой раз,— ответило дитя.— А пока что заберите труп своего придурка Васи в квартире номер 12, в корпусе семь на Кобищанах. Повторять не надо?

— Нет...— растерянно сказал начальник отдела.— А кто ты, мальчик, как тебя зовут?

— Я же сказал, что об этом как-нибудь после. Привет! — И в трубке пошли короткие гудки.

Семен Семенович стоял перед аппаратом с отвисшей челюстью. Мегре вопросительно смотрел на него снизу.

В этот момент со стены раздался условный — но явно недовольный — голос Долгопола:

— *Ну, теперь-то хоть запеленговали?*

А с Васей получилось вот как. Он чем далее, тем больше пленялся идеей самому завершить операцию: выскочить в подходящий момент из-под покрывала с двумя пистолетами в руках: «А ну, пройдемте!» Барыг здесь самое большее четверо, что они смогут против двух стволов, да еще в руках ожившего покойника! Но... воображая, как он вскочит, оператор сильно разволновался: во-первых, хватит ли сил, слаб, во-вторых, он никогда еще не *брал*. Задерживать задерживал и «Пройдемте!» говорил не раз, а вот чтобы с нацеленным пистолетом, с готовностью стрелять в человека — не приходилось. Выйдет ли?

Подходящий момент представился, когда хозяин хазы проводил к двери мамашу с хныкающим мальчиком, которому всучили музыкальное дарование.

— Между прочим, уважаемая,— ласково басил он,— технические-то способности вашему Вовочке теперь ни к чему, даже лишни, отвлекать будут от музыки. Так что, ежели желаете, можем изъять и перепродать. Молодые-то, юные-то дарования всегда в цене, у них потенциал большой.

— Не хочу-у-у! — снова зарыдал пацан.— Не отда-ам!..

Мамаша шлепнула его, пообещала подумать, посоветоваться с мужем. Они ушли.

— Кто из вас, барыги несчастные,— другим теперь, громовым, рыкающим басом обратился хозяин дома к игравшим у окна,— свистнул и ввел себе девятибалльную наблюдательность? Я хотел ее всучить пацану вместо музыкального дара, мамаша-дура не разобралась бы... Ан, гляжу, кассета пуста. Сознавайтесь, задрыги, здесь без меня, кроме вас, никто не остается, падлы... ну?!

— А-а...— зловеще потянул другой голос,— вот теперь я понял, почему он выигрывает: девятибалльная наблюдательность! Он даже наши карты наизусть знает. Ух ты...!

Последовала ругань, звук удара, потом еще. Ответный возглас: «Ах, ты меня по лицу! Ну, хорошо!...» Загремел опрокинутый стол, началась возня, пыхтенье.

— Уймитесь, идиоты, сейчас еще клиенты придут! — рявкнул хозяин.

Это и был момент. Оставалось решиться. Неокрепшее Васино сердце бухало, чуть не выскакивало из простреленной груди; толчки отдавались в солнечном сплетении, в висках, под челюстью и бог знает где еще; кожа покрылась сразу и потом, и мурашками. «Ну, вот сейчас... нет. Ну?..»

Долгопол правой рукой расстегнул брюки, полез за пистолетами, а левой начал медленно стягивать с себя тяжелое покрывало. И тут вдруг над ним нависла, начала поворачиваться к самому лицу огромная звериная морда в белой шерсти, оскаленная пасть с длинными желтыми клыками! Васе почудилось зловонное дыхание из нее, послышался басовитый кровожадный рык.

...Нет, конечно, во всем был виноват спецкостюм. Без него Васина душа ухнула бы, самое далекое, в пятки, потом очувствовалась, вернулась — и он исполнил бы задуманное. А так — от короткой, на секунды, потери сознания, утраты власти над собой — все сразу считалось и транслировалось на антенны Ψ-ВМ.

Эти импульсы помогли опергруппе Витольда точно засечь место. Он, не тратя напрасно времени, поднялся с помощниками на пятый этаж, нажал звонок у кожаной двери: два долгих, три коротких.

Вася же Долгопол, оказавшись в пси-машине, вдали от опасностей, сразу все понял: они там накрыли его выделанной шкурой белого медведя — отсюда запах псины и оскаленная морда! «У них же все дорогое, редкое, дефицитное: люстры, ковры, бархат, шкуры... они же без таких вещей людьми себя не чувствуют. А я-то!..» И в ЗУ Вася в сутях не мог ни побледнеть от унижения, ни покраснеть от стыда.

Он умолил Звездарика срочно транслировать его обратно в тело. Но когда в хазе Вася сбросил с себя медвежью полость и поднялся на тахте в полный рост, с пистолетами в руках и сползшими ниже колен спецштанами, звонко произнес: «А ну, все руки вверх и пройдемте!» — было поздно: помощники Витольда Адамовича надевали наручники на хозяина и трех игроков.

Впрочем, впечатление, произведенное Долгополом на всех, было весьма сильным.

Владельцем хазы оказался пожилой респектабельный человек, вышедший на пенсию служитель высших классов пси-вокзала, с

богатым опытом всучивания-обессучивания сутей любых видов и порядков.

Стрелял в спину Васе действительно служитель Лаврентий: нанялся за недорогую цену — более, собственно, из любви к искусству. У «стены плача» случаи выпадали слишком уж редко. Пистолет у него был не один.

Партнером, которого били за введенную в себя для нечистой игры в карты сверхнаблюдательность и который восклицал: «Ах, ты меня по лицу!..» — был, как уже догадался читатель, незадачливый Ваня Крик. Колошматил его молодой маклер, суетившийся около Долгопола в сквере.

Но самое любопытное, что хаза находилась именно в 12-й квартире корпуса № 7.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

БОКСЕР И ФИМА

Успех ничего не доказывает — если это *не мой* успех.

Кредо эгоцентриста.

1

Комиссар Мегре, Звездарик, сыщикесса Лили, Витольд Адамович и Вася... простите, исследователь III класса В. Л. Долгопол (повысили за подвиг) ехали брать Характер МПШ. Адрес знали точно: 2-я Заречная, дом 6. Был солнечный, с ветерком и весенней истомой денек второй половины мая; в небе плыли лохматые облака.

Два отдельских «козлика» (без мигалок, сирен и опознавательных полос на бортах — все убрали ради конспирации) пересекли по автомобильному мосту Итиль, повернули вправо и запрыгали по ухабам, поднимая пыль. Заречную слободу собирались сносить, освобождая место под высотную застройку, и поэтому не благоустраивали. Улица 2-я Заречная на самом деле была первая от реки, дома с четными номерами — сплошь одноэтажные, частные, с палисадниками, дощатыми заборами и скамейками у калиток — дворами и тылом выходили на речной обрыв.

За квартал до цели «козлик», в котором ехали Витольд и Вася, остановился. Долгопол выскочил, пошел к реке. Затем машина обогнала первую, помчала Витольда к переулку за домом № 6. Этим двоим полагалось блокировать выходы к реке и в соседние дворы. Сыщикесса Лили настаивала на круговом оцеплении ротой автоматчиков, Семен Семенович доказывал, что никого не надо,— сошлись на этом.

(Вообще, стоит заметить, что отношения между начальником

Кимерсвильского ОБХС и главным сыщиком Суперграндии как испортились в первую встречу, так и не наладились. Вот и сегодня, когда Лили ради такого случая потребовала личное оружие, Звездарик уперся: иномирянам в чужом теле, а тем более в женском не положено. Так и не дал, хотя сыщикесса то напирала на особые полномочия, то пускала в ход свое обаяние.)

Но и без оружия Лили сейчас выглядела великолепно: вся в лоснящейся коже (краги на молниях, обтягивающие формы галифе, куртка с бюстом, кожаная пилотка на желтых волосах), губы сжаты в линию, глаза сощурены, ноздри аккуратно вздернутого носика страстно выгнуты; она сама напоминала кожаную кобуру с заряженным пистолетом. Чувствовалось, что сегодня ее день, и сквозь женственную оболочку чаще обычного проглядывало нечто властное, беспощадно жестокое, крючконосое — первичное.

Захваченные на Кобищанах барыги прикинулись сначала божьими коровками. Да, мы-де занимались незаконной куплей продажей кассет с сутями, подпольным всучиванием-обессучиванием, имели с этого дела навар и готовы нести ответственность. Но к хищениям пси-сутей, к насильному отчуждению их у людей не причастны.

— Избави бог, мы и не знали, что это возможно,— вальяжно рокотал хозяин хазы.— Даже я с моим опытом впервые о таком слышу, поверьте слову, гражданин начальник! Все, что я имел и имею, приобретено путем полюбовных сделок, по обоюдному согласию сторон. Я не представляю, как это можно сделать технически: отнять, похитить... ведь не часы же, не кошелек — *сути*!

— И мы не представляем,— в один голос подтвердили игроки.

«Самое скверное, что и мы не представляем»,— подумал Семен Семенович.

— Хорошо,— сказал он,— если вы такие на самом деле цыпленки пареные, цыпленки жареные, мелкие паразиты на теле общества, то зачем вы убили выследившего местонахождение хазы оператора Долгопола?

— Кто его убивал — мы-ы?! — завыл хор.— И кто выследил?! Этот... выдающийся венерианский целинозавр — нас? (Присутствовавший на допросе Вася густо покраснел). Он выследит! Он же в дымину был, в компании с другим таким алкашом Спирей!

— А ну — ша! — рявкнул хозяин хазы; барыги замолкли.— Я вам расскажу, как все было, гражданин начальник. В четырнадцать часов семь минут — я даже записал время — в мою дверь позвонили. Прерывисто. Затем на лестнице раздались два выстрела. Открываю — я человек не трусливый — этот (он указал на Долгопола) валится на меня. В прихожую. Который стрелял, побежал вниз, я его и не видел. Этого мы осмотрели: мертвее не бывает —

рана против сердца, даже крови вытекло мало, не дышит... Поймите ж и нас, гражданин начальник,— он приложил руки к груди,— был бы он жив, другое дело. А раз мертв — не в таких мы отношениях с законом, чтобы самим искать встреч с представителями, я извиняюсь, правопорядка. С того ж света все равно не вернешь! Правда, теперь мы видим свою ошибку: оказывается, смог молодой человек возвратиться и крикнуть «Руки вверх!» (Вася покраснел еще гуще, хотя казалось, что это уже невозможно). Словом мы решили подержать его до темноты, потом отнести подальше и тогда из автомата позвонить.

— В Итиль вы хотели меня бросить,— горячо возразил Долгопол,— в мешке с кирпичами! И того, кто стрелял, знаете, разговаривали с ним.

— Я тоже извиняюсь,— холодно взглянув на него, вступил в беседу рыночный маклер, молодой прохвост,— чем вы это можете доказать? Кто подтвердит?.. Вот то, как вы на толчке бездарно искали сверххарактер якобы для освоения венерианского полюса, а потом, упившись со Спирей, орали песни, катались на колесе и, я еще раз извиняюсь, травили с большой высоты,— это могут подтвердить очень многие! — Барыги согласно закивали.—Кстати, роль трупа вам удалась хорошо, похоже, что это ваше амплуа.

Семен Семенович не без злорадного удовольствия наблюдал, как допрос из обличения спекулянтов временно превратился в обличение Долгопола. На того было жалко смотреть. «То-то,— наставительно подумал начальник отдела,— это тебе не со «стены плача» хамить старшим!»

— А я так вообще не понимаю,— произнес Ваня Крик, который до сих пор самолюбиво молчал; над правой бровью у него вызревала гуля,— о каком убийстве или даже покушении на убийство звук? Кто убит, где труп? Покажите мне огнестрельные раны, покажите протоколы осмотра и вскрытия! Смерть — это серьезный юридический факт. Все здоровы... я не имею в виду на голову — все живы, а вы нам шьете мокрое дело!

И он с затаенным самодовольством поглядел на сотрудников ОБХС: хоть вы, мол, и ущемили меня в части интеллекта, но все равно голыми руками не возьмете.

— Кстати, украденную наблюдательность девяти баллов... у своих украденную! — у Ванечки придется изъять,— сказал Звездарик.— И остальных обследуем! — он оглядел спекулянтов яростным взглядом; те съежились.— Наглость, лживость и развязанность у вас, без сомнения, свои, но если учесть, по какой дорожке они вас ведут, то и их невредно бы поубавить... А теперь об этом сверххарактере — кто видел, кто слышал, кто что знает? Ну, живо,— он хлопнул ладонью по столу,— торопитесь смягчить свою участь!

...Так они вышли на адрес. Узнали они его от четвертого спекулянта, до этого державшегося за спинами других. Он вообще был какой-то серенький, с вялым голосом и невыразительной внешностью, малость вроде забитый, безответный (это он в игре в карты полагал, что Ване Крику везет, что он в рубашке родился). Семену Семеновичу потом долго чудилось, что именно по причине безответственности барыги и выставили вперед Фиминого дядю. Но сейчас не это было главным.

Была у него многоштырьковая кассета, заряженная характером с такими параметрами, сообщил спекулянт. Приобрел у базарного алкаша Спири за умеренную... да если прямо-то говорить, бросовую для подобных баллов цену с целью, понятно, перепродать с немалой выгодой.

...Но... не нашел покупателя: нормальным людям такие параметры ни к чему. А есть у него племянник Фима, живет с мамой, отец бросил,— смышленый мальчик. («Да, очень смышленый!»— подтвердил хозяин хазы). Ему десятый год, но он переменил уже немало увлечений: коллекционировал марки, спичечные коробки, собирал радиоприемники, дрессировал мелких животных...

А сейчас играет во всучивание-обессучивание: собрал себе установку по образцу той, что имелась в хазе,— клянчит кассеты с сутями.

Фимин дядя и другие барыги иногда давали ему те, которые не удавалось сбыть ни за какую цену,— бросовые. И этот многоштырьковый блок он ему отдал. А что, пусть играет!

— А кому он всучивает?— спросил Звездарик.— Людям?

— Боже избавь, разве бы мы допустили! Возится с этими собаками, кошками... да это игра у него, никому ничего он ввести не может.

Верно, теории отрицали возможность введения пси-сутей от разумных существ животным.

«Что ж, тем больше шансов, что хоть с этим делом я сегодня развяжусь,— с надеждой думал сейчас Звездарик.— И от этой... или от этого?— избавлюсь». Он без симпатии покосился на Лили. Она тогда так и не появилась в отделе, допрос провели без нее. Начальник отдела затем ввел ее в курс в самых общих чертах: похоже, мол, нашли.

Однако Семен Семенович сознавал, что понимает в этой истории далеко не все. Особенно его угнетала все более обнаруживаемая многогранность личности лучшего донора: он, оказывается, и Характер МПШ в руках держал (где раздобыл, как?!), и Васю Долгопола, подпоив, вывел на хазу (опять-таки: зачем? завалить конкурентов?) и под выстрелы. И сам как в воду канул. Не жил он никогда в седьмом корпусе на Кобищанах, это сразу и установили.

2

Машина затормозила у аккуратного домика с двускатной черепичной крышей, глядевшего на улицу тремя вымытыми окнами; из-за занавески в крайнем выглянуло и тотчас скрылось чье-то лицо. Открывая дверцу, Звездарик взглянул на сыщикессу: лик ее отвердел, в прицельно сощуренных глазах был кинжальный блеск. Подумал: «Ох, нельзя ее к детям!» Склонился к Мегре:

— Порфирий Петрович, велите ей остаться. Наломает там дров...

Тот кивнул, властно объявил Лили:

— Мадемуазель, вы остаетесь здесь. Перекроете выход на улицу. В случае перестрелки во дворе или доме присоединитесь к нам.

— Слушаюсь, эксцеленц! — та щелкнула каблучками модельных краг.— Желаю успеха!

Семен Семенович и комиссар вошли в калитку. Двор был большой, заросший травой; в глубине находился дощатый сарай с мшисто-зеленой крышей, заметно просевшей посередине; за ним, над самым обрывом, старый развесистый клен. К толстой горизонтальной ветви его были привязаны две веревки, соединенные внизу короткой доской. На ней, покачиваясь, сидел и читал книгу мальчик — спиной к вошедшим. Рядом грелись на солнышке две рыжие дворняги; при виде людей они визгливо залаяли и скрылись за сарай.

— Здравствуй, Фима! — сказал Звездарик, подойдя.

— Здравствуйте,— мальчик слез с качелей, смотрел на обоих; он был темноволос, круглолиц, широкоскул, с большими грустными глазами в пушистых ресницах, чуть курнос; одежду его составляли короткие серые штаны на помочах крест-накрест, синяя тенниска и сандали.— А откуда вы знаете, как меня зовут?

— Нам твой дядя сказал,— Семен Семенович вспоминал тот детский голос по телефону, сравнивал: он или нет? Обесцвечивают голоса телефонные аппараты.— Мама дома?

— На работе...— Фима вовсю рассматривал комиссара, у него поднялись и выгнулись темные брови.— Ой, я вас видел в кино по телику! Вы там в роли Мегре, правда ж?

— М-м... не совсем,— ответил тот, закуривая трубку.— Точнее, совсем нет. Это артисты кино играют мою роль.

— Так покажи нам, мальчик Фима, свою лабораторию-амбулаторию, в которой ты играешь во всучивания,— без околичностей предложил начальник ОБХС.— Наслышаны мы уже о ней.

— Пошли,— без смущения сказал ребенок и направился к дому; детективы двинулись за ним.— Только у меня не лаборатория, а так, технический уголок «Сделай сам». А это как будет считаться: что вы меня уже накрыли, да?

Он играл не просто во всучивание, понял Звездарик, а в *незаконное всучивание — по примеру дяди* и его друзей.

— Нет,— ответил он,— что ты, Фимочка, мы маленьких не обижаем. Покажешь нам, что у тебя есть и ладно.

«Технический уголок» Фимы занимал половину застекленной веранды. Чего только здесь не было! На устройства и приспособления (среди которых Семен Семенович заметил нечто напоминающее КПС, только меньших размеров и иной, не для людей, конфигурации) пошло немало коробок с играми «Конструктор» и «Детская электроника». Был и пульт с сигнальными лампочками, какой-то куб с надписью «Ψ-ЗУ на 4096 бит», даже контактки небольших размеров в форме полос и шлемов. Звездарик снял одну с гвоздика, осмотрел, потрогал: внутренняя сторона была усеяна остренькими медными выступами-электродами.

— Ну, молодец,— восхитился он,— все, как у больших, только труба пониже да дым пожиже! Это что же, ты кошкам новые черты интеллекта всучиваешь да собакам?

— Может, и не пониже, и не пожиже,— Фима самолюбиво дернул уголками губ.— И кошкам могу... и вам, если пожелаете.

— Ну, дает! — начальник отдела взглянул на комиссара (в лице того сейчас было много детского, Фиминого), а сам засомневался: не слишком ли он легкий тон взял? В какой мере эти детские забавы стоило принимать всерьез?.. После установления контактов с кристаллоидами Проксимы — еще до сооружения ими пси-станций — в Солнечную систему и на Землю хлынула лавина новых сведений по микроэлектронике: о новых материалах, технологиях, схемах. Благодаря им то, что прежде делали только на заводах (да и то, что там делать не могли), стало доступным одиночкам-любителям.

— А что... согласен,— сказал Семен Семенович.— И какие же сути ты сможешь мне ввести? Какие кассеты у тебя есть?

Мальчик положил на стол книгу, которую до сих пор держал в руке (начотдела взглянул: «С. Я. Сидоров. Математика личности. Введение в теорию пси-дифференцирования и пси-интегрирования»... ого! Вот так «Мойдодыр»!), выдвинул верхний ящик:

— Выбирайте.

Звездарик и Мегре склонились к ящику так резво, что едва не коснулись лбами. Кассет было много — но все двух- или четырехштырьковые, то есть с частными дифференциалами высоких порядков, незначительными подробностями психики вроде «способности переключаться от восприятия образной информации к восприятию логической», «скованность при общении с лицами противоположного пола» и т. п. И свечение индикаторов в них: тлеющее алое, редко желтое — свидетельствовало о небольших баллах. Спекулянты отдавали мальцу на забаву действительно самый бросовый товар.

— Не-ет, Фима, это мне ни к чему,— сказал начальник ОБХС,

распрямляясь.— А вот у тебя должен быть, нам дядя сказал, многогоштырьковый блок с сильным характером... вот бы его мне, а?— он так и впился глазами в мальчика.— Так где он у тебя?

— Нету,— сказал он тихо.

— То есть как — нету?— напирал Звездарик.— Куда же ты дел блок? Кому передал?

— Никому, блок здесь... вот,— мальчик выдвинул другой ящик стола: там на чистой бумаге лежала, блестя многими посеребренными штырьками и розовыми плоскостями, большая кассета, вмещающая суть второго порядка со всеми частными подробностями, завитками и оттенками; на жаргоне спекулянтов она называлась «блок». Розовый цвет по общегалактической маркировке означал характер.

Да, это была она, столь долго искомая кассета. Мегре и Семен Семенович потянулись к ней одновременно. У землянина рука оказалась проворней — схватил, поднес к глазам: в табличке напротив соответствующих символов были указаны те именно числа баллов, что соответствовали воле, гордыне и другим уникальным чертам лидера Суперграндии (и поперек всех шла корявая надпись синим фломастером: «Любимаму плимяннику Фиме от дяди Кости»). Но... Звездарик сначала подумал, что забивает лившийся на веранду свет солнца, повернулся в тень — и у него самого потемнело в глазах: все веточки индикатора кассеты, которым полагалось сиять бело-голубым накалом, были темны!

— Фимочка-а-а,— подойдя к мальчику, произнес Семен Семенович тем яростно-ласковым голосам, каким урезонивал загулявшего в сутях Васю,— Фимочка, друг мой, но ведь кассеточка-то пуста! А пси-заряд где?!

— Я же сказал: нету,— ответил тот, не поднимая головы.

— Как это нету? Как нету?! А где? Будь хорошим мальчиком, Фима, иначе тебя ждут серьезные неприятности. Куда делся заряд такой силы? Ведь не мог же ты...— И у начальника ОБХС слова замерли на языке; сверкнула мысль: а почему, собственно, не мог?..

Фима поднял на него свои большие глаза. На пушистых ресницах блестели готовые пролиться слезы.

— Ладно,— сказал он, шмыгнув носом,— пойдемте, покажу.

Они вышли во двор. Мальчик повел детективов за сарай. Обрыв здесь выдался мыском, с него хорошо просматривалась река, противоположный берег с гиперболоидной башней пси-вокзала и гостиницами. Метрах в пяти от края стояла скамья — доска на двух столбиках. Возле нее и находилось то, что Фима решил показать: маленький, не более метра в длину, могильный холмик с пирамидкой, покрытой алюминиевой краской. На стороне ее, обращенной к скамье, была фотография под стеклом: вислоухий жизнерадостный щенок со смышленым взглядом.

— Вот...— сказал Фима, садясь на скамейку; в голосе его тоже были слезы.

Мегре и Звездарик присели по обе стороны его, глядели вопросительно. Комиссар на всякий случай снял кепку. Оба ничего не понимали. Мальчик вздохнул и начал рассказывать.

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ И КОНЧИНЫ ЩЕНКА ТОБИКА, РАССКАЗАННАЯ ЕГО БЕЗУТЕШНЫМ ХОЗЯИНОМ

Жил на свете Тобик бедный. Щенок. Ирландский сеттер коричневой масти. Мама купила на день рождения. Он был веселый, добродушный и все понимал. И аккуратный — не пачкал, не имел блох. Спали вместе. Палку мог принести, даже из воды доставал вплавь. И вообще.

Вот только другие собаки его обижали. Здесь много собак — и во дворах, хозяйских, и бродячих. Слобода под снос. И грызутся постоянно. Не то чтобы Тобик был слабый, нет — рослый, двухгодовалый, кормили хорошо. Но — незлой. Он к собакам с открытой душой, подружиться, а они его трепали. За то что красивый, ухоженный, с ошейником, ласковый. То ногу прокусят, то ухо. Собаки не любят, когда кто лучше их. А Тобик удирал, визжал — и было обидно за него.

А тут дядя Костя, мамин брат, подарил неликвидный блок. Он был «под мухой», дядя-то: знай, мол, мою доброту! До этого Фима только кошкам пробовал вводить пси-сути. Да и то, честно сказать, неудачно. Кошки мяукают, вырываются, царапаются — боятся. Одной только соседской Мурке удалось ввести трехбалльную ненасильственность. Она перестала ловить мышей, и сосед дядя Гриша ободрал ее жене на шапку.

Но Тобик не боялся. Тобик доверял и слушался. Фима хорошо подогнал под него контактки. И ввел весь пси-заряд из блока — до нуля.

Тобик стал другим, будто переменили. Сразу завоевал положение в собачьем мире. Одной дворняге-обидчице задал такую трепку, что она визжала и выла на всю слободу. И другим тоже. Уже не они его гоняли, а он их. Да что собаки, он и Фиму, когда тот по старой памяти на него замахнулся, так цапнул за ногу! Вот... Мальчик показал следы укусов на левой лодыжке. Пусть, он не обиделся.

Но потом Тобик зарвался. Переоценил свои силы. Возомнил о себе от побед над дворнягами. И налетел на боксера. Есть тут такой пес-громила вроде бульдога, только крупнее. Тот потрепал Тобика при других собаках, опрокинул наземь. И тогда... тогда эти другие, которые уже поджимали хвосты перед Тобиком, набросились на него и растерзали. Вот.

Окончив рассказ, Фима горько заплакал. «Все правильно,— думал Звездарик, сочувственно гладя его по голове,— все как в высшем обществе. Но как нам-то теперь быть?!»

— Ваше мнение, Порфирий Петрович,— обратился он к Мегре,— возможно такое? Ведь считается, что животным пси-сути ввести нельзя.

— М-м... видите ли,— тот задумчиво возвел брови,— граница между разумными и неразумными существами не в точности совпадает с границей между биологическими видами. Видами. Вы знаете, что попадаются люди, которые иной раз ведут себя неразумнее и низменнее скотов. Почему бы не допустить и противоположные отклонения? К тому же щенок Бобик...

— Тобик,— ревниво поправил Фима,— Тобик его звали. Вон написано! — он указал на низ пирамидки, где действительно синей краской было выведено имя, даты рождения и кончины.

— Да, Тобик, извини, мальчик,— поправился комиссар.— Тем более что Тобик абсолютно доверял хозяину-экспериментатору. А доверие суть приобщение. Так что, по-моему, опыт мог получиться.

— Мог ли, не мог ли — Характер МПШ все равно сгинул,— хмыкнул начотдела.

— Да, досадно, что так получилось,— вздохнул Мегре.— Если бы щен не зарвался, остался жив — изъяли бы у него эту суть и вернули по принадлежности. Но увы!..

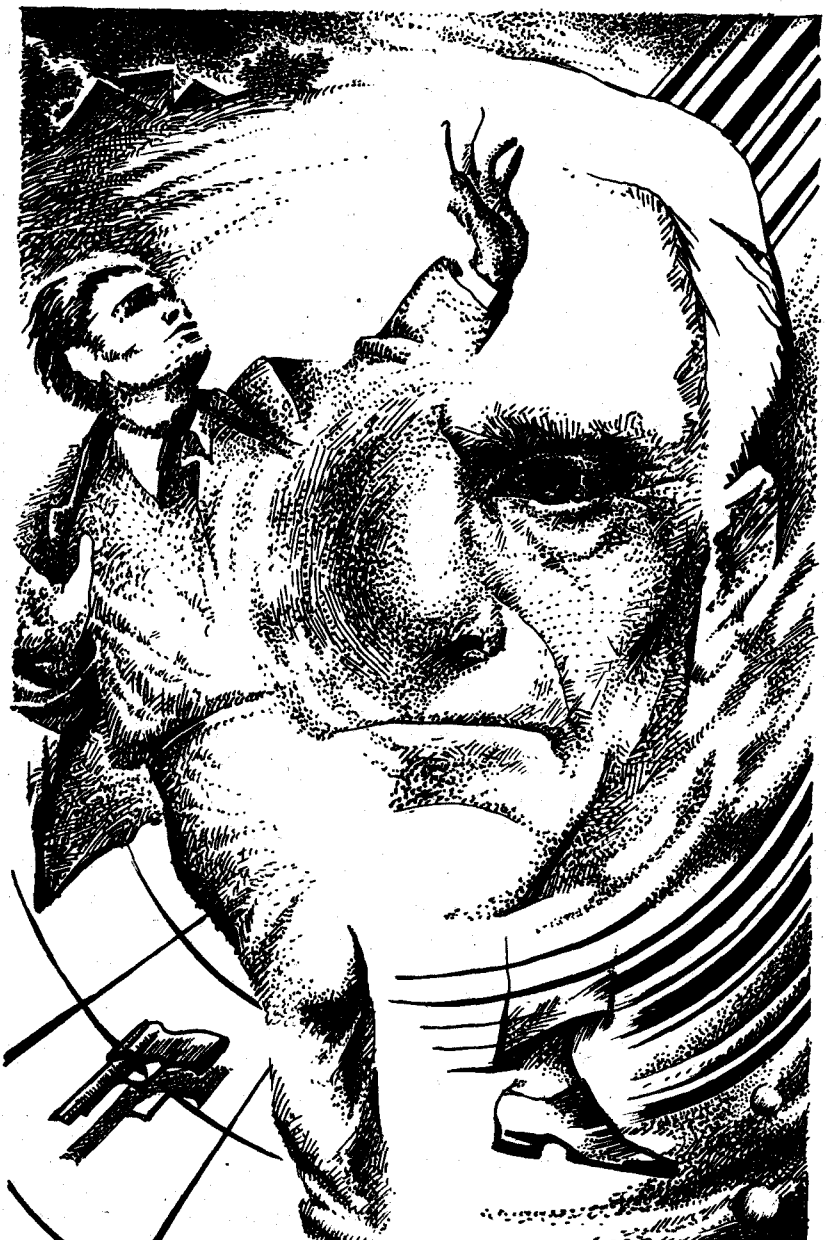
— Он не мог не зарваться — с такими-то параметрами,— сказал Звездарик, поднимаясь со скамьи,— тик-так, тик-так, ура, кукареку! Что ж, пошли известим.

3

Когда начальник Кимерсвильского ОБХС отдал Лили пустую розовую кассету и без околичностей изложил все: мол, похищенный у вашего Могучего Шефа Характер находился здесь, но был незаконно введен в собаку по имени Тобик, а Тобик задрался с другими псами, растерзан ими и сдох... примите соболезнования,— та более минуты сидела в оцепенении. Она приготовила себя совсем к иному. Обеспокоенный Мегре принес из дома стакан воды, подал.

— Ав-в-вва...— сказала сыщикесса, отхлебнув из стакана; за эту минуту ее лицо слиняло и осунулось,— ав-вв-вва-а!.. Истребить всех виновных! Имущество сжечь, самих казнить мучительной смертью! Младших на глазах старших, ав-вва!..

— Перестаньте,— брезгливо сказал Звездарик.— У нас это не принято. Да и виновных пока еще нету, карать некого. Решайте, что теперь делать?



— Ав-в-ввa!..— сыщекесса вылезла из машины, смотрела на местность и людей, не узнавая никого и ничего. Увядшее лицо исказила нагловато-жалкая улыбка.— Что мне?.. The Man, will have a pleasure, mmm? L'homme, voule-vous avolir une rlaisir?..

— Прекратите! — прервал ее Семен Семенович, не дожидаясь, пока она дойдет до суахили.— Здесь дети,— он кивнул на Фиму, который с любопытством смотрел из калитки.— И вообще, выбросьте лучше это из головы, тело скоро сдавать придется, не отвертитесь.

— Ав-ввa... мне надо отвлечься,— потерянно бормотала сыщикесса.— Может быть, мсье?

Комисар отрицательно покачал головой.

— Вон,— раздался голос Фимы,— вон он бежит, злодей!

Все посмотрели, куда указывал мальчик. Вдали по противоположной стороне улицы неспешной рысцой трусил рыжий пес-боксер. Короткая шерсть не скрывала, а скорее подчеркивала его выразительную мускулатуру и экстерьер; морда с широким лбом и мощными челюстями была не безобразна, что не редкость у бульдогоподобных собак, а даже симпатична.

Две шавки — те, что грелись на солнце у Фиминого сарая, а потом смылись,— выскочили из-под ворот, визгливо облаяли боксера. Тот остановился, шагом пересек улицу до середины, стал с поднятой головой, выпятив грудь: вот, мол, я, что вы ко мне имеете?.. Шавки сразу вспомнили о неотложных делах по другую сторону ворот, замолкли, нырнули под них. Боксер подошел к палисаднику Фиминого дома, сел на тротуаре, поглядел на мальчика, чуть склонив голову набок, коротко и дружелюбно взлаял.

— Это он не первый раз так приходит, подружиться хочет, вину чувствует,— объяснил Фима.— Пошел прочь, псина паршивая, не буду я с тобой дружить!

Он поднял с земли камешек, кинул в боксера. Пес с достоинством переместился на несколько шагов, снова сел.

— Напрасно ты с ним так,— вступился Семен Семенович.— Твой Бобик ведь первый на него налетел, чем он виноват!

— Не Бобик, а Тобик! И все равно не хочу! — мальчик грохнул калиткой, ушел во двор.

Итак, каждый занимался своим делом:

— Мадмуазель Лили металась около машины, заламывала руки, хрустела пальцами, что-то шептала — соображала, как ей быть дальше. Вернуться на Суперграндию с пустыми руками значило быть обвиненным в самых тяжких государственных преступлениях: от саботажа и покушения на личность МПШ—XXIII, тик-так, тик-так, ура, кукареку, до развала общества, подстрекательства к бунту... по-

просту говоря, вернуться на свою погибель. Знать бы Начальнику Охраны и Общепланетного Сыска, что так обернется, не в том бы он усмотрел свой долг перед планетой-державой, не в отыскании Характера: остался бы, подмял Шефа под себя — основательнее других! — взял бы власть. А теперь поздно, там ее без него уже взяли и поделили, ни кусочка не оставили... Черт бы с ней, с благословенной Суперграндией и своим положением на ней, остаться бы на Земле, здесь положение тоже неплохое, пряное, смачное, по вкусу пришлось... тело не свое. НООС осторожненько повыяснял в Обменном фонде, нельзя ли продлить аренду? Ответили сухо, что, учитывая избранный им образ жизни, об этом и речи быть не может; более того, если бы не государственный характер его визита, то давно бы его вытряхнули из тела посредством КПС. Да и разгневанная владелица вот-вот явится. Что делать, как быть? Возвращаться нельзя — и не возвращаться нельзя;

— Звездарик сел в машину, включил рацию, скомандовал Витольду Адамовичу и Васе «отбой». Оба вскоре появились — недовольные, перепачканные глиной (сидели под обрывом у воды) — ушли к своему «козлику»;

— Порфирий Петрович Холмс-Мегре с неослабевающим интересом смотрел на пса-боксера; и чем более смотрел, тем заметней у самого отвисали щеки, суживались и выступали вперед челюсти, темнел и утолщался нос... в вот кончик его тоже сделался черным и блестящим. Пес, похоже, также наблюдал эволюцию комиссара, потому что от удивления переступил лапами, взлаял. Мегре тоже лайнул в ответ: получилось похоже, только басовитее. Он протянул руку к Звездарику, нетерпеливо щелкнул пальцами. Тот догадался, достал из портфеля бутерброд с колбасой, вложил в руку. Комиссар, восстанавливая прежний облик, кинул псу кружочек колбасы. Тот поймал на лету, сглотнул. Второй кружочек он взял из рук, а съев третий, сел у ног Мегре и дал потрепать себя по холке.

— Завоевываете доверие?— с улыбкой спросил Семен Семенович.— Зачем?

Лили, тоже наблюдавшую эту сцену, вдруг озарило.

— Правильно, эксцеленц, замечательная идея, эксцеленц, целиком с вами согласна и наперед уверена в согласии и благодарности спасенной вами Суперграндии! — зачастила она задыхающимся голосом: на щеках восстановился румянец.— Наше прекрасное монолитное общество не может существовать без крайне сильного характера наверху иерархической пирамиды, *какой бы он ни был и чей бы он ни был!* Общеизвестно из истории как нашей планеты, так и данной, и многих других, что вожди древних племен пожирали сердце, печень, мозг и иные органы поверженных в битве противников, стремясь таким способом прибавить себе их отвагу, силу, знания. В сущности, эти действия можно считать предтечами

нынешнего пси-обмена. («Смотри, какую эрудицию проявляет и смелость мышления! — поразился Звездарик.— Что значит — припекло».) И не имеет принципиального значения, что этот пес, признанный вождь собак Заречья, не сожрал поверженного им Тобика-Бобика с Характером Могучего Шефа, тик-так, тик-так, ура, кукареку. Он *победил* — и тем доказал, что его природные и психические параметры сильнее, лучше, а следовательно, это ему отныне должны принадлежать и тик-так, и ура, и кукареку! Победитель прав — побежденному горе... Послушайте! — сыщекесса приложила обе руки к кожаному бюсту, обвела умоляющим взглядом Мегре, Звездарика и даже боксера, который смотрел на нее, склонив вбок голову.— Ведь если смотреть на дело прямо, то у Могучего Пожизненного Шефа действительно же был *собачий* характер!

4

Характер Могучего Пожизненного Шефа благословенной Суперграндии вместе с его временным вместилищем, безымянным бродячим псом-боксером, направлялся из Заречной слободы к псивокзалу в шестиместной открытой машине в сопровождении эскорта мотоциклистов: три впереди, три позади, построение ромбом. Воздух сотрясали записанные на пленку приветственные клики толп и фанфарные сигналы начала суперграндского гимна.

На такой процедуре проводов настояла Лили-НООС: во-первых, охраняя достоинство своей планеты-державы (ведь именно сейчас по-настоящему завершался визит ее лидера на Землю), во-вторых, чтобы психика пса уже теперь впитывала сознание своего высокого положения. Правда, администрация, предоставив технику, отказала в требовании, чтобы в проводах участвовал министр инопланетных связей и другие официальные лица. Из официальных был только Семен Семенович. Он вел машину.

Рядом с ним попыхивал трубкой Мегре. Лили и пес расположились позади. Боксер в широком ошейнике, украшенном драгоценными камнями, сгруппированными на манер орденских звезд, сидел на кожаных подушках. Сыщикесса (на ее сбережения был заказан и изготовлен ошейник) в порядке подчиненности устроилась пониже. Она держала поводок.

Комиссар время от времени поворачивался к боксеру, гладил, мягко рычал или взлаивал что-то успокаивающее; они нашли общий язык. Пес вел себя достойно: сидел на прямых передних лапах с гордо поднятой головой и настороженными ушами, звуки фанфар игнорировал, не отзывался на них по собачьему обыкновению лаем с подвывом. Только при выезде со 2-й Заречной, когда машину силь-

но качнуло на ухабе, он преступил лапами и, вдруг остервенясь, цапнул за кисть Лили, которая хотела его поддержать. На что та ответила:

— Признаю и раскаиваюсь!

Кавалькада въехала на мост, промчала по его средней линии, свернула на набережную к пси-вокзалу. Здесь были реальные толпы зевак и натуральные клики. Приветствовали более всего Лили: «Мамочка, где ты пропадаешь, мы умираем без тебя!» — «Лили, когда же?» — «Гля, девки, Лильку легавые замели, с собаками ловили!» — и т. п. Но сыщикесса на возгласы не реагировала, сидела, в подражание сановному псу, наклонясь несколько вперед и выставив грудь, лицо твердое, глаза устремлены вдаль. Не было больше прежней Лили, завязала: Начальник Охраны и Общепланетного Сыска возвращался к *своей* форме служения обществу.

Затем был стремительный подъем сквозным лифтом на верхотуру башни, в кабины VII класса. Служитель, который месяц назад принимал из космоса комиссара Мегре, теперь занялся сыщикессой. Довольно быстро НООС перешел в кассетную связку — и, кстати, провожающие увидели, что у него довольно скромные числа интеллекта и характера, не выше шести-семи баллов... то есть брал он не тем, что имел, а более тем, от чего был свободен: от нравственности. Обессученное в двойном смысле тело кинозвезды Лили Жаме отправилось ниц в анабиотическое хранилище — отлеживаться.

Дифференцированием личности боксера занялся сам агент 7012, более пес никому не доверял. Здесь возни было много: успокоить в новой обстановке, закрепить вдоль хребта и на голове специально изготовленные контактки. «Н-ну... ну-ну,— слышал Звездарик необыкновенно мягкий голос комиссара,— лизни мне напоследок руку, лизни, можно. Дальше-то уже тебе будут лизать».

Наконец и это было исполнено. Кассетную связку с личностью НОООса и розовый блок с Характером, отныне принадлежащем МПШ—XXIII, тотчас отправили — той же машиной в сопровождении ромба мотоциклистов, но уже без фанфар — на загородный космодром, где почтовая ракета без промедления унесла пси-груз на околоземную орбиту. На ней готовился в рейс фазовый гиперзвездолет — он и забросит это имущество на опытную пси-станцию Суперграндии.

Мегре и Звездарик вместе с обессученным псом сидели в скверике космодрома, провожали глазами уносившуюся за облака огненную черточку, слушали затихающий на высокой ноте вой двигателей ракеты. Семен Семенович не испытывал облегчения, на душе было пакостно. На протяжении всех «проводов» они с комиссаром

так и не решились поглядеть в глаза друг другу. Слишком охотно оба согласились с решением, которое подсказала им эта... этот... а куда было деться! «Дело формально закончено, а что узнали, поняли, обнаружили? Ничего, пшик».

— А не находите ли вы, Семен Семенович, что в этой операции нас кто-то тонко и умело опекал?— повернулся к нему комиссар; он думал о том же.— Опекал, направлял, вел...

— ...и провел! — заключил начальник ОБХС.— Нахожу. С ним-то что будем делать, Порфирий Петрович?— он указал на боксера.

Оба посмотрели на собаку. Она сидела около скамьи почти в той же позе, что и в машине: на прямых передних лапах и с поднятой головой,— но нет, это был не прежний пес-лидер. Тварь дрожащая со слезящимися глазами и вжатым между ляжек куцым хвостом теснилась к ноге комиссара, тихо скулила от непонятного ужаса происшедшего с ней и в ожидании новых бед. Даже ошейник с драгоценностями не украшал теперь пса.

Если отнять характер у человека, у него останется имя, положение, близкие, имущество, наконец. Но отнять характер у собаки значит отнять у нее все.

— Что делать?— хмуро пробормотал Мегре, избегая ищущего собачьего взгляда, махнул рукой.— Делайте.

Звездарик вздохнул, поднялся, повел упирающегося, скулящего пса в дальний конец сквера, к мусорному контейнеру; на ходу растегнул кобуру, достал пистолет. Сухо щелкнул выстрел. Вернулся, неся ошейник: драгоценности надлежало сдать в Инбанк.

— Я так понимаю, Порфирий Петрович,— проговорил он, когда они направились к машине,— что, несмотря на то, что дело формально завершено, вы считаете возможным покинуть нашу планету?

— Вы правильно понимаете,— кивнул Мегре.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

СУПЕРПОГОНЯ

— Ты чего за ним гнался?
— А чего же он убегал!

Диалог

1

Вася Долгопол бежал по аллее городского парка, напоенного запахом цветущих лип; на бегу достал из бокового кармана мини-передатчик, выдвинул антенну, нажал кнопку вызова ОБХС, а сам следил за худощавой темной фигурой далеко впереди.

— Слушаю! — отозвался в аппарате голос Звездарика.

— Алло, шеф! Это Долгопол... следую за Донором. В парке культуры. Он в сторону старых кварталов бежит.

— Вас понял, Лукович! — весело гаркнул начотдела.— Не упускай, сейчас будем.

Вася сложил передатчик, сунул в карман, наддал. Спиридон Яковлевич в трехстах метрах впереди тоже наддал, свернул через лужок для травяного хоккея к ограде парка. Оба были рослые, длинноногие — бежали хорошо.

...Они встретились на набережной, неподалеку от автомоста. Долгопол прогуливался, наслаждаясь ясным утром начала июля, любовался видами, но при всем том не отдыхал, а патруливал. Был, так сказать, при исполнении. И даже в спецкостюме, поскольку до момента поимки С. Я. Математикопуло-Сидорова в ОБХС была объявлена непрерывная готовность № 1 для всех сотрудников — от выхода из дома и до возвращения домой. Тем не менее красоты летнего утра размягчили Васю, и, столкнувшись чуть ли не носом к носу с давним знакомцем, он растерялся.

Спиридон Яковлевич стоял у парапета, курил, любовался рекой. Затем бросил сигарету, направился в сторону пси-башни. Тут на него и натолкнулся Долгопол. Одет забулдыжный Донор на сей раз был вполне прилично: тонкий свитер, в меру обтягивающий грудь, светлые спортивные брюки; на ногах белые туфли с дырочками. Он был причесан, выбрит и попахивал хорошим одеколоном.

— Привет! — сказал Вася, улыбаясь.— Вот так встреча!

— Доброе утро,— тот взглянул бегло и равнодушно.— Простите, не имею чести вас знать,— и попытался пройти.

Голос был прежний, пропойно-сиплый, но облагороженный иными интонациями.

— То есть как это не имеешь чести? Очень даже имеешь,— Долгопол ухватил Спирю за руку.— А с кем мы по погребкам шатались, про четыре зуба пели? Кто меня на Кобищаны отвел?!

— Извините,— тот резко вырвал руку,— подите проспитесь! Всякий хулиган...— и быстро пошел вперед.

— Это я-то хулиган? Нет, постой! — Вася двинулся за ним.

Но Спиря бегом метнулся через проезжую часть — прямо перед лавиной машин, которым светофор как раз дал зеленый свет, помчал в сторону парка. Так он выиграл свои триста метров.

Донор добежал до ограды и спортивно, в два движения перемахнул через высокую решетку с остриями. «Гляди-ка,— поразился Долгопол,— будто и не алкаш». Сам он уже вспотел.

Позади на аллее послышался рык машины и сигнал. Вася оглянулся: в открытом «козлике» подкатывали свои — Мегре на заднем сиденье, Семен Семенович рядом с водителем. Начотдела уже впрягся в реактивный ранец, затянул широкий пояс, застегнул крест-на-

крест тяжи. Как только машина сравнялась с Долгополом, крикнул:

— Где?

Вася указал. Звездарик, не дожидаясь, пока водитель затормозит, включил ранец сокращением грудных мышц. Струи сжатого воздуха вырвались с шипением из четырех дюз — две на поясе сзади, две впереди — и вознесли начальника Кимерсвильского ОБХС над деревьями. Он приложил руку козырьком против солнца:

— Ага, вижу! — И, набирая по параболе высоту, устремился к домам за парком.

Мегре тоже был в ранце; широкий пояс с дюзами едва сходился на его животе, сопла растопырились так, что другому человеку на сиденье места не оставалось. Комиссар вместо приветствия подмигнул Васе: молодец, мол, Лукович, я в тебя всегда верил! — склонился к рации, щелкнул тумблером, сказал в микрофон:

— Витольд Адамович, антенны радиоперехвата на «товсь!».— Потом протянул Долгополу запасной ранец:— Облачайся, Вася. Теперь мы его возьмем.

Отданная Витольду команда была еще одним свидетельством всесторонней подготовки операции: учли возможность исчезновения сутей злоумышленника, его личности из тела тем же способом, как и у «убитого» на Кобищанах Долгопола. Такую возможность стали учитывать после того, как Звездарик в сопровождении Долгопола наведался к Фиме; это было через день после проводов НООСа.

Мальчик при виде Васи стал столбиком — с бледным лицом и широко раскрытыми глазами.

— Живой? Вот это да! — и посмотрел на Семена Семеновича с каким-то особенным удивлением: как на человека, которого недооценивал, а его, оказывается, надо принимать очень всерьез.

— Да, Фимочка, это тот самый Василий Лукич Долгопол, чей труп ты мне по телефону советовал забрать по известному адресу,— сказал начотдела.— Тебе Спиридон Яковлевич велел позвонить?

Мальчик опустил голову, молчал.

— И давно ты его знаешь, дядю Спирю?— настырно продолжал Звездарик.— Насколько хорошо, часто ли видитесь?

— Ну... я лучше всего его труды знаю,— сказал Фима.

— Какие труды?

— Научные. Хотя бы ту же «Математику личности», вы же ее в прошлый раз в руках держали. У него много.

— Ага...— Семен Семенович многозначительно переглянулся с Васей: открылась еще одна грань богатой натуры Донора.— А где он живет и трудится? Ты у него бываешь или он у тебя?

— Я вам про дядю Спирю ничего не скажу,— заявил ребенок,— он хороший. Хоть что делайте!

Делать ничего не стали, ушли. Только в доме напротив поселилась под видом студентки-заочницы, приехавшей на сессию, оператор ОБХС Любаша — присматривать.

Но с этого момента стало ясно, что новизна идеи Мегре исчерпана, следует быть готовым к использованию ее противной стороной.

Вообще, полтора месяца после операций на Кобищанах и в Заречье прошли в подготовке. Особенно интенсивной стала она в последние три недели, после головомоечного визита галактического контролера № 233 ГУ БХС; малый номер говорил об очень высоком ранге.

Его высокопревосходительство № 233 не пожелал воплотиться в земное тело, а вызвал агента 7012 к себе в пси-машину, в персональное ЗУ для высокопоставленных особ. Беседа с начальством носила характер обмена импульсами по двоичному коду. Но, когда сути комиссара вернулись в тело, его внешность отразила некоторые особенности этой беседы: сам по себе вспух и своротился набок нос, вокруг глаз залиловели фонари, на подбородке и в правой части лба выросло по гуле, а из нижней челюсти выломился зубрезец. В сущности это был общеизвестный бехтеревский эффект обратного влияния психики на тело (типа «ожога внушением»), усиленный впечатлительностью Порфирия Петровича. Такой облик держался у него все время, пока он пересказывал отдельцам полученную в ЗУ информацию, и еще потом два дня.

Он явился сюда с Суперграндии, этот галактический контролер, после проверки доклада агента 7012 о выполненном якобы задании. Нельзя сказать, что оно не выполнено: Могучий Пожизненный Шеф с возвращением ему Характера мгновенно воспрял. Посыпались нагоняи, разжалования, драконовские меры против разброда и шатания в населении, даже казни высших сановников, слишком заворовавшихся и забравших много власти. Казнены были и все любовники жен МПШ, а сами они разжалованы в наложницы для гостей. Словом, все затрепетало и склонилось, стабильность общества Суперграндии была востановлена.

(Немалую роль в этом сыграл и вернувшийся НООС — и не только по основной специальности, сыску и заплечным делам. Он даже получил новый титул ВРПЖ—Великий Реформатор Половой Жизни; в этой области он использол в интересах благодарного населения весь приобретенный на Земле опыт. Разумеется, на основу демографии планеты: размножение только посредством сперматозоидов Могучего Шефа, тик-так, ура, кукареку! — никто покуситься не мог. Но, по-прежнему не разрешая женам спать с мужьями, НООС специальным декретом разрешил им вступать в связь с теми,

кто откликнется на призыв по установленной форме, так называемый «пароль Лили». Этим декретом НООС—ВРПЖ направил пробудившуюся в период Разброда активность населения по более безопасному для правителей руслу.)

Все бы хорошо, но у возродившегося психически Шефа появилась одна особенность: он стал поднимать ногу у колонн своего дворца. Задерет, постоит так, будто что-то вспоминая, а то еще, бывает, наклонится понюхать. Разумеется, эта августейшая склонность была превращена в новое слово дворцовой и государственной жизни: учредили Орден Поднимающих Ногу, коим награждали к юбилеям и за заслуги... Но галактического контролера, знающего повадки всех существ в своей зоне, это обмануть не могло. Он установил факт подмены.

«Но и это не все,— продолжал контролер распаленно обстреливать агента 7012 трассирующими импульсами.— Было ли что искать-то? Окончательным фактом является то, что Характер с редчайшими двенадцатибалльными составляющими так нигде и не обнаружен. Почему агента не насторожил этот НООС с психикой заурядной шлюхи и с параметрами в шесть-семь баллов? Почему он не вспомнил, что в тоталитарных сообществах любой оказавшийся на самом верху индивидуум — каков бы он ни был и как бы ни забирался наверх: благодаря ли заслугам, через постель, даже через переворот или убийство из-за угла,— в глазах остальных очень скоро приобретает черты героя, мудреца и даже писаного красавца!..»

«Но пси-прибо...» — заикнулся было агент.

«Пси-приборы! Приборы для психических замеров так же подвержены влиянию коллективного поля, как и психики разумных существ... как, в частности, и психика агента 7012, который вместо глубокого исследования сам поддался детективным страстям, запутался и дошел до подлога!..»

— Словом, я получил строгое, очень строгое предупреждение о служебном несоответствии,— закончил Мегре, прикладывая смоченный под краном платок сначала к правому глазу, потом к левому.— Если не установим и не устраним причины исчезновений выразительных сутей, то не только кружочек вокруг Солнечной, о котором я вам говорил, но и меня отставят и оставят здесь таким, каков я есть, без права пси-полетов.

— А не пошли бы они к...,— в сердцах сказал Звездарик.— Главное, все пугают, все давят. Как будто это так просто! И для вас нашли наказание: землянином оставят. Конечно, постараемся исполнить, что в наших силах, о чем разговор! Ну, а не выйдет — тоже не катастрофа: проживем и без пси-транспортировок. И для вас не беда, Порфирий Петрович, при ваших знаниях и способностях без дела не засидитесь. Да мы еще женим вас!

Мегре улыбнулся.

По правде сказать, его тоже не слишком пугала перспектива остаться на Земле, в белковом теле,— прижился. Он, агент ГУ, переменивший такое множество мест, сред обитания и тел, что уже забыл о первоначальном облике, нашел на этой планете что-то, чего не знал прежде.

Рассудком он понимал, что это «нечто» протекает от чрезмерного, самоусиливающегося богатства телесных ощущений белковой ткани и свойства ее переводить все в «приятное» или «неприятное»— благодаря чему тело оказывается как бы маленькой вселенной человека, а на восприятие и осмысление подлинной Вселенной ни чувств, ни сил почти не остается. Он понимал, что с галактической точки зрения это предосудительно: замыкаться в малом мирке своих переживаний, куцых забот, в круговерти своей среды; людям Земли, конечно же, надо подниматься над этим, освобождаться, приобщаться к Единому, к Галактике... Ну, а ему-то, вселенскому бродяге, наприобщавшемуся досыта,— почему бы и вправду не осесть здесь? Жить с людьми, понимая их двойственной мыслью — земной, развившейся из ощущений, и галактической. Слиться с их природой и ноосферой, впитывать ее воздействия кожей, глазами, ушами, носом, языком, усилием мышц. А то и вправду — жениться?

Комиссар вспомнил о ночи с Лили, вздохнул.

— Ладно,— сказал он,— погорим, тогда видно будет. Но прежде давайте сделаем все, чтобы как-нибудь не погореть. Служба есть служба.

И они принялись делать *все*. Спецкостюмы, пневморанцы, постоянное патрулирование, контроль над антеннами и пультовыми входами в Кимерсвилькую Ψ-ВМ — это еще было так, техника. Но сверх того сотрудники ОБХС прошли курс знакомства с пси-машиной под руководством самого академика Х. Х. Казе. Для лекций Христиан Христофорович воплощался в пожилого, крепко сложенного гражданина с рыжей бородой, усами и волосатостью на груди, одевался в шорты и тапочки, развешивал на «стене плача» схемы, диаграммы, таблицы, водил по ним указкой и излагал предмет рявкающим баском. Потом принимал зачет. (Вася в первый раз от сознания, что его спрашивает академик, да еще и кристаллоид, настолько оторопел, что, хоть и знал, не мог слова молвить.) Затем была и практика: «студенты» оставляли свои тела, отправлялись в сутях в пси-машину в сопровождении сути Х. Х. Казе, блуждали от ЗУ к ЗУ по каналам связи, изучали работу блоков дифференцирования, наблюдали прохождение пси-сутей от пультов к антеннам и обратно, даже переключали сами разные схемы управления... И поняли, в частности, что знающая машину и достаточно сильная пси-личность может, оказывается, перемещаться и действовать в ней весьма свободно.

2

Мегре помог Васе надеть и закрепить пневморанец, после чего они вместе взмыли на пятидесятиметровую высоту, зависли — Долгопол повыше, комиссар пониже — и, сориентировавшись, устремились туда, где над крышами маячила фигура Звездарика. Догнали, пошли самолетным звеном: Мегре слева от начальника отдела, Вася справа.

Донор, видимо, не предусмотрел, что его обнаружат с воздуха, и допустил тактическую ошибку. Вместо того, чтобы нырнуть в ближайшую подворотню, а там дворами, дворами — и был таков, он добежал до пожарной лестницы пятиэтажного дома, уцепился, подтянулся и полез по ней на крышу. Шум реактивных детективов он, вероятно, принял за звуки двигателей самолетов в вышине.

Выбрался на крышу, быстро огляделся, заметил чердачное окно и двинулся к нему. Но тут между ним и окном, громыхнув ногами по железу, опустился Семен Семенович. Донор метнулся обратно, но, отрезая ему путь к пожарной лестнице, с неба низверглись Долгопол и Мегре.

— Доброе утро, Спиридон Яклич! — улыбнулся ему Звездарик.

— Привет циркачам! — огрызнулся Спиря, и, наклонясь вперед, побежал по коньку крыши.

В воздухе преследователи были короли, но в гонке по крыше преимущество оказалось явно на стороне легко снаряженного Донора. Он — где бегом, где на четвереньках — устремился к месту, где крыша подходила близко к стене соседней двенадцатиэтажки: там тоже висела пожарная лестница. Долгопол сгоряча побежал за ним, но покачнулся на наклонной плоскости, едва не загремел вниз — ранец весил килограммов сорок и поднимал центр тяжести. Звездарик и комиссар даже и не пытались преследовать, стояли, смотрели, как Спиря с разбегу бесстрашно прыгнул на лестницу, уцепился и заспешил вверх по железным ступеням.

— Стой, стрелять буду! — для острастки крикнул Вася.

— Не обращайте внимания, Спиридон Яклич, не пугайтесь, он шутит! — вмешался начальник отдела.— Это он у нас так шутит. не будем мы стрелять, вы нам живой нужны, целенький. Упражняйтесь на здоровье!.. Ну вот, а теперь и мы,— закончил он, увидев, что Спиря одолевает последний пролет, включил ранец.

На плоской, залитой битумом крыше дома-башни они оказались почти одновременно с преследуемым, пошли на него шеренгой. Донор метнулся к одному краю крыши, заклянул вниз, метнулся к другому, тоже заглянул, побежал к третьему.

— Да высоко здесь с любой стороны, Спиридон Яковлевич, миленький,— нежно сказал Звездарик, доставая наручники.— Давайте лапочки-то ваши.

— Фиг тебе, а не лапочки! — и Спиря, разбежавшись, махнул с крыши вниз. Будто в воду.

Долгопол ахнул, побледнел. Мегре выдвинул антенну карманной рации, сказал: «Витольд, внимание!» Начальник отдела подбежал к краю, следил, как Математикопуло по параболе приближался к земле: перекрутился в воздухе раз, другой — и пластом, всей спиной грянулся на лужайку по ту сторону парковой ограды; дом этой стороной подходил к ней. Донесся чавкающий звук удара. Спиря и не дернулся, застыл с раскинутыми руками и ногами.

— Удачно,— молвил Семен Семенович,— не зря разбегался.

Он повернулся к комиссару:

— Что Витольд?

— Молчит,— недоуменно ответил тот.

— Как молчит?— начотдела подошел, взял рацию.— Адамыч, ну что?

— Ничего,— после паузы сообщил тот.— Ни по одной антенне сути не проходили.

— Вот это да! — Звездарик посмотрел на коллег.— Что же он, выходит, всерьез?! Все вниз!

...И, пока опускались, притормаживая реактивными струями, начальник ОБХС смотрел на распростертое на траве тело, думал: «Да, недооценил я тебя, Спиридон Яковлевич!»

Сильно недооценил. Думал, раз сдает тело напрокат — да не туристам, а для проб «некомплектов», на измывательство,— значит, забулдыга, конченый человек. А для него кратковременный прокат тела был лишь удобным способом проникнуть в Ψ-машину. Оказавшись в ней, он направлялся не куда-нибудь, а в ЦКБ — Центральный Контрольный Блок, в гости к академику Х. Х. Казе, который встречал его с открытой душой.

Не врал по пьянке Математикопуло целинозавру Васе, что-де он с Христианом Христофоровичем на дружеской ноге, что его даже на Проксиме помнят и ценят,— так и было. С того еще времени, когда видный математик С. Я. Сидоров (позже сменивший свою ординарную, уставную фамилию на сомнительный псевдоним) возглавлял группу «привязчиков» — ученых-землян, подгонявших типовой проект пси-станции к конкретным земным условиям, выбиравших место, организовывавшим работы. Были тогда и длительные командировки на Проксиму, творческие общения с существами иного мира, были захватывающие дух замыслы, идеи, дела. Наполненность жизни. Удовлетворенное — от уважения кристаллоидов, от их восторгов его познаниями и решениями: белковый, а нам не уступит, глядите-ка! — самоутверждение.

Может, это и свихнуло с пути: обычная жизнь земного ученого и преподавателя показалась Спиридону Яковлевичу после завершения работ и контактов нудным прозябанием. Чем прозябать, так

лучше вдрызг... бывают такие натуры. Да еще и обошли его в наградах и премиях после открытия пси-станции «администраторы от науки», обидели.

Во всяком случае в Ψ-ВМ у кристаллоидов он был повсюду свой человек, желанный гость — и при полной открытости хозяев мог досконально выяснить, где, что, когда и как. Где что лежит, грубо говоря. В дни и часы, когда в машине проходили сути высоких гостей с Суперграндии, Спиря как раз сдавал свое тело в ОБХС для проб, это установили точно.

Правда, Христиан Христофорович в беседе со Звездариком категорически отверг допущение последнего, будто бы Донор мог таким образом и утянуть из накопительных ЗУ ценные сути, присоединив их к своей личности. Это невозможно, открытость кристаллоидов носит математический, счетный характер: недохватка даже доли балла — сигнал ошибки, сбоя, он мгновенно привлекает внимание всех.

В машине сути не пропадают. «А на входах и выходах?— ломал голову Семен Семенович.— Мог Спиря протаскивать их, как через проходную, мог. Кристаллоидам такие уловки недоступны».

В силу той же априорной открытости Х. Х. Казе отказал начальнику ОБХС в просьбе задержать Математикопуло, буде он снова наведается к нему в Ψ-ВМ: это-де невозможно, поскольку надо хоть на малое время затаить от него свой недобрый замысел. Прогнать его прочь, нехорошего,— это другое дело, это академик обещал.

Не врал Спиря Долгополу и в том, что в понедельник он один, во вторник иной... каждый день новый. При его запасе сутей можно было менять в себе интеллект и характер, как рубашки. Многие ценные сути попадали на черный рынок с его, так сказать, плеча: поносит, потом за мзду дает считать. В той же хазе, которую потом сам и завалил. «Зачем?— не мог понять Звездарик.— Хотел наказать за то, что получали сути не только от него, сами промышляли, где могли? Нет, не то».

Не подходило это, слишком уж рациональное, мелкое объяснение Донора. «Широк человек, слишком широк, я бы сузил!»— говорил Митя Карамазов, герой Достоевского. Вот и сей человек был широк, не лез в рамки.

И Долгопола не узнал, потому что сегодня была среда.

Словом, чем больше Семен Семенович узнавал о Сидорове-Математикопуло, тем ярче вырисовывался образ, к простым концепциям несводимый,— образ злоумышленника не ради богатства и выгод, забулдыги не по слабости духа... образ человека, познавшего самые высокие ценности жизни, отвергшего их, но не нашедшего новых и не знающего, чем наполнить жизнь.

Попробуй такого сузь.

Они опустились около тела. Лицо Донора было бледно-серым, глаза закатились, из уголка рта сочилась кровь. Сила удара была такова, что тело наполовину вмялось в землю. Звездарик наклонился, перевернул — обнаружился четкий оттиск скелета в почве: затылок, позвоночник, ребра, лопатки, крестец, таз... даже каждая фаланга пальцев закинутых рук отпечаталась отдельно. «Хоть анатомию изучай»,— подумал начотдела. Но не это занимало его — выдернул из светлых брюк Спири свитер, завернул: по внутренней поверхности шли, переплетаясь с нитями вязки, проводнички, сплетались в узоры с мягкими микросхемами; вдоль позвоночника тянулась, уходя в штаны, широкая темная лента. Семен Семенович отвернул край ее, увидел сыпь игольчатых контактов.

Мегре склонился к голове, осторожно подергал волосы: часть их осталась в пальцах, отделилась от шевелюры, отслоила и потянула за собой тонкую сетку схемы считывания. Эти волосы были не волосы, а диполи коротковолновой антенны.

— Даже не парик,— с уважением сказал Звездарик.— Высокий класс, куда нам! Что же Витольд-то путает?

Он снова связался по рации с марсианином. Но тот раздраженно подтвердил, что сути Математикопуло (хорошо известные ОБХС, спутать невозможно) через антенны в Ψ-ВМ не проходили; он головой ручается.

А секунду спустя в рации послышался зуммерный сигнал, и голос с безжизненно отчетливой артикуляцией сказал:

— Он здесь. Я его прогнал.

— Где именно, Христиан Христофорович?— спросил Звездарик.— И нельзя ли все-таки?..

— Нет. Нельзя. Остальное сами. Конец.

Начальник отдела в изумлении посмотрел сначала на комиссара и Васю, потом на тело Донора:

— Ну, артист, ну, ловкач! Как же это он?

А было так:

— Дзан-дзиги-дзан-зиги-дзан-зиги-зан-зиги-мяааауууу!

Дзан-дзиги-дзан-зиги-дзан-зиги-зан-зиги-мяааауууу! — хряли по аллее парка чувак с чувихой.

Вверху были махры и визры, внизу были махры и шкары, а посредине пряжка. Из кованой меди, понял, с инкрустацией и чернотой, шимпанзе в четырех лапах держит по пистолету. И к ней пояс, понял: мозаичный, из цветных проводов, на полпуза, на штаны выменял, такой можно носить и без штанов.

Впрочем, наличествовали и штаны: клешевые джинсы с отворотом.

И еще была магнитола. Японская «Шарп-стерео» — с автосто-

пом, понял, с цветовой мигалкой, четыре дорожки, счетчик, чтоб я так дышал, хромированные педали со звоном, мягкий выброс кассеты, век свободы не видать, две телескопические антенны, чувихи стонут: отдаться мало! — реверберирующая приставка для воя, понял-нет, полторы тыщи галактов: с мамаши, вроде бы откупиться от блатных, пятьсот, с папаши, будто женюсь, восемьсот, на пару сотняг толкнул шмоток — имею!

И сразу подкололась чува: груди навыкат, джинсы в обтяжечку, все у нее в порядке от и до. Идем, балдеем. Я ей «гы-гы-гы!», она мне «хи-хи-хи!» — и такое у нас взаимопонимание, хоть на четвереньки переходи.

...Собственно, в *основном* была магнитола. Шла по аллее. И Спиря ее засек.

— Дзан-дзиги-дзан-зиги-занн-зигизанн-зиги-мяаууу!..

— Гы-гы-гы!

— Хи-хи-хи!

И блеянье саксофона.

Как вдруг (чувиха как раз отхиляла в кусты) «дзан-дзиги-дзан-зи...» и заело. Клавиша «play» сама выскочила.

— Эй, ублюдок,— сказал из динамиков спокойный голос,— слушай внимательно и не дергайся. Ты же не хочешь, чтобы из твоей магнитолы сейчас повалил дым, а?

У чувака отвисла челюсть, но он овладел собой:

— Нет... товарищ нача... гражданин... дядя... не надо, что вы! Пусть лучше из меня пойдет дым.

— Из тебя дым пойти не может, только вонь,— резонно заметили из магнитолы.— Тогда делай, что я скажу. Ступай к ближайшей телефонной будке.

— Есть шеф! Нашел. Вошел.

— Сними трубку... да поставь магнитолу, идиот, у нее ног нету, не убежит! — опусти две копейки. Набери номер 65-43-21. Не перепутай. Теперь оборви трубку так, чтобы весь провод остался у аппарата... Давай-давай, что тебе — впервой? Есть? Зачисти концы — живо, зубами, не убьет тебя током, не бойсь! Сунь их в гнезда внешнего динамика... ну, там, где обозначено «8 ом» — нашел? Нажми клавишу «play» — через минуту будешь свободен.

Верно, через минуту прибор снова начал вырабатывать «дзанн-дзиги-дзан-зиги...».

Чувак схватил магнитолу в обнимку, похилял на полусогнутых прочь. Ему тоже надо было в кусты.

Номер, который он набрал, был известен в Кимерсвиле только очень узкому кругу лиц: он соединял с блоком Х. Х. Казе в псимашине.

Но Спиря у академика как-то спросил, тот ему сообщил: информацию утаивать нельзя.

Мегре вытащил пистолет:

— Что ж, ничего не остается, как преследовать его и там.— Вопросительно взглянул на сотрудников ОБХС: — Каждый в себя или по кругу?

По лицу Васи было видно, что ему очень не хочется стрелять в себя.

— По кругу,— сказал Звездарик, доставая свой пистолет.— Давайте условимся: Порфирий Петрович прочесывает левые каналы и блоки, Лукич правые, я середину. Да, чуть не забыл!..

Он положил пистолет на траву, достал блокнот и шариковую ручку, написал крупно на весь листок: «Тела не убирать, идет расследование ОБХС!» — поставил должность и дату, расписался, нашел камешек и, положив вырванный листок на грудь Спире, придавил его им.

Все трое стали вокруг Математикопуло, закинули левые руки за головы, открывая область сердца, вытянули правые руки с пистолетами по направлению сердца соседа (Мегре целил в Звездарика, тот в Васю, Вася в комиссара) и по команде начальника отдела: «Пли!» — нажали курки. Три выстрела слились в один, три тела повалились на траву, образовался треугольник вокруг тела Донора. Пси-личности через спецкостюмы упорхнули к антеннам, в обесссученные тела детективов (и заодно в тело пси-авантюриста) через другие схемы спецкостюмов и контактки потекли стимулирующие быструю регенерацию импульсы.

3

...эмиттер — коллектор, эмиттер — коллектор, эмиттер — коллектор, ячейка «не — или» — поворот в новую схему, пробиться сквозь толчею импульсов, суммирующихся у схемы «и». И опять скачки по нейристорно-триггерным цепям: эмиттер — коллектор, эмиттер — коллектор...

Машина была как город: каналы связи — улицы, узлы — перекрестки, блоки — здания, подсистемы — кварталы, ЗУ — склады, сортирующие и суммирующие ячейки — как подъезды в домах. Город сей жил: в одних блоках-зданиях кипела сложная деятельность, там дифференцировали, интегрировали, дешифровали, комплектовали сути; в других, в запоминающих устройствах всех типов, пси-личности накапливались подобно туристам в гостиницах, чтобы в должное время отправиться в трансляторы или в блоки записи, уступить здесь место другим. На «улицах», в СВЧ-кабелях, была давка сигналов, протиснуться можно было только в своей полосе частот.

Вася Долгопол и думать не гадал, что погоня, которую он на-

чал прекрасным утром на набережной, продолжится таким необыкновенным способом. Тем не менее и это была погоня. Он шел по следу, чуял преследуемого по релаксациям импульсов в схемах впереди, по колыханиям не успевших полностью рассосаться зарядов... Вот он, Донор в сутях, только-только прошмыгнул здесь, свернул по разделительной схемке, будто за угол, в другой кабель, захлопнул за собой, как калитку, триггерную ячейку (на такую налетаешь, будто лбом), но все равно близко, вот-вот.

Прочесывание начали прямо от антенных входов. Миновали без интереса устройства записи в кассеты: туда Спиря не полезет, как в мешок! — и шли сейчас по оперативным каналам и блокам пси-машины, будто по центру города. Это был, спасибо академику Х. Х. Казе, знакомый город, с пути не сбивались.

Эмиттер — коллектор, эмиттер — коллектор... В вихре с другими пси-сигналами Вася прокрутнулся по кольцевой линии задержки, с усилием отделился, ухнул, как в яму, в открытый силовой триод — с эмиттера на базу. Выскочил на соседнюю линию: здесь тянулся тот же характерный «запах» релаксирующих зарядов, запах Спири. Эмиттер — коллектор, эмиттер — коллектор, эмиттер — колле... И от середины — азартный, молодецкий сигнал Звездарика: «Заворачиваем его в ЗУ «некомплектов», то-то им будет радость!»

Ах, не следовало так — открытым текстом, да еще с эмоциями. Преследуемый тоже воспринял — откуда и прыть взялась у него: наддал, применил тот же прием, что давеча на набережной,— рванул через широкий канал связи перед ринувшимися в транслятор сутей пси-туристов. Понимал, видно, что ему будет у «некомплектов»! И был таков. Прочесали еще раз всю машину от глубинных блоков до антенн, проверили пультовые выходы — нет!

Дальше им оставаться в пси-машине было незачем, только работе мешать. Собрались у антенн, транслировались обратно.

Когда вернулись в тела и, полежав для самопроверки, поднялись, Спиридона Яковлевича посредине не было. Вместо него на газоне лежал придавленный тем же камешком лист из блокнота Звездарика. На обратной стороне его было размашисто написано: «Олухи легавые, я же строил эту машину!» Присмотревшись друг к другу, обнаружили у каждого над верхней губой намалеванные фиолетовым фломастером усы; а у начальника ОБХС, кроме того, на лбу было начертано нехорошее слово.

— Надругался, а! — Семен Семенович послюнил платок, безуспешно тер лоб.— Над безжизненными телами. Ну, Спиря!..

В кармане Мегре заныл зуммер. Комиссар достал рацию.

—Алло,— сказал мелодичный голос Любаши, лжезаочницы и

квартирантки,— ваш подопечный Донор только что заходил к Фиме. Был около минуты. Вышел с чемоданчиком-«дипломатом», сел в машину, в которой приехал, укатил в сторону станции Кимерсвилель-товарная. Алло! Машина наша, отдельский «козлик», номерный знак КИА 4657. Как поняли, прием!

— Вас понял,— сказал Звездарик, беря рацию.— Продолжайте наблюдение, конец! — и сразу переключился на отдел.— Вертолет сюда, в парк, живо! И свежие баллоны к ранцам. Все!

— А я не понял,— комиссар свел седые брови.— Что же — наш водитель с ним заодно?

— Да не то чтобы заодно,— поморщился начотдела,— за троячку... А, вам, иномирянам, этого не понять! Ну, друзья, если мы не возьмем Донора на товарной станции, пиши пропало. Составов там много, маршруты их по всей стране. А за станцией еще и лес.

Гладь реки, желтый обрыв, домики Заречья, железнодорожный мост справа, пыльные улочки внизу (на одной заметили возвращающийся к парку свой «козлик», водитель которого решил подкалымить) — все убегало назад, под брюхо вертолета. Спереди надвигались длинные темные крыши пакгаузов, виселицы портальных кранов, ажурные вышки с матрицами осветительных прожекторов, узкий переходной мост с тремя спусками — и пути, пути, пути, блестящие сдвоенные нити до самого леса. А на них составы, тепловозы, электровозы. Между путями двигались люди, сцепляли и расцепляли вагоны, платформы, цистерны, сигналили маневровым электровозикам, те укатывали нужное на сортировочные горки. Фыркали автопогрузчики, лязгали буфера, щелкали переводимые стрелки, колеса четко пересчитывали стыки рельсов.

— Вот он! — Вася заметил долговязую фигуру с «дипломатом», неспешно шагавшую по переходному мосту над путями.

Все трое были в полной готовности, в ранцах со свежими баллонами. Семен Семенович в надвинутом на лоб, для прикрытия обидной надписи, черном берете; на поясе болталось капроновое лассо.

— Так! — он откинул дверцу.— Заходим с трех сторон! — и нырнул вперед и вниз. Отдалившись от вертолета, включил ранец, повис в воздухе над мостком.

Вторым выпрыгнул комиссар, третьим Вася.

Услышав знакомые звуки, Математикопуло-Сидоров поднял голову — и будто сдунуло его с моста на ближайший спуск. И пошел петлять между составами, нырять под вагоны, перескакивать через буферные площадки — все в сторону леса.

— Нет, врешь! — гаркнул в высоте над ним Звездарик, наклонил корпус вперед, вошел в пике, размахивая лассо. Он целил приземлиться между холодильными вагонами на пути беглеца. При-

землился, но только и увидел мелькнувшие по ту сторону спаренных колес ноги в светлых брюках да туфли с дырочками. Пришлось взлететь, с ранцем под вагон не полезешь.

На другом пути Долгопол заметил пробиравшуюся в тени состава фигуру, пошел вниз с криком: «Стой, стрелять буду!» Но это оказался смазчик, похожий фигурой на Спирю, а за «дипломат» Вася принял его плоскую масленку. Он озадаченно извинился, стартовал в небо... а с высоты опять ему показалось, что нет, не смазчик это и не с масленкой, а злоумышленник, прикинувшийся таковым. Но было поздно, ноги того только мелькнули под буфером медленно катившей к сортировочной горке цистерны.

Мегре мощным ястребом кружил над путями, опускался, выставлял руку козырьком — высматривал, снова поднимался под натужный вой ранцевых сопел.

На новом маневре Семен Семенович накрыл Спирю своей тенью. Метнул лассо — не попал, петля упала рядом. Донор поднял ее, зацепил за буфер платформы, затянул, послал начальнику ОБХС воздушный поцелуй и зашагал — даже не побежал — дальше. Лассо пришлось бросить.

От неудач преследователями все более овладевал лютый гончий азарт. В него вошло все, от подмалеванных фломастером усов до воспоминаний о прежних унизительных поражениях, из-за которых даже довелось на чужую планету вместо владычного характера отправить собачий. Он, этот азарт, и сыграл с ними дурную шутку.

Дело в том, что управление ранцами требовало точных, дозированных сокращений и расслаблений мышц тела, преимущественно грудных и спинных; но в таком состоянии они получались резкими и грубыми. Соответственно из дюз вырывались чрезмерно сильные струи воздуха, и избыточное ускорение заносило преследователей выше и дальше, чем им хотелось.

На товарной станции прекратились работы. Все смотрели вверх. В синем небе стоял рев и гам, как на мотогонках. Завывали ранцы, кричали люди. Комиссар Мегре, рассчитывая только перевалить через пару оказавшихся на пути вагонов-холодильников, газанул так, что оказался на крыше водонапорной башни и там неожиданно для себя гулко взлаял.

— Воздушному цирку гип-гип-ура! — кричал Спиря, идя между вагонами и изредка останавливаясь полюбоваться фигурами пилотажа, которые выписывали в небесах детективы; он чувствовал себя в безопасности.— Вася, целинозавр милый, не улетай без меня на Венеру!

— А, да распронаедрит твою напополам! — вскричал Семен Семенович, гупнулся на крышу склада, стал расстегивать тяжи, срывать с себя ранец. Снял — полегчало. Прыгнул вниз, упал на четвереньки, ушибся, рассердился, мотнулся, не поднимаясь, под

вагон, за которым мелькнули ноги Математикопуло, поднялся, побежал за ним.— Теперь не уйдешь!

Долгопол и Мегре последовали его примеру. Вот теперь детективы чувствовали полноту бытия, поглощенность гонкой. Горячая кровь омывала тело, сердце мощно билось в груди, рвалось вперед, ноги сами делали большие прыжки. Рельсы, шпалы, стрелки, щебенка под ногами, борта вагонов, запах смазки и дизельного топлива, ветер в лицо... Донор, увидев такое дело, тоже помчал, размахивая чемоданчиком.

На последних путях составов не было. Но с правой стороны нарастал шум приближающегося поезда. Вася вспомнил об излюбленном приеме преследуемого, закричал:

— Вправо его гоните, вправо! — И сам стал забегать слева, оттеснять, чтобы не смог Спиря шмыгнуть перед тепловозом в лес.

Тот почувствовал неладное, помчался с необыкновенной скоростью гигантскими прыжками. Но — не успел. Преследователей отделяло от него метров триста, когда из лесной просеки вылетел и загромыхал по последней колее длиннющий состав четырехосных платформ с бревнами. Спиридон Яковлевич в замешательстве остановился, оглянулся.

— Три ха-ха! — победно вскричал Звездарик.— Заходим с двух сторон, теперь он наш!

...То, что случилось дальше, Васе потом снилось ночами. Преследуемый раскрыл «дипломат», достал и надел на левую руку какую-то толстую перчатку, опустился на насыпь подле рельсов... и начал быстро, сноровисто разбирать себя. Разнимать по частям, как составной манекен. А затем перебрасывать каждую часть тела под грохочущими платформами на ту сторону пути.

Первой полетела туда правая нога в светлой штанине и туфле с дырочками. За ней левая. Потом руки приподняли и выдернули из плеч голову с кадыкастой шеей, метнули ее над рельсами, как мяч. Сами руки враз отделились от плеч — будто отщелкнулись, уперлись в щебенку, схватили и резко толкнули худое туловище в просвет под очередной платформой; оно скатилось по другой стороне насыпи к ногам и голове... и Долгополу даже почудилось, что там все начало сближаться и соединяться. Наконец, левая рука Спири перекинула за рельсы правую.

Преследователи перешли с бега на шаг, опасливо приближались с изумленными лицами. Мегре пробормотал: «В жизни не видывал ничего подобного!»— достал из кармана трубку, сунул в рот, начал искать спички. Вася потом вспомнил, что его более всего занимало: а как левая рука теперь перескочит?

Левая не перескочила. Она повернулась на локте, как на шарнире, в сторону детективов и начала медленно складываться в выразительный, карикатурно увеличенный перчаткой кукиш. Долгопол

молодыми глазами первый заметил, что по мере того как пальцы сжимались, кукиш начал накаляться сначала вишневым, потом малиновым светом... еще не понял, но чутьем почувствовал страшную опасность, закричал:

— Все наза-ад! В укрытия! Прячьтесь! — и сам кинулся прочь.

За стрелкой он заметил канализационный люк со сдвинутой крышкой. Спрыгнул, выглянул, увидел мчащегося за башню водокачки Звездарика, неподвижную фигуру зачарованно глядящего Мегре — оба были освещены будто светом восходящего солнца — и задвинул над собою крышку.

Поэтому он не увидел поднявшегося над составами огненного гриба, услышал только гром взрыва, ураганный рев раздвинутого во все стороны воздуха, грохот перевернутых составов.

ЭПИЛОГ

И СНОВА ФИМА

Прежде чем делать открытие, загляни в справочник.

К. Прутков-инженер «Советы начинающим гениям»

— Прежде чем отвечать на ваши вопросы, хочу заявить протест,— сказал Фима и закинул ногу с поцарапанной коленкой на другую; он был в тех же серых шортах с помочами, синей блузе и сидел в КПС, отрегулированном по его росту.— По всем законодательствам Галактики допрос несовершеннолетних производится в присутствии или родителей, или педагогов, или специального адвоката, или даже всех их вместе. Настаиваю на присутствии таковых. В случае неисполнения вы будете нести ответственность по статье 12 Уголовно-процессуального кодекса. Вот! — и он переложил левую ногу на правую. Малец все-таки чувствовал себя неуютно.

— Все-то ты, Фимочка, знаешь, даже статьи УПК,— улыбнулся Вася Долгопол, сидевший напротив, за столом-пультом в комнате Кимерсвильского ОБХС.— Только никакого допроса нет. Мы тебя обследовали, теперь надо поговорить.

Перед ним лежала пси-карта обследования мальчика, то есть, если говорить прямо, не мальчика, а синтезированного, составленного из многих похищенных сутей главаря банды «ИИ», интеллектуев-индивидуев. Собственно, и банда была не банда, все дело знали и вели двое, Фима и Спиря; остальные же — спекулянты сутями, подпольные всучиватели-обессучиватели, маклеры — не были ее членами и не знали о ней. Эти двое просто управляли всем и всеми, как марионетками, дергая их за ниточки низких страстей, жажды

благ, страха и азарта. «И не только ими руководили так «ИИ»,— с грустью подумал Долгопол.

У десятилетнего ребенка пси-карта показывала наличие трех, самое малое, гениальностей: естественно-научной, математической и организаторской. Кроме того, был незаурядный актерский дар, богатая смекалка-изобретательность, сильная воля, хладнокровие, выдержка — все по 9—10 баллов. И в то же время это был мальчишка, который подчинил свои богатые возможности и потрясшие систему пси-транспортировки действия главному для мальчишек: захватывающе интересной игре с креном в озорство. И С. Я. Сидоров-Математикопуло, немолодой ученый, самолюбивый и оскорбленный человек, к нему в этом присоединился. «Одни играют в домино, другие ходят на рыбалку, а эти забавлялись вот так...— думал Вася.— Немотивированные преступления — самые трудные для криминалистов».

Собственно, и Вася сейчас был не совсем Вася. Атомная вспышка на товарной станции оказалась умеренной, в долю килотонны. Эксперты установили, что в дело был пущен расщепляющийся изотоп канадий-253, каждые восемь граммов которого дают критическую массу. Пожар охватил несколько составов, один склад, ударная волна повалила вагоны, обрушила верх водокачки.

Порфирий Петрович Холмс-Мегре, неосторожно залюбовавшийся новым для себя зрелищем (и, вероятно, излишне понадеявшийся на свою пси-нерассеиваемость), погиб начисто. Обратился в пепел. От жара вспышки схема его спецкостюма вышла из строя, не успев сработать: ни одна пси-суть комиссара так и не была уловлена антеннами. Рассеялись, стало быть, они от атомной вспышки. Только на опаленных ядерным жаром кирпичах уцелевшего низа водонапорной башни запечатлелся светлый силуэт грузного мужчины в кепке и с трубкой в зубах.

Семен Семенович Звездарик успел забежать за водокачку и уцелел. Не то чтобы совсем уцелел, но во всяком случае, когда на него рухнул верх башни, спецкостюм успел считать его сути и транслировать их. То, что потом откопали из-под обломков, проходит длительную анабиотическую регенерацию, поскольку не осталось ни одной целой кости, ни одного неповрежденного органа. Сам начальник отдела коротает время преимущественно в Ψ-ВМ, в обществе академика Х. Х. Казе, но на часы работы отдела Вася, теперь его заместитель, пускает его к себе. Специальными обследованиями выяснили, что эти две личности настолько совместимы, что сутям Долгопола нет необходимости покидать на это время тело. Так что они со Звездариком теперь живут, в буквальном смысле, душа в душу.

«Ну, и чего достигли-то?— угрюмо размышлял совмещенный Долгопол-Звездарик сейчас, разглядывая Фиму.— Старались, себя не жалели, новаторские идеи применяли... и что? Прекратились ли от этого махинации с сутями? Прекратятся ли?.. Или получилось, если глядеть широко, все так же, как и во все времена в этой вечной игре в «полицейские и воры», в «сыщики-разбойники»? Воров и разбойников ловили — воровство и разбой не уничтожили. А уничтожилось то и другое от изменения психологии людей. И от изобилия. Вот и мы — по видимости противостоим, а по существу, объединены в общей круговерти поиска, допросов, погонь... а то и *раскручиваем* ее. Во всяком случае результатов обидно мало. Вот он —«результат» в коротких штанишках!»

— Фима, так это ты нам наплел, что всадил сверхсильный характер в Тобика? В тебе он, да?

— М-м... чтоб да, так нет, а чтоб нет, так да. Мы поделились. Для одного там было слишком много нахальства, самомнения. Мне чужого такого не надо. И для Тобика от его доли дело плохо обернулось...— мальчик вздохнул.

(«А был ли Характер-то?»— всплыл в уме уточняющий вопрос. Но оба — и Звездарик, и Вася — дружно подавили его. Спросить это, в духе сомнения того галактического контролера, значило признать, что их, вместе с Витольдом-Виа и покойным комиссаром, изначально водили за нос, как дурачков. Это было выше сил.)

— Да и для тебя не очень хорошо,— сказал вместо этого Вася.

— А вы все равно мне ничего не сделаете! Я маленький, к тому же из неблагополучной, распавшейся семьи. Такие распады, как известно, травмируют психику детей, поэтому из подобных семей чаще выходят малолетние правонарушители. Так что вы обязаны проявлять ко мне чуткость и снисходительность.

— Да-да... ты, Фима, прямо как лектор. Скажи, это ты велел Спире навести Долгопола... меня то есть, на хазу в Кобищанах?

— Ну, я.

— Зачем? Чтобы меня там убили?

— Вы не сможете меня обвинить в организации покушения на вашу жизнь,— опять зачастил мальчик.— Во-первых, вы живы и здоровы, во-вторых, заинтересованное лицо, в-третьих...

— Да я не обвиняю, не спеши. Скажи только: вы тогда еще не знали об этом способе самосчитывания сутей из тела при насильственной смерти?

— Мы-то знали, мы не знали, что вы это знаете. Иначе бы мы и похлеще придумали. Мы не знали, ха! Мы и не такое знаем.

«Они и не такое знают, это точно. Технический уголок Фимы на веранде — пустячок для отвода глаз. Главная лаборатория у них в том заброшенном сарае с просевшей крышей. Не догадались заглянуть в первый-то визит. Чего там только нет!»

— Скажи, а это существо, что перекидывало себя по частям,— это же не мог быть настоящий Спиря? Человек так не может...

— Много вы понимаете! Много вы знаете, что может и что не может человек! Вы ведь небось про сверхсути и не слыхивали?

— Не доводилось.

— Вот то-то. Когда человек владеет сверхсутью, что для него разделиться и собраться! Те же движения своей цельности, что и руками-ногами.

«Вообще-то, к тому идет,— подумал Звездарик внутри Васи,— следующая стадия после посмертных регенераций. Меня вон тоже — разделили, а теперь никак не соберут».

— И ты так умеешь, Фима?

— Пока нет. Спиря научит. Это его открытие.

— А фокус с перчаткой из канадия-253 — твоя идея?

— Ага! — Фима был доволен, как только и может быть доволен мальчишка, чья выдумка снискала признание взрослых.— Пальцы сжимаются в кукиш — получается сверхкритическая масса. Здорово, правда?— От улыбки у него даже наморщился нос.

— Да уж куда здоровей... А где сейчас Спиридон Яковлевич-то, жив ли он, здоров ли?

— Я своих не выдаю.

— Конечно, конечно... Фимочка, а способ хищения сутей из радиолучей на выходах антенн — твой или Спирин?

— Во-первых, это способ, извините, не *хищения,* а интерференционного переноса информации при наложении поперечных сигналов с применением принципа неаддитивности. Авторское свидетельство номер 2876595. Во-вторых, не мой и не его — *наш.* Мы оба его придумали и опробовали.

— На девчатах-практикантках?

— Ага! — Фима снова весело наморщил нос.— Немного же понадобилось, чтобы превратить их в шлюшек-то: пару направленных антенн, отражатель и дифференциальный приемопередатчик.

— Но... зачем? Зачем вы это делали, скажи на милость: с девчатами, с другими пси-пассажирами?.. А эта провокационная выходка с моим убийством, с заваленной хазой? Должен же быть за этим какой-то замысел, смысл?.. И, что ни говори, а свой запатентованный способ вы применили ни для чего иного, как для хищения сутей!

— Как зачем! Тиресно! — Фима так и сказал «тиресно».— Вы думаете, что только вы все можете: организация, часть галактической системы, куда там! А мы можем не меньше. Мы бросили вызов. И вы приняли его. Как вы с нами поморочились-то! А если бы мы предугадали ваш финт со спецкостюмами, так и вовсе запутали бы.

— «Финт», «вызов», «запутали»... что ты говоришь, Фимочка!

Это тебе что — состязание команд, игра, перетягивание каната?! За вашими забавами — покалеченные личности, испорченные судьбы, отношения. У нас вон полное ЗУ «некомплектов»!

— Ну, так и подумаешь! Жизнь вообще есть игра — факт. Важно, чтобы она была тиресной, вот и все!

— И ради того, чтобы тебе было «тиресно», а твой друг математик-алкоголик мог интеллектуально «вздрогнуть», вы вытворяли такое?! — накаляясь (вместе со Звездариком внутри), спросил Вася.— Порфирия Петровича погубили, станцию разрушили...

— Ну и что! A la guerre comme á la guerre — на войне как на войне, как говорят французы,— Фима снова переложил ногу, поглядел на собеседника, наслаждаясь эффектом своего французского произношения.— Я проиграл. Меня будет судить галактический трибунал, да?

— Что? А...— совмещенные Долгопол и Звездарик сейчас были во власти воспоминаний: один о том, как доходил в смертной истоме под вонючей медвежьей шкурой в хазе, а рядом обсуждали насчет мешка, кирпичей и реки; другой — как он гладил безутешного Фиму по головке за сараем, у могилы Тобика (а актер-мальчишка, конечно, от души забавлялся, что двое взрослых так развесили уши). Воспоминания пробуждали чувства — сходные у обоих.

Вася вышел из-за стола-пульта, расстегнул и начал вытаскивать из брюк широкий ремень:

— Ладно. Будет тебе сейчас трибунал. С чуткостью и снисходительностью. Снимай штаны!

— Почему штаны?— не понял мальчик.— Для считывания рубашку надо...— он начал расстегиваться.— Пожалуйста, можете забирать, не жалко. У меня новые еще лучше будут.

— Нет, рубашку пока не надо. Ты лучше штанишки снимай,— Долгопол сложил ремень вдвое, махнул им в воздухе.— Ну, живо!

...Как мы отмечали, непротиворечивое пребывание личностей Васи и Семена Семеновича в одном теле оказалось возможным в силу их психической совместимости. Сейчас эта совместимость выразилась (как прежде в общих мыслях или в азарте погони) в единодушном порыве: драть! Драть шельмеца, просунув его голову между колен, в полную силу — чтоб визжал, плакал и топал ножками... чтоб мамочку звал... чтоб неповадно было шкодить, чтобы... чтоб... словом, драть. Отвести душу. Две души сразу.

Фима понял, соскочил с кресла, начал пятиться, прикрывая ладонями попку. Лицо побледнело, большие глаза глядели на приближающегося следователя ОБХС умоляюще:

— Дядя, не надо! Я... я все сути верну, а?.. Я больше не буду. Меня судить надо... галактическим трибуналом, а вы!.. Это произвол. Я протестую... Не надо, дяденька миленький, я и в лаборатории вам все покажу-у-уу-у! — *Из глаз Фимы полились крупные слезы.*

— Снимай штаны!!!

— Ну, чего на мальца напустился-то! — раздался позади знакомый сиплый голос; одновременно в комнате распространился винный запах.— Ишь, распоясался! Вот он я, сам явился. Что дальше?

В дверях стоял Спиридон Математикопуло. Он был в тех же светлых брюках, в туфлях с дырочками, только свитер сменил на голубую тенниску. Бросалось в глаза, что левая рука его явно короче правой, волосатой и жилистой, и как-то пухлее, нежнее, *моложе* ее. Младенческие пальчики сжимали ручку «дипломата». Глаза у вошедшего были осоловело-отрешенные, веки набрякли.

«Да,— подумал совмещенный Долгопол-Звездарик, стоя посреди комнаты с ремнем в руке,— что же действительно дальше-то?..»

ПЯТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛЛИВЕРА



Весь покрытый зеленью,
Абсолютно весь,
Остров Невезения
В Океане есть.
Там живут несчастные
Люди-дикари —
На лицо ужасные,
Добрые внутри.

Песенка из кино

ПРЕДИСЛОВИЕ

Михаил Зощенко написал «Шестую повесть Белкина», братья Стругацкие «Второе нашествие марсиан» (совсем не по Уэллсу, кстати),— лиха беда начало. И вот перед вами, уважаемый читатель, «Путешествие Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей, в страну тикитаков»— пятое по общему счету.

Тот, кто внимательно прочел четыре предыдущие путешествия: в Лилипутию, в Бробдингнег, страну великанов, на Лапуту (с заездами в Бальнибарби, Лаггнег, Глаббдобдрид и Японию) и в страну гуигнмов,— не мог не заметить, что герой, отправляясь почти во все странствия корабельным хирургом, нигде себя в таком качестве не проявил. Правда, следует учитывать, что в те времена, когда святая церковь воспрещала врачам действия с «пролитием крови», хирургия (по-древнегречески «рукоприкладство») вовсе не считалась вершиной в медицине, как теперь; его даже отдавали на откуп цирюльникам и банщикам — вспомним вывески «Стрижем, бреем, кровь отворяем». То есть титул «корабельный хирург» равнялся, в лучшем случае, фельдшерскому. Но и в этом случае — все равно никак: Гулливер нигде даже вывиха не вправил.

Почтение к Свифту не позволяет нам считать, что он допустил элементарную литературную ошибку, повесил «нестреляющее ружье». Легче — да и интереснее — принять, что было еще одно путешествие, по каким-то причинам не преданное гласности, в котором герой как раз и проявляет себя в надлежащем качестве.

Вот это оно и есть.

Помимо того, до сих пор остается тайной, как Джонатан Свифт и его герой в начале XVIII века смогли узнать то, что астрономическая наука установила только полтора столетия спустя: наличие именно двух спутников у Марса и параметры их орбит.

Данное путешествие раскрывает и эту тайну.

При всем том считаю нужным объявить сразу, что мое почтение к великому сатирику не простирается так далеко, чтобы ради него отказаться от своего взгляда на вещи и своей манеры изложения.

«Le style s'est l'homme», как говорят французы: стиль — это человек. Читатель несомненно заметит некоторые вольности в пересказе еще одного замечательного путешествия Л. Гулливера, утаенного им по указанным в конце мотивам от современников, но, я надеюсь, не будет слишком на меня в претензии.

ГЛАВА ПЕРВАЯ, ТРАДИЦИОННАЯ

Автор отправляется в плавание и попадает в переделку

...Волна вынесла крестообразный обломок верхушки фок-мачты, к которому я был привязан, на галечный пляж. Моя левая рука, свесившаяся с перекладины, пребольно ударилась о камни; в ней что-то хрустнуло. Но я был не в состоянии ощутить боль.

Не могу и сейчас определить, сколько дней носили меня морские стихии на этом обломке после того, как наш корабль «Северный олень» наскочил на рифы. Привязался я сам, когда понял, что начинаю впадать в забытье. Впоследствии я так и не встретил никого из команды корабля, ничего не слыхал об их судьбе; вероятно, все погибли. Да и со мной дело шло к тому же: снежная буря в южных приполярных широтах и последующее долгое купание наградили меня воспалением легких — я был в жару и вместо стонов хрипел; ссадины, полученные во время кораблекрушения, воспалились и от действия морской воды превращались в язвы. Все эти дни у меня не было ни крошки во рту, ни глотка воды. Последним ударом, который, похоже, сломал мне руку, стихии добивали меня.

Боль в руке все-таки принудила меня очнуться. Я лежал распятый на своем обломке, не имея сил ни отвязаться, ни, что хуже, бороться за жизнь, бороться со своей злосчастной судьбой, коя постоянно ввергает меня в беды. Судя по тому, что солнце висело в зените и палило вовсю, меня вынесло на сушу где-то в тропиках. Свесив голову влево, я увидел, как пляж переходит в обрывистый берег, по верху которого растут деревья с пышными кронами. Вскоре вода перестала омывать мои ноги, шум волн о гальку утих — начался отлив. Значит, до прилива я успею умереть на берегу и акулы не сожрут меня живым, как они уже пытались. Мысль эта принесла мне удовлетворение.

Когда появились «призраки», я и их воспринял совершенно спокойно — как видения предсмертного бреда, а может быть, уже и загробного мира. Странным показалось лишь то, что они говорят на каком-то звонком, чирикающем языке; но, собственно, почему я решил, что на том свете все должны изъясняться по-английски?

Эти существа освободили меня от пут, а затем и от одежды (в чем я тоже усмотрел определенную логику), приподняли, поддерживая, влили в рот воды. Свежая влага на минуту вернула меня



к жизни, я поднял голову, смотрел воспаленными глазами: существа как бы были и как бы не были — вместо тени они отбрасывали радужные ореолы, вместо плотных тел имели что-то переливчатое, сквозь что искаженно просматривался обрыв и деревья на нем... но в то же время по очертаниям и вполне человеческое. Нет, это не могло быть реальностью! Я сник, уронил голову.

Потом меня укладывали на носилки, везли (судя по колыханиям, между двумя лошадьми) по дороге в тени деревьев, снова укладывали на что-то неподвижное, упругое, пахнущее кожей; смазали все тело бархатной мазью, от которой кожа смягчилась и перестала саднить; поили какой-то пряной влагой. Затем меня перевернули на спину и, придерживая за руки и за ноги, начали весьма чувствительно колоть под мышками и в паху с обеих сторон — причем с каждым уколом в меня будто вливалось и расходилось по всему телу что-то дурманящее. Как уже сказано, я был в жару, в полузабытьи и, хоть и ежился от прикосновений «призраков», вздрагивал от уколов, но в целом принимал все как должное: раз здесь — где бы ни было это *здесь* — это делают со мной, значит, так и надо. После десятка уколов я не то впал в беспамятство, не то уснул.

Проснулся я от светивших прямо в лицо лучей солнца. Я лежал ничем не покрытый (не чувствуя, впрочем, холода) на упругой постели. Самочувствие было заметно лучше вчерашнего, хотя жар еще оставался, голова пошумливала; в левой руке ниже локтя пульсировала тупая боль. Хотелось есть — первый признак выздоровления. Несколько минут я лежал неподвижно, прикрыв глаза, вспоминал вчерашнее и пытался понять обстановку. Честно говоря, мне хотелось, чтобы многое из привидевшегося вчера осталось сном или бредом.

Открыл глаза, повел ими в стороны: комната с белым потолком и тремя стеклянными стенами, солнце, поднимающееся над пологой зеленой горой, ярко-синее небо, ветви близких деревьев. Четвертая стена была глухая. Чувствовалось присутствие многих людей и направленное на меня внимание.

Неловко поднялся, сел — подо мной был обитый черной кожей топчан,— огляделся. Да, не сон то был вчера и не бред: за прозрачными стенами на ярусах амфитеатра расположились «призраки». Их были сотни, многие сотни. И все смотрели на меня.

В первую минуту мне было не до встречного разглядывания их — я спохватился, что предстал перед туземцами нагим, прикрылся рукой, завертелся в поисках одежды. Но ничего не нашел. Толкнул дверь в глухой стене — заперта. Осмотрелся еще: в комнате ни портьер на окнах, ни гобеленов, ни коврика — вообще, ни клочка ткани, которым я мог бы обмотаться, чтобы выглядеть приличней. Только топчан да зеркала по углам в рост человека — но и у них стекло составляло одно целое со стенами-окнами.

От возмущения я забыл о голоде и боли в руке. Вот так: меня выставили напоказ. Для них, прозрачных существ, обычный человек — диковина, вот и выставили. Глазеют. Что делать: протестовать? ругаться? рычать? — чтобы им стало еще интересней?..

Я сел на топчан, скорчился, стараясь выглядеть поневинней, попытался успокоиться. Туземцы, дикари, дети природы, что с них взять; развлечений мало, вот и.. Глазеют — это еще ничего, бывает, что и едят. (Непохоже, что дикари: такие стекла я не видывал и во дворцах, пол блестит, как лакированный, большие чистые зеркала...) В конце концов не впервой: в Бробдингнеге меня хозяин возил в клетке, показывал в трактирах за деньги; правда, одетым и при шпаге. (А здесь, интересно, за деньги или так?)

Ну что ж, раз они рассматривают меня, мне ничего не остается, как рассматривать их. Не исключено, что среди этих любознательных ребят придется провести остаток дней, надо привыкать. Повернулся так, чтобы солнце не слепило глаза, поднял голову — и едва удержался, чтобы тотчас не опустить ее и не зажмуриться. Холод вошел в мою душу.

О мужественном человеке говорят, что он умеет смотреть в лицо смерти. Но представьте себе многие сотни «смертей» в их общепринятом воплощении (правда, без саванов и кос — да что те косы!), расположившихся в вольных позах на амфитеатре и глядящих на вас с интересом и ожиданием. Каков тогда окажется самый мужественный человек? Поэтому не буду кичиться своим мужеством: от немедленного сумасшествия меня спасло не оно, а то, что я врач: предметные медицинские познания. При прохождении курса не однажды доводилось, вскрывать и препарировать трупы, зарисовывать вид и расположение внутренних органов. Скелет же хирургу вообще положено знать на ощупь, каждую косточку.

И, овладев собой, я постарался смотреть на туземцев спокойным взглядом специалиста.

...С изрядной неуверенностью, тем не менее, я приступаю к описанию *тикитаков* (таково самоназвание этого народа). Во-первых, понимаю, какие чувства может вызвать у читателей неприкрытая натурность его,— сам их пережил. Во-вторых, литературные возможности у нас здесь крайне ограничены. Наиболее отработано в нашей художественной литературе описание лица — единственной постоянно обнаженной у европейцев части тела, виду которой в силу этого мы придаем исключительное значение. «Лицо — зеркало души». Я уж не буду говорить о том, что каждый знающий жизнь относится к этому тезису скептически, ибо не раз претерпевал от ловкачей с открытыми, честными лицами или от женщин; какое к черту зеркало! Но следует помнить о том, что мы вынуждены так считать — просто в силу необходимости: было бы обнажено у нас другое место, его считали бы «зеркалом». И применительно к нему

писатели строили бы свои великолепные описания движений души: «его грудь омрачилась от печали», «его спина побагровела и напряглась от гнева», «его поясница зарделась от смущения», «его...»— ну, впрочем, дальше не будем.

Теперь представьте, что все, решительно все в человеке доступно вашему взгляду — и даже более то, что внутри, а не снаружи. И если до этого вы — на основании рисунка, сделанного со случайного мертвеца,— были уверены, что внутренности у всех одинаковы, то теперь вы убедитесь, что ничего подобного: внутренний облик у каждого *неповторимо свой*. Более того, там — от разных настроений, состояний, а равно и известий, слов близких и т. п.— что-то омрачается, светлеет, искажается, вытягивается, багровеет, бледнеет... И каждый орган, каждое место в *«инто»* (так называют тикитаки свой полный вид) имеет свое выражение — настолько красноречивое для понимающих его, что по нему узнают о человеке куда больше, чем по лицу. На него тикитаки нечасто обращают внимание.

Но, к сожалению, в силу скудности литературных средств об этом я могу дать читателям только общее представление, не более. В конкретных же дальнейших описаниях могу лишь обещать, что не будут перепутаны сердце и желудок (и иные органы, разумеется) — а в остальном, как говорится, да поможет мне бог!

Скелеты сидящих в амфитеатре бросились мне в глаза не потому, что были заметней прочего, а — страшнее. Напугали. Они тоже были прозрачны, все кости янтарно просвечивали; приглядевшись и привыкнув, я нашел, что выглядят эти каркасы вполне респектабельно. Да и ниши глазниц смотрели не зловеще черными провалами — ведь в них находились глазные яблоки. По строению скелетов (и только по этому) я отличал мужчин от женщин; и тех, и других здесь было примерно поровну. Головы дам украшали темные волосы, собранные в высокие прически.

Наиболее заметными у всех были области головы и позвоночника из-за непрозрачности мозга, а также сердца, печени, почки и крупные сосуды — из-за непрозрачности крови. Причем, поскольку ткани этих органов и сосудов тоже были прозрачны, то выглядели они все непривычно, размыто: алые и темно-красные пятна в середине туловищ с отростками сужающихся и ветвящихся полос того же цвета. Пятна сердец и полосы крупных сосудов ритмично пульсировали, то расширялись, то сужались. А чем дальше от сердца, тем более мельчали и дробились потоки крови, растекались в кружева капилляров, кои не были видны, а замечались окрашивающей мышцы и ткани розоватостью.

«Многое отдал бы сэр Уильям Гарвей, чтобы увидеть это!»— подумал я.

Не было более ни страха, ни возмущения (раз я вижу то, что

вижу, то и они все нагие, значит, это в порядке вещей здесь,— чего же обижаться). Я смотрел, подавшись вперед. Ближние туземцы сидели в нескольких ярдах от стеклянной стены; за желто-прозрачными лбами их (у некоторых он переходил в лысину) я отчетливо различал изборожденную извилистыми складками серую поверхность мозга. От головы в янтарные шейные позвонки и ниже, до поясницы, опускался вырост спинного мозга; от него во все стороны растекались такой же сложной сетью, как и кровеносные сосуды, но куда более тонкие, нити нервов. Прочие внутренности, как и мышцы, и кожа, были настолько прозрачны, что угадывались более всего по преломлению ими света. В животах некоторых туземок что-то искрилось, поблескивало — издали я не мог разглядеть что. Сидевший в первом ряду мужчина с массивным костяком поднес к зубам трубку: дыхательное горло и легкие его голубовато очертились от затяжки дымом.

«Мозг и кровь,— вертелось у меня в голове,— кровь и мозг!» Скелет — каркас и опора тела, мышцы движут, пищеварительные органы питают... Но если бы мне предложили выделить самое главное, то для разумного существа иного и не выберешь, кроме мозга — носителя разума, и крови — носительницы жизни. То есть вряд ли, что это у них сами, от природы, выделились наименьшей прозрачностью главные вещества разумной жизни... выходит, *выбрали?!*

Но если так, то я попал совсем не к дикарям. Наоборот, вполне возможно, что это я в их глазах выгляжу дико. Эта мысль заставила меня отвлечься от наблюдения *прозрачников* (теперь и в уме мне не хотелось именовать их туземцами), перенести внимание на местность.

Амфитеатр расширяющимися дугами ступеней из белого камня поднимался на два десятка ярусов; по бокам и в середине были проходы. Далее в гору шла прямая, мощеная и усаженная по бокам деревьями улица; по обеим сторонам ее стояли дома в один или два этажа, стены которых блестели сплошными окнами. Слева от амфитеатра углом выступало многоэтажное здание сложной архитектуры, тоже почти все из стекла. Непохожа местность на дикую, совсем непохожа!

Из глубины улицы примчали на лошадях двое, соскочили, зацепили поводья за колышек, сами стали пробираться по ступеням вниз. Это были мужчина и женщина, видимо, опоздавшие к началу зрелища. Лошади — непрозрачные, одна гнедая, другая вороная, хорошо ухоженные — стояли смирно, только подергивали кожей и помахивали хвостами. Мой взгляд задержался на них гораздо дольше, чем они того заслуживали; я вздохнул.

Внизу слева тоже произошло движение. Переведя глаза туда, я увидел, как на возвышение в форме усеченной пирамиды из того же светлого камня поднялись трое; их янтарные скелеты выражали

достоинство, в руках были кожаные папки. Одновременно сверху, прямо перед стеной-окном моего дома, появилась и начала медленно опускаться люлька, похожая на ту, в которой маляры и штукатуры перемещаются вдоль стен, но более ажурная, сделанная из бамбука. В ней находился долговязый худой туземец, который делал какие-то указующие жесты, а рядом с ним весьма обширная женщина; она — в этом я не мог ошибиться — стояла спиной ко мне. Механизм, который перемещал люльку во всех направлениях, находился, вероятно, на крыше домика, я его не видел. Люлька на некоторое время зависла напротив меня, затем поплыла к пирамиде и развернулась так, что женщина в ней оказалась спиной к тем троим. Мужчины один за другим что-то говорили, указывали в мою сторону то рукой, то папкой; когда речь длилась долго, люлька поворачивала женщину в ней спиной ко мне.

По этому ритуалу да еще по тому, что взгляды сидевших в амфитеатре теперь преимущественно были устремлены к пирамиде, я заключил, что на ней находятся немаловажные особы, какие-то сановники, а может быть, и здешние правители. Вспомнив, что учтивость и хорошие манеры никогда меня не подводили, я приблизился к левой стеклянной стене, отвесил этим троим глубокий поклон — с выставленной ногой и надлежащими взмахами правой руки, хоть и без шляпы в ней; не уверен, что у нагого это выглядело слишком уж изящно, но что оставалось делать! Затем распрямился и обратился к сановникам с речью. Я сказал, что благодарен от всей души за мое спасение и рад буду отплатить за это услугами, какими только смогу, что родом я из могучей и просвещенной державы, которая имеет много заморских владений и охотно установит отношения с данной территорией; а сейчас я желал бы, чтобы меня выпустили из этой комнаты, вернули одежду и дали поесть. Последние просьбы я подкрепил красноречивыми жестами. Люлька с худым туземцем и неподвижной дамой в это время приблизилась ко мне. Вряд ли я был понят и даже отчетливо услышан через стекло, но сановники смотрели на меня благосклонно, а один даже кивнул. Во всяком случае мои манеры и внятная речь могли произвести на них впечатление, что я не дикарь.

Внезапно в амфитеатре произошло оживление. Туземцы указывали на меня, переговаривались. Затем зааплодировали, причем аплодисменты явно адресовались тем троим на пирамиде: они довольно кланялись. До сих пор я так самозабвенно рассматривал прозрачников, что не задумывался над тем, какое впечатление произвожу на них сам — своим телом, кожей, осанкой, лицом. А оно тоже должно быть изрядным, все-таки белый человек не такой частый гость в этих широтах. И чего это они возбудились, указывают на меня — будто только увидели, а не рассматривают добрый час?

Я подошел к зеркалам, образующим левый угол комнаты, взгля-

нул... и едва не грянулся на пол от стыда, отчаяния и ярости. Я был теперь более, чем голый, *на мне не было кожи!*

То есть она сохранилась, я ощутил прошедший по ней, по спине и бокам мороз, чувствовал на ощупь — и в то же время исчезла, растворилась, сделалась прозрачной. Моя белая кожа, признак европейца, признак расы! Я стоял перед зеркалом как освежеванный, весь в багровых мышцах, которые около суставов переходили в белую бахрому соединительной ткани и в тяжи сухожилий. Нетрудно было угадать, что произойдет дальше. Так вот для чего меня вчера кололи, впрыскивали что-то в тело: меня хотят сделать прозрачником, таким же, как и они все. И зачем мне вчера не дали умереть спокойно?!

Шатаясь, я дошел до топчана, рухнул на него ниц. При этом в левой руке, которуя я нерасчетливо выставил для опоры, что-то снова хрустнуло — и от сильной боли я потерял сознание.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Автор становится прозрачным.
Его размышления о покровах и скрытности.
Он исправляет себе перелом.
Опрометчивый поступок. Первый контакт

Вероятно, я довольно долго пролежал в беспамятстве: когда очнулся, солнце уже не грело мою спину, ушло за крышу. Но и придя в себя, я счел за лучшее лежать; чтобы обдумать ситуацию, это было удобней, чем маячить перед глазами у всех. Тем более, что я знал, *каким* теперь предстану перед туземцами...

Этот ужас, отчаяние... что, собственно, случилось? Все мое при мне, если не считать одежды. Я жив, на пути к выздоровлению (хотя вчера уже примирился с гибелью), в сравнительной безопасности. Почему же чувствую себя так, будто меня непоправимо изуродовали?

Потому что я, хоть и медик, но человек своей среды и своего времени. Скелет для нас символ смерти, тлена и праха, а уж потом каркас тела, опора его и учебное пособие. Вид внутренностей — тоже признак либо смерти (вскрытие), либо страшной зияющей раны, от которой недалеко до смерти. (Прибавим сюда и постоянные впечатления от потрохов рыб, кур, уток, поросят — всей разделываемой на кухне живности.) Да еще многовековые старания святой церкви, коя протестует против «пролития крови» и хирургических операций, против анатомических исследований — против всего, покушающегося на идею божественного происхождения человека, идею, которой мы охотно следуем и без усилий святош: конечно же, мы не такие, как прочие твари. Да, внутренности у нас есть — но их существование неприлично.

Несколько приличней нагая натура. Церковь и за нее по головке не гладила, низвергала и разбивала античные скульптуры. Но художники приноравливались, запечатлевали на полотнах натурщиков и натурщиц в виде библейских святых: распятые Христы, Марии Магдалины, святые Инессы, прикрытые только волосами, побиваемые камнями святые же Себастьяны, искушающие Иосифов Вирсавии, искушаемый святой Иероним... и прочая, и прочая. Если отвлечься от казенно-постных сюжетов, то сутью всех картин было одно: утверждение облика человека. Именно с обнаженной натурой связаны художественные каноны красоты тела, классические пропорции.

Но это в искусстве, коего обычная жизнь всегда пошлей. В ней приличен и красив Человек Одетый. Хорошо одетый. Именно он и есть гомо сапиэнс. К тому же можно скрыть изъяны телосложения, с помощью тканей, стеганой ваты, каблуков, шнуровки и т. п. повыгодней подать себя. Я оскорблен (и даже напуган) неприличием того, что сделали с собой туземцы и что они делают со мной. Но чем, скажите, приличней все эти ватные груди и плечи, засупоненные в тугие корсеты вялые животы или ватные валики, подкладываемые дамами под юбку, чтобы соблазнительно выпятить свой невоодушевляюще плоский зад! Я уже не говорю о подкрашивании и оштукатуривании лиц. Да и у мужчин... Какое громадное значение, к примеру, мы придаем своим волосам — и какое значение вслед за нами им придают портретисты и романисты, как старательно они выписывают и описывают наши шевелюры, прически, усы, бороды, баки, брови! Чем, скажите, волосы на голове для выявления индивидуальности нашей важней тех, что растут под мышками, на груди или в паху? Взял и сбрил; внешность изменилась, а суть?

Покровы защищают нас от стихий? О да: нижнее белье — от воздействия на кожу верхнего платья, дом или экипаж с лакеем на запятках — от воздействия сырости на верхнее платье. Для защиты от стихий так много всего не надо.

Мы лжем своим видом не меньше, чем словами. Скрытничаем в одном, выпячиваем сверх меры другое. Изо дня в день, из века в век. И так привыкли, что остаться без прикрытия — одеждой, волосами или хотя бы непрозрачностью тела — для нас катастрофа. И для меня тоже? Ведь я-то знаю, что главное в нас — внутри, а не кожа и не румянец на ней. Почему же это должно быть скрыто? Что красивее — внешность или внутренность?

...Был такой Леонардо да Винчи, флорентиец, известный картинами и фресками. В Виндзорской библиотеке хранятся кипы его анатомических рисунков; они, безусловно, всегда будут менее популярны, чем «Мона Лиза» или «Тайная вечеря», но я их рассматривал подолгу. И не только из профессионального любопытства:

там даже рисунок распиленного пополам черепа наводит на размышления о смысле и красе живого. Картины Леонардо, где выписано внешнее, будут жить долго именно потому, что он хорошо знал и внутреннее.

И то, и другое — прекрасно, если в этом есть правда, есть жизнь, есть мысль.

...И вот люди, у которых все пошло в другую сторону: их «внешность» суть внутренность. И ведь похоже, что не от природы это, а сами делают свое тело прозрачным. (Качество для живой ткани, кстати, не такое и диковинное: медузы прозрачны, улитки, некоторые морские рыбы; да и у нас в тонких местах тело просвечивает, особенно у детей). Ну, не без того, что климат здесь благодатный, тропический, одежды не слишком нужны. У них из этого всего возникли свои нормы общежития, приличия, представления о человеческой красоте... лучше или хуже наших? В одном отношении должны быть лучше: меньше возможности лгать своим видом, меньше скрытности. (боюсь, что это слишком хорошо и для меня самого,— но куда денешься!..) И — это интересно.

Эти сумбурные мысли были хороши тем, что дали мне мужество подняться. Я сел на топчане, стараясь не обеспокоить левую руку. Туземцев в амфитеатре поубавилось; многие приветствовали меня поднятием руки — теперь я был им *свой*. Люлька с худым мужчиной и полной дамой (которая все так же стояла спиной ко мне) висела перед домом.

Я подошел к зеркалам в углу. И — как ни убедительны доводы рассудка, но чувствам не прикажешь,— после первого взгляда на себя зажмурился; это было бессмысленно, ибо и сквозь веки я теперь видел, только искаженно. «Что же они со мной сделали?! Что от меня осталось?!..»

Раскрыл глаза, принялся смотреть — что.

Из внешнего — только волосы: отросшие за время скитаний темные пряди, щетина усов и бородки, брови; все они видны с корнями, не касающимися костей черепа. Еще глаза, синие радужницы с черными зрачками на белых глазных яблоках, которые свободно парят в глазницах. И зубы — все тридцать два на виду: по четыре крепких белых резца сверху и снизу, по паре клыков и по десятку коренных. Я обычно гордился тем, что, несмотря на трудную жизнь, у меня целы и крепки все зубы,— но сейчас был не прочь, если бы их оказалось поменьше.

Вот и все черты, которые я могу признать своими. А в остальном я не я и плоть не моя.

...Нос, мой прямой, правильный нос с четко вырезанными удлиненными ноздрями и умеренной высокой горбинкой, нос, который делал мое лицо мужественным и привлекательным, которым я любовался, бреясь по утрам,— где он?! На месте его постыдный чер-

ный провал, как у сифилитика, а сверху короткий костный выступ, разделенный трещинкой-швом. Потрогал — есть, повернул голову — что-то чуть обрисовалось, обозначилось переливом света и искажением контуров провала. Но это же не то!

А уши? Вместо красивых, прилегающих к черепу ушных раковин с короткими мочками — чутошные блики — переливы света да несколько прожилок у височных костей. И все?..

(Читатель поморщится: то размышлял на нескольких страницах, теперь вертится перед зеркалом, как кокетка... а где действие?! Какое вам еще, к едреной бабушке, действие, уважаемый читатель? Должен же я разобраться в своем имуществе. Случись такое с вами, вы бы дольше торчали у зеркала.)

Словом, хорош. «Веселый Роджер», прямо хоть на пиратский флаг.

Для полноты впечатления сложил крестом перед грудью прозрачные руки — и левая сразу напомнила о себе толчком боли. Что у меня там? Рука просматривается насквозь: лучевая и локтевая кости, вена, артерия, сухожилия... только в больном месте все мутное, будто в розовом тумане. Ага, вон что: скрытый перелом лучевой вблизи локтя, косой разлом, верхняя и нижня части кости разошлись, между ними просвет.

Приблизил левое предплечье к зеркалу так, чтобы видеть все с двух позиций, стиснул зубы — и правой рукой (не обращая внимания на то, что вместо пальцев видны одни фаланги) свел обломки точно, излом в излом. На лбу, на незримой коже, от боли выступил пот. Но сразу стало легче: попал. Хотел бы я всегда так вправлять переломы!

Шум за стеклами. Оглянулся: мне аплодируют, некоторые подняли большие пальцы. Оценили, смотри-ка!

От этой операции я ослабел. Вернулся к топчану, сел. Меня сейчас мало занимало то, что я — зрелище для прозрачников. Оглядел комнату и понял, что, пока я лежал в беспамятстве, в ней побывали: угол возле глухой стены был отгорожен бамбуковыми ширмочками. Подошел, заглянул — что там?

Стульчак из досок, под ним посудина с крышкой и одной ручкой... как мило с их стороны. Рядом сиденье, во всем похожее на стульчак, только без дыры; на нем три такие же посудины с одной ручкой, но меньших размеров. Поднял крышки: в одной нечто вроде супа с кусочками овощей и мяса, в другой — отварной рис с какими-то мелкими фруктами, в третьей — комки душистого поджаренного теста. От вида и запаха пищи у меня даже в голове помутилось: наконец-то! Зацепил здоровой рукой сразу две кастрюльки, отнес на топчан, сбегал за третьей, сел и принялся поглощать рис и выловленные из супа куски мяса, запивая бульоном и заедая пончиками. Сначала даже челюсти сводило от голода.

В увлечении я совсем забыл о туземцах, но после нескольких глотков спиной почувствовал: что-то не так! Оглянулся: люлька исчезла, зрители поднимались со ступенек, удалялись вверх. К лицам некоторых настолько прилила кровь, что я увидел — едва ли не единственный раз — их внешние черты. Очертания были промежуточными между европейскими и азиатскими и у всех выражали негодование. Негодование цвета зреющего помидора. С пирамиды поспешно спускался «сановник» с папкой.

...Откуда мне было знать, что сейчас я совершаю неприличный поступок и невозвратимо роняю себя в глазах тикитаков. Конечно, не будь я так смертельно голоден, то все-таки задумался бы, почему еду мне оставили за ширмой и рядом со стульчаком. Я подумал бы и о том, что поскольку прилична прозрачность, то должно быть неприличным все непрозрачное в теле, чужеродное, как отторгаемое, так и усвояемое. Прилично ли выглядит наполненная экскрементами прямая кишка? Но ведь подобная картина получается в верхней части тела при питании, в пищеводе и желудке. Ни один тикитак не позволит себе показаться на людях как с непереваренной пищей в желудке и кишечнике, так и с неопорожненными нижними кишками; исключения допускаются только для младенцев. (Иное дело тогда, когда пищеварительная система используется для украшения, но об этом я расскажу особо.)

Боюсь, что этому своему промаху — наряду с так и оставшимся непрозрачным скелетом — я и обязан кличке «Демихом Гули»— получеловек Гули; от нее я не избавился до самого конца. Животные оба действия, и питание, и испражнение, совершают открыто; подлинно разумные люди (то есть тикитаки) скрывают от посторонних глаз; существо же, которое одно совершает скрытно, а другое нет,— получеловек. Логика есть. К тому же я, изголодавшись, накинулся на пищу с животной жадностью, жрал... Так и пошло.

«Сановник» с папкой ворвался в комнату, быстро переместил ширмы к топчану, чтобы они заслонили меня от стеклянных стен, погрозил мне рукой и исчез, защелкнув дверь. Я только успел разглядеть, что он невысок и широк в кости. (Очень скоро я узнал, что трое на пирамиде были вовсе не сановники, а простые медики, проводившие эксперимент со мной, *пробу на прозрачность*. А этот, ворвавшийся, Имельдин, стал моим опекуном, другом-приятелем, а затем и родственником. Сановники же и городская элита как раз и сидели в первых рядах.)

Как бы там ни было, я очистил все три посудины и почувствовал себя бодрее; жизнь продолжалась. То, что в амфитеатре поубавилось зрителей, мне тоже пришлось по душе: надоели. Я вернулся к зеркалам — осматривать себя, привыкать к новому виду.

...Да, теперь я непохож на себя и похож на них: прежде всего замечается скелет, размытые алые пятна печени и пульсирующего

сердца, полосы крупных сосудов — всюду парами, артерии и вены. Выделяется наполненный пищей желудок — прежде он был почти не заметен. Все оплетено ветвящимися до полной неразличимости нитями капилляров и тонкой сетью белых нервов. Мышцы же, соединительные хрящи, стенки извилистых кишок, перепонка диафрагмы — прозрачны, как вода, лишь преломляют-искажают контуры того, что за ними.

Кстати, почему так? Надо подумать... Меня кололи под мышками и в паху, *туда* вводили эту дурманящую жидкость, а не в вены. Похоже, что они в лимфатические узлы ее вводили, в ту систему тканевой жидкости в нас, что век назад открыл итальянец Бартолини. «В «бартолиниевы узлы». Поэтому и опрозрачнились ткани, более других богатые лимфой. Поэтому же выделяются кости, нервы и сухожилия.

Скелет мой выглядит контрастней, чем у туземцев, все кости непрозрачны, без намеков на янтарь; видимо, не сразу это достигается. В остальном же — крупный, хорошо сложенный мужской костяк. Прекрасно сохранившийся, как сказал бы тот старьевщик с Риджент-стрит, у которого мы студентами вскладчину покупали такие по цене от двух до двух с половиной гиней; женские шли дороже — от трех. Только этот еще неважно отпрепарирован, у суставов бахрома и обрывки тяжей-сухожилий,— их полагается срезать.

Я поймал себя на этих профессиональных мыслях, потер лоб: о чем я, ведь это же *мой* скелет, основа моего нынешнего облика! И он живой, ибо я жив. Его (мои!) сухожилия держат невидимые мышцы. Качнулся, подбоченился, отставил ногу... все выглядело так страшно, что снова мороз прогулялся по незримой коже: оживший препарируемый мертвец сбежал из анатомического театра и рассматривает себя в зеркало.

Ничего, спокойно, все мое — со мной, никуда не делось.

...И легкие видны не сами по себе, а лишь густой сетью мелких сосудов, оплетающих две полости под реберной решеткой. Поскольку же и сосуды заметны лишь по наполнению их кровью, то эти сетчатые полости будто мерцают в такт с ударами сердца: то есть, то нет (У курившего прозрачника из первого ряда легкие обозначались по-настоящему... не начать ли курить?) Сделал несколько глубоких вдохов: ребра приподнимались и раздавались в бока, затем опадали, сетка сосудов на легких тоже расширялась и съеживалась — и нитяные потоки крови в них стали ярче. Вот оно как!

А какова теперь мимика, движения лица, выражающие мои чувства? Например, удивление: поднять брови, расширить глаза. Худо дело: брови-то поднялись, но из-за невидимости морщин на прозрачной коже движение смазалось; а глаза и без того раскрыты до состояния крайнего изумления. Не лицом здесь, видимо, выражают это чувство... Но хоть улыбка-то должна действовать, как же без

улыбки! Щедро растянул незримые губы. Ага, кое-что есть: под собравшимися на прозрачных щеках складками крупнее — вроде как под увеличительными стеклами — выделились коренные зубы, резцы же и клыки стали чуть меньше. А если насупиться? Сжал и свел губы: боковые зубы уменьшились; в этом было что-то даже угрожающее. М-да... Что ж, надо запомнить, буду знать, кто сердится, кто расположен ко мне.

Ссадины и ушибы на моей коже оставались заметны, но будто парили над костями; ткани тела под ними, воспаленные и опухшие, оказывались мутнее и розовее, чем в иных местах. Значит, понял я, по-настоящему прозрачна может быть только *здоровая* живая ткань...

Не буду далее утомлять читателя описанием того, как я проникал в свое «инто», в свой внутренний облик. Зачем ему, в самом деле, знать о качествах, которые он вряд ли когда-нибудь приобретет,— растравлять себе душу?.. Перейдем лучше к повествованию, к описанию действий.

День клонился к вечеру, амфитеатр обезлюдел. Трое с папками спустились со своего пьедестала, вошли в комнату и обступили меня. Не стану уверять, что я не испугался: все-таки трое на одного, а я к тому еще нездоров, с перебитой рукой. Наверно, они это заметили, да и как не заметить: зачастило сердце, все внутри напряглось. Один туземец мягко взял меня за правую руку, другой положил прозрачную, но теплую ладонь на плечо, третий — уже знакомый мне коротыш — приставил руку к области моего сердца и сказал спокойно:

— А тик-так, тик-так, тик-так, бжжиии...

— А тик-так, тик-так, тик-так, бжжжии...— подхватили двое других.

Я и сам, стремясь подладиться, хотел повторить эту фразу, но у меня вышло только: «А!..»— вместо остального зубы выбили дробь. (Теперь я вспоминаю об этом с улыбкой: скелетами пугают, а видел ли кто скелет, у которого челюсти от страха ходят ходуном? Но это теперь...)

Не сразу я понял, что их «тик-так» идет в ритме моих сердебиений. Постепенно они замедляли темп — и мое сердце подчинялось ритму этой фразы! За минуту они свели частоту моего пульса к норме, я успокоился. А затем увидел, что сердца у всех нас четверых бьются одинаково! В один миг сокращаются, начиная с краев, выталкивают кровь вверх и вниз, в артерии, в один миг расслабляются. Никогда я не переживал ничего подобного: я не знал еще ни слова на языке этих людей, ни их имен, минуту назад опасался их, а сейчас испытывал к ним безграничное доверие, чуть ли не родство душ.

Такова сила этой фразы и ритуального приема (возможного, понятно, только у тикитаков). Потом я узнал, что с него у тузем-

цев начинаются любые серьезные общения: беседы, проповеди, обсуждения. А если посреди них возникают споры, разногласия и или иная сумятица, прием повторяется до успокоения и взаимопонимания.

После этого медики подвергли меня процедуре, в которой, как мне показалось, сильно злоупотребили моим доверием: повалили на топчан и принялись, поворачивая и переворачивая, сильно щипать в разных местах — с вывертом. Действовали они увлеченно, указывали друг другу места, где надо щипнуть, спешили опередить один другого, толкались, чуть ли не ссорились. Некоторым местам досталось по два-три пребольных щипка. Я чувствовал себя вряд ли лучше, чем во время той атаки акул, едва сдерживался, чтобы не заорать, не вскочить.

Покончив в этим, все трое принялись поглаживать меня, успокаивать той же фразой: «А тик-так, тик-так, тик-так, бжжиии...» — и замедлили ею мои ритмы настолько, что я расслабился, почувствовал сонливость — и уснул.

Утром следующего дня я проснулся здоровым, без жара и хрипов в легких. Исчезли ссадины на теле. Даже лучевая кость в месте сведенного мною перелома уже обволоклась белесым мозолистым телом — признаком надежного срастания. Таковы были эти щипки.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Автора предъявляют академической комиссии.
Он поселяется у опекуна.
Дерево тиквойя и его плоды.
Семейная жизнь автора. Проблема тикитанто.
Внутренний монолог тещи
и пояснения к нему

Этим утром я был представлен (или, может быть, точнее — *предъявлен?*) авторитетной комиссии. Коротыш Имельдин, который хлопотал около меня более других, явился первым, придирчиво осмотрел меня, повелительным жестом отправил за ширму на стульчак, чтобы я выглядел *прилично* к приходу высоких гостей. Затем двое его коллег ввели в комнату четырех тикитаков разного роста, сложения и внутреннего вида, которых — помимо папок в руках — объединял один признак: полное отсутствие волос на черепе, благодаря чему были видны все извилины из мозгов. Позже я узнал, что это были *академики*.

Ученые поставили меня у стеклянной стены так, чтобы лучи восходящего солнца просвечивали мое тело, долго рассматривали, поворачивая то одним боком, то другим, указывали друг другу на различные подробности моего строения. При этом они живо переговаривались — и не только словами и жестами, но и, на что я обратил внимание, игрой внутренностей. Медики, когда академики

обращались к ним с вопросами, отвечали кратко и почтительно.

Как мне впоследствии рассказал Имельдин, комиссия признала, что пробу на прозрачность я прошел удовлетворительно; во всяком случае явно лучше своего предшественника. (Этот «предшественник», тоже выброшенный сюда океаном, какой-то бедолага, сделавшись прозрачным, просто впал в буйное помешательство; его на веревках отвели к берегу, и он вплавь бросился прочь от острова — конечно, далеко не уплыл.) За самостоятельное исправление перелома мне можно было бы поставить и «хор.», то есть признать близким по развитию к тикитакам, но выходка с питанием все испортила. Кроме того, прискорбно, что мой скелет и череп остались непрозрачные: неясно, сколько у меня извилин, да и есть ли они. Внешне я выгляжу довольно цивилизованно, обладаю началами речи и нормальным «инто» — диалог со мной возможен. Постановили: отдать под опеку Имельдину для обучения языку и введения в курс здешней жизни. Дальнейшая судьба *демихома* будет зависеть от его успехов.

После этого я в сопровождении опекуна покинул демонстрационный павильон. Мы поднялись по амфитеатру и направились в верхнюю часть города, к нему домой. По мощеным, обсаженным деревьями улицам сновали тикитаки и тикитакитянки — кто с папкой в руке, кто с сумкой через плечо; некоторые проезжали на лошадях. Иные курили — и легкие их затемнялись красиво клубящимся синим или зеленым дымом. Вместо тени все отбрасывали причудливые радужные ореолы. Около домов играли почти прозрачные дети. Фасады зданий блестели от обилия встроенных зеркал; многие тикитаки останавливались перед ними. В двух местах я заметил за домами высокие ажурные башни, шпили которых были увенчаны чашами из мозаично составленных зеркал; вероятно, это были храмы.

Я ни о чем не мог спросить, только глядел во все глаза. Самого же меня сегодня никто не замечал; лишь некоторые встречные задерживали взгляд на моем странно темном скелете. Да и спутник мой, находившийся вчера в центре внимания, за весь путь раскланялся с двумя или тремя знакомцами.

Имельдин превосходил меня по возрасту, уже перевалил за середину жизни. Как я говорил, он был медик, по его словам, лучший медик страны; однако если учесть, что на острове их не насчитывалось и десятка, то вряд ли это была большая высота. Профессия вымирала из-за отсутствия больных, отсутствия практики. (Поэтому они вчера так и теснили друг друга, пользуя меня щипками с вывертом, методом, родственным иглоукалыванию: каждый хотел попрактиковаться.) Взрослые островитяне не болеют — кроме одряхления и уменьшения прозрачности в глубокой старости; но таких и не лечат. Детские возрастные заболевания своих отпрысков

родители обычно устраняют сами или с помощью учителей. Медики же находят применение своим знаниям в разных побочных промыслах, например, исполняют заказы на *внутреннее декорирование* — но и те перепадают нечасто.

Все это, как и многое другое, рассказал мне мой опекун, как только я немного усвоил *тикитанто*, точнее, его начальную внешнюю ступень: слова и фразы. Я слушал его с сочувствием: мы были коллегами, да и разве не в таком же упадке, хоть и по иным причинам, пребывала в Европе благородная профессия хирурга — патент на нее за умеренную цену мог купить любой невежественный цирюльник или банщик. А здесь, выходит, квалифицированнейшие медики, чтобы заработать на жизнь, становятся... цирюльниками!

Чем ближе к окраине, тем мельче становились дома, реже попадались зеркала на их фасадах или стенах. Здания здесь были сплошь одноэтажные, только с округлой надстройкой — не то башенкой, не то мезонином. Дом Имельдина находился в самом конце улицы, далее поднимался в гору лес; выглядел он так же скромно — одноэтажный, с мезонином. Мебели внутри было мало, что, впрочем, соответствует общему стилю у тикитаков: топчаны, табуреты, редко стулья и почти никогда кресла; последние я видел только во дворце. Но мало было и зеркал, всего по два-три в каждой комнате (и ни одного на фасаде дома), а это уже признак бедности.

Когда мы вошли, произошел приятный эпизод: дочь медика Аганита, молодая девушка, находилась, против обыкновения, не у себя в мезонине, а в гостиной, прихорашивалась перед самым большим зеркалом. При появлении отца в сопровождении рослого и несколько странного по виду незнакомца она растерялась, отчаянно смутилась и вся покраснела. Прилив крови к коже как бы одел ее в розовое и просвечивающее девичье тело. Это было прекрасно. Такой она и убежала к себе наверх.

Жена моего опекуна Барбарита, сорокалетняя дама, пышность форм которой увеличивала выразительность ее «инто», хлопотала по хозяйству во дворе. При виде нас она тыльной стороной ладони откинула темные волосы со лба, повернула голову в мою сторону, кивнула с поджатыми губами (это я понял по величине ее передних зубов) и продолжала задавать корм теленку и гусям, обыкновенному пегому теленку и обычным серым гусям, в отгороженном уголке двора. Видно было, что мое появление ее не слишком обрадовало.

После нашего прихода Имельдин первым делом уложил меня в своей комнате на топчан и снова ввел под мышки и в область паха сок зрелых плодов *тиквойи*, который и делает живые ткани прозрачными. Этот чуть дурманящий и ароматно пахнущий сок — *тиктакол* — по виду похож на подсиненную воду. Он наполняет ячейки плода, по форме и цвету подобного перцу, но заканчивающегося

внизу острием — вроде колючки акации, но полым внутри. Медик лезвием аккуратно срезал наискось кончик колючки — получилась полая игла. Ее он вводил мне в лимфатический узел и осторожно выжимал плод.

Такие операции он и далее совершал надо мной ежедневно, расходуя за раз от четырех до шести плодов — в зависимости от их размеров. Себе тикитаки для поддержания прозрачности обычно вводят тиктакол раз в неделю, строго по фазам луны: в I четверть, в полнолуние, в III четверть и в новолуние. Кроме того, они делают себе дополнительные инъекции для различных целей. Так, перед выходом в город — по делам, в гости или на свидание — приличия требуют осветлить интимные места (а у женщин — также и груди) до практически полной невидимости; это как бы одевание наоборот.

(На этот счет у тикитаков строго, никакой святоша не смог бы придраться, что их облик возбуждает нечестивые мысли и низменные чувства. Дело облегчается еще и тем, что как раз в этих местах наиболее густа сеть лимфатических сосудов. И в то же время нравящиеся друг другу мужчина и женщина всегда могут обозначить такие места и органы чуточным кратким приливом крови к ним; это тоже считается приличным.)

Дерево тиквойя, которому жители острова обязаны как своими качествами, так и вытекающими из них благами, считается у них священным. Оно имеет толстый ствол с плотной бурой корой, на высоте человеческого роста переходящий в многоветвистую крону. Листья тиквойи жесткие и блестящие, как и у большинства вечнозеленых растений, по пять на одном черенке. Цветет и плодоносит оно круглый год. Бело-розовые мелкие цветы со слабым запахом, тоже чуть дурманящим, собраны в торчащие свечами соцветия: каждый цветок дает завязь, но большинство плодов опадает зелеными, на грозди созревают два-три, а то и один — правда, крупный.

Я не встречал в иных местах подобных деревьев. Здесь же они растут повсеместно — рощами или по отдельности; во дворе Имельдина росли две тиквойи. Ни один островитянин не уклонится от обязанности окопать, полить, опрыскать окрестные тиквойи, поставить подпорки под отяжелевшие ветки, огородить молодые деревца от скота.

— Значит, если не вводить себе тиктакол, станешь норм... то есть, я хочу сказать, утратишь прозрачность?— спросил я как-то своего опекуна.

— Вероятно, да,— ответил он.

— Почему «вероятно», разве не бывает желающих?

Вопрос вызвал у Имельдина иронические переливы в области шеи и легкое покраснение боковой части мозга, признак изумления.

— А у вас много бывает желающих стать больными, дураками и изгоями?

Познакомившись с жизнью тикитаков, я понял, насколько нелеп был мой вопрос. Но сам факт того, что от прозрачности в случае чего нетрудно избавиться, меня не огорчал.

...Сейчас, когда я пишу этот отчет, каждая строка его, каждое воспоминание вызывают у меня тоску о Тикитакии, утерянной навсегда. А тогда, что скрывать, я тосковал о привычной для меня (нормальной, как мне казалось) жизни. Ностальгия по штанам и белой коже.

Эта же ностальгия подвигла меня на действия в отношении Аганиты. Мне запомнилось, как она при моем первом появлении от смущения «оделась» в тело, захотелось еще разок увидеть ее такой. Случай скоро представился: выйдя из своей комнаты в гостиную, я снова застал Аганиту у зеркал (что и как может прихорашивать в своем «инто» молоденькая девушка, я тогда еще не понимал). При виде меня она воскликнула: «Аххх!..»— прекрасно порозовела-обрисовалась и не спеша направилась к себе. Я стоял, не в силах вымолвить слово.

Это «Аххх!..» повторилось несколько дней спустя, потом еще... Вот так и получилось, что Аганита теперь ждет ребенка. От меня. Нагому мужчине, к тому же долго воздерживавшемуся, в некоторых случаях бывает невозможно совладать с собой. Впрочем, Агни, моя Агата, впоследствии призналась, что и сама хотела, чтобы я ее еще разок смутил.

Увы, как это бывает со всеми женщинами, она скоро перестала смущаться и краснеть — и тем утратила для меня немалую долю привлекательности. Особенно трудно было по утрам, когда, пробудившись от снов (а надо ли говорить о том, что все они были из моей прежней жизни!), я видел рядом нечто такое, что и присниться не может. Я урезонивал себя, что и сам выгляжу не лучше, что видеть — это еще далеко не все, в данном случае даже и не главное. И постепенно я действительно понял и оценил подлинную красу своей любимой.

...В детстве у меня была игрушка «венецианский шарик». Матовый стеклянный шарик, приятный на вид; но если его опустить в воду, то поверхность исчезала и под ней открывались многокрасочные витые фигуры, таинственные цветы. Моя Агата была подобна этому шару. Другую такую я уже не встречу.

Не скрою, что происшедшее между нами осложнило мое пребывание в доме Имельдина. Дело в том, что я — в полном соответствии с известной поговоркой — преуспел раньше, чем выучил язык тикитаков в достаточной степени, чтобы объясниться с родителями, сообщить о своих серьезных намерениях — короче, попросить руки Аганиты. Между тем тех месяцев, после которых становится заметной беременность обычных женщин, в запасе не было: все стало явным в первую же неделю. Сам опекун отнесся к факту спо-

койно, даже, как мне показалось, был доволен. Но моя будущая теща, достопочтенная Барбарита, просто рвала и метала.

Проблема освоения тикитанто состояла в том, что язык, который во рту, а равно и гортань, губы, носовая полость,— играют в нем далеко не главную роль. Поэтому мне, знавшему многие европейские языки, а кроме них, и язык лилипутов, бробдингнежи, лапутянский и весьма трудный в произношении язык гуигнгнмов, здесь пришлось столкнуться с трудностями, преодолеть которые я так и не смог. С помощью Имельдина, а затем и Агаты я усвоил только *внешнее* тикитанто — то, что мы обычно называем языком: слова, фразы, речь. Но на острове это лишь официальный язык, способ общения, при котором не обязательно видеть того, с кем общаешься: язык статей, служебной переписки, официальных записей. Человек, который пытается так объясниться с другими, особого доверия не вызывает (как и у нас не вызовет доверия человек, изъясняющийся в обиходе языком газет или научных монографий).

Подлинное же общение, общение-взаимопонимание идет у островитян на *внутреннем тикитанто,* в основе которого лежит, с одной стороны, простой тезис «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», а с другой — прекрасное владение своими внутренностями. Способность эта у тикитаков такая же врожденная, как у нас способность к речи, да еще оно развивается в школе и обогащается в последующей жизни.

Понять, насколько этот внутренний язык богаче внешнего, нетрудно, если вспомнить, что звуковую речь делают сокращения мышц языка и гортани — всего-навсего. Сопоставьте это с тем, что наблюдаемы и несут свою информацию все движения легких при этом (выдох верхушками, серединой или самой глубиной их, больше правым или больше левым и т. п.), все колебания диафрагмы, все меняющиеся распределения крови по тканям, дающие их окраску и темп этих изменений; что важно, под каким углом — с точностью до градуса — собеседник видит органы общающегося с ним, их расслабленность, подтянутость или поджатость (то самое *выражение* их, о котором я поминал); прибавьте еще и то, что выделения секретов из желез дают зримую окраску чувствам собеседников (зависть, например, зеленого цвета — от желчи); учтите и то, что все эти *внутренние образы* сменяют друг друга с удобной для ваших глаз быстротой,— и вы поймете, что слова и фразы ничто перед этой информацией.

Особенно красноречивы легкие, диафрагма и картины распределения покраснений в мозгу; по последним вообще можно понять, о чем человек думает и что собирается делать.

Понимать сей язык внутренностей я более-менее научился. Но

когда сам пытался выразить на нем хоть что-то, то, как ни упражнялся перед зеркалами, как ни копировал своего наставника, все выходило невразумительно и фальшиво. Видимо, с этим надо родиться. Кончилось тем, что Имельдин сказал мне:

— Знаешь, научи-ка ты лучше меня английскому!

Вслед за ним моим языком овладела и Агата. И впоследствии, когда я, корчась и тужась, пытался изобразить им что-нибудь на внутреннем тикитанто, то в ответ всегда слышал фразу на родном языке:

— А теперь объясни, что ты хотел сказать.

Но вершиной общения является даже и не это, а — *женское тикитанто*. В силу темперамента тикитакитянок, а также отменного владения ими своими оптическими свойствами (о чем рассказ впереди) им звуковая речь вообще практически не нужна.

Мне однажды довелось быть нечаянным свидетелем получасовой перепалки между Имельдином и Барбаритой, в которой не было произнесено ни слова. Впрочем, перепалка — это, пожалуй, не совсем точно: в основном выступала Барбарита, а опекун лишь пытался вставить в ее монолог реплики. Дело происходило во дворе под вечер, я наблюдал за сценой из окна нашего с Агатой мезонина; Имельдин меня не видел, а достопочтенная, хорошо освещенная заходящим солнцем теща если и заметила, то, видимо, была уверена, что недотепа-чужестранец все равно ничего не поймет. Она вообще ставила меня невысоко.

Пышность прозрачных телес Барбариты делала возникающие в ней внутренние образы-фразы настолько выразительными, что, переводя их в слова, я вынужден злоупотребить восклицательными знаками.

«...А ведь предостерегала меня моя покойная матушка, чтобы я не выходила за медика, просила и плакала! Дурочка была легкомысленная, вроде Аганиты! Ды и ты был тогда куда как мил, тонкий, звонкий и прозрачный, могла ли я устоять! Теперь не тонкий и не звонкий, а ума (трепетное покраснение в лобной части мозга) сколько было, столько и осталось, если не убавилось! Все мечешься, мечтаешь, ловишь удачу, ходишь с папкой, а лучше бы с сапкой, взял на нашу голову этого Демихома Гули, а он уже и в зятьки пристроился, внука нам смастерил, дурное дело нехитро! (Не решусь пересказать, какими местами и как это было выражено.) Даже лошади у нас нет, ни тебе в город выехать, ни мне, перед соседями стыдно, когда одалживать приходится, да и зеркал у нас меньше, чем у всех! Вон у Баргудинов, напротив, по четыре, по пять в каждой комнатке, все угловые или трюмо, у Адвентиты, хоть она и вдова, чему я начинаю завидовать, тоже много, да все большие, и на фасаде есть... А у нас?! (Трепетные, как всхлип, дрожания диафрагмы и верхушек легких; кишечник под печенью чуть позеленел.) Сам

ничего в дом не приносишь, и зятек с тебя пример берет, ему предлагали работу, так нет, видите ли, не по нему, отворотил афедрон, куда там, а ведь две учительские ставки сулили! Достатков никаких, сбережения ничтожны, от Аганиты помощи мало, да и внучонка она скоро нам подарит, доченька моя неудачливая, такая же дурочка, как и я была в молодости... А на что жить будем?! Если так и дальше пойдет, то мне придется идти подрабатывать своей печкой — это при живом-то муже!!!»

Имельдин только стоял перед ней, пытаясь — движениями гортани и пищевода, похожими на глотательные, подтягиванием и расслаблением живота, короткими вздохами — вставить и свое мнение: «Да погоди ты, послушай!.. Ну, знаешь!.. Успокойся, ради бога! Ну и ну!..» И лишь когда его жена удалилась, победно переливаясь и блестя в лучах заходящего солнца, произнес одно слово:

— Зараза!

Два места в водопадном монологе достопочтенной Барбариты требуют пояснений. Первое — это о «работе», которую мне предлагали и от которой я якобы «отворотил афедрон» (выражение и само по себе более обидное, чем «отворотил нос», а уж если это показывают!..) Ну, прежде всего панические причитания тещи о малых достатках и «на что жить будем» неоправданы. Судите сами: расходов на одежду никаких, на отопление — столько же; вследствие повышенного самоконтроля пища усваивается организмом тикитака гораздо лучше, чем у темнотиков (так они называют обычных людей),— следовательно, и ее требуется вдвое-втрое меньше.

Имеется усадьба, живность, огород, свои тиквойи; неподалеку — отличные охотничьи угодья. Иметь коня — бóльшая проблема (корма, стойло, уход), чем одолжить его у соседей на поездку. А надрываться из-за лишних зеркал... нет, здесь я целиком на стороне Имельдина. И, кстати же, сам я никогда не чурался сапки, помогал теще на огороде и по хозяйству, брал на себя самую неблагодарную работу на охоте. Но и в этом моего тестя можно понять: папка для тикитакского мужчины куда более престижна, ему следует выглядеть начальником, чиновником или на худой конец специалистом. Да и гонорары за внутреннее декорирование опекун не прогуливал, а приносил домой; другое дело, что они были редки и невелики.

Теперь о приглашении на «работу». Однажды — это было на второй месяц моей жизни на острове — к нам заявились трое мужчин с бутылкой. Я умел уже отличать одни внутренности от других в достáточной мере, чтобы составить представление о человеке (как мы его составляем по лицу, голосу, одежде), и обратил внимание на то, что «инто» всех троих выглядели какими-то образцово-показательными, учебниковыми; прямо для анатомических плакатов. Оказалось, это были учителя по *самоведению*, основной науке в здешних школах.

Преподаватели и мы с Имельдином разложились во дворе за столиком под тиквойей. Самый крупный и образцовый самовед, видимо, старший, откупорил бутылку, поставил передо мной и сказал на всех языках сразу:

— Дринк, буа, тринкен! Окей, бон, вери гуд! Буль-буль... Ну?!— весь вид его выражал, что он принес мне радость.

Из бутылки тянуло спиртным. Я сидел в недоумении. До сих пор единственным применением смесей винного спирта с водой, которое мне довелось наблюдать здесь, было обтирание тела в жару или после работы, а также мытье рук и ног. Такая жидкость лучше воды очищает кожу, охлаждает и бодрит ее. Сам я, стремясь во всем следовать образу жизни тикитаков и будучи с молодости воздержан, тоже употреблял эту смесь только так и не воспринимал ее, как напиток. И вот теперь... Что же, гостей следует уважать. Я крикнул Агате, она принесла пиалы; налил всем поровну, поднял свою:

— Ваше здоровье!

Но тикитаки, не исключая и тестя, сидели неподвижно, выражая всеми потрохами изумление и оскорбленность. Потом Имельдин вылил содержимое пиал на землю, обратился к учителям с вопросом. Разговор шел на внутреннем тикитанто, тесть мне переводил.

Выяснилось следующее. На острове нет ни пьянства, ни даже любителей «вздрогнуть» и «поддать». Понять это легко: ведь и у нас, темнотиков (да извинит меня читатель), вид выпившего человека не вызывает, деликатно говоря, эстетического наслаждения — ни его шаткая походка, ни раскрасневшееся лицо, ни налитые кровью глаза, ни невнятная речь. Но прибавьте еще к этому, что видно и все, делающееся внутри: судрожная перистальтика кишечника, бессмысленные выделения секретов из всех желез, возбуждающие без необходимости различные органы, беспорядочные броски избыточной крови то в грудь, то в лицо, то в ноги, то в мозг, то еще куда-то; прибавьте и то, что икота не только слышна, но и наблюдаема — как ее спазмы сотрясают внутренности, от промежности до гортани; так же хорошо наблюдаем и позыв на рвоту или сам этот процесс... Показав себя хоть раз в подобном виде, ни один островитянин не восстановит репутацию до конца дней.

Но соблазн — особенно для молодежи, для юнцов — существует. Поэтому школьные программы предусматривают, что учителя-самоведы должны демонстрировать действие алкоголя на себе — в каждом классе раз в год. Нет для них обязанности, неприятней этой.

Четыре года назад судьба поднесла преподавателям подарок в виде матроса, приплывшего на плоту из обломков своего корабля. Он, когда его сделали прозрачным, охотно согласился взять на себя все демонстрации — и даже не требовал за это плату. Высту-

пая перед учениками с бутылкой в руке (он предпочитал отхлебывать «из горла́»), матрос распевал псалмы и произносил проповеди о вреде пьянства. Однако полгода назад он впал в белую горячку и скончался. «Не уберегли,— сокрушенно вздохнул старший учитель.— Сгорел на работе». Поэтому, заслышав обо мне, они и пришли с лестным приглашением. Если я не согласен преподавать только за выпивку, они выбьют для меня ставку учителя. А если соглашусь работать не только в городских школах, но и на выезд, то полторы ставки. Плюс командировочные. Мало?.. Ну, добавим еще от себя, будет две. По рукам?

Я не согласился и на две. В сущности, мне предлагали спиться в интересах тикитакской педагогики, и не чем иным, как жидкостью для мытья ног.

Фраза Барбариты «мне придется идти подрабатывать своей печкой — при живом муже!» тоже может быть превратно понята читателем. Речь идет совсем не о тех «заработках». Однако эта тема достойна отдельной главы.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Оптические свойства тикитаков.
«Подзорная труба» и «внутренний микроскоп».
Видеосвязь и 3Д-видение.
Женщина-кухня и семейная охота.
Гибель английского фрегата

Я уже писал, как в первый день своей прозрачности открыл по улыбке свойство щек и губ увеличивать или уменьшать зубы за ними. Ничего удивительного в этом нет, любое прозрачное вещество преломляет лучи, а тем самым и, будучи надлежащим образом оформлено, увеличивает изображения предметов.

Но... в чем главное свойство живого? Любой естествоиспытатель скажет: в том, чтобы превосходить мертвую природу. Живое тело всегда может быть больше, чем подобное ему, но мертвое тело. Поясню эту мысль примером. Мой соотечественник сэр Роберт Гук, член Королевского общества, открыл закон упругости материалов: их растяжение пропорционально нагрузке. Этому закону равно подчиняются металлы и ремни, стекла и нити... Но вот, если ту же гирьку подвесить к живой мышце, ничего подобного не будет. Она не растянется и может даже (если ее, к примеру, кольнуть) сократиться.

Другой, еще более близкий пример: хрусталик нашего глаза. Он — линза? Да, но линза, которая может менять свой фокус.

И представьте теперь, что *все* ткани вашего тела подобны хрусталику глаза. В любой мышце (вместе с кожей и подкожным слоем) можно, сосредоточившись, образовать живую линзу нужной величи-

ны, менять ее форму и преломляющие качества, перемещать по телу, поворачивать. Представьте себе, что это делается с той же бездумной точностью, с какой мы совершаем обычные мышечные движения. Представьте, наконец, что это знание-умение передается от поколения к поколению тикитаков и стало почти инстинктивным — вот тогда вы поймете, как много оно значит в их жизни. Недаром преподавание самоведения в школах начинают с тезиса: «Прозрачность вам дана, чтобы видеть и понимать».

Я открывал в себе оптические таланты один за другим. Наша окраина служила местом для прогулок горожан. Я заметил, как некоторые из них, обозревая окрестность, выставляют перед лицом кисти с растопыренными пальцами — обычно левую подальше, а правую перед самым глазом. Создавалось впечатление, будто они держат подзорную трубу и что-то в нее рассматривают. Составив руки подобным образом, я обнаружил, что никакой подзорной трубы и не надо: мякоти в кистях между большими и указательными пальцами образуют линзы; напряжением-сосредоточением можно отрегулировать их так, что в одной кисти, у глаза, получится небольшая короткофокусная линза-окуляр, а в другой — линза-объектив. Попрактиковавшись, я вскоре рассматривал отдаленные строения, деревья и даже птиц в небе ничуть не хуже, чем прежде в свою раздвижную трубу.

Тикитаков-левшей, кстати, можно отличить по тому, что они приближают к глазу мякоть левой руки.

Я похвалился своим «открытием» Агате. Она снисходительно улыбнулась и показала мне, как надо расположить и напрягать кисти для рассматривания мельчайших предметов. Весь тот день я упражнялся, пока не научился этим способом образовать микроскоп — и куда сильнее левенгуковского.

Но еще проще оказалось устроить «микроскоп» для рассматривания увеличенных подробностей и даже строения тканей в глубинах моего тела. Этому научил меня Имельдин: линза-объектив образуется в мышцах и подкожном слое непосредственно над местом, которое желаешь увидеть,— остается приблизить к нему глаз с кистью-«окуляром».

Опекун объяснил мне, что подобным способом медики проводят микроскопическое исследование пациентов. Каждый из них сам образует «линзу» над местом, на которое жалуется, врач накладывает свою кисть с «окуляром» и смотрит. И нет болезней, которые он не смог бы обнаружить в самом их зародыше, а затем и устранить.

Должен признаться, что я и сам провел немало часов, наблюдая через правую кисть и линзу в теле увеличенные мышечные волокна в бедре или в руке, пульсирующий бег крови в тончайших капиллярах и даже ничтожнейшие белые и красные тельца в ней; последние и делают кровь алой.

И общественная жизнь тикитаков связана с этими свойствами в гораздо большей степени, чем это может представить себе современный европеец. Начать с того, что с помощью зеркальца и «подзорной трубы» из кистей они могут общаться на внутреннем тикитанто, находясь друг от друга довольно далеко, лишь бы в пределах видимости. Зеркальце, точнее, посылаемый им в нужном направлении «зайчик», служит для вызова.

— Ой, кто это?— восклицала Барбарита (или моя Агата), когда блики такого «зайчика» начинали метаться по двору, заглядывать в окна дома; поднималась на кухонный помост, быстро находила источник — дом, помост или вышку в центре, а то и на другом краю города, становилась так, чтобы быть хорошо видной оттуда, выставляла кисти «подзорной трубой». И начинался диалог внутренними образами с не видимой мне, но хорошо видимой ей (при увеличении $\times 50$, а то и $\times 80$) собеседницей. Длился он порой долго, женщинам всегда есть что сказать друг другу.

Этим же способом переговаривались с Имельдином его коллеги. Сам я в силу слабых успехов в тикитанто не мог пользоваться видеосвязью. Но Барбарита утром, перед тем, как послать меня на рынок, выясняла подобным образом — у торговцев, у товарок, где что можно купить и что продать, затем давала мне указания, в которых никогда не ошибалась.

Другое, еще более важное применение этих свойств,— это ЗД-видение, Зеркально-Дальнее видение.

...Маячившие перед стеклянной стеной демонстрационного домика в бамбуковой люльке в мой первый день мужчины и женщина не исполняли ритуал — они вели передачу. Обо мне. Показывали всему острову, как протекает опрозрачнивание темнотика. Мужчина был оператором, а полная дама — передающей камерой. Поэтому она и стояла спиной то ко мне, то к Имельдину и его друзьям на пирамиде: так на объект передачи наилучшим образом направлялись ее самые крупные линзы-объективы. Поэтому же в качестве камер выбирают достаточно обширных женщин, с диаметром линз не менее фута. То, что таких объективов всего два, обеспечивает объемность изображения.

Дама-камера передает изображение (иногда прямо, иногда через дополнительные зеркала) на те чаши из зеркал на шпилях ажурных башен, которые я — тоже ошибочно — принял за храмы. Чаши отражают во всех направлениях, и каждый житель города, направив к одной из них свою «подзорную трубу», может смотреть передачу.

Так не только самым подробным и наглядным образом сообщают о событиях и происшествиях, но и показывают картины празднеств, передачи из театра (а в Тикитакии любят театр), сообщают новые полезные сведения, рекламируют товары. Если передач несколько,

то тикитак всегда может выбрать ту, которая ему по вкусу, переведя «подзорную трубу» с одной башни на другие. А кто не знает, всегда может поинтересоваться у знакомых: «Что там сегодня по зэдэшке?»

Самая высокая и дальнодействующая башня с чашей зеркал — так называемая Башня Последнего Луча — находится в королевской резиденции на вершине Зеленой горы. Отраженные ею изображения могут быть уловлены в весьма отдаленных местах острова. Эта башня принимает и передачи оттуда. Не только развлекательные — с помощью зеркал и дам-камер просматривается вся прибрежная зона: никто и ничто не может приблизиться днем к острову незамеченным. Кстати, благодаря этому, я и остался жив.

Далеко не каждая женщина соответствующего телосложения сумеет работать передающей камерой — дело это тонкое и требует высокой квалификации. Дама-камера может исказить передаваемое так, что зрители будут покатываться со смеху, может исправить изъяны внутреннего облика, даже приукрасить; так делают при репортажах об официальных церемониях и приемах во дворце. Передавая по ЗД-видению пьесу, они как бы участвуют в игре; и недаром выдающиеся дамы-камеры известны в Тикитакии наравне с артистами, певцами и спортсменами.

...Европа ныне переживает подъем, каждый год дарит нам изобретения, открытия, новшества. Наверное, со временем додумаются и до ЗД-видения или чего-то в этом духе — хотя я, честно говоря, не представляю, как это можно сделать: то, что для прозрачников просто, для темнотиков очень сложно. Вероятно, исхитрятся с помощью техники сначала передавать черно-белые изображения, вроде рисунков в книгах; будут наращивать их размеры, четкость, подробность; затем с помощью новых изобретений смогут передавать и в цвете, приближаясь к естественным краскам природы; наконец, на вершине сложности достигнут и стереоскопичности. А у тикитаков — пара прозрачных ягодиц, и все в порядке.

Или взять эту видеосвязь. У европейцев нет внутреннего англиканто, итальянто или там русиканто, так что этот способ не пойдет. Скорее всего, что придумают что-то именно для речи, для голоса, и лучше, если без всякой примеси «видео». Ведь если не видеть собеседника, не смотреть ему в глаза, врать гораздо удобней.

Описанные способы наблюдения и общения развиты в Тикитакии не только из-за прозрачности ее жителей, но и благодаря тому, что там преобладает ясная, солнечная погода; пасмурные дни редки. Нетрудно догадаться, что солнце, светящее во весь тропический накал, используется островитянами посредством телесной оптики и в целях энергетики. Так оно и есть, но — с одним уточнением: не столько островитянами, ибо мужчина здесь ценится поджарый, мускулистый и стремительный, сколько островитянками — и преимущественно семейными, многодетными.

Не берусь строго определить, что причина: повышенная ли озабоченность семьей, телесная ли пышность, или, может быть, утонченная психическая конституция тикитакских дам,— но сам факт, что они обладают куда лучшей, чем мужчины, способностью собирать и направлять солнечные лучи для домашних целей, неоспорим. «Линзы» у них безусловно крупнее, это ясно; но дело не только в этом. Будучи знаком с физикой, я как-то подсчитал мощность, которую развивает моя теща Барбарита во время приготовления обеда. Числа со всей убедительностью показали, что только той энергии солнца, которая улавливается ее бедрами и животом, недостаточно; похоже, что прозрачные ткани Барбариты вбирают все падающие на нее лучи. А это весьма немало!

Тикитаки не знают огня — вернее, не хотят его знать. Поклонение тиквойе они распространяют в известной степени и на иные деревья. Наверное, поэтому остров Тикитакия весь покрыт зеленью, абсолютно весь. Бревна и жерди для построек получают из деревьев, срубленных для пользы оставшихся там, где растения теснят и подавляют друг друга. Жечь обрезки, ветки, даже щепки тоже не принято, их перерабатывают на бумагу. Но главное, что такое отношение к древесине и к огню вполне рационально: зачем этот дым, треск и копоть, если вокруг в изобилии чистый жар Солнца!

Наша кухня находилась — в силу известного отношения островитян к питанию — в глубине двора. Она представляла собою высокий помост, где на доске из темного камня (кажется, базальта) выстроились миски, кастрюли, сковороды — все из черненого серебра. Барбарита становилась в утренние часы спиной на восток, готовя ужин — спиною на запад, чтобы солнце просвечивало ее наилучшим образом. Обычно она работала, можно сказать, на три конфорки сразу, грея кастрюлю с супом, сковороду с жарким и большой чайник. Руки оставались свободны, ими она нарезала, крошила, добавляла, пробовала, помешивала, передвигала, поворачивала. Линзами грудей достопочтенная теща могла помимо всего совершать кулинарные операции, обычным поварам недоступные: дотомить жесткий кусочек мяса в рагу, фигурно обжарить корочку на пироге и т. п.

Неприязнь Барбариты ко мне вызывала и с моей стороны ответную холодность — но, признаюсь, я всегда любовался ею при этом занятии: ее озабоченно наклоненной обширной фигурой, в которой будто переливалось, струясь к доске-плите, желтоватое солнечное вещество. В эти минуты она была не в переносном, а в прямом смысле олицетворением домашнего очага! Да и кушанья у нее получались такие, что за них можно простить любую сварливость. Никогда после я не едал такого рагу с помидорами, ни рисовой похлебки с бараниной и травами, ни тем более таких пончиков с рифленой корочкой, хрустящих и тающих во рту. Жаль лишь того, что пи-

таться доводилось каждому уединенно, за ширмочкой; даже Агату я не смог убедить в том, что это — ханжество. По-моему, и Барбарита тем лишала себя лучшей для кулинара награды — увидеть, как поглощаются ее изделия.

Вот это и имела в виду достопочтенная теща, высказываясь о том, что ей придется пойти подрабатывать своей «печкой». Такую работу можно было найти не только в других семьях, где жена не справлялась, и городских харчевнях, но и на стеклоделательном заводе, в зеркальных и ювелирных мастерских, даже в кузницах. Не будет преувеличением сказать, что полные женщины являются основой такитакской энергетики — в компании с солнцем, разумеется.

(Те же немногие дни непогоды, когда «печи» бездействовали, питаться приходилось сырыми фруктами, все работы останавливались,— они считались у островтян «днями скорби по заморским братьям». Процессии тикитаков — обычно осыпанных порошками или просто пылью для лучшей видимости — двигались по улицам. Ведущий провозглашал: «Восплачем по нашим заморским братьям, которые всегда такие!..»— а остальные подхватывали заунывно: «И даже хуу-у-уужеееe!..»)

Моя же Агата в этом отношении пока что годилась лишь на то, чтобы сварить кофе. Я понял, почему Имельдин был доволен, что я взял ее в жены: ее изящные, по-британски умеренные формы, кои меня пленили, делали его дочь малоперспективной невестой. И то сказать: если бы мы жили отдельно, пришлось бы нанять даму-печку.

Немаловажным применением этих свойств является и *семейная охота.* В ней участвуют и мужчины, но главная роль все равно отводится женщинам.

В низменной части острова восточнее Зеленой горы находились озерца и болотца, на которых в зимнюю пору обитало немало прилетевших с севера гусей и уток. Туда мы отправлялись втроем: Барбарита, Имельдин и я, неся с собой большое зеркало, бамбуковые жерди и палки. Выбрав незатененное место, сооружали помост, на который взбирались тесть с зеркалом и теща. Зеркало нужно, поскольку далеко не всегда солнце оказывается на одной прямой с охотницей и летящей птицей; *зеркальщик* и отражает его свет в нужном направлении. На мою долю оставалось криками и бросанием камней в камыши вспугивать дичь.

Обеспокоенные утки поднимались вереницей. Далее все делалось быстро и красиво: Имельдин поворачивает зеркало под надлежащим углом, просвеченная лучами Барбарита ловит в световой конус переднюю птицу; секунду та летит, заключенная в огненный круг,— круг стягивается в слепящую точку на голове или груди утки, и она падает. Световой конус захватывает другую утку, сходится в точку-вспышку — падает и она; затем третья, четвертая.



Никакой пальбы, все спокойно и бесшумно, слышны только короткие предсмертные вскрики птиц. Я собирал добычу. Часть уток падала в воду, приходилось плыть за ними. В один заплыв я притаскивал в зубах две, а то и три утки, это нетрудно, надо только суметь ухватить их за шеи.

Позже, когда я удостоился чести быть представленным ко двору, то видел, как дамы-линзы, сопутствуемые зеркальщиками, несли охрану священной особы короля Зии Тик-Така, не подпуская к нему своими хорошо сфокусированными «зайчиками» никого ближе пятнадцати ярдов.

Ради полноты описания должен заметить, что тикитакские дамы умеют образовывать в себе не только увеличительные, но и уменьшительные линзы — тоже повсеместно и искусно. Пожилые тикитакитянки умеют ими придать себе (правда, ненадолго) кажущуюся миниатюрность, изящество, свежесть — качества излишние в домашнем хозяйстве, но столь притягательные для мужчин. Когда же сбитый с толку, распаленный ловелас приблизится на необходимую дистанцию, он попадает в мощные жаркие объятия, из которых не так просто освободиться. Тикитакские матроны умеют не быть обойденными судьбой. Особенно худо приходится мужу, если он подобным образом попадает в объятия своей жены. Имельдин уверял меня, что именно поэтому на острове гораздо больше вдов, чем вдовцов.

Но самое серьезное применение этих свойств я увидел незадолго до того, как вынужден был покинуть Тикитакию. Город в это утро был взбудоражен новостью, что к острову приближается *заморский* корабль.

В ту пору я уже чувствовал себя вполне тикитаком, имел друзей и знакомых. Аганита родила сына, которому мы дали диковинное здесь имя Майкл, несколько раздобрела и начинала сама управляться на кухне; жизнь налаживалась. Поэтому вначале я почувствовал то же любопытство, что и другие островитяне, направившиеся к западному берегу поглазеть. Только я не совсем понимал, *на что* они будут глядеть.

Корабль стоял на якоре в полутора милях от берега, того самого обрывистого, с галечным пляжем внизу, на который когда-то выбросило и меня. Он, видимо, подошел еще вечером.

Утро было ясное, море рябил слабый бриз, поднявшееся из-за гор солнце хорошо освещало корабль. Я смотрел, стоя на обрыве и составив руки подзорной трубой: это было трехмачтовое, судя по глубокой посадке, хорошо нагруженное судно — скорее всего, фре-

гат. Я выдвинул вперед левую кисть для большего увеличения, напряг глаза — и мое сердце забилось чаще: сходящиеся к центру синие и белые полосы, британский королевский флаг.

Мысленно я теперь был там: понимал и осторожность капитана, не разрешившего высадиться на незнакомый остров к ночи, и нетерпеливое стремление команды ощутить после долгого плавания землю под ногами, пополнить запасы воды и пищи... Да и, если не окажутся здесь испанцы, голландцы, португальцы или иные проворные европейцы, присоединить эту территорию ко владениям британской короны.

Я заметил движение на корме: выбирали якорь. Фрегат, осторожно маневрируя, двинулся против ветра в сторону острова. В свою «подзорную трубу» я различал, как на носу два матроса готовятся замерять глубину, а на верхней палубе расшнуровывают и оснащают к спуску на воду бот.

В это время позади послышался топот многих копыт. Я оглянулся: к обрыву приближался отряд. Непрозрачные тяжеловозы с длинными гривами и мохнатыми копытами несли на своих широких спинах самых массивных дам города; на других лошадях гарцевали многочисленные зеркальщики; в арьергарде мулы рысцой тащили на себе вязанки бамбуковых жердей. За отрядом, кто на чем тянулись горожане-болельщики.

Во главе процессии рысила на золотистом першероне наша соседка Адвентита. Я знал ее полный титул: ее превосходительство командир самообороны западного побережья Адвентита Пиф-Паф, но как-то не принимал его всерьез. Может, это было потому, что я знал и процедуру назначения такого командира: выбиралась самая многодетная и дородная вдова, в случае равенства у претенденток числа детей дело решал вес (у Адвентиты было двенадцать детей и добрых семь пудов, муж скончался при исполнении обязанностей); а может, и потому, что именно ее отпрыски больше других досаждали мне дразнилкой: «Гули-Гули демихом! Гули-Гули демихом!»— выкрикиваемой звонким хором. Сама вдова их урезонивала; она постоянно была заморочена и ими, и ведением хозяйства.

Но сейчас, когда зеркальщики принялись споро возводить из жердей вдоль обрыва помосты (куда более основательные и широкие, чем наш охотничий), я понял, что дело назревает серьезное: охота на корабль. В отряде — не менее шести десятков вдов, при каждой — три зеркальщика, солнце в выгодной позиции; если все они направят на фрегат лучи тройной убойной силы, тому не сдобровать. Я решил, как сумею, послужить соотечественникам.

Адвентита находилась на правом фланге шеренги помостов. Пока я добежал, она — массивная и мощная, как боевой слон, переливающаяся внутри розовыми оболочками органов и янтарно-желтым костяком, почтительно подпираемая снизу зеркальщика-

ми — успела по перекладинам взобраться на свой помост; отдышалась и подала зычным голосом команду:

— Бабоньки-и-и... по три рассчитайсь! Первая!..

Оттеснив зеркальщика-адъютанта, я вскарабкался к ней.

— Тебе что здесь надо, Гули? Хочешь стать зеркальщиком?

— Адвентитушка... соседушка-лапушка... прелесть моя...— я решил идти напрямую,— эти темнотики на корабле — из моей страны. Не губите их. Напугайте... ну, сожгите верхушку передней мачты — и они уберутся восвояси. А? Радость моя...— И я хорошо погладил ее: любая женщина, даже генерал, любит ласку.

— Не лапай мои боевые поверхности,— пророкотало ее превосходительство,— я при исполнении. Радость... вот скажу Аганите.— Но сердце ее дрогнуло, я видел. Между тем корабль приближался, от него до обрыва оставалось не более восьми кабельтовых.

— Бабоньки-и! — снова зычно обратилась вдова к отряду.— Здесь Демихом Гули хлопочет за своих. Просит отпугнуть их. Как, уважим, а?

— Можно... уважим! — после паузы донеслось с помостов.— Он парень ничего, хоть и темный. Пугнем — и пусть уматывают!

— Тогда слуш-шай: эррррравняйсь! Даю настройку: а тики-так, тики-так, тики-так, тики... вжик! А тики-так, тики-так, тики-так, тики... вжик!

Это был не тот успокаивающий умеренный ритм — наоборот, боевой, активный. Боевой ритм, как бывает боевой клич. Будь я полководцем, я ввел бы такой в своей армии перед началом атаки.

— А тики-так, тики-так, тики-так-тики... вжик! — гулом пошло по помостам.— А тики-так, тики-так, тики-так-тики... вжик!

С правого фланга я видел, как дамы подравнивались. От Адвентиты параллельными линиями на фоне неба вырисовывались груди и животы второй, третьей и четвертой тикитакитянок. Но еще отчетливей выстраивалось все у них внутри: пунктирной перспективой уходили вдаль печень в печень, таз в таз, позвонок в позвонок, мозг в мозг, афедрон в афедрон. Не впервой, видно, вдовы выступали таким строем. Я обратил внимание на то, что и волосы у них, мощные темные гривы, все закручены на головах одинаковыми узлами и тоже образуют линию. Зеркальщики позади подравнялись и замерли, держа зеркала, как щиты.

— А тики-так, тики-так, тики-так-тики... вжик! — рокотало над обрывом, заглушая шум прибоя.

Наконец произошло главное равнение: сердца всех дам и всех зеркальщиков забились в одном ритме и в одной фазе — пунктиры пульсирующих комков. И мое сердце сокращалось в этом ритме, я тоже переживал боевой восторг.

— Бабоньки-и... товсь!

Подобно тому, как бомбардир перед выстрелом прочищает бан-

ником дуло своей мортиры, так и Адвентита круговыми движениями намоченной спиртом ветоши, которую подал ей зеркальщик-адъютант, протерла свои оптические поверхности. Это же по команде «товсь» сделали на всех помостах.

— Мужички-и, средними зеркалами... свет! (Средний зеркальщик на каждом помосте, повернув зеркало, отразил солнечные лучи в спину своей дамы. Строй вдов желтовато засиял.) Бабоньки-и... в фор-бом-брамсель фок-мачты — цельсь! — И ее превосходительство (а за ней и весь строй) прицельно выставила перед лицом кисти.

Я тоже соорудил из ладоней «подзорную трубу» и увидел, как верхний парус передней мачты фрегата вдруг ослепительно засиял — будто его осветило отдельное солнце. «И ни одна не ошиблась, знают,— отметил я в уме.— Видно, не первый это для них корабль».

— Помалу-у... чирком слева направо... пли!

Огненное пятно на парусе превратилось в слепящий штрих. Верхушка мачты враз окуталась дымом, вспыхнула, отломилась и рухнула на палубу вместе с горящим парусом и флагом. На фрегате возникла паника, но капитан ее быстро прекратил. Матросы забегали с баграми, ведрами. Через минуту дымящийся обломок фок-мачты полетел в воду.

Будь я капитаном этого злосчастного фрегата, конечно, сразу же приказал бы уходить от непонятной опасности на всех уцелевших парусах; тем более и ветер был попутный. Но командовал не я, а тот капитан, вероятно, был самолюбив, отважен и мечтал о славе. Он развернул корабль в боевую позицию. Фрегат дал по обрыву залп из всех двадцати пушек правого борта. Дистанция была предельная, вышел недолет, ядра лишь взбили фонтаны брызг у самого берега.

Несколько капель попало на «боевую поверхность» Адвентиты.

— Ах, та-ак! — рыкнула она, отираясь, и глянула на меня с такой внутренней выразительностью, что на сей раз из всех ее прелестей я воспринял лишь скелет: будто сама смерть зыркнула на меня пустыми глазницами.— А ну, брысь, пока не испекла!

Я и сам не помнил, как оказался внизу.

— Мужчики-и, всеми зеркалами... свет! (Строй вдов засиял тройным накалом). Бабоньки-и... Первые — по носу распределенно, вторые — по центру точкой на прожог, третьи — по корме распределенно-о... цельсь-а!

Дамы снова прицельно выставили ладони. В свою «подзорную трубу» я видел, как окутавший фрегат дым от залпа будто пронзили острия огненных кинжалов: они воткнулись в нос, корму и борт под пушечной палубой.

— По грубияна-ам!.. залпом!.. пли!!!

Корма и нос запылали сразу, как смоченная нефтью пакля. Середина чуть запоздала, но там за веерной вспышкой последовал грохот оглушительного взрыва. Видимо, световой луч, прожигая борт и переборки, попал в кюйт-камеру. Корабль разломился, охваченные пламенем половины стали погружаться в воду.

И дамы с зеркальщиками на помостах, и тикитакиболельщики вокруг — все вопили, ревели, визжали от восторга. Один я, понимая, что сейчас, с какой стороны ни взгляни, мое «инто» выражает ненависть и отвращение к этому острову и его жителям, поскорее удалился в заросли. Подумать только: сорокапушечный фрегат, украшение британского флота, владыки морей, уничтожен в одну минуту... и чем? Задами перезрелых матрон.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Автора вызывают в Академию наук. Он отвечает на странные вопросы. Недоумение автора. Диспут о первоосновах материи. Автор принимает участие в диспуте

Приношу извинения читателю, что, увлекшись одной темой, я нарушил хронологичность повествования.

Только через полгода я был вызван в Тикитакскую академию наук на собеседование. Правда, нельзя сказать, что обо мне забыли: из академии не раз запрашивали Имельдина по видеосвязи, как мои дела. Сотрудники АН — в частности, те два медика, приятели тестя,— наведывались узнать о моих успехах. «Успех», увы, был пока лишь один с Аганитой. В остальном мне похвалиться было нечем. Имельдин куда лучше знал английский, чем я тикитанто. Кости мои, несмотря на ежедневные щедрые инъекции тиктакола, упорно не желали прозрачнеть. Приятели-медики утешали тестя тем, что и с другими темнотиками было так же; но тот, человек самолюбивый и неудачливый, все надеялся, что у него со мной получится лучше, чем у других с другими,— и отвечал на запросы, что я еще не готов. Наконец у академиков лопнуло терпение, и прибыл приказ представить меня таким, как есть.

Не скрою, что я возлагал большие надежды на визит в академию. В конце концов я прибыл сюда — хоть по несчастному стечению обстоятельств и в жалком виде — из могущественной и просвещенной страны, где был далеко не последним человеком. Если я расскажу о ее славной истории, о развитии у нас наук, техники и ремесел, об открытиях и изобретениях европейских ученых, о нашей промышленности, торговле и армии,— отношение ко мне не может не измениться. Постыдная кличка «демихом» будет забыта. Да и не только... Если мне, к примеру, предложат звание иностранного члена их академии, я не стану упираться.

И тесть мой, как выяснилось, возлагал на этот визит надежды. Перед тем, как мы отправились в центр города, он наголо обрил голову; показавшись мне, спросил не без самодовольства:

— Ну как, впечатляет?

Я впервые так близко видел полностью прозрачный череп и мозг за ним: все извивы складок на обоих полушариях, пульсирующие алые прожилки на серой поверхности; у меня тошнота подступила к горлу с непривычки.

— С волосами ты выглядишь приятней,— сдержанно сказал я.

— При чем здесь приятность?!

По дороге он растолковал мне, что в АН как раз начался конкурс на замещение вакантных должностей в различных отделах и секторах. Достойных претендентов отбирают просто: по числу извилин в мозгу. Если у двух наилучших эти числа одинаковы, должность достается тому, у кого их больше в лобной доле — месте мозга, где сосредоточено абстрактное мышление. Имельдин участвовал в прошлом конкурсе, но не прошел; хочет попытать счастья еще раз.

Не навязываю свое мнение просвещенному читателю, но лично мне импонировало стремление тикитаков при распределении должностей руководствоваться простой количественной мерой: где по весу, где по числу извилин. Да и чем такой критерий хуже применяемого у нас «числа научных трудов»? Ведь и «труды» эти не читают, а считают.

Должен сказать наперед, что ни мои, ни его надежды не оправдались. На процедуре конкурса я не присутствовал, меня с непрозрачным, да еще покрытым волосами черепом просто не пустили в зал, а когда потом спросил опекуна, он только махнул рукой:

— А! Интриги, протекции!..

Я удивился, но промолчал.

Сам же я предстал перед комиссией в прежнем составе: те четверо, что рассматривали меня в демонстрационном домике. Они сидели за столом на возвышении, я стоял, просвечённый с двух сторон отраженным зеркалами солнцем (что не улучшало моего состояния). На скамьях теснились любопытствующие, все с голыми черепами,— хотя по сложению можно было выделить и с десяток женщин,— и обилием рельефных извилин в них; я вскоре привык, и меня более не подташнивало от такой картины.

Первые минуты меня занимала еще одна особенность: как ученые тикитаки, задавая вопрос, отвечая или споря, наклоняют голову и выставляют вперед череп — стремясь, вероятно, подавить собеседника если не доводом, так хоть видом своих извилин. В этом было что-то бодливое. Но затем привык и к этому.

Я рассчитывал, что мне предложат выступить с речью. Куда там! Обстановка во всем напоминала ту, в амфитеатре, полгода назад: меня рассматривали, изучали — в том числе и задавая вопросы. Но вопросы были далеко не те, которые я хотел бы услышать и мог на них интересно, остроумно ответить; некоторые просто ставили меня в тупик.

Началось все, как заведено, с «тик-так, тик-так, тик-так... бжжиии!..»— с установления ритма, способствующего спокойному взаимопониманию. Затем председательствующий, самый долговязый из четверых, набычившись на меня и аудиторию извилинами, сказал, что собравшиеся здесь члены академии желают *уточнить* кое-что относительно жизни темнотиков в местах, откуда я прибыл. Они надеются, что я буду отвечать прямо, просто, ничего не утаивая и не искажая, а если чего не знаю, то признаюсь и в этом. Я обещал.

Вот почти протокольный пересказ нашей беседы. Мы объяснялись на внешнем тикитакто, не думаю, чтобы я чего-то не понял.

Вопрос: Курят ли у вас? В каком возрасте? С какой целью?

Ответ. Многие курят. Начинают обычно в юности. Цель? Чтобы показать себя, что уже взрослые.

Вопрос. Показать что-то *в себе?*

Ответ. Нет. Чтобы выглядеть взрослее.

Вопрос. Взрослый человек отличается от юноши и подростка силой, весом, знанием и умением. Что из этого можно *показать* втягиванием и выпусканием дыма?

Ответ. М-м... не знаю.

Вопрос. Какие металлы и камни у вас наиболее ценятся?

Ответ. Алмазы, золото, платина, жемчуг, изумруд... как всюду.

Вопрос. Почему их считают драгоценными?

Ответ. А как же иначе! (Сознаюсь: мне такой вопрос никогда не приходил в голову.) Они... красивы, редки, их трудно добыть.

Вопрос. Перо из хвоста птицы ойя, которую труднее найти, чем золотой самородок, очень красиво, сверкает радужными переливами даже во тьме. Считалось ли бы оно у вас драгоценнее золота и бриллиантов?

Ответ. Не знаю. Думаю, что нет.

Вопрос. Так почему же драгоценности драгоценны?

Ответ. М-м... Так у нас принято считать.

Вопрос. Распространены ли у вас зеркала? Велики ли они? Для чего употребляются?

Ответ. Распространены у состоятельных людей. Самые большие обычно в рост человека. Пользуются ими при одевании... точнее, при *наряжании* — собираясь в гости, на прогулку, в театр. Женщины — для приукрашения лица. Мужчины — для бритья... ну, для срезания волос с лица.

В о п р о с. Есть ли у вас примета: разбить зеркало — к несчастью?

О т в е т. Да.

В о п р о с. Она исполняется?

О т в е т. Думаю, что не чаще других суеверий.

В о п р о с. Почему же она держится, как ты считаешь?

О т в е т. Наверное, из-за дороговизны зеркал. (Оживление в аудитории. Я с досадой понял, что ляпнул глупость: поломка или потеря любой вещи есть неприятность, но не примета для другого несчастья.)

П р е д с е д а т е л ь. Демихом Гули, мы ведь договорились, что в случае незнания ты отвечаешь: «Не знаю». Нам понятно твое стремление выглядеть умным, доказать, что у тебя под непрозрачным черепом есть извилины. Но, пытаясь во что бы то ни стало нам все объяснить, ты избрал не наилучший способ для этого. «Не знаю», если не знаешь,— вполне достойный ответ. Если он тебя унижает, можешь заменить его на «мне это неясно», «мне неизвестно». Только не надо выкручиваться, хорошо? (Думаю, что после этого замечания все в аудитории *увидели* мои щеки и уши.).

В о п р о с. Улыбаетесь ли вы при общении? Хмуритесь ли, супитесь?

О т в е т. Да.

В о п р о с. Почему эти мимические жесты именно такие?

О т в е т. Улыбкой мы выражаем расположение, нахмуренностью — неприязнь... (Веселье в аудитории.)

П р е д с е д а т е л ь. Ну вот, он опять! Демихом Гули, это понятно, мы тоже так выражаем расположение и неприязнь, как ты мог заметить. Речь не о том. В организме разумного существа все целесообразно, а стало быть, и объяснимо. Так *почему* улыбка выражает добрые чувства, а не что-то иное? У зверей, например, подобное движение губ выражает угрозу.

О т в е т. М-м... не знаю. («Спрашивают о чепухе!»)

П р е д с е д а т е л ь. Достойный ответ.

В о п р о с. Бледнеют ли твои сородичи-темнотики от страха? Краснеют ли от возмущения, смущения или гнева?

Этот ответ мне, по-моему, удался лучше всех других:

— Да.

В о п р о с. Известно ли тебе, почему эти реакции на опасность, на обиду и тому подобное именно такие, а не иные?

О т в е т. Известно. При испуге кровь отливает от кожи лица... (Веселье всего собрания, которое пришлось утихомиривать ритмами «тик-так... бжжжии».)

П р е д с е д а т е л ь. Нет, он невозможен! Я прошу не задавать демихому вопросы типа «почему?», поскольку это безнадежно, а строить их так, чтобы он мог ответить утвердительно или отрицательно, вот и все.

В о п р о с. Существует ли у вас выражение типа «меня мутит» или «его мутит»— в отношении человека, излишне поевшего или употребившего алкогольные яды?

О т в е т. Существует. Простонародную речь других наций я знаю слабее, чем свою, но полагаю, что подобные выражения есть и там.

В о п р о с. А не доводилось ли тебе слышать другое простонародное высказывание, обычно мужчин в адрес женщины: «У нее хорошая печка», «хороша печь» и тому подобное?

О т в е т. Доводилось, и не раз,— от матросов. Оно не слишком прилично. (Но после этого вопроса я стал немного понимать, куда они клонят.).

В о п р о с. Применяют ли у вас к детям телесные болевые воздействия?

О т в е т. Да, если они того заслуживают непослушанием, капризами, плохой учебой. Приходится наказывать.

В о п р о с. Больных?

О т в е т. Конечно же, нет, мы не изверги! Здоровых, разумеется. (Движение и шум в аудитории. «Тик-так, тик-так, тик-так... бжиии...»— успокоились.).

В о п р о с. Расскажи подробней, как вы это делаете?

О т в е т. Младенцев обычно шлепают по обнаженным ягодицам. Детей постарше некоторые родители — я лично этого не одобряю — бьют по щекам, по затылкам. Дерут за уши. Подростков порют — чаще, правда, в школе, чем дома. Последнее употребляют и для провинившихся простолюдинов, солдат, матросов; их наказывают по приговору суда или начальника — розгами, палками, плетями...

В о п р о с. Больных?

О т в е т. О силы небесные, конечно же, нет! Здоровых. После этого, правда, они, случаются, болеют. (И снова изумленный галдеж в аудитории, «тик-так... бжжии».)

Вот такой разговор. Где, скажите, здесь развернуться и блеснуть европейской образованностью, знанием науки и фактов? Похоже было, что академики не столько хотели узнать что-то о нас, сколько искали в моих ответах подтверждения своим сложившимся взглядам на темнотиков.

Но я не хотел уйти так — недоумком, посмешищем. Поэтому и выложил главный козырь, который берег напоследок:

— А... а между прочим, все планеты вращаются по эллипсам, в одном из фокусов которых находится Солнце!

Сразу стало тихо. Все смотрели на меня, смотрели... или это мне показалось?— почти с тем же негодованием, как тогда, когда я в свой первый день питался открыто. Некоторые академики побагровели.

— Да,— молвил наконец председатель, у которого розовато обрисовались вислые щеки.— Так что?

— А... а то, что и кубы их средних расстояний от Солнца пропорциональны квадратам периодов обращений! — выпалил я.

— Тоже верно. Но это — не тема для разговора *здесь*. Астрономические наблюдения — личное дело каждого. Его интимное дело. Так что обсуди-ка лучше это все со своей женой. Ступай!

Я учтиво поклонился и удалился в полном недоумении. Несуразные темы вроде природы улыбки, побледнений-покраснений и простонародных фраз годятся для беседы, а законы движения планет — нет? Что же тогда для них наука? И при чем здесь моя жена?

В коридоре меня встретил Имельдин.

— Пойдем,— он взял меня за руку, потащил.— Вот где самое-то самое!

Пока мы поднимались по лестницам, шли по переходам и снова поднимались, он возбужденно-почтительным шепотом ввел меня в курс. Научный вес академиков зависит не только от числа извилин, но еще и от тематики их работ и выделяемых ассигнований: чем загадочнее тематика и больше денег, тем он значительней. Вот мы и спешим сейчас на диспут по первоосновам материи, на него съехались со всего острова научные светила — рекордсмены как по непонятности тем, так и по цифрам расходов на них.

— Такие зубры... ой-ой!

— А меня пустят?— усомнился я.

— Со мной пустят, я в бригаде «скорой помощи». Там такие страсти разгораются! Это ведь драма, драма идей. Бывает, оттаскивать не успеваем. Сам увидишь.

(Вот тут я его спросил о конкурсе и получил в ответ «А!» и взмах рукой; тесть уже был увлечен другим.).

На двери аудитории, к которой мы подошли, красовалось объявление:

«Программа дня шестого:

1. Основной доклад «Если кварки имеют аромат и цвет, то они имеют и вкус»— академикЕй Мбогу Мбаве-так (Грондтики).

2. Контрдоклад «Не вкусы, а масти. Четыре сбоку — ваших нет. Козырной кварк и его свойства»— член-корр. дон Самуэль Швайбель-старший (Эдесса).

3. Обсуждение.

Председательствует академик Полундраминуссигматиперон-тик. Инсульты гаратируются».

Большую аудиторию до верхних рядов заполнили слушатели, все безволосые. На первый взгляд они казались непрозрачными, но, присмотревшись, я понял, что они просто вспотели — в помещении было душно. Под пленкой пота у всех просматривались наклоненные позвоночники, напряженно подтянутые внутренности и слабо

колышущиеся легкие. Внизу, за столом президиума, восседали трое; средний выделялся несоразмерно большой удлиненной головой на тонкой шее, она у него склонялась то к одному плечу, то к другому. («Вот это и есть тот, которого не выговоришь,— шепнул тесть, указав на него глазами.— Самый кит. Ученики называют его «наш Полундра» и очень любят».) По обе стороны стола за решетчатыми бамбуковыми кафедрами стояли докладчики. Говорил правый, сквозь небогатую плоть которого просвечивали таблицы с символами и числами на стене,— видимо, тот самый Ей Мбогу Мбаве. Левый докладчик ждал своего часа и выражал всем, чем мог, скепсис и рассеянную иронию; таз у него был широковат для мужчины, позвоночник слегка искривлен.

Мы пробрались по левому проходу вниз, где сидели помощники Имельдина; рядом на полу лежали носилки. Мне запомнилась последняя, многообещающая какая-то фраза объявления. Я спросил тестя о ее смысле.

— Так для этого мы и здесь,— шепнул он.— Обрати внимание на мозги.

Я осмотрелся: да, действительно! И на комиссии, где меня допрашивали, у академиков был заметен прилив крови к лобной части мозга, делавшей ее серо-розовой,— естественный признак внимания и умственной деятельности. Но здесь почти у всех передняя часть мозга была не розовой, а багровой. У многих, кроме того, лобные извилины были в фиолетовых точках; в целом получалось впечатление той багровой сизости, которую обычно замечаем на носах и щеках горьких пьяниц.

— Вот это и есть следы того, что гарантируется,— пояснил тесть.— Микроинсультов. Ничего страшного, мы таким вкатываем дозу тиктакола с синтомицином в шейную артерию, через пару дней теоретик на ногах, может снова думать над тем же. Если бы эти надутые ослы сегодня меня не прокатили, я бы сделал диссертацию на тему: «Связь распределения микроинсультов по поверхности мозга ученого со спецификой проблемы и степенью ее неразрешимости».

Между тем академик Мбогу говорил, набычась извилинами в аудиторию, и говорил крепко:

— Только безнадежный идиот может сомневаться в существовании кварков по причине их необнаруженности. Да, я подчеркиваю: нет принципиальной необнаружимости, а есть только *необнаруженность*. Поскольку кварки не лептоны и не адроны, а шармоны, обменивающиеся глюонами, а тем самым близки и к антибарионным фермионам, то каждый, кто не кретин, понимает, что все дело в финансировании: не обнаружили при миллиардных ассигнованиях — обнаружим при триллионных! (Аплодисменты). Мблагодарю. Равным образом любой из сидящих здесь, кто еще не впал в маразм,

не решится оспаривать то, что квантовые характеристики кварков, или, как говорят теоретики, ка-ка характеристики, «каки»... не могут быть — не мбогут мбыть! — исчерпаны тем, что им приписывают сейчас: ароматом, цветом, шармом, зарядом, странностью, спином... ни даже их красотой! Ведь по принципу зеркальной инверсии все, что не тик-так, то так-тик,— то есть всякое «тик» есть «антитак». Только духовные ублюдки неспособны понять это! И наоборот. (В рядах снова послышались аплодисменты. Позади нас кто-то рухнул на пол. Медики с носилками направились туда.) Мблагодарю! К тому же всякий, кто не дебил, понимает, что цвет у кварков скоро отнимут их глюоны, которые хоть и индифферентны,как бозоны, но начинают проявлять себя, как шармоны. Думаю, что глюоны отнимут у кварков и запахи!

Эти слова вызвали бурю аплодисментов, а председатель Полундра прекратил на минуту поматывать головой, как лошадь в жару, и возгласил:

— Три кварка для мистера Кларка! А теперь их уже пять...* Три для Кларка, а остальные для кого? Или три равно пяти?..

Эти слова вызвали восхищенный шепот. Мой сосед справа, чей лоб достиг предельной багровости, вдруг поник головой, стал сползать со скамьи. «Видишь, я тебе говорил: это драма, драма идей! — бормотал тесть, помогая мне оттащить пострадавшего к стене.— Давай тик-такол».

— Омбратно мблагодарю,— продолжал докладчик.— Поэтому необходимо ввести еще одну характеристику кварков, которая уж точно объяснит все загадки взаимодействия адронов, лептонов, бозонов и выпендронов: вкус. Вкус! — Ей Мбогу Мбаве поднял янтарный палец, причмокнул и облизнулся.— Объясню для тех, кто имеет извилины, как при этом будет соблюдаться принцип безвкусности нуклонов, аналогичный их бесцветности и беззапаховости. Вспомним, какие ароматы мы приписываем кваркам: и — благоуханный, d — приятный, s — нейтральный, c — противный и b — зловонный. Если их все смешать, то в нуклоне все запахи уничтожатся и выйдет, что частица не пахнет. Что мы и знаем: как тик на так, так и так на тик — все равно выйдет и так, и сяк, и не так, и не сяк! (Аплодисменты.) Мблагодарю. Так и со вкусом. Четыре основных вкуса: сладкий, горький, кислый и соленый — суть четыре новые «каки». Если смешать сахар с солью, кислоту — с горечью, а потом все вместе, то у смеси никакого вкуса не будет — или, выражаясь математически, вкус будет *нулевой*. Таким образом, те, кто еще не впал в кретинизм, согласятся, что для нуклонов — комбинаций кварков — соблюдается интегральная безвкусица. При

* Сведения о кварках, усвоенные и творчески развитые мною, взяты из «Квантовой физики» А. В. Астахова и Ю. М. Широкова (М., «Наука», 1983); авторам ее приношу искреннюю благодарность за доставленное удовольствие — В. С.

упоминании в литературе все, кто еще не потерял совесть, должны писать так: принцип безвкусицы Ей Мбогу Мбаве-так. Я кончил! Прошу вопросы.

— А... У пятого кварка какой вкус?— спросил кто-то из дальнего ряда, когда стихли овации.

— М-м... Это будет зависеть от его заряда, странности, цвета, спина и беспардонности,— ответил Мбогу.— По моим расчетам, он будет кисленький и чуть пряный.

Спрашивавший рухнул на пол. Медики поспешили к нему.

— Три кварка для мистера Кларка! — снова беспечно возгласил академик Полундра.— Три равно пяти, запах равен очарованию, вкус равен цвету. Хочу — я человек, хочу — я чайник! — Он свесил голову и пустил нитку слюны.

Затем слово взял контрдокладчик. Как ни значительны были идеи доктора Мбаве, но в сравнении с высказанными доном Самуэлем из Эдессы они выглядели детским лепетом. Дон Швайбель-старший предал осмеянию и отверг не только «кулинарные рецепты» предыдущего докладчика, но и все термины,— по его словам, из лексикона благородных девиц,— в которых погрязла физика кварков.

— Все эти «шармы», «ароматы», «цветы» и «красоты», уважаемые коллеги,— говорил он резким голосом,— не для мужчин. То, что есть и еще понадобится для описания кварков, находится здесь! — И дон Швайбель жестом фокусника извлек — непонятно откуда — и с треском развернул в веер колоду игральных карт.— Смотрите: главная степень свободы — масть. Бубны, пики, трефы и черви. В каждой масти кварки распределяются от шестерки до туза. И, наконец, третья, «кака», самая важная, чего в «шармах-вкусах-ароматах» не сыщешь: козыри! Козырный кварк, будь он даже шестерка, кроет всех!..

Дальше в докладе уверенно замелькали термины для взаимодействий и комбинаций микрочастиц: «взятка», «сдача», «перебор», «пас», «очко», «большой шлем из бубновых кварков» и так далее. Чувствовалось, что дон Самуэль свое дело знает туго.

Впечатление от доклада было таким, что Имельдин с помощниками просто сбились с ног. Когда же начался третий пункт программы, обсуждение, то они и вовсе перестали оттаскивать инсультных, а ходили по рядам, перешагивая через тела, и на месте делали инъекции. «Вы не теоретик, вы карточный шулер! — кричал на Швайбеля академик Мбаве, выставив извилины и махая руками.— Вас в гостинице били!»—«А вы поваришка,— резал в ответ тот,— ваше место в харчевне, а не лаборатории! Все ваши опусы — стряпня на тухлом масле!»—«Три кварка для мистера Кларка!»— в последний раз воскликнул Полундраминуссигмагиперон и, склонившись к соседу, укусил его за ухо. Тот завизжал, вскочил; в президиуме началась свалка.

Должен признать, что мне нравилась живая творческая обстановка дискуссии: чувствовалось, что люди вкладывают душу в решение проблем. Правда, кусать за уши — это, пожалуй, слишком, но в средневековых диспутах случалось и не такое. Концепция Самуэля Швайбеля-старшего о внедрении картежной терминологии в науку меня, человека строгих правил, конечно, увлечь не могла. Но вот идеи доктора Ей Мбогу... Я почувствовал тягу высказаться по этому поводу, повернулся к двоим, сидящим позади:

— Послушайте, но ведь все зависит от созревания этих овощей: их цвет, запах, вкус... и даже вес. Это должно быть главной характеристикой, степень созревания!

— Каких овощей?— спросил один.

— Ну, кварков.

У обоих лбы предельно побагровели, глаза подернулись пленкой и закатились — и они осели на пол.

Уходил я из академии под большим впечатлением. Впоследствии до конца дней багрово-сизый цвет у меня никогда более не ассоциировался с носами пьяниц. Теперь я знал, что таков цвет напряженной теоретической мысли.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Описание общественной жизни тикитаков.
Парламяент, партии. Король и его политика.
Иерархий внутренностей. Театр.
Украшения изнутри и моды.
Здравоохранение и педагогика по-тикитакски

Поглощенный повседневной жизнью и своими проблемами, я первое время мало интересовался общественным устройством у тикитаков (хотя и догадывался, что здесь тоже должны быть свои особенности). Да и возможностей познакомиться с ним у меня было маловато: ведь до визита в АН меня почти не выпускали со двора, разве что брали на охоту. Но в город — ни в какую. Все ждали (и я ждал), когда от тиктакола у меня начнут янтарно просвечивать кости, обнаружатся извилины во лбу — словом, я буду выглядеть прилично. Хватит и того, что сорванцы нашей окраины прибегали дразнить меня: «Гули-гули демитхом!»— зачем еще искать неприятностей? Но мой скелет все не поддавался.

Наконец Имельдина осенила мысль: я должен выдавать себя за старика. С шаркающей походкой. С палочкой — неплохой, кстати, острасткой для мальчишек. Ведь тело у глубоких старцев теряет прозрачность, начиная именно с костяка; да и динамика внутреннего вида, «инто», у них слабая, вялая — что будет соответствовать моему никудышному *внутреннему произношению*.

...И жену свою Агату, носившую первенца, я сопровождал в

Сквер Будущих Мам в центре под видом ее дедушки, а что поделаешь! В этом сквере, в тени тиквой, будущие мамы рассматривали друг друга, у кого как лежит, знакомились, советовались, тревожились и попутно готовили приданое младенцам, единственную допускаемую на острове одежду. Особым уважанием пользовались носящие двойню или тройню.

В том же виде я выполнял хозяйственные поручения Барбариты, даже, случалось, подторговывал на рынке овощами с огорода, яйцами, битой птицей. Тикитак на пенсии.

Город Грондтики, в котором мы жили, был столицей; кроме него, на острове имелись и другие, например, упоминавшаяся выше Эдесса. Все они находились вдали от моря и были защищены лесом и горами. Ни портов, ни флота тикитаки не имели. Не существовало у них и законов, запрещающих покидать остров,— но все равно его никто не покидал, не стремился в страны, населенные темнотиками, оплакиваемыми за их вид «заморскими братьями». Больше того, читатель уже познакомился с тем, как островитяне приветили заморский корабль; думаю, что не один он покоится на дне у берегов Тикитакии. Отдельных же темнотиков, потерпевших бедствие на море, они подбирают единственно для проведения на них *пробы на прозрачность,* смысл которой, как я постепенно понял, выходит далеко за пределы того, чтобы просто убедиться в соответствующем действии тиктакола на них; для этого, собственно, достаточно поймать и остричь собаку.

По государственному устройству Тикитакия, как и моя страна, является конституционной монархией. Но вот *зачем* им это все: король, правительство, парламент, чиновники — я так до конца и не понял. Сложность государственного устройства есть мера взаимного недоверия сограждан и недоверия правителей к своим подданным. У тикитаков же в этом отношении все более чем благополучно: даже если бы кто и захотел сжулить, словчить, объегорить ближнего, он не сможет это сделать — все на виду, каждый человек — открытая книга. В силу этой открытости, ясности отношений им всегда легко договориться, прийти ко взаимопониманию, даже организоваться для коллективных действий; взять хотя бы тот же отряд самообороны — зеркала свои, лошади свои... и вдовы свои. Или вспомнить их способ дальней взаимосвязи, который далеко превосходит почту и не нуждается в попечении государства. Тем не менее существует (в силу того, что существовала раньше) деятельность, состоящая в том, чтобы возвыситься и набить себе цену. Общая схема такова: правительство запрещает, король запреты отменяет, парламент то и другое обсуждает (и нередко осуждает); народ относится ко всему этому благодушно и делает свое.

Здание парламента находилось рядом с рынком, я после дел захаживал иногда — поглядеть, послушать. Парламент был однопа-

латный, но политических партий, представленных в нем, было куда больше, чем в Англии. Все они защищали интересы не какого-то сословия, а — определенного органа в теле тикитаков. Самой влиятельной была коалиция «Мозгляки-кровавики за прогресс, а все остальные сволочи»; их напору уступала даже всеми уважаемая партия «Лимфа»,— на последних выборах ее кандидаты понесли поражение из-за своей повышенной прозрачности, делавшей их практически невидимыми. Наиболее консервативной считается партия «Задний ум», представляющая интересы кишечника, крестца и половых органов. Довольно влиятельна партия УГН (ухо, горло, нос), но ее позиции ослаблены раздором между тремя секциями. Есть легочники, желудочники, скелетники, железняки-секреторники... и так вплоть до весьма радикальной группы «Левый голеностоп», представленной в парламенте, впрочем, лишь одним депутатом.

Поглядеть было на что: у депутатов каждой партии приливом крови или введением красителей были ярко выделены *свои* органы. Легочники, кроме того, выделяли себя цветными дымами, а желудочники и кишечники (заднеумники) — заглатыванием яркой ПМУ — Пищи Многократного Употребления. Выступления парламентариев уменьшали мою ностальгию; особенно в тех случаях, когда кто-либо из них сегодня гвоздил правительство за недостаточное внимание к желудкам тикитаков, а назавтра, перейдя к скелетникам, призывал островитян не обременять себя лишней пищей, дабы не пострадала осанка,— я чувствовал себя почти как в Лондоне.

В отличие от парламента, короли — и в частности нынешний Зия Тик-Так XXIX — пользовались уважением и даже любовью островитян. Причин было три — и все вполне основательные: 1) короли имеют самое крупное и выразительное «инто» (т. е. самые рослые и хорошо сложенные из всех, с образцовым внутренним видом); 2) они безупречно справедливы и 3) целиком бескорыстны. Тикитаки уверяли меня в том, что эти качества передаются у Зий по наследству, от номера к номеру. Мне, побродившему по свету и немало повидавшему дворов и правителей, это показалось сомнительным; я заподозрил, что по наследству передаются не добродетели, а какой-то хорошо продуманный политический трюк. Применить его тем легче, что тикитаки в силу своей открытости весьма доверчивы. Так и оказалось.

Начнем с «инто». Находясь теперь вдали от Тикитакии (не без стараний того же *Зии № 29*) и не рискуя быть обвиненным в подстрекательстве к бунту, могу заявить прямо: король не выше меня ростом и не шире в плечах, а внутренний вид у него ничуть не совершенней, чем у моего опекуна и тестя, медика Имельдина. Одно происшествие, о котором речь идет дальше, нас свело впритык — оши-

биться было невозможно. Между тем, островитяне действительно *видят* — большинство по ЗД-видению, счастливчики — непосредственно на дворцовых церемониях,— что Зия крупнее и образцовее по «инто» всех других. В чем здесь дело?

Прежде всего в том, что по конституции король тикитаков *обязан* иметь самую крупную фактуру и безукоризненную красоту «инто»; в противном случае он будет низложен, а его место займет достойнейший. (Извечное стремление к идеалу: наш правитель — самый лучший человек). Тем самым вид короля оказывается основой государственной стабильности, а ее надо поддерживать — пусть и с помощью ухищрений. Первым из них и является Закон о Тайне, по которому никто, кроме самых доверенных и близких лиц, не смеет ни приблизиться к королю ближе чем на пятнадцать ярдов, ни рассматривать его сквозь мякоти кистей; нарушителей ждет Яма. Это обосновано тем, что иначе с помощью внутреннего тикитанто подданные могут узнать о делах в королевстве больше, чем следует; с пятнадцати ярдов действительно много не углядишь.

Другое — подбор должностных лиц, включая и министров, так, чтобы все у них было хоть чуть-чуть, но помельче и поплоше, чем у Зии. Соответственно чину. На официальных приемах члены правительства располагаются по обе стороны от короля так, чтобы размеры их внутренностей плавно убывали к краям, что и подчеркивает анатомическую исключительность главы державы. (Если к этому добавить, что с помощью «тик-так бжжжиии...» и сердца сановников настраиваются в такт с сокращениями королевского сердца, то картина получается незабываемая).

Это практикуется из века в век и от номера к номеру. Вероятно, именно поэтому правительство осуществляет на острове чисто запретительные функции. Сложность подбора на должности и на место в «иерархии внутренностей» такова, что извилины мозга (кои издали-то и не видны) считать не приходится; а запрещать — не решать, особого ума не надо. Это отражено и в названиях министерств и ведомств: например, не министерство торговли, а министерство запретов на торговлю, не министерство зеркалоделия, а министерство запретов на зеркальные дела... Торговать, равно как и делать зеркала, и пользоваться ими тикитаки все равно будут, никуда не денутся.

Но нельзя не заметить, что эта система, отменно действуя наверху, ставит низовых чиновников в довольно трудное положение. Ведь для сохранения иерархии «инто» каждый министр подбирает себе помощников по себе, те — тоже, и на рядовых должностях в конечном счете оказываются такие, что разглядеть их ничтожность можно не с пятнадцати, а с пятидесяти ярдов. Эти чиновники вынуждены прибегать к ухищрениям: или назначать часы приема на сумерки, или брать в секретарши мощную вдову-линзу, которая по-

сетителей близко не подпустит, а то и вовсе отпасовывать просителей в иные инстанции.

Что же до поддержания веры населения в свою справедливость и бескорыстие, то эту проблему король Зия решает таким великолепным способом (извлекая к тому же немалый доход!), что его стоит рекомендовать и европейским монархам. Никакие налоги с тикитаков не взимаются, это верно. Раскошеливаться им приходится лишь на взятки чиновникам, накладывающим запреты. Запрет на сбор плодов тиквойи в определенных рощах; запрет на прорытие оросительных или осушительных каналов, а если канал уже прорыт, ведь за всем не уследишь, то запрет на протекание воды по нему; запрет на дойку коров в дни тезоименитства государя и иных торжеств. Многое можно запретить с многозначительным видом из высших политических соображений, а затем и милостиво разрешить за изрядную мзду. Постепенно у населения созревает недовольство, возникают протесты и волнения; в парламенте обсуждают, запрашивают министров, те отмалчиваются. Дело доходит до короля, он смещает чиновника и отменяет ошибочные запреты; если провинившийся изрядно нажился, его отправляют в Яму (бывает, что и казнят), имущество конфискуют в *пользу государства*. Справедливость торжествует — и двор утопает в роскоши.

О том, как *готовят* чиновников, что они оказываются не в силах не лихоимствовать, я расскажу позже.

К стыду своему, должен признаться, что так и не побывал ни на одном представлении ГХАТа, Гронтикского Художественного академического театра, хотя здание его, очень респектабельное, со сплошь зеркальным фасадом, тоже находилось рядом с Центральным рынком,— ни один, ни с женой. По самой простой причине: не было денег. Откуда им взяться у демихома без определенных занятий! А билеты, и обычно-то довольно дорогие, в этот сезон шли по двойной и тройной цене потому, что в спектаклях участвовал здешний Кин, демонический трагик Соломон Швайбель-младший (возможно, отпрыск того теоретика-картежника). И на каждом был полный аншлаг.

Сначала я полагал, что все тикитаки — завзятые театралы. В этом их можно понять: если игра наших актеров, состоящая только из речи, мимики и телодвижений, доставляет немалое наслаждение, то впечатление от игры всем «инто» должно быть вообще потрясающим. Но затем я узнал о том, что многих горожан влекут на спектакли с участием Швайбеля-младшего побуждения, увы, сортом пониже — вроде тех, что увлекали римлян в Колизей, на бои гладиаторов. Поскольку вживаться в роль актеру приходится, без преувеличения, всеми потрохами, всем существом, то артистическое

искусство оказывается — особенно в трагических амплуа — опасным делом. Бывает, что в финалах пьес от реплик типа «Умри, несчастная!» хорошо вошедшая в роль «несчастная» действительно умирает.

Здесь многое зависит от игры партнера, и зловещая слава С. С. Швайбеля как раз в том и состояла, что у него имелось уже целое «персональное кладбище» партнерш по трагическим ролям. С ним теперь соглашались играть только начинающие актрисы, которые, как известно, готовы на все, лишь бы получить первую роль. Зрители перед последним актом нередко заключали пари: умрет или не умрет?— и действовал даже подпольный тотализатор. Думаю, что и в Лондоне зритель вел бы себя так же.

Меня же занимало другое, и более всего: здешняя интерпретация «Ромео и Джульетты». Да, эта пьеса стояла в репертуаре. Лично меня это не удивило: люди могут ходить голыми и прозрачными, обходиться без огня и не быть дикарями; но не знать Шекспира — это, безусловно, дикарство.

Однажды я все-таки пробрался на репетицию. В темном зале было пусто, только впереди долговязый скелет, откинувшись в кресле и положив ноги на спинку кресла, сварливо кричал в рупор:

— Надпочечниками фибриллируй, Юлия, надпочечниками! Не верю!

На сцене тоже был полумрак, только в середине луч дамы-линзы выделял два «инто»— мужское и женское. Насколько я понял, отрабатывали знаменитую сцену первого поцелуя. Она вся шла на внутреннем тикитанто, так что я слышал лишь реплики режиссера:

— Ромео, Соломончик, не сияй желудком, у тебя же весь монолог идет на одной диафрагме, подтяни ее... еще. Полнеешь, братец, а?

— Юлия, деточка, ты своим ливером сейчас выражаешь воспоминания о позавчерашнем обеде, а не первую любовь. Строже надо, строже! Давайте сначала.

Когда же я увидел, как выглядит на внутреннем тикитанто фраза: «Верните мне мой поцелуй!»— мне стало грустно, я неслышно ушел. Может, и вправду я ничего не потерял, не посетив эти спектакли?..

— Но ведь,— напомнит читатель,— можно было по ЗД-видению? Выставил две кисти против глаза в направлении ближайшей вышки с зеркалами — и гляди даром.

В том-то и дело, уважаемый читатель, что все пьесы в этот сезон шли без права показа по ЗД. Как горделиво говорили приезжие эдесситы: «Наш Соломончик своего не упустит!»

Да и что мне был тот театр, если вокруг блистал, переливался и шумел вечный спекталь Жизнь с вечными актерами-людьми,

играющими каждый свою пьесу, в коей он — главный положительный герой, премьер-любовник, рассчитывающий на аплодисменты и венки! Только и того, что на сей раз спектакль разыгрывался при новых декорациях и в иных костюмах — костюмах, украшаемых изнутри.

И я участвовал в игре. Подобно тому, как на улице обычного города прохожий сравнивает себя со встречными: лучше или хуже он выглядит, нарядней ли, рослее и т. п.— так и я, отправляясь с поручениями тещи или сопровождая Агату, сравнивал себя со встречными тикитаками. Это было тем легче, что вокруг полно зеркал — на фасадах зданий и уличных тумбах. Скелетик, правда, у меня малость подкачал, темноват, но что до остального, то я выглядел, что называется, вполне. Ни четкими линиями главных сосудов, ни благородством очертаний печени и желудка, ни выразительной подтянутостью кишечника, ни видом черепа и легких — ничем решительно я не уступал по «инто» тикитакским мужчинам. К тому же я был выше ростом и мощнее сложением большинства их. И, кстати, женщины чувствовали, что я вовсе не дед: при встречах некоторые даже соответственно обрисовывались приливом крови к нужным местам — выражали симпатию и интерес. Агата в таких случаях ревниво фыркала.

Но в чем мне было далеко до туземцев, так это в умении со вкусом показать себя изнутри.

Еще в первый день я заметил в животах некоторых тикитаков в амфитеатре белые, голубые и зеленые блестки. Теперь мне доводилось видеть такое и вблизи: проглоченные за несколько часов до прогулки драгоценные камни (обычно круглой огранки), которые, перемещаясь от сокращения кишок, совершают свой неспешный путь в «инто»— эффектно отблескивая и переливаясь в прямых и отраженных многими зеркалами солнечных лучах, вызывая у всех встречных восхищение, зависть и уважение. Носители драгоценностей внутри относят эти чувства к своей особе точно так же, как и носящие их снаружи. Некоторые камни оправлены в золото или платину. Красиво выглядят также нити крупного жемчуга, повторяющие извивы; чем длиннее нить, тем эффектнее показан кишечник. Разумеется, для безукоризненного вида там не должно быть и следов пищи, то есть ношению драгоценностей предшествует по крайней мере суточный пост; но на что не пойдешь ради красоты!

Тикитакам и тикитакитянкам с драгоценностями свойственна и особая походка с покачиванием тела не только от бедра к бедру, но и взад-вперед. Словом, умеют подать себя.

Впрочем, такие украшения являются здесь, как и всюду, уделом немногих. Для остальных же, для тикитакского плебса, в лавках около рынка всегда имелся неплохой выбор внутренней бижутерии по доступным ценам. Это и была та самая ПМУ, Пища Многократ-

ного Употребления, единственная «пища», которую позволительно заглатывать на виду у всех. На пакетах ее рядом с ценой указаны числа «х 8», «х 15», «х 20»...— означающие, сколько раз ПМУ может быть употреблена без утраты вида от действия желудочных кислот.

Особенно падка на ПМУ молодежь, что можно понять: тикитакские юноши и девушки, а тем более подростки, настолько — до бесцветности и незаметности — прозрачны, что это создает у них неуверенность в себе, комплекс неполноценности. А с ПМУ — совсем другой вид!

Продавая на рынке овощи с Барбаритиного огорода, я с завистью смотрел на то, как бойко торгует апельсинами, сплошь усеянными черными ромбиками с надписью «Магос», мой сосед. Но еще интереснее было наблюдать за тем, как, очистив купленный апельсин, молодой тикитак выбрасывает в урну медовую сочную мякоть, разламывает кожуру на дольки так, чтобы на каждой осталась одна наклейка, и перед рыночным зеркалом вдумчиво заглатывает одну дольку за другой. При этом он старается, чтобы уже в пищеводе они расположились найлейками вперед и буква «М» у каждой была вверху. Трех-четырех плодов хватает для того, чтобы приобрести вполне достойный вид для прогулки с девушкой.

Популярны также неперевариваемые сливы «Pannonia» (золотом на лиловом фоне), виноградины «Texas х 20», соединенные в цепочки, абрикосы «Adidas х 18» и иные искусственные фрукты. Но пределом мечтаний каждого юного тикитака является ПМУ «Змейка», которую можно добыть только по знакомству и с тройной переплатой; мозаичные тетраэдры, которые, будучи заглотаны в определенной последовательности согласно инструкци, создают в кишечнике вид медленно шевелящегося, продвигающегося все дальше удава средних размеров. Счастливчика с такой ПМУ всегда сопровождает на прогулках компания почтительно завидующих приятелей. Когда же «удав», совершив круг по толстым кишкам, добирается до прямой, они начинают канючить:

— Дай поносить, а? Помнишь, я тебе давал!.. Нет, мне!..

Другой способ украсить себя — цветное курение. На острове выращивают табачные травы, которые дают дымы любых оттенков. Курильщик-европеец не нашел бы их ни крепкими, ни ароматными, но для тикитака важнее всего цвет, с ним связан престиж курящего. Самый дорогой табак «императорский» дает пурпурный дым, близкий к цвету крови в легочных сосудах; а чем ближе к фиолетовому краю спектра, тем табак дешевле.

Да что табак — форма легких тоже может быть престижной и непрестижной. Самыми красивыми считаются легкие, похожие — при наполнении их дымом — на слоновьи уши.

Не раз мне приходилось видеть, как молодые тикитаки — на-

столько невидимые, что наиболее заметны их радужные ореольчики-«тени» да наминаемые табаком трубки, наводят «линзой» правой кисти на табак сконцентрированный солнечный луч, разжигают, раскуривают, дружно затягиваются. И сразу их носоглотки, гортани, горла, а затем бронхи и полости легких будто проявляются, наполнившись колдовски колышущимся и струящимся зеленым (или синим, желтым, алым, фиолетовым — в каждой компании курят один табак) дымом; лучи света из межреберных щелей разлиновывают легкие на полосы. Совсем другая картина.

И, кстати, сразу заметно, что — мужчины. Девушки не курят: их грудные «линзы» делают картину легких с дымом весьма непривлекательной. Да и женским легким обычно далеко по форме до слоновьих ушей.

Взрослые тикитаки относятся к этому увлечению без одобрения, но снисходительно: сами баловались в юности. Некоторые, впрочем, не в силах одолеть привычку и дымят всю жизнь.

Таких можно узнать, даже когда они не курят, по серо-зеленому налету на легких.

Понаблюдав за курящими тикитаками, я как-то лучше понял недоумение, с которым в академии допытывались у меня: почему курят темнотики, что они этим хотят *показать?* Действительно: что?

Затем я разобрался и в другом недоумении тикитакских академиков: почему мы, темнотики, лупцуем не больных, а провинившихся здоровых?

Слово «альдоканто» означает у островитян и прозрачность, и открытость, и честность, и разумность, и телесно-душевное здоровье... Все сразу. Соответственно слово «виркинтино» имеет значение не только «больной», но и дурак, и даже «прохвост». Ну как не дурак, не сомнительная личность: ты прозрачен, можешь не только чувствовать, но и видеть все в себе для точного самоконтроля, с помощью «линз» и зеркал можешь обнаружить в самом начале нездоровье любого органа по его помутнению (от накопления там мертвых веществ), знаешь, как устранить его самососредоточением... почему же ты нездоров?!

Такому подходу учат с детства. В школах острова невозможен ликующий вопль: «Ура, учитель болен!»— там учитель не бывает болен. «Больной учитель» для тикитаков столь же нелепое понятие, как для нас «неграмотный учитель». Более того, и прихворнувший ученик не может рассчитывать на то, что родители его оставят дома, уложат в постель и будут пичкать вкусненьким: бедный виркинтино плетется в свой класс со смятением в душе, как невыучивший уроки; а там — для поправки и в назидание другим — он получает порцию *целительной боли.* В случае насморка, например (наи-

более распространенного и чуть ли не единственного недомогания у тикитакских детей), если школяру заложило одну ноздрю, учитель-самовед отвешивает ему точно дозированную оплеуху по надлежащей щеке; если заложило обе — по обеим. При этом замечательно, что в следующий раз насморк может пройти от одного строгого взгляда учителя.

Воспалительные процессы прекращают теми хорошо знакомыми мне щипками с вывертами в местах нервных центров, а в трудных случаях — и массажем прутиками по здоровым частям тела; последнее именуют процедурой «перераспределения здоровья».

Подзатыльники же — очень легкие, почти касания — учителя и родители употребляют исключительно для регулировки деятельности мозга детей: чтобы переместить видимое по приливу крови возбуждение из его двигательной области (в затылочной и теменной части) в лобную область мышления и внимания.

И поскольку боль как целительное средство заменяет на острове все лекарства, тикитаки никогда не применяют ее с целью обиды, унижения, наказания или чтобы заставить сделать человека то, чего он не желает. Так воздействуют только на животных.

...Сопоставив цветущее здоровье островитян с бедственным положением моего тестя-медика и его коллег, чьи услуги никому не нужны, я задумался: сколь печальна судьба медицины! Чем больше вырастит хлеба, овощей и иных продуктов земледелец, тем больше людей прокормится его трудом, больше их будет — и тем еще возрастет спрос на его работу. Чем больше домов выстроит строитель, тем лучше в них будут жить и множиться люди — и тем возрастет спрос на новые дома, на его труд. А врач... чем больше он искоренит болезней, тем меньше спрос на его труд! Тем все меньше нужно врачей.

Но по возвращению в Англию я осмотрелся — и успокоился. Наши медики умеют учитывать горький опыт тикитакских коллег, даже не зная о нем. Они всегда блюдут свои интересы. Так что уж где-где, а в Европе всегда чем больше будет врачей, тем больше и больных.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Автора вызывают во дворец. Описание приема.
Доклад академической комиссии о жизни темнотиков.
Автор высмеян, но затем и обласкан королем.
Размышления автора о выгодах прозрачности

— «Доклад его величеству Зие Тик-Так XXIX и его превосходительству Агрипардону-Так, министру заморских территорий, о результатах пробы на прозрачность Демихома Гули, именующего

себя Лемюэлем Гулливером. Этот заморский темнотик был подобран год назад на западном берегу неподалеку от Гронтики в бедственном состоянии, подвергнут опрозрачиванию и необходимому лечению, затем отдан под присмотр медику Имельдину. Реакция на опрозрачнивание у него в целом протекала удовлетворительно: не спятил и не спился, как некоторые его предшественники; этому, вероятно, способствовало то, что упомянутый Демихом сам причастен к медицине — разумеется, на знахарско-дикарском уровне — и вид «инто» не был для него неожиданным. Отличается некоторой смышленностью и добрым нравом: так, согрешив с дочерью опекуна, он сразу женился на ней и ведет с тех пор жизнь примерного семьянина. (А все мы мним о разнузданном поведении иных темнотиков, оказавшихся нагими среди обнаженных самок). Недавно у них родился сын. Ребенок нормален. Демихом Гули овладел тикитанто в пределах, возможных для заморского жителя. Исполняет простые работы. В сущности, кроме известного эпизода в первый день, когда он, питаясь, показал некультурность своего племени, нам более не в чем его упрекнуть...»

Я слушал эти комплименты, стоя на коврике в центре тронного павильона. Слева от меня находился Имельдин. Справа на отдельном ковре возвышался все тот же долговязый Донесман-Тик, глава академической комиссии. Он и читал доклад.

Предо мной восседало правительство во главе с королем. Сам Зия в бамбуковом кресле с подлокотниками, а по обе стороны на длинных скамьях — по десять министров, чьи внешние размеры, как и величины органов в «инто», правильным образом убывали от середины, от монарха, к краям. Я уже знал, кто есть кто, и видел, что между величиной тел сановников и значимостью их поста нет прямого соответствия: так, по правую руку от короля сидел дон Реторто-Тик, министр этикета и престижа, по левую — Тиндемон. Так, министр запретов в зеркалоделии; а вот министр запретов в торговле фон Флик, лицо куда более серьезное, примостился на краю правой скамьи. Видимо, навести и *такой* ранжир было просто невозможно. И Агрипардон-Так, которому наряду с монархом адресовался доклад АН, в силу щуплости и внутренней невзрачности (он лишь недавно вышел из Ямы) сидел последним слева. («Какими заморскими территориями он ведает?»— спросил я у тестя. «Как какими! Всеми, которые за морями»). «Инто» Агрипардона выражало не меньшее достоинство, чем у прочих министров; и не подумаешь, что еще неделю назад он дробил гранит, искал алмазы.

...Вызов во дворец на прием по случаю полнолуния последовал по видеосвязи еще утром; запросили также, когда прислать лошадей. Имельдин, по моей просьбе, просигналил, чтобы слали сразу. Поэтому до начала торжества у меня оказалось немало времени для осмотра дворца. У тестя среди челяди и чиновников были зна-

комцы (они устраивали ему заказы на внутреннее декорирование придворных дам), которые охотно согласились меня всюду поводить.

Я увидел немало интересного: зеркально-стеклянные павильоны с распахивающимися поворотными крышами и великолепным убранством, картинную галерею царствующего дома, где были изображены лучезарные «инто» Зий, освещающие подданных и пейзаж, до тринадцатого колена; поднялся даже на Башню Последнего Луча под зеркальную чашу и любовался оттуда островом и морем. Но самое сильное впечатление оставила Яма — дворцовая и единственная на острове тюрьма. (Нужды в других нет, поскольку — помимо должностных преступлений, о которых я упоминал,— единственным караемым проступком здесь является ненасильственный отъем внутренних украшений: носителя их задерживают в укромном месте, пока украшения не покинут его естественным образом, затем с миром отпускают; да и такое бывает редко). Увидев копошащихся на дне глубокого котлована, охраняемого дамами-линзами и зеркальщиками, я заметил провожатому: «Вот это прозрачность, я понимаю, только скелеты и видны!»—«А там нечего больше и видеть»,— усмехнулся тот.

В Яму помещают *до востребования* — до монаршей милости, которая сразу и освобождает, и возносит. Надеждой на эту милость и на то, как хорошо будет осененному ею, получившему сразу и пост, возможность вольготно жить и наживаться,— питают рудокопов вместо завтрака и ужина, а по четным дням — и вместо обеда. Стоящий наверху проповедует, собравшиеся внизу горестно подвывают и обещают стараться.

Вот и Агрипардон-Так провел в Яме немало лет (за отнятую когда-то «Змейку») и был востребован, лишь когда предыдущий министр заморских территорий, имевший тот же 16-й размер печени и сходные параметры иных органов, любитель бешеных скачек, загремел с лошадью с обрыва. Все размеры и величины параметров «инто» как правительственных чиновников, так и преступников в Яме, имеются в королевской картотеке.

Это заведено издавна, так монархи здесь обеспечивают себе славу милостивых и бесконечно благодарную преданность «востребованных». И главное — устойчивое пополнение казны за счет конфискаций: ведь, распаленные лишениями и мечтаниями в Яме, эти люди не могут не лихоимствовать! Настоящий король — он и голый — король. И даже прозрачный.

И вот сейчас его величество сидел в свободной позе, министры справа и слева повторяли ее: по десять янтарно просвечивающих левых ног с двойными алыми кантами жил на каждой скамье за-

кинуты на правые, по десять пар сплетенных кистей обнимали колена; двадцать одна левая ступня, считая и королевскую, ритмично покачивалась в воздухе вверх-вниз. В этом движении было что-то гипнотизирующее.

На высоте трех ярдов между правительством и нами парила перемещаемая на канатах люлька ЗД-видения с оператором и дамой-камерой, коя поворачивалась своими «линзами» то к нам, то в сторону его величества: работа есть работа; впрочем, там было на что посмотреть и королю. Шла прямая трансляция.

Позади нас на скамьях теснилась знать. Сегодня на большой прием, посвященный полнолунию, они съехались со всего острова.

У противоположной стены павильона за Зией и министрами стояли боевым построением дамы-линзы и зеркальщики дворцовой охраны; другой ряд зеркальщиков по верху стены улавливал и передавал вниз лучи заходящего солнца. «Линзы» дам были настроены таким образом, что у меня, Имельдина и академика Донесмана на левой стороне груди рдело, красиво освещая наши сердца, теплое солнечное пятно; сделай я еще шаг — и оно сойдется в огненную точку, я упаду замертво.

Помимо того, самые крайние дамы-линзы так удачно просвечивали короля, что получалось — как и на картинах во дворцовой галерее — будто именно исходящее от монарха сияние озаряет ближайших подчиненных. Даже драгоценные камни в золотой и платиновой оправе в животах министров — награды за непорочную службу и административные подвиги — сверкали и переливались боковым светом, от Зии. Только у нашего Агрипардончика (мне его все-таки было жаль) и в этом смысле в животе было пока пусто.

— «Конечно, наблюдения за Демихом Гули интересны нам не сами по себе,— продолжал мерным голосом чтение доклада Донесман-Тик,— а в плане ответа на все тот же вопрос: насколько наши одичавшие собратья, заморские темнотики, пригодны для возвращения к подлинно разумной жизни, в лоно породившей их некогда цивилизации! («Ого!»— подумал я.) И если его приживаемость показывает, что физиологически они такую возможность пока еще не утратили, то расспросы о жизни его соплеменников, увы, подкрепляют прежние выводы о продолжающейся из деградации. Особенно заметна она в северных территориях, откуда родом наш демихом. Это и понятно, ведь эти территории больше других пострадали во время Великого Похолодания.

Это катастрофическое событие черной полосой разделило историю нашей цивилизации настолько, что мы теперь и не знаем, как долго существовали до него на планете тикитаки, когда и как они появились. Знаем лишь то, что не меньше, чем мы живем ныне после эпохи Похолодания, то есть тоже десятки тысячелетий. То черное время, когда солнце месяцами не появлялось из-за туч, когда от

холода вода становилась твердой, а студеные ветры губили за одну ночь все живое, были большим испытанием для тикитаков. И далеко не все его выдержали. Да, всем тогда ради спасения довелось надеть на себя шкуры диких животных, прятаться в пещеры и даже, вопреки древним заветам, ломать и жечь деревья, чтобы согреться, приготовить пищу, иметь огонь. Всем в ту пору было не до постоянного поддержания своей прозрачности — второго после прямохождения признака разумного существа. Но разница между нами и нынешними темнотиками в том, что это их далекие предки решили, будто мир переменился окончательно, прозрачность вообще более не нужна. А раз так, то вместе с другими деревьями можно жечь и священную тиквойю — и даже преимущественно ее, ибо ее маслянистая древесина и горит жарче, и светит ярче. Вот так и получилось, что к концу Похолодания на материках не осталось ни ростка тиквойи.

Так же получилось, что одичавшие тикитаки, кои в эти мрачные тысячелетия в основном боялись и ели, ели и боялись, утратили прошлые знания и забыли свою историю. Настолько забыли, что начало своей нынешней, с позволения сказать, цивилизации ведут от того, что на самом деле было фактом их падения: от костров, от освоения древесного огня. Из всего же предшествовавшего сохранилось лишь то, что перешло в инстинкты, да отрывочная информация в коллективной памяти — причем ни природы первого, ни смысла второго северяне, сородичи Демихома Гули, теперь не понимают...»

Все внимали. Король Зия переменил ногу, положил правую на левую, откинулся, свел руки на сияющей диафрагме. Эти движения волной пошли вправо и влево по скамьям с министрами.

«Вот примеры. У них до сих пор бытует примета: разбить зеркало — к несчастью, хотя зеркала они применяют только для наведения внешней красоты, подпудривания да выдавливания прыщей и утрата их никаких неприятностей ни в битве, ни на охоте, ни в поддержании дальней связи произвести не может. В народе, вместилище коллективной памяти, еще в ходу выражения типа «меня (или его) мутит» от переедания, обжорства, хотя видеть, как мутнеет в таких случаях лимфа в брюшной полости, темнотики не могут. В ходу также фразы типа «у этой бабы (женщины, дамы) хороша печка»— но, поскольку никакие части тела непрозрачной женщины не могут быть, разумеется, печью, то во фразу вкладывается непристойный смысл.

Драгоценными темнотики признают все те вещества, которые безукоризненно выдерживают действие желудочных кислот при многократном ношении внутри. Но замечательно, что свойства эти им совершенно ни к чему, ведь носят-то они драгоценности *снаружи.*

Курьезом можно считать и распространенное до сих пор у тем-

нотиков курение. У нас это — форма франтовства, преимущественно у молодежи, позволяющая покрасоваться своими легкими, бронхами, носоглоткой. У них же глотаемый дым ничего не показывает — но все равно курят!

У темнотиков сохранились наши мимические жесты для выражения приязни или холодности: улыбка и насупленность. Но первичный смысл их — при сведенных губах-линзах угрожающе выделяются клыки и резцы, при растянутых они уменьшаются — им, в частности Демихому Гули, более непонятен. Равным образом у них стала бессмысленной (пожалуй, даже и вредной) древнейшая реакция тикитака на внезапную опасность: побледнение, отлив крови от кожи, что позволяет стать еще более прозрачным, незаметным — и скрыться. Темнотики тоже бледнеют от страха, но тем только выдают себя! В бессмысленный рефлекс превратилась у них и наша способность *прикрыться* — приливом крови к поверхности тела в различных местах. У тикитаков это действие имеет много применений, у женщин — одни, у мужчин — другие; наиболее ходовое — скрыть свое состояние в момент смущения или гнева, пока не овладеешь собой. Последнее как раз и осталось у темнотиков, они краснеют от растерянности, смущения, ярости... но этим, увы, только *обнаруживают* свое состояние!

Что же до искусственных покровов, до одежд темнотиков, то здесь их деградация проявляется с наибольшей очевидностью: эти покровы, некогда применявшиеся только для защиты от стихий, теперь — вместе с небольшой обнаженной частью тела, лицом,— являются «инто» темнотиков! (Движение в публике). Именно поэтому они носят их и в теплую погоду, преют в них в помещениях. По богатству и изысканности одежд, по их форме, цвету и покрою северные темнотики, сородичи Гули, судят друг о друге, как мы судим о человеке по его внутреннему виду. «Инто», которое можно снять, заменить, надеть на другого!

Но наиболее постыдное извращение претерпели у них наши целительные болевые воздействия: их теперь применяют к *здоровым* — и в немыслимых дозах; посредством этого наказывают! (Изумленные движения на правительственной скамье, там на миг даже потеряли ранжир; такие же движения и в публике). Каждая тикитакитянка умеет пользовать своего младенца при расстройствах желудка шлепками: несколько шлепков по нижней части ягодиц предотвращают понос, а шлепки поближе к пояснице — запор. Темнотики же этим *наказывают* детишек, вполне здоровых и выражающих свое здоровье обычными шалостями. Наш тонизирующий массаж спины, области спинного мозга прутиками тиквойи извратился у них в *пору провинившихся*. То есть сохранилось, видимо, в их темных мозгах представление о пользе боли, а, стало быть, чем больше боли, тем больше и пользы: и истязают даже палками и пле-

тями, тем нередко превращая здоровых людей в больных и в калек!

И вот последние штрихи в этой картине вырождения. Как известно, вместе с прозрачностью утрачивается и способность «внутренней речи», то есть девять десятых возможности настоящего искреннего общения. Нынешний язык сородичей Гули настолько примитивен, что опекун Имельдин изучил его в несколько недель. Наше же тикитанто Демихом Гули, даже сделавшись прозрачным, полностью так и не освоил. Второе: у него, как и у всех северных темнотиков, помимо волос на черепе, необходимых для прикрытия от прямых лучей самой тонкой части нашего организма — мозга, растут волосы и на лице, на груди, немного даже на животе и спине. Темнотики, ведя свою «эволюцию» от дикарей у костра, считают эту растительность *атавистической,* но мы-то не можем не понимать того, ч т о это за признак. И не лучшим ли подтверждением того, что и сами они чувствуют, что здесь дело неладно, является — применяемый и Демихомом Гули — ритуал бритья?..

Если еще учесть то обстоятельство, что климат тех мест до сих пор несет в себе следы Великого Похолодания: зимы, обилие пасмурных дней, что сильно осложнит, если не сделает невозможной, нормальную тикитакскую жизнь там,— то вывод может быть лишь тот, что северные темнотики безнадежны для возвращения к подлинно разумной жизни. Их удел — обрастание барахлом, затем и шерстью, дальнейшее упрощение речи вплоть до полной утраты ее... и в конечном счете переход на четвереньки. У сородичей Гули, потреблявших алкоголь, мы это уже наблюдали.

Но самое скверное вот что,— и Донесман назидательно поднял янтарно заблестевший в лучах дам-линз палец.— Выжив в эпоху Похолодания в трудных местах, северные темнотики приобрели повышенный заряд жизненной активности, попросту сказать, нахрапистости. Благодаря ему они ныне подчинили себе темнотиков почти на всех наших заморских территориях: где силой, где торговлей, где религией, где алкоголем... чаще всем этим вместе. Поэтому теперь они — авторитет и образец для приэкваториальных темнотиков, наиболее перспективных для возрождения в прозрачности. Северные темнотики увлекают и их по своему пути!

Но, разумеется, окончательные выводы из приводимых фактов Академия наук всепочтительнейше предоставляет сделать вам, ваше величество, и вам, ваше превосходительство господин министр!»

Надо ли говорить, что я слушал этот бесподобный доклад со все возрастающим возмущением. Конечно, понимая свое положение, я сдерживался и был доволен, что непрозрачный скелет придает мне более непроницаемый, чем у других, вид; но мне очень хотелось с возгласом «Прекратите!» вырвать папку из рук акаде-

мика. Вот что сделали из моих ответов. Это нас, англичан, великую нацию, какие-то жалкие островитяне, вроде тех, которых мы — и вполне обоснованно! — считаем дикарями, берем под свое покровительство и приобщаем к культуре... так они *нас* считают дикарями, обреченными на полное вырождение. Ну и ну! Да, похоже, не только нас, но и всех европейцев, все цивилизованные народы Земли! Все мы — темнотики, «не выдержавшие испытания Похолоданием». Да у нас... да мы вас... да о чем говорить! «Працивилизация»... обзавелись бы сначала штанами, паскуды, прежде чем критиковать других! «Прозрачность — второй после прямохождения признак разумного существа», куда там! Разумные... законов Кеплера не признают, слушать не хотели, на весь остров одна тюрьма и ни единого божьего храма! (Кстати, я так до конца и не понял, есть ли у тикитаков религия и священнослужители). Курение, побледнения, улыбки... нашли к чему прицепиться! Это все искусственные доводы.

Между тем достопочтенный Донесман-Тик закрыл папку с манускриптом и, склонившись, положил ее перед собой на ковер. Тотчас к ней метнулась тень с поджатыми внутренностями, взяла и, сложившись в поклоне, поднесла к крайнему справа на правительственной скамье к министру фон Флику. Он, не глядя, передал ее соседу, тот — дальше, и так папка добралась до короля. Его величество раскрыл ее, небрежно полистал, закрыл, передал влево (папка последовала к Агрипардону), а сам устремил взгляд на меня.

И все устремили взгляды на меня, и спереди, и сзади,— холодные, высокомерные. Этому сравнению можно улыбнуться, но я почувствовал себя, как голый среди одетых. Опять мне отдуваться за европейскую цивилизацию! Я даже ощутил вину и готовность признать ее, хотя, между прочим, своих детей и пальцем не тронул, их воспитанием занималась жена; а что до наказания матросов линьками, так это и вовсе дело боцмана.

— Скажи-ка, милейший,— государь улыбкой увеличил свои и без того крупные коренные зубы и одновременно движением руки удалил прочь люльку ЗД-видения: дескать, это — не для передачи.— Скажи-ка, это верно, что твои сородичи акт питания зачастую совершают коллективно?

— Да, ваше величество,— ответил я, склонив учтиво голову.— У нас в этом не видят ничего дурного. (И, право же, среди всех наших обычаев этот — далеко не худший!)

— Мне говорили, что в таком... м-м... застолье они нередко принимают алкогольные яды, а затем поют?

— Бывает и так, ваше величество.

— А когда потом совершают... м-м... противоположное отправление — тоже поют?

— Нет, государь.

— Почему же? Ведь тогда у них рты совершенно свободны.

...Вокруг прыгали от смеха желудки, тряслись и дергались диафрагмы, почки, печени, рывками сокращались и расслаблялись искрящиеся драгоценностями кишечники, ходили ходуном грудные клетки с то набухающими кровью, то отсветляющимися легкими, с медовым блеском плясали челюсти и зубы. Кто-то даже сладостно постанывал, смакуя шутку его величества. Дамы-линзы и зеркальщики, удаленные настолько, что вряд ли слышали, что сказал сидящий к ним спиной король, и те колыхались от смеха: огненные зайчики метались над головами придворных.

Легко прослыть остроумцем, восседая на троне. Что он такого смешного сказал, это Зия! Но я и сам не только принужденно, с перекосом зубов, улыбался, но и ритмично подергивал диафрагмой, выражая веселье.

Наконец все успокоились. Король взмахом руки приблизил ЗД-видение, поворотил даму-камеру «линзами» к себе: теперь можно.

— Ты слишком категоричен и односторонен, милейший Донесман,— Зия широко улыбнулся академику.— Кроме нашего пути и их пути, возможны еще и многие промежуточные пути. (Одобрительный, восхищенный ропот присутствующих.) Ведь вот и наш милейший Демихом Гули отыскал здесь *свой* путь. И даже... хе-хе! — кое-кого встретил и кое-что нашел на этом пути. Думаю, что мы должны поблагодарить его за помощь, которую он оказал — и, возможно, еще окажет! — нашей науке.

Все зааплодировали. Я поклонился глубоким поклоном с движением рукой, как будто в ней была шляпа с перьями. Меня действительно тронули слова его величества о том, что у меня — *свой путь*. Как это глубоко, как проницательно, как верно! Светлый ум у государя. Блестящий ум. А какое сердце!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Автор присутствует на «звездном балу».
Вальс созвездий.
Неприятность с «Большой Медведицей».
Имельдин открывает автору глаза на семейную астрономию.
Тот сочиняет стихи и наблюдает спутники Марса

Второй частью приема во дворце было празднество полнолуния. Король Зия милостиво разрешил нам с Имельдином остаться на нем, хоть эта часть была не для ЗД-видения, да и выглядели мы, не имея в животах ни одной драгоценности, не слишком прилично; но у стеночки можно.

Праздник начался с возгласа наблюдателя на Башне Последнего Луча:

— Солнце — на западе, Луна — на востоке! — за которым последовали фанфары.

Под их звуки все поднялись с мест. Лакеи, заметные более всего подносами, наделили всех вместительными пиалами с ароматной перламутрово-дымчатой жидкостью — тикбиром, перебродившим соком тиквойи, как мне пояснил тесть. Его величество, взяв чашу обеими руками, провозгласил тост за процветание Тикитаки и торжественно выпил. Секунду все благоговейно наблюдали, как тикбир следует по королевскому пищеводу и сразу рассасывается в желудке, затем опорожнили свои пиалы. Выпил и я: по вкусу напиток напоминал имбирное пиво.

Затем собравшиеся последовали — на подобающей дистанции за королем и министрами — на смотровую площадку, которая опоясывала основание Башни ПЛ. Там руководители прошли на западную сторону (и были тотчас же отгорожены от прочей публики канатами), где принялись с умиротворяющими «Тик-так, тик-так, тик-так... бжжии...» согласованно воздевать прозрачные руки и кланяться погружающемуся в море солнцу. Впрочем, я более любовался не ритуалом, а открывшимся видом. С вершины горы далеко просматривалась западная часть острова, вся в темной зелени, в рельефных тенях ущелий и долин, берег с белой полосой прибоя и за ним — расплавленно блестящее на закате море. У подножия горы лежал город, такой же прозрачный, как и его жители: ни стеклянные, насквозь просвечивающие дома его, ни ажурные вышки даже на закате почти не давали теней. Луна поднималась на востоке.

Попрощавшись с солнцем, король и министры перебрались на восточную сторону площадки и теми же «Тик-так... бжжии...» приветствовали луну. На фоне этого светила они выглядели еще призрачней.

Ночь сменила день с той быстротой, с какой это бывает в тропиках. Зеленоватый сумеречный свет полной луны залил вершину горы, башню, дворец, и я понял, почему тикитаки любят лунные ночи: с одной стороны — светло, а с другой — они сами практически невидимы. Будто растворяются. Присмотревшись, можно заметить темные пятна печени и мозга, пульсирующее скопление крови в сердце — и все; но разобрать, у кого что крупнее, что мельче и как выглядит — невозможно.

Видимо, поэтому к танцевальному павильону знать теперь направилась одной толпой с министрами и королем — надобность в дистанции отпала, все были свои. Самым заметным стало драгоценное содержимое кишечников у участников торжеств. Казалось, что именно драгоценные камни: бриллианты, изумруды в оправе и без оправ, горошины жемчуга — плывут, зеленовато сверкая, мерцая, играя огнями, на высоте двух-трех футов над плитами дорожки, совсем рядом, можно протянуть руку и взять.

Когда же все вошли в павильон и начали выстраиваться на черном матовом полу в фигуры для танца, блеск драгоценностей в незримых животах усилился многократно: это дамы-линзы, выстроившиеся вместе со своими зеркальщиками наверху, по периметру овальной стены, направили сконцентрированные лучи лунного света вниз, каждая на своего клиента. Дворцовая охрана исполняла теперь иную роль. Не замечались более ни мозги, ни сердца, ни печени, только по содержимому кишечников можно было определить, кто есть кто, чего весит и стоит.

Зазвучала музыка под стать ночи: виолончели вели партию луны, скрипки — партии звезд, щипки контрабаса задавали ритм биения сердец. Первые танцы показались мне похожими на те, которые обычно исполняют и в Европе на придворных балах: на менуэт, контрданс, гавот, полонез, но выглядели эти фигуры, скачки и развороты драгоценностей под луной и звездами несравнимо диковинней и поэтичней.

Стоя у стены, мы с Имельдином очень хорошо понимали сейчас, что такое бедность: в сущности, нас просто не было, мы не существовали. Я-то хоть еще выделялся темным скелетом, а тесть... не растворился ли он в зеленом мареве? Для проверки я протянул руку в его сторону, потрогал: здесь ли? Он раздраженно отбросил мою руку.

После того, как танцующие нас по нескольку раз толкнули и лягнули, мы сочли за лучшее перебраться в нишу. Наблюдая оттуда за сверкающим чванливым контрдансом, я думал: от многих болезней может избавить прозрачность — но не от тщеславия. Наверно, если человека сверх того еще раскатать в тонкий лист, сделать двухмерность, а затем свернуть в трубочку, он все равно найдет, как себя выделить, подать, показать, что он не такой, как все!

Но вот наступил кульминационный момент бала. Дон Реторто, министр этикета и церемонимейстер, провозгласил «звездный вальс» и сам занял место в центре. Сейчас ты увидишь мою работу!»— не без самодовольства шепнул тесть. Участники празднества начали группироваться вокруг министра — и вскоре я увидел внизу... звездное небо.

Да, в большой степени это получилось от искусства декораторов вроде Имельдина (он был «дамский мастер», здесь кружилось полдюжины его клиенток): драгоценности, проглоченные по составленной ими программе в нужной последовательности, далее двигались под действием перистальтических сокращений кишок и выглядели произвольной композицией. Но к расчетному времени — к полуночи, к «звездному вальсу»— все они располагались в фигуру определенного созвездия или его части. Носителям оставалось помнить свое «созвездие» и расположиться среди других согласно звездной карте.

Я моряк и хорошо знаю звездную карту; в перерывах между путешествиями я, кроме того, не раз наведывался в Гринвич к своему приятелю Грею Остину, королевскому астроному,— мы коротали ночи у телескопа, наблюдая звездный мир и рассуждая о его величии и тайнах. Поэтому могу засвидетельствовать, что все было правильно: в животе его превосходительства Дона Реторто образовалась «Малая Медведица», самый крупный бриллиант расположился относительно других, как и надлежит Полярной звезде,— на него ориентировались прочие «созвездия». Находящаяся ближе к нам «Большая Медведица» уже выравнивала свои алмазы «α» и «β» так, чтобы они шли по лучу «Полярной». Левее ее «Лира» блистала крупным, каратов на восемьдесят, бело-голубым алмазом «Веги». За ней удалялись по дуге к той стороне павильона «Лебедь», «Кассиопея», «Персей».

Меня удивило то, что «полюс», вокруг которого должны вращаться «звезды», занял не король. Я спросил об этом тестя. Его величество, шепотком объяснил Имельдин, владеет самым крупным бриллиантом на острове, который величиной и блеском настолько же превосходит остальные, как звезда Сириус на небе все прочие. Поэтому король изображает созвездие Большого Пса. Я быстро отыскал это «созвездие», двигавшееся по краю хоровода: не только «Сириус», но и остальные «звезды» выделялись в нем (вероятно, стараниями дам-линз) куда сильней, чем в обычном небе. Рядом с Зией компактным созвездием «Малого Пса» сиял начальник дворцовой охраны.

Под звуки спокойного вальса «созвездия» проплывали под нашей нишей. Имельдин, знавший всю подноготную, пояснил, что «Дракон», извернувшийся цепочкой мелких камней между «Медведицами»,— это наш знакомец Донесман-Тик; еще двое малоимущих из академии сообразили «созвездие на троих»; что сильно мерцают «звезды» в животах тех дам, кои стараются своими линзами увеличить их яркость — втереть глаза знакомым. Но я находился под очарованием музыки и картины и почти не слушал его. Мне хотелось поверить в то, что внизу — не матово-черный пол, а такие же необъятные, как и над головой, черные глубины Вселенной и что движутся там не заглотанные блестящие камешки, а настоящие звезды. Хотелось поверить и в то, что не ради тщеславия, не чтобы почваниться друг перед другом своими ценностями затеяли люди это, а двигало ими какое-то космическое, что ли, чувство: напомнить себе и другим, что мы живем во Вселенной. Во Вселенной прежде всего, а не на планете, не на острове и не в городе Грондтики. Может, так оно и было когда-то задумано?..

Что и говорить, «звезды» внизу были ярче звезд вверху — ведь свет настоящих подавляла полная луна. И — сначала я решил, что мне показалось,— «звезд» внизу было *больше*. Подсчитал в про-

плывших вблизи «Плеядах» (придворная дама, вторая любовница Зии — по справке Имельдина): вместо семи-восьми видимых невооруженным глазом — более сорока камней; и расположены все так, как видны в телескоп. Вот это да! Вот «Лира»— и в ней, кроме самых заметных алмазных шести, блистают еще десятка полтора второстепенных жемчужных «звезд». Далее мое внимание приковало «созвездие Орион»: в нем, кроме основной фигуры из бриллиантов, подобранной и в цвете так, что узнавалась и красноватая «Бетельгейзе», и белый «Ригель», кроме множества заметных лишь в телескоп сопутствующих звездочек, россыпью жемчужинок была обозначена наблюдаемая в созвездии туманность!

В небе глазами мы различаем около трех тысяч звезд — внизу же я видел десятки тысяч; и расположение их, и блеск соответствовали картинам, видимым только в телескоп. Между тем, ни в академии, нигде я не видел здесь телескопов. Откуда же знают?..

«Орион» приблизился в вальсе. «Моя клиентка,— шепнул тесть,— жена торгового министра, первого хапуги острова, Мартенсита фон Флик. Хороша работка, а?»— «Послушай, познакомь!» Мы спрыгнули, пошли рядом вдоль стены. Имельдин представил меня рослой и обширной телом даме. Похоже, что и мой вид взволновал ее: она повела янтарным плечиком, головой, приливом крови обозначила привлекательные места, правда, лишь с тыльной стороны, чтобы не заслонить свои «звезды» от ведущего.

— Как вы прекрасны! — восхищенно сказал я.— Никогда не видел такого богатого, подробного и точного Ориона. И откуда только вы все это взяли?

— Ах, бросьте! — мелодично ответила Мартенсита.— У моего благоверного хватит еще на три таких «Ориона».

— Да, но откуда вы узнали, что все звезды расположены именно так?— настаивал я.

— Как — откуда? Как это откуда?!— непонятно почему вдруг взбеленилась дама, бросила Имельдину: — Он что у вас — совсем?!— и резко, рискуя нарушить плавный ход светил, отошла.

Я двинулся было за ней, но тесть крепко взял меня за руку.

— Ты что, действительно *«совсем»*— задавать такие вопросы! — и потянул меня обратно в нишу.

— Но... что я такого сказал?!— недоумевал я, когда мы вернулись на свое место.

— Как что? А тебе понравилось бы, если бы кто-то спросил о таком деле Аганиту?

— О каком деле?..

Но тут нас отвлек новый эпизод, тесть не успел ответить. В «Большой Медведице», которая как раз перемещалась неподалеку, «звезды» вдруг нарушили фигуру: две самые крупные, «α» и «β», более не образовывали прямую с «Полярной» дона Реторто, а круто по-

шли вниз. «Медведица» издала неподобающий обстановке звук и, расталкивая другие «созвездия», кинулась к выходу. За ней устремились две прозрачные тени, видимо, из охраны. В павильоне возникло смятение, но министр-церемонимейстер энергичными жестами переместил на пустое место несколько второстепенных «звезд» из внешнего круга, расположил их сходной фигурой. И вальс продолжался.

— Ой-ой! — сокрушенно хлопнул себя по бокам Имельдин.— Говорил же я ей, что не удержит!.. Ну-ка, подсади меня.

Я помог ему взобраться на стену, затем с его помощью поднялся сам. Действие разыгралось прямо под нами, но увидеть что-либо в тени тиквой было затруднительно. Судя по звукам возни, а затем — и рыданий дамы, ей не удалось спасти ни «α», ни «β». Вскоре мы заметили, как тени-охранники удаляются с этими бриллиантами.

— Конечно, что упало, то пропало,— вздохнул тесть.— Особенно, если упало *таким* образом. А ведь предупреждал ее, отговаривал!.. Гули, нам пора уходить. А то она сейчас закатит мне скандал при всех, чтобы отыграться, я ее знаю. Половину состояния про...— как будто я виноват!

Неподалеку старая тиквойя простерла толстые ветви над стеной. По ним мы перебрались на дерево, спустились и скоро уже шагали вниз по дороге под луной среди темных стволов. Имельдин расстроенно молчал, потом произнес:

— Скупенек, однако, стал светоч наш Зия, ох скупенек! Трудился за королевское «спасибо»... да и то досталось тебе.— Фыркнул и снова замолчал.

...Конечно, он был вправе ждать от этого приема большего. И не за такие дела, как годовая возня с демихомом, удачное проведение пробы на его прозрачность, король приказывал поднести отличившемуся бриллиант, изумруд или хотя бы рубин, который полагалось проглотить под аплодисменты знати; порой совсем за пустые дела, за связи. И Донесман этот долговязый мог бы в докладе — чем изощряться в оскорбительных выдумках о темнотиках — отметить надлежащим образом заслуги Имельдина. Я сочувствовал тестю.

Мое настроение тоже было неважным — и из-за доклада и оттого, что таким неблагоуханным, постыдным эпизодом завершилось очаровавшее меня зрелище «звездного вальса». Космическое зрелище, космические чувства — и... тьфу!

Но постепенно мы разговорились. Имельдин объяснил, что внутренние украшения должны держаться в пределах тонких кишок — на время из показа, во всяком случае. А эта дама, стареющая и тщеславная, возжелала одна изобразить Большую Медведицу — и тем самым посрамить соперниц. Хочешь не хочешь, при-

шлось программировать так, что крайние «звезды» окажутся к вальсу в толстых кишках — а от них недалеко и до прямой. Носители украшений умеют сокращениями гладких мышц живота удерживать драгоценности в нужном месте некоторое время, но всему есть предел. К тому же дама своими «линзами» старалась подать себя покрупнее, тужилась. Вот так и получилось.

— Нужно было что-то крепящее ей дать,— сказал я.

— Крепящее?— встрепенулся Имельдин.— А что это?

Оказалось, что «лучший медик Тикитакии» ничего не знает ни о крепящих, ни о слабительных средствах! Впрочем, если здраво подумать, удивляться нечему: на острове в ходу *медицина для здоровых,* а в ней лекарства не в чести. Может, когда-то и знали, да забыли за ненадобностью.

Читатель поймет, с каким удовольствием я на ходу прочел тестю лекцию об известных мне крепящих и слабительных снадобьях: наконец-то я знаю то, чего здешние медики не знают! И пусть мое знание идет от немощной европейской *медицины для больных,* а вот пригодилось. Я сообщал ему о свойствах дубовой коры (дубы обильно растут на острове) и дубильных препаратов, об остро-кислых крепящих смесях, о зверобое, чернике и иных ягодах. Затем, перейдя на слабительные, рассказал о действии глауберовой соли и сернокислой магнезии, о самом популярном на кораблях слабительном средстве — морской соли; не забыл о касторовом и миндальном масле, об отварах ревеня, крушины... Имельдин слушал с большим вниманием, задавал уточняющие вопросы.

И только когда мы вошли в ночной город, я вспомнил:

— Послушай, но почему так оскорбилась эта «мадам Орион»? Я ведь только и хотел узнать, как она наблюдала неразличимые глазом детали созвездия. И ты ее поддержал, вспомнил Агату... при чем здесь она!

— То есть как «при чем»?!— тесть остановился.— Как это — «при чем»?! Постой...— голос его упал,— значит, вы с Аганитой еще не...?

— Что мы «не»?— я тоже остановился.— Мы не «не», мы да. У тебя вон внук растет, Майкл.

— Да, это-то я заметил. Значит, вы еще не... Ну, конечно, откуда тебе знать! А она постеснялась. И я поделикатничал, дурак старый, не спросил, как у вас с этим, не хотел вмешиваться... Значит, и каталог вы еще не начали? Какая же цена тому внуку!.. Ой-ой-ой! — Имельдина не было видно, но, судя по голосу, он взялся за голову.— Бедная моя девочка!

— Почему бедная? Во что вмешиваться? Какой каталог? Что мы «не», можешь ты объяснить!

— Что теперь объяснять!.. Как, по-твоему, для чего в вашем мезонине раздвижная поворотная крыша?

— Для прохлады,— уверенно сказал я.— Мы пользуемся.

— Идиот,— так же уверенно произнес тесть.— За кого я отдал свою дочь! Бедная Аганита! — Было похоже на то, что он снова схватился за голову.

— Послушай, не мог бы ты более внятно выразить...

— Сейчас нет, это возможно только на внутреннем тикитанто. Отложим до утра. Но имей в виду, Барбарите ни звука: испепелит.

И по интонациям я понял, что это не иносказание. Испепелит.

Предмет, который объяснил мне — и преимущественно не словами — следующим утром Имельдин, когда мы уединились в роще тиквой, действительно оказался столь тонким и деликатным, что я не уверен, сумею ли передать все это читателю. Для многого и слов не подберешь.

Собственно, упрощенно дело можно изложить двумя словами: семейная астрономия. Вроде той же семейной охоты, только не при солнце, а ночью, не выходя из дому, и объект — не утки, а звезды. Или планеты. И зеркала не нужны. Интересные наблюдения заносят в семейный звездный каталог, каковой и является хранимой супругами до старости реликвией.

...Неправильно мой тесть обозвал меня идиотом, несправедливо. Дело не в тупости, не в непонимании — в неприятии. Хорошо: «печки» для приготовления пищи, «охотничьи лучевые ружья», даже «лучевые батареи», уничтожившие на моих глазах корабль... ладно: видеосвязь, ЗД-видение. Но чтобы *этим* пользоваться для *такого* дела — вы меня простите! Вот это ханжеское неприятие и порождало нежелание понять.

Да и то сказать: одно дело — сфокусировать в жгучее пятнышко яркий свет солнца или даже передавать изображения достаточно крупных наземных объектов, но совсем другое — отчетливое наблюдение бесконечно далеких, посылающих сюда мизерные лучики звезд. Я знал, насколько это сложно.

И здесь все было очень непросто. В отличие от охоты, кухни и видеотрепа *это* оказывалось возможным при таком слитном настрое тел и духа двоих, которое бывает только в счастливой любви — и именно в начале ее, в самом трепете, еще до привыкания. *Это* — а не действие, в общем-то довольно сходное у всех божьих тварей,— и считается на острове вершиной интимной любви: единение троих — Он, Она и Вселенная. Или единение существа «Он — Она» со Вселенной, как угодно.

Спрашивать же о таком, как я в лоб спросил ту Мартенситу фон Флик, было даже более неприлично, чем поинтересоваться у нашей как она провела ночь с мужем.

Оказывается, мы с Агатой жили все это время в *обсерватории*

любви. Я вспомнил: когда ночами я раздвигал крышу и блеск звезд входил в комнату, Агата поднималась с постели, взбиралась на бамбуковый помост (он уходил под самый потолок, довольно красивый, с изгибами и переплетениями прутьев, двумя кругами как раз над нашим изголовьем; я считал его декоративным), ложилась там и спрашивала замирающим голосом:

— Ты хочешь? Ты уже хочешь, да? Что?..

— Конечно, хочу,— ответствовал я.— Иди-ка сюда!

Как жарко стало моему лицу, когда в роще я вспомнил об этом! Имельдин даже сказал: «Ого!» Действительно, бедная девочка: она пыталась возвысить меня до человека, а я все возвращал ее в самки. Я думал, что это нужно ей, она думала, что это нужно мне,— и оба чувствовали себя обманутыми. На самом деле нам нужно было что-то куда более близкое к поэзии; и она знала что. А я-то считал себя заправским тикитаком, все понимающим в их жизни!

И получилось, что время упущено. Теперь я для Агаты на втором месте. На первом — Майкл, наш чудесный прозрачный Майкл, которого я до сих пор боялся взять на руки, его рев казался мне более реальным, чем он сам. По утрам я провожал их в тиквойевый Сквер Молодых Мам, где Агата и ее товарки рассматривали на просвет своих младенцев, сравнивали, успокаивали, заботились, обменивались впечатлениями, кормили и затем предавались занятию, недоступному для мамаш непрозрачных детей: смотрели, как глоточки пищи проходят по пищеводику их кровиночек, попадают в желудочек, обволакиваются секретами из железок, следуют все дальше, дальше... и все в порядке. Мысли и чувства моей жены целиком заняты отпрыском; после родов она более не взбиралась на помост.

А далее и вовсе — пойдут хлопоты по хозяйству, кухня (с приготовлением пищи своими «линзами»)... тогда будет не до звезд.

— Как же мне быть?— спросил я тестя.

— Ну, постарайся быть с ней поласковей, понежнее.

— Да я и так...

— Нет, ты по-другому постарайся, иначе... Знаешь что,— Имельдина осенило,— напиши-ка ей стихи. Женщины это любят.

Не было для меня предмета более отдаленного. Еще в школе учителя установили мою явную неспособность к гуманитарным наукам как к прозе, так и к поэзии. Из всей английской поэзии я помнил только застольную песенку «Наш Джонни — хороший парень». Но похоже, что иного выхода не было.

— Хорошо, я попробую.

Я удалился в глубь рощи, сел там у ручья, глядел на движение светлых струй (слышал, что это помогает). Потом бродил около моря, любовался накатом зеленых волн на берег, синью небес, слушал шум прибоя и пропитывался его ритмом. К вечеру вернулся домой, показал тестю результат:

Агата — хорошая дама.
Агата — дама что надо.
Агата — отличная дама.
Агата лучше всех!

Имельдину стихи не понравились: во-первых, коротки, во-вторых, в тикитакской поэзии полагается подробно воспевать все прелести любимой, от и до. Он дал мне «козу»— стихи, которые сочинил в свое время для Барбариты, для юной, стройной и прелестной Барбариты. Если по мне, так они были, пожалуй, излишне вычурны, отдавали трансцендентностью и импрессионистическим натурализмом; но ему видней.

Разумеется, я не передрал вирши, как неуспевающий студент, творчески доработал их, внес свои чувства и мысли. Получилось вот что:

О Аганита, славная в женах!
Твои груди-линзы насквозь прожгли мое сердце,
Пронзили его, как стрелой,
И привязали к себе.
О Аганита, славная в любви,—
Чей позвоночник извивается от ласк,
Как ползущая змея,
Чье тело пахнет, как свежий мед,
Чьи кости солнечно желты, как мед,
А объятья сладки, как тот же мед!
О Аганита, славная душой,—
Чье дыхание чисто и нежно, как утренний бриз,
А легкие подобны ушам сердитого слона,
Чьи глаза одинаково светят мне и днем, и ночью,
А кишечник подобен священному удаву,
поглотившему жертвенного кролика.
О Аганита, славная жена!

(Читателю стоит помнить, что любые стихи много утрачивают при переводе; на тикитанто они звучат более складно и с рифмами).

— Ну, это куда ни шло! — снисходительно молвил тесть.— Давай, действуй, ни пуха ни пера!

...Но любопытно, что более всего понравились Агате именно мои первые стихи. Эти тоже, но те ее просто пленили, она их сразу выучила наизусть. В них, возможно, и меньше поэтического мастерства, сказала она, но зато слышно подлинное чувство. А что может быть важнее чувства как в поэзии, так и в любви!

Читатель желает знать, что было дальше? Здорово было. Да, все по известной оптической схеме: муж — окуляр, жена — объектив с меняющейся настройкой. Но окуляр был любим, обласкан, им гордились, к нему относились чуть иронически-снисходительно, но в то же время и побаивались. А объектив... это был лучший объектив на свете, заслуживающий и не таких стихов, и не такой любви. И, может быть, даже не такого окуляра, как я. И мы были едины: я, она и Вселенная.

А вверху, в ночи, в щели между раздвинутыми скатами крыши плыл среди звезд... этот, как его?— Марс. Красненький такой.

— Ну-ка, прицелимся, радость моя.

Я увидел кирпичного цвета горошину в ущербной фазе с белой нашлепкой у полюса и две искорки во тьме, несущиеся вперегонки близко около нее. А потом все крупнее, отчетливей: безжизненные желто-красные пески с барханами, отбрасывающими черные тени; плато с гигантскими валунами; скалистые горы, уносящие вершины к звездам. И стремительный восход в черном небе двух тел неправильной формы, глыб в оспинах и бороздах — ближняя к планете крупнее дальней.

Утром я дополнил стихи об Аганите строкой: «Чьи бедра так чисты и округлы, что через них можно увидеть спутники Марса».

В последующие ночи я засек периоды обращения спутников, а по ним легко вычислить и орбиты.

С этого открытия мы и начали наш семейный звездный каталог. Не знаю, как назовут спутники Марса европейские астрономы, когда откроют их (подберут, наверно, что-нибудь поотвратительней из латыни), но мы их назвали, как это принято *у нас в Тикитакии:* большой спутник — Лемюэль, меньший — Аганита.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Затруднения казны и честолюбие тестя.
Автор вовлечен в заговор.
Ограбление по-королевски. Роковой поступок Имельдина

С неудовольствием приступаю к описанию событий, которые принудили меня покинуть остров. Вспоминать об этом горько и сейчас.

Признаюсь: после проникновения в семейную астрономию я даже и на тот тенденциозно-амбициозный доклад академика Донесмана-Тика начал смотреть несколько иначе. Конечно, вопрос о том, что европейцы — дичающие потомки не выдержавших Похолодание тикитаков, пусть лучше останется открытым, но в остальном факт иного пути разумных существ, иной цивилизации на Земле был у меня перед глазами. Это неважно, что многие наши достижения — и те, что есть, и те, что будут,— они имеют не в металле, не в громоздко-сложных конструкциях, а в своем прозрачном теле. Неважно и то, что две самые мощные отрасли знаний — медицину и астрономию — местные ученые не признают науками; действительно, какая же это наука, если без зауми и каждому доступно! Главное, что они есть, эти знания. Если смыслом разумного существования является познание себя и познание Большого Мира, породившего нас вместе с планетой, Солнцем и звездами, то тикитаки

здесь явно далеко впереди. Ибо и каждый из них, и парами, и все они вместе,— Глаз, могущий проникать неограниченно как в себя, так и во Вселенную.

И я теперь был причастен ко всему этому.

Мы с Агатой по-новому, по-настоящему поняли и полюбили друг друга.

Майкл набирал вес, лепетал первые слова; были основания надеяться, что его скелет останется прозрачным и когда он вырастет. Словом, жизнь наладилась, иной я себе и не мыслил; даже с Барбаритой мы притерлись.

И вот в один — да, всего лишь в один — далеко не прекрасный день все разрушилось.

Читатель, вероятно, заметил, что мой тесть и опекун Имельдин был человек, как говорится, обойденный судьбой. Его способности и большие профессиональные знания оставались без применения, приходилось подрабатывать «внутренним декорированием», сомнительным парикмахерским занятием; да и в нем после прискорбного казуса с «Большой Медведицей» его репутация оказалась подмоченной.

Честолюбивые попытки не удавались: по конкурсу в Академию наук не прошел, за хлопоты со мной не наградили, не отметили. И в семье не ладилось.

Мы с ним с самого начала сошлись характерами — двое мужчин, которым не везло; как могли, поддерживали и выручали друг друга; вместе претерпевали от Барбариты. Я немало узнал от него, тесть — кое-что и от меня. Он никогда не называл меня демихом и не одобрял, когда это делали другие. И я был огорчен, что за «пробу на прозрачность» Имельдину ничего не перепало. Только тем и осчастливил нас монарх Зия, что пустил на «звездный бал». Лучше бы он этого не делал!

Королевскую волю не оспоришь, но уязвленный тесть через знакомцев при дворе попытался узнать, выяснить: в чем дело, за что такая немилость? Оказалось, это вовсе не немилость, а режим экономии: королевская казна переживала трудные времена. Переживала она их потому, что резко сократились поступления из основного источника — от конфискаций имущества чиновников-лихоимцев.

А поступления сократились из-за того, что среди востребованных и вознесенных на различные должности вымогателей и взяточников оказалось меньше, чем рассчитывали: для многих от скорбной жизни в Яме новый свет воссиял, они решили жить праведно или по крайней мере не попадаться.

Несколько честных (или хоть осторожных) чиновников колеблют государственный порядок — это безусловный изъян системы.

Когда Имельдин узнал об этом, у него быстро созрел новый замысел на основе новой, полученной от меня информации. Я думал, из сообщенных рецептов он выберет крепящие средства, чтобы потчевать своих клиенток; ничего подобного — он занялся слабительными.

Предприимчивый тесть изготовил и проверил на себе действие всех составов.

Подобрал смесь, нейтральную по вкусу, проявляющую себя ровно через два часа, да так, что могла бы вывернуть наизнанку и слона.

Тайком от Барбариты он достал из тайника два хранимые про черный день камешка: изумрудик и сапфир скромных размеров, заправился ими, прихватил пузырек, поднялся во дворец и дерзко потребовал приема у короля по делу большой важности. Зия принял. Имельдин объяснил, что к чему, отпил из пузырька, продемонстрировал действие снадобья.

Все это Имельдин, как и подобает опытному неудачнику, провернул скрытно, даже ко мне более не обращался за консультацией. Я узнал обо всем, когда — это случилось три месяца спустя — нас снова пригласили во дворец на празднество полнолуния и прислали лощадей. Для меня это была полная неожиданность. «Ну, ты сегодня увидишь!..— приговаривал тесть, потирая янтарными ладонями, когда мы зарысили вверх по дороге.— Ох, и будет же!». И только распалив мое любопытство, выложил дело. Сначала я возмутился так, что остановил коня, слез, передал Имельдину повод и повернул обратно. Использовать медицинские знания во вред людям — куда это годится!

Тесть преградил мне дорогу.

— Послушай,— произнес он с обидой в голосе,— я ведь мог сказать, что сам изобрел рецепт,— и один получил бы награду и расположение короля. Но я не такой человек. Меня оттесняют — да, но чтобы я сам — нет. Поэтому я сказал его величеству, что все рецепты сообщил Демихом Гули. И знаешь, что ответил король? «В таком случае он больше не демихом». Вот. А ты!..

Что ж, по-своему это было благородно. Словом, он меня уговорил. Неплохо бы действительно избавиться от позорной клички, пока и свой сын не начал дразнить. Да еще вспомнил, как прошлый раз мы бесцветными тенями терлись у стены, а перед нами вельможно блистали «созвездия»,— и снова забрался на коня. Ну-ка, как вы станцуете сегодня?..

Все было, как обычно во дворце, только у чиновников-порученцев, сновавших по дорожкам с папками под мышкой, были несколько выразительней, ответственней поджаты внутренности и подтянуты диафрагмы. Как обычно, восседали министры на двух скамьях по обе стороны от короля на троне — все закинув левую ногу на

правую и скрестив на груди руки; но и сквозь скрещенные руки было видно, как у них в одном ритме наполняются легкие, сокращаются сердца.

Только ЗД-видение на сей раз не присутствовало.

Знати со всего острова съехалось сегодня даже больше, чем прошлый раз. В тронном павильоне было тесно и душно. Многие обмахивались веерами, но — на что я обратил внимание — овевали не лица, а преимущественно область живота, чтобы пленка пота на этих поверхностях не уменьшала блеск драгоценностей внутри. Некоторые поддавали себя веерами и сзади — чтобы и со спины все в них было хорошо видно стоящим позади.

Мы с Имельдином как раз и стояли позади, около дверей. Все колышущееся, сверкающее, искрящееся, играющее огнями ювелирное разнообразие, кое через несколько часов поступит в казну, простиралось перед нами, как поле с цветами. И смотрели мы на этих впереди «не таких, как все», стремящихся к вершине и теснящих друг друга, теми же глазами, какими всюду и во все времена чернь смотрит на знать.

На ковриках перед королем и правительством стояли двое, востребованных из Ямы; тощий вид их выражал готовность. Одного король Зия вознес на пост контролера за сбором плодов тиквой в Эдессе, другого назначил запретителем по части ухода за престарелыми. Возвысив и обласкав, его величество отпустил их со словами: «Смотрите же мне!»

Затем последовал возглас с Башни Последнего Луча: «Солнце — на западе, Луна — на востоке!» Под него всем — кроме челяди и нас — разнесли ритуальные пиалы с тиквойевым пивом. Его величество предложил тост: «За здоровье и долголетие всех присутствующих!»— включив и себя в число всех. Не выпить до дна было нельзя. По вкусу то, что поднесли знати, мало отличалось от поданного королю и министрам.

Далее был ритуал прощания с Солнцем на смотровой площадке, общий привет Луне — и, наконец, «звездный бал». Ах, какой роскошный получился на этот раз бал!

Такого по блеску и изобилию украшений не помнили даже самые старые челядинцы, и уж наверняка теперь очень не скоро такой случится снова.

Мы с Имельдином забрались в свою нишу. На сей раз мы не столько любовались танцами, сколько отсчитывали затраченное на каждый из них время. Контрданс, менуэт, ритурнель, кадриль, полонез — все это были предварительные стадии, во время которых драгоценные камни, следуя сокращениям аристократических кишок, располагались подобно звездам в созвездиях.

И вот наступило время «звездного вальса». Министр-церемонимейстер дон Реторто, блистая своей «Полярной звездой», встал

в центре павильона. Место той тщеславной неудачницы заняли теперь две дамы; их «Большая Медведица» была действительно большой, сверкала яркими камнями. Прочие «созвездия» расположились, как на небесах. Контрабас принялся отсчитывать неспешный ритм на три четверти «Эс тик-так, эс тик-так...», виолончели мягко повели партию Луны, запели скрипки — вальс начался. Далеко было настоящим звездам в залитом лунным светом небе до обильного сверкающего великолепия у нас под ногами! «Мадам Орион», проплывая мимо, углядела меня в нише, сделала ручкой и немножко обрисовалась: она уже не сердилась. «Интересно, позаботился ли о ней ее супруг?— подумал я.— Впрочем, у него еще на три «Ориона» хватит».

— Пора бы...— нетерпеливо прошептал Имельдин. Как и всякий новатор, он нервничал.

И — началось. «Звезды» повсюду замерцали, как перед ураганом, затрепетали, рисунки «созвездий» исказились; случись такое в настоящем небе, это означало бы конец света. Мелодии скрипок и виолончелей покрыли совсем другие звуки.

Смесь Имельдина подействовала на всех одновременно и четко. На этот раз никто не успел выбежать из павильона. Некоторые даже не успели присесть.

Полагаю, что читатель не станет требовать от меня подробного описания всего, что там происходило: как дугой вылетали «созвездия», как ошеломленные гости пытались спасти свое богатство (а некоторые — и прихватить чужое), как для контроля ситуации по приказу короля были зажжены факелы — событие по своей исключительности едва ли не историческое... как слуги, охранники и даже министры пресекали попытки вернуть утерянное, пинали ползающих гостей, оттаптывали всей ступней тянущиеся к камням прозрачные пальцы... как и сам его величество «Большой Пес» с ярчайшим «Сириусом» в животе в ажитации бегал по павильону с возгласами: «Нет-нет, что упало, то пропало!»— указывал подчиненным не зевать и сгребать все в кучу и раскраснелся при этом настолько, что я увидел его лицо: пухлые щеки, покатый лоб, крючковатый нос над плоскими губами, широкий подбородок. Чадящие языки пламени, умноженные зеркалами, метания полупрозрачных теней на черном полу, мерзкие звуки, веера зловонных брызг, сверкание влажный камней, рыдания и стоны — такие сцены, пожалуй, редки и в аду. Но существует ли такое зловоние и нечистоты, которые смутят стремящегося к богатству?

Опустошенных, сникших до полной незримости аристократов выталкивали из павильона взашей, а они со стенаниями и плачем рвались обратно к сверкающей неблагоуханной куче, протягивали к ней руки. Теперь это были призраки, жалкие тени недавних самих себя.



Когда зал очистили от них, король жестом подозвал нас.

Мы стояли над кучей драгоценностей, распространяющих запах выгребной ямы, три сообщника: властитель, плут и дурак.

— Вот теперь глотай свою долю! — сказал Зия Имельдину и милостиво указал подбородком на кучу.

— Как, ваше величество, прямо сейчас?!— тот в замешательстве отступил на шаг.

— Да, сейчас. В твоем распоряжении минута.

Тесть колебался еще секунду — секунду, стоившую бриллианта; затем начал работать: наклон к куче — мгновенный выбор — энергичный, остервенелый глоток. Он хватал «звезды» первой величины и ни разу не ошибся.

...Потом, размышляя, я понял, почему король Зия облек свою «милость» в такую форму: он чувствовал себя неважно. Все-таки совершил ограбление, хоть и по-королевски, суетился, бегал, потерял (или показал?) лицо. В такой ситуации нет лучшего утешения, чем убедиться, что рядом с тобой еще большие подонки, чем ты сам.

— Довольно! — остановил Зия тестя, который вошел в раж; указал подбородком на кучу мне.— Теперь ты. Тоже минута.

Скорее бы я согласился быть четвертованным!

Имельдин — сверкающий в свете факелов пищеводом и верхней, самой широкой частью желудка — глядел на меня с тревогой и недоумением.

— Ну, что же ты! — поторопил король — и нутром выразил: «Брезгуешь, падло?!»

— Счастье бескорыстно служить вашему величеству для меня дороже любых драгоценностей,— сказал я ровным голосом, сильно надеясь, что из-за неверного освещения прочесть мои подлинные чувства не удастся.

— Бескорыстно?.. Э, милейший, ты и в самом деле демихом. Бескорыстно!.. Бескорыстные-то как раз меня и подвели. Все, убирайтесь! — возмутился король.

Возможно, король и прочел мои чувства. Но в конце концов он ведь остался не в накладе.

Мы выбрались из дворца прежним путем: из ниши на стену павильона, оттуда на тиквойю, по ее стволу вниз — и в темную глубину парка, к известной Имельдину лазейке в ограде. Тесть теперь опасался открытых мест.

Вскоре мы спускались с горы по каменистой тропинке, уникальная пара в лунном свете — темный скелет и рядом — сияющий бриллиантами желудок. Сначала шли молча, прислушивались, нет ли погони.

Вокруг было тихо, только ветерок чуть шевелил листву в верхушках деревьев.

«Бриллиантовый желудок» воспрял, принялся истово ругать меня.

— Чистоплюй, тоже мне... ведь вдвое больше несли бы сейчас! Сплоховал, Гули, не ждал от тебя! Подумаешь, эко дело, ничего с тобой не случилось бы, как не случится и со мной. Ладно,— он щедро хлопнул себя по животу,— половина все одно твоя. Я не жаден, да мы и родичи, хе-хе! Теперь и в академию птицей пролечу, вот увидишь. Думаешь, этот их конкурс с подсчетом извилин объективен? Эге! Какую-то складку можно посчитать отдельной извилиной, а можно продолжением предыдущей. Один камешек,— он снова похлопал себя по животу,— и у меня все складки пойдут как извилины не только в мозгу, но и на шее, вот так-то, хохо-хо!

Я молча шагал с наветренной стороны и думал, что в жизни темнотика есть свои преимущества: если и окажешься в дерьме — то все-таки снаружи. А здесь можно и изнутри. Я понимал, что Имельдин говорит сейчас не для меня, а больше для себя самого — на остатке куража, заряда погони за удачей, который и заставил его на финише так непоправимо изменить себе. Будь он спокойней, будь у него хоть время подумать, он бы так не поступил — я же его знаю.

И когда заряд кончится, ему будет худо.

...Жил человек, стремился к успеху и признанию, увлекался замыслами, предприятиями, они не удавались, а неудачи распаляют. Но ведь что значит — не удавались?

В голову приходили, душу наполняли — в этом и есть удача жизни, а не в том, что от благодетелей отломится. И со слабительными был именно замысел, идея, наполнившая душу. И получилось, аристократишек, мнивших о себе, хорошо прочистило, так им и надо.

Но вот — после многих поражений и срывов — полный успех на высшем (королевском) уровне: хватай! «Глотай!» Расплатился бы Зия и так за грязную услугу, еще за молчание, может, накинул бы.

А теперь... что же ты сделал с собой, медик Имельдин? Как ты дальше жить-то будешь!

И показалось мне, будто не от эффекта растворения в лунном свете, а на самом деле нет больше моего незадачливого тестя. «Бриллиантовый желудок» есть, плывет во тьме, а больше ничего нет.

Имельдин тем временем замолк. Принялся беспокойно насвистывать. Но вот перестал и свистеть: видно, заряд кончился. Мы вышли из леса прямо на свою улицу.

Вдруг он остановился, больно сжал мою руку:
— Гули, друг! Зачем же ты меня не удержал?!
Его голос до сих пор в моих ушах.

Наутро я нашел тестя в ванной, до половины в своей крови, с разъятым желудком. Он был недвижим и непрозрачен. Пол усеяли бриллианты, «звезды» первой величины.

Не пожелал Имельдин ни дожидаться, пока они покинут его сами, ни ускорить дело слабительными. Он был хороший хирург и знал, где резать.

Вот тогда только я и увидел лицо своего опекуна, тестя и друга: мягкий нос с широкими ноздрями, крепкие морщины на щеках и около глаз, мелковатый подбородок с ямочкой. И выражение, которое застыло на нем,— выражение не мертвого, а именно смертельно уставшего от жизни человека.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Автор вынужден бежать с острова.
Прощание с женой и сыном. Возвращение в Англию.
Финальные размышления автора о прозрачности
и возможной участи тикитаков. Завещание потомкам

А когда через день после похорон тестя утром я вышел во двор, солнце вдруг жарко осветило мое лицо — и вовсе не с той стороны, откуда оно восходило.

Я успел спрятаться за дерево раньше, чем лучи сошлись на мне в огненную точку; но шрам от ожога на правой щеке и мочке уха ношу до сих пор.

В дом я вернулся ползком и до темноты не выходил, только из глубины комнаты с помощью зеркал и «подзорной трубы» осматривал окрестность. И обнаружил, что на полянах у подножия горы меня подкарауливают самое малое три охотничьи пары с зеркалами и помостами.

Все было ясно: ограбленные аристократы узнали — и от кого же, скорее всего, ни от кого иного, как от Зии и его приспешников! — что я главный виновник их несчастья и позора.

Раньше, чем я смогу им объяснить, что не желал этого, что все вышло помимо моей воли, они превратят меня в жаркое. (Но должен по справедливости отметить, что и в мести тикитаки ведут себя цивилизованней, например, наших южно-европейцев: у них она не распространяется ни на каких родичей, ни на имущество.

Агата и Барбарита безбоязненно и без всякого вреда для себя

появлялись во дворе и на улице, уходили в город. Дом и дворовые постройки тоже не подожгли.)

В этот день я не сделал себе очередную инъекцию тиктакола. А когда наступила ночь и поднялась луна, в сопровождении Агаты ушел к берегу океана, к месту, которое приметил, когда сочинял для нее стихи.

Там дождевые потоки прорыли в обрыве узкую щель, обнажили родничок и образовали под корнями вывернувшейся старой тиквойи как бы медвежью берлогу. В ней я прятался днем, а ночами при свете луны сносил сюда бамбуковые бревна и связывал их в плот. Посредине его я установил мачту, Агата из пеленок Майкла (благо их было достаточно) сшила парус по моему чертежу. Из того же материала моя славная женушка сделала для меня одежду — единственную, в которой понимала толк: распашонку и набедренную повязку, очень напоминавшую подгузник.

На четвертую ночь все было готово. На плот я погрузил запас пищи и воды, положил весло и шест. В отлив подтащил его к кромке воды.

...Читатель помнит, с какой неохотой я в свое время покидал — и тоже вынужденно — страну гуингнгимов, разумных лошадей. Что уж говорить о моих чувствах теперь! Всюду в своих скитаниях я искал не богатств, не приключений и не славы, а более совершенную жизнь и более совершенных людей. Ничуть не идеализируя тикитаков, не закрывая глаза на их недостатки, я все-таки понимал, что здесь я это нашел, что здесь — *более*... И вот злой случай лишает меня этой жизни. Да, кроме того, я навсегда покидал любимую жену и сына!

Да, в Англии у меня имелась законная жена, с которой нас соединили узы церкви, и двое детей, сын и дочь,— ныне уж взрослые, отрезанные ломти. Но что есть законная жена против любимой! Нетрудно догадаться, сколь мало для меня значила женщина, от которой я при первом удобном случае норовил уплыть за тридевять земель.

Агата принесла попрощаться Майкла. Меня до сих пор мучит сознание того, что я так и не увидел его напоследок в ущербном свете луны — только прижавшись лицом и осыпая поцелуями, чувствовал его теплую, нежную, славно пахнущую плоть. Сам я, перестав принимать тиктакол, за эти дни помутнел. Аганита, увидев, каким я стал, сначала в испуге отшатнулась: у тикитаков непрозрачны лишь покойники. Но спохватилась, приникла, омочила мне грудь слезами:

— Возьми нас с собой, Гули, а?

Куда — на погибель? А если и посчастливится уцелеть, то чтобы потом ее и Майкла демонстрировали *там*, как меня здесь?

Барбарита тоже пришла, сморкалась, стоя позади,— хотя я не сомневался, что в душе она довольна, что убирается прочь опасный зятек.

Начался прилив, поднявшаяся вода закачала плот.

Я обнял в последний раз всех, вспрыгнул на него, оттолкнулся шестом, взялся за весло. До восхода мне следовало уплыть подальше от острова.

За неделю скитаний в океане я окончательно потемнел.

И когда увидел на западе у горизонта белое пятнышко и поднес к глазам мякоти кистей, чтобы рассмотреть: облачко там или парус?— то убедился в том, что увидеть через мои «линзы» более ничего нельзя.

Но это все-таки оказался парус.

И на корабле, который меня подобрал, я по привычке еще не раз, стоя у борта, подносил к глазам ладони, чтобы разглядеть приближающееся судно, пускающего фонтан кита или далекий берег, чем вызывал недоуменные взгляды и усмешки команды. Тогда я спохватывался и просил подзорную трубу у офицеров.

Надо ли говорить, что лица моряков-темнотиков (хотя это были и англичане): с большими носами и маленькими глазками, едва выглядывающими из щелочек в коже век, с самой их красновато-желтой кожей, с усами, баками и бородками — казались мне дикарски уродливыми, речь, выражаемая только звуками,— по-варварски грубой и невнятной, а одежды — нелепыми и смешными в своей ненужности? Да и на себя я с отвращением взирал в зеркало.

Для них же, напротив, нелепо выглядел я в своем невероятном одеянии и со странными замашками. Капитан, впрочем, был достаточно любезен со мной: сам предложил мне выбрать одежду из своего гардероба, поместил в отдельную каюту, куда заходил порасспросить меня об увиденном и пережитом. Я отвечал, что провел более года на необитаемом острове и рассказывать мне особенно нечего.

Не видя «инто» человека, мог ли я ему доверять!

По возвращении в Англию я узнал, что моя жена умерла.

Дети жили своими семьями, изредка навещая меня. Они так мало знали меня, а я так мало, каюсь, уделял им в детстве времени и родительского внимания, что мы, в сущности, были теперь чужими друг другу.

Я решил наконец основательно заняться врачебной практикой. Хоть я и не мог видеть своих пациентов изнутри и тем более иссле-

довать их органы тканевыми «линзами», но полученные в Тикитакии познания об устройстве и жизни человеческого тела, взаимодействии в нем органов и веществ позволили мне и по внешним признакам ставить куда более правильные диагнозы, чем иным докторам. Правильный же диагноз — основа успешного лечения. Моя популярность росла, гонорары — тоже; обойденные коллеги почтили меня прозвищами «невежественного знахаря» и «колдуна-костоправа».

Единственно, в чем я потерпел неудачу, это в применении тикитакского метода целительных болей. Когда я однажды закатил насморочному дворянскому отроку пару лечебных оплеух, то присутствовавшая при процедуре мамаша подняла такой крик, что у дома начали собираться люди. И хоть насморк (хронический) тотчас же прошел, она отказалась уплатить за визит и грозилась пожаловаться в суд.

Подобное получалось и при других попытках. Поэтому впоследствии, если я видел, что пациента от его недуга, реального или мнимого, лучше бы всего пользовать щипками с вывертом, легкой массажной поркой по надлежащим местам, а то и просто полновесным пинком в зад,— я все равно приписывал ему микстуры, притирания, клизмы, банки, рекомендовал прийти еще, съездить на воды и т. п.

Люди больше желают, чтобы о них заботились и хлопотали, чем быть здоровыми.

Состоятельный вдовец, бывалый человек и к тому же врач, я, несмотря на возраст, привлекал внимание женщин. Меня знакомили с достойными дамами на вечеринках, ко мне заглядывали городские свахи.

Но и самые привлекательные во всех отношениях невесты и вдовы оставляли меня равнодушным; все они были для меня будто в парандже — в парандже, которую не снять. Мне вообще казалось теперь странным, как это можно плениться *внешностью* женщины: я знал, знал так твердо, будто видел, что их миловидность, округлость форм и плавность линий (качества, к которым мы, влюбившись, присоединяем добросердечие, нежность, преданность и даже тонкий ум) — это всего лишь более толстый, чем у мужчин, слой подкожного жира. Женившись, мы сплошь и рядом обнаруживаем, что нету за этими линиями ни доброго характера, ни ума, и не мудрено: не в подкожном слое эти достоинства находятся. Совсем не там.

Да и не могло быть у меня с этими дамами того, что было с Аганитой: любви-откровения, любви-открытия.

На многое, очень многое я теперь смотрел иными глазами. При виде ли куряшего франта, купца с багровой от гнева физиономией, распекающего побледневшего приказчика, кавалеров и дам, укра-

шенных драгоценностями, или пациента-толстяка, жалующегося, что его часто мутит,— я вспоминал места из того ядовитого доклада Донесана-Тика. Тогда он меня уязвил, а теперь я все подумывал: может, и в самом деле?..

Встретив человека с большим лбом, я вдруг понимал, почему мы таких считаем умными: потому что при прозрачном черепе у него было бы видно *много извилин*. Но мы их не видим, а все равно так считаем — почему?..

Может, действительно все уже было? Может, и все наши технические изобретения есть попытка вернуть утерянный рай, вернуть с помощью всяческих устройств *вне себя* все то, что некогда мы имели *в себе?*

Особенно вопрос о любви меня занимал. Наблюдая иногда за гуляющими под луной влюбленными парами, я вспоминал свои ночи с Агатой, ночи любви-единения со Вселенной, и мыслил в том же русле: ведь в том и отличие человеческой любви — и прежде всего молодой, трепетной, со слезами и стихами — от простого обезьяньего занятия, что она стремится охватить весь мир! Если так... мы, европейцы, с высокомерием и брезгливостью смотрим на отношения полов у дикарей, считаем свои образцом и вершиной; но в сравнении с тикитакскими какая же она вершина! На миллиметр выше, чем у дикарей, только и всего. И главное, с каждым веком они все ниже, проще: нет уже рыцарей, посвящавших себя служению Прекрасной Даме, все меньше стихов и все больше похабства.

А ведь то, что упрощение отношений между мужчиной и женщиной, приближение их к животному примитиву есть признак вырождения,— оспорить нельзя.

Выходит, и тут тот долговязый с голым черепом не так и неправ?

Или взять развитие нашей цивилизации (как добавил бы Донесман-Тик, «с позволения сказать») с помощью внешних устройств: от карет до микроскопов и от реторт до пушек — прогресс ли это? Для самих устройств, безусловно, да; для методов их расчета и проектирования, для всех сопутствующих наук — тоже. А для людей? Ведь для них в конечном счете дело сводится к тому, что все это можно *купить*. Обменять на стойкий к желудочным кислотам металл.

То есть главным для пользования «прогрессом» оказывается он (или эквивалентные ему ассигнации), как и во времена, когда прогресса не было. Купил — телескоп (рассматривать соседние дома), корабль (перевозить рабов), что угодно мудреное и точное, красивое и интересное — а сам можешь хоть хрюкать, ибо все это остается *вне нас* и не меняет нас. А если и меняет, то в какую, собственно, сторону?

Такие размышления шли у меня параллельно с написанием данного отчета.

Вот так и получилось, что чем ближе к концу, тем яснее я понимал, что опубликовать его не вправе. Во-первых, не выйдет дело, не воспламеню я современников-соотечественников идеей прозрачности — и именно потому, что она должна быть не во вне, а внутри нас. Изменять придется себя. Вот если бы все выгоды прозрачности можно было *купить* (и, кстати, тем возвыситься над другими, кто не смог купить), а самому остаться все тем же скрытным, своекорыстным, лживым темнотиком, тогда другое дело. А так... нет!

Возможно, конечно, что публикация этих сведений подвигла бы некоторых ученых и врачей на исследования в том же направлении: постепенно, за сотню-другую лет, оно развилось бы. Но — и это уже во-вторых — надо смотреть на вещи прямо: пока что впереди нашей цивилизации идут не ученые, а люди с оружием. Люди, которые сначала стреляют, а потом думают, если вообще думают. Люди, для которых все не похожие на них (по виду, цвету кожи, по образу жизни, по религии... особенно по религии!), *хуже* их. А раз так, то — *бей* их! Вспомним, что осталось от ацтеков и инков.

Тикитакам грозит та же участь. В отчете, в главе IV, я рассказываю о том, как они потопили английский фрегат. Нетрудно угадать, какой приказ отдаст наше Адмиралтейство посланным к острову новым фрегатам и баркам, если за убийство даже одного белого уничтожается туземный поселок. Да, днем, при свете солнца, остров неприступен; но ведь здесь я неизбежно выдаю и то, что в темное время суток или в пасмурную погоду тикитаки беззащитны. Такую пору и выберут для нападения. И начнется резня. То, что вид островитян с непривычки вызывает ужас, отвращение и желание пустить в ход оружие, я знаю сам.

А разве рассказ о носимых тикитаками внутри драгоценностях не привлечет к острову пиратов, флибустьеров и иных рыцарей наживы? Эти джентльмены не станут роскошествовать со слабительными, а будут просто вспарывать животы.

Нет, дело не только в том, что на острове остались люди, которые мне дороги: жена и сын, хотя и это не могу не учитывать. Главное — в другом: мы, европейцы, считаем себя умнее других, будучи всего лишь с и л ь н е е.

Пока мы с этим идем к другим народам, мы ничего не сможем взять у них, кроме сырья, рабов и товаров, и ничего не оставим там, кроме унижения, разорения и страха.

В то же время знания не должны пропасть; похоже, что мы и так их больше теряем, чем приобретаем.

Поэтому я завещаю эту рукопись своему старшему сыну Джону

Гулливеру с тем, чтобы он передал ее своим детям, а те — своим и так далее до тех пор, пока положение не изменится, пока люди не начнут понимать две простые истины:

1) что подлинно разумная жизнь — та, когда меняют не только внешнюю среду, но и себя;

2) что нет народов лучших и худших, а есть разные — и все друг друга стоят.

И пусть пройдет до этого век, и два, и более — только тогда я позволяю сообщить, что

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь,
Остров Тикитакия в океане есть.

ВСТРЕЧНИКИ



Не желающий делать ищет причину,
желающий сделать — средство.

Арабская пословица

I. СУЕТА ВОКРУГ БАЛЛОНА

— ...Все блокировано. Лаборатория опечатана, уцелевшие спят. Труп Мискина в холодильнике. Близкие еще ничего не знают. Хорошо, что дело случилось вечером, после рабочего дня,— иначе изолировать происшествие было бы гораздо труднее.

— Плохо, что это вообще случилось,— внушительно заметил крепкий голос на другом конце провода.

— Это само собой. Но я с точки зрения практической.

— Доложите план.

— Забросим кого-то на полсуток назад — Возницына или Рындичевича. За секунду до взрыва Емельян Иванович будет отвлечен... окликом, телефонным звонком, просто возгласом — так, чтобы он повернул голову в сторону. И взрыв его не заденет. Самое большее снимет скальп. Потеря небольшая, так у него и снимать-то нечего. Впредь будет наука — не пренебрегать техникой безопасности.

— Э, нет! — возразил крепкий голос.— Это не план. Никаких взрывов больше. Вы что — такой взрыв в лаборатории!

— Извините, Глеб Александрович, но иначе невозможно. Иначе никак! Вы же знаете методику: реальность исправляется по минимуму. Это и согласно науке, да и практически полезно: несчастный случай сохраняется в памяти его потенциальных жертв как осознанная в о з м о ж н о с т ь — чтобы дальше глядели в оба, не допускали...

— Артур Викторович! Я это знаю, понимаю и целиком «за» — во всех случаях, кроме данного. Академик Мискин должен быть возвращен к жизни целым и невредимым. То есть ни он, ни другие участники опыта не должны подвергнуться опасности, которая неизбежна при новом взрыве. Следовательно?..

— Да... черт побери! — гладкое лицо Артура Викторовича, моего шефа, багровеет.

Я кладу параллельный наушник (параллельное слушание и даже запись на пленку всех переговоров по телефону или по рации у нас в порядке вещей — необходимо для экономии времени) и машу на Багрия газетой:остыньте, мол. Он сверкает на меня глазами...

Слишком высокое начальство Глеб Александрович товарищ Воротилин, чтобы на него повышать голос; да к тому же еще наш куратор и перед всеми заступник. Артур Викторович прав, но и тот прав: все-таки академик Мискин — не утопший мальчишка и не замерзший на дороге пьяница.

...Вчера вечером в одной из лабораторий института нейрологии ставили опыт на собаке. Какие-то зондовые проникновения в ганглии, в нервные узлы — смесь акупунктуры и вивисекции; я в таких вещах, по правде сказать, не очень, мне оно ни к чему. Опыт ставил сам Мискин, директор института, великий нейрохирург и лютый экспериментатор. Как нейрохирург он в самом деле величина мирового класса — их тех, чьи операции над нервными центрами близки к божественному вмешательству: и слепые прозревали, и паралитики отбрасывали костыли. Если мы не поправим дело, завтра что-то подобное напишут в некрологе о нем.

Опыт вели микроманипуляторами в камере под высоким давлением инертно-стимулирующей смеси; собака была предварительно вскрыта и укреплена там. Баллон, в котором была эта смесь, и рванул, когда Мискин слишком нетерпеливо-резко крутнул его вентиль. Предельно заряженные баллоны, как и незаряженные ружья, стреляют раз в год. Емельяну Ивановичу снесло полчерепа; собака в камере погибла от удушья. Остальные двое: лаборантка и инженер-бионик, ассистент Мискина,— отделались ушибами.

С недавних пор любая подобного рода информация о несчастьях в нашей зоне передается прежде всего (милицией, скорой помощью — всеми) именно Глебу А. Воротилину — негласно и лично. Он наделен (тоже негласно — это первая специфика наших работ) правом либо предоставить делу идти обычным порядком, либо, взвесив шансы, передать его нам. Больших дел у нас на счету... раз — и обчелся; пока отличались все больше на утопленниках, подтверждали принцип, отрабатывали методику. Вот узнав этой ночью о несчастьи с Мискиным, Глеб А. рассудил, что скорая помощь там уже не поможет, милиция вполне потерпит,— и дал знать нам.

— Случай, Глеб Александрович,— раскаленно произносит между тем в трубку Артурыч,— есть, как известно, проявление скрытой закономерности. И нет более яркой иллюстрации к этому положению, чем данный факт. Вы бы поглядели акты о нарушении Т Б в институте, чего тут только нет! — Багрий потрясает кипой бумаг на столе, как будто Воротилин может их видеть.— И рентгеновские облучения сверх норм, и пренебрежение правилами работы со ртутью, незаэкранированные ВЧ-установки, работы в лабораториях ночами поодиночке. А помните тот случай три года назад, когда сгорела в кислородной камере женщина-врач!..

(Да, было и такое — в подобном опыте, только оперировать нужно было вручную. Заискрил регулирующий давление контактор

в камере — а много ли надо чистому кислороду для пожара! Не успели и камеру разгерметизировать... Громкое и печальное было дело, весь город жалел об этой 28-летней симпатичной женщине. Инженер, собиравший установку, получил три года за то, что не додумался поставить электронное реле).

Все это произошло давно и уже необратимо.

— И за всем этим неявным образом одна и та же фигура — Мискин! — продолжает Багрий.— Его напор, экспериментаторский азарт и ажиотаж, картинная жертвенность... сам рискует и людей без нужды под удар подставляет. Вот и напоролся — и напоролся, многоуважаемый Глеб Александрович, именно потому, что ему всегда сходило с рук. Так что я не для своего удовольствия хочу с него скальп снять — для его же пользы. Это оптимальная вариация! А вы и теперь, в таком деле требуете для него поблажек!..

— Разделяю ваше беспокойство, Артур Викторович. Если вы вернете Мискина к жизни, ему будет строго указано. И стружку снимем, а может быть, и скальп. И тем не менее с вашим планом я не согласен,— голос Воротилина, не утратив ровности, стал более крепким.— Никаких взрывов, травм, контузий! Поищите возможность более круто обогнуть реальность. Это вполне в ваших силах. И не теряйте времени. Все!

Багрий-Багреев (такова полная фамилия нашего шефа; а мы, бывает, добавляем еще «Задунайский-Дьяволов»; ему с нами хорошо) тоже бросает трубку и облегчает душу в выражениях отнюдь неакадемических.

— Ай-ай,— раздается от двери,— а еще человек из будущего!

Оборачиваемся: в дверях стоит худощавый, но плечистый мужчина с тонким носом и волевой челюстью на удлиненном лице; он улыбается, обнажая крупные зубы. Те же и Рындичевич Святослав Иванович — он же Рындя, он же Славик, он же «поилец-кормилец».

Он сразу включается в дела: перематывает и тотчас прослушивает на двойной скорости запись разговора с Воротилиным, одновременно просматривает бумаги об Институте нейрологии, о Мискине... Багрий тем временем меряет комнату короткими шажками, изливает душу в пространство:

— И сюда проник протекционизм! Как же — Мискин, светило и бог, ни один волосок не должен более упасть с его лысины! Но это же не Мискин — это Пугачев Емельян Иванович, Стенька Разин, Чингисхан нейрологии. В белом халате на белом коне — вперед во славу науки!..

Я слушаю не без удовольствия: Артурыч в возбуждении умеет говорить красиво.

— А что, можно и без взрыва...— Рындичевич выключает магнитофон, снимает наушники.

— Можно-то можно, да какой толк! Та же закономерность про-

явит себя в следующих опытах — снова что-то случится, да не только с ним.

— Ну, восстановим еще раз и еще...— невозмутимо ведет Рындя.— Будем отрабатывать методику на Мискине с сотрудниками — не все же на утопленниках. Начальство требует. Наше дело петушиное: прокукарекал, а там хоть не рассветай.

Багрий останавливается, смотрит на него — и переключает свой гнев:

— Циник вы, Святослав Иванович! И кстати об утопленниках: грубо работаете, опять жалоба на вас. От дамочки, мамаши того мальчишки, коего вы изволили ремнем выпороть на прошлой неделе. Я, мол, его в жизни пальцем не тронула, а тут посторонний ремнем, душевная травма. Хорошо, конечно, что с фарватера их прогнал, но зачем бить! Мой Юрик зимой бассейн посещал, уплыл бы вовремя и сам... Вот так!

— Дура...— Славик темнеет лицом.— Уплыл бы! Всплыл бы — верней, половинки бы его всплыли. Это ж нашли место для игры — фарватер, где то «ракета», то «комета»! Меня не за такое пороли!

— И вырос человек! — поддаю я.

Рындя косит глаза в мою сторону, но пренебрегает.

...Трое ребятишек купались в сумерках в уединенном месте; да еще в «квача» затеяли — нырять и ловить друг друга. Прошла «комета» — одного не стало. Эта махина и не почувствовала на 70-километровой скорости, как ее подводное крыло, заостренное спереди на нож, рассекло мальчика. Двое других встревожились, побежали на спасательную станцию. Оттуда дело перешло к нам... Случай простой, Рындичевич сместился на 6 часов — и появился на берегу за четверть часа до «кометы»; разделся, заплыл, выгнал мальчишек из воды, а потенциального покойника отпорол брючным ремнем. Но ведь в окончательной-то реальности ничего и не произошло. Мамаша права.

— На меня пеняете, а сами? — Рындя переходит в наступление.— Ваши-то намерения насчет скальпа академика чем лучше?

— М-м...— Артур Викторович не находится с ответом.— Так, кстати, о нем — какие предложения?

— Облить Емельяна Ивановича перед опытом эмалевой краской,— предлагаю я невинным голосом.

Рындичевич, наконец, поворачивает ко мне свое волевое лицо.

— Ты, я гляжу, сегодня в хорошем настроении. Даже слишком.

Я несколько конфужусь. Он прав: человек погиб, да какой — надо спасать. Выработался у меня за недолгое время «милицейский профессионализм», надо же. С одной стороны спокойное отношение к несчастьям, которыми мы занимаемся, необходимо для успеха дела, для устранения их; а с другой — это ведь все-таки несчастья. Зубы скалить ни к чему.

А настроение (тоже прав Рындя) в самом деле хорошее. И потому что сейчас майское раннее утро, розовый восход, предвещающий хороший день. (Это по случаю неприятности с Мискиным мы собрались здесь так рано.) И вообще мне 25 лет, я здоров и крепок телом, в личной жизни несчастий пока не было, занимаюсь интересным делом — чего унывать-то! Но и резвиться не следует, верно.

Однако Багрий уже услышал про краску:

— Вот и с краской этой, Святослав Иванович... грубо, грубо! Нет, вам серьезно надо думать над такими вещами, над стилем. Неартистично все как-то у вас получается. Работать над собой надо.

— Как работать-то? Скажите — буду.

— Ну... классическую литературу читать — ту самую, что в школе проходили да все мимо. Серьезную музыку слушать: Бетховена, Чайковского, Грига... Живописью интересоваться.

Славик молчит, но смотрит на шефа такими глазами, что все ясно и без слов: ну, какое отношение могут иметь к работе классические романы и всякие там Бетховены, Чайковские!..

II. ТЕОРИЯ ИЗ БУДУЩЕГО

Со стороны, наверное, не понять, что Рындичевич сейчас получит выволочку (и не первую!) не за провал и даже не за промах, а за самое значительное свое — да и вообще наше — дело, после которого он получил благодарность высокого начальства, а от меня лично титул «поильца-кормильца». Он исправил неудачную стыковку, с которой, увы, началось исполнение теперь широковещательно известного проекта сборки на околоземной орбите «Ангар-1»; стартовой, перевалочной и ремонтной базы для полета к Луне, к иным планетам — космического Байконура.

Первой выводили на орбиту двигательно-энергетическую станцию — по частям в силу ее громадности; да и части были такие, что запаса массы для космонавтов в кабине не оставалось, то есть стыковали их автоматически, с Земли. И — осечка, да такая, что ставила под угрозу проект: на стыковочных маневрах стравили весь запас сжатого воздуха, силой которого совершались взаимные перемещения частей на орбите. И части станции, не соединившись, расходились, уплывали друг от друга — во Вселенную, в космос, в вечность...

Получилось это по вине руководителя стыковки в Центре управления, человека, в чьем опыте и квалификации никто — и он сам — не сомневался: доктора технических наук А. Б. Булыгина, 45-летнего здоровяка с удлиненной головой, резкими чертами лица, ухоженной шевелюрой и красивыми усами под крупным носом (фотографии обслуженных остаются в нашем архиве). Объекты такой

массы в космос еще не выводили — поэтому он решил для опыта «накачать» их на орбите, проверить маневренность; на это ушла половина запаса воздуха. Потом повел стыковку, с первого раза не попал — занервничал, повысил голос на одного оператора. Тот развел части чрезмерно резко... а на это и на последующее гашение их скорости еще порасходовали воздух. И... оставшегося запаса на новое сближение и стыковку просто не хватило.

Булыгина, когда выяснилась неудача, скорая помощь увезла в прединфарктном состоянии.

Нам помогло то, что не спешат у нас прежде дела объявлять о своих намерениях в космосе, а о неудачах в их исполнении тем более. Если бы все узнали — пиши пропало: психическое поле коллективной убежденности, что все обстоит именно так, делает реальность необратимой. А так даже в Центре далеко не все в первый день знали о неудаче. Багрий с Рындичевичем вылетели в городок. Славик был заброшен на сутки назад с заданием: минимальное воздействие на Булыгина, чтобы он не появлялся в Центре...

...Потом Артур Викторович предложил десяток вариантов минимального воздействия — вполне пристойных. Но это потом. А там, на месте, может, из-за спешки, может, из-за наклонностей натуры Рындя не придумал ничего лучшего детской шкоды с ведерком эмалевой краски. Он пристроил его над дверями квартиры Булыгина так, что когда тот утром вышел, чтобы отправиться в Центр, оно на него опрокинулось. И текла по доктору наук голубая эмаль качественного сцепления — и за шиворот, и по шевелюре, и по усам... только в рот не попала. Два дня потом отчищали. И этот случай тоже вызвал у Булыгина сердечный приступ.

Но в Центре управления за командный пульт стал дублер, заместитель Булыгина — и исполнил все превосходно. «Ангара-1» сейчас сооружается полным ходом.

Глеб А. Воротилин, помимо благодарности Рынде, добился, чтобы 10% «экономии» (стоимости неудачного запуска и стыковки) перечислили нам. Так Рындя стал «поильцем-кормильцем», и теперь можно разворачивать дело шире не только в смысле закупок и заказов, но и, главное, ездить всюду, искать подходящих ребят, тренировать их. Пока что ведь нас — трое. А если учесть, что Багрий по многим (и не совсем мне ясным) причинам в нашей команде больше тренер, чем игрок, то и вовсе двое: я да Рындя.

Рындичевич — он, что называется, из простых. Был трактористом у себя в белорусском селе, потом строителем, электромонтажником, слесарем, токарем — на все руки. Инженером стал заочно, сам к своему диплому с юмором относится. Культуры у него, в самом деле, от сих до сих, в самый обрез, чтобы понимать, что показывают по телевизору. Да к тому еще и самолюбив, мнителен, упрям до поперечности... не подарочек.

О себе я не буду, но думаю, что и многие мои качества Артура Викторовича отнюдь не радуют. И если он нас двоих выбрал из многих тысяч, то не за душевные добродетели и не за красивые глаза (это у меня красивые глаза: голубые с синим ободком; по ним да по светлым волосам меня принимают за уроженца Севера — хотя на самом деле я из Бердянска на Азовском море) — а за абсолютную память, главное качество в нашем деле. У Рындичевича она проявилась в том, что он с первого показа осваивал все операции со всеми тонкостями — тем изумляя наставников; у меня в том, что я в своем Институте микроэлектроники за первый же год прославился как ходячий справочник, реферативный журнал и энциклопедия (хотя я, поступая туда, надеялся прославиться другим). По нашей славе Артурыч нас и отыскал.

Абсолютная память — способность запоминать все до мельчайших подробностей и вспоминать это легко и в любой последовательности — не только техническое, что ли, наше свойство; она, по объяснениям Багрия-Багреева, есть вторая (а может и первая) форма нашего существования.

Мы — Встречники, люди, умеющие двигаться навстречу потоку времени.

Энергетически двигаться против потока времени: нажал кнопку или переключил рубильник и попер — невозможно. Время само по себе — страшная энергия, энергия потока материи, порождающего и несущего миры. Маяковский мечтал: «Впрячь бы это время в приводной бы ремень: сдвинул с холостого — и чеши, и сыпь. Чтобы не часы показывали время, а чтоб время честно двигало часы». На самом деле так оно и есть: время движет и часы, и меня, заводящего их, и круговороты веществ и энергии в природных процессах, питающих, «заводящих» меня, и планеты, и солнца — все. «Энергия покоя» тел $E = Mc^2$ — это и есть энергия движения-существования тел во времени. Попробуй останови-аннигиляция.

...В фантастике мне приходилось читать: заплатит чувак миллион — и отправляется с подругой поглядеть на казни первых христиан или на Варфоломеевскую ночь в натуре. Для пищеварения. Так сказать, возлежа и отрыгивая. Нет, граждане, время — это вам не пространство, башли здесь решают так же мало, как и энергия.

Артур Викторович шел по другому пути, не от энергии, не от техники — от человека. Метод — информационный и уже этим, при всей своей теоретической строгости, ближе к искусству, чем к технике.

Исходная идея его была та, что человек, как все сущее, четырехмерен. Мало того, он имеет два различных «размера по времени». Первый — биологический: полусекундный примерно интер-

вал одновременности, под которой подогнаны наши движения, слова, удары сердца. Благодаря этому интервалу мы и воспринимаем наш мир именно таким: если бы, скажем, он составлял тысячную долю секунды, то вместо низких тонов мы воспринимали бы серии щелчков, треск... и прощай, музыка! Перед забросом мы принимаем препарат петойля, который растягивает интервал одновременности до несколько секунд, и это страшное дело, насколько меняется окружающий мир!

Но, кроме биологического интервала, одинакового для всех высших животных, есть и другой, в котором люди прочих тварей заметно превосходят: психический. Память. И вот в этом не только люди от зверей, но и один человек от другого сильно отличается.

Память... На первый взгляд кажется, что ее можно уподобить видению в пространстве: как в пространстве чем дальше предмет, тем труднее его рассмотреть, так и во времени чем удаленнее событие, тем труднее его вспомнить. Но почему, скажите, отменно четко далекое прошлое вспоминается в местах, где оно происходило,— ведь во времени эти места переместились наравне с другими? Почему люди в старости лучше всего помнят события молодости и детства? Почему вообще можно вспомнить давние и самые мелкие факты с подробностями, даже зримо? А сны, в которых мы видим давно умерших или давно исчезнувших из нашей жизни людей?.. Здесь много «почему».

И ответ на все один: потому что э т о с н а м и б ы л о . Все пережитое, когда бы оно ни случилось, хранится в памяти целиком. Все хранится: ушибы, наслаждение едой или любовью, встречи, сны... и даже, когда спал крепко, то память о том, что ничего не снилось. Потому что другое название для времени — с у щ е с т в о в а н и е . И подлинное 4-мерное существо Человек — а не его мгновенный снимок, меняющийся образ — это длиннющая, вьющаяся вместе с Землей и по ее поверхности в четырехмерном континууме лента-река его жизни; исток ее — рождение, устье... тоже понятно что.

И, главное, обширность его сознательного существования зависит от интервала и информационной полноты памяти — именно управляемой ее части, подчиненной воле и рассудку.

Это я пересказываю то, что излагал нам на лекциях и тренировках Артурыч. Излагал он много, многому нас научил — и все это было настолько необычно, оторвано как-то от того, что пишут о времени и памяти в современных журналах и книгах (я ведь слежу), что мне в голову закралась одна интересная мысль. Я ее обдумывал так и этак, примерял к ней все свои наблюдения за Багрием — и все получалось, что называется, в масть:

— и эти необычные знания...

— и сама личность Артура Викторовича: его неустрашимость перед любым начальством, полная поглощенность делом, бескорыстность и безразличие, что от данного результата перепадет лично ему; да к тому же и разностороннейшая эрудиция — от физики до йоги, от актерского искусства до электронных схем, какая-то избыточность во всем: на нескольких бы хватило его сил, знаний, и способностей...

— и главное, одна особенность в действиях: он никогда не ходил в заброс для изменения реальности; в тренировочные со мной или Славиком сколько угодно (без этого мы бы их и не освоили); надо знать поэзию заброса — те чувства, что переживаешь во время его и после, когда изменил реальность, чувства владычества над временем, отрешенного понимания всего — чтобы понять странность поведения человека, который обучил такому других, и сам не делает.

— А знаешь, почему? — сказал я Рындичевичу, изложив эти мысли.— Он уже в забросе. В очень далеком забросе, понял? И менять реальность сверх этого ему нельзя.

— Из будущего, думаешь?..— Славик в сомнении покрутил головой.— Хм... ругаться он больно здоров. В будущем таких слов, наверное, и не знают.

— Так это для маскировки,— меня распалило его сомнение,— слова-то трудно ли выучить.

В общем, Рындя согласился с моими доводами, и мы решили поговорить с Артуром Викторовичем начистоту. Пусть не темнит. Шеф, сидя за этим столом, выслушал нас (меня, собственно) с большим вниманием — и бровью не повел.

— Превосходно,— сказал он.— Потрясающе. Дедуктивный метод... А неандертальцы пользовались беспроволочным телеграфом.

— При чем здесь неандертальцы? — спросил я.

— При том. Проволоки-то в их пещерах не нашли. Чем этот довод хуже того, что, раз я в заброс не хожу, значит, человек из будущего? Прибыл в командировку научить Рындичевича и Возницына технике движения во времени — двух избранников. А вам не кажется, избранники, что вера в пришельцев из будущего — такой же дурной тон и нищета духа, как и вера в космических пришельцев, коя, в свою очередь, лежит рядом с верой в бога! «Вот приедет барин, барин нас научит...» Лишь бы не самим. Вынужден вас огорчить: никакого будущего еще нет. Прошлое есть, настоящее есть — передний фронт взрывной волны времени. А будущее — целиком в категории возможности.

— Ну, здрасьте! — сказал я.— Когда я отправляюсь на сутки хотя бы назад, оно для меня — полная реальность.

— Ты не отправляешься назад, в прошлое, друг мой Саша,—



шеф поглядел на меня с сочувствием,— ты остаешься в настоящем и действуешь во имя настоящего. Значит, вы еще недопоняли... Все наши действия суть воспоминания. Полные, глубокие, большой силы — соотносящиеся с обычными воспоминаниями, скажем, как термоядерный взрыв с фугасным, но только воспоминания. Действия в памяти...

—...такие, что могут изменить реальность! — уточнил я.

— А что здесь особенного, мало ли так бывает! Если очевидец вспомнит, как выглядел преступник, того поймают; не вспомнит — могут и не поймать. Он может вспомнить, может не вспомнить, может сказать, может умолчать — интервал свободы воли. У нас все так же: воспоминания плюс свободные действия в пределах возможного. Только, так сказать, труба повыше да дым погуще. Никакой «теории из будущего» здесь не нужно.

И смотрит на нас невинными глазами да еще улыбается.

— Нет, ну, может, нам нельзя?..— молвил Рындичевич.— Мы тоже свою работу знаем, Артур Викторович: в заброс лишнюю информацию распространять не положено. Тем более такую! Но — мы же свои. И никогда никому... Вы хоть скажите: третья мировая была или нет?

— Конечно, нет, раз засылают оттуда, о чем ты спрашиваешь! — вмешался я.— До того ли бы им было? Вы лучше скажите, Артурыч, вы из коммунистического или ближе?

— Да... черт побери! — Багрий хряпнул по столу обоими кулаками.— Говорят вам, нет еще будущего, нету!.. Ох, это ж невозможное дело, с такими поперечными олухами мне приходится работать!

И начал употреблять те слова, какие, по мнению Рынди, в будущем станут неизвестны. Кто знает, кто знает!

III. СИГНАЛ БЕДСТВИЯ

— Так! — Багрий смотрит на нас.— Не слышу предложений по Мискину. А время идет, в девять часов в институте начнется рабочий день.

Я молчу. Честно говоря, мне не нравится вариант, который навязывает нам Глеб А.; багриевский явно надежней. Какие же у меня могут быть идеи! А с другой стороны, надо поднатужиться: в заброс идет тот, чей план принят.

— Инспекция,— говорит Рындичевич.— Инспектор по технике безопасности и охране труда от... от горкома профсоюза. По жалобам трудящихся.

— Не было жалоб,— говорю я.— Не жалуются сотрудники на Емельяна Ивановича. Они за него хоть в огонь.

— Вот именно! — вздыхает шеф.

— Ну тогда — из-за нарушений, вон их сколько! — Славик указывает на бумаги.— Явиться в лабораторию за час до происшествия, обнаружить упущение, потребовать немедленно исправить. Там ведь всего и надо этот баллон вынести в коридор, защитить в углу решеткой или досками. А без этого инспектор запрещает работать.

— Это Мискину-то безвестный инспектор по ТБ запретит работать?! — иронически щурится Артурыч.— Ну, дядя...

— Да хоть кому. Имеет право.

Багрий хочет еще что-то возразить, но мешает звонок. Он берет трубку (сразу начинают вращаться бобины магнитофона), слушает — лицо его бледнеет, даже сереет:

— Какой ужас!..

Мы с Рындичевичем хватаем параллельные наушники.

—...набирал высоту. Последнее сообщение с двух тысяч метров. И больше ничего, связь оборвалась. Упал в районе Гавронцев...— Это говорил Воротилин, в голосе которого не было обычной силы и уверенности.— Рейс утренний, билеты были проданы все...

— Карту! — кидает мне шеф. Приношу и разворачиваю перед ним карту зоны, снова беру наушник. Багрий водит пальцем, находит хутор Гавронцы, неподалеку от которого делает красивую излучинку река Оскол, левый приток нашей судоходной.— Где именно у Гавронцев, точнее?

— Десять километров на юго-восток, в долине Оскола.

— В долине это хорошо — она заливная, не заселена...

— Опять ты свое «хорошо»,— горестно сказали на другом конце провода.— Ну, что в этом деле может быть хорошего!

— Да иди ты, Глеб, знаешь куда!..— вскипел Багрий.— Не понимаешь, в каком смысле я примериваю, что хорошо, что плохо?

— Ага... значит, берешься?

— Успех гарантировать не могу — но и не попытаться нельзя. Главное, причину бы найти, причину!.. Теперь слушай. Сначала блокировка. Карта перед тобой?

— Да.

Никогда прежде эти двое — немолодые интеллигентные люди разных положений и занятий — не называли друг друга запросто по имени и на «ты»; не будет этого с ними и после. Но беда всех равняет, сейчас не до субординации и пиетета.

— Проведи вокруг Гавронцев круг радиусом 15 километров. Здесь должно быть охранение — и чтоб ни одна живая душа ни наружу, ни внутрь. Охраняющие тоже не должны знать, что произошло. Ничего еще не произошло!

— Сделаю.

— Телефонная связь с Гавронцами должна быть сразу оборвана. Дальше: на аэродроме известие о падении БК-22...

(«БК-22, вот оно что! Ой-ой...» Я чувствую, как у меня внутри

все холодеет. БК-22 — стосорокаместный двухтурбинный и четырехвинтовой красавец, последнее слово турбовинтовой авиации. Рейсы его через наш город начинались этой зимой, я видел телерепортаж открытия трассы. И вот...)

—...распространиться не должно. Всех знающих от работы на эти несколько часов отстранить, изолировать. Я сообщу по рации с места, когда их усыпить.

— Ох! Это ведь придется закрыть аэропорт.

— Значит, надо закрыть. Только сначала пусть пришлют сюда два вертолета: грузовой и пассажирский.

— Ясно. Кто тебе нужен на месте?

— Представители КБ и завода, группа оперативного расследования. Но — чем меньше людей, тем лучше, скажем, так: по два представителя и группа из трех-четырех, самых толковых.

— Уже сообщено.Буду через полтора часа. Бекасов, может быть, через два, он в Крыму. Но... для такого случая полагается еще санитарная команда: вытаскивать и опознавать трупы, все такое.

— Нет! Никаких таких команд, пока мы там. Предупреди всех о безоговорочном подчинении мне.

— Конечно. Теперь слушай: один представитель Бекасовского КБ, хоть и неофициальный, прибудет к тебе сейчас на вертолете. Это Петр Денисович Лемех, бывший летчик-испытатель, ныне списанный на землю. Облетывал «БК двадцать вторые», летал и на серийных.

— Отлично, спасибо.

— И еще. Поступила первая информация о БК-22. Была аналогичная катастрофа с его грузовым вариантом — год с месяцами назад, на юге Сибири. Тоже при наборе высоты сорвался, нагруженный. Там причину не узнали — но это уже намек, что она одна и может быть найдена. Так что настраивайтесь на это.

— А на что же еще нам настраиваться? — усмехнулся Багрий.— На реквием? Это успеется.

— Кто летит?

— Я и Возницын. Рындичевич займется Институтом нейрологии.

На том конце провода помолчали. Я ждал с замиранием сердца, что ответит Глеб А.; в Славика он верит, конечно, больше, чем в меня.

— Смотри, тебе видней. («Уфф!..») Ну, все? Напутственных слов говорить не надо? Я все время здесь.

— Не надо. Дальнейшая связь — по рации.

Багрий-Багреев кладет трубку, поворачивается к нам:

— Все слышали? Вот так, не было ни гроша, да вдруг алтын. Святослав Иванович, ваш план принимаю, хоть и не в восторге от него. Но время не терпит. Заброс короткий, справитесь сами. Постарайтесь там...— он движением пальцев выразил то, в чем Рын-

дя должен расстараться,— быть тоньше, осмотрительней. Зацепку на минувший день имеете?

(«Зацепка» — это точка финиша в забросе: запомнившееся приятное событие, к которому тянет вернуться, пережить его еще раз).

— Имею.

— Какую, если не секрет?

— А пиво вчера в забегаловке возле дома пил — свежее, прохладное. И мужик один тараней поделился, пол-леща отломил, представляете?

Артура Викторовича даже передергивает. Рындичевич смотрит на него в упор и с затаенной усмешкой: вот, мол, такой я есть — с тем и возьмите.

— Эхе-хе!..— вздыхает, поднимаясь из-за стола, шеф.— Поперечный мы, встречники, народ. Что ж, наши недостатки — продолжения наших достоинств. Ладно, с вами все. А ты, друг мой Александр Романович (это я — и друг, и Романович), настраивай себя на далекий заброс. Может, на год, а то и дальше.

И он убегает комадовать техникам общий сбор, следить за погрузкой. Мы с Рындей остаемся одни. Мне немного неловко перед ним.

— Аджедан и анемс,— говорит он обратной речью,— тсодрог и асарк. («Смена и надежда, гордость и краса...»)

— Слушай, не я же решал!

— Еонишутеп олед ешан,— продолжает он перевертышами,— онченок. («Наше дело петушиное, конечно».) Ичаду. («Удачи!»).

— Онмиазв. (Взаимно).— Я тоже перехожу на обратную речь.

— Ондиваз ежад, йе-йе. (Ей-ей, даже завидно).

— Онтсеч? Нечо ен ебес кат я. (Честно? Я так себе, не очень).

— Ясьшиварпс. Модаз мылог с еняьзебо бо йамуд ен, еонвалг.

Мы говорим перевертышами — и говорим чисто. Если записать фразы на пленку, а потом прокрутить обратно, никто ничего и не заподозрит. Ничего, впрочем, особенного в обратной речи и нет: по звучанию похожа на тюркскую, прилагательные оказываются за существительными, как во французской, а произношение не страшнее, чем в английской.

Кроме того, мы умеем отлично ходить вперед спиной, совершать в обратном порядке сложные несимметричные во времени действия — так, что при обратном прокручивании пленки видеомагнитофона, на которую это снято, не отличишь. В тренинг-камерах, на стенах и потолке которой развиваются в обратном течении реальные или выдуманный Багрий-Багреевые события и сцены (и часто в ускоренном против обычного темпе!), мы учились ориентироваться в них, понимать, предвидеть дальнейшее прошлое, даже вмешиваться репликами или нажатием тестовых кнопок.

Все это нужно нам для правильного старта и финиша при заб-

росах, а еще больше — для углубленного восприятия мира, для отрешения от качеств. Обнажается то, что смысл многих, очень многих сообщений и действий симметричен — что от начала к концу, что от конца к началу. А у событий, где это не так, остается только самый общий, внекачественный их смысл — образ гонимых ветром-временем волн материи: передний фронт крутой, задний пологий.

В том и дело, потому я и подозреваю в Артурыче человека не от мира сегодняшнего, что его внеэнергетический метод есть прикладная философия, идея-действие...

Мы с Рындичевичем говорим обратной речью — и мы знаем, что говорим. «Главное, не думай об обезьяне с голым задом»,— посоветовал он. Верно, главное не думать ни о ней, ни о белом медведе: о том, что сейчас лежит в пойме Оскола за Гавронцами, что осталось от 140-местного турбовинтового шедевра. И прочь этот холодок под сердцем. Ничего еще не осталось. Правильно хлопочет Багрий об охранении и блокировке: нельзя дать распространиться психическому пожару. Пока случившееся — только возможность; укрепившись в умах, она сделается необратимой реальностью.

И я буду о другом: что в умах многих он еще летит, этот самолет, живы сидящие в креслах люди. Их едут встречать в аэропорт — некоторых, наверно, с цветами, а иных так даже и с детьми. С сиротами, собственно... Нет, черт, нет! — вот как подвихивается мысль. Не с сиротами! Он еще летит, этот самолет, набирает высоту.

— Ну, вернись,— Рындя протягивает руку,— вернись таким же. Заброс, похоже, у тебя будет... ой-ой. Вернись, очень прошу.

— Постараюсь.

Все понимает, смотри-ка, хоть и из простых. Заброс с изменением реальности — покушение на естественный порядок вещей, на незыблемый мир причин и следствий. Изменение предстоит сильное — и не без того, что оно по закону отдачи заденет и меня. Как? Каким я буду? Может статься, что уже и не Встречником.

Мы со Славиком сейчас очень понимаем друг друга, даже без слов — и прямых, и перевернутых. Эти минуты перед забросом — наши; бывают и другие такие, сразу после возвращения. Мы разные люди с Рындичевичем — разного душевного склада, знаний, интересов. Для меня не тайна, что занимается он нашей работой из самых простых побуждений: достигать результатов, быть на виду, продвигаться, получать премии — как в любом деле. Потому и огорчился, позавидовал мне сейчас; а при случае, я знаю, он ради этих ясных целей спокойненько отодвинет меня с дороги... И все равно — в такие минуты у нас возникает какое-то иррациональное родство душ: ближе Рынди для меня нет человека на свете, и он — я уверен! — чувствует то же.

Наверно, это потому, что мы Встречники. В забросах нам при-

открывается иной смысл вещей; тот именно смысл, в котором житейская дребедень и коллизии — ничто.

IV. РАССЛЕДОВАНИЕ

Грузовой вертолет с нашим оборудованием и техниками отправили вперед. Затем пассажирским Ми-4 летим в сторону Гаврончев и мы с Багрием. Третьим с нами летит Петр Денисович Лемех — плотный 40-летний дядя, длиннорукий и несколько коротконогий, с простым лицом, на котором наиболее примечательны ясные серо-зеленые глаза и ноздреватый нос картошкой; он в потертой кожаной куртке, хотя по погоде она явно ни к чему,— память прежних дней.

До места полчаса лету — и за эти полчаса мы немало узнаем о «БК двадцать вторых»: как от Петра Денисовича, так и по рации.

— Не самолет, а лялечка,— говорит Лемех хрипловатым протяжным голосом.— Я не буду говорить о том, что вы и без меня знаете, в газетах писалось: короткий пробег и разбег, терпимость к покрытию взлетной полосы — хоть на грунтовую, ему все равно, экономичность... Но вот как летчик: слушался отлично, тяга хорошая — крутизна набора высоты, почти как у реактивных! А почему? От применения Иваном Владимировичем сдвоенных встречно вращающихся на общей оси винтов да мощных турбин к ним — от этого и устойчивость, и тяга. Нет, за конструкцию я голову на отсечение кладу — в порядке! Да и так подумать: если бы изъяны в ней были, то испытательные машины гробились бы — а то ж серийные...

Сведения по рации от Воротилина: самолет выпущен с завода в июне прошлого года, налетал тысячу сто часов, перевез более 20 тысяч пассажиров. Все регламентные работы проводились в срок и без отклонений; акты последних техосмотров не отмечают недостатков в работе узлов и блоков машины.

— Вот-вот...— выслушав, кивает Лемех,— и у того, что в Томской области загремел в позапрошлом апреле, тоже было чин-чинарем. Полторы тысячи часов налетал — и все с грузом. Эх, какие люди с ним погибли: Николай Алексеевич Серпухин, заслуженный пилот... он уже свое вылетал, мог на пенсию уходить, да не хотел — Дима Якушев, штурман только после училища...

— А почему там не обнаружили причину? — перебивает шеф.

— Он в болото упал. А болота там знаете какие — с герцогство Люксембургское. Да конец апреля, самый разлив... Место падения и то едва в две недели нашли. Это ж Сибирь, не что-нибудь. Над ней летишь ночью на семи тысячах метров — и ни одного огонька от горизонта до горизонта, представляете?

— Ну, нашли место — а там что? — направлял разговор Артур Викторович.

— А там...— Лемех поглядел на него светлыми глазками,— хвостовое оперение из трясины торчит. Да полкрыла левого отдельно, в другом месте. Ни вертолету сесть, ни человеку спуститься некуда. С тем и улетели... Нет, но здесь на сухом упал — должны найти.

— Грузовые и пассажирские КБ разные заводы выпускают? — спрашиваю я.

— Один. Пока только один завод и есть для них. Отличия-то пассажирского варианта небольшие: кресла да окна, буфет, туалет...

Мы немало еще узнаем от Петра Денисовича: и что чаще всего аварии бывают при посадке — да и к тому же больше у реактивных самолетов, чем у винтовых, из-за их высокой посадочной скорости; затем в статистике следуют разные аэродромные аварии (обходящиеся, к счастью, обычно без жертв), за ними — взлетные — и только после этих совсем редкие аварии при наборе высоты или горизонтальном полете.

Мы подлетаем. В каком красивом месте упал самолет! Оскол — неширокая, но чистая и тихая река — здесь отдаляется от высокого правого берега, образуя вольную многокилометровую петлю в долине. Вот внутри этой петли среди свежей майской зелени луга с редкими деревьями — безобразное темное пятно с бело-серым бесформенным чем-то в середине; столбы коптящего пламени, ближние деревья тоже догорают, но дымят синим, по-дровяному.

А дальше, за рекой, луга и рощи в утреннем туманном мареве; высокий берег переходит в столообразную равнину в квадратах угодий; за ними — домики и сады Гавронцев. И над всем этим в синеголубом небе сверкает, поднимаясь, солнце.

Я люблю реки. Они для меня будто живые существа. Как только подвернутся два-три свободных дня да погода позволяет, я рюкзак на плечи — и па-ашел по какой-нибудь, где потише, побезлюдней. Палатки, спальные мешки — этого я не признаю: я не улитка — таскать на себе комфорт; всегда найдется стог или копна, а то и в траве можно выспаться, укрываясь звездами.

И по Осколу я ходил, знаю эту излучину. Вон там, выше, где река возвращается к высокому берегу, есть родничок с хорошей водой; я делал привал возле него... Но сейчас здесь все не так. В том месте, где высокий берег выступает над излучиной мыском, стоит среди некошеной травы наш грузовой вертолет, а вокруг деловая суета: разбивают две большие палатки — одну для моей камеры, другую для гостей, выгружают и расставляют наше имущество.

Мы приземляемся.

— Слышал? — говорит мне Артурыч, выскакивая вслед за мной на траву.— Самолет выпустили одиннадцать месяцев назад. Вот

на такой срок, то есть примерно на годовой заброс и настаивайся. Выбирай зацепку — хорошую, крепкую, не пиво с таранькой! — и просвет. Дня в три-четыре должен быть просвет. Туда,— он указывает в сторону излучины,— тебе ходить не надо, запрещаю. От суеты здесь тоже держись на дистанции... Общность, глубина и общность — вот что должно тебя пропитывать. Годовой заброс — помни это!

Да, в такой заброс я еще не ходил. И Рындичевич тоже.

Вскоре прибывают еще два вертолета. Из первого по лесенке опускаются трое. Переднего: невысокого с фигурой спортсмена, седой шевелюрой и темными бровями, по которым только и можно угадать, какие раньше у него были волосы,— я узнаю сразу, видел снимки в журналах. Это Иван Владимирович Бекасов, генеральный конструктор, Герой Социалистического Труда и прочая, и прочая. Ему лет за пятьдесят, но энергичные движения, с какими он, подойдя, знакомится с нами, живая речь и живые темные глаза молодят его; лицо, руки покрыты шершавым крымским загаром — наверно, выдернули прямо с пляжа где-нибудь в Форосе.

Он представляет нам (Багрию, собственно; по мне Бекасов скользнул взглядом — и я перестал для него существовать) и двух других. Высокий, худой и сутулый Николай Данилович (фамилию не расслышал) — главный инженер авиазавода; у него озабоченное лицо и усталый глуховатый голос. Второй — мужчина «кровь с молоком», белокожее лицо с румянцем, широкие темные брови под небольшим лбом, красивый нос и подбородок — Феликс Юрьевич, начальник цеха винтов на этом же заводе; вид у него урюмо-оскорбленный — похоже, факт, что именно его выдернули на место катастрофы, его угнетает.

Подходит Лемех. Бекасов его тепло приветствует, а о том и говорить нечего: глаза только что не светятся от счастья встречи с бывшим шефом.

— Какие предполагаете причины аварии? — спрашивает Багрий.

— Поскольку при наборе высоты, то наиболее вероятны отказы двигателей и поломка винтов,— отвечает Бекасов.— Такова мировая статистика.

— Ну, сразу и на винты! — запальчиво вступает начцеха.— Да не может с ними ничего быть, Иван Владимирович, вы же знаете, как мы их делаем. Пылинке не даем упасть.

— Нет, проверить, конечно, нужно все,— уступает тот.

— Не нужно все, сосредоточьтесь на самом вероятном,— говорит Багрий.— Время не ждет. Вот если эти предположения не подтвердятся, тогда будете проверять все.

— Хорошо,— внимательно взглянув на него, соглашается генеральный конструктор; и после паузы добавляет.— Мы предупреждены о безусловном повиновении вам. Артур... э-э... Викторович. Но не могли бы вы объяснить свои намерения, цели и так далее? Так сказать, каждый солдат должен понимать свой маневр.

Чувствуется, что ему немалых усилий стоит низведение себя в «солдаты»; слово-то какое выбрал — «повиновение».

Под этот разговор приземлился второй вертолет, из него появляются четверо в серых комбинезонах; они сразу начинают выгружать свое оборудование. Одни приборы (среди которых я узнаю и средних размеров металлографический микроскоп) уносят в шатер, другие складывают на землю: портативный передатчик, домкрат, какие-то диски на шестах, похожие на армейские миноискатели, саперные лопаты, огнетушитель... С этим они пойдут вниз. Это поисковики.

— Мог бы и даже считаю необходимым,— говорит Багрий.— Прошу всех в палатку.

В шатре в дополнение к свету, сочащемуся сквозь пластиковые окошки, горит электричество; на столе у стенки микроскоп, рядом толщиномер; распаковывают и устанавливают еще какие-то приборы.

По приглашению Бекасова все собираются около нас. Стульев нет, стоят. Стулья — не в стиле шефа: пока дело не кончится, сам не присядет и никому не даст.

Артур Викторович сейчас хорош, смотрится: подтянут, широкогруд, стремителен, вдохновенное лицо, гневно-веселые глаза. Да, у глаз есть цвет (карие), у лица очертания (довольно приятные и правильные), а кроме того, есть еще и темные вьющиеся волосы с седыми прядями над широким лбом, щеголеватая одежда... но замечается в нем прежде всего не это, не внешнее, а то, что поглубже: стремительность, вдохновение, веселье мощного духа. Этим он и меня смущает.

— Случившееся настраивает вас на заупокойный лад,— начинает он.— Прошу, настаиваю, требую: выбросьте мрачные мысли из головы, не спешите хоронить н е п о г и б ш и х . Да, так: ничто еще не утрачено. Для того мы и здесь. Случай трудный — но опыт у нас есть, мы немало ликвидировали случившихся несчастий. Совладаем и с этим. Главное — найти причину...

— Как — совладаете? — неверяще спросил Лемех.— Обрызгаете там все живой водой, самолет соберется и с живыми пассажирами полетит дальше?

Вокруг сдержанно заулыбались.

— Нет, не как в сказке,— взглянул на него Багрий.— Как в жизни. Мы живем в мире реализуемых возможностей, реализуемых нашим трудом, усилиями мысли, волей; эти реализации меняют мир

на глазах. Почему бы, черт побери, не быть и противоположному: чтобы нежелательные, губительные реализации возвращались обратно в категорию возможного!.. Я не могу вдаваться в подробности, не имею права рассказать о ликвидированных нами несчастьях — ибо и это входит в наш метод. Когда мы устраним эту катастрофу, у вас в памяти останется не она, не увиденное здесь — только осознание ее возможности.

Артур Викторович помолчал, поглядел на лица стоявших перед ним: не было на них должного отзвука его словам, должного доверия.

— Я вам приведу такой пример,— продолжал он.— До последней войны прекращение дыхания и остановка сердца у человека считались, как вы знаете, несомненными признаками его смерти — окончательной и необратимой. И вы так же хорошо знаете, что теперь это рассматривается как к л и н и ч е с к а я смерть, из которой тысячи людей вернулись в жизнь. Мы делаем следующий шаг. Так что и катастрофу эту рассматривайте пока что как «клиническую»... Вы — люди деятельные, с жизненным опытом и сами знаете о ситуациях, когда кажется, что все потеряно, планы рухнули, цель недостижима; но если напрячь волю, собраться умом и духом, то удается достичь. Вот мы и работаем на этом «если».

— Но как? — вырвалось у кого-то.— Как вы это сделаете?

— Мы работаем с категориями, к которым вопрос «как?» уже, строго говоря, неприменим: реальность — возможность, причины — следствия... Вот вы и найдите причину, а остальное мы берем на себя.

— Так, может, и тот самолет соберется... ну, который в Сибири-то? — с недоверием и в то же время с надеждой спросил Лемех.

— Нет. Тот не «соберется»...— Артур Викторович улыбнулся ему грустно одними глазами.— Тот факт укрепился в умах многих и основательно, над таким массивом психик мы не властны. А здесь все по-свежему... Так, теперь по делу. В расследовании никаких съемок, записей, протоколов — только поиск причины. И идут лишь те, кто там действительно необходим. Это уж командуйте вы, Иван Владимирович.

Тот кивнул, повернулся к четырем поисковикам:

— Все слышали? За дело!

Я тоже берусь за дело: достаю из вертолета портативный видеомаг и, подойдя к обрыву, снимаю тех четверых, удаляющихся по зеленому склону к месту катастрофы. При обратном прокручивании они очень выразительно попятятся вверх. Мне надо наснимать несколько таких моментов — для старта.

Потом, озабоченный тем же, я подхожу к Багрию и говорю, что хорошо бы заполучить с аэродрома запись радиопереговора с этим самолетом до момента падения.

— Прекрасная мысль! — хвалит он меня.— Но уже исполнена и даже сверх того. Не суетись, не толкись здесь — отрешайся, обобщайся. Зацепку нашел, продумал? Просвет?.. Ну, так удались вон туда,— он указывает на дальний край обрыва,— спокойно подумай, потом доложишь. Брысь!

И сам убегает по другим делам. Он прав; это обстановка на меня действует, атмосфера несчастья — будоражит, понукает что-то предпринимать.

Я ухожу далеко от палаток и вертолетов, ложусь в траве на самом краю обрыва, ладони под подбородок — смотрю вниз и вдаль. Солнце поднялось, припекает спину. В зеркальной воде Оскола отражаются белые облака. Чутошный ветерок с запахами теплой травы, земли, цветов... А внизу впереди — пятно гари, искореженное тело машины. Крылья обломились, передняя часть фюзеляжа от удара о землю собралась гармошкой.

Те четверо уже трудятся: двое поодаль и впереди от самолета кружат по архимедовой спирали, останавливаются, поднимают что-то, снова кружат. Двое других подкапываются лопатами под влипшую в почву кабину; вот поставили домкраты, работают рычагами — выравнивают. В движениях их чувствуется знание дела и немалый опыт.

...Каждый год гибнут на Земле корабли и самолеты. И некоторые вот так внезапно: раз — и сгинул непонятно почему. По крупному — понятно: человеку не дано ни плавать далеко, ни летать, а он хочет. Стремится. Вытягивается из жил, чтобы быстрее, выше, дальше... и глубже, если под водой. И платит немалую цену — трудом, усилиями мысли. А то и жизнями.

В полетах особенно заметно это вытягивание их жил, работа на пределе. Например, у Армстронга и Олдрина для взлета с Луны и стыковки с орбитальным отсеком оставалось горючего на 10 секунд работы двигателя «лунной капсулы». Десять секунд!.. Я даже слежу за секундной стрелкой на моих часах, пока она делает шестую часть оборота. Если в течение этого времени они не набрали бы должную скорость — шлепнулись бы обратно на Луну; перебрали лишку — унесло бы черт знает куда от отсека. Так гибель и так гибель.

Или вот в той стыковке «Ангара-1», на исправлении которой отличился Славик: попробуй оптимально израсходуй тонну сжатого воздуха — да еще управляя с Земли. А больше нельзя. «Запас карман не тянет». Черта с два, еще и как тянет: запас это вес.

Так и с самолетами. Аксиома сопромата, возникшая раньше сопромата: где тонко, там и рвется. А сделать толсто, с запасом прочности — самолет не полетит. Вот и получается, что для авиационных конструкций коэффициенты запаса прочности («коэффициенты незнания», как называл их наш лектор в институте) всег-

да оказываются поменьше, чем для наземных машин. Стараются чтобы меньше было и незнания, берут точными расчетами, качеством материалов, тщательностью технологии... А все-таки нет-нет да и окажется иной раз где-нибудь слишком уж тонко. И рвется. Тысячи деталей, десятки тысяч операций, сотни материалов — попробуй уследи.

И тем не менее уследить надо, иначе от каждого промаха работа всех просто теряет смысл.

...Там, внизу, приподняли кабину — сплюснутую, изогнутую вбок. Один поисковик приходил сюда за портативным газорезательным аппаратом, сейчас режут. Вот отгибают рейки, поисковик проникает внутрь. Я представил, что он может там увидеть,— дрожь пошла между лопаток. Э, нет, стоп, мне это нельзя! Немедленно отвлечься!

Поднимаюсь, иду к палаткам. Хорошо бы еще что-то поймать на свой видеомаг. О, на ловца и зверь бежит... да какой! Сам генеральный конструктор Бекасов, изнывая от ничегонеделания и ожидания, прогуливается по меже между молодыми подсолнухами и молодой кукурузой, делает разминочные движения: повороты корпуса вправо и влево, ладони перед грудью, локти в стороны. Ать-ать вправо, ать-ать влево!.. Как не снять. Нацеливаюсь объективом, пускаю пленку. Удаляется. Поворот обратно. Останавливается скандализированно:

— Эй, послушай! Кто вам позволил?

Я снимаю и эту позу, ошеломленное лицо, опускаю видеомагнитофон:

Извините, но... мне нужно.

— А разрешения спрашивать — не нужно?! Кто вы такой? Уж не корреспондент ли, чего доброго?

— Нет...— Я в замешательстве: не знаю, в какой мере я могу объяснить Бекасову, кто я и зачем это делаю.

— Тс-с, тихо! — Артур Викторович, спасибо ему, всегда оказывается в нужном месте и нужное время.— Это, Иван Владимирович, наш Саша, Александр Романович. Он отправится в прошлое, чтобы исправить содеянное. Ему делать можно все, а повышать на него голос нельзя никому.

— Вон что!..— Теперь и Бекасов в замешательстве, ему неловко, что налетел на меня таким кочетом; смотрит с уважением.— Тысячу извинений, я ведь не знал. Пройтись так еще? Могу исполнить колесо, стойку на руках — хотите? Ради такого дела — пожалуйста, снимайте.

— Нет, спасибо, ничего больше не надо.

Конечно, занятно бы поглядеть, как знаменитый авиаконструк-

тор проходится колесом и держит стойку, но мне это ни к чему: эти движения симметричны во времени; только и того, что в обратном прокручивании колесо будет не справа налево, а слева направо. А его ходьба с поворотами да ошеломленное лицо — это пригодится.

— Са-ша! — Багрий полководческим жестом направляет меня обратно на обрыв.

Иду. Почему, собственно, он нацеливает меня на годовой заброс? А ну, как сейчас выяснится, что это диверсия, взрывчатку кто-то сунул... Тогда все меняется, заброс на сутки, даже на часы?.. Нет. Второй самолет упал так, вот в чем заковыка. Одной конструкции и с одного завода. Слабина заложена при изготовлении, а то и в проекте.

Снова ложусь над обрывом в том месте, где примял траву. Стало быть, будущее для меня — в прошлом. Год назад... это были последние недели моей работы в том институте. Я сознавал, что не нашел себя в микроэлектронике, маялся. Даже раньше времени ушел в отпуск. А сразу после отпуска меня зацапал Багрий-Багреев, начал учить драить и воспитывать. Так что эти отрезки моей жизни наполнены содержанием, менять которое накладно... Отпуск? О, вот зацепка: шесть дней на Проне — есть такая река в Белоруссии. Шесть дней, которые я хотел бы пережить еще раз. Только целиком-то теперь не придется... Первые дни — финиш заброса, последние — просвет. Даже не последние, а все три дня от момента встречи с Клавой пойдут под просвет. Да, так: там с ней у нас все началось и кончилось, никаких последствий в моей дальнейшей жизни это не имело — содержание этих дней можно изменить.

Жаль их, этих трех дней, конечно. А ночей так еще больше. Впрочем, в памяти моей тот вариант сохранится. А то, что из ее памяти он исчезнет, даже и к лучшему. И для меня тоже: снимается чувство вины перед ней. Все-таки, как говорят в народе, обидел девку. Обидел, как множество мужчин обижает многих женщин и девушек, ничего нового — а все нехорошо.

V. ЦЕЛЬ ТРЕБУЕТ ГНЕВА

Похоже, что эти четверо внизу что-то нашли: собрались вместе, осматривают, живо жестикулируют. Двое с найденными предметами быстро направляются вверх, двое остаются там, собирают свои приборы.

Я тоже поднимаюсь, иду к палаткам: наступает то, что и мне следует знать досконально. Двое поднимаются из-за края косогора: первым долговязый, немолодой, с темным морщинистым лицом руководитель поисковой группы, за ним другой — пониже и помоложе. Оба несут серые обломки, аккуратно обернутые бумагой.

Бекасов прогуливающийся все там же, при виде их резко меняет направление и чуть не бегом к ним:

— Ну?

— Вот, Иван Владимирович, глядите,— задыхающимся голосом говорит старший поисковик, разворачивает бумагу.— Этот из кабины достали, этот выкопали под правым крылом. А этот,— он указывает на обломок, который держит его помощник,— в трехстах метрах на север от самолета валялся. И ступицы будто срезанные.

— Ага,— наклоняется он,— значит, все-таки винты!

Я тоже подхожу, гляжу на обломки, это лопасти пропеллеров — одна целая и два куска, сужающиеся нижние части.

— Да винты-то винты, вы поглядите на излом,— поисковик подает Бекасову большую лупу на ножке.

Тот склоняется еще ниже, смотрит сквозь лупу на край одного обломка, другого — присвистывает:

— А ну, все под микроскоп!

И они быстрым шагом направляются в шатер; я за ними. Возле входа курят и калякают главный инженер Николай Данилович, начцеха винтов Феликс Юрьевич и Лемех. При взгляде на то, что несут поисковики, лица у первых двух сразу блекнут; главный инженер даже роняет сигарету.

— Похоже, что винты,— говорит на ходу Бекасов.

— Что — похоже? Что значит: похоже?! — высоким голосом говорит Феликс Юрьевич, устремляясь за ним в палатку.— Конечно, при таком ударе все винты вдребезги, но это ни о чем еще не говорит...— Однако в голосе его — паника.

В палатку набивается столько людей, что становится душно; на лицах у всех испарина.

— Сейчас посмотрим! — старший поисковой группы крепит зажимами на столике металлографического микроскопа все три обломка, подравнивает так, чтобы места излома находились на одной линии; включает подсветки. В лучинках их изломы сверкают мелкими искорками-кристалликами.

Поисковик склоняется к окуляру, быстро и уверенно работает рукоятками, просматривает первый обломок... второй... третий... возвращает под объектив второй... Все сгрудились за его спиной, затаили дыхание. Тишина необыкновенная. Я замечаю, что средний кусок лопасти почти весь в чем-то коричнево-багровом. Засохшая кровь? Это, наверно, тот, что достали из кабины.

Поисковик распрямляется, поворачивается к Бекасову:

— Посмотрите вы, Иван Владимирович: не то надрезы, не то царапины — и около каждой зоны усталостных деформаций...— и уступает тому место у микроскопа.

— Какие надрезы, какие царапины?! — Феликс Юрьевич чуть ли не в истерике.— Что за чепуха! Каждая лопасть готового винта

перед транспортировкой на склад оборачивается клейкой лентой — от кончика до ступицы! Какие же могут быть царапины?!

— Да,— глуховатым баском подтверждает главный инженер.— А перед установкой винта на самолет целостность этой ленты мы проверяем. Так что неоткуда вроде бы...

— Ну, а что же это по-вашему, если не надрез?! — яростно поворачивается к ним Бекасов.— У самой ступицы, в начале консоли... хуже не придумаешь! Глядите сами.

— Позвольте! — начальник цеха приникает к объективу, смотрит все три обломка. Это очень долгая минута, пока он их смотрит. Распрямляется, поворачивается к главному инженеру; теперь это не мужчина «кровь с молоком» — кровь куда-то делась, лицо белое и даже с просинью; и ростом он стал пониже.— О боже! Это места, по которым отрезали ленту...

— Как отрезали? Чем?! — Бекасов шагнул к нему.

— Не знаю... Кажется, бритвой. Кто как...— И голос у Феликса Юрьевича сел до шепота.— Это ведь операция не технологическая, упаковочная, в технокаре просто написано: «Обмотать до ступицы, ленту отрезать».

...Даже я, человек непричастный, в эту минуту почувствовал себя так, будто получил пощечину. Какое же унижение должен был пережить Бекасов, его сотрудники, сами заводчане? Никто даже не знает, что сказать,— немая сцена, не хуже чем в «Ревизоре».

Завершается эта сцена несколько неожиданно. Лемех выступает вперед, левой рукой берет Феликса Юрьевича за отвороты его кримпленового пиджака, отталкивает за стол с микроскопом — там посвободнее — и, придерживая той же левой, бьет его правой по лицу с полного размаха и в полную силу; у того только голова мотается.

— За Диму... за Николая Алексеевича!.. За этих...— Голос Петра Денисовича перехватывает хриплое рыдание и дальше он бьет молча.

У меня, когда я смотрю на это, мелькают две мысли. Первая: почему Артур Викторович не вмешается, не прекратит избиение, а стоит и смотрит, как все? Не потому что жаль этого горе-начальника, нет — но происходит эмоциональное укрепление данного варианта в реальности, прибавляется работа мне... Багрий не может этого не знать. Вторая: раз уж так, то хорошо бы запечатлеть видеомагом, чтобы обратно крутнуть при старте — шикарный кульминационный момент. И... не поднялась у меня рука с видеомагом. Наверно, по той же причине, по какой и у Артурыча не повернулся язык — прервать,прекратить. Бывают ситуации, в которых поступать расчетливо, рационально — неприлично; эта была из таких.

— Хватит, Петр Денисович, прекратите! — резко командует Бекасов.— Ему ведь еще под суд идти. И вам,— поворачивается

он к главному инженеру,— ведь и ваша подпись стоит на технокарте упаковки? — он уже называет главного инженера по имени-отчеству.

— Стоит...— понуро соглашается тот.

— Но я же не знал!.. И кто это мог знать?!..— рыдает за микроскопом начцеха, отпущенный Лемехом; теперь в его облике не найдешь и признаков молока — спелый. Хороши бывают кулаки у летчиков-испытателей.— Хотели как лучше!..

Я специалист по прошлому, но и будущее этих двоих на ближайшие шесть-семь лет берусь предсказать легко. И мне их не жаль.

...Хоть по образованию я электрик, но великую науку сопромат, после которой жениться можно, нам читали хорошо. И мне не нужно разжевывать, что и как получилось. Сказано было достаточно: «надрез» и «усталостные деформации». Конечно, надрез на авиале, прочнейшем и легком сплаве, из которого делают винты самолетов, от бритвы, обрезающей липкую ленту, не такой, как если чикнуть ею по живому телу,— тонкая, вряд ли заметная глазу вмятина. Но отличие в том, что на металле надрезы не заживают — и даже наоборот.

Нет более тщательно рассчитываемых деталей в самолете, чем крыло и винт; их считают, моделируют, испытывают со времен Жуковского, если не раньше. (Сейчас в конструкторских бюро, наверно, их просто подбирают по номограммам; считают только в курсовых работах студенты авиавузов.) Ночами ревут, тревожа сон окрестных жителей, стенды с двигателями или аэродинамические трубы, в которых проверяют на срок службы, на надежность в самых трудных режимах винты разных конструкций; по этим испытаниям определяют и лучшие сплавы для них. Лопасти винтов полируют, каждую просвечивают гамма-лучами, чтобы не проскочила незамеченной никакая раковинка или трещинка.

А затем готовые винты поступают на упаковку: центрированно укрепить каждый в отдельном ящике, а перед этим еще обмотать лопасти для сохранения полировки клейкой лентой. Последнее, наверно, не очень нужно,— «хотели ж как лучше». О, это усердие с высунутым языком! И резали эту ленту, домотав ее до ступицы, тетки-упаковщицы — кто как: кто ножницами, кто лезвием, а кто опасной бритвой... когда на весу, когда по телу лопасти... когда сильней, когда слабей, когда ближе к ступице, когда подальше — а когда и в самый раз, в месте, где будут наибольшие напряжения. Не на каждой лопасти остались опасные надрезы, не на каждом винте и даже далеко не в каждом самолете — их немного, в самый обрез, чтобы случалось по катастрофе в год.

Одному из четырех винтов этого пассажирского БК-22 особенно не повезло: видно, тетка-упаковщица (мне почему-то кажется, что именно пожилая тетка с нелегким характером) была не в духе, по

трем лопастям чиркнула с избытком, оставила надрезы. И далее этот винт ставится на самолет, начинает работать в общей упряжке: вращаться с бешеной скоростью, вытягивать многотонную махину на тысячи метров вверх, за облака, перемещать там на тысячи километров... и так день за днем. Изгибы, вибрации, знакопеременные нагрузки, центробежные силы — динамический режим.

И происходит не предусмотренное ни расчетами, ни испытаниями: металл около надрезов начинает т е ч ь — в тысячи раз медленнее густой смолы, вязко слабеть, менять структуру; те самые усталостные деформации. Процесс этот быстрее всего идет при полной нагрузке винтов, то есть при наборе высоты груженым самолетом. А на сегодняшнем подъеме, где-то на двух тысячах метрах, он и закончился: лопасть отломилась.

Далее возможны варианты, но самый вероятный, по-моему, тот, что достоинство бекасовской конструкции: те встречно вращающиеся на общей оси винты, которые хвалил Лемех (повышенная устойчивость, маневренность, тяга),— обратилось в свою противоположность. Эта лопасть с р у б и л а все вращающиеся встречно за ней; в этой схватке погибли и все передние лопасти. Что было с винтами на другом крыле? Что бывает с предельно нагруженным канатом, половина жил которого вдруг оборвалась? Рвутся все остальные. Особенно если и там были лопасти с подсечками.

Разлетаясь со скоростью пушечных снарядов, обломки лопастей крушили на пути все: антенну, обшивку, кабину... Самолет — может быть, уже с мертвым экипажем — камнем рухнул на землю.

Я додумываю свою версию — и меня снова душит унижение и гнев. Черт побери! Вековой опыт развития авиации, усилия многих тысяч специалистов, квалифицированных работников — и одна глупость все может перечеркнуть... да как! Тех теток под суд не отдадут — за что? Написано «отрезать», они и резали. Не топором же рубили. А этих двоих отдадут — и поделом: на то ты и и н ж е н е р (что по-французски значит «искусник», «искусный человек»), чтобы в своем деле все знать, уметь и предвидеть.

— Но... э-э... Виктор Артурович,— несчастный Феликс Юрьевич даже перепутал имя-отчество Багрия; приближается к нему,— вы говорили... все можно перевести обратно, в возможность, да? А за возможность ведь не судят... а, да? — и в глазах его светится такая надежда выпутаться, которая мужчине даже и неприлична.

— А вы получите сполна за тот самолет,— брезгливо отвечает Багрий и отворачивается.

Бекасов быстрым шагом направляется к выходу.

— Куда вы, Иван Владимирович? — окликает его шеф.

Тот останавливается, смотрит на него с удивлением (ну, не при-

вык человек к таким вопросам), потом вспоминает о своей подчиненности.

— К рации.

— Зачем?

— Дать распоряжение по всем аэродромам, чтобы ни один самолет не выпускали в воздух без проверки винтов... неужели непонятно!

— Не нужно вам отдавать такое распоряжение, Иван Владимирович,— мягко говорит Багрий.— Вы уже отдали его. Одиннадцать месяцев назад.

— Даже?! — лицо генерального конструктора выражает сразу и сарказм, и растерянность.

— Да, именно так. Ваша работа здесь кончилась, начинается наша. Поэтому как старший и наиболее уважаемый здесь подайте пожалуйста, пример остальным: примите инъекцию... Федя! — повышает голос Артур Викторович. В палатку входит наш техник-санитар Федя, здоровяк-брюнет с брюзгливым лицом; он в халате, в руке чемоданчик-«дипломат».— Это усыпляющее. Потом вы все будете доставлены по своим местам.

Бекасов поднимает темные брови, разводит руками, выражая покорность судьбе.

Федя раскрывает свой «дипломат», выкладывает восемь заряженных желтой жидкостью шприцев, вату, пузырек со спиртом, обращается ко всем и ни к кому густым голосом:

— Прошу завернуть правый рукав.

— Пошли! — Трогает меня за плечо Багрий.

Мы выходим из шатра. Усыпление участников и доставка их по местам — дело техники и наших техников. А у нас свое: заброс.

— Чувствуешь, как я тебя нагружаю: и он-то, Бекасов, обо всем распорядился, и у других самолетов нет таких рисок на винтах, и эта катастрофа — все на тебе. Все зависит от сообщения, которое ты понесешь сейчас в прошлое. Так что о старте ты излишне беспокоился. Стартуешь, как почтовый голубь, с первой попытки! Думать надо о другом...

Сейчас половина первого; четыре с половиной часа от момента падения БК-22. Небо в белых облаках, погода вполне летная — так что в аэропорту, где ждут самолета, объявили о задержке рейса не по погодным условиям, а по техническим причинам. Так оно в общем-то и есть, эту причину мне и надо устранить.

Я уже отдал техникам видеомаг; они там перематывают, наскоро просматривают, монтируют снятое мной вместе с прочим для прокручивания в камере. Я уже проглотил первые таблетки петойля: от этого любой звук — и голос Багрия, и шелест травы под ветром — кажется реверберирующим, а зрительные впечатления в глазах за-

держиваются куда дольше, чем я смотрю на предмет, накладываются друг на друга послесвечениями... Мы с Артурычем прохаживаемся по меже и над обрывом. Он меня накачивает:

—...о специфике далекого заброса. Неспроста я тебя настраиваю на общность и отрешение: ты пойдешь в прошлое по глубинам своей памяти, по самым глубинам сознания. Прислушайся к течению времени, пойми его: все, что ты чувствуешь обычно — от ударов сердца до забот, от блеска солнца до дыхания ветра — лишь неоднородности единого потока, поверхностное волнение, а не ясная глубина его. Проникайся же этой общей ясностью, чувством сути — ибо ты пойдешь там, где есть память, но не о чем помнить, есть мысль, но не о чем думать, есть понимание, но нет понятий. В ближних забросах этого почти нет, старт смыкается с финишем — а в таком, как сейчас, иначе не пройти. И надо будет слиться с Единым, не потеряв себя, превратиться в общность, не забыв о конкретном, о цели, ради которой послан...

Голос у Багрия сейчас грудной, напевно-трубный — так мне кажется. Он не говорит, а прорицает:

— Две крайности, две опасности подстерегают тебя. Переход от зуда поверхностных впечатлений в состояние самоуглубленности, а затем еще дальше, к отрешению от качеств, от приятного и неприятного, от горя и радости — он сам по себе приятен и радостен, таков его парадокс. Настолько приятен и радостен, что помножь наслаждение любовью на наслаждение от сделанного тобою великого открытия да на радость удачи, на наслаждение прекрасной музыкой и прекрасным видом... и все будет мало. Это состояние индийцы называют «самадхи», европейцы прошлых времен называли «экстаз»... и его же — самые грубые формы — наши с тобой современники часто называют словом «балдеж». И у тебя может возникнуть желание углубить и затянуть подольше это состояние, даже навсегда остаться в нем. Так вот, помни, что это гибель — для дела и для тебя. Там,— он махнул рукой в сторону реки,— останется то, что и есть, а в камере найдут твой труп с блаженно-сумасшедшей улыбкой на устах и кровоизлиянием в мозгу. Так что...— Артур Викторович сделал паузу, улыбнулся,— в отличие от тех нынешних юношей и девиц, которые следуют лозунгу: «Неважно от чего, но главное — забалдеть!» — для тебя главное: не забалдеть. Прими-ка вот еще таблетку!

Глотаю. Запиваю собственной слюной. Сегодня я ничего не ел, кроме пилюлей: перед стартом нельзя, пищевые процессы могут помешать.

— Теперь о другом. Отрешиться от этого состояния ты можешь только через углубленное понимание его смысла, то есть — поскольку это концентрат радости и удовольствий — через понимание объективного смысла радости, смысла приятных ощущений. Ты пой-

мешь его, убедишься, что он до смешного прост... и почувствуешь себя богом: такими ничтожными, вздорными покажутся все стремления людей к счастью и наслаждениям, запутывающие их иллюзиями целей, ложными качествами. Ты почувствуешь себя приобщенным к мировым процессам, частью которых является жизнь Земли и наша,— к процессам, которых люди в погоне за счастьем и успехами не понимают... И там, на ледяных вершинах объективности, может возникнуть настроение: если так обманчивы все «горя» и «радости», сомнительны цели и усилия — стоит ли мне, олимпийцу, вмешиваться в эту болтанку своими действиями... да и возвращаться в нее? При отсутствии качеств и беда не беда, и катастрофа — не катастрофа. Это тоже гибель дела и твоя, из камеры выйдет хихикающий идиотик, не помнящий, кто он, где и зачем.

Багрий, помолчав, продолжал:

— Уберечь от этой крайности тебя и должно понимание, что да — стоит, надо действовать и вмешиваться, в этом твое жизненное назначение. Два противоборствующих процесса идут по Вселенной: возрастания энтропии — и спада ее; слякотной аморфности, угасания — и приобретения миром все большей выразительности и блеска. Так вот, люди — во второй команде, в антиэнтропийной. И мы, Встречники, причастны к процессу блистательного самовыражения мира. В этом космическом действии мы заодно со всем тем и всеми теми, кто и что создает, и против всего того и всех тех, кто разрушает!.. Ну-ка, заверни рукав.

И Багрий, раскрыв коробочку со шприцом, вкатывает мне в вену пять кубиков безболезненно растекающегося в крови состава. Это «инъекция отрешенности» — и первое действие ее оказывается в том, что я перестаю различать краски, цвета. Мир для меня при этом не бледнеет, не тускнеет — он представляется передо мной в таком великолепии световых переходов и контрастов, какие наш слишком послушно влияющий от яркостей, аккомодирующий зрачок обычно не воспринимает. В сущности, этот эффект — чувственное понимание моей нервной системой, что световые волны разной длины — не разных «цветов». Так начинается для меня отрицание внешнего, отрицание качеств — коих на самом-то деле и нет, а возникают они от слабости нашей протоплазмы, неспособной объять громадность количественных градаций и диапазонов явлений в материи.

— Артурыч,— говорю я (мой голос тоже реверберирует),— так все знать, понимать... и вы еще отрицаете, что вы из будущего!

— Опять за свое?! — гремит он. Останавливается, смотрит на меня.— Нет, постой... похоже, ты всерьез?

— Ну!

— Что ж, надо объясниться всерьез... Ты там, я здесь — мы одно целое, между нами не должно остаться ничего недосказанного.

Пусть так! — он достает из внутреннего кармана пиджака пакетик из темной бумаги, из него две фотографии, протягивает мне.— Была бы живая, не показал бы — а так можно. Узнаешь? Я смотрю верхнюю. Еще бы мне, с моей памятью, не узнать — это та, сгоревшая в кислородной камере. Снимок в деле, что я листал утром, похуже этого, но и тогда я подумал: эх, какая женщина погибла! На второй фотографии она же в полный рост — на берегу реки, на фоне ее блеска и темных деревьев, согнутых ветром ивовых кустов — нагая, со счастливым лицом и поднятыми к солнцу руками; ветер относит ее волосы. И как красиво, слепяще прекрасно ее тело! Мне неловко рассматривать, я переворачиваю снимок другой стороной; там надпись: «Я хотела бы остаться для тебя такой навсегда».

— Да,— говорит Багрий, забирая фотографии,— такой она и осталась для меня... на снимке. А я был бы не против, если бы она, Женька, портила себе фигуру, толстела, рожая мне детей, выкармливая их... совершенно не против! Кому была нужна ее смерть — смерть из-за того, что не поставили бесконтактное реле?.. Вот это,— он смотрит на меня,— а не знания из будущего, которого еще нет, пробудили меня, пробудили гнев против всесилия времени, бога Хроноса, пожирающего своих детей, против нелепой подоночности случая, низости ошибки, тупости, незнания... всего хватающего за ноги дерьма. Горе и гнев — они подвигли меня на изыскания, помогли построить теорию, поставить первые опыты, найти и обучить вас. Цель тебует гнева, запомни это! Пусть и тебя в забросе ведет гнев против случившегося здесь, он поможет тебе миновать те опасности. Люди — разумные существа, и они не должны погибать нелепо, случайно, а тем более от порождений ума и труда своего. Иначе цивилизация наша нелепа и грош ей цена.

Он помолчал, пряча фотографии в пакет и в карман.

— Теперь тебе нетрудно понять и то, почему я не хожу в серьезные забросы и в этот посылаю тебя... хотя, казалось бы, кому как не руководителю! Именно потому, что я не из будущего, настолько не из будущего, дорогой Саша, что слабее тебя. Вот,— он тронул место, куда спрятал фотографии,— «зацепка» — доминанта, которая по силе притягательности для меня превосходит все остальные. До сих пор не могу смириться, что Женьки нет. И в забросе, в том особом состоянии, против опасностей которого я тебя предостерегал, не удержусь, устремлюсь сквозь все годы туда, где она жива... ведь ради этого все и начинал! А там, чего доброго, и не пущу ее на тот опыт в кислородную камеру — или хоть добьюсь, чтоб сменили реле. А это... сам понимаешь, какие серьезные непредсказуемые изменения реальности могут произойти. Вот, я сказал тебе все. А будущего, Саш, еще нет, не дури себе голову. Будущее предстоит сделать — всем людям, и нам, и тебе сейчас.

Мне стыдно перед Артуром Викторовичем и немного жаль того

ореола, который окружал его в моих представлениях. Но я сразу понимаю, что и ореол сегодняшнего человека, который даже горе свое сумел обратить в творческую силу, постиг новое и с его помощью дерется против бед человеческих яростно и искусно,— ничем не хуже. Да и все-таки он немного из будущего, наш Багрий-Багреев-Задунайский-Дьяволов: где вы сейчас найдете начальника, который говорил бы подчиненному, что тот сильнее его и справится с делом лучше?

— Все, время! — шеф взглядывает на часы.— Точку финиша наметил?

— Да. Здесь же в 15. 00.

— Хочешь убедиться? Не возражаю. Что-нибудь нужно к тому времени?

— Рындичевича. С пивом и таранькой.

— Пожелание передам, пришлю... если он управится. Должен...— Сейчас Багрий без юмора принимает мои пожелания.— Все. Ступай в камеру!

В камере моей ничего особенного нет. Никакие датчики не нужно подсоединять к себе, ни на какие приборы смотреть — только на стены-экраны да на потолок: по нему уже плывут такие, как и снаружи, облака, только в обратную сторону. Не приборам придется идти вверх по реке моей памяти — мне самому.

Есть пультик на уровне груди (ни кресла, ни стула в камере тоже нет, я стою — стиль Багрия!) — ряд клавиш, два ряда рукояток: регулировать поток обратной информации, который сейчас хлынет на меня — темп, яркость, громкость...

И вот — хлынул. Пошли по стенам снятые мною кадры: пятками и спинами вперед приближаются, поднимаются по склону поисковики с оборудованием. У Ивана Владимировича Бекасова ошеломленное выражение лица сменяется спокойным; он тоже пятится со смешными поворотиками вправо-влево, удаляется — и мы более не знакомы. Далее уже не мое: тугой гитарный рев двигателей набирающего высоту самолета, небо-экран над головой очищается ускоренно от обратного бега облаков — и обратная речь, молодой мужской голос:

— Вортем ичясыт евд уртемитьла оп. Яанчилто тсомидив. Срук ан илгел. (Легли на курс. Видимость отличная. По альтиметру две тысячи метров.)

Последнее сообщение борт-радиста — первое для меня. Он летит, набирает высоту, самолет БК-22, исполняющий рейс 312. Многие пассажиры уже отстегнули ремни (я так и не застегиваюсь при взлете, только при посадке), досасывают взлетные леденцы, начинают знакомиться, общаться... А в правом переднем винте надрезы под тремя лопастями становятся трещинами.

— Ачясыт атосыв... (Высота тысяча...)

— Оньламрон илетелзв... (Взлетели нормально...)

А вот еще и не взлетели: хвостом вперед катит с ревущими моторами самолет по глади взлетной полосы, замедляя ход, останавливается (в динамиках: «Юашерзар телзв...» «Вотог утелзв ок...» — «Ко взлету готов», «Взлет разрешаю»), после паузы рулит хвостом вперед к перрону аэровокзала. Хороша машина, смотрится — даже и хвостом вперед. И неважно, что это не тот БК-22 (достал Артурыч, наверно, видеозапись репортажа об открытии рейса) и не те пассажиры хлынули из откинутой овальной двери на подъехавшую лестницу — быстро-быстро пятятся вниз с чемоданами (я поставил рукоятки на «ускоренно»)... все это было так же. Сейчас многое уже неважно, обратное прокручивание стирает качественные различия с видимого. Пяться, сникай, мир качеств!

Я чувствую себя сейчас пловцом- ныряльщиком в потоке времени, реке своей памяти. В глубину, в глубину!..

И вот уже не на экранах — в уме, обратные ощущения сегодняшнего утра: я бреюсь — из-под фрез электробритвы п о я в л я е т с я рыжеватая щетина на моих щеках; я курю первую сигарету — и она наращивается! Идет в ощущениях обратное движение пищи во мне и многое другое шиворот-навыворот... только все это то, да не то, обычного смысла не имеет. Я вырвался из мира (мирка) качеств на просторы Единого бытия — и теперь не существо с полусекундным интервалом одновременности, а вся лента моей памяти по самый ее исток. Дни и события на ней только зарубки, метки: одни глубже, другие мельче — вот и вся разница.

...Далее было все, о чем предупредил Артур Викторович, и много сильных переживаний сверх того — все, о чем трудно рассказывать словами, потому что оно глубже и проще всех понятий. Я увернулся от Сциллы всепоглощающего экстаза-балдежа глубинных откровений в себе, настырно и грубо вникая в природу его; так сказать, поверил алгеброй гармонию с помощью шуробалагановского вопроса: а кто ты такой?!

И постиг, и холодно улыбнулся: радость и горе, все беды и неудачи человеческие были простенькими дифференциалами несложных уравнений. Что мне в них!.. Так меня понесло, чтобы ударить о Харибду отрешенности и отрицания всего. Но я вовремя вспомнил о цели, о гневе, о противоборствующих вселенских процессах выразительности и смешения, в которых ты ничто без гнева и воли к борьбе, без стремления поставить на своем — щепка в бурлящих водоворотах. И, поняв, приобщился к мировому процессу роста выразительности. Хорошо приобщился: понял громадность диапазона выразительности во Вселенной — пустота и огненные точки звезд, почувствовал громадность клокочущего напора времени, несущего миры со скоростью света... и даже что созидательные усилия людей — одно со всем этим; малое, но той же природы.

И то порождение ума и труда людей, ради которого я пру, бреду, лечу обратно, от следствий к причинам, тоже принадлежит к звездной выразительности мира. Мне нужно отнять его у процесса смешения.

И была ясная тьма, тишина, полет звезд. А потом адские звуки: топот, гик, ржанье... И опять ясная тишина ночи.

VI. ДЕНЬ ВО ВТОРОЙ РЕДАКЦИИ

Звезды над головой. Темная стена леса позади. Я сижу на наклонном берегу, на чем-то белом; пластиковая простынка — постелил на траву от росы. Внизу гладкая, но подвижная полоса, размыто отражающая звезды,— вода. Река. Изредка слышны всплески рыб — негромкие, подчеркивающие тишину.

Светящиеся стрелки часов показывают начало двенадцатого. Да, но какой день? Были две похожие ночевки подряд: на Басе, потом на Проне. (А имеет ли значение, какой день? И все дни? Вся эта смешная, мелкая конкретность?.. Это отзвуки только что пережитого сверх-заброса; мне еще долго возвращаться в человека, в свой полусекундный белковый комочек.)

Ни огонька до горизонта. Там, внизу, должны быть кусты и пойменный луг. А звезд-то наверху, звезд — сколько хочешь! (Пустота и огненные шары звезд — картина выразительного разделения материи, которая всегда у нас перед глазами... Не надо об этом.)

Вдруг тишину разрывает ржанье, гик, топот многих копыт за рекой. Кто-то гонит лошадей, завывая, улюлюкая в ночи. Я даже вздрагиваю — и успокаиваюсь: теперь все ясно, я уже на Проне. Конец второго дня моего путешествия. (И т о т раз я вздрогнул от гвалта, подумал, что, наверно, мальчишки так гонят табун в ночное. Но теперь я знаю, что хулиганит довольно ветхий старичок: утром он перегонит лошадей на эту сторону, попросит у меня закурить.)

И снова тишина, изредка нарушаемая лошадиным фырканьем. Прежнее чувство ребячьей жути охватывает меня, как всегда при ночевке на новом месте: за спиной лес — кто-то из него выйдет? Рядом дорога к броду — кто-то по ней пройдет или проедет?.. Хотя и знаю теперь, что до утра никто не проедет и не появится.

«Тогда и «теперь» — различия не по времени, по знанию. Я не раз вспоминал свой поход по Проне, мечтал как-нибудь пройтись здесь еще. А теперь получится даже интереснее: путешествие не только по прежним местам, но и по тому же участку 4-мерного континуума — все события, все происшедшее со мной как бы включается в пейзаж. (Меня все еще заносит: континуум... слово-то какое противное! Дети, услышав такое, говорят: «А я маме скажу!») Немного жаль, что я слишком точно попал, к кануну дня третьего... и

последнего теперь; меня лошадиный бедлам «приземлил» здесь. Первые два дня были хороши — дни простого бездумного счастья: я шел по лугам и вдоль кромки леса на высоком берегу, купался в чистой теплой воде, глядел на рыбешек, лежа на обрыве над круговертью, бескорыстно прикармливая их кусочками хлеба. Сейчас конец июня, время сенокоса; колхозники на лугах ставили стога — шлемы древнерусских витязей — и холодно смотрели на мою праздную фигуру в белом чепчике и с рюкзаком на одном плече; я на них, впрочем, так же — людей и в городе хватает.

Место для ночлега я выбрал, как всегда предпочтя красоту удобствам: копны здесь нет. Я уже отужинал, сварив на костерке из шишек суп из половинки горохового концентрата, а затем чай. Пора укладываться.

Вытягиваюсь на пластиковой простынке, рюкзак под голову, укрываюсь пиджаком, закуриваю, пускаю дым к звездам — и мысленно редактирую завтрашний день.

...Принцип — вариации реальности должны отличаться как можно меньше одна от другой — не исключает для нас возможности исправлять в забросах свои промахи и глупости; попутно, разумеется, не отвлекаясь от основной цели. У нас была дискуссия на этот счет — с привлечением произведений А. Азимова «Конец Вечности» и Р. Брэдбери «И грянул гром»; но мы решили, что почтенные авторы, доказывая, что от переложенного с полки на полку ящика с инструментами могут на века задержаться космические полеты, или что от раздавленной в каменноугольном периоде бабочки может в современных Соединенных Штатах получиться фашизм,— перегнули. Связь причин и следствий далеко не так поверхностна и не столь жестка. Да и так подумать: мы отправляемся в прошлое, чтобы исправить ошибки, дурь людей и стихий — зачем же делать исключения для собственных!

А в походе по новой местности без ляпусов не обходится. Первонаперво утром, умываясь возле брода, я забуду мыло и мыльницу... Забыть и на этот раз? Да. Это не требует движений да и мыльница слова доброго не стоит; пусть лежит на песочке. Дальше: выпадает обильная роса, я буду идти по лугу в кроссовках, пока они не раскиснут — и только потом догадаюсь снять их, перекинуть, связав шнурками, через плечо, чтобы сушились. Теперь я сразу их понесу на плече, пойду босиком.

Часах в трех пути отсюда, за линией высоковольтной передачи, нелегкая занесет меня внутрь многокилометровой подковообразной старицы — и заболоченной, какую не переплывешь; я буду долго блуждать внутри подковы: сначала пойду влево, через пару километров передумаю, поверну вправо... кошмар. Полагаю, что от того, что я теперь обогну ее издали справа, едва завидев кайму кустов, у американцев тоже исторических потрясений не случится.

Потом, в одиннадцатом часу, будет привал у того родникового ручья. Там все пусть останется без изменений: я буду лакомиться водой (ах, какая там вода!), ладить костер для горохового супа и чая — но приплывут два рыбака, живо отговорят меня, и я буду есть с ними уху из только пойманных подустов. Ах, какая будет уха: жирная, вкусная, с лучком — и в волю... еще и с собой мне рыбину дадут! У меня заранее слюнки наворачиваются.

Еще часа через два пути я выйду к бывшему болоту — осушенному полю в крупных кочках. С бугра оно будет видно целиком: небольшое, с километр до сосенок на песках; и хотя дорога его огибала трехкилометровым извивом, я рассужу, что она для колесного транспорта, а у меня-то ведь ноги... и попрусь напрямик. Этот «прямой» километр мне будет стоить восьми: на кочках я не сделаю двух одинаковых шагов кряду, перепрыгну, сначала перекидывая рюкзак, с десяток дренажных канав — да еще взопрею от жары и тяжелой работы, и вокруг лица будет виться туча мух, кусачих тварей... Так что дудки, на этот раз пойду в обход.

А еще три часа спустя, перед деревней на высоком берегу я встречу двух девушек... и дальше начнется вариант. Жаль прежнего, который перейдет в категорию нереализованной возможности,— но я здесь по делу, а не для своего удовольствия, по серьезному делу.

А теперь спать!

Под утро посвежело, продрог. Развел костерок из сбереженных сухими в целлофановом мешочке еловых шишек, взбодрил себя крепким сладким чаем. На восходе солнца через реку перебрел на эту сторону табун со старичком на белой кляче впереди. Он угостился у меня сигаретой, крепко обложил своих животных и исчез с ними на лесной дороге. А я собрался, перешел брод на луговую сторону и двинул босиком по росе. Кроссовки болтались за спиной.

Солнце поднималось в ясном небе. Коварную старицу я заметил издали, взял вправо. Вышел к широкому плесовому изгибу Прони: туман плыл над гладкой водой, под обрывом на том берегу водоворот медленно кружил хворостину. Мне нужно теперь на тот берег. Техника переправы нехитрая: разделся догола, одежду и рюкзак в пластиковый мешок, завязал его концом длинного шнура, другой конец его захлестнул петлей себе через плечо — мешок в воду и сам туда же. До противоположного берега было метров пятьдесят, но — так ласково приняла меня утренняя, туманящаяся от запасенного тепла, чистая вода, что я плыл, буксируя мешок, вниз по течению добрый километр — наслаждался.

Вышел, оделся, шел далее по высокому берегу мимо красноствольных сосен вдоль полуобвалившегося, засыпанного хвоей бесконечного окопа времен войны. Река вольно петляла по широкой пойме: уходила к деревне, серевшей избами на другом краю ее, возвращалась, текла ровно внизу, потом вдруг, совершив пируэт, описыва-



ла загогулину, похожую на человечское ухо, снова возвращалась. Я шел, дышал чистейшим воздухом, вникал в посвистывание птиц над головой, смотрел на реку и небо — благодушествовал.

Ах, Проня, радость моя — один я тебя понимаю! Географы скажут, что этот поворот обратно ты совершила потому что такой уклон, уровень дна... как бы не так! Это ты текла, текла и — бац! — вспомнила, что нужно что-то поглядеть позади, у того края долины, или подмыть там берег с наклоненной осиной или что-то еще — и пошла обратно. Сделала свое — вернулась. Я сам такой, Проня, река моя, поэтому мы с тобой и свои в доску.

...Что-то в рюкзаке давило мне правую лопатку. Снял, развязал, посмотрел: те полкирпича горохового концентрата, которые я так и не употреблю. Э, приятель, мало того, что я тебя несу, так ты мне еще спину давишь!.. Размахнулся с обрыва — желтый комок улетел на середину Прони. Кушайте его вы, рыбы, поправляйтесь. А я уж лучше вас...

Но стоп! Я опережаю график. За этим поворотом реки начнутся заросли орешника, а сразу за ними — тот ручей. Там мне надлежит быть в начале одиннадцатого, а сейчас девять с минутами. Это из-за обхода той старицы — да и вообще по знакомой дороге шагается быстрей. Самое время искупаться на этом пляжике-мыске...

К ручью прихожу в 10.05. Чистейшая вода течет по ложу из песка и камешков среди травянистых берегов с кустами; в километре отсюда, где ключ выходит из земли, стоит деревянный крест, прикрытый по здешнему обычаю от дождей углом из дощечек. Святая криница. Меня всегда удивляет чудо родников: из земли — из грязи, собственно,— течет вода, чище, вкуснее, н а с т о я щ е е которой не бывает... Становлюсь на колени на бережок, склоняюсь, зачерпываю, ладонями, пью. Ох, вода! Сажусь, достаю из рюкзака алюминиевую кружку, зачерпываю, пью еще. Ну, и вода! Вина не надо. Впечатление такое, будто она не через пищевод и желудок, а прямо от рта расходится по всем мышцам и клеткам тела, наполняет их бодрой свежестью. От холода ее слегка заломило зубы. Передохнул. Ну-ка еще кружечку. Эх, и вода.

Снизу по реке доносятся гупающие удары. Это приближается моя уха. Рыбаки промысловые, от колхоза — они ставят сеть (сейчас за ближним поворотом), разъезжаются в лодках и, ударяя по воде боталами, загоняют рыбу. У них норма 30 килограмм в день, да и себе же надо... Давайте, давайте, ребята!

Для декорума я все-таки вырезаю из ореха две рогульки и перекладину, наполняю котелок водой, собираю немного хворосту, вешаю котелок... Уху-то будем варить не здесь: вон, метрах в десяти, отогнут горизонтально целый ствол от куста, под ним кострище; на ствол они повесят свой котел. «Здесь наше стационарное ме-

сто»,— объяснит рыбак в очках и с зачатками интеллигентности, любитель покалякать. Другой, небритый, будет помалкивать да помешивать.

А вот и они, двое в клеенчатых фартуках. Выскакивают из лодок и первым делом идут к ручью, умываются, пьют воду. Приближаются ко мне, здороваются, садятся на бугорок рядом, закуривают, заводят разговор: откуда да куда, где живу, кем работаю — прежний. Я отвечаю, спрашиваю сам — и все медлю поджигать бумажку под хворостом, жду, когда начнут отговаривать.

— Что варить-то собираетесь? — спрашивает рыбак в очках.

— Да горох... то есть чаек. (Чуть не оговорился.)

— Ну, это не еда. (Правильно.) У нас здесь стационарное место, всегда уху варим. (Правильно!) И вас бы угостили... да что-то на этот раз невезуха. Мы от колхоза, норма тридцать килограмм, да и себе же надо... а и на завтрак не наловили. (Неправильно!) И куда рыба делась?

Только теперь я замечаю, что лица у рыбаков невеселые. Начинает говорить второй, прежде молчавший.

— Я знаю, куда она делась: это любители прикармливают, сманивают. Ни себе, ни людям. Он на прикорм лишних два хвоста поймает, а у нас из-за этого верные места пустеют!.. Захватил бы такого... да надавал веслом по одному месту.

— Ладно, пошли,— очкарик поднимается, кидает окурок; обращается ко мне.— Если желаете, подождите нас часок. Мы сейчас вверх пройдемся, на уху добудем. Никуда рыба из реки деться не может... Из подустов уха с лучком — ух, объедение!

— Нет, спасибо — отвечаю я,— ждать не могу.

Рыбаки садятся в лодки, уплывают вверх. М-да... это меня надо бы веслом по тому месту: мой гороховый концентрат все натворил. Ну, конечно! Он со специями, раскис — и пошла от него вкусная струя в чистой воде. Вся окрестная рыба устремилась туда — отведать или хоть поглядеть, чем так вкусно пахнет. Рыбаки там возьмут свое, это факт. Вот так дал я маху!

Не кипячу я постылый чай, да и аппетит пропал. Для подкрепления сил все-таки ем хлеб с сахаром (все, что осталось), запиваю родниковой водой; она-то все равно на высоте, не хуже чая. Сижу здесь примерно столько времени, сколько требуется, чтобы сварить и выкушать уху из подустов да с лучком, а потом перекурить в приятной беседе; затем поднимаюсь и быстрым шагом дальше. Мимо креста, грунтовой дорогой, вьющейся по высокому берегу, откуда открывается отличный вид на долину, луга, рощи и на белые выразительной лепки облака в синем небе. Но мне не до пейзажей, на душе неспокойно.

Повесить такую пену! Думать же надо, помнить хотя бы, из-за какой малой причины, приведшей к страшным последствиям, ты в

забросе... Ну, это разные вещи, успокаиваю себя, природа не техника, она из кожи вон не лезет, вольна и избыточна, в ней от малости серьезных последствий не бывает. Так что все ограничится тем, что я остался без ухи.

Убедив и успокоив себя, я выхожу на бугор, с которого открывается вид на кочковатое экс-болото и дорогу в обход его. И... иду прямо. Трухнул. Ну его к черту — может, на обходе по грунтовке меня уж укусит, комар забодает, машина собьет (ни одной не видел за весь путь). И я снова ступаю то на кочку, то мимо, то прямо, то вбок, перекидываю рюкзак через канавы, полные болотной жижи, сигаю с разбега сам. И палит полуденное солнце, и вьются надо мной столбом мухи, присаживаются отведать меня, безошибочно выбирая самые нежные участки кожи около глаз, губ и носа; и я в поту и в мыле... Наконец, выбираюсь к реке и, уже не разбирая, пляжное или не пляжное это место, скидываю одежду, бухаюсь в воду — и добрый час купаюсь, отхожу от перегрева и стука в висках.

И вот та деревня вдали; идут от нее навстречу мне по песчаной дороге две девушки. Одна высокая и полная, светло-рыжая, в выцветшем сарафане и в очках-фильтрах, на плече у нее нечто вроде треугольника — мерная сажень. Другая сильно пониже, в серых шортах и ситцевой кофточке, лихо завязанной узлом на смуглом животе; в руке у нее клеенчатая тетрадь. Между нами еще метров двести и не виден ни узел, ни какая тетрадка — но я-то знаю.

И еще я знаю, что у нее серые глаза, напевный голос, милые, какие-то покорные плечи, стройные, хоть и полноватые ноги с маленькими ступнями и небольшие крепкие груди — каждая врозь. Я все о ней знаю. Это Клава.

Сейчас мы сблизимся, я спрошу, далеко ли еще до Славгорода и как лучше идти. «А зачем вам идти,— ответит рослая,— когда через час из деревни автобус туда! Тридцать копеек — и вы там».— «Так мне интереснее, ножками»,— отвечу я.— «А... ну, вольному воля»,— «Вы, наверно, не деревенские?» И высокая охотно сообщит, что они студентки сельхозакадемии в Горках (в верховьях Прони и Баси, откуда я шел), здесь на практике и идут обмерять покос.

А меньшая ничего не скажет, только будет смотреть на меня светло и проникновенно, будто говорить взглядом: «Ну, придумай же что-нибудь! Иначе мы сейчас расстанемся — и все... Придумай, ты же мужчина». И мне так захочется обнять ее милые покорные плечи.

...И я придумал: когда они пошли и она оглянулась, я окликнул ее: «Девушка, можно вас на минутку!» Она переглянулась с подругой, подошла. Мы проговорили не минуту, а пять; полная нетерпеливо звала ее, но я сказал: «Вы идите, она вас догонит!» — и Клава

тоже кивнула, что догонит. И действительно, через минуту побежала ее догонять — только босые ступни замелькали в пыли. А я пошел не к деревне и не дальше, а налево к стогу над обрывом в красивой излучине Прони. И хоть мы условились, что голова у Клавы разболится через час, я решил ждать ее три часа — уж больно мила.

Она пришла через два часа. Села рядом над обрывом, свесив ноги, взглянув блестящими глазами, сказала:

— А Светка говорит: «Знаю, почему у тебя голова заболела!» — и мягко рассмеялась.

И там, в нашей излучине, у нашего стога, мы с ней провели три дня. Утрами она убегала в деревню, как-то улаживала свои практикантские дела, приносила от хозяйки, у которой они квартировали, или из магазинчика какую-нибудь еду — а дальше время было наше. И погода была в самый раз по нас, теплая даже ночами. Мы блуждали по лугам и над рекой — и целовались, купались, разговаривали, пели песни (оказалось, что нам нравятся одни и те же) — и целовались; ночью я показывал ей, где какие звезды, или рассказывал смешное — она смеялась благодарно, терлась лицом о плечо или грудь... и мы опять целовались. Я не великий знаток женщин, не много у меня их было; но она была — как родниковая вода.

Но на третий день я заскучал... не заскучал, если честно-то, забеспокоился: не может все далее у нас продолжаться просто так, надо что-то решать... а я не был готов решать. И сказал ей, что мне пора, в понедельник-де на работу (это была неправда). Она проводила меня до автобуса, держала мою руку, пренебрегая взглядами деревенских теток и подруг по группе, прижималась к ней лицом и все повторяла: «Напиши мне... напиши!»

Я обещал... и не написал. Удержало соображение, которое часто посещает мужчин после того, как они «добьются своего»: уж больно легко она мне поддалась. Мне поддалась — и другому так поддастся. Да и вообще она не очень соответствовала образу «девушки моей мечты», который маячил в моей интеллигентной душе. Тем все и кончилось. А сейчас и не начнется...

Девушки приближаются. Порыв ветра относит волнистые распущенные по плечам волосы Клавы в сторону — и на миг придает ей сходство с той женщиной на фотографии, которую показывал мне Багрий; сходство не внешнее, они не похожи — у той удлиненное лицо, у этой круглое и с приподнятыми щеками, фигуры разные... а в чем же? Мне становится не по себе, душу обдает холод — холод понимания и непоправимой утраты.

Что же сейчас будет?.. Вот приближается женщина, которую я любил и предал. Ведь настоящее же у нас с ней было, настоящее — теперь я отчетливо понимаю это. И чего я ей не написал? Встретил ты «девушку своей мечты», идиотина, за истекший год? Как же... Да и мечта-то эта, образ — ведь от впечатлений кино, от

пластинок, от показухи. А у этой — все безыскусственное, подлинное, свое... как она лицом-то к тебе, хлюсту, прижималась, к руке твоей!

Сходимся. Первое побуждение у меня: пройти мимо, не глядя,— лишь бы скорее все осталось позади. Но нет, для минимизации различий надо повторять все до момента колебаний: окликнуть ее или не окликнуть? Варианты начинаются с колебаний.

Останавливаюсь, завожу тот же разговор, получаю те же советы и ответы от высокой рыжей Светы: об автобусе и что на практике здесь... И Клава, имя которой я не знаю и не узнаю, так же смотрит: ну, придумай же что-нибудь! Сейчас расстанемся — и все... И мне даже по-дурному кажется, что она сейчас возьмет и бросится мне на шею — что я тогда буду делать?

Они идут дальше. Я смотрю вслед. Клава оглядывается. Я ее не о к л и к а ю . Метров через двадцать оглядывается еще раз. Я спохватываюсь; чего это я стою, как дурак, уже начался вариант. Иди своей дорогой по своему делу. Вскидываю рюкзак, иду.

Через четверть часа из ее памяти изгладится образ парня в белом чепчике и с рюкзаком.

Я иду своей дорогой по своему делу, спешу к деревеньке, к автобусу — и на душе муторно от тоски и одиночества. Иду мимо н е - н а ш е г о стога на н е н а ш е й излучине... а теперь бы я ей написал! Вот так и буду куковать один в жизни, как Багрий.

И серое солнце светит с серого неба, освещает темно-серый лес на том краю долины, серые луга и серую ленту реки. Только теперь это не от отрешенности. Совсем наоборот.

Дальше было просто. Автобусом до Славгорода, оттуда другим до Быхова. Билетов на идущие на юг поезда по случаю начала отпускного сезона нет — десятку проводнице купейного вагона, прикатил в город, на окраине которого тот авиазавод и КБ Бекасова.

Труднее всего оказалось попасть на прием к Ивану Владимировичу. «Генеральный конструктор сегодня не принимает. Генеральный конструктор вообще крайне редко принимает посторонних посетителей. Обратитесь с вашим делом к заместителю по общим вопросам, по коридору пятая дверь налево. Не желаете? Ну, изложите вашу просьбу письменно, оставьте у секретаря — она будет рассмотрена...» Пришлось объявить прямо:

— Я по поводу недавнего падения БК-22 в Сибири. Знаю причину.

Всполошенный референт скрылся за обитой кожей дверью — и Бекасов сам вышел встретить меня.

Далее было все: мое сообщение о надрезах, немедленный звонок Бекасова на завод — проверить, очень быстрый ответ из цеха, что

проверили и подтверждается, немедленная команда поставить такие винты на полные аэродинамические испытания, образовать комиссию, ревизовать склад, проверить винты у всех собранных и работающих самолетов... Но уже в момент встречи с Иваном Владимировичем я почувствовал: отлегло, отпустило. Спокойно пролетит тот самолет над Гавронцами, спокойно долетит и сядет. Не будет больше рисок на винтах.

Единственно, о чем я еще похлопотал перед Бекасовым, это чтобы Петр Денисович Лемех (он дорабатывал в КБ последние недели) непременно был включен в комиссию. Генеральный конструктор не возражал — а в остальном можно положиться на обстоятельства и характер Петра Денисовича. Неприязни к несчастному начцеха Феликсу Юрьевичу я более не испытывал, но правило наименьших различий между вариантами должно быть соблюдено.

— Откуда вы узнали о надрезах? — допытывался Бекасов.

— Не могу сказать, Иван Владимирович, не имею права.

— Вы не из Сибири?

— Нет.

— Так... может... и до этого уже дошли,— он понизил голос,— вы — из будущего? Было что-то еще с «двадцать вторыми», да?

Светлая голова, гляди-ка! Или это в нем от того варианта осталось? Багрий бы сейчас позлорадствовал надо мной — «из будущего».

— Нет, Иван Владимирович, я из Бердянска.

VII. ВОЗВРАЩЕНИЕ

15.00. Я над обрывом у той излучины Оскола. Облака стали пышнее за эти два часа да ветер их гонит побыстрее... В настоящее из прошлого вернуться по своей памяти легче, так сказать, по течению; камера необязательна. Но все равно пришлось нырять в самые глубины отвлечения и общности, туда, где подстерегает опасность превратиться в хихикающего идиота, а то и похуже. Суровая штука — дальний заброс, особенно впервой.

Здесь все в порядке: ничего нет. Как и не было... да ведь и не было. Прекрасный вид на долину Оскола, на луга, рощи осин и осокорей. Стоп — есть изменение: старица в том месте, где лежал самолет! Или она была? Нет, не было, по сухому туда поисковики ходили. А теперь выгнулась там дуга с блеском заросшей кувшинками воды, обрамленной кустами и мелкими деревцами. По идее здесь должна быть старица: не всегда же Оскол выгибался петлей, так, наверно, и под самым обрывом.

Ишь... зарубка на память. За то я, наверно, и люблю реки, что они похожи на человеческую жизнь; а старицы — как варианты.

Река, изменив русло, течет дальше, а варианты-старицы зарастают, высыхают... забываются.

А здесь, наверху, следы еще есть: овальная вмятина в траве, где я лежал, протоптанные тропинки, дыры от колышков двух палаток, окурки. Но это уже ни о чем не говорит: мало ли зачем могли сюда приехать люди, установить палатки! Эти следы — до первого дождя.

Нет, как и не было. И немного жаль, что «как и не было»,— ведь было. И Бекасову ничего не мог сказать... Обидная это специфика у нашей работы, что нельзя открываться. С одной стороны, верно, ни к чему объявлять что многие несчастья можно исправить забросами в прошлое,— так начнут все резвиться и лихачить, что не управишься. А с другой — получается, будто и нет результатов нашей работы. Самолет пролетел благополучно? Ну и что? Странно, если бы было иначе. Действительно странно.

Вот хорошо, если был бы какой-нибудь такой в а р и а н т н ы й киноаппарат, или видеомаг — с наложением вариантов. Скажем, летит самолет, набирает высоту — и разделяется на два: один падает, другой летит дальше. Или пацан заплывает на фарватер — и там разделяется: один тонет, рассеченный крылом «кометы», а другого Рындичевич выгоняет на берег и порет ремнем; тогда бы и мамаша была не в претензии... Наверно, будут и такие аппараты, раз оказались возможными наши дела. Неплохо бы их иметь, чтобы доводить до общего сведения, что наша реальность — умная ноосферная реальность людей — тем и отлична от реальности кошек или коров, что не целиком однозначна, допускает переход как возможного в действительное, так и наоборот.

Кстати, о Рындичевиче — а его-то почему нет? Нарушение обычая. Пиво с таранькой это бог с ними, про них я сказал, чтобы полюбоваться выражением лица Артурыча, но сам Рындя должен быть здесь, как штык. Не встретить после такого заброса!.. Ему прежде всех должно быть интересно, как там и что, самому придется не раз идти. Неужели не управился со своим академиком? Подождем еще.

Спускаюсь вниз, прохожу мимо новой старицы лугом до конца излучины, нахожу тот родничек и — в виду отсутствия пива — пью воду из ладоней. Хороша и эта вода, да не та, глиной отдает. И вода не та, и река не та — да и я вернулся малость не тааким. Обеднил свою жизнь...

Возвращаюсь наверх: нету моего Святослава свет Ивановича! По меже между кукурузой и подсолнухами иду к шоссе, а по нему к автобусной остановке. ...У автовокзала мой автобус останавливается как раз возле газетного киоска на перроне. Замечаю там местную газету с портретным некрологом на первой странице. Беру: мать честная — академик Е. И. Мискин скоропостижно скончался вчера от... кровоизлияния в мозг! Выходит, оплошал Рындя?

Влетаю в кабинет Багрия. Артур Викторович ждет меня — и видно по нему, что ждет давно и с тревогой. Вскакивает, сжимает в объятиях:

— Ну, хоть с тобой-то все хорошо! Молодчина, отлично справился.

— А что со Славиком? — я высвобождаюсь, вижу на столе шефа ту же газету с некрологом.— Где он?

— Сидит.

— Как сидит?

— Так сидит. В камере предварительного заключения, под следствием. Выяснение личности, побудительных причин и прочего... Говорил же ему, говорил не раз: тоньше надо работать, деликатней! Ну, что это: взял и выключил энергию...

Багрий усаживается на край стола, закуривает, рассказывает.

Рындичевич совершил 15-часовой заброс и появился в Институте нейрологии перед концом рабочего дня — в амплуа профсоюзного инспектора по технике безопасности и охране труда. В лабораторию Мискина на четвертом этаже он поднялся за час до взрыва баллона, в самый разгар подготовки опыта. Момент был не из удачных — и Мискин (низкорослый, лысый, бородатый, с высоким голосом и пронзительным взглядом... не из симпатяг был покойный) сразу принялся его выпроваживать; у нас здесь-де все в порядке, я директор института и за все отвечаю. На что Рындя резонно, хотя и не совсем тактично заметил, что одно из другого не вытекает (то есть, что раз здесь директор, то непременно и порядок), и он желал бы все-таки осмотреть. Академик и директор сразу несколько подзавелся, взял тоном выше: такие осмотры надо проводить в рабочее время, а сейчас день окончен и нечего посторонним в такую пору шляться по лабораториям.

— Так я именно и прибыл для проверки ваших работ в вечернее время,— снова резонно ответил «инспектор»,— поскольку именно на такое время у вас приходится наибольшее число нарушений ТБ...— И он перешел к делу.— Вот первое нарушение я имею перед глазами,— он указал на баллон возле камеры-операционной,— так работать нельзя. Надо упрятать его за прочную решетку, а лучше вынести в коридор, там закрыть и провести в лабораторию сквозь стену трубу.

— Послушайте, да катитесь вы!..— Мискин все более терял терпение; настроенный вести опыт, он и думать не хотел, чтобы откладывать да переделывать.— Мы всегда так работали, все так работают — и ничего.

— И незаряженное ружье стреляет раз в год, товарищ директор,— парировал Рындичевич.— Сатураторщики и то место заряд-

ки сифонов газводой не забывают обрешетить, а там давления не те, что в этом баллоне. Так что я вынужден настаивать на ограждении. Иначе работать не разрешаю.

— Вы — мне?! — поразился академик.

Так слово за слово, и разыгралась та безобразная сцена, в которой низенький Мискин, распаленный и багровый, наступал на Рындичевича, орал противным голосом: «Да как вы смеете препятствовать моим исследованиям?! Вас самого надо упрятать за решетку... в зоопарке! И откуда вас такого выкопали: обрешетить... газвода... Тэ-Бэ... я тебе покажу Тэ-Бэ»! И его сотрудники подавали реплики, и даже собака в камере, привязанная на столе, но еще не оперированная, разразилась возбужденным лаем.

— А, да что я буду с вами разговаривать! — и «инспектор» подошел к лабораторному электрощиту, повернул пакетные выключатели (индикаторные лампочки приборов погасли), стал под щитом в непреклонной позе.— Не будете работать, пока не переделаете!..

Я слушаю, и мне становится не по себе. С одной стороны, чувства Славика можно понять: прибыл спасать человека — и нарвался на такое. А с другой... вот ведь как подвела его простоватость, та простота, которая действительно хуже воровства. «Имею право» — и попер. В самый разгар подготовки эксперимента. Надо же хоть немного читать в душах! В такой ситуации не то что академик, привыкший чувствовать себя в своем институте царем и богом,— рядовой экспериментатор и то может броситься с кулаками.

— Подите во-он! — орал, подступая к «инспектору», Емельян Иванович, у которого побагровела даже лысина.— По какому праву?! Вы хулиган, бандит! Сейчас же вызвать сюда охрану, милицию... а... а!

И он вдруг дернулся, опрокинулся на спину.

— Глубокий инсульт с поражением жизненно важных центров мозга,— закончил рассказ Багрий.— Он ведь гипертоник был, Емельян-то Иванович, да еще с импульсивным, холерическим темпераментом. Вот и хватил кондрашка. От такой напасти его кто и мог спасти, то только он сам. Смерть наступила через полчаса. Ну, а далее... прибежала охрана, прибыла милиция. Никаких документов у Святослава Ивановича, подтверждающих, что он инспектор, естественно, не оказалось, ничего объяснить он не мог. Вот и...

— Но взрыва-то не было?

Артур Викторович смотрит на меня с иронией, отвечает фразами из анекдота:

— «Но больной перед смертью пропотел?» — «О да!» — «Вот

видите». Какое имеет значение, что не взорвался баллон, если академик помер!

— Самое прямое: вы же дали Рындичевичу невыполнимое задание. Смерть наступила через полчаса, то есть примерно в то же время, в какое Мискин погиб и от взрыва?

— Да.

— Так то, что моменты смерти от разных причин совпали в обоих вариантах, и говорит, что эти разные причины — внешний вздор, а глубинная одна — в характере и стиле работы покойного Мискина. И правильно вы хотели обойти ее на самых малых вариациях: чтобы взрыв баллона, не убив Мискина, хотя бы вразумил его. А то задали: никаких взрывов в лаборатории. Чтоб было тихо. Не могло быть тихо — уберегли голову Емельяна Ивановича от внешнего взрыва, так ее разнес взрыв изнутри!

Багрий смотрит на меня с одобрением:

— Да, и именно «разнес», ведь вскрывали череп-то... Растете, Саша, хорошо мотивируете. До этого заброса вы так еще не вникали... Все правильно, я в таком духе и объяснил Воротилину: его-де приказ, его и вина, пусть вызволяет Святослава Ивановича из каталажки. Но тому... тому тоже пусть это послужит хорошим уроком! Так нельзя...— шеф снова светло смотрит на меня.— А по-настоящему-то, Саша, выручили своего друга Рындю вы — вашим сверхзабросом и его результатами. Без этого Глеб А. и пальцем бы более не шевельнул. Нет, молодец, герой, требуйте теперь, что угодно.

О, момент упускать нельзя. Я настолько вырос в глазах Артурыча, что он со мной даже на «вы».

— Отпуск на неделю с завтрашнего дня.

— На неделю?! — тот соскакивает со стола.— И это сейчас, когда ты остался один! Ты в своем уме?.. Два дня — и не с завтрашнего, а после возвращения Рындичевича.

— Четыре, Артурыч. Надо!

— Трое суток — и ни часа больше.

Вот пожалуйста, проси у него!.. Тогда было три дня — и теперь. Смотаюсь в Горки. Сейчас май, в сельхозакадемии экзаменационная сессия — Клава должна быть там. Помнит ли она голубоглазого блондина, с которым разминулась прошлым летом у Прони? Увидит — вспомнит. Не может такого быть, чтобы у нас с ней ничего не было — не в прошлом, так в будущем.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТКРЫТИЕ СЕБЯ. Роман 5
ПОХИТИТЕЛИ СУТЕЙ. Повесть 253
ПЯТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛЛИВЕРА. Повесть 375
ВСТРЕЧНИКИ. Повесть 463

Литературно-художественное издание

САВЧЕНКО
Владимир Иванович

Избранные произведения

Том 2

ОТКРЫТИЕ СЕБЯ

Роман

ПОХИТИТЕЛИ СУТЕЙ

Повесть

ПЯТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛЛИВЕРА

Повесть

ВСТРЕЧНИКИ

Повесть

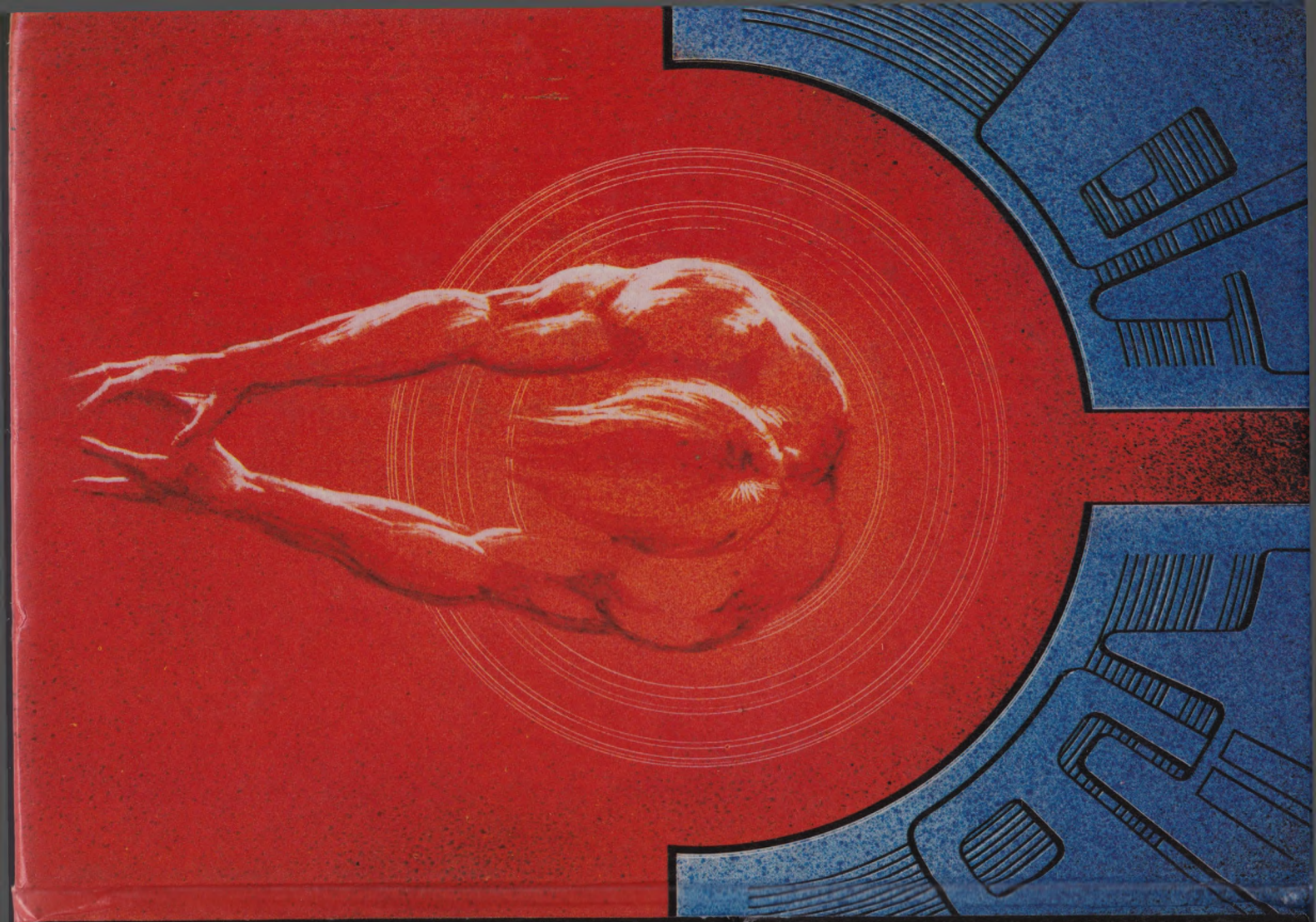
Редактор Л. М. ГРИБКОВА
Технический редактор Г. В. СТАЧЕВА
Корректор И. А. МУДРОВА

Сдано в набор 20.12.93. Подписано в печать 18.05.94. Формат 60×84 1/16. Бумага книжно-журнальная, газетная. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл.-печ. л. 29,76. Уч.-изд. л. 33,93. Усл. кр.-отт. 30,7 Тираж 30000 экз. Заказ №4244. С 014.

Издательство «Флокс», 603600, Н. Новгород, Костина, 20.

ГИПП «Нижполиграф», 603006, Н. Новгород, Варварская, 32.





Владимир САВЧЕНКО